

РР
В-27

Ирина
Веледговская

Сладкая
Женщина

Художник Ирина ГУСЕВА

Велембовская И. А.

В 27 Сладкая женщина: Повести, рассказы.— М.: Советский писатель, 1988.—544 с.

ISBN 5—265—00335—5

Имя Ирины Велембовской хорошо известно читателю. По многим ее произведениям, вошедшим в сборник, сняты фильмы («Сладкая женщина», «Женщины» и др.). Исследуя простые и сложные женские характеры и судьбы, И. Велембовская пишет о семье, любви, дружбе. Большую роль в формировании нравственного облика героев играет их отношение к труду. Без этого нет полноты человеческого счастья.

4702010201—160

В ————— 25—88
083(02)—88

ББК 84 P7

© Состав, оформление. Издательство
«Советский писатель», 1988

Побеседу





Дороже золота

1

На приiske «Морозный» шла весна. С каждым днем все выше, ясней становилось небо и чернел, сползал снег.

Тяжело ступая высокими сапогами по раскисшей земле, прошел к своему большому, семиоконному дому Иван Казанцев. По извечной привычке разулся у порога, шагнул в комнату и опустился на стул. Подняв кверху колючий круглый подбородок, начал шарить пальцами за тугим воротом рубахи.

— Дай-ка мне холодной простокваши, — сказал он жене. — И окошко открой, душно тут...

Окна были еще заклеены пожелтевшей за зиму бумагой, и Казанчиха отворила только форточку. С улицы потянуло весной, слабо зашевелились листочки лимона и фуксий, стоящих на широком подоконнике.

Казанчиха спустилась в просторный сырой голбец. Когда вылезала обратно с холодной, запотевшей кринкой в руках, услышала тяжелый стук: Казанцев лежал на полу, закатив глаза.

Через два дня его хоронили. По Партизанской улице лошадь везла обитый белым гроб с открытой крышкой. Покойник лежал как живой, и возле его большого, крутоскулого лица с мохнатыми бровями неуместными казались голубые и розовые бумажные цветы.

Не было оркестра. Не несли перед гробом орден покойного. Не шло с непокрытой головой местное начальство. Правда, и без него толпа, провожающая Казанцева, была большая: пришли старатели-старички с соседних приисков посмотреть в последний раз на когда-то шумного, прижимистого и делового артельщика. Собрались на похороны все досужие хозяйки с «Морозного» и все древние старушки в чаянии богатого

поминального обеда. Бежали за гробом, шлепая по грязи, ребятишки, которым всегда и до всего дело.

Вдову Наталью Казанцеву вели под руки соседки. Она закинула назад растрепавшуюся седую с рыжиной голову, и черный кружевной шарф сполз ей на плечи. Она не видела ничего и шла, куда вели. За спиной у нее, опустив головы и не глядя ни на кого, шли сын и невестка.

Только когда поравнялись с небольшим каменным памятником в конце Партизанской улицы, забранным в железную ограду, Борис Казанцев невольно поднял голову. Сколько уже раз читал он: «Здесь лежат наши товарищи: Петр Кузнецов, Илья Абакумов, Василий Жуков, Александр и Екатерина Казанцевы, зверски убитые белогвардейцами. Вечная память погибшим».

Борис не мог не вспомнить, как в первый раз, совсем маленького, привел его сюда отец и показал: «Это вот твои родные дядя с теткой... Вот, сынок, какие мы есть, Казанцевы!..» Только памятник тогда еще был деревянный, невзрачный. Новый обелиск и ограду поставили к двадцатилетию освобождения Урала от Колчака...

Борис поспешно отвел глаза от серого, отсыревшего на солнце камня, сжал в руке шапку, пошел дальше.

На кладбище сырая глина тяжело липла к ногам. Вокруг дышащей холодом могилы валялись выкинутые камни, сизый галечник — не легко, видно, пришлось тому, кто копал. Но могилу приготовили просторную, глубокую.

— С другими-то договоритесь, выкопают так, что ноги у покойника наружу торчать будут. Знаешь, как сейчас норовят?.. — набивали цену нанятые копальщики. — А тут на совесть будет сделано.

И Казанчиха в первый раз в жизни не стала торговаться, заплатила, что просили, и выставила литр вина.

Немало поработали лопатами, пока оправили могилу. Сомлевшую Казанчиху еле подняли с расквашенной сапогами земли. Борис отстранил соседок, хотел подхватить мать.

— Отойдн, отойди... — чуть слышно хрипела она. — Никого мне теперь не надо!..

Борис махнул рукой, окликнул бледную, молчаливую жену, и они пошли вперед, обгоняя темную старушечью толпу. За воротами кладбища Борис надел шапку и тут только почувствовал, как озяб он и устал, как болит у него все внутри от колючей, тяжелой обиды.

Галочьей стайкой тянулись старухи к Казанцевым на поминки. Скрипели тяжелые ворота, пропуская поминальщиков

с нарочито строгими, любопытствующими лицами. Потом, уже в сумерках, крестясь и перешептываясь, расходились они от казанцевского двора, унося, кто в кармане, кто за пазухой, куски поминального пирога.

«Да, не такие поминки могли бы быть по Ивану Андреевичу Казанцеву,— думал Борис.— Не со старыми дурами, богомолками...»

И долго ночью не мог уснуть. Все перебирал в памяти, с какого же это года, месяца, дня пошел навстречу своей гибели отец его, Иван Казанцев?

2

Зимой девятнадцатого года возвращался домой на Тыльские прииска молодой партизан Ваня Казанцев. Вез домой своего земляка и командира, у которого пробыл в отряде почти полтора года. Встретил он его в Тюмени, в лазарете. У Казанцева вынули пулю из голени, а долговязый Пузырев лежал, скрюченный острым приступом ревматизма.

— Как хочешь, не брошу тебя, Василий Алексееч. Здесь грязь да холод пуще болезни загрызут. Уж хоть из последних силенок, а домой доволоку.

— Значит, по пословице: битый битого везет,— через силу улыбнулся Пузырев, бывший механик с паровой драги «Талисман».

До Тагила добрались чугункой. Казанцев отхлопотал своему командиру место на верхней полке, столкнул оттуда несколько мешочников.

— А ну, валитесь отсюда! Краснознаменного человека везу!

Пузырев недвижно лежал, подняв кверху давно небритый подбородок. В головах у него была казанцевская шинель, под нею — холодный наган. Но знал Пузырев: случись что, распухшие, словно клещами схваченные пальцы и курка не нащупают. От разутых, обернутых портянками ступней к самому сердцу шла жестокая, крутящая боль.

— Василий Алексееч, подай голосок-то! — время от времени просил снизу Казанцев.— Жив? Может, хочешь чего? Я тут мокрыми пирогами у одной бабы разжился. Вкусны!

Пузырев и не знал, что отдал Ванюшка Казанцев за эти мокрые пироги веселый шелковый платок, что вез для милахи. А то бы поел, чтоб не огорчать парня.

— Жуй сам, Иван. Неохота мне сейчас ничего...

В Тагил приехали в сочельник. Мороз закрутил лихо:

столбы белые, рельсы белые. Чуть в каком-нибудь подворье растворится дверь — клубом белый пар. Снег скрипит, как песок под жерновом.

На постой пробился Казанцев с трудом: под великий праздник домовитые хозяева не хотели пускать в чистую избу, где каждый угол был выскоблен, чужих мужиков в пахучих, свалявшихся шинелях, каждая складка которых небось богата кусачим народцем.

— Сразу видать, хозяин, что самому тебе повоевать не пришлось, — хмурясь из-под папахи, сказал Казанцев. — Долго-то я тебя уговаривать не собираюсь: мы не богомольцы, не трапезники. Считай за честь, что красного командира обогреешь. Нынче все же, как-никак, советская власть.

Через полчаса ослабший от боли Пузырев уже лежал на просторной печи, разутый, распоясанный. Под худыми боками чувствовал он мягкую баранью шубу, в ногах шуршали сухие березовые веники.

Казанцев помогал хозяйке налаживать самовар. Потом стал вытрясать из мешка небогатый припас: сухари, черную от времени солонину и пропахшие ею осколки рафинада.

— До звезды, стало быть, кушать собираетесь? — осторожно спросил хозяин.

— Звезда, отец, всегда при нас, — тупая ножом в кулаке сахар, отозвался Казанцев. — Красная! Слыхал про такую?

— Слыхал, — отвернувшись, ответил хозяин.

Ночью и Пузырев и Казанцев спали плохо. Пузыреву после холодов и вагонной тесноты хоть и лучше стало на прокаленной печи овчине, но такая навалилась слабость, что ни одним скрюченным пальцем не мог повести и весь обливался тяжелым потом. Казанцев дремал рядом, положив возле себя заряженный бердан. Что-то удерживало от того, чтобы уткнуться лицом в скатанную шинель и крепко уснуть: до дому еще круглых сто верст, дороги, говорят, передудло; деревни редки, да и в тех останавливаясь с опаской — хозяева прячут сыночков, недобитых белячков...

— Спите, служивцы?

Казанцев перегнулся с печи. Хозяйская сноха, белея в темноте длинной рубахой, протягивала что-то теплое, завернутое в тряпицу.

— Свекор-собака не попотчевал вас... Съешьте хоть сдобный кусок ради праздника. У меня муж с австрийской не пришел, одна я... На свекора роблю. Может, еще чего надо, так вы скажите.

Пузырев, затаив дыхание, прислушивался к разговору между молодухой и Казанцевым, который, позабыв свое ранение, бесшумно спорхнул с печи. Потом ему послышался даже легкий смешок.

— Иван! — вполголоса окликнул он. — Кончай тотчас!

Скрипнула дверь, белая рубаха исчезла. Казанцев обиженно зашептал на ухо Пузыреву:

— Что ты мне дело перебиваешь? Я насчет коней договаривался, чугунок-то, говорят, не ходит. Обещала завтра сговорить одного мужичонку на паре... На-ка вот, слопай пирожка, чтобы худые мысли тебе в голову не лезли.

Утром, еще затемно, под окнами звякнул поддужный колокол. Хозяйская сноха таскала из сарая сено в плетеные розвальни. Казанцев, прикуривая в сенях, слышал, как хозяин спросил сноху:

— Чего больно-то хлопчешь? Иль своих провожаешь?

— Пусть уж уедут скорее, пока вошь по избе не распустили, — отозвалась та, загораживаясь от свекора охапкой сена.

Когда отъехали, под сеном Казанцев нашарил узелок с салом, пирогами и бутылку первачу.

— Ну ты, мамин сын, — приказал он вознице, «мужичонке» лет пятнадцати, — отвяжи-ка свое ботало: нам звону лишнего не надо. Мы — красные партизаны, а не становые пристава. Гони не шибко, а с рыси не сбивайся.

Колокольчик смолк. И стало так тихо кругом среди леса и снега, что слышен был только легкий сап лошадей да скрип ремennых, седых от мороза гужей. И если бы не торчащее из сена дуло винтовки, да не красный лоскуток на казанцевской папаше, можно было бы подумать, что везет парнишка двух загулявших на зимней ярмарке мужичков.

— Ну, пропустим, Алексеич, за здоровье славной бабочки! — достал Казанцев бутылку. — Дай бог ей поскорее свекора на тот свет проводить. Муторный старик, сквалыга. Сноха сказала, мучную торговлю держал, а дома хлеб со счету...

— Говоришь, сквалыга, а он вон какую шубу богатую нам пожертвовал.

Пузырев и не подозревал, что просторная ямщицкая шуба, которой был накрыт, нелегко взята у хозяина.

— Отдай, гадюка, шубу, — горячо шептал Казанцев, притиснув старика в сенях к огромному мучному ларю с амбарным замком, — мне этого человека живым-здоровым доставить нужно, а не то цена мне, как зеленой сопле!.. — и совал

тому чуть не в бороду несколько истертых бумажек.— Бери, больше все равно нету!..

Старик косился на прислоненный к стене бердан, упирался локтем в перехваченную пузыревской портупеей грудь Казанцева.

— Бери, собака! — вдруг плюнув, сказал он злобно.— Ваша власть теперь.

Вспоминая это, Казанцев улыбался потихоньку, прикладываясь к бутылке с первачом. Пузырев полулежал в санях, обложенный сеном, накрытый шубой и шинелью.

Казанцев подавил смехок.

— Так ведь я, Алексенич, товару ему на двое сапог оставил. Такие голенища, головки были — прямо целовать охота.

Из-под надвинутого треуха глядели на Казанцева большие зеленоватые умные глаза.

— Врешь ты, Ванюшка! Никакого товару у тебя не бывало... И схорони-ка бутылочку: больно часто прикладываешься, как богомолка к киоту.

Казанцев обиженно засопел, пряча самогон под сено. Надвинул папаху, примостил берданку и привалился к пузыревскому плечу.

— Тепло ли тебе, Алексенич? — дремотно спросил он.

— Спасибо, Ванек, тепло.

Лесом дорога была хороша: гладкая, наезженная. По обеим сторонам на придорожных кустах висели клочья бородатого зеленого сена — видно, проезжали сеноторговцы в Баранчу или Кушву.

«Широки воза-то здесь кладут», — думал Пузырев. И вспоминал, как сам в детстве сложил таких возов не мало. Был родом он вятский, из Клещова. С десяти лет возил купцам сена, сколько раз в лесу ночевал. С тех пор, может быть, и мучается ногами: вятская обувь известная — лапти.

Среди чистой белизны и величавого спокойствия хотелось вспоминать только хорошее. Вспомнил, как собрался летом в деревню, к отцу, уже работая на заводе, в кузнице, и как окрутили его родичи, женили на своей, деревенской. Девка тихая, обидеть не хотелось. Потом с великими слезами увез ее в город. Вовсе дикая бабешка была: железной дороги в глаза не видала, каждого встречного шарахалась, как овца.

...Пузырев улыбался сам себе, шуря большие свои зеленые глаза. Казанцев спал и дышал ему в плечо, грея его бок крепким, молодым телом.

Вспоминал Пузырев, как быстрехонько накидала его маленькая хозяйка полную избу ребятишек. Правда, не все выжили, но когда уходил Пузырев воевать с Колчаком, было их ни мало ни много — пятеро...

Боль подошла под сердце: с полгода назад узнал Пузырев, что побывали у них на прииске каратели. Держали больше вицких жен семь суток в темной. Пузырихе первой ввалили пятьдесят плеток. Когда думал Пузырев о том, как волокли его тихую, дробненькую Дуську под плети, отрывая ребячьи руки от ее подола, темнело в глазах.

«Младшая жива ли?.. — морщась, как от тяжелой боли, думал он. — После плетей какое же молоко у матери?.. Небось сложила дитя в землю...»

...Дорога бежит дальше. Солнце светит, белым пожаром вспыхивает лес. Вороной идет бодро, бросая вперед сухие, сильные ноги. Изредка откидывает набок красивую черную голову, и тогда пристяжная ласково тянется к нему.

— Но-о, балуйте! — детским басом рычит возница.

Талица, Березов мыс, Сухой лог... Еще верст десятка полтора, и начнутся прииска: «Трудный», «Туманный», «Снежной», «Морозный»... Казанцев велел вознице вздеть под дугу колокольчик.

— Чай, не поповну сватать едем! Ты, Василий Алексеич, приободришься, нацепи-ка свой портупей, чтобы нам орлами по прииску пролететь!

Радостно стучало сердце у Казанцева. Еще не знал он, что, пока добивал врага в Зауралье, побывали белобандиты в отцовском доме на «Морозном». Ночью сняли двери с петель, взяли живым старшего брата, только что вернувшегося с германской, привели вместе с молодой женой под окна Совета, где уже чернело на снегу еще три трупа, и расстреляли в упор.

Встребенулся и Пузырев. Жадно глядел туда, где за гладью замерзшего Тылыма показались домишки «Трудного».

— Вот я и дома, Иван! Если бы не ты, валялся бы где-нибудь в лазарете. Мўки ты со мной принял...

— Все, когда начальством станешь, льготку мне какую дашь, — усмехнулся Казанцев.

Пузырев с трудом высвободил руку, погрозил большим шишковатым кулаком.

— Это брось! Не за льготы мы с тобой воевали. Погоди, на ноги стану, я еще за тебя возьмусь.

От колчаковской пули Иван Казанцев долго еще прихрамывал. Но заметно было это, пожалуй, только при быстрой ходьбе. А так — нога как нога. По крайней мере, приисковские ребята за ним не всегда попевали, когда дело доходило до вечеров, до посиделок.

В первую же зиму, как вернулся на прииск, взял Казанцев за себя ту, что верно ждала его всю войну. Хоть толста и неповоротлива стала Наталья, вихрем понеслась ему навстречу, когда ехал он по «Морозному» с красной лентой на папаче.

— Тебе за него, за табашника-гуляку, идти, так лучше веревку взять да удавиться, — говорили Наталье родители, степенные старатели из староверов. — Острыжет он тебя, как бездомовную большевичку... Да на первой же неделе бита будешь.

— Ан пальцем не тронет! — уверенно отвечала Наталья.

В дом зятя-табашника тесть не принял. Дал за Натальей новый семиконный сруб.

— Как кормиться думаешь, зятек? Может, в Совете сядешь, печатки к бумажкам прихлопывать?

— Умишка не хватит, папаша, — отшучивался Казанцев.

— Умом-то вы нынче скоры. Хозяев прогнали, теперь поглядим, как сами управитесь. Небось забыл, с какого конца за кайлу хватаются?

И стал соблазнять богатыми песками, что прямо за огородами, в логу. До воды — рукой подать. Если нет снастишки, можно на первое время поделиться.

«В пайщики зовет, — понял Казанцев. — Ну нет, папашечка, я еще родимого тятю помню».

У отца его, Андрея Казанцева, детей было пятеро, все парни. Иван родился, когда отцу шел шестой десяток. Казанцев-старший держал весь дом в кулаке, умучивал всех домашним старанием. Мороз ли, не мороз — шли на Тылым к замерзшей за ночь проруби, начинали промывать добытые из шахты, еще дышащие глубинным теплом пески. Жена, снохи ревели ревом: подолы обледенеют, руки скрепка не держат. Молодые Казанцевы, на что были крепкие парни, и то иной раз затоскуют. Но старик только улыбался в большую, лопатистую бороду. Голыми руками споласкивал на лютом морозе, так что иной раз маленький Ванька не мог на это без страха смотреть.

Лет двенадцать было Ивану, когда в канун Казанской божьей матери, в самый разгар лета, напал отец на богатую россыпь. На Казанскую работать считалось большим грехом, но старик был не очень набожный.

— Мать их в попов со всеми праздниками! Вон французы праздников не правят, так и прибрали к рукам наше золотишко да платину. Оставлять, ребята, нам этих песков никак нельзя. Бабы пусть уж дома, а мы с утра пораньше сюда.

День был жаркий — плюнь на пески, зашипят. Старик спустился в шахту, ребята наверху. Сорок бадей достали, а сорок первая оборвалась и прибила отца.

Чуть живые от страха стояли над проклятой шахтой пять молодых парней. Наконец один из них опомнился, схватил запасной трос, спустился в шахту, опутал концом отяжелевшее, но еще теплое тело отца. Срывающимся голосом крикнул наверх:

— Ходи!

Заскрипел вороток, натянул трос. Когда показалась над срубом покрытая кровью и песком голова отца, закрыл Ванюшка Казанцев лицо руками, чуть не без памяти побежал прочь.

После похорон начали братья искать платину, которую всю жизнь прятал от них отец, утаивая намывку. Весь подпол исшарили, перерыли огород. В одном месте наткнулись, нашли золотников с сотню, больше и не искали, хотя знали, что где-то зарыто еще.

Два брата вскоре ушли в солдаты. Всем домом заправлял старший брат, Терентий. Пять лет Иван с погодком своим Петром работали на него. Года за два до революции Петр, которому Терентий препятствовал жениться, напившись пьяным, ударил его кайлой. Хотел обухом, но рука сорвалась и попало острием. Жил Терентий после этого три дня, а Петра увезли в верхотурский острог.

Побежал тогда Иван Казанцев из отцовского дома куда глаза глядят. Взяли его на драгу «Талисман» подвозить на лодке дрова. Там и свела его судьба с Пузыревым...

...Вспоминая все это, хмурился Казанцев:

— Не манит меня старательская работа. Да что поделаешь, кормиться, верно, надо как-то... Советской власти, чай, металл-то шибко нужен.

В старом разрушенном отцовском подворье разыскал кое-какую снасть: скребки, поршни, бадьи. Приташил на берег

Тылыма и столкнул в воду старый, разошедшийся станок, чтобы замокал.

С неделю после пасхи пластался Казанцев впустую вместе со своей молодой Натальей. Та уж и плакать начала: рученьки отсыхают.

— Пошел бы поклонился тятэ: он бы нас направил...

В первый раз окрестил крепким словом Казанцев свою молодуху. Наутро сменил место, пробил метра на полтора вглубь, взял ковшиком пробу: Заблестело... Дальше пошел сплошной фарт.

Всю весну и лето не вылезал Казанцев из забоя, забыв зарок, что дал когда-то, — близко не подходить к шахте. Сам кайлил, сам наверх подавал тяжелую, наполовину из галек и камней состоящую породу. Соседский мальчишка катал ему на тачке пески к Тылыму. Там, не стыдась того, что промывка — работа бабья, Казанцев орудовал железным скребком.

Молодую свою Казанцев работать не неволил: тяжело носила Наталья. Утром голову от подушки не могла оторвать.

— Ох, тошнехонько, Ванюшечка! Или уж весь срок так будет?

— Не ты первая, не ты последняя. Пожуй-ка глинки: говорят, помогает.

Как-то допоздна задержался Казанцев на своей шахтенке. Выкинул сажени две земли, хотел крепить. Глянул наверх — чья-то длинная тень нависла над ямой, легла на груды рыжей глины.

— Пластасься, Иван?

Пузырев присел на корточки, в шутку швырнул в Казанцева камушком. Тот выбрался наверх, отряс с брезентовых штанов сухую, пыльную глину.

— Так ведь как, Василий Алексенч? Наше дело старательское. Земля, она манит, а золотишко тянет. Сам-то как здоров?

— Жена муравьиным спиртом отходила. Второй месяц уж вышел на «Талисман». Он у нас стал теперь «Драга имени Карла Либкнехта».

— Ну-ка! А ты начальничком небось?

— Угадал. Спросить хочу: не пойдешь ли старшим кормовым ко мне?

Казанцев подумал, покачал головой:

— Нет, Алексенч. Здесь я, как-никак, сам себе большой, сам себе маленький. А удачей меня господь бог не обходит. Так что уж не серчай, не обижайся...

Пузырев легонько усмехнулся:

— Что ж, Ванек, па нет и суда нет. Жаль, конечно, что не приходится вместе поработать. А удачи тебе все равно желаю. Только гляди,— Пузырев сощурил свои зеленые глаза,— на Казанскую-то божью мать сиди дома, чтобы не приключилось с тобой, как с отцом...

— Она нынче у всех не больно в почете, божья мать-то эта,— весело отозвался Казанцев.— А ты, Василий Алексич, тоже гляди не задавайся! Хоть бы раз на пельмешки зашел.

— Стряпай больше. Как-нибудь загляну,— пообещал Пузырев.

Борису было лет пять, когда отец в первый раз посадил его в бадью и, осторожно крутя вороток, спустил в глубокую шахту.

Скрипел тросок, бадья стучалась о сырую, позеленевшую крепь, пока не стала на шершавое, галечное дно. Борис видел только маленький лоскуток неба, да и тот заслоняла тень воротка.

— Папка, ходи! — крикнул он звонко и жалобно. Но голос потонул в глубине колодца.

Иван Казанцев достал сына из шахты, вынул его из качающейся над темным провалом бадьи.

— Что, старатель, испугался? — спросил он с озорной лаской.

Борис унял дрожь в губах, протер запорошенные мелкими песчинками глаза.

— Чего же ты мне каелку-то не положил? — с серьезностью сказал он.— Я бы хоть покайлил маленько.

— Успеешь, покайлишь,— обещал отец.— Еще какой зайчишка-то будешь! Ты ведь, милый сын, не кто-нибудь, а Казанцев!

Лет с девяти Борис стал отцу помощником. Приходил из школы, бросал сумку и бежал на берег Тылыма. До боли в лопатках тянул неподатливый поршень, сделанный из телячьей шкуры, который со свистом и жульканьем засасывал и выталкивал на деревянный станок струю желтой от ила воды.

Когда окрепли руки, ноги, стал катать тачки с породой по-мальчишески форсил жесткими желтыми мозолями на ладонях, как у заправского катателя.

— Чего не полную нагребашь?.. — с упреком гово-

рил Борис отцу, когда замечал, что тот, жалея его, лукавит.

— Пупка не сорви. Тоже мне волк! Кати, не разговаривай!

Видел Казанцев: растет сынок-помощничек, а вот от жены толку было мало.

— Придешь, что ли, мыть-то пособлять? — спрашивал он не по годам погрузневшую свою супругницу. — Ведь тебя скоро сало задушит

— Куда я пойду-то? Мое дело домашнее...

— Ладно уж, сиди! Далеко-то на тебе все равно не уедешь: где сядешь, там и слезешь. — И думал про себя с усмешкой: «Послал бог жену старателю: в шахту глянуть боится, на воротке стоять — рученьки отсыхают, тачки катать — ноги осклизаются, промывать — и то не пособится. Куда такую-то деть? Вместо пугала на огород поставить?»

Две работницы, нанятые Казанцевым, усердно и ритмично скребли в два скребка по железному грохоту на станке, куда вываливали из тачек породу, вязкую и тяжелую от галек и речнины. Возле станка росла гряда вымытых камушков — голубых, белых, розовых — словно конфеты-леденцы.

Казанцев, стоя неподалеку, в неглубоком забойчике, с кайлой в руках, покрикивал весело:

— Нажимай, нажимай, бабоньки! Подходяще намоем, не обижу!

И работницы-мытьянки скребли как заведенные, пока Казанцев не говорил:

— Ну, шабаш, красавицы. Что-то надо и в земле оставить.

Работники отпускал домой и брался за сполоск. Борис качал ему полегоньку воду, а Казанцев быстро и ловко выхлопывал рогожки, брал пехло и снималку, собирал с лотка в старательский ковшик поблескивающую серебряным отливом зернистую платину.

Потом они с Борисом разводили костерчик, подсушивали металл в ковшике, ссыпали в специальную кружечку и несли домой. Там Казанцев брал магнитную подковку, отводил шпатель, а чистую платину ссыпал на листок бумаги. Доставал с полки легонькие старательские весы со старинными золотниковыми гирьками и взвешивал...

Иногда тянуло золотников на тридцать — сорок, иногда и больше. Но независимо от того, велика ли, мала ли была намывка, Казанцев отсчитывал, что положено, и посылал Бориса:

— На, снеси бабам заработку.

А к каждому празднику покупал работницам по платку или ситцу на платье и приглашал к себе обедать. Уходили они от него и пьяные и довольные, а он, тоже пьяный и веселый, провожая баб, втихую от жены обнимал и тискал их в сенях.

Однажды возвращались Казанцев с Борисом домой, несли намывку, которая и по виду казалась немалой.

— Повезло нам, Борька, подфартнуло! Никто с места не сживет, так на все лето песков хватит.

А дома ждала новость.

— Тебя спрашивал какой-то... Долгий такой, жердяка... С «Трудного». Сказал, еще вечером придет, — сообщила Казанчиха.

— Кукла! Это же командир мой бывший, Василий Алексеич Пузырев. Сооруди быстро закусить и выпить.

Свечерело, когда пришел Пузырев. Казанцевы не сажались ужинать, ждали. В избе пахло жареным мясом, пеннлась в большой бутылки брага.

— Уж я тебя и ждать бросил, — говорил Казанцев, любовно глядя на бывшего своего командира. — Когда еще обещал, что зайдешь. Пей, кушай, не обижай. Вспомним, как морошку по болотам собирали, когда загнали нас беляки в лес под Угарным. Кисленька была морошечка! Все скулы, бывало, свяжет. — И, заметив, что гость положил вилку, снова принялся угощать: — Да ешь ты, Василий Алексеич! Как еще тебя просить? Получай вот пирога с груздями.

— Спасибо, Иван, — гость отодвинул стопку и прикрыл большой ладонью тарелку, чтобы хозяйка не подкладывала. — Наелся — вот! — он провел рукой по длинному, худому горлу. — А питок я, ты сам знаешь, какой. Да и ты на бутылку не поглядывай, хватит. Нам с тобой еще разговор предстоит серьезный.

— Ну! — насторожился Казанцев.

— Пойдем-ка к Тылыму, там ветерок. Обдует нас, разговор будет толковее. Хозяйке еще раз спасибо за угощение.

На Тылыме ходила волна, желтоватая, пеннистая, выплескивала на берег мелкое шепье.

Бывшие однополчане сели на усыпанный галькой и крупным песком берег.

— Ну, так что скажешь-то? — нетерпеливо спросил Казанцев.

Пузырев набрал горсть галек, стал швырять в Тылым.

— Слышал, Ванек, секретарь я теперь приискового парт-

кома. Скажу по совести: скучаю по драге. Ревматизм проклятый опять стал одолевать, а то бы, пожалуй, отговорился...

— Ну, тут твоему ревматизму тоже покою не будет,— заметил Казанцев.— Натанцуешься с прииска-то на прииск. Может, автомобиль тебе выделят, тогда другое дело.

— Нет, автомобиля не будет. Кобылку какую-нибудь приспособлю...

Где-то далеко за каменистыми отвалами призывно прогу-дела драга.

— «Карл Либкнехт» наш вверх пошел,— шурясь на закат, сказал Пузырев.— А я ведь, Иван, к тебе не с простым делом...

Пузырев говорил, а Казанцев, с которого весь хмель слетел, озадаченно смотрел в землю.

— Если не тебе, Иван, кому тогда? Не лишка у нас на приiske таких, которые партизанили, за советскую власть сражались.

Казанцев нахмурился:

— А партизану что же, есть-пить не надо?

— Что-то не узнаю я тебя, Иван,— покачал головой Пузырев.— Испугался, что голодным останешься? Да первую старательскую артель на приiske возглавишь, одной чести не оберешься. А сейчас, между нами говоря, какая тебе честь? Ты ведь частник, чужой труд используешь, чужим горбом металл-то добываешь...

— Почему чужим горбом? На меня никто не обижается. Наше дело рисковое: вон всю весну впустую пластались, намыли кошкины слезы, а работниц я по уговору рассчитал. Скоро вот парни мои подрастут, так и без наймов управимся.

Пузырев поднялся, одернул гимнастерку, поправил ремень.

— Вижу, Ванюшка, сразу тебя с места не столкнуть: успел в землю врасти. И все же говорю: подумай, раскинь головой! Мы не для того своих и французских хозяев с прииска поперли, чтобы самим тут частную стихию разводить. Государство мелкому старателю не препятствует, но курс сейчас на коллектив. Надо людей на настоящую дорогу выводить. Тебе тут в стороне оставаться никак нельзя. Неужели ты жизнью рисковал, а теперь боишься мешком муки поступиться?

— Да не в том суть...— еще угрюмее сказал Казанцев.— Ты думаешь, это тебе чай пить?.. Грамотности у меня не лишка. Потом будете, как кутенка, во все огрехи мордой тыкать...

— Что напишешь криво, это не беда, лишь бы дела твои были прямые. А промахнешься, поправим, в этом зазора нет; не таких, как мы с тобой, и то учат. Главное, на приiske народ тебе доверяет. Уж я насчет этого справку навел, а то бы и не стал тебя уговаривать.

Простились, пока ни о чем не договорившись.

— Пойду я, Иван. Темно уж. На «Снежном» лодку у кого-нибудь попрошу. Утром-то меня дражники перевезли.

Казанцев постоял, посмотрел вслед Пузыреву. Тот уходил размашистой, чуть косолапой походкой.

«Пошел... Что ж я ночевать-то его не позвал?.. До «Трудного» ему восемь верст...»

Дома Казанцев замкнул ворота, прошел в избу, но спать не лег. Долго курил у окна.

«Как на грех пески-то нынче попались подходящие... Мыть бы да мыть,— думал он.— Наговорил мне мужик этот, будь он неладен!.. Голова напололам!»

— Чего тебе торочил долгий-то этот? — сонно спросила Казанчиха.

— Спи давай! — коротко ответил муж.

Один за другим гасли огни в окнах, прииск весь ушел в черную ночь.

Казанцеву не спалось.

Многое вспомнилось: другие тревоги и другие радости тех дней, когда кочевал с отрядом по снежному Зауралью, ночи коротал в заброшенных зимовьях или где-нибудь в густом кедраче у бешеного, дымного костра. Много ль тогда было нужно? Не зябла бы нога в подшитых кожей пимах, да фунт пшеничных сухарей, размоченных в пахнущем дымом кипятке. Правда, тогда самая молодость-сила была, и ни жены, ни детей... А теперь, пожалуй, какая нехватка будет, Наташка зудом одолеет. Привыкли, всего в досталь: хлеба, одежды, вина... А нет-нет да и вспомнит с отрадой Казанцев, лежа ночью на горячей, высокой перине, как мерзли по уши в снегу, в засаде, а потом, перебив белый отряд, на рысях, поднимая снежную метель, летели в притихшее большое село. Вместо того, чтобы завалиться на жаркую печь да храпануть, шли к девчатам на вечерки, на посиделки. Тут Ванька Казанцев всегда был первый... Уж тогда авторитет был, что среди своих во взводе, что у девок, что у баб...

— Орешков желашь? — спросила у Казанцева бойкая басовитая девица, подойдя к нему чуть не вплотную, и ткнула ему в грудь тугим узелком.— Бери, все пощелкашь, когда урвешь времечко... А отвоюешься, приезжай, вместе шишка-

рить пойдем. У нас тут кедрач ядреный, каждая шишка с твою папаху... И девки тут у нас тоже подходящи. Интересносья или, может, женат?

— Жены еще нет, но девка ждет, слово дадено... — отвечал Казанцев, не без удовольствия отмечая, что поскущнела сразу речистая сибирячка. И подумал: «А любят же меня девки, бабы!.. Чуют легкий мой характер!»

5

Стал Иван Казанцев председателем первой старательской артели на «Морозном». Когда проводили первое собрание старателей-одиночек, желающих объединиться в артель, не столько мужики, сколько бабы кричали, не жалея горла:

— Казанцева хотим, Казанцева. Работали у него, знаем: чужого не зажилит! Легкой человек, артельный!

— Шупать-то вас, на это он легкой! — посмеивались мужики, но и сами охотно поднимали руки за Казанцева: худого не скажешь, Казанцевы — коренные старатели, с понятием. Да и за советскую власть страдали, тоже не отнимешь.

И басили вразнобой.

— Надо доверие оказать: человек деловой да и фартовый. С этим не пропадем, кусок хлеба всегда даст.

— Еще и на брагу останется!

— Голосуй за!

А бабы наседали:

— Уж мы тебя попросим, Иван Андреевич! Знаешь, как робить станем: озвереем!

— Смотрите, не покусайте! — улыбаясь отмахивался Казанцев. — Против массы я, конечно, не пойду. Раз выбираете... Но уж, коли что, потом не виноватые.

Тут же на собрании зачитали примерный устав артели.

— Вот тут записано, товарищи, так... — Казанцев, водя пальцем, прочитал: — Председателю артели — от седьмого разряда до девятого. Бригадирам-забойщикам — пятый, шестой. Остальным рабочим по усмотрению правления: кто как себя на работе покажет. Вся намывка за вычетом общих артельных расходов пойдет на трудодни. Что потопаем, то, значит, и полопаем.

Пришел на собрание и Пузырев. Попросил слова.

— Думаю, товарищи старатели, что на первое время всем рабочим: каталам, мытьянкам, воротовщикам и другим — следует установить одинаковые разряды. Обид с самого на-

чала быть не должно. Теперь вы — коллектив, все друг за дружку...

По собранию прошел шепоток.

— Что же вы мужиков с бабами поравнять хотите? — спросил кто-то. — Эдак-то к вам ни один путный старатель не пойдет. Хоть кого спросите: везде работника сейчас по тридцать копсек золотом рассчитывают, а бабешек — по пятнадцать, много — по двадцать... Была нужда обрабливать их!

Тут уж заговорили, закричали бабы:

— Ой, беда: переработали! А где потяжелее, туда и баб!

— Погодите! — поднял руку Пузырев. — Кто так сказал, тот неправ. На частников оглядываться нечего. Затем нас и в артель зовут, чтобы от частника оторвать и научить по новому, по советскому уставу работать. А этот устав мужчин и женщин не рознит. Женщина — такой же член коллектива.

И тут снова кто-то крикнул:

— Ты, может, и свою трясучую бабу к нам на шестой разряд пришьешь?..

Стало тихо-тихо. Помолчал и Пузырев. Разгадав обидчика, сказал негромко:

— Если бы и твою жену каратели пороли, тоже, наверное, не лучше бы была. У моей жены шестеро ребят, от них не уйдешь. Да я и сам ее работать не пошлю, пока на ногах стою. Так что не бойтесь: чужого разряда она не займет.

Казанцев вышел из-за стола президиума, подошел к маленькому остроглазому мужичку, легко поднял его за ворот порывевшего от солнца и глины пиджака:

— А ну, сыпь отсюда! Там погорлань, где тебя не знают. А в мою артель придешь, я тебя ниже всякой бабы поставлю: сроду сам золотника не намыл, по хозяевам шляешься, а тут рот разеваешь, как заправский!..

Подвел мужичка к двери и под общий радостный бабий смех легонько дал пинка.

После собрания Пузырев сказал Казанцеву:

— Спасибо тебе, Иван, но защищать меня не надо. Я таких разговоров не боюсь, не такой я робкий — знаешь ты меня. Сегодня ты этому болтуну пинка дал, люди смеялись, а завтра — осудят. Одному наподдашь, другому — и разбегутся люди, с кем мыть-то будешь? Вот тебе и «моя артель»!

— Ладно, — удержал улыбку Казанцев. — Ты все такой же вежливый, как в девятнадцатом году. У самого бабу чуть не заporоли, а он генеральшу какую-то под ручки под арест вел да водой из стакана отпаивал!

И крикнул вдогонку:

— Василий Алексеич! Прислал бы старшего: я хоть бы муки вам нагреб с пуд. Небось на пайке сидите?

Но Пузырев не обернулся.

Объединилось в артель к Казанцеву старателей человек шестьдесят, все больше из неудачников, от которых «платинна уходила», еще бабы-вдовы, молодые ребята, девки — безотцовщина. Крепкие старатели, как и предполагал Казанцев, в артель не пошли.

Первое время ходил новый председатель хмурый: дела шли через пень-колоду. Зиму работали по-старому: били шахты, возили пески к реке на промывку. Зима, как на грех, была морозная, ветреная. Бабы на реке мыли, стоя в сугробах по колена: проруби замерзали, дороги передувало. К рождеству из шестидесяти членов артели осталось человек тридцать пять — таких, кому податься некуда. Кто «покрепче», ушли, забрали с собой старательскую снасть, которую отдали было артели. Когда еще новую-то наладишь, а пока хоть зубами землю грызи!

«Ох, и горлохваты! — негодовал про себя Казанцев. — Как это я опаскудился, барахло такое в артель пустил? От первого ветра сломился, леший бы их задавил!»

Но и самого порой очень одолевали сомнения: за чужую-то беду радеешь, а как бы самому на бобах не остаться?.. Но виду не показывал, по-прежнему шутил с бабами, сам помогал, где мог.

— Бабы, айда в теплушку! — кричал он копошившимся на занесенном снегом Тылыме мытьянкам. — Солнышко-то на ели, а мы еще не ели!

Обедать домой не ходил. В теплушке, у чугунной печки, грелся вместе с работницами, ел белые от холода калачи, запивал кипяточком. Наевшись, никого не обходил вниманием: и с девушками и с бабами заигрывал, баловался.

— Я у вас, как петух! — весело говорил он. — Со своими-то мужиками вам поди не так весело?

А дома Казанчиха изводила мужа, пилила, как тупая пила:

— Точишь там ласы-то со своими голодранками, время попусту тратишь, добро упускаешь. Мелкие старатели, кто в артель не пошел, мешками вон муку-то везут...

— Что тебе, есть нечего? — зло отмахивался Казанцев. — Муки в ларе на два года вперед. Что ж другим-то говорить...

кого вовсе пусто? А они вон не бегут, на меня надеются. Что ж, я должен людей на полпути бросить? Вот лето придет; мы еще тем бегунам-то покажем! Не запросились бы обратно. Гидравлику будем строить, это тебе, милка моя, не с кайлой да с тачкой!

Объяснять жене, что такое гидравлика, Казанцев не стал: по ее умишку этого лишка. Но с Борисом обсуждали все часто и горячо.

— Мониторщиком будешь,— обещал Казанцев.— Машина такая водяная, как из ружья, водой бьет, породу размывает. За день-то, говорят, кубиков сто земли своротить может. Вот, а ты говоришь, Бориско! Раста, сынок, скорей: помощники нужны.

С весны начались подготовительные работы. На Тылыме выстроили моторку, привезли два мотора-насоса, протянули трубопровод метров на сто, прямо к старательскому разрезу. С конца апреля и днем и ночью стали качать воду из Тылыма, бить из монитора по твердой, как гранит, мерзлой земле. Лишь с середины мая началась потайка, стала оползать, оплывать земля. Мелкий каменистый овражек разработали за месяц в глубокий, метра на три разрез.

Сам Казанцев в брезенте и высоких старательских сапогах по целым сменам стоял за монитором, гнал водяной струей рыжую, глинистую кашу по канаве, в которую обрушивались оползающие борта разреза вместе со скользкой, грязной дерниной, с пнями, корнями, со старой, разбухшей крепью от выработанных шахт. Время от времени делал Казанцев знак рукой, и кто-нибудь из рабочих бежал в моторку сказать, чтобы остановили воду. С шипением умолкал монитор, и тогда в разрез спускались бабы, ребята. По колена вязая в размытой породе, выбирали крупные камни, коряги, пни. Камни скидывали в кучу, остальное тащили на борт, ушить на дрова.

Приходил горный мастер, хвалил работу Казанцева:

— Способный ты мужик, партизан! Будто век за монитором стоял: гляди, как выгонку-то сделал! Бывал я на других гидравликах: пока научатся, не один месяц землю с места не место зря гоняют. Вот, как майский план дернешь, загремишь всю Европу!

— Так уж и загремлю,— скромно улыбался Казанцев.— Пусть бы уж бабенок моих подбодрить, одеть, обуть маленько. Ведь бегают, сердяги, в холодной воде день-деньской.

И правда, работницы, кто в резиновых сапогах, а кто и в птишках, бродили по канаве, «мутили» воду лопатами, сго-

няли лишнюю иловину. Тут, в узкой канаве, куда умело согнал Казанцев перемытую породу, оседала тяжелая платина вместе с мелким галечником и железорудными частицами. Жидкую иловину уносило обратно в Тылым.

В конце мая выключили моторы, установили станок-американку и все, что снесла вода в канаву, стали задирать лопатами, возить в тачках по скользким, гнущимся покатам и вываливать в высокую деревянную колоду. Работницы мыли в пять скребков, сменяя друг друга.

Начали сполоск и ахнули: рогожки на станке серебрились, как посыпанные крупной солью. Споласкивал сам Казанцев, время от времени грея закалевшие от холодной воды руки над котлом, в котором бурлил кипяток.

— Ой,— почти с ужасом прошептала одна из работниц.— Поди, фунтов пять будет!

— Сколь ни есть, вся наша! — весело отозвался Казанцев.— Ну-ка, бабоньки, плесните еще кипяточку! Хотя руки обморожу, а уж доведу до последней крупинки!

Аккуратно собрал всю платину в ковш, прикинул на вес, подмигнул возбужденным от любопытства бабам, которые наверное, в первый раз за всю жизнь видели такое богатство.

— Ну, члены правления, давай опечатывай по всей форме.

— Не говори-ка ты ерунду-то, Иван Андреевич! Твоя рука верней печати,— заговорили кругом.— Несите нёто быстрее в контору, а мы уж тут зажмуримся да будем ждать.

Однако Казанцев ссыпал платину в большую кружку, расплавил сургучик, опечатал.

— Так вернсе будет, спокойнее. А теперь айда в контору!

Три дня кряду гуляла артель Казанцева, праздная богатую намывку. Позабыли о голодных днях на подготовительных и зимних работах. Последний мальчишка, выбиравший камешки из забоев, и тот не один мешок белой муки получил из «Золотоскупки». Те, что зимой убежали из артели, пришли с заявлениями. Но Казанцев сложил крупный кукиш:

— А этого не хотите? Как по пословице: «Деньги есть — Егор Егорыч, денег нет — Егорка сволоочь!» Нет уж, не надобно нам вас таковских. Пировать вместе — и голодовать вместе. Правильно, бабоньки, я говорю?

— Правильно! — в один голос закричали работницы, и даже мужики поддакнули.

Пробовали и по-другому подъехать к Казанцеву: приходили домой с магарычом в кармане.

— Да ты только прикинь, Иван Андреич, что у тебя за

артель: Шоша да Ероша да Колупай с братом. Плану-то тебе сейчас подкинут, с кем ты его выполнять-то будешь? С бабами, с ребятишками? Чего они смыслят в старательском-то деле?

— Ничего, — спокойно говорил Казанцев. — Бабы, что ж они, не люди? Медведей, и тех выучивают. А у меня бабеночки подобались ядреные, как орех, так и наводят на грех. Уж как-нибудь управимся. Машины оправдают.

После майского сполоска как камень с души свалился у Казанцева. Понял, что артель — золотое дно. Людей накормил, обул, одел, и самому не маленько пришлось на девятый разряд: даже Наталья, на что жадна, и та довольна осталась. Казанцев по случаю богатого заработка накопил домашним подарков: Борису двухколесный велосипед, первый на приiske, суконную пару, в которой тот чуть не потонул. Младшему сынишке, Яшке, — деревянного коня, пугач с пистонами, матросскую шапку. Жене привез из Верхотурья необычную для приисковых баб узкую бархатную юбку и городскую шляпку. Но Казанчиха, и без того красотой не славившаяся, в этой шляпке да юбке даже мужу показалась чудной.

— Ты уж не надо... не носи, — пряча улыбку, сказал он.

— Так ведь деньги плачены...

— Ну и что? Денег теперь хватит. А народ смешить нечего.

Взял Казанцев у соседа лошадь, привез из «Золотоскупки» два мешка крупчатки, мешок песку, ящик вина. Вскоре же нанял в дом одинокую старуху, чтобы помогала отяжелевшей Наталье стряпать и ходить за скотиной, полоть большой огород. А особенно, чтобы смотрела за восьмилетним Яшкой; не опился бы стоялой браги, не запалил бы дом и двор. Яшка был любимцем матери, и бить его не дозволялось даже отцу.

В артели все пока как будто шло своим чередом. Но скоро понял Казанцев: как ни выручают машины, а нужны к ним мелкие, ухватистые руки. Надо было кого-то обученного и к насосам посадить, и к монитору такого человека поставить, который бы воду попусту не перегонял, а валил бы кубаж. Нужны были слесари, чтобы разобрать, собрать магистраль, а и просто нужны здоровые мужичьи руки, чтобы тянуть эту сую железную махину — гидравлику. Бабы, как ни старайся, бабы и есть. Их и побережь надо, а то родить некому будет. Пять же и самому на всякое дело не разорваться. И так уж каждый раз, когда видел, что тянут работницы какую-нибудь желую трубу и причитывают нараспев, как кунгуряки:

«раз-два, взяли, да раз-два, взяли!..» — спускался в разрез, брал тяжелый лом и помогал, разом столкнув трубу с места.

— Не впрок я вас кормлю, бабы: толстеете, а силы не прибавляется.

А бабы рады-радехоньки, смеются, перемигиваются. Посмеется с ними и председатель артели, ущипнет какую-нибудь под ревнивые взгляды остальных.

Радовало Казанцева, что последней на прииске ослабшей от работы бабенке, последнему мужику-неудачнику, копавшемуся день-деньской вместе с малыми ребятами где-нибудь в старой выработке или ломавшему спину на богатого старателя, дал теперь он, Казанцев, верный, надежный кусок. Уж богата ли, бедна ли будет намывка, знал каждый, что государство в беде не оставит, поддержит артель. Тем более, что артельщик авторитетный.

— Намоем — рассчитаемся, — уверенно говорил Казанцев, приходя в главную контору прииска за авансом. — Перед хорошими старателями земля в долг не ходит.

в

Дом у Казанцевых был большой, крепкий, выкрашенный в охру и под зеленой железной крышей. У тесового забора росли кудрявые рябины, в палисаднике под окнами — черная смородина. Во дворе из крепких бревенчатых стен торчали большие деревянные гвозди-костыли: сюда вешали упряжь, хомуты, дуги, шлеи. На второе лето, как организовалась артель, Казанцев купил лошадь, смиренного рабочего мерина. Лошадь он отдал в работу артели, на ней возили из лесу столбы, жерди, крепь, а зимой по льду — груженные промерзлой породой сани-палуба. За это артельный счетовод начислял Казанцеву семь трудодней в день.

Тем же летом Казанцев сказал жене:

— Знаешь что, милка моя: ступай-ка ты тоже в артель. Уж я стерплю, что одной бабой больше будет. Знают, что ты не больно разворотистая, но из уважения ко мне четвертый разряд тебе как-нибудь положат. Да и проветришься маленько, а то от тебя избытком духом так и шибает.

Не бывало того, чтобы Казанцев побил жену. Но уже вскоре после свадьбы стала она примечать, что муж крутится около чужих баб, пропадает где-то по вечерам. Когда приходил, Наталья, нарочно открыв окно, подолгу громко и нудно ругалась, не стесняясь соседей, которые тоже открывали окна и прислушивались.

Уже когда Казанцев стал председателем артели, он здорово «присох» к одной красивой немолодой татарке Бабиссаре. Долго на «Морозном» помнили, как схватилась Казанчиха с Бабиссарой около магазинов.

Невысокая полная Наталья, охрипшая от ругани, как слепая, тянулась, чтобы схватить Бабиссару за кудрявые черные волосы. Та ловко поймала Казанчиху за руку, выкрутила так, что Наталья из красной сделалась белой, оттолкнула прочь.

— Крычи шибча, разевай рот! — сказала Бабиссара, победно улыбаясь. — Драться со мной хочешь, весь твой рыжий голова набок будет!..

Казанчиха, задохнувшись, отошла в сторону, поправила сбившийся платок на редковолосой рыжеватой голове. Но не желая оставить за Бабиссарой последнее слово, опять заголосила:

— Мало тебе, стерве, своего мужика, так искала бы хоть неженатого! А то, шлюханка такая, норовишь чужого мужа испоганить!

И вот в этой истории с Бабиссарой Казанцев в первый раз пригрозил жене:

— Удушю! Поняла? Все патлы твои рыжие вырву! Ты же, корова, авторитет мой перед людьми топчешь!

От Бориса отец особенно не таился: когда ездил по делам, брал его с собой. Борис ночевал около лошади, а Казанцев у красивой «кумы».

— Молчок, Бориско! Наше с тобой дело мужиковское: друг за дружку!..

А вот маленький Яшка один раз «засыпал» отца. Наталья уехала в Кушву в церковь (ездила она дважды в год: на Андриана и Наталью и на родительскую); ребята легли спать, работница тоже наконец уgomонилась, и Казанцев, надев галоши на босу ногу, вышел, примкнув двери с крыльца.

Яшка с печи углядел, как прошла отцова тень мимо окна в огород, слез с печи и босиком, через окошко, чуть не столкнув горшок со столетником, соскочил в мокрую траву. Увидел, что в банном оконце слабо мерцал керосиновый мигач. Раздвинув холодные лопухи, стал на цыпочки, заглянул в окно.

— Ах ты, лешачонок! — Отец оттолкнул какую-то молодую душку, выскочил из бани и, сорвав пучок крапивы, погнал Яшку, стегая по босым ногам. — Материна порода еретицкая! Так надеру, неделю на зад не сядешь!

В остальном же все в доме у Казанцевых было хорошо,

ладно. В просторных сенях стоял огромный деревянный ларь на две половины. В одну половину ссыпали ржаную муку, в другую пшеничную. Из «ржаной половины» брали только для скотины, а из «пшеничной» старуха работница нагребала каждый вечер здоровущее сито, просеивала муку над большим скобленным столом и заводила полупудовую квашню. Утром поднималась чуть свет и пекла круглые, надутые калачи, лепешки; оставшееся от вчерашней выпечки ломала, крошила и несла корове и курам.

— Может, перепустить денек, не стряпать; Иван Андреич? Кусками завалились... Крупчаточку-то поберегчи бы.

— Это ваше бабье дело, — отзывался Казанцев. — Охота есть, руки доходят, так стряпайте! А об муке не речь: что мы, нищета, что ли, какая, погорельцы?

Брага в доме не переводилась. Ее пили все, включая и Яшку, к ней привыкли и даже не хмелили. А в глубоком голбце всегда хранилось у Казанцева несколько подернутых холодком, чуть голубоватых бутылок, тем более что редкий день обходился без гостей. На угощение Казанцев был не скупой, тотчас появлялись на столе пельмени, курники, шаньги, которые была мастерица стряпать казанцевская работница. Но пили гости много, а ели мало, и угощение черствело и доставалось тем же курам или собаке Полкану.

В артели у Казанцева тоже дело не стояло. Месяц к месяцу выполняли план, снимали с рогожек богатую платину. Но Казанцев уже не ворочал больше сам тяжелый ствол монитора, не таскал сам на плече трубы и крепь. Приходил он теперь на гидравлику в хромовых начищенных сапогах, в суконной паре, снова стал солидно прихрамывать и даже брал в руки резную тросточку.

«Вроде кстати она, эта хромота, пригодилась, — думал Казанцев. — А то что, ведь сорокалетнему мужику не положено руки в брюки ходить, стыдно как-то...»

Принял Казанцев в артель нужных, понимающих людей. Принял и тех, кого грозился когда-то на пушечный выстрел не подпускать: что ж поделаешь, на прииске толковых старателей не лишка. Сам не возьмешь, так вон другие артели организуются, туда пойдут. А с одними бабами, хоть и мягкие они на ощупь, а настоящего дела не сварить.

— Я вас, бабоньки, в обиду не дам! — обещал Казанцев работницам, когда те косились с опаской на новых своих начальников-бригадиров, бородатых, хитроглазых мужиков. — Пока я живой, никто у вас ни разряда не отымет, ни трудо-

днем не обочтет. Мы сюда с вами первые пришли, голыми руками камень дробили...

А когда заикнулся кто-то из «новых», что не многовато ли бабам, ребятишкам по четвертому-пятому разряду давать, Казанцев сказал хмуро и твердо:

— Что там на Кудыкиных горах делается, мне на это наплевать! А здесь моя артель! — Он пристукнул кулаком по столу. — Моя! Нынче вы пришли, робите, а завтра прослышите, что у соседей больше намыли, опять побежите? Так не вам и порядки устанавливать.

Хоть редко спускался теперь сам Казанцев в разрез, но без дела не приходилось сидеть: то катил в Присковое управление, то в механическую мастерскую, то на соседние прииска перенимать опыт. Ездил на слет ударников в область. Вернулся с модной стрижкой и в штиблетах вместо сапог. Стали приезжать на «Морозный» газетчики, фотографировали Казанцева и на борту старательского разреза и дома с семьей за самоваром. Борис с Яшкой вышли как живые, а отец с матерью какие-то чересчур надутые, важные. У матери от важности даже глаза раскосились.

— С какого года в партии? — спросил газетчик Казанцева, строча что-то в блокнот.

— Беспартийный я.

У газетчика поехали на лоб брови.

— Как же это так? — с искренним удивлением спросил он снова. — Это, знаете ли, с вашей стороны большое упущение. По вашему положению, я думаю, что, конечно, и по взглядам, и по вашему прошлому... Вступайте в партию, товарищ Казанцев!

— Да ведь я думал... — угрюмо и виновато сказал Казанцев.

Этими же днями зашел Казанцев в партком к Пузыреву.

— Ведь вы небось нагрузками своими задушите. А то бы я, конечно... У меня с партией одна дорога, сам знаешь.

— Главная твоя нагрузка — давай стране побольше металла, — сказал Пузырев. — Мы им за машины расплачиваемся, а не на кольца-серьги переводим. С этой нагрузкой, Иван, ты справишься. А вот как насчет другого... Хватит ли у тебя характера настоящим коммунистом стать? Я тебе честно скажу: не легкая это, Иван, штука! Если корысть тебя толкает, то лучше не ходи. Рано или поздно, помани мое слово, всех таких позовут к ответу.

Казанцев помолчал, сведя брови.

— Корысти у меня никакой нет... Если доверяешь, напиши мне, Василий Алексеевич, заявление. Сам-то я, знаешь...

Пузырев достал листок жесткой, серой бумаги, поглядел на Казанцева, усмехнулся и стал писать.

— Не учел я, что еще тебе нагрузка положена: неграмотность свою ликвидировать. Перед ребятами своими не стыдно, а, Иван?

— Ладно, пойду, — сказал Казанцев, свертывая заявление и пряча его в карман. — Пойду, пока ты еще какую-нибудь нагрузку не придумал. Соберу поручительства, тогда жди.

Недели через три принес Иван Казанцев домой партийный билет. Показал жене и детям.

— Он мне еще двенадцать лет назад в руки просился. Да все думал — недостойн... Теперь с полным правом в карман положу.

Погладил большой шершавой ладонью красный коленкор.

— Вот поеду в район, закажу кожаные корочки, чтобы в порядке лежал. И дай-ка мне, мать, десятку совзнаками: надо первый взнос уплатить.

.

Действительно, нагрузками Казанцева не «душили». Два раза в месяц запрягал Рыжка, ехал в Присковое управление на партсобрание. Выступать не любил, садился подалее, за спины горных инженеров, мастеров, аппаратчиков.

— Ты что же, Казанцев, отмалчиваешься? — подбивал его на выступление Пузырев. — Что у тебя, и слабых мест нету, не на что пожаловаться?

— У меня одно слабое место, — сдержанно отзывался Казанцев. — Сквозь землю не вижу. А видел бы, куда бог платину рассыпал, всегда бы моя артель все ваши планы перевыполняла.

И спохватился про себя: «Зря я про бога-то!.. Еще не так подумают...»

Но никто ничего не «подумал», только засмеялись. Улыбнулся и Пузырев. После собрания задержал Казанцева.

— Вот сидишь ты, Иван, а в глазах у тебя: что, мол, они тут штаны просиживают, бумагу изводят? А между прочим, Иван, кому-кому, а тебе очень полезно здесь посидеть. Ты вот коллективом людей руководишь, а ведь ты человек-то совсем дремучий. Если на самотек пустить, может тебя свободно в сторону повести.

— Куда это в сторону? — уже недовольно спросил Казанцев.

— А вот куда: собственничество в тебе еще живо. «Моя артель, мои рабочие!» Выходит, артель твоя, а планы наши? А ведь я считал, Иван, когда тебя в партию принимал, что нет для тебя ни твоего, ни нашего... Думал, в одну душу будем работать.

— Так ведь я и работаю... — опешил Казанцев.

Пузырев видел, что тот растерялся и даже пот заблестел у него на висках. Но решил разговор довести до конца.

— Будем честно говорить: по уставу тебе полагается иметь от седьмого разряда до девятого. Какой у тебя?

— Ну, одиннадцатый... Ведь общее собрание утвердило. Ты погляди, какая артель-то стала — махина! А в других-то артельщики задаром, что ли, работают?

— Так ведь они, Иван, беспартийные и за советскую власть не воевали. Был я тут у вас на «Морозном», заглянул твоему счетоводу в расчеты... Многовато, Иван, гребешь! Втрое против иных рабочих. Им-то не спешишь разряды повышать. Люди, выходит, не растут, один ты всех обогнал.

— Это правление решает, — сухо и не глядя Пузыреву в глаза, ответил Казанцев.

— Думается мне, приручил ты их, подпевают они тебе. Вот еще хочу сказать: зря ты тестя своего артели на шею посадил.

— Это кому же он поперек горла стал? Старый старатель, мудрый мужик...

— Видел я, как этот «мудрый» на борту отсиживался, пока бабы в разрезе по колено увязали. Да кому сейчас его «мудрость» нужна? Геологоразведка и маркшейдера без нее обойдутся. Артели же нужен честный труд. Таких вот «мудрых» наберешь, так настоящим труженикам вовсе получать нечего будет.

«Ишь ведь, леший долгий! — с досадой думал Казанцев, слушая Пузырева. — И когда заприметил?»

Но сердиться и обижаться на бывшего своего друга и командира не хотелось. Еще памятли были дни, когда готов был слушать Пузырева, ловить каждое его слово.

«Надо как-то ладком потолковать, — решил Казанцев. — А то ведь уходит дружба, зыбится, как песок...»

Взял вина, гостинцев ребятам, поехал к Пузыреву на «Трудный».

— Угадал ли, нет ли, Василий Алексеич, нынче Васильев

день. Преподобный там какой-то, не то мученик... Пахнет у вас пирогами?

Пузырев сидел вместе со своими ребяташками в сенях, рушил ячмень на ручном жернове.

— Верно, что мученик... Пособи-ка вот дорushить, тогда и пироги будут.

В доме у Пузырова было небогато, но чисто. Пузыриха, маленькая, низко покрытая белым платочком, испуганно оглянулась на гостя.

«А ничего бабеночка! Шека дергается, а в остальном вся в исправности. И такую горошинку поднялась рука у сволочей плетями бить!.. — подумал Казанцев. — Домишко-то, конечно, Алексеич мог бы и получше сообразить, пока начальником драги ходил. Ребятни-то вон настроил кучу, а хозяйствишко жидковатое».

Когда выпили и закусили, чуть захмелевший Казанцев горячо сказал, приваливаясь плечом к Пузыреву:

— Слушай-ка, Василий Алексеич! Брось ты дурью мучиться! Всякий знает, что у тебя зарплатишка не больно велика. Можно ли на нее жить? Так неужели артели обедняют, если подкинут тебе трудней по десятку?.. Ну, за счет общих расходов? Хоть ребят сладким куском порадует. Ты ж отрядом в двести голов командовал...

Пузырев нахмурился:

— Гляди, Иван, не погнал бы я тебя с таким разговором! Что я, или жаловался тебе? Привыкли вы, старатели, белые-то лепешки попекать да бражку тянуть. А ведь вся страна на пайке, на камсе соленой да на примороженной картошке... И города, заводы строят. Съездил бы на Магнитку, на Челябину. Или хоть бы уж газету нет-нет почитал, дубина ты калинова!

«Эх, не вышел разговор!» — трезвея, подумал Казанцев.

Но Пузырев, тоже немножко захмелевший, не унимался.

— Ты пойми, Иван, — тыкал он длинным, крючковатым пальцем Казанцеву в грудь, — государство льготу дает старателям потому, что золото, платина нужны... Белой мукой, колбасой вас потчует, налогов не берет. Вот, пользуйтесь, но не заедайтесь. И благодетелем себя не ставь. Что гостинцы ребятам моим привез, за это спасибо! Вон гляди, как жуют!..

И, сжав пальцы в кулак, пристукинул по столу.

— А от артелей крошки не возьму, и не предлагай, если хочешь товарищем остаться. Совесть, Иван, она дороже золота. Мы, Пузыревы, — рабочее племя. У нас и ржаной

кусок гладко идет, мы на чужие калачи не заглядываемся. Правда, Евдокия?

Неслышная Пузыриха заулыбалась.

— По пословице: ел бы ржаной, да спал бы с женой! — Пузырев потянул ее за руку. — Насчет этого у нас, Иван, порядок! План выполняем.

«Ох, и узловатый же мужик! — думал Казанцев, направляясь с «Трудного». — Что-то уж шибко партийный. Как таким-то жить? Ведь одна курица от себя гребет, дура... А этот и сам не «ам», и вам не дам... Пока совеститься будет, загнет-ся раньше времени и жизни хорошей не понюхает, за которую кровь проливал... Хоть бы портфелишко себе путный завел, а то ходит, бумаги свои в женин платок заворачивает».

Но Пузырев «загибаться» не собирался. Долго еще на приисках видели старатели его длинную, перетянутую ремнем сутулую фигуру. Приходил он в нужную минуту и уходил без шума. Но побаивались его председатели артелей больше, чем финансистов-ревизоров, которых при случае удавалось смягчить полупудом сахара или конфет-подушечек. А вот Пузырева не «подсластишь»!

7

Шла осень тридцать седьмого года. На приисках лили беспрерывные дожди. Лето порадовало богатой намывкой, но было тревожно: нет-нет да и поведут кого-нибудь из «прежних» трясти в НКВД — кто при французских хозяевах служил, кто в белых был, у кого, подозревали, скрыты золото и платина.

Словно обухом стукнули Казанцева по голове, когда узнал он, что ночью с «Трудного» вывезли Пузырева на лодке, посадили в закрытую машину и отправили неизвестно куда, — может, в район, а может, в область.

Это в голове Казанцева не укладывалось: «...чтобы коммуниста, красного командира!...»

И такой в него вселился страх, что долгое время ни о чем другом думать не мог. Ведь если так, то могут прийти и за ним... Жизнь Пузырева Казанцев знал: вместе воевали, вместе вернулись. Ну, отъезжал Пузырев с приисков на недолгое время, был на партийной учебе, на коллективизации где-то под Ирбитом... Так что он там мог натворить? Если сказал что не так? Да ведь он и пьяным сроду не напивался, чтобы ляпнуть...

Когда вызвали Казанцева в первый раз в район, в НКВД,

хоть и крепкий, здоровый был мужик, а последняя жилка тряслась. Ехал, успокаивал себя: если что плохое, не вызывали бы, прямо бы забрали...

И резала голову такая мысль:

«А что, если это Пузырев там меня оговорил: собственник, политически отсталый!.. Артель на откуп взял, прижимает рабочий класс!.. Во время гражданской войны в партию не вступил, от должности на советской работе отказался, занялся частным старанием...»

Чего только не передумал Казанцев, каких только грехов на себя не возвел.

В кабинет следователя вошел бледный, дрожь в пальцах никак не мог унять.

— Вы Пузырева знали?

— Знал...

— Что можете сказать про него?

Казанцеву как будто кто в горло насыпал мелкого песку. А откашляться боялся.

— Вы на закрытом партийном собрании шестнадцатого января этого года присутствовали?

— Так ведь, как... Конечно. Не мог не присутствовать.

— Что говорил Пузырев, слышали?

— Не помню, что говорил... Много тогда говорили, разве каждое собрание упомянуть.

Следователь, видимо, знал, что Казанцев — авторитетная фигура на приiske. Поэтому говорил не резко, сдержанно.

— Возражал Пузырев представителю обкома партии, когда тот выдвигал новые цифры к плану?

Казанцев морщил лоб, напрягая память. Что-то всплыло: представитель говорил, что партия знает, как планировать. А Пузырев: «Партия-то знает, да сам ты в нашем деле плаваешь...»

— Вроде чего-то было... Точно не помню.

— Как же не помните, вы же там были, — уже резко сказал следователь. — Вы что, хотите выгородить Пузырева? Какие у вас с ним были отношения?

У Казанцева в глазах поплыло. А следователь, видя, как он напуган, снова сбавил тон.

— Вы были у него в отряде?

Казанцев кивнул головой, чуть шевельнув губами.

— Доверяли своему командиру?

Казанцев снова кивнул.

— Так вот, вы в нем ошибались: он предатель. Он предал

отряд белогвардейцам, все время поддерживал с ними связь и сообщил о местонахождении отряда.

Казанцеву чудилось, что это говорит не сидящий против него человек, небольшой, ничем не приметный. Тот только рот открывает, а сзади него включена какая-то машина, ей все равно, что сказать... Казанцеву вдруг стало тошно. «Как же ты, недоношенный, можешь судить такое дело?..» — с ужасом подумал он, мучительно вспоминая все пережитое в те годы. Как ни запутано все было в голове, вспомнил село, затерянное в тайге, куда пришли ночью, в метель, замученные и голодные. Знали, что где-то рядом беляки, но идти дальше сил не было. А Пузырев настойчиво звал дальше, в тайгу... Скрепя сердце разрешил отдохнуть один час. Только тронулись, засвистели пули. Первая — Василию Алексеичу пробила шею около уха, сшибла с лошади прямо в сыпучий глубокий снег...

Казанцев понимал: все это нужно сейчас рассказать. И сиди перед ним его погодок, человек, перед которым не тошно раскрыть душу, Казанцев, может быть, сделал бы это. Но он, неумудренный в следственных хитростях, все же понял: нет этому доноску никакого дела ни до Пузырева, которого трижды настигала вражья пуля, ни до него самого, Казанцева: ничего он знать не хочет, делает то, что велено. Скажешь что-нибудь не так, придерется, самого запутает, и не видать тебе, Казанцев, больше ни жены, ни детей!..

— Я об этом ничего не знаю, — глухо сказал Казанцев. — Я в отряде был человек маленький...

Уж не помнил Казанцев, как прыгающими пальцами нацарапал фамилию под словами: о беседе с товарищем таким-то в районном отделе НКВД обязуюсь никому не разглашать, ни родным, ни близким, ни знакомым.

Домой не шел, а бежал, забыв про хромоту. Выпил дома один бутылку водки, но не захмелел.

— Ванюшечка, что ты? — спросила Казанчиха, когда услышала, что муж плачет, уткнувшись в подушку. — Ты что это, мой милый?

Казанцев не ответил: перед глазами стояло — обязуюсь никому не разглашать, ни родным, ни близким, ни знакомым.

...Недели две-три прошло, и больше не вызывали. А ведь каждый день работа, хлопоты, семья. Долго-то, зажав сердце в кулак, не проживешь. Казанцев встряхнулся, снова рьяно принялся за дела: сейчас самое время доказать, как надо для

советской власти работать, биться за металл. И на первом же общем собрании выговорил непривычную для него, шибко мудреную речь:

— Спусти рукава, товарищи, сейчас работать не приходится: враги-то вон народные не дремлют, норовят столкнуть рабочий класс с правильного пути. А партия чему нас учит? Партия учит, как этих врагов народных изводить, ни днем ни ночью глаз не затворять. Как мы с вами стоим около драгоценного металла — платины, мы не можем попуститься бдительным отношением, чтобы враги протянули руку до платины.

Понесло Казанцева, решил выговориться за столько лет молчанки на собраниях, которой еще не раз небось попрекнут.

— Мы, товарищи старатели, передовой коллектив на приiske. И пускай никто там не думает, что мы свою честь в грязь уроним. Государственное задание на зимний старательский сезон мы перевыполним и по кубажу и по металлу. Артель Казанцева не подведет! Раз партия и правительство на нас надеются, мы любую трудность обязаны одолеть. Такую и предлагаю отбить телеграмму областному комитету партии и исполкому...

Сел, вытер пот. «И откуда слова взялись? — подумал, оглядывая притихшее собрание, озадаченное необычной речистостью своего председателя. — Нужда научит калачи есть!»

Когда пришлось выступать в другой раз, было легче: лиха беда начало. На партийных и производственных собраниях в Приисковом управлении уже не садился Казанцев за чужие спины. Выбирал место поближе к президиуму, и если уж не брал слово, то проявлял активность «с места».

— Какой может быть разговор: ребенку ясно, выполним!

— На что нас тогда государству и хлебом-то кормить? Нажмем!

Работал Казанцев в ту пору действительно не покладая рук. За зимне-летний сезон тридцать седьмого — тридцать восьмого года артель Казанцева вырвалась на первое место не только по морозненскому участку, но и среди всех старательских артелей района, получила переходящее Красное знамя Приискового управления. Руководил Казанцев уже коллективом в сто двадцать человек; работали в двух разрезах, на два монитора в каждом. Перед сполоском кишели разрезы людьми: с кайлами, с лопатами, с тачками, как муравьи, торопко двигались по перекрещивающимся еловым покотам, перевозили тяжелую породу из канавы на промывочные станки.

Казанцев в дни сполоска не отходил от разрезов. Сам проверял качество задирки, считал тачки.

— Лопатой прихлопывай! — кричал он нагребщикам. — Пока докатит, половину тачки раструсит. Не глину возите, понимать надо!

О страхах прошлой осени стал Казанцев забывать.

«Вот выходит, что не сажают без вины, — думал он о Пузыреве. — Меня-то не тронули, раз не за что. Чего-то видно, напутал он, в уклон подался».

Но в предательство Пузырева не верил: «Это кто-то с дикой головы придумал. Хватились через восемнадцать лет!»

Месяцев через пять после ареста Пузырева пришла к Казанцеву совсем больная Пузыриха. Привела с собой застенчивого длинного парня в выгорелой красноармейской гимнастерке.

— Дождалась сыночку... Спаси ты нас всех, возьми к себе в артель.

Казанцев оглядел парня: отец, как две капли воды, такой же журавель длинный. В глаза не смотрит: может быть, из-за отца стыдится. А может, и за мать, у которой голову на сторону повело, и слеза из глаз бьет. Взять, конечно бы, надо...

— А что же поближе или мест, кроме моей артели, нет? За восемь-то верст ходить — на одни сапоги не наработает.

Пузыриха сильнее затрясла головой.

— На драгу-то сунулись, так не берут... А ведь ему шестерых кормить!.. Мне и Вася, как повели его, шумнул: иди, мать, к Казанцеву...

Не скажи Пузыриха последних слов, Казанцев, может быть, и взял бы парня. Но тут изведанный год тому назад страх снова подкрался к сердцу: «Может, потому и тягали меня тогда?.. Ишь, нашел куда посылать! А те небось сразу на заметку: дружок! Вот и теперь, возьми я этого долгого обалдуя, скажут — пожалел предательского сыночка. Нет уж, я не солнце красное, чтобы всех обогреть».

И сказал Пузырихе сухо:

— Такие вопросы я, Евдокия, один не решаю. Правление артели есть. Рабочих у нас сейчас полно, хоть отбавляй. Так что обнадежить тебя никак не могу.

И тут Казанцев поймал такой взгляд, которого, казалось, никак нельзя было ожидать от этого смиренного, молчаливого парня. Тот будто прочел казанцевские мысли. Взят мать за руку, повернулся и пошел, не попрощавшись.

Борису пошел пятнадцатый год, когда отец зачислил его в артель каталом по четвертому разряду. Никого это не обидело: Борис свой разряд оправдывал, парень он был работающий и безропотный. Целый день как заведенный бегал с полной тачкой по скользким от глины покотам. Бабы не поспевали ему нагребать. Все работницы его любили за легкий, беззлобный характер, за то, что умел молчать, никого не «подводил под монастырь». Поэтому бабы, не стесняясь, в открытую ругали при Борисе Казанчиху, честили почем зря:

— Уж эта торба лишку не переработает. Гляди, опять в теплушку сидеть пошла! Благо трудовни-то все равно начислят.

Борис незаметно уходил тогда за какой-нибудь большой камень, тоскливо глядел вверх на бегущие над разрезом облака и ждал, когда позовут:

— Борис Иваныч! Катя: полна!

Года за два до войны (Борису пошел уже восемнадцатый) один из старателей, пожилой мужик Боголюбов, привел к Казанцеву молодую девчонку, робкую, худо одетую.

— Возьми хоть на второй разряд. Будь отцом, Иван Андреич! Племянница-сирота. Осталось их двое от брата, домишко на «Лебязьем» совсем плохой. Пришли ко мне, надо пристроить к делу...

— Ладно,— добродушно сказал Казанцев. Вопросы такие он решал теперь без согласия правления.— Кому я когда отказывал? Возьми аванец, справь ей сапожки хоть какие мало-мальские. Не босой же ногой ей в разрез на камни лезть?

На другой день Бориса послали возить на казанцевском Рыжке галечник, чтобы подсыпать под моторку, а то грунт просел, вода стоит, не пройдешь. В помощь дали боголюбовскую племянницу Нюрку. Борис возил на таратайке-двухколеске голубой галечник, а Нюрка должна была насыпать и разравнивать.

— Какая же ты старательница? Ты и лопаты, видно, никогда в руки не брала,— улыбочиво сказал Борис, видя, как неумело тычет Нюрка большой лопатой, напирая на черенок впалым животом.

— А мы дома и не старались,— тихо ответила девчонка.

— Чего же вы делали?

— Мы с мамкой одеяла стяжили. А тятя на драге...

Борис взял у Нюрки лопату, показал, как поддевать через

согнутое колено. Но уж так получилось, что развалил и разгреб почти все сам Борис. Нюрка только ходила следом, опустив маленькую голову, повязанную синим платочком в горошек.

В обед они сидели вдвоем на берегу Тылыма, недалеко от моторки, на вымытых серых камнях, и Борис отдал Нюрке свои пшеничные калачики, вареное яйцо и кусок холодного мяса.

— Я последний раз яйцо на пасху ела, — бесхитростно призналась Нюрка и ласково поглядела Борису в глаза.

Он ей, конечно, нравился. После суровой нужды и бедности радостно было глядеть в синие, чистые Борисовы глаза, на его светлые, рассыпающиеся волосы, которые так и хотелось пригладить, пощупать. Щеки у Бориса были мягкие, розовые, как те калачики, которыми он угощал Нюрку, и словно кто пальцем в них ткнул: проступали глубокие ямки.

— У тебя рукавички есть? — спросил Борис, глядя на красные, порепавшиеся от холодной воды и ветра Нюркины руки. — Без рукавичек нельзя: сгубишь руки. Будут крючечные, как у старой бабушки. Кто захочет за ручку подержаться, обдерется.

А сам, не боясь ободраться, взял Нюркину ладошку в свою и подержал.

С тех пор Нюрка расцвела. Сняла свой серенький залантанный пиджачок и приходила на работу в красной, обшитой кружевом кофточке, даже если было холодно. Платком больше не покрывалась, а стала вплетать в косы яркие ленточки, завязывая их бантиками возле ушей.

Если Бориса посылали в забой, Нюра первой хватала тачку и становилась к нему откатывать. Если стоял за монитором, она чутко дожидалась сигнала, чтобы открыть или перекрыть воду, а потом бросалась убирать камни, вымытые из забоя. Когда Бориса посылали с лошадьёю в лес, он делал Нюре молчаливый жест, она шла в теплушку, где хранился инструмент, брала два топора, веревку и бежала догонять Бориса.

— А работница она не ленивая, — отметил и сам Казанцев. — Не гляди, что эдакая блоха! И блоха-то, надо сказать, укусливая: за сердце норовит. Ты как, замечаешь, а, Борис?

Борис краснел и улыбался.

Узнал, что Нюра именинница, решил подарить ей бусы или колечко. Зашел в лавку, постоял, но купить не решился: догадуются, для кого берет. Послал Яшку, тот мигом слетал, приволок большое кольцо с камушком и утаил сдачу.

На другой день рубили мелкий ельник на полигоне. Нюра, став на колени, раздувала огонь под кучей хвои. Борис подошел потихоньку, сунул ей в руку кольцо.

— Да у меня в него два пальца влезут!.. — озадаченно, по радостно сказала Нюра. — Вот это купил!..

И увидев, что Борис огорчен, поспешно добавила:

— Да это ничего: пальцы, они ведь тоже растут. А пока — память. — И спрятала кольцо, завернув в платок, за пазуху.

В тот день Борис в первый раз услышал, что Нюрка поет голосом тоненьким, подражая бабьему:

Милый пишет письмецо:

Милка, носишь ли кольцо?

Я в ответ ему пишу:

Как же, миленький, ношу!..

Подошла зима.

Долгие зимние вечера проводил Борис в избе у Боголюбовых. Казанцев смотрел на это снисходительно. А Казанчиха бранилась:

— Приворожила, что ли, она парня? Холера ее понеси! Вся душа разрывается: разве она ему пара? И лицом-то так себе: на носу сороки ночевали. А уж голь, голь перекатная! Последняя коза скоро с голоду поколеет.

Даже Яшка, и тот посмеивался: как у нашей Нюрки фетровые бурки, а еще баретки — двадцать четыре клетки!

И, встретив Нюру на прииске, кричал вслед:

— Эй, не торопись, портянки разматаются!

Но Нюра, казалось, ничего не замечала: только бы был с нею Борис!.. У нее даже все внутри болело, когда ждала его и боялась, что не придет. Если же стояли вдвоем в темноте, прислонясь спинами к сараю или к бревенчатому заплоту, и Борис шарил рукой в теплой Нюркиной пазухе, она заливалась стыдом, но руки его никогда не оттолкнула: только бы не уходил.

— Я ведь тебя, Нюрочка, хочу взамуж взять, — сказал как-то Борис.

— Меня не распишут: я с двадцать четвертого...

— Распишут. Отец все может...

— Только я к вам жить не пойду, — робко шепнула Нюра.

— Что так? Да оно, конечно, как хочешь... Можно и у вас.

Снег засыпал их обоих, но им было тепло. Стояли до тех пор, пока старик Боголюбов не открывал тяжелую, забухшую дверь и не кричал в темноту:

— Анна! Тотчас ступай в избу! Хватит заборы подпи-
рать!

Но жениться Борису не пришлось: весной пришла повестка из военкомата, и Казанцев сказал жене:

— Пускай послужит, а то что-то дурь стала в голову лезть. Женится да оставит тут нам сношку с добавкой. Качай тогда!..

Год слал Борис письма с западной границы. Прислал и несколько фотографий, где был снят в пограничной форме и с собакой. Редкую неделю не заворачивал почтальон и к боголюбовскому двору. Пробовала Казанчиха перехватывать письма, но ничего не вышло. За год набрала Нюра Борисовых писем с полсотни и перечитывала их все по многу раз.

Последнее письмо пришло в канун войны.

В то ясное, солнечное воскресенье Иван Казанцев проснулся не по обычаю поздно: накануне были гости, засиделись за полночь, насилиу выпроводили к рассвету последнего охмелевшего гостя.

«Не пойду завтра на гидравлику, — ложась с тяжелой от браги и спирта головой, думал Казанцев. — Пропади они!.. Сробят как-нибудь...»

А самого точила забота: выходил из строя насос, после дождей в Тылыме поднялась вода, вот-вот затопит моторку...

Проснулся только тогда, когда застучали в окно:

— Чего спите-то?.. Ведь война!..

«А как же Борис, ведь он там?..» — ошеломленно подумал Казанцев.

А вторая мысль была: «Как уберечь Яшку? На тот год и ему призываться... Самого-то уж, надо думать, не возьмут: и тут нужен».

И вдруг, как огнем ожгло: «Борьку будут там убивать, а я здесь?.. Еще ведь и глаза видят, и руки не дрожат, а что хромота, так это больше для вида... Как же мне?..»

Долго стоял, неподвижно глядя перед собой. Потом, словно очнувшись, шагнул к порогу. Задержался на секунду, протянул руку, взял свою палку и пошел, припадая на ногу сильнее обычного, сутулясь и не глядя ни на кого.

Опоясала тоска сердце Ивана Казанцева: в доме четверо, считая старуху работницу, а дом пуст, холоден, как весной погреб. Видно, много места занимал тихий, ко всем ласковый Борис. Бывало, сунется к работнице, так чтобы мать не слышала:

— Ерофеевна, пирожка не осталось?

— Небось раскрасавице своей понесешь?

— Ясное дело, не воробьев кормить. Заверни, пожалуйста.

А вот не стало Бориса, и заметил Казанцев, как сникла, примолкла прежде всегда приветливая, безответная старуха и словно через силу делала все.

Однажды зло ответила Яшке, когда потребовал он вдруг ни с того ни с сего мясных пельменей:

— Как вам в горло-то лезет? Борис-то Иваныч, может, при смертной постели... Может вовсе уж в живых нет, а вам то пельмени, то пироги!..

Потом стала собачиться и с Натальей.

— Много я перетерпела, Иван Андреевич, от твоей-то хозяйшки! — сказала старуха как-то Казанцеву. — Тебя уважая да сына твоего старшего любя. А нынче будет уж. Яков Иваныч вон какая детинушка стал, а ходи за ним, как за малым, да охальство слушай. Ведь и у меня душа, а не бала-лайка. Да такое теперь время... В церковь вот хотела сходить, дня в четыре бы обернулась. А хозяйка твоя не пускает. Ей самой бы сходить не грех: ведь сын воюет. Уж как ее воля будет, а я пойду: у меня три племянника на фронте, да и за твоего сына помолюсь.

Казанцев молчал, озадаченный неожиданной речистостью старухи работницы. Привык он к Ерофеевне, чувствовал, что без нее пойдет все в доме через пень-колоду, но возражать не стал, когда собралась она уходить совсем.

«Так, может, и лучше. Не такое время, чтобы прислугу держать».

Отобрала война у Казанцева и лучших его рабочих: ушли на фронт молодые мужики, ребята. Как и в первый год своего председательства, остался он почти с одними бабами и первое время хлебнул горя. Пришлось снимать хромовые сапоги и суконную пару, спускаться в разрез и в шахту.

Но вскоре же увидел Казанцев, что вокруг него не прежние неумелые, суетливые бабенки, способные лишь скребком скрести да камни таскать. Пока верховодили, бригадирили мужики, бабы-то, оказывается, присматривались.

Первой подошла к Казанцеву Нюра Боголюбова:

— Иван Андреевич, разреши в ночную смену за монитор стать.

— Куда еще! — отмахнулся от нее Казанцев. — Не хватало, чтобы канаву загубила, пески все перебуравила.

— Дай попробовать, — просила Нюра.

Казанцев позволил, утром сам поднялся чуть свет, пошел

к разрезу. Маленькая фигурка темнела на белых камнях. Со свистом била вода по оползающему борту, широким ручьем направлялась в канаву породе. Казанцев взял мерку, прокинул забой: кубометров двадцать согнала, хоть и темно было, всего два фонаря на весь разрез.

— Что ж,— сказал он,— толково! Заколела небось!

Нюра кивнула головой, повязанной старым полушалком. На Казанцева глянули усталые, но радостные глаза, а губы запрыгали в улыбке.

«Ишь ты, незаметно наш цыпленок курочкой стал!» — подумал Казанцев. Он отпустил Нюру греться, сам доработал остаток смены.

Скоро улеглись тревоги Казанцева: ко всякому делу приспособились бабы — и к монитору, и к насосу, научились разбирать и собирать трубы, переносить магистраль. А во время сполоска вся работа ложилась на них: мутили, задирали канаву, катали тачки, промывали... Казанцеву оставалось только взять пехло, щетку и сполоснуть.

«Так еще ничего...— думал он.— Так еще работать можно. Конечно, тут каждую минуту надо начеку быть. Так ведь за это мне и броню дают, на фронт не посылают. А руководить бабами куда меньше нервов надо: тут уж слово мое — закон!»

Была тут и другая выгода, о которой Казанцев мог признаться только самому себе: платил он бабам за мужскую работу поменьше, чем, бывало, платил «заправским» старателям. Самый высокий разряд для женщин был пятый — пять и семь десятых трудодня за смену. Себе же по девятому разряду — одиннадцать трудодней ежедневно. Если приходилось при средней намывке работницам килограммов по двадцать — тридцать мукой в месяц, артельщику — все семьдесят — восемьдесят. Ну, а с женой да с сыном, в кучке, набегало порядочно, другой семье такое и не снилось в те голодные годы.

— Живут Казанцевы! — поговаривали на приiske.— Оборотистый оказался мужик.

На эти слухи Казанцев особенно внимания не обращал: пусть говорят, человеческий глаз завистливый. Никто не укорит, что не по закону действую!

И приказывал счетоводу:

— Чтобы в документах — полный порядок! Грамма лишнего не приписывай, мне артельного не надо. Лучше своим поступлюсь.

Бывали месяцы, что работала артель чуть ли не впустую:

сдавали в контору какие-нибудь разнесчастные пятьсот — шестьсот граммов платины. За каждый сданный грамм давало Приисковое управление только полтора килограмма муки, чуть-чуть сахарку, масла... Не то что в довоенные времена, когда получай за каждый грамм полтора целковых золотом и покупай на них что хочешь. Ведрами масло-то несли, кулями — сахарный песок.

Теперь уж не до сахару. Вся жизнь — в хлебе. За него все, что хочешь, купить можно: и людское доверие, и бабушку ласку, и любую приглянувшуюся тряпку. Вот почему чувствовал себя, как никогда, богатым Иван Казанцев, зная, что не один мешок самой лучшей, сухой, пшеничной муки есть у него в запасе. При самой маленькой намывке председатель артели в большом убытке не будет.

— А что же вы хотите, бабоньки, — говорил Казанцев работницам, — наше дело старательское. Пословица говорит: земля в долгу не ходит. Уж как-нечто подтяните пояски-то потуже, да следующий месяц нажмем! Сейчас по всей стране нужды-то лопатой не выгребешь. А нам на государство обижаться грех: сидим дома на теплой печке да еще нет-нет белый калач перепадет. А как же вон в Ленинграде люди с голоду мрут, под снарядами работают?..

Работницы вздыхали, соглашались молча и шли к богатым старателям менять последнюю одежду на горькую ржаную муку, в надежде, когда снова «фартнет», откупить обратно.

— Ой, Ваня, Катерина-то Попова какую шубу с лисой Борисихе за полтора пуда муки отдала! — сообщила как-то Казанчиха мужу. — Вредные же люди есть: председателевой жене нет чтобы предложить! Поташила в чужие люди, побоялась, мало дадим. А шуба-то какая! На шелковом подкладе!

— Ладно, молчи! — оборвал Казанцев. — У своих работниц не смей ничего брать. Нужно какое барахло — ступай на соседние прииска. А тут скажут, что обобрал своих же работниц. Авторитет-то дороже тряпок.

Сорок третий год был для Казанцева памятным. Все лето шла богатая платина. Год был мокрый, а это — верная старательская примета. Правда, полигон достался — голые камни. Дробили — руки в кровь! Без отдыха бегали бабы с полными носилками, не поспевали оттаскивать. Не одну пару сапог, ботинок, лаптей измозолили об острые камни. Но вся старательская мука оправдалась: каждый сполоск насыпали чуть не полную десятифунтовую кружку.

— А что говорено-то вам было? — самодовольно улыбался Казанцев. — Держитесь, бабы, за меня! Не дам вам пропасть, выведу на дорогу.

Сам в то лето получил с семьей больше чем полтонны хлеба, кроме всего прочего. Купил на золото высокие блестящие, американского происхождения сапоги из тонкой, но не рвущейся резины, на лтной подошве, шелковый прорезиненный костюм, подбитый мехом.

«А подходящие там делают, — думал Казанцев, любуясь на играющую черным солнцем резину сапог. — Небось метал-льцем расплачиваемся за эти игрушки. Но за это не жаль: это тебе не яичный порошок, который в рот сунуть погано».

Этим же летом узнал Казанцев, что представлен он к награждению орденом Трудового Красного Знамени.

Первая мысль была: «А не много ли! Другие жизнь отдают...»

А вторая: «Там ведь понимают, кому давать. По делам судят. А мои дела всякому видны: с одними бабами надса-жаюсь, а металл выдаю. Другой бы от одной заботы зачах, а тут как-никак руковожу, свое дело выполняю».

После получения ордена месяца три ходил распахива-ясь даже на ветру и морозе, чтобы было видно награду, и охотно принимал поздравления.

— За государством ничего не пропадает, никакая заслу-га... Сына родине отдал, сам уж сколько лет ни днем ни ночью покоя не знаю... В «Уральском рабочем» портрет мой видел? Вот и знай нас, Казанцевых!..

В сорок пятом году весна была ранняя. В начале апреля вскрылся Тылым. Снегу за зиму насыпало неглубоко, и земля быстро почернела и размякла под солнцем. Рано ожили старательские разрезы, горные мастера ходили по гидравликам, закладывали взрывчатку, и поднимались вверх глинистые глыбы, далеко разлетались мерзлые рыжие комья. Потом заурчала вода в нагретых солнцем трубах, забили мони-торы.

На борту разреза, где работала артель Казанцева, плот-ники строили высокую деревянную эстакаду — сплотки. Впервые на прииске собирались поставить землесос, покон-чить с ручной промывкой.

Казанцев, поселидневший и серьезный, с орденом на воен-ного образца гимнастерке, снова сильно прихрамывая, ходил

по борту разреза, опираясь уже не на тросточку, а на надежную, суковатую клюшку.

— Брось баловать! — сердито крикнул он Яшке, который собрался павести водяную струю на грудку камней, около которой копошились замерзшие бабы.

Но Яшка сделал вид, что за шумом воды не расслышал отца, и, словно невзначай, обдал баб ледяными брызгами. Те, завизжав, шарахнулись в стороны.

«Сволочь парень!» — с сердцем подумал Казанцев, но ничего не сказал и пошел в теплушку, стоящую на борту разреза. Около проконопаченных зеленым мхом стен сушились на солнышке свежесотесанные черенки для лопат, новенькие тачки, сбитые из желтых сосновых досок.

В теплушке старик Боголюбов направлял топор на водяном точиле. Казанцев сел возле жарко натопленной печки, протянул к огню озябшие на ледном ветру пальцы.

Жужжало точило, поплескивала вода. Старик Боголюбов, наклонив давно не стриженную седую голову, водил по точильному камню блестящим лезвием. Пробовал острить корявым, темным пальцем и снова точил, насупив мохнатые, вислые брови.

«Плохой уж старик-то стал, — подумал Казанцев. — А все робит... Куда же его денешь?..»

Невольно вспомнилось Казанцеву: в детстве был у них дома кот Пишка. Старый, верный кот. Нес он свою службу: давил крыс и мышей. Сажали его для этого и в погреб и в холодный амбар. И Пишка нигде не подводил, был терпелив, никогда не шкодил. Под старость стал он плешиветь, облинял. Умываясь, выбил себе всю шерсть на морде. Вдобавок хозяйка нечаянно плеснула на Пишку горячей лапшой. Кот долго хворал, совсем запаршивел. На улицу его уже не гнали, лежал он все время свернувшись, но даже в предсмертной дремоте подымал ухо и прислушивался, если в подполье скреблась мышь. Нашли Пишку как-то утром мертвого с задавленной мышью в лапах...

«Что это я человека к коту применил, — подумал Казанцев и, поглядев еще раз на старика Боголюбова, усмехнулся: — А ведь похож, ей-богу!..»

Отвернулся, стал смотреть в окошко на разрез, где копошились несколько работников с носилками и тачками. Мысли у Казанцева были невеселые: за зимний сезон сильно поредела артель. Прошлым летом намывки богатой не было, что заработали, то и съели. А всю зиму сидели на госнорме: рабочим по пятьсот граммов муки, на иждивенцев по двести. Вся на-

дежда была на новый гидравлический сезон. Геологоразведка определила на казанцевском полигоне богатое содержание.

Но с авансами Казанцев не спешил, даже когда пустили гидравлику. Знал, что первый майский сполоск весь уйдет на долги: задолжали за все по готовительные работы электроотделу, механической мастерской, купили в долг два новых насоса. И впереди еще трата большая — землесос. Эта кобылка много корму съест, пока свое оправдает. Рабочим, конечно, что? А спрос за все с председателя артели.

Уже давно стал примечать за собой Казанцев, прежде вовсе не тугой на плату, что, когда приходят к нему рабочие просить хлеба, что-то недоброе досадно подступает к душе, раздражает и злит.

Да и Казанчиха тут же жужжала:

— И что это вы, бабы, как помногу едите? Я вот с утра шиповничку заварю, попою с кусочком и целый день вовсе есть не хочу.

— Да замолчи!.. — одергивал жену Казанцев, видя, как сиротливо моргают бабы голодными глазами, переминаются с ноги на ногу у порога, не рискуя шагнуть дальше. — Ступайте к счетоводу, скажите, я велел. Пусть выпишет по полпуда на брата.

Вот и сейчас. Кончилась смена, вылезли из разреза мокрые, озлявшие бабы, обступили Казанцева, заговорили все сразу:

— Когда же хлеба-то, Иван Андреич? Ведь сулил, как гидравлику пустим. Ребят кормить вовсе нечем. Ни муки нет ни у кого.

— Хоть бы маленечко... Все не одну крапиву. Ребятишек рвет с нее...

Казанцев угрюмо смотрел на работниц. Вздохнул нарочито тяжело:

— Чего сделаю-то, бабы? Ведь все сейчас на госнорме...

— А ты сам-то ее ел, госнорму?.. — спросил кто-то звонко и резко.

Казанцев поднял густые брови. Не часто приходилось ему слышать, чтобы кто-нибудь поднял голос... Узнал Нюру Боголюбову. Совладал с собой, ответил спокойно:

— Еще бы не хватало! Ты еще сопли в подол собирала, а Казанцев уже по всему прииску гремел. Я уж конечно голодным не буду. Слава богу, работаем: я, жена, сын... А иждивенцев у меня не семеро по лавкам, в чужие люди за куском не ходим.

— И мы не Христа ради просим, — побледнев от решимости, бросила Нюра.

«Ишь ты, какая пузыристая! — подумал Казанцев. — Погоди-ка, милая моя!..»

И сказал вслух:

— Ну, вот чего, бабы! Хлеба я два раза у директора авансом просил, третий не пойду. Совесть позволяет, идите сами или правление посылайте. Только вряд ли что отломится: положение с хлебным фондом напряженное. Будет металл, будет хлеб. Вы думаете, я не знаю, что вы нуждаетесь? Думаете, у меня за артель сердце не болит?

Казанцев перевел дух, чтобы поглядеть, какое впечатление производят на работниц его слова.

— Так вот, давайте уговоримся: до первой зарботки я вам лично ссужу из своего хлеба. Много нет, а килограмм по десять — пятнадцать я вам подкину.

И увидев, как радостно засуетились бабы, сказал, довольный собой:

— Ну, вот! А пустых слов нечего говорить... Ты, Анна, задержись на минуту: мне тебе по работе слова два сказать надо.

В теплушке их осталось двое, Казанцев и Нюра. Только сейчас рассмотрел председатель артели, какое взрослое и строгое лицо стало у этой недавно веселой, ласковой девчонки. Щеки посеклись от ветра, и проступает на них неровный румянец. «А все равно хороша, будь она неладна!..» — думал Казанцев.

— Вот чего, Нюра, — начал он, — ты что-то лишку на себя берешь, людей подбиваешь на скандал. Ты думаешь, если тебя в профорги выбрали, так ты велика штука стала?! Твоя задача — взносы собирать. Поняла? А в другие-то дела погоди нос совать. Уж как-нито Казанцев без тебя со своей артелью управится. Профоргов-то в моей артели перебивало без числа, а я пока что один.

Нюра ничего не ответила. Повернулась и пошла. На том месте, где она стояла, остался мокрый, грязный след от сапог.

Вечером бабы с мешочками и наволоками потянулись к казанцевскому двору. Пришли все, кроме Нюры Боголюбовой.

Казанцева дома не было. Муку из «ржаной» половины ларя развешивала Наталья на большом чугунном безмене.

— Сорит у меня мужик мукой, балует вас. Сами через его доброту голодом насидимся.

А вечером, ложась спать, сообщила мужу:

— Ну, Ваня, я всю порченную муку с рук сбыла.

— Какую это? — насторожился Казанцев.

— В которой жучок-то завелся. Бабы пришли, ну я и развесила им...

Казанцев досадливо покачал головой: не стоило бы, конечно, ведь своя же артель. После не раз попрекнут. И со злобой подумал: «Дура, дура, а сообразила!..»

— Да что ты, Ваня! — успокоила Наталья. — Они рады-радехоньки не только с жучком, с тараканами съесть. Да и запаха особого нет, так сыростью отдает маленько...

Масла в огонь подлил Яшка.

— А что, если у них в животе размножение жуков произойдет? — спросил он, глупо улыбаясь.

Казанцев поднял с пола старый валенок, швырнул им в Яшку.

— Дурак! — с сердцем крикнул он. — Живешь себе за отцом-то на пшеничных пирогах!.. Гляди, как бы на ржанинку не переехать.

Яшка спокойно отодвинул ногой недолевевший валенок, пошел как ни в чем не бывало из избы, мурлыча:

У солдатки губы сладки,
У вдовы — медовы
У законной у жены —
Как пельмени аржаны!..

«Сволочь!» — снова подумал Казанцев и припомнил, сколько крови и волос на голове убавили ему хлопоты за Яшку. Прошлой осенью чуть не «поплыл» парень воевать с немцем. За мешок белой муки сумел Казанцев упрятать Яшку на месяц в больницу.

«А теперь пусть берут, — думал Казанцев. — Война под исход, ни лешего ему не сделается... Стерва судьба! Хорошего сына отняла, остался этот — балалайка бесструнная...»

В День победы Казанцев был сильно пьян и плакал горько, вспоминая своего Бориса. Прижимал к широкой, оплывшей груди фотографию сына: первый, любимый!.. Вот за кого бы все отдал, не пожалел, в последней бы рубашке, на сухом ржаном куске остался! Но хоть душа на части разорвись, ничем теперь помочь нельзя... И обливал слезами Казанцев рукав нового бостонового пиджака.

Два дня на прииске гуляли, пировали. Не один десяток гостей перебивал и у Казанцевых. Было попито, поедено...

Сидя среди гостей, преодолевая боль в голове и шум в

ушах, думал: «Всем надежды прибавилось: тот сына дождет-ся, тот с нуждой проститься надеется... А я что? Почему мне нет радости? Сын — обалдуй, жена — бестолочь... А бабы... их много перебивало, да за делами, за заботами, ни одной как следует не прилюбил...»

Одна хмельная мысль была тяжелее другой:

«Такие-то, как я, воевали, а я всю войну с тросточкой подпрыгивал... А ведь придут фронтовики, пожалуй, не простят... Скажут: что ж ты, Казанцев?.. Отсиделся в теплом углу, на сдобном куске, пока цвет жизни, лучшие ребята погибали... Мало отсиделся: ты и до войны таким барином не жила, как сейчас раздулся».

Казанцев встряхнул тяжелой головой, постарался отмахнуться от необычно страшных мыслей. Хотел налить еще вина. И, заметив, как опасливо отодвигает жена от него бутылку с разбавленным спиртом, рывкнул:

— Это еще что?! Поставь тотчас! И еще неси! Косолапая!

11

Постепенно стряхнул с себя Казанцев тяжелые думы, примирился с мыслью, что не вернется уж домой его Борис. А он ведь и сам еще не больно стар, жена тоже... Жить еще охота. Есть хлеб, есть деньги, есть почет, и вроде ничего не лежит поперек дороги.

Но просчитался немного Казанцев, слишком понадеявшись на свой авторитет. Еще весной вернулись на прииска фронтовики, разбредлись по артелям.

К Казанцеву пришли трое. Двоих принял с охотой, знал их как смиренных, работающих мужиков. Третий пришелся Казанцеву не больно по вкусу.

— Слыхала, Кешка Субботин, Борисов дружок, целый и невредимый вернулся,— сообщил Казанцев жене,— ко мне в артель просится. Что-то гляжу, больно моден стал: в немецких штиблетах, при часах, при галстукке в контору заявился. Давно ли у меня по разрезу в рваных штанах с тачкой бегал? Кто-то отвоевался, как чаю попил, а кто-то голову сложил, как наш Борис...

Но потом, когда вышел Иннокентий Субботин работать в разрез и в жаркий день скинул рыжую гимнастерку с лейтенантскими погонами, увидел Казанцев, как изуродована Кешкина грудь и предплечья, собрана гармошкой сухая, облизанная огнем кожа.

— Я весь такой рябеный,— весело и застенчиво со-

общил Иннокентий, косясь на девчат и баб.— Хорошо, своя баня в огороде есть, а то, пожалуй, в казенную-то и не пустят.

«Горел, видно,— подумал Казанцев, чувствуя, как по собственному телу словно бежит мурашка.— Да, мы тут и с полгоря не видели...»

И сказал Иннокентию ласково:

— Ты, Кеша, шибко-то не надсажайся. Баб используй, они трубы-то перетасуют.

Субботин сдвинул пилотку на покрытый загаром лоб, ответил усмехаясь:

— Я, Иван Андреич, баб люблю по другой линии использовать. Если они, конечно, от меня, поцарапанного, не прочь... А трубушку эту, не беспокойся, я и сам запросто отволоку. Не в первый раз.

«Форсит»,— подумал Казанцев, глядя, как Иннокентий под изумленные взгляды работниц положил на плечо, из которого словно клочок мяса был выдран, тяжелую трубу и понес, цепко ставя ноги на острые выступы камней.

Что-то стукнуло, взяло за сердце. Может быть, молодой, прямой Кешка напомнил Казанцеву его самого, такого, каким он был двадцать пять лет назад, когда партизанил вместе с Пузыревым, когда вез его, больного, домой, позабыв о собственной хромоте.

«А ведь перебулгачит он мне артель,— придя в себя, не без досады подумал Казанцев.— Принесла нелегкая!..»

И дома предупредил жену:

— Ты теперь на работе не очень расслаживайся. Куда все, туда и ты. Чтобы из-за тебя косо никто на меня не глядел. И Яшке скажи: будет ухарничать и своевоить, выгоню к чертовой матери, не посмотрю, что сын родной. Конъюхтура сейчас не такая, чтобы вам бaramи сидеть.

Теперь мысли Казанцева снова и снова возвращались к Борису: того на работу понужать не надо было. Тюкается парнишка целый день, бывало, то с топором, то с кайлой, то с кувалдой. Ручишки в кровь, и никогда не жалуется и от людей не отстанет. И прост был парень, все его любили. Последняя собака на прииске, и та ластилась. А Яшка по улице идет, ребятишки хоронятся: как бы не вдарил ни за что ни про что...

Июль месяц в разгаре. Жара. Глина в разрезе сохнет, рассыпается на тугие рыжие комья, по которым больно ходить. Только около монитора прохладно: от толстой водяной

струи несет ветер в сторону мелкие, холодные брызги, тут же просыхающие на горячих от солнца камнях.

Бежит по разрезу размытая порода, образуя коловерть у зумфа. Оттуда, захлебываясь и свистя, тянет ее землесос. Гулко стучат в толстой стеной трубе камни и гальки, засасываемые вместе с землей. За сутки кубометров с сотню заглатывает землесос и подает вверх, на высокую деревянную эстакаду. Свистя и стуча камнями о железные грохота, проносятся коричневый поток по сплоткам. Иловину, камни сносят, а платина остается, цепляясь за рожки.

— Это вам, бабоньки, не станок-американка! — довольно говорит Казанцев, наблюдая за землесосом. — Как в июле дернем кубометров тысяч восемь, будем с хлебом.

Перед сполоском Казанцев ходил тревожный. Некоторые артели уже до срока сполоснули, и кое-кто отхватил дай бог! На «Лебяжьем» перевыполнили задание по кубажу тысячи на две — премия будет. На «Снежном» намыли против ожидания пять с половиной килограммов вместо четырех по плану. Неуж же он, Казанцев, позади останется?

А тут еще, как на грех, землесос заглотнул камень: бабы-сороки вовремя не убрали, и землесосник, видно, тоже задремал. Шесть часов простояла гидравлика как раз во время выгонки.

— Другой раз за это разряд буду снимать! — пригрозил Казанцев.

В день сполоска встал рано, взял кружку с plombой, собственное выдавшее виды пехло, снималку; не позавтракав, пошел на гидравлику, теперь уже по привычке прихрамывая.

Сам спустился в разрез, взял лопату, стал помогать бабам делать последнюю задирку. Облился горячим потом под суконным пиджаком, почувствовал, как набухли, отекли пальцы на руках и перехватило тупой болью поясницу...

— Кабы не нога... — виновато сказал он, ставя к стенке разреза лопату. — Еще колчаковский гостинец сказывается.

Поднимаясь на борт, Казанцев увидел Яшку. Тот бежал и махал руками. Подбежал к отцу и гаркнул ему в самое ухо:

— Борис пришел!

Казанцев онемел, оглох. Земля закрутилась под ногами. Словно кто-то сзади ударил по затылку и под коленями.

— Ну, иди, чего ты шары-то выкатил? — толкнул его Яшка.

Казанцев опомнился. Растерянно пробормотал, оглянувшись на рабочих:

— Кеша, будь добрый... Сполосните без меня. Сын пришел, Боря...

И пошел шатаясь, не видя, как смертельно побледнела стоящая рядом с дядей Нюра Боголюбова, как прижала к щекам перепачканные глиной руки.

Яшка бежал впереди отца. Оборачиваясь, объяснял: — Он из плена. Грязный, рваный!.. Матери нет, она на «Снежной» к модистке ушла. Борька есть попросил, я ему похлебку дал, молока. Сидит, ест... Скулищи волосатые, как у нашего Полкана!

Казанцев задыхался. Ему хотелось ударить клюшкой бегущего впереди Яшку. Но чувствовал, что, если замахнет-ся, упадет.

— Провались ты!.. Не ходи за мной... — только смог выговорить он.

Борис вскочил, когда услышал тяжелые шаги отца. Упал на пол порожний чугунок, покатился, громяхая к двери, прямо под ноги Казанцеву.

Залитой слезой, шершавой, желтой щекой Борис привалился к отцовскому плечу и заплакал в голос. На Казанцева пахло тяжким запахом чужой, заношенной одежды и чужого пота. Как ни ошеломлен был, заметил, что под расстегнутым бурым кителем немецкого образца нету нижней рубахи.

— Сядь, сыночек... — еле выговорил Казанцев. — Ты сейчас мне ничего не рассказывай: все равно я не пойму. Чего-то с головой у меня... Бери, что надо, хлеба, молока... Сейчас мать придет.

Через полчаса Казанцев сидел и смотрел, как умывается, раздевшись до пояса, его сын. Видел обтянутые кожей ребра над провалившимся животом, руки с четко выступающими суставами.

«Может, это и не Борис?» — с ужасом думал Казанцев.

И тут донеслось до него, как скулил на дворе Полкан: рвался к Борису, узнал его, не забыл за шесть лет.

Потом без памяти прибежала Наталья. Не успела ступить на «Морозный», бабы уже оповестили. На крыльце еще завопила истошным голосом: «Боречка!»

— Ну ладно! — опомнившись, как от сна, сказал Казанцев. — Сын дома, и все. Ничего больше не хочу. Яшка! Бери в артели лошадь, айда к сватам на «Глубокую», потом в магазин... — и он дрожащими руками стал шарить по карманам, доставать боны «Золотоскупки», совзнаки, ордера. И толкнул

жену: — Очнись, медведица! Становись стряпать! Да повыворотней: тут тебе не в артели!

За полночь шло у Казанцевых море разливанное. Борис, ослабший от вина и волнения, тихонько прошел в сени, обогнул кого-то уснувшего на полу, вышел в темный двор. Радостно твякнул Полкан, ткнулся старой, заросшей мордой в сапог Борису.

— Полканчик,— тихо сказал Борис.— Собачка моя родимая!..— И, нагнувшись, поцеловал пахнущую псиной морду.

Над темной улицей плавал холодок. Слышно было, как шумит где-то в разрезе одинокий монитор, светилась моторка у Тылыма, играя огоньками по воде.

У Боголюбовского дома Борис тихо постучал. В ту же минуту Нюра открыла.

— Это я, Нюрочка. Ты меня не позабыла?

Когда она обхватила его своими маленькими, но уже сильными руками, ей показалось, что в руках у нее ничего нет. Он, пожалуй, был не тяжелее той крепины, вымытой из забоя, которые таскала она каждый день на плечах.

— Иди сюда! — чуть слышно сказала она, увлекая его в ограду.

На той стороне, за Тылымом, прошел ночной поезд. Борис вздрогнул, сжал Нюрину руку.

— Не могу я гудка паровозного слышать... Вспоминаю, как нас везли...

— Куда? — тихо спросила Нюра.

— Туда... Я ведь в плену был, ты не знаешь...

Еще несколько раз, уже далеко, прогудел поезд.

— Ты со мной знаться-то захочешь? Меня ведь небось еще таскать будут...

Нюра непонимающе поглядела в запавшие темные Борисовы глаза.

— Куда таскать? Я везде с тобой...

Ночь густела. Ярче светились огни моторки на Тылыме. Дня через три Борис вышел работать на гидравлику.

— Вот сынок мой вернулся,— весело сказал Казанцев.— Каков работник он, сами знаете. Положим ему седьмой разряд, много не будет.

— Пятого хватит,— тихо сказал Борис.— Поработаю, а там видно...

Стоявшая рядом Казанчиха дернула сына за рукав:

— Молчи, молчи, Боречка! Отец лучше знает.

И тут случилось то, чего втайне давно опасался Казан-

цев: Иннокентий Субботин, которого, с легкой руки *Бориса* и девочек, уже выбрали в члены правления, скатил *наширившись*.

— Бориса мы, конечно, примем. А насчет *разрядки* *руки* правление решит. Ты, Иван Андрееч, нечего на себя не *бери*. Лучше припугни-ка своего Якова: помещене *бы* дурака *по* ляля, побольше бы работал. А то ведь недолго о нем и *забыть* поставить.

Казанцев нахмурился, хотел что-то возразить. Но *опередила* Наталья:

— Ох, и язва у тебя язык, Иннокентий! Парень-то *еще* вовсе молоденький, что ж ему надсадиться, что ли, на *вашей* работе? Откудова вас и принесло, таких ретивых? — и *замолчала*, поймав угрожающий взгляд мужа.

Субботин сделал знак бабам, чтобы пустили воду, *пошел* к монитору. Когда Казанцев ушел, он, подмигнув, сказал Борису:

— Ты, Борька, не обижайся. Твоего тятю, если не *осаживать*, он не только за правление, за Верховный Совет решать будет. А пока давай-ка в мою бригаду!

Борис скинул пиджак, пошел за Иннокентием. Встретил радостный, полный счастья взгляд Нюры, застенчиво улыбнулся в ответ.

— Я лопаточку тебе подобрала легонькую, — шепнула она ему. — Дядя только что новую насадил. Играть в руках будет.

И запела тоненько, как прежде девчонкой:

Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу...
Перекинь, милый, тесничку —
К тебе перебегу!..

«Господи, ведь я дома!.. — думал Борис. — Дома я...»

Но нелегко достался Борису первый день: сколько раз чувствовал он, как душит противная слабость, выскальзывает из рук мокрая крепь, непомерной тяжестью ложится на плечо железная труба.

Когда перетаскивали монитор в новый забой, споткнулся на камень, упал в грязь, набрал воды в сапоги. Нюра молча подошла, взяла у него мокрые портянки, понесла к костру сушить.

Яшка пришел на работу хмурый, заспанный. Работал он землесосником, но в этот день почти не было подачи электроэнергии, землесос и монитор молчали. Вся бригада переносила магистраль, потом стала убирать камни.

— Яков! — крикнул Субботин. — Где ты там? Бери носилки да помогай бабам!

— Буду я свою мощность на всякую ерунду расходовать, — пробурчал Яшка. — Сами уберут, не облянют.

Иннокентий не спеша подошел к Яшке, взял за плечо, равнул на себя.

— Ты будешь, зануда, работать или нет?

Яшка стушевался, отошел боком, взялся за носилки.

Борис опустил глаза. Поспешно обулся, спустился в разрез, стал скидывать в кучу большие серые камни.

Поперек забоя торчал из почвы наполовину вымытый большущий ноздреватый камень. Борис взял тяжелую кувалду, ударил несколько раз. Острой болью отдались в мышцах гулкие удары. Борис бил до тех пор, пока камень не дал трещину, пополз с места.

— Зря кожились, Борис, — подошел Субботин. — Дали бы воду, я бы его, черта, с места толкнул. Сядь, покури. — И, заметив, как дергается у Бориса лицо, как бежит пот по стриженым вискам, спросил: — Видно, лихо досталось тебе, Борис? Ну, ничего. Не вешай, конь, голову, не печаль хозяина!

В обед Казанчиха принесла Борису и Яшке есть. Яшка прямо на виду у всех баб, обедающих одним черным хлебом с чаем, раскутал котелок, в котором дымилась белая лапша, отломил от пшеничного калача, начал уплетать за обе щеки.

— А ты что же, Боренька? — спросила мать. — Покушай! Белая лапша-то, свойская. И сметанкой подбелена.

— Неохота... — отвернувшись, ответил Борис, хотя голодная слюна душила его.

Он отошел в сторону, сел на опрокинутую тачку, дрожащими пальцами стал свертывать папироску. Казанчиха присела рядом.

— Вон ведь как ты угваздался! Какой тебя леший в грязь-то нес?

За Бориса ответил Субботин:

— Мы — народ глупой: рассчитывали, монитор сам на другое место перескочит, а он, дурак, стоит, и ни с места. Пришлось ведь тащить его! Такая неприятность, ты скажи!..

Работницы переглянулись, пряча смехок. Казанчиха метнула на них злой взгляд, шепнула Борису:

— А без тебя бы дело не обошлось? Что ж их, десять кобыл, не могли монитор утянуть?

Борис оглянулся: не услышали бы. Заметил сидящую в стороне Нюру, которая держала в руке надломленный

ржаной кусок, но не ела, а глазами, узкими от ненависти, смотрела в спину Казанчихе.

Есть Борис так и не стал, и Яшка один опорожнил котелок. Оставшийся калач Казанчиха завернула в платок, унесла. Накурившись до слабости, Борис пошел в избушку, зачерпнул воды из бачка, чтобы напиться. Тихо вошла за ним Нюра, сунула в руку кусок хлеба. Оглянувшись на дверь, Борис обнял Нюру. Услышал, как колотится ее сердце.

13

Июльский сполоск не обрадовал Казанцева. Правда, в кучке им — самому, Наталье, Борису и Яшке — пришлось не мало, килограммов полтора ста только мукой и около ста рублей бонами. Но знал Казанцев, что в других артелях председатели огребли чуть ли не вдвое. Собирался он этим летом опять купить лошадь. Прежнего Рыжку по старости в самом начале войны сбыл цыганам. Теперь представилась возможность купить доброго жеребенка, но просили не маленько. После сполоска несколько дней ходил Казанцев хмурый и неразговорчивый.

«Ну, ждали светлого воскресенья, а дождались Ивана постного», — думал он.

— А брехали, богатое содержание здесь! — лила масла в огонь Наталья. — Сколько силушки зря положили!

— Ты-то уж положила! — досадливо отмахнулся Казанцев. — Эх, так хотелось лошадь! Во сне видел!

— Что это ты, папа? — с опаской спросил Борис. — Ведь и без лошади прожить можно.

Казанцев в первый раз поглядел на сына сердито:

— Ты-то хоть безо всего проживешь, тебе ничего не надо. «Без лошади прожить можно»... Знаю, что можно. Люди вон и без хлеба жить привыкли, крапиву едят. Так может, и нам так велишь?

Борис молчал. После всего пережитого ему были непонятны тревоги отца. Вспоминая, как делили на весь барак случайно, с риском для жизни добытый котелок картошки, Борис не мог понять, как это мать может на глазах у голодных соседских ребятишек кормить скотину хлебом, выплескивать Полкану мясную похлебку. И еще больше угнетало его то, что не мог он сам, не находил сил, чтобы сказать обо всем этом родителям. Думалось ему, что все равно они его не поймут. Недаром дураком считают Кешку Субботина, который три чемадана добра из Германии приволок, чтобы тут

по родным, по знакомым раскидать! Понацепил на сестринных да братниных сопливых ребят шелковую-то справу, а сам остался в драных галифе!..

Такие разговоры слышал Борис в отцовском доме постоянно. Однажды пришла к Казанчихе вдова-солдатка, принесла ковровый платок. Просила за него полпуда мукой. Казанчиха дала только шесть килограммов, а когда та ушла, долго разглядывала платок на свет, жгла бахромку на лучинке: чистая ли шерсть.

— А то ведь соседским делом и обманут, — озабоченно сказала она сидящему у окна Борису.

Борис не откликнулся. Тяжело стучала у него кровь во впалых висках. Чувствовал, что надо что-то сказать.

— Когда же кончится эта нужда?.. — спросил он совсем тихо.

— Жить не умеют, вот и нужда, — спокойно сказала Казанчиха. — Рады последнее прожрать, пропить. Чем бы в дом, они из дома. А мы с отцом все в дом да в дом! Тот кустом, что сейчас на отце, в войну уж купили, да трое сапог, жакетку плюшевую... Да мало ли еще чего, и все за муку.

«Зачем она это говорит?» Борис и так все видел прекрасно, видел и бостоновый пиджак на отце, шелковые рубахи на Яшке. Видел много того, чего до войны в доме не было. Но особенно полоснуло его по сердцу, когда увидел на матери яркую, с цветами шаленку. Такую еще до войны видал он на Нюре Боголюбовой, отказала ей покойница тетка.

— Неужели это Нюрина? — решил спросить у матери.

— Да что на ней написано, что ли, что она Нюрина? — сердито ответила мать. — Была Нюрина, а теперь моя.

В первый раз Борис не сдержался: все в нем ходуном заходило. Зажмурив глаза, затопал ногами, схватил шаленку, чуть не порвал в клочки. Казанчиха испугалась, замахала руками:

— Что ты, что ты, Боренька?.. Да возьми, бога ради, снеси ей назад. Пусть голь свою прикроет.

Вскоре же пришлось Борису поговорить и с отцом. Был Казанцев в хорошем настроении, ладилось у него с покупкой лошади. Поэтому первые слова Бориса, когда он сказал, что хочет жениться на Нюре, встретил довольно добродушно:

— Что, очень загорелось? Не успел воротиться, дай-подай тебе жену! Вполне можешь погодить с этим делом, холостой не останешься.

Но услышав, что Борис собрался уходить в дом к Боголюбовым, Казанцев насупился:

— Что ж, пойди, если тебе дома не мило. Но только смотри, Борис, покаешься! Работник из тебя сейчас плохой, насидитесь оба голодом да еще нищих наплодите. А дома-то ты нужды не увидишь. Работать я тебя не неволю, раз здоровья нет...

Казанцев встал, положил руку сыну на плечо:

— Брось, Боря, эту дурь. Погуляй еще, не женись. Сюда ее приведешь, у них с матерью ладу не будет. А тебя отпустить мне уж больно неохота: на Яшку я никак не полагаюсь, ты — моя опора, а я — твоя. Пока ты за моей спиной, тебя никто не тронет. Знаешь, как сейчас расценивают тех, кто в плену был?

Борис сидел побелевший, неподвижный.

— Если виноват, пусть сажают... А так тоже не могу. Не могу, как вы, жить... Стыдно! Кругом голодают, а Яшка в ресторане кутит. Мать с вдовы какой-нибудь норовит юбку последнюю снять...

— Постой, погоди!.. — прервал Казанцев. — Ты, может, думаешь, что я артель обманывал, себе лишку брал? Так спроси...

— Ничего спрашивать не хочу!.. Я знаю одно — так нельзя!..

Казанцев постепенно менялся в лице. Короткие, тяжелые пальцы его барабанили по столу. Густые брови ползли то вверх, то вниз.

— Ну, может, еще чего скажешь? — хрипло спросил он. — Ты уж договаривай, Борис. — Казанцев с трудом поднялся, подошел к окну, словно ему не хватало воздуха. — Перед кем ты совестью своей задаешься? Ты бы лучше совесть свою показал, когда в плен сдавался...

И сам испугался того, что выговорил, опустил глаза. Но отступать не хотел, чувствовал, что говорит жестоко, несправедливо, но не мог удержаться.

— Ты бы сказал спасибо отцу... Одели, обули, накормили... Другие вон с фронта приходят, вороха трофейного добра привозят, а ты голый пришел...

Борис молча ушел за печку. Там снял пиджак, сапоги, рубаху. Вышел в сени, разыскал в темном углу свой страшный немецкий китель, худые в коленях штаны — мать оставила зимой подстилать собаке. Снял с руки часы — подарок отца, положил на стол.

Казанцев вздрогнул: Борис стоял перед ним такой же, как

в первый день: худой, оборванный, страшный. Только в глазах не было слез, они были сухие, сузившиеся, чужие.

Не стесняясь своих лохмотьев, босой шел Борис по «Морозному». Вслед бежала Казанчиха и причитала истощно:

— Боречка, не ходи!.. Боречка, воротись!.. Пусть та поганка придет, поклонится! Чем вы жить-то будете?

Борис шел не оборачиваясь, вобрав в плечи худую шею. Босые ноги его припечатывали желтую пыль на дороге.

Нюра, как ждала, молча открыла перед Борисом калитку. Взяла за руку и повела в избу.

— Вот он я, — тихо сказал Борис, садясь на лавку и пряча босые ноги. — Пришел... Только ничего нет у меня...

А Нюра вдруг как будто захлебнулась радостью:

— Боря, родимый мой!.. Я буду работать, все заведем!

И, не стесняясь старика-дяди, привалилась к Борисовым рваным коленям, прижалась лицом к страшному, пахнущему неволей кителю.

С того самого дня избегал Борис встречаться с отцом. Когда видел его на борту разреза, отворачивался, будто занятый делом, опускал ниже голову. Казанцев первый не заговаривал, с деланным равнодушием проходил мимо сына. Но весь прииск знал, как ушел Борис из дома, да и Казанчиха не хотела придержать язык, при всех напускалась на Нюру:

— Займела мужа да и моришь его на одном щавеле. Парень стал — краше в гроб кладут.

— А сама я чего ем? — тихо отозвалась Нюра.

— Да по мне ты хоть вовсе пропади! Мне о сыне душа болит. Что у тебя, змеи, голова, что ли, отвалилась бы, прийти да поклониться? Я бы накормила, напоила и с собой бы дала. А ты авторитет свой показываешь, форс — драные локти!..

— Отвяжись ты от меня! — все так же тихо, но резко сказала Нюра. — Поклонов можешь не дожидаться!

Через несколько дней после Борисова ухода Казанцев послал с Яшкой пуд кукурузной муки. Но Нюра не приняла. В другой раз Яшка приволок резиновые сапоги, брезентовый пиджак, суконные штаны.

— Папка сказал, чтобы ты, как арестант, на гидравлику не ходил. Ему из-за тебя глаза спрятать некуда.

Борис бросил невольный взгляд на свой китель, который Нюра пропарила в бане и залатала, потом на тяжелые, не-просыхающие ботинки.

— Сапоги оставь. Отцу скажи: при первой зарплатке рассчитайся.

Яшка ушел, а Борис долго сидел неподвижно: «Неуж

так и сказал: «как арестант»?.. Там от чужих терпел, а здесь свои норовят укусить...»

С месяц прошло, как ушел Борис от отца, и однажды ночью подняли его: давай документы!

Пока Нюра, накинув на дрожащие плечи платок, рылась в сундучке, Борис сидел бледный и примолкший, смотрел на оперативника. Зачем ему документы: ведь он же свой, приисковский. Знает его, Бориса, как облупленного... Еще не так давно встретил его Борис, когда шли они по принску вместе с отцом, тогда он, гадюка, документ не потребовал, поздоровался за руку. А теперь стоит вот, смотрит, как идол, поверх головы...

Незванный гость взял из Нюриных дрожащих рук документы, посветил карманным фонарем (когда вошел, свет не велел зажигать) и, почти не глядя на них, положил в карман форменки.

— Завтра зайдешь в отдел... часов в десять.

Весь остаток ночи в домишке у Боголюбовых не спали. Утром Борис надел свои худые ботинки, пошел в район. Не приняли его ни в десять, ни в одиннадцать, ни в двенадцать. Уже к часу прошел мимо него незнакомый, сделал знак:

— Топай сюда! — и, не предлагая садиться и закуривать, хотя сам дымил вовсю, сказал холодно и властно, как полный хозяин над Борисовой душой: — Давай рассказывай по порядку. И не ври: дураков тут нет.

«Опять!.. Это сколько же надо этаких лбов, чтобы нас таких по сту раз в холодный пот вгонять?..» — думал Борис, с ужасом и ненавистью глядя на круглое каменное лицо, подпертое тугим стоячим воротником. В горле у Бориса пересохло, и слова не шли с языка, хоть бери да убивай на месте. «За что же столько лиха принял?.. Не польстился на немецкий кусок, проволоку колючую готов был зубами грызть... Эх, разве им, которые там не бывали, докажешь?..»

И прошептал чуть слышно:

— Все уж сказано... Отпусти ты меня, пожалуйста!.. То есть, извините, гражданин следователь...

— Как это все? Еще расскажешь, — жестко ответил тот, с видимым презрением глядя на Бориса. — Расскажешь, как родину предавал. Куда ты торопишься-то? Посадят, успеешь насидеться.

Борис молчал. Следователь смотрел ему в лицо мертвящим взглядом и вдруг обругал непристойно и липко, будто по щеке хлестнул.

Как шел Борис домой, не помнил. Очнулся только тогда, когда увидел бегущую навстречу Нюру с узлом в руках, думала, уже не отпустят.

...Подошла осень. Рассветы были туманные, холодные. За Борисом пришли под утро, когда весь прииск еще спал. Явились двое: все тот же оперативник и другой, незнакомый, в черном бобриковом пальто и кепке, почему-то низко надвинутой на уши, как часто носят уголовники.

— Давай собирайся, — коротко приказал оперативник. Борис метнулся в сторону, схватил Нюрину руку.

— Не пойду!..

Оперативник сделал знак черному. Тот шагнул вперед, заломил Борису руки и легко, как пушинку, швырнул, полураздетого, в дверь.

Через полчаса в окна к Казанцевым застучала соседка:

— Ступайте к Боголюбовым, там беда!.. Бориса вашего ночью увели... Старик у Нюрки веревку отнял: давиться хотела!..

— Чего же теперь идти?.. — глухо отозвался Казанцев и задернул на окне занавеску.

В тот же день он в парткоме говорил, не зная, куда деть глаза и руки:

— Растил, кажется, по-советски... Уж никак не думал, что так получится. Брат, невестка за советскую власть погибли, сам партизанил... Знаю, что это — не оправдание, а все же...

— Да тебя никто и не обвиняет, — холодно оборвал секретарь.

И Казанцев не понял: не доверяет тот ему или осуждает за то, что предает он родного сына.

Обратно идти силы не было, не шли ноги. Попросил у знакомого старателя, чтобы подвез до «Морозного» на лошади.

Быстро и широко тек когда-то Тылым. Было время, ходили здесь и драги, плавали и старатели на плотках, черпая породу со дна. В разлив уходили под воду дражные отвалы, затопляло прибрежные шахты, уносило размытую крепь.

И вот почти не стало Тылыма... За полтора десятка лет

залили реку старательские артели: хлебали чистую воду из Тылыма, а обратно выплескивали рыжую иловину. Под летним солнцем и ветром сох и твердел ил, наносил на него ветер земляные крошки, семена одуванчика, осота, и пошла зеленеть трава. Вместо прежней реки тек теперь мимо «Морозного» узкий ручеек, крутясь между каменистыми отвалами. Перекидывали через него тесинку и ходили с берега на берег.

— Дальше так пойдет, скотине негде напиться будет, — говорили морозненские старожилы.

Воды хватало теперь только на две гидравлики. Одна осталась за Казанцевым, председателем другой старательской артели выбрали Иннокентия Субботина.

Сильно ревновал Казанцев Субботина к начальству, завидовал скороспелому его повышению. «Тут люди всю войну из себя жилы тянули, а он пришел на готовое, и сразу ему артель. Давно ли в сопливых числился?!»

Еще более тяжело пережил Казанцев, когда один по одному стали переходить рабочие из его артели на тот берег, к Субботину.

«Переметнулись, — со злобой думал он, подписывая заявления тем, кто уходил к Иннокентию. — Давно ли отцом родным звали, со всякой нуждой совались... Ну, погодите! Обратного бы не запроситься!»

Особенно укорять и совестить никого не стал: еще подумают, что он такими работничками нуждается. Но один раз не стерпел, когда вместе с тремя работницами принесла заявление и Нюра.

— Значит, на тот берег собрались? — язвительно спросил Казанцев.

— Как видишь, — за всех сдержанно ответила Нюра.

— Я вижу. За все добро норовите дерьмом заплатить... Вывел вас в люди, вы и нос задрали!

И тут одна из работниц, от которой никак ожидать нельзя было, спросила:

— Ты это, Иван Андреич, про какое добро? Не про лежащую муку?

«Вот оно! — стукнуло Казанцеву. — Ведь говорил тогда Наташке, что потом выкорят...» Но сдержался, сказал как можно спокойнее:

— Какую сам ел, такой и с вами делился. Извини, крупчаточки в те годы не водилось. Приходите сейчас, подам на вашу бедность.

Тут работниц словно прорвало, заговорили вперебой:

— Бедны, да честны!

— У Иннокентия вон женщин на машинистов выучивают, а мы чем хуже, каменья да крепь ворочать?..

— Ума еще не хватит вам на машинистов-то, — угрюмо огрызнулся Казанцев, злясь на самого себя за то, что схватился с бабами.

— К тебе занимать не пойдем!

В будке, где сидел Казанцев, стало шумно. Вылезли из разреза рабочие, заглядывали в дверь.

— Довольно! — строго сказала Нюра. — Подписывая заявления.

Ушли работницы не простясь. Остальным Казанцев из-за бегал смотреть после этого в глаза.

Вместо Субботина бригадиром поставил своего Яшку.

— Гляди, если ты мне работу развалишь, я с тебя живого не слезу. Понимаешь ты, дура дубовая, какое у меня положение сейчас?..

Видел Казанцев по утрам, как проходили мимо гидравлики бывшие его рабочие. Кто здоровался, а кто и нет. Перешагивая через казанцевский трубопровод, спешили к Тыльму, где на том берегу белела свежим тесом новая насосная будка.

Но не изменил Казанцеву старик Боголюбов.

— А ты что же, Иван Никитич, за племянницей-то своей не бежишь? — усмехаясь, спросил как-то Казанцев. — Там, у Иннокентия, говорят, еще принимают.

— Куда уж мне... Может, последний год и роблю, — отозвался старик, прилаживая колесо к тачке. — Двадцать с лишком ведь я у тебя отробил. Куда ж пойду?..

Числился старик в ночных сторожах. Но сидеть не умел. Чуть над разрезом светлело, шел в будку, брал топор, ножовку, долото и, нацепив на нос очки в железной оправе, принимался потихоньку стучать, подставив согнутую калачом спину солнечным лучам.

В том же году, в конце летнего сезона, в казанцевской артели стряслась беда: перед самым сполоском кто-то ночью ухитрился украсть с эстакады одну из головных рогожек. Казанцева подняли с постели.

— Кто сплотки караулил? — чуть не закричал он.

— Старик Боголюбов... В разрезе был Яков твой.

Непослушными пальцами Казанцев еле-еле натянул сапоги. Грузным бежком двинулся на гидравлику, забыв схватить клюшку.

Светало. На борту разреза собрались взволнованные

рабочие. Громко переговаривались, указывая руками на сплотки.

Казанцев подошел, схватил Боголюбова за поношенный пиджачишко.

— Ты что же это?.. Хрыч ты старый! Тебе же порток не хватит расплатиться!.. Спал небось?

— Не тронь его, Иван Андреич! — строго сказал один из рабочих. — Его Яков в разрез позвал. Человек старый, пока спустился, пока обратно поднялся, там уж побывали...

Казанцев влез по лестнице на эстакаду. Осветил фонарем: рейки отодраны, смещен грохот. Третьей от головы рогожки нет.

«С фунт унесли! — подумал Казанцев, и злой холод пошел по телу. — Пришла беда — отворяй ворота... Сперва Борис, потом кража эта... Теперь и вовсе могут меня с работы намахать...»

Спустился вниз, сам взял запасную рогожку, застелил, уложил грохот, прибил рейки.

— Дайте сигнал мотористу, чтобы включал! А тебя, — повернулся он к Боголюбову, — от работы отменяю. Спустя рукава ходить нечего. Это дело еще судом может тебе обернуться.

И приказал бригадиру, своему же Яшке:

— Выставь к сплоткам надежного человека. С тебя тоже спросят.

После ночной смены Яшка долго не шел домой. Но отец, занятый разбором ночного происшествия, на это внимания не обратил. Только вечером спросил:

— Ты где шатался?

— На «Снежном» был.

— Какое еще у тебя дело на «Снежном»? Ты зачем это старика Боголюбова в разрез отзывал?

— Огонь развести: ноги застыли.

— Сам-то не мог? И еще рабочие в разрезе есть...

— Они тоже закалели, я их греться послал.

Казанцев раздраженно чесал подбородок.

— То-то и есть: попрятались все, заходи да воруй!..

И на другой день передал дело прокурору. Приезжал следователь, тряс из Боголюбова душу, но старик твердил все одно:

— Ничего не знаю. Позвал бригадир в разрез, я пошел. Воротился, видел, будто метнулся кто-то из-под сплотов в елки... да ведь темень, и вода шумит...

— Ну, а если вас обвинят в том, что вы сами эгогожку сняли? — чуть усмехнувшись, спросил следователь.

— А на что она мне? — простодушно отозвался Боголюбов. — Да я и на сплотки-то не подымусь...

Тем же вечером кто-то стукнул у казанцевских ворот. Вышел сам хозяин, посмотрел: Кешка Субботин.

Тот отвел хозяина в глубь большого мощеного двора, сказал негромко:

— Ты Боголюбова не тронь. Не брал он твоей рогожки. Что у тебя, лубок на роже, что не стыдно тебе старика позорить?

— Да кто его позорит?.. — перехваченным голосом спросил Казанцев.

— Еще спрашиваешь! — Иннокентий зло прищурился. — Да ты забыл, видно, что он снохе твоей помогает парнишку растить, впуска твоего нянькает. Старик одной ногой в могиле стоит, а ты норовишь подлихнуть! Чтобы Нюрке еще беду на плечи навалить? Она еще от той не в себе. Да ты что, омертвел, что ли, на самом деле?

Казанцев растерялся. Не ожидал он от добродушного Кешки такого строгого выговора, в первый раз видел его такого злого, ошетилившегося, как еж, всеми своими иголками.

— Да ты что?.. — еле выговорил он. — Я, что ли, виноват, что Бориса нет?..

Иннокентий чуть-чуть распустил собравшиеся к носу брови.

— Ты-то не виноват... Сам Борис небось не виноват. Видал таких, сами освобождали, чуть живых из-за колючей проволоки вытаскивали. Но сейчас не о том речь. Ты вора ищешь? Так ты не там шарить. Ты посмотри, какая вокруг Якова твоя банда ходит. А что, если они?..

— Да будет тебе ерунду-то собирать! — едва не крикнул Казанцев.

Иннокентий пошел к воротам. Обернувшись, бросил: — Насчет Боголюбова учти: мы в обиду не дадим, будем заступаться!

— Кто ж это мы? — тихо спросил Казанцев.

— Мы. Рабочие. Коллектив.

Иннокентий брякнул засовом. Со скрипом запахнулись ворота. Гулко тякнул Полкан.

Оставшись один, Казанцев вдруг схватился за голову. Ему показалось, что она раскалывается: одну сторону жгло,

как огнем, другая была холодная, как лед. С трудом дошел до постели и упал навзничь.

Три дня лежал Казанцев с холодным полотенцем на голове, пил горькое, воротящее душу лекарство.

— Где Яшка? — спросил он жену.

— После ночной спит.

— Разбуди!

Яшка вошел помятый, заспанный. Воровато оглянулся и почесал всклокоченную голову. Казанцев, тяжело подняв руку, сделал знак жене:

— Поди из избы! — И, заметив, что она удивленно поджала губы, выкрикнул хрипло: — Поди тотчас, к такой... матери!

Яшка посторонился, пропустил сразу заторопившуюся мать. Но близко к отцу не подходил. Казанцев смотрел на него и думал: «Что же это такое? Двадцать шестой год дураку, а разве это человек? В мать, в мать, еретик проклятый! Лба-то вовсе нет, волосы от бровей растут...»

— Сядь! — наконец сказал он Яшке.

Тот сел на край стула, стал кусать большие, неостриженные ногти.

— Дело у прокурора. Станут доискиваться, все равно узнают, кто на сплотках был. Кешка Субботин уже догадывается... Скажи лучше... Пока не поздно, что могу, сделаю...

Яшка тупо посмотрел на отца. Глупо улыбнулся и сказал ни к селу ни к городу:

— Неожиданный сюрприз: ножки кверху, рылом вниз!.. — И вдруг мелко затрясся, закривил ртом: — Это Валька Шапкин с «Туманного»... Он и рогожки выхлопывал...

— Поделили? — задыхаясь, спросил Казанцев.

— По сто девяносто грамм...

Казанцев откинулся на подушки, долго лежал молча. Только шевелились пальцы на напряженно вытянутых руках.

— Скажи ему... пусть всю платину до грамма принесет сюда. Сдать вам все равно не придется: в первой конторе сцапуют. А я дам денег... — Казанцев перевел дух, взялся рукой за напрягшееся горло. — Одно скажи: пусть молчит, а то оба в тюрьме будете. Платина мне не нужна, я ее в Тылым спущу... Ведь у меня партбилет, место... Из-за вас, гадов, все прахом пойдет!..

Ночью Яшка принес тугой, тяжелый мешочек.

— Вся? — шепотом спросил Казанцев и, услышав, что —

— размахнулся и ударил Яшку этим мешочком по голове.

Тот упал, тотчас вскочил, пятясь задом, юркнул в дверь.

Вдогонку ему Казанцев швырнул пачку двадцатипятирублевых.

Потом, когда за Яшкой скрипнули ворота, закрыл их на тяжелый дубовый засов, нашел в сарае железную банку, опустил туда платину и вышел в огород. Путаясь в картофельной ботве, прошел в самый задний конец и в нескольких шагах от бани каежкой раскопал землю, зарыл банку и бросил сверху навильник сухого навоза.

На другой день Казанцев вошел в кабинет следователя.

— Я уж тебя попрошу, Алексей Пантелеевич, Боголюбова ты оставь. Дело это, конечно, рук нездешних. Свой старатель на это не пойдет. И моя вина тут есть: сторожем держал древнего деда, которому уж помирать пора. Да и убыток, думать надо, не велик: больше, как грамм сто, не унесли.

И, положив руку на рукав форменного кителя следователя, сказал проникновенно:

— Уж ты нашу артель не конфузь, дело не раздувай. Артель Казанцева не первый год переходящее знамя по принску держит. Приезжай-ка вот, на этих днях пировать будем. И вообще, если что надо, приезжай... За Казанцевым ничего не пропадет.

15

Вместе с фунтом платины зарыл Казанцев в землю свой покой. Хоть и узнал вскоре, что дело как будто замяли и старика Боголюбова больше уж не тягают, сердце все равно было не на месте: Яшка спьяну может ляпнуть, да и на дружка его надежды нет. Пропьют те две тысячи, что дал Казанцев, и придут опять...

Не раз просыпался Казанцев среди ночи: «Дурак, дурак, разве так прячут?.. Станут искать, не поленятся, весь огород изроют. В лог куда-нибудь надо нести, подальше от дома...» А иногда крутилась мысль: «Бросить в Тылым, и всему конец!...»

Но ни в Тылым Казанцев не бросил, ни в дальнем логу не зарыл.

Надвинулась осень, окрепла земля, и в конце сентября все запорошило снегом. А в октябре уже торчала из сугробика рядом с казанцевской баней одинокая черемуховая вешка. «Теперь до весны, а там подумаем... Пристроим как-нито... Свет не без добрых людей».

Всю осень Яшка ходил тише воды ниже травы. Даже

ни разу не попался отцу на глаза пьяным. «Может, страху сватил, так впрок пошло», — думал Казанцев.

Под ноябрьские праздники Казанцев вернулся домой с шахты усталый и злой.

— Где Яков? — еще не раздеваясь, спросил он жену.

— Вон в комнате бреется сидит.

Казанцев скинул полушубок с обледенелыми лапами, калоши с валенок, прошел в избу. Яшка повернул намыленную физиономию, потом взял пальцами кончик носа, стал брить верхнюю губу.

— Ты почему на смену не вышел? — спросил Казанцев.

— Видишь, бреюсь, — продолжая водить бритвой, ответил Яшка.

— Вымой рыло и иди тотчас. В шахте вода, а насос несправный. — И, видя, что Яшка пропускает все мимо ушей, крикнул: — Я кому говорю-то? Дубина!

Яшка чуть дернул намыленной щекой:

— Тороплюсь, бегу и падаю.

— Что-о? — оторопел Казанцев.

— Ария из оперы «Заткни уши, выйди вон».

Казанцев опустился на лавку. Долго молчал под недоумевающим взглядом жены. Яшка кончил бриться и разглядывал себя в зеркале.

— Уезжай отсюда! Куда хочешь уезжай, нанимайся, ербуйся!.. — Казанцев взялся за ворот рубахи. — Ты мне жизнь укорачиваешь. А я жить еще хочу...

— Да ты что, одурел?.. — взвизгнула Казанчиха. — Куда ты его гонишь?..

Против ожидания, Яшка спорить не стал, взял у отца деньги, нагрузил чемодан барахла и уехал с прииска. Казанчиха недели две ходила опухшая от слез, почти не разговаривала с мужем. А тот, пожалуй, был и рад этому.

В середине зимы Казанцев взял отпуск, поехал в санаторий на юг. Давно уж путевку предлагали, да все заботы лушили. Думал: завтра да послезавтра... Помрешь, так и не съездишь. Жене наказал, если вернется Яшка, все на замок. Огороду на огороде убрал, закидал это место снегом. Взял побольше денег и уехал.

Сидел у моря на полотняном кресле, гулял по зеленому бульвару. Больше всего любил ходить в город на базар, смотреть, чем торгуют грузины.

— Ну, кацо, почем твои красненькие? — и брал прохладные, тугие мандарины, краснобокие яблоки.

«Эх, привезти бы десятка два внучонку, — думал Казан-

цев, обдирая своими большими, огрубевшими пальцами шкурку с яркого мандарина. — Да разве сношка-то возьмет? Горда больно.

И вспомнил, как шел этой осенью по «Морозному», увидел у Боголюбовского двора мальчика с синими глазами. Поманил его, и тот с опаской пошел за ним. Казанцев привел его к себе домой, велел жене:

— Дай-ка, мать, ему хоть шанег или пирожков каких-нибудь.

Но мальчик вдруг сказал:

— Я есть не хочу. У нас мамка тоже сегодня стряпала.

— Чего ж она стряпала? — дрогнувшим голосом спросил Казанцев.

— А пироги с картошкой, еще морковные...

У Казанцева защекотало в горле, затуманились глаза: больно уж похож был мальчик на Бориса, тихий, белобрысенский...

— Ну, ступай, — сказал он внуку. — Мать пустит, приходи еще.

Но мальчик больше не пришел. А завидев деда, хоронился в ограду.

Все это вспомнил теперь Казанцев, проходя по морскому побережью, и в задумчивости бросал на асфальт аллеи горькие мандариновые шкурки. Вдруг страшно захотелось домой. Как там Наталья-то? Хоть такая-раздакая, а одна она осталась для него... Страшно было Казанцеву самому себе признаться, но думалось: случись что-нибудь, некому ведь поддержать будет...

Овладев собой, зашагал к белому корпусу санатория.

«Надо срок дожить: за путевку деньги плачены. Дома-то буду, а вот придется ли еще сюда?..»

Домой приехал Казанцев к февральским снегопадам. Снег валил крупными белыми клоками, и сквозь него почти не видно было густо-серого неба. На улицах снегу — по самые окна, на дороге не видно ни санного, ни машинного следа. Но морозы сбавили, и окна стали плакать. Дым из труб стелился к земле, подтаивал снег на крышах. Не видно Тыльма под толстым белым одеялом. Голубеет только одинокая прорубь, и тянется к ней узкая, натопанная валенками тропка, заплесканная водой из качающихся на коромыслах ведер.

— Ну, здорово, черноброва! — весело сказал Казанцев жене, входя в дом и ставя чемодан у порога. — погоди, дай отряхнуться.

С особым удовольствием пил чай с томленным молоком и

ел домашние пироги. Но когда дело дошло до новостей, Казанцев насторожился, бросил есть.

Наталья сбивчиво и бестолково рассказала, что было на той неделе общее собрание всех старателей Морозненского участка. Объявили, что артели будут распускать, артельное имущество отберут...

— А рабочих куда же? — нетерпеливо спросил Казанцев.

— А лешак их знает...

«Сидела дура, ничего не поняла», — подумал Казанцев. Не стал отдыхать, снял с печи нагретый полушубок и пи-
мы, пошел в контору участка.

Свечерело. Гуще пошел снег, бледно мерцали огни в домах, словно за густой кисейной занавеской. Оступаясь то и дело в снег с еле видимой тропки, шел Казанцев домой. Снежинки холодили ему горячий лоб и щеки, заделали за расстегнутый воротник.

— Ну что, Ваня? — опасливо спросила Казанчиха, когда муж обметал голиком запыленные валенки.

Тот ничего не ответил. Сел к столу, поглаживая шершавую, разгоряченную щеку.

— Что же, — сказал он наконец как бы самому себе, — мы на свои руки всегда найдем мѹки. Я за ихнее председательство не держусь, хоть сейчас с рук долой. Голодным я не был и не буду.

И вдруг почувствовал Казанцев, что его знобит. Сильнее запылали щеки, лоб, а по телу пополз холод. «После курорта-то как бы не скопытиться», — подумал он. И приказал жене:

— Постели мне на печи.

Печь была широкая, горячая. Через постеленную шубу жгло бока. Но согрелся Казанцев не сразу. В другое бы время приказал жене достать из чулана холодную поллитровочку, принести груздей, нарубить луку. Но сейчас это казалось ненужным, не ко времени.

«Чем же они меня сейчас осчастливят? — думал Казанцев. — К монитору поставят или вовсе, может, в руки лопату дадут да пошлют с бабами плотик зачищать? «Хватит, говорят, на всех работы, товарищ Казанцев!» Знаю, что хватит, без работы просидеть не дадите. Сопливый какой-нибудь инженеришка будет по борту расхаживать, командовать, а старый старатель, красный партизан, в разрезе будет камни ворочать за полтысячи в месяц! В войну всю душу вытрясали: давай план! Тогда Казанцев был нужен, без всякого диплома годился... А теперь куда пойдешь, кому пожалуешься?.. Скажут: кому-кому, а тебе, Казанцев, помалкивать надо — у тебя

сын изменник родины!..» И от тоски Казанцев глухо застонал.

— Ваня, да пошто же ты там урчишь, как медведь? — несмело подала голос Казанчиха. — Меня страх берет...

«Какой же ты можешь понимать страх, — думал Казанцев. — Прожила всю жизнь за мужниной широкой спиной, об куске хлеба заботы не знала. Двух к ряду путных парней выродить не могла, рыжая россомаха! Случись, хватит меня кондратий, вот тогда страху-то, милка моя, натерпишься!..»

Мысли мешались, выталкивая одна другую:

«Платину, пока не поздно, нужно сбыть. Кусок не малый, в черный день годится. В земле-то продержат дурак сумеет. Нужно старых дружков пошевелить: хоть на половинных паях, но пусть выручают...»

Заснул Казанцев, когда за окнами уже белело.

Было когда-то много верных «дружков» у Ивана Казанцева и на «Морозном» и на соседних приисках. Особенно тянулся он к старикам: меньше болтают и больше знают. Тайком от своей артели давал дружкам лошадь, кое-какую снасть, разрешал отводить воду от артельной канавы и даже мыть в разрезе.

— Платина — она вся государству идет, — пояснял Казанцев тем членам артели, которые косо на это поглядывали. — Мелкого старателя тоже нужно поддержать, самолюбам быть нельзя: мы — люди советские.

«Дружки» перед Казанцевым в долгу не оставались: пирировали вместе не мало. Теперь же, когда решил Казанцев обратиться к дружкам-приятелям, особенно он на их помощь не рассчитывал: он теперь не прежний полновластный хозяин, еще неизвестно, может, только на посылках будешь. А дружки без пользы для себя дружбы не понимают. И нюх у них очень острый на нечистое дело. Им небылицу не сплетишь, что, мол, ходил по воскресеньям с мутилкой да с ковшом, сшибал граммы. Сказать правду — значит, заплатить, и не малый кусок; а пожалеешь, поскупишься, — придешь домой, у же милиционер будет ждать.

Но получилось не то и не другое: с первым же дружком vyšла у Казанцева осечка.

— Мне твоего не нужно, — сказал степенный рыжебородый старичок в перепачканном глиной пиджаке. — Со своим бы не сесть: слыхал, приемку-то с весны прекращают. А у меня у самого граммешек с сотню. Трепались, старательскую цену прибавят, ну, я, дурак, и придержал... — И, понизив голос, посоветовал: — Ты съезди к Полушкину на «Туманный».

К нему, я стороной слышал, валютчик один прибивается. Может, и замахнешь.

«Нет уж, с уголовником спознаться — много мне будет, — подумал Казанцев. — Есть бы нечего было, и то бы не стал. Ладно, я к этому старому хрычу только со ста граммами сунул. Сдуру-то хотел чуть ли не про весь фунт заикнуться. Все дружки, пока едим пирожки, а как сели на квас, так и не надо нас...»

И ни к кому больше не стал обращаться. Как только земля оттаяла, вырыл позеленевшую банку с платиной, ночью унес в лес на свой покос, зарыл под корень у большой мохнатой елки.

— Пусть лежит: есть-пить не просит. Может, и подвернется подходящий случай...

Весной вышел Иван Казанцев бригадиром в разрез новой объединенной гидравлики. Смежную бригаду отдали Иннокентию Субботину. Волей-неволей встретились, подали руки.

В досужую минуту как-то спросил Субботин:

— Кажется мне, Иван Андреич, ты себя обиженным считаешь.

— Кажется — перекрестись, — сухо ответил Казанцев.

— Чего же тут креститься? Это каждому заметно.

— Слава богу, что вы такие замечливые. А вам бы ни за что ни про что под зад пинка дали, вы бы не обиделись?

— Кто же тебе дал пинка? Руководил ты какой-то разнесчастной артелью, а сейчас ты бригадир на большой государственной фабрике платины. Должен петухом ходить!

— Разнесчастной!.. — Казанцев задохнулся от досады. — Давно ли она была краснознаменная?.. Мне в сорок третьем году за эту «разнесчастную» орден навесили... Скоро все забывается! А еще поглядеть надо, как вы тут с государственной-то добычей пособитесь: здешний народ к зарплате непривычный. У него главное — вдруг да пофартит, богато клюнет.

Субботин с усмешкой посмотрел на разгоряченного спором Казанцева. Сказал спокойно:

— Ты мне объясняешь, словно я сам нездешний, словно в первый раз пески да глины вижу. А как же, Иван Андреич, города-то новые без всякого «фарта» строят, каналы роют. Засиделся ты тут, не видишь, что кругом-то делается.

Возражать Казанцев не стал: Кешка теперь в чести, партийный секретарь, депутат в областном Совете, с таким лишку-то язык распускать не надо.

Встретился Казанцев и со снохой. С тех пор как ушла

Нюра из казанцевской артели, обучил ее Иннокентий на машиниста-землесосника. Увидел Казанцев, придя на смену, как управляется маленькая, повеселевшая Нюра со здоровушей, ему самому, Казанцеву, плохо понятной машиной, которая гудит, стучит и взахлеб глотает породу. Показалась Нюра Казанцеву расторопной пчелкой, что вьется над большим сладким варевом.

«Ишь ведь, соображает! — не без зависти думал Казанцев. — А что-то не в пору ожила бабешка... Может, уже забыла Бориса?.. Они, бабы-то, все на один образец. Да нет ли чего у нее с Иннокентием? Говорили, зачастил он к ним...»

Кончилась смена. Прошла мимо него Нюра, скинув запачканную солидолом спецовку. Молча кивнула свекру.

— Погоди-ка, — нерешительно окликнул ее Казанцев. — Скажи хоть, как внучек...

Нюра остановилась, поглядела на него большими темными глазами, в которых, показалось Казанцеву, еще жила обида.

— Хворал, теперь ничего. Дядя вот плох. Наверное, не дождется Бориса... — И добавила уже теплее: — А мы с Сашенькой ждем: Кеша Субботин узнавал, говорили, переследствие будет!

Казанцеву много хотелось сказать. Попросить, чтобы простила за все, за прежнее...

— Пришла бы когда, — попросил он. — Ведь не за сто верст живешь.

Но Нюра не хотела приходить, присылала только изредка мальчика, строго наказывая ничего от деда домой не приносить.

Этим же летом хоронили старика Боголюбова. В первый раз за последние годы перешагнули Казанцев с женой порог его дома, пришли проводить и помянуть свата. Нюра в черном платье и платке ходила тенью, не поднимая заплаканных глаз. Слабо кивнула Казанчихе.

Но поминки были честь честью. Казанцеву показалось, что сроду он не едал такого киселя, таких блинов. Все в доме было чисто, умыт и причесан был мальчик.

«Небось из последнего старалась, — думал Казанцев, черпая ложкой густой, пахнувший лесной малиной кисель. — А ведь не пришла, не попросила. Славная бабешка, а ни за что пропадает».

Этими мыслями поделился дома и с Натальей. Но та отозвалась равнодушно:

— А за что ее больно-то жалеть? Боречка где-то там ма-

ется, бедняга, а она тут в теплом углу сидит барыней...

— Эх, ты! — сквозь зубы процедил Казанцев. — Сама-то еле-еле двоих вывалила, чуть не рассыпалась. Кабы не няньки да мамки, дерьмом бы заросла. А у этой женщины ничего из рук не падает: робит за мужика, в доме все исправно, ребенок обихожен, да и на самую есть на что поглядеть!

— Уж не знаю, чем она тебя удивила: умом ли своим, красотой... Не иначе, и Бориса-то она приворожила, а то разве бы он ее взял?

Казанцев с презрением поглядел на жену: много ты, мол, понимаешь! Не одного Бориса, было время, могла приворожить эта девка. Не захотела бы ждать, не верила бы до последней минуты, что жив Борька, нашелся бы ей не один человек. Верная девка! Сам он, Иван Казанцев, помнится, году в сорок третьем подстерег Нюрку как-то вечером:

— Ты вроде Бориса моего любила? — спросил, наклонясь к ее лицу.

Она кивнула головой. Тревожно светились большие карие глаза.

— А теперь, может, меня полюбишь? Я мужик не скупой!.

Нюра так сильно толкнула Казанцева, что он невольно подумал: «На такой пахать можно!» Отстал и зла не запомнил.

А сейчас, возвратившись с похорон свата и вспоминая прошлое, размышлял: «Была бы у меня другая жена, к сердцу близкая, может, и жизнь была бы по-иному... И дети другие были бы, и все...»

Еще в начале летнего сезона был Иван Казанцев на расширенном заседании техсовета в горном отделе. Сидел, насупив мохнатые брови: не все понимал из того, что говорилось, не все мудреные слова доходили. Но главное ухватил: если давали со скрипом пять старательских артелей килограммов шестьдесят-семьдесят платины в год, да мелкий старатель наскробал килограммов пяток, то стояла в плане новой гидравлики необычная, шумная цифра — триста пятнадцать килограммов. Да, такой кусок добыть — вовсе забыть надо про кайлу да тачку. На заседании называли марки новых землеройных машин, мощных насосов, перекачивающих в один только час по две с половиной тысячи кубометров воды.

Кто-то из бывалых старателей недоверчиво покачал головой:

— Эдак-то и от Тылыма за месяц вовсе ничего не останется.

Новый горный инженер, начальник гидравлики, ответил спокойно:

— Тылым ваш давно пора в покое оставить. Будем работать на своем водоснабжении: вода со шлюзов пойдет в илоотстойники, отстоявшейся водой будем мыть снова. Из реки можно брать только в случае надобности, при большом испарении. А при избытке воду можно даже в реку сбрасывать.

Многие из бывших старателей тогда представили себе, как родится вновь Тылым, уйдут под воду коричневые от ила, растрескавшиеся голые пабереги, каменные хребтины отвалов. В весенний разлив пойдет вода на луга, и будет там вместо колючего осота и вереска зеленеть влажная трава.

И кто-то громко сказал:

— Не глупо! Вот куда техника-то приводит!

Пожалуй, один только Казанцев как сидел, так и ушел хмурый. Не легкое житье наступило для него. Вставал теперь по будильнику ровно в пять, не было привычки сытно завтракать, и уходил почти натошак, обув высокие, по бедра, сапоги и натянув брезентовую робу.

До подкачной насосной станции на берегу Тылыма ходу было минут пятнадцать, да оттуда до разреза, вдоль проложенной магистрали трубопровода, все полчаса. Отвык быстро ходить Казанцев, с каждым днем все сильнее припадал на ногу, стапывая толстый каблук резинового сапога.

Осторожно, щупая палкой камни, спускался в разрез, смотрел на часы. Расходились по местам гидромониторщики, машинисты землесосов. По сигналу с напорной станции подавала воду, и из мониторов ударяла в борт разреза тяжелая, толстая струя. Вода была желтоватая, чуть окрашенная глиной. А раньше, бывало, можно прямо из насадки монитора напиться в жару.

Уж часам к десяти утра, когда начинало припекать солнце, чувствовал Казанцев, как липнет к нему под робой рубаха, тесен становится ворот, мокнет под фуражкой короткоостриженная голова. Пальцы на руках наливались свинцом, что-то стучало в коленях. Хотелось сесть в холодок, перевести дух.

«Был конь, да изъездился,— думал Казанцев.— Не гадал, что придется под преклонные годы по камням сигать...»

И, завидев молодого горного мастера, который, посвистывая и балансируя руками, шел по проложенным трубам, Казанцев поспешно вскочил, пошел навстречу.

«Ишь, щенок глупый! Свистит! Раньше бы ему старики показали, как в забое свистеть!»

Поравнявшись с мастером, приподнял фуражку, поздоровался:

— У нас, старых старателей, поверье есть, Глеб Иванович: от свиста платина уходит.

— Дедушкины сказки! Как выгонка идет, Иван Андреевич?

— Выгоняем. Камни одолели, будь они неладны!

— Да, рельеф трудный,— согласился мастер.— Особое внимание обратите на карстовые впадины: там много металла. Туда бы рабочих прибавить.

«Без тебя-то не понимают? — подумал Казанцев.— Ученый! Рельеф еще какой-то придумал».

И вслух поспешно добавил:

— Я все это учитываю, Глеб Иванович. Не беспокойтесь. Когда подходил к группе рабочих, сидящих около землесосной, услышал, как кто-то сказал:

— Вставай, артельщик идет!

И все, разобрав каелки и лопаты, пошли к своим местам.

— Почище задирайте, ребята,— попросил Казанцев.— Не оставляйте по кромкам.

— И так, как пол в избе, почву вылизали. Чего же тебе еще? Покажи сам, как чище-то.

«Я бы тебе показал!..— отходя, думал Казанцев.— Ничего сказать нельзя, огрызаются, как собаки. Давно ль пикнуть боялись?»

Вспомнил, как недавно закричал было на рабочего, когда по недосмотру затащило в зумпф вымытый водой здоровый липовый пенёк. А рабочий обернулся и сказал дерзко:

— Ты что это хайло-то шибко разеваешь? Тебя вытаскивать не попрошу, сам вытащу. Дома на жену поори, вы с ней оба таковские, горлодеры!

Горькая обида задушила Казанцева. «Ну, погодите,— утешал он сам себя,— бригадиром пока что все-таки я. Как дело до нарядов дойдет, я вам подвинчу!..»

Но сам с тревогой ждал того дня, когда надо было садиться за наряды: «Не иначе Иннокентия просить придется. Чего я сам-то нацарапаю? Прожил, дурак, вот уже поболее полвека, а так и не собрался ладом грамоте выучиться. Расписываешься, а сам ладонью прикрываешь, чтобы не видели, как буковку за буковку цепляешь, словно курица лапой».

И шел к Субботину.

— Уж ты по старой-то дружбе уважь меня, Кеша. Ты

ведь у нас как министр культуры — грамотный. Не то, что мы, серый народец...

Иннокентий не отказывал, но беззлобно подшучивал:

— А что бы тебе, Иван Андреич, машинисточку себе овестить? Будет она тебе отстукивать, а там, глядишь, и о сверхурочных договориться...

«Ишь, шут паленый! — без сердца думал Казанцев. — Простецкий парень-то, ничего не скажешь. Как я его раньше не разгадал? Думал, подсиживает он меня...»

После смены долгой казалась дорога до дому. И прииском идти не хотелось, сворачивал по тропке в лог, а там шел огородами, мимо бань и тонких, длинных подсолнухов, посаженных по заборам.

Когда уж подходил к своему огороду, услышал, как ругается Наталья с кем-то из соседок, верещит противно, как намазанная петля.

— Из-за чего вы лаетесь-то? — спросил сердито.

— Да ведь как же, Ваня!.. Зову в огороде пополоть, а она мне такие слова...

— Дура! — с сердцем сказал Казанцев. — Когда ты поймешь?..

И вздохнул, вспомнив, что самому сегодня лезли в голову такие же мысли, крутились на языке ругательства.

— А огород сама изволь выполоть. Ишь, стара барыня на вате!.. Я постарше тебя, да гнуться приходится. Теперь тебе слуг нет: ни одной бабы не работающей на прииске не осталось. Что тебе, параличную бабку Марковну, что ли, привести?..

С трудом отмыл перепачканные мазутом руки, без всякого аппетита поел поданную женой похлебку.

— Не выплескивай! — неожиданно зло прикрикнул на жену, когда та хотела слить остаток похлебки в большой чугун для коровы. — Ишь, богачка! Спусти в голбец, да завтра сама скушаешь, не облияешь. Прежнюю привычку бросай: пудами тебе в дом никто не притащит.

И, опустившись на широкую постель, подумал: «До чего я дошел: в руках такой кусок, а я из-за похлебки с бабой ржусь... Эх, кабы возможность, пристроить бы платину, тысчонок двадцать с гаком в карман бы положил. К жалованьешку неплохая прибавка бы была».

Тут же приходила смутная тревога: «А ну, как тот, золотушный черт, заявится?.. Нет уж, не отдам! Быть тогда этой платине в Тылыме. Но Яшке крошки от нее не видать. Узнает, что цела, он из меня вместе с платиной кровь цедить будет».

Опасения Казанцева были не напрасны: вскоре же Яшка подал о себе весть. Пришло письмо из Калининградской области. «Вон ведь куда занесло!» — думал Казанцев. Яшка сообщал, что женился, просил денег на обзаведение хозяйством. И, к ужасу Казанцева, в заключение писал:

«Если вы, папаша, сберегли тот предмет, то я могу здесь устроить хотя часть без всяких последствий. Привозите сами, или я приеду...»

Еще больше ужаснулся Казанцев, когда разобрал, что писано письмо не Яшкиным почерком. Хорошо еще, если эта самая его жена писала, а может, совсем постороннему человеку растрепал!..

И сел писать ответ, с трудом держа перо непослушными, вовсе огрубевшими от холодной воды и ветра пальцами; писал, как воз вез.

«Предмет твой, — выводил он, — давно на дне Тылыма. Охота есть, приезжай, попробуй достать. А лучше не езд: никто тебя тут не ждет. С молодой женой поздравляю и желаю всего наилучшего, хотя знать чести не имею. Денег посылаю пятьсот рублей. На ветер не бросай: я за них теперь месяц горбачу».

Сильно преуменьшил Казанцев: за два летних месяца получил он побольше четырех тысяч. Но об этом Яшке знать было не обязательно.

Поверил ли Яшка, нет ли, но писем больше не присылал, и Казанцев потихоньку успокоился.

Сам у себя на глазах он стал скупеть. Там, где раньше швырял десятками, стал жалеть рубля. Спрятал две пары новых резиновых сапог, достал с чердака старые, порванные на камнях; сам заклеил и стал носить, хотя не раз возвращался домой с мокрыми ногами. Прежде всегда такой франтоватый, начищенный, наутюженный, теперь появлялся на людях в старой, перепачканной глиной и мазутом фуфайке, в залатанных кое-как штанах.

«Чисто-то ходить, скажут, много нажил, пока артельщиком был, — думал Казанцев. — А мне уж теперь не бабам головы крутить. Кому нужен, сойду и такой».

Из полочки не стал давать жене ни копейки. Если нужно было что купить, шел сам. Брал не килограммами, как бывало. Продавец, криво усмехаясь, отвечивал Казанцеву кулечек песку, наливал в четвертинку постного масла.

— Ветчины бы взял, Иван Андреевич. Селедка есть «Каспийский залом». Первая закуска!

— Груздей баба насолила, есть чем закусить. А то ка-

пусты вилок — не хуже твоей ветчины. Ветчина, она для здоровья бесполезная.

Даже тогда неохотно расставался с деньгами Казанцев, когда приходил срок платить партийные взносы.

— Должаешь, Иван Андреевич, устав нарушаешь, — напоминал Иннокентий Субботин. — Что-то раньше за тобой этого не водилось.

— Подбил я с деньгами, Кеша. Якову послал, сена взяли: зима-то велика, а самому накосить этим летом некогда было. Но завтра же принесу, — партийный взнос — это самое святое дело.

Но не нес до второго напоминания.

Четыре сезона отработал Казанцев бригадиром. Осунулся немного, повисли прежде крутые плечи, побелели виски. Часто забывал бриться, ходил щетинистый, колючий.

— До пенсии дотяну, и шабаш, — говорил он жене. Но сам думал: «Велика ли будет она, пенсия-то? Полторы сотни отвалят... Может, персональную хлопотать? Зря я, что ли, на гражданской кровь проливал? Только вряд ли из-за Бориса дадут. Again же, если и удастся схлопотать, многого ждать не придется... с полтысячи, не больше. А пока как-никак тысяча на круг обходится. Это все же деньги, на дороге их не найдешь».

К тому же чувствовал Казанцев, что вернулась к нему теперь бывшая ухватка, окрепли руки, спина. Без труда ворочал ствол монитора, когда нужно было подменить мониторищика; без боли в спине крутил тяжелую лебедку у землесоса, поднимал трехпудровые трубы. Аппетит стал такой, что уж и не помнил, когда так ел. Казанчиха достала с чердака убранный туда уже давно семейную посуду, опять стала варить похлебку в полуведерном чугуне, и редко, когда что-нибудь оставалось совсем одряхлевшему Полкану.

«Ладно, еще годок поработаю, — размышлял Казанцев. — А то ведь дома стены съедят. Была бы семья, как семья...»

Стал Казанцев навещать кое-когда к Нюре. Как ни был скуп, всегда приносил внуку хоть маленький гостинец. Но и норовил попасть к ужину. Первое время было вроде как немного неловко приходиться на ее полуведерный хлеб, а потом вошло в обычай.

— Садитесь, папаша, — сдержанно приглашала Нюра. — Будете горячее хлебать или закусить подать?

— Что пожелаешь. У тебя все вкусно.

Наевшись, Казанцев сидел, привалясь спиной к скобленным бревенчатым стенам, смотрел на сноху, которая, не поднимая головы, что-то шила, и на мальчика. Тот возился на полу с котятми, упикивал их в берестяной короб, а они слабо попискивали.

— Отпусти котят, Сашунюшка,— ласково приказала Нюра.— Пусть спать идут: поздно, а они маленькие...

Мальчик оставил котят, подошел к матери, грустно положил голову на стол, уставился на свет синими, глубоко посаженными глазами.

«Как им отца-то не хватает,— с болью подумал Казанцев.— А я им вовсе не нужный... Может, ждут, когда уйду?..»

Свой дом тоже казался неприютным. По весне тихо сдох Полкан, опустел и двор.

«Надо клад проведать,— пришло в мысли Казанцеву.— Как просохнет в лесу, схожу».

Тихо брел Казанцев своим покосом. Прошное лето почти не косил, покос стал зарастать, сухостою много, валежника. Прийти бы с пилой, с топором!.. Было время, только свистни: к Казанцеву на покос! Налетали, как с ковшом на брагу. Хозяин брал с собой в лес вина, пива. Обратно чуть ли не на карачках ползли. Да и в войну всю артель, бывало, пригонял: кто же председателю откажет?

Лес молодо зеленел. Сквозили мохнатенькие лиственницы, шел сок из березок, точили слезу яркоствольные сосны. Поднималась, ползла из-под каждого пня остренькая травка. И тянуло горьковатым душистым дымком: где-то на ближних покосах жгли слежавшуюся за зиму хвою, сгребали и кидали в огонь остатки от зимней порубки.

Казанцев подошел к памятной елке, окутанной, словно дымкой, чуть видимой паутиной. Под елкой было сыро и холодно, изумрудно зеленел мох.

— Ну, здорово, сторож!

Казанцев стал на колени, выдавив из почвы ледяную воду. Достал из кармана нож-косарь, начал ковырять под замшелым корнем.

— Цела!

Банку доставать не стал, сунул только руку, пощупать тяжелый, сырой мешочек.

«Кабы тут лежала да процент приносила!..» — грустно подумал Казанцев.

И впервые пришла мысль: умри он, никто и не подумает, что под елкой такое богатство. Хоть ненужное, бесполезное.

но богатство! Лет пять назад за этот мешочек душу можно было продать. Вот как жизнь-то меняется!

Закопал, притоптал землю. Вдруг с опаской оглянулся: показалось, что шевельнулись кусты. Но никого не было.

— Нечего сюда до поры до времени ходить, — решил Казанцев. — Сам себя утопишь, мало ли народу в лесу.

Когда пришел домой, на столе лежало письмо от Яшки.

— Прячь, все, как есть, прячь! — торопливо приказывал Казанцев жене. — Сапоги, какая есть одежда получше, зашей в мешковину, я спрячу на вышке. Ни одной тряпки путной не оставляй; пусть видит, что ничего дома нет. А то ведь он нас по миру пустит.

Казанчиха плохо понимала, чего муж так мечется, но послушаться не посмела. По приказу сняла даже с окон тюлевые шторы, повесила плохонькие ситцевые занавески. Свернула ковровые дорожки, кинула на пол простые, обтрепанные половики. Казанцев все унес в сарай, долго возился там, а когда вышел, повесил на двери тугой амбарный замок.

Казанчиха, сидя в подурневшей, голой избе, плакала, вытирая слезы концом старого, вылинявшего платка.

— Как это жить-то в такой срамоте?.. Стенки голы, окна голы... Словно у погорельцев...

— Ладно сопеть-то! Уедут, опять повесишь. Соображать надо!..

Какие были в доме деньги, Казанцев снес в сберкассу, книжку зашил в кожаный лоскут и зарыл.

— Приезжай теперь: не много возьмешь.

Яшка приехал в середине лета, как и обещал. Шел со станции налегке, рядом семенила тоненькими, длинными ножками его жена. Ветер неумолимо рвал юбку вверх, открывая туго обтянутые капроном худые ляжки.

«И где такую цаплю выкопал? — подумал Казанцев, завидя сына и сноху. — Будто три года нечесана: копна на голове-то».

Яшка изменился мало: те же круглые, глупые глаза, лоб плоский, постоянно ощеренный в улыбку рот. Только рыжеватые волосы, прежде коротко остриженные, теперь зализаны назад, ложатся на затертый ворот короткого рябого пиджака.

— Ох, ты моя сыночка! Ох, ты моя жалкая! — запричитала Казанчиха.

Яшка неопределенно пожал плечами: мол, к чему такие

волнения? Войдя в дом, осторожно повесил у двери светлый, забрызганный какими-то пятнами плащ и сразу же подошел к зеркалу, стал поправлять свой зачес, теревить малиновый с глазами галстук.

«Как был идол деревянный, так и остался. Собака, и та дом найдет, так от радости землю лижет... А этот четыре года не бывал, приехал и прямо рожей в зеркало!...» — с тоской подумал Казанцев.

— Что ж, проходите, — сказал он молодухе, которая все еще стояла у порога, моргая сильно подведенными ресницами. — Раз приехали, будем знакомые.

И заметил про себя: «А багажу-то не лишку с собой прихватили. У самого чемоданишко какой-то обшарпанный, с каким в баню пойти стыдно. У молодой — торба клетчатая с тесемками. Не такая бы пестрая, так как раз лошади с овсом на морду привязывать».

Яшку не очень поразили перемены в доме отца. Вернее сказать, он их не заметил. «Видно, самому не в богатых хоромах жить пришлось», — подумал Казанцев.

И сказал:

— Видишь, житуха-то у нас какая пошла? Уж не пироги едим, а постный суп хлебам. Все мои заслуги зачеркнули...

Яшка ответил равнодушно:

— Тебе же спокойнее: дело твое теперь телячье, ну и знай маши хвостом...

«Утешил! — подавил в себе злобу Казанцев. — Хвостом, говорит, маши!...»

Но гнев свой решил скрывать, сколько будет возможности: пусть думает, дурак, что отец к нему всей душой.

— Уж вы меня извините: мне на смену пора, — Казанцев поднялся из-за стола. — Вечером поговорим, как и что.

Тут же в избе, не стесняясь молодой снохи, скинул залатанную сатиновую рубаху, брючишки и не спеша облачился в перепачканную мазутом, затвердевшую от глины рабочую одежду. «Пусть видит, что в своем дому, что хочу, то и делаю. А не нравится — милости просим, пожалуйста к выходу!»

И обрадовался, видя, как Яшкина молодая обиженно скосила размалеванные свои глаза: «Я те еще не то покажу, еретица косматая!»

Смену еле-еле отработал: почему-то дрожали руки, все из них валилось, самого простого дела никак не мог сообразить. Перед глазами стояла Яшкина тупая морда, рыжая башка, зализанная, как раньше у духовных, и словно ваксой залепленные ресницы и выщипанные брови с красными надбровья-

ми у снохи. Да, знавал всяких баб, но от такой — упаси бог!

Вечером вернулся Казанцев домой поздно. Нарочно не спешил. Молодая спала, свернувшись, как собачонка, на постели, с которой Казанцев еще накануне велел снять все перины и постелить сенник. Раздеваясь у порога, слышал, как мать расспрашивала Яшку:

— Пошто ж детей-то нет? Ведь четвертый год живете?

— Какой тебе четвертый! С той, с первой, я уже три года не живу. Это — вторая...

«Ладно, что не третья, — подумал Казанцев. — Какая путная с тобой жить-то будет?»

Потихоньку взял с шестка чашку с постной похлебкой, краюшку хлеба и пошел в сарай. Там и лег спать.

«Пока сам о деле не заикнется, буду молчать... А по всему видно, что с пустым карманом: даже на поллитра не разорился».

С разговором Яшка особенно медлить не стал. Быстро надело ему сидеть на постном супе, на черных блинах, спать на жестком, колючем сеннике, выслушивать причитания матери... У молодой, как заметил Казанцев, еще больше покраснели веки под накрашенными ресницами, и все время она упорно молчала, словно типун сел ей на язык.

На Иванов день Казанцев был именинник. Казанчиха хотела было завести белую квашню, но муж так глянул, что у нее сито из рук выпало. Возвращаясь после утренней смены домой, зашел в магазин, взял чекушку, сто граммов колбасы и выпил один, закрывшись в бане.

Не пил он давно и сразу почувствовал, как заходила, застучала кровь, затяжелела голова и легким стало тело, хоть плясать иди.

Пошел в избу, сел за стол и вызывающе поглядел на Яшку. Тот словно ждал этого.

— Вы сколько мне денег дадите? — спросил он без всяких предисловий. — Давай, да мы поедем...

Казанцев улыбался: вино играло в нем. Поглаживая колючий, небритый подбородок, ответил:

— А я думал, что ты сам мне денег привез. Не мешало бы... Я ведь тебя до двадцати пяти лет кормил, поил.

Видя, как улыбается отец, Яшка зло сказал:

— Смех без причины — признак дурачины. Ты мне мало-мало, а пять тысяч должен.

— Да? — иронически спросил Казанцев. — А почему не десять? — И вдруг, вскочив, заорал: — А в тюрьму хочешь?

Яшка был не из пугливых. Помолчав, он спокойно предложил:

— Давай четыре. А то ведь мы не уедем. Ехать абсолютно не на что.

Пожатнувшись, Казанцев сел. Долго молчал, тер руками отяжелевшую голову, потом сказал:

— Идем хоть в огород. Здесь бабы...

Они сели под густые лопухи. Над головами вились светлые комарики, жужжа, пролетали пауты. Слышно было, как плещутся, озорничают ребятишки на Тылыме.

— Я ту платину артели отдал, — сказал Казанцев. Яшка покачал головою:

— Тюлька!

— Что? — не понял Казанцев.

— Художественный свист. Ты же писал, что в Тылым бросил.

Хмель сходил с Казанцева.

— Куда бы ни дел, нет ее. Вот и весь разговор.

Яшка промолчал. Впервые Казанцев заметил на его лице осмысленно-грустное выражение, похожее на тоску. Казанцев ждал, что Яшка будет грозить, страшать оглаской, прокурором. Но он только сказал:

— Деньги нам обязательно надо: Юлька профсоюзные растратила, а я сейчас без работы... Комнату в Пензе снимаем, двести рублей в месяц платить надо, а то выпишут...

«Ишь носит тебя! — подумал Казанцев. — То в Калининграде, то в Пензе». Но что-то родительское шевельнулось в душе: дать, что ли? Может, вправду нуждается?

Но сказал хрипло, отгоняя ненужные мысли:

— Вы будете казенное растрачивать, а я вам давай?.. Ты поди походи по колена в холодной воде, помозоль лапы-то об камни! Тогда узнаешь, как денежки-то достаются.

Яшка поднял голову, посмотрел отцу в лицо своими круглыми, бутылочного стекла глазами.

— А сволочь ты все-таки! — произнес он негромко.

Через два дня молодые собрались уезжать. Казанцев положил на стол перед Яшкой две сотни на дорогу.

— Извините уж нас, — сказал он молодухе, все такой же безмолвной. — Чем богаты были, тем и рады. — И подумал: «Тиха, тиха, а казенное растратить сумела!..»

Только когда проводил, пришло в голову: растратил-то, может, Яшка, а эта дурында ни в чем не виновата. Может, нужно было выручить?

На сердце было нехорошо. Особенно после того, как узнал

Казанцев, что дала Нюра Яшкиной жене пятьсот рублей на погашение растраты.

— Вон ты какая жалостливая! — заметил Казанцев снохе при встрече. — Только не к месту твоя жалость. Таких крашенных дур жалеть нечего. Лучше бы парню своему какую лишнюю одежонку справила.

— Да в положении она... — не глядя на свекра, ответила Нюра. — Не видите, что ль? Куда ей деться-то, вы об этом подумали?..

...Осень, зима... Казанцев уже на пенсии. В доме холодно: хозяин не велел зря палить дрова. Их теперь надо нарубить или купить, не то что раньше, когда почти всю выработанную в артели крепь свозил к себе домой и просушивал на солнышке возле бани.

После Яшкиного отъезда тяжелая тоска напала на Казанцева: тоска по прежней, сытой, устроенной семейной жизни, тоска по потерянным детям, по растроченному авторитету, по отнятой над людьми власти.

В доме по-прежнему голо: как попрятали все перед Яшкиным приездом, так Казанцев и не велел доставать — ни дорожек, ни скатертей, ни занавесей; жили без них, стало быть, и дальше можно. Только перины Казанчиха отстояла, вытащила и навалила горой на кленовые доски широкой кровати.

— Мягко любишь спать, то-то утром тебя и не подымешь, — говорил Казанцев жене. — И откуда только сон к тебе лезет? Храпишь, как водяной под мельницей. А я всю ночь маюсь, хоть бы крошку уснуть...

Страшное дело бессонница: один на один с самим собой вспоминаешь, как жил, что делал. И не поймешь, что делать, как жить дальше. Всю свою жизнь привык Казанцев подгонять время, торопиться с делами. Всего хотелось, на все, казалось, хватит мочи. И вот теперь нечего ждать, некуда торопиться. Один день в месяце памятный: когда почтарь приносит пенсию. С утра выложит Казанцев на стол пенсионную книжку, поставит пузырек с чернилами, положит обгрызенную ручку с засохшим пером... и ждет.

Ночь... Мороз... Казанцев лежит на чуть теплой печи и, конечно, не спит.

— Завтра пойти надо, завтра пойти... — шепчет он и сам толком не знает, куда же идти. Вернее всего — к Иннокентию Субботину. Положить на стол партийный билет и сказать:

«Возьмите. Он у меня не по праву уже лет двадцать гостит, давно уж я ему чужой... Много я зла натворил за этим красным щитком. Не в добрый час вы мне власть над людьми дали...»

«Нет, так идти нельзя: надо достать из-под елки тот несчастный фунт платины... Только на Якова все не валить: моей вины тут не меньше было...»

Одна мысль перешибает другую:

«Ну, и поведут тебя, как водили тогда старика Боголюбова. Только тот шел со справедливой душой, а ты пойдешь, как ворюга...»

«Что есть фунт платины? Капля в реке... Сотнями килограммов снимают теперь за год со шлюзов, сотни тысяч кубометров земли разбивает этот шумило монитор, заглатывает ненасытный землесос. Так кому он шибко нужен, этот несчастный фунт, прихороненный под елкой?.. Ведь всего только фунт, да и то неполный... Почему же он, проклятый, лег на сердце, как тот камень, который ни одним монитором с места не своротишь?..»

На смену поспекает новая тревожная мысль:

«Нет, сейчас идти нельзя: может, Борисово дело переследуют, а тут с отцом такая история... Как бы не повредило парню. Может, дождусь, погляжу на него, тогда уж...»

С перехватом, неровно дышит Казанцев. Где-то в самой глубине, под сердцем, — нудная боль, словно кто-то точит острым зубом.

«Надо попросить Иннокентия, чтобы похлопотал насчет больницы. Пусть поглядят, что это у меня в самом деле... Подступает под самую душу, аж в глазах темнеет порой. А нужно бы еще пожить, хоть бы ради старухи... Кому она нужна: весь свой век людям крошки пользы не сделала, от кого же ей добра ждать? Виноват-то, может, и я: было бы вовремя хорошую вицу в руки взять да по просторному-то задуть!..»

Лежит Казанцев на печи всю ночь без сна, а за окном белеет, блестит снег, и не поймешь: то ли полночь, то ли светает.

— До весны погожу, там откопаю, отдам... Скажу, сам намыл. Чем они докажут? Металл не меченый. Даже еще, пожалуй, спасибо скажут, в газете напечатают. И сразу же с души долой: вроде как займы брал и отдал...

Но зима долга, и каждая ночь — вечность, хоть и убывать стали. Пришел март, но снежно, холодно. Только рассветы яснее, да зацвел первый цветок на подоконнике.

Как-то ночью увидел Казанцев во сне Бориса; катал он по разрезу с места на место большущие камни и просил у отца, словно не узнавая его: «Выпиши, председатель, мне фунт хлеба, пожалуйста! Один только фунт! Мне с детьми есть совсем нечего». И будто стояли рядом с Борисом какие-то маленькие, неизвестно откуда, дети.

Проснулся Казанцев, и во рту было солоно от слез.

«Что же это такое?..— тревожно думал он.— Какие же это дети?..»

Знал он, что Наталья — мастерица толковать всякие сны, но тут не решился ничего рассказывать: слишком уж тяжкий сон, не для бабьих примет. Сказал только за утреним чаем:

— Надо к Анне сходить. Сашку что-то давно не видно, не захворал ли... Ты заверни-ка там пяток пирогов.

...Первый запах весны почувствовал Иван Казанцев в конце марта. Ветер принес с Тылыма чуть слышное дыхание талой воды. Когда солнце стояло прямо над головой, пахло песками, глиной, оттаивающими по буграм. На гидравлике в разгаре были подготовительные работы, и оттуда и днем и даже ночью несло урчанье тяжелых грузовиков, подвозящих лес и железные, почти метр в поперечнике, трубы. Рыкали тракторы, утаскивая с полигона вырубленные корявые елки, горько пахнущие осины. Трещали костры: жгли лесную поросль, трухлявые пни, сухостой, бурелом.

Глядя на зарево от костров за Тылымом, на густой дым, стелющийся к земле, и слыша гулкие, словно выстрелы, удары металла о металл, Казанцев невольно вспоминал старые боевые годы, ночи у костров на затоптанном сапогами и усыпанном хвоей снегу. Где партизанская честь твоя, Казанцев? Погибших в боях хоронили под залп винтовок... А тебя какая кончина ожидает?..

Теперь каждое утро поднимался Казанцев с мыслью: пора идти! И тут же пятился: «завтра»... Если заберут, то хоть по теплу. За последнюю зиму стал Казанцев зябнуть, чего прежде не бывало.

И прикидывал: дождусь, просохнет, вскопаю старухе огород, чтобы ни с чем не осталась...

А весна шла. По утрам лужи затягивало льдом, низко стелился розовый туман, на реке голубели разводья. В огородах мерзлая земля проглядывала из-под ноздреватого снега, торчала прошлогодняя картофельная ботва. Длинные голу-

бные сосульки украшали все карнизы, крылечки обледенели от капелей.

Часам к одиннадцати утра сосульки начинали с хрустом обламываться и падать. Снег в огородах становился еще серее и оседал, сползая в борозды. Дорога распускалась, намокали заборы и плетни, мутная снеговая вода ручьями бежала с высокого берега в разбухший Тылым.

«Весна! — думал Казанцев. — Вроде не первая она в моей жизни, а надышаться не могу, и воздух какой-то тяжелый...»

Однажды встал Казанцев раньше обычного. Солнце светило так ярко, что лучи его прорывались сквозь ситцевые занавески на заклеенных бумагой окнах, зайчиками играли на большой, давно не беленной печи и не дали Казанцеву спать.

Он вышел за ворота, тихо побрел по прииску. И вдруг... обомлел. В ограде боголюбовского двора колот дрова Борис.

— Сынушка! — закричал Казанцев.

Борис повернул голову. Воткнул топор в березовую чурку и пошел навстречу отцу.

Казанцев бежал спотыкаясь. Отекшие, красные глаза его налились слезами.

— Сынок, прости, прости, родимый!.. — теперь уже Казанцев плакал в голос на плече у сына, обросший, нечесаный, ослабший.

Целый день не отходил Казанцев от Бориса: смотрел, как он ест, пьет, умывается. Топтался около, когда Борис управлялся по хозяйству. Сидел рядом, когда тот лег отдохнуть.

— Ты уж, Нюра, не сердись, — виновато говорил Казанцев, — я только сегодня... а завтра да еще много дней вперед он весь твой будет. Я вам мешать не стану.

И гладил своей тяжелой ладонью худую Борисову руку.

«Какой кусок жизни у парня вырвали, — горько думал он, сквозь слезы глядя на поседевшие виски родимого сына. — Кто ему эти годы воротит?..»

Но о чем говорить, не знал. Спросил только:

— Страшно было, Боря, сидеть?

Борис ответил уклончиво:

— Не один был. Не такие еще сидели. — И вдруг сказал: — Знаешь, кого я там встретил? Пузырева Василия Алексеича... Помнишь его?

Казанцев вздрогнул:

— Жив?

— Нет... — Борис отвернулся и помолчал. — Нас в сорок восьмом в Чердынъ пригнали... Два дня на работу не посылали, лежали все вповалку. Я вышел в зону... Смотрю, из соседнего барака человек хромает. Подошел ближе, я его и узнал: дядя Вася Пузырев. Поговорили мы. «Эх, говорит, Борис, и тут подвела меня моя хвороба: кабы не ревматизм, я бы за родину воевал, оправдался бы перед людьми, перед партией. А теперь, говорит, вот уже одиннадцатый год просьбы о пересмотре посылаю, а толку чуть...»

— За что он сидел-то? — хрипло спросил Казанцев.

— Говорил, что оклеветали его, будто предателем был, белогвардейцам служил...

Казанцев почувствовал, как заныло у сердца, поползло что-то по коже от плеч к пальцам: а вдруг знает Борис, как отступился он от Пузырева, как не помог ничем сыну его, жене больной?..

— А потом-то что с ним стало? — еле выговорил он.

— Потом-то...

Казанцев заметил, как дернулось у Бориса лицо, стиснулся в кулак пальцы.

— Потом-то... Потом шпана его убила! Они, сволочи, у нас норовили последнюю пайку отнять, под страхом нас держали. Кто терпел, а Пузырев все воевал. Ну и придушили его блатники да под нары затолкали. Верите... — голос у Бориса сорвался, — четыре года я слезы не хотел показать, а тут плакал, кричал во всю голову!..

Казанцев вдруг ощутил такую тонкую, острую боль под сердцем, что холодная испарина выступила на бугристый, изрезанный морщинами лоб.

— Пойду я... — проговорил он, поднимаясь.

Ночью не уснул ни минуты: то Пузырев, то Борис становились перед глазами, рваные, страшные, голодные, и требовали правды...

Поднялся Казанцев с рассветом.

«Ждать нечего, — решил он, чувствуя, что надвигается что-то еще более тяжелое, непредвиденное, — пока дорога в лес есть, пойду. А то разольется...»

Достал давно запрятанные высокие старательские сапоги, сунул под полушубок каелку и пошел...

Дорога была трудная, сырая. В лесу еще лежал нетронутый весной снег, а по дороге прыгали солнечные пятна, стояла глубокая вода в подмерзших колеях и выбоинах. Снег был хрусткий, словно размоченный рафинад. Через черную резину он охлаждал Казанцеву ноги, подгонял вперед.

Казанцев шел не хромя. Уже давно не брал он клюшки: с тех пор, как полегчал, размялся на работе, она только мешала. Да и чести не прибавляла: что заслужил, все давно уж получил.

Елка встретила его как старого знакомого. Вся поляна была залита солнцем, и от этого света елка серебрилась и играла, покачивая мохнатыми лапами на легком ветру. У корней ее чуть ополз, подтаял снежок.

Казанцев разгреб снег руками, потом взялся за каелку. В отлетающих комьях земли сверкали ледяные иглы.

Что такое для старателя вынуть полтачки земли? Даже промерзлой? Но не легок показался Казанцеву этот в локоть глубины забой, пока скребнула кайла по промерзшей жести. Надо было бы костер развести да подтаять... Но жаль было коптить красавицу ель.

Казанцев в последний раз ударил кайлой, просунул руку в холодное земляное дупло и вытащил банку с платиной.

Кайлу он бросил в лесу: она была теперь ему совсем не нужна. Домой не пошел: дойдя до Тылыма, повернул на гидравлику. Когда подошел к разрезу, еще не освободившемуся от снега, увидел на борту, рыжеющем скользкой глиной, среди рабочих своего Бориса.

«Здесь уж,— подумал Казанцев.— Не высосала душу тюремная решетка!.. Вырвался на свободу — и прямо за родное дело... Был ли я таким-то?»

И сделал Борису знак, чтобы подошел.

Тот бросил крутить лебедку. Снял рукавицу, чтобы поздороваться с отцом.

Но Казанцев руки не подал и в глаза не взглянул.

Спросил тихо:

— Иннокентий Субботин здесь? Вскричи его и сам приходи. Я буду в насосной ждать.

Насосная станция пока пустовала. Там стояли два огромных мотора, покрытых снежной изморозью. Протекала толстая крыша, и на шершавый, неструганый пол падали холодные светлые капли.

Ждать Казанцеву пришлось не долго. Пришли Субботин и Борис.

— Здравствуй, Иван Андренч. Что у тебя? Партвзносы, что ли, принес? — спросил Иннокентий.— Вообще-то пора, но мог бы я и сам к тебе зайти.

— Да, давно пора... — пробормотал Казанцев и начал расстегиваться.

Субботин и Борис переглянулись. Только сейчас увидел

Иннокентий, что от Казанцева осталась половина, и та незнакомая: стоял перед ним старик.

— Чего с тобой, Андреич? — спросил Иннокентий тревожно и участливо.

Борис шагнул к отцу: показалось, что тот пошатнулся. Но Казанцев отстранил его. Достал из-под полушубка банку, поставил на станину мотора. Потом медленно полез во внутренний карман пиджака. Вынул партийный билет и положил сверху банки.

— Вот, — сказал он, — долг... Помереть сволочью я не хочу...

Потом рассказал, откуда платина.

— Прошу, Иннокентий, помоги Борису, не отворачивайся. Ему сейчас трудно: когда еще все заживет?.. И за Якова прошу... Его вину еще можно исправить, а моя со мной останется...

Несовершеннолетние

Зорька хорошо запомнил тот день. Это было двенадцатого апреля 1942-го. В школу он уже больше не пошел, потому что его взяли конюхом на колхозный конный двор.

— Твоему шалопуту тринадцатый год,— сказал Зорькиной матери председатель колхоза Лазуткин.— После войны уж академию-то закончит.

Зорькина мать слабо и ласково улыбалась. В деревне ее давно считали за дуручку, но жалели. Раза два в зиму председатель давал лошадь, и Зорька возил мать в район, в больницу, к «нервпатологу». Он сам слышал, как за белой дверкой старушка врач из бывших фельдшерниц, знавшая всех больных наизусть, спрашивала у матери:

— Чего опять болит-то у тебя? Что тревожит?

— Господи, Нонна Петровна!.. Да все как есть болит, все тревожит.

— Что прошлый раз прописала, принимаешь? А то ведь небось...

— Дитем своим клянуся!

А Зорька знал, что мать лекарств боится. Охает, зовет смерть, а сама только и смотрит, как бы чем-нибудь не отравиться, не принять чего-нибудь вредного.

— Эх, ты, чудушка! — укоризненно сказал Зорька, найдя у матери под постелью целый узелок порошков.— Да кто тебя травить станет, кому ты нужна?!

Сколько Зорька помнил, мать то хворала, то недомогаала, то в приступе оживания целыми днями пропадала по соседям: плакала над чужими письмами с фронта и гадала на зеркале. А дома есть было нечего, поэтому председатель и решил взять Зорьку на конный двор, хотя Зорька был ростом мал и силы в нем были детские. Он только-только доставал лошадям шапкой под морду, а чтобы надеть хомут, залезал на поильную колоду. Короткие, слабые его пальцы с трудом ухватывали толстый ольховый держак от вил, которыми скидывали навоз.

И вот Зорьке в первый раз выписали полпуда хлеба. Правда, выдали овсяной мукой, которая хороша была разве что на кисель. Но мать, сразу забыв про свои боли, принялась стряпать калачи. Они вышли кислые, но пухлые и с красной коркой.

Зорька как раз отломил кусок от такого калача по дороге к кузнице — вел в поводу коня на ковку. Взглянул случайно в сторону и обомлел...

Наискосок от кузницы стоял дом печника Рядкова. Домишко с виду был не ахти, но все знали, что богаче Рядкова сейчас в деревне нет никого. Мастер он был первый на весь район и брал за кладку печей только хлебом. Кто не хотел мерзнуть, отдавал последнее. К тому же у Рядкова был самый просторный, уваженный огород. Он обнес его густым плетнем в человеческий рост, чтобы не видели и не знали, чего и сколько он по осени убирает.

И вот Зорька увидел, как сама по себе приоткрылась высокая дощатая калитка в рядковском подворье, словно бы в нее прошмыгнул незаметно кот или собачонка. И вдруг показалась длинная, запачканная кровью рука и на серый, талый снег выполз сам Рядков. Темноволосая, с проплешиной голова его тоже была в крови. Он, как рыба на берегу, несколько раз заглотнул ртом воздух, потом повалился бо-родой вниз, и длинные его ноги, обутые в бурые пимы, вытянулись.

А с берега в это же время донесся истошный бабий крик:
— Куда ты несет?! Ох, батюшки, куда ж это она?

Зорька дрожащими пальцами привязал коня и метнулся к рядковскому двору. Повис на плетне и увидел оттуда, как по реке, прямо по льду, уже подернувшемуся кое-где голубой водой, бежала полураздетая женщина, оставляя на рыхлом снегу след босых ног. И вдруг она оступилась, рухнула, и лед вокруг нее пошел в разные стороны.

Зорька зажмурился. Руки его ослабли, и он упал на сырой снег.

На берег и к рядковскому двору бежал народ, тащили доски и багры. А рядковская соседка Селифониха, позабыв о белье, которое несла на речку полоскать, объясняла сбегавшимся женщинам:

— Ведь это она, квартирантка его, Рядкова-то. Как есть раздетая, босая... Гляжу, бегёт, как дикая, прямо на по-лыню!

С реки крикнули:

— Нету уж... Под лед стащило!..

Зорька поднялся на ноги. Прижимаясь к плетню, придвинулся ближе туда, где народ кружком стоял над Рядковым. Взглянул на почерневшую, подмерзающую кровь, и ему стало тошно...

— Ну, каратель, отжился, — сказал за Зорькиной спиной чей-то густой голос.

Зорька знал: Рядкова звали карателем потому, что при Колчаке он зверствовал в своем уезде. За это потом просидел до тридцать пятого года. А когда вернулся, зажил не хуже других: мужик он был цепкий, с ремеслом в руках. К тому же он был один как перст, без нахлебников. Съел ли, выпил ли, бабе ли какой отнес — сам себе хозяин.

— Значит, эта мадама его и пришибла? Ну, история!

— Ладно, расходитесь! — угрюмо сказал председатель колхоза Лазуткин, молодой мужик, одетый в чистый ватник. — Никакого тут спектакля нету.

Но кто был решительнее, все-таки направился в избу. Осмелев, проскочил и Зорька. От калитки до самого крыльца виднелась кровь. В сенях — целой лужей. В кухне на грязном полу валялся молоток с острым бойком, которым печники бьют кирпич. Тоже в крови.

— Им стукнула.

Мимо ног пришедших шмыгнул большой, тигровой масти кот. Он спрыгнул с печи и, равнодушно светя круглыми зелеными глазами, направился вон.

— Сытый, — сказал кто-то. — И крови не замечает.

Все, словно позабыв о двух страшных смертях, с любопытством разглядывали жилище, в которое раньше никому допуска не было.

— Грязно жил... От ведра-то вонища какая!

— Бабу молодую держал, а что толку!

— Баба была для другого дела.

Потом все как-то разом опомнились:

— А девочка-то ихняя где?

...Девочка! Зорька знал про эту девочку. Она с молодой мачехой, той, что сегодня утонула, пришла этой зимой жить к Рядкову. На мачеху, хотя она и была красивая, Зорька, понятно, внимания не обращал, а на девочку поглядывал, оттаяв дырочку в замороженном окошке. Один раз даже ближе подошел. Девочка была маленькая и славная, только уж очень прозрачна с лица, и руки у нее показались Зорьке голубыми, почти синими. На улицу она выходила редко: наверное, мерзла. Сперва Зорька видел ее в коротеньком холодном пальтишке-курточке, не достающем до коленок. Потом она

вышла по воду в рядковской «куфайке», желтой от печной глины. «Куфайка» была ей очень велика, но девочка не подворачивала болтающихся рукавов, чтобы было теплее. Пола заходила далеко на полу, и девочка была подпоясана концом пеньковой веревочки. Прихватив рукавом дужку, она несла ведро, а воды в нем было всего на донце. Наверное, она не умела утопить ведро в колодце, чтобы зачерпнуть полное. А может быть, не было сил нести больше.

Зорькины размышления прервались. По расползающейся, почерневшей дороге подкатил в кошевке милиционер из Мурояна. И сразу выгнал всех любопытных из рядковской избы. Зорьке вдобавок попало за то, что бросил лошадь посреди дороги.

Зорька отвязал от рябины и повел к кузнице высокого белого мерина по кличке Бурай, спокойного вислогубого конягу. И уже у самой кузницы оглянулся: встречаемая умолкшей на минуту толпой, шла по дороге та девочка. Возвращалась из школы, за пазухой у нее топырились книжки. Одета она была все в ту же «куфайку», но на ногах посверкивали новенькие черные калошки. Она аккуратно обходила лужи, чтобы не зачерпнуть воды. Она, видно, ничего еще не знала.

Милиционер, не подпустив девочку близко к дому, быстро посадил ее в кошевку и повез по дороге на Муроян. А под Рядкова тоже были поданы старые колхозные розвальни, на которых и клока соломы не было на подстилку.

— И так ему сойдет,— мрачно заключил председатель Лазуткин.— Доигрался, гадюка!..

Потом Зорька слышал, как понятые, собравшиеся на конном дворе, рассказывали, что по описи изъяли у Рядкова, как не имеющего наследников, шестьдесят ведер картошки, одна к одной, будто сейчас только из земли, муки ржаной по полам с пшеничной двадцать с походом килограммов, белой лапши и прочих круп, уже отдающих лежалостью, около полпуда. И печеным хлебом пять с довеском буханок. Всех смутило найденное в чулане топленое сало в горшке. Цвета оно было хорошего, белого, и без запаха. Но кто-то сказал, что оно, должно быть, собачье: по деревне ходили слухи, что Рядков когда-то лечил собачьим салом какую-то свою болезнь, и видели у него на ограде развешанные на шестах собачьи шкуры. Поэтому сало решено было выбросить, а остальные продукты переслали в Мурояновский детский дом.

Еще изъяли у Рядкова две новые черные телогрейки с

ватными штанами, пару туго скатанных пимов на большую мужскую ногу, суконную высокую шапку с оторочкой, пиджак на овчине и старую ямщицкую шубу, которую он надевал в поездки, а ночью стелил под себя на печи.

— А на армию когда собирали, носка худого не пожертвовал, жила такая!

Сняли замок с сундука: там лежал пахучий товар на сапоги, метров десять старинного плотного сукна, бабий ситец в цветочках. В самом низу — вязка лисьих шкурок на шубу и еще фасонные женские полусапожки на высоком подборе.

А за перегородкой, где спала маленькая рядковская квартирантка, понятия увидели под хромой железной койкой пару изъеденных снегом худых дамских туфель со скошенными французскими каблуками, платье из шерсти, светившееся насквозь и все ушитое, вылинявший красный сарафан и шелковую кофточку с истлевшими подмышками.

— Как арестанток водил.

— Неуж и не кормил досыта? От такого-то достатка!

Хоронить Рядкова никто не пошел. Зорьке велено было запрячь Бурая в голые сани и подать к больничному крыльцу, откуда вытащили сосновый гроб, некрашенный и уже заколоченный наглухо.

После этой истории мимо рядковского дома народ старался не ходить. А ближние соседи, понятно, зарились на осиротевший огород, такой большой и просторный, что галка бы устала скакать из конца в конец...

...— Ну, девочка, скажи, как твоя фамилия, имя, отчество?

Девочка сказала отчетливо и серьезно:

— Левицкая, Марианна Сергеевна.

У нее еще не совсем прошел испуг перед незнакомыми людьми. Но она, по-взрослому справляясь с собой, объяснила следователю, что ей десять лет и четыре месяца и что она со своей мачехой, которую звали Ангелиной, эвакуировалась сюда в прошлом году летом. Они ехали в областной город, но попали в Муроян, потому что им так посоветовали. Сказали, что в большом городе будет плохо с питанием, а в сельской местности лучше: где картошка, где гриб, где ягодка...

— Ну и как, пособирала ягодок? — хмуро улыбнулся следователь.

— Да,— сказала девочка.— Здесь ведь прекрасная природа!

Находившиеся в комнате милицейские чины переглянулись.

— Вон как! А ты скажи, девочка, зачем вы к Рядкову жить пошли?

Марианна ответила с печалью:

— А я и не хотела. Но все так сложилось...

И следователь решил Марианну пощадить: не стал выкладывать ей всю беду.

— Тебе, девочка, придется пока в детском доме пожить,— сказал он, не глядя на Марианну.— Мачеха твоя захворала, увезли ее... Сейчас тебя дежурный проводит.

Тут Марианна не удержалась и в первый раз заплакала, положив голову прямо на следовательский стол. Волосы у нее были какие-то слабые, летучие. Они были коротко и немело острижены, и не покрывали даже маленьких ушей.

— Ну что ее допрашивать! — швырнул окурок следователь, когда милиционер повел Марианну.— Черт-те что получается! Она, конечно, ничего не знает.

— Все-таки одиннадцатый год. Чего-то понимала.

— Какого она лешего понимала! Жалко девочку. Эх, Гитлер проклятый! Наделал дел, собачья морда!

Милиционер и Марианна шли по улице. Она сама сунула ему в горячий кулак свою бесплотную, холодную, как льдинка, ладонь, чтобы он ее вел. Тогда он дал ей кусок пирога, который был у него в глубоком шинельном кармане. Марианна откусывала на ходу и почти задыхалась: и от внезапно подступившей к сердцу колкой боли, и от северного дикого ветра, который кидался им навстречу. Платок сполз у нее с головы, а поправить было нельзя: одной рукой она держала пирог, другая была у милиционера. Он заметил это, остановился и сам повязал ее. Сделал он это умело: наверно, у самого была такая же девочка. Марианна, пока он ее повязывал, пристально смотрела ему в лицо. Оно было очень морщинистое, как старая кожаная варежка, и плохо побритое. Бугристые, шершавые ладони милиционера на миг обогрели ее щеки.

— Тут-ка хорошо тебе будет,— сказал он, подводя Марианну к двухэтажному деревянному дому с высоким скучным забором.— Кашу дают, чай с сахаром. Похлебку...

— Дело не в этом,— серьезно ответила Марианна.— Я хочу, чтобы Ангелина поскорее за мной пришла.

Милиционеру следовало бы помолчать, а он хотя и поброду, но очень неосторожно заметил:

— Да на што тебе Ангелина эта? Ты ведь сама большая. И одна проживешь.

Светлые, как выросший в тени цветок, глаза Марианны стали большими-большими.

— Дядя, может быть, Ангелина умерла?..

Милиционер растерялся, махнул рукой и подтолкнул Марианну к воротам. Она покорилась.

Ее посадили прямо на кухне, поближе к теплой плите, и дали ей сразу две полные чашки с овсяной кашей. И все — няньки, поварихи, воспитательницы — глядели на нее, мешая ей этим есть.

Марианна молча съела одну порцию и протянула руку за второй чашкой. Но не взяла.

— Я не буду больше кушать, — тихо сказала она. — Знаете, у меня такое горе!..

Присутствующие переглянулись. Повариха в грязном фартуке обтерла мокрую руку и погладила Марианну по голове. Всех снедало любопытство.

— Мачеха-то у тебя молоденькая была?

«Была»!.. Значит, ее уже нету?..

— Нет, не очень молодая, — одиноко сказала девочка. — Ей уже было двадцать пять лет.

Марианне показали кровать и дали рубашку с черным штемпелем на подоле. Она легла, свернулась и стала напряженно слушать свое сердце. Его то совсем не было в груди, то оно вдруг больно толкалось в ребро. В кухне Марианна отогрелась, а тут ей опять стало холодно.казалось, что теплые у нее только слезы, которые грели ей щеки.

— Спи, — сказала нянька, проходя мимо ее кровати. — У нас спать положено, деушка.

— Хорошо, — чуть слышно произнесла Марианна.

Но она не уснула.

— Эй, иди сюда! — вдруг позвала ее насморочным шепотом девочка-подросток с соседней койки. — Иди, а то поврозь холодно.

Марианна, поборов дрожь, легла возле незнакомой девочки и дотронулась до ее костистого голого плеча. Кожа была теплая, шероховатая, как будто натертая пылью. От головы пахло какой-то горькой мазью.

— Как тебя зовут? — шепотом спросила Марианна.

— Шурка. А что у тебя ноги холодные, как у лягухи?

Нянька сонно сказала из угла:

— Эй, спите там!

— А ну ее к шути! — тихо буркнула Шурка и наклонилась к Марианниному уху: — В уборную захочешь, скажи, я тебя провожу, а то еще в коридоре на мыша наступишь, напугаешься.

...Утром, когда Марианна открыла глаза, Шурка лежала на спине и под одеялом чесала худой живот. Нос у Шурки был большой, простуженный, глаза маленькие и зеленые. На голове отрастали недавно стриженные под машинку волоски медного цвета.

Шурка заметила, что Марианна проснулась.

— Бежи на свою койку, а то попадет.

Потом, уже через проход, она спросила:

— Ты сирота круглая аль только без отца?

Марианна сказала, что ее мама умерла, когда ей было пять с половиной лет.

— А кто же тебя рёстил?

— Няня Дуня. И папа. Мы жили под Москвой, в Петровском-Разумовском. Нас было трое, а потом папа еще женился на Ангелине.

— Небось била?

— Нет, что ты!..

Шурка вздохнула: наверное, вспомнила что-то из своей сиротской судьбы. И принялась одеваться серьезно и неспешно.

На завтрак была каша из сечки и по чашке молока.

— Хочешь? — спросила Марианна у Шурки, оставляя половину каши.

У той мигнули и загорелись зеленые глаза. Собственная ее каша была съедена, и миска блестела, как помытая.

— Я за тебя приборку делать буду, — обещала Шурка, быстро доев Марианнину порцию.

В тот же день вечером Марианна уже знала, что случилось с Ангелиной: няньки не удержали языки.

— А чего плакать-то? — со взрослой рассудительностью заметила Шурка. — Кабы родная мать, а то мачеха!

Марианна вытерла слезы и посмотрела на нее: чем-то Шурка в эту минуту показалась ей похожей на няню Дуню.

— Пожалел бы дитё-то,— сказала папе няня Дуня.— Что ты, на самом деле, очумел, что ли, на старости лет?

Но папа был еще не старый — ему было сорок два года. И сама няня Дуня втайне рассчитывала в ближайшее время женить его на соседке, девице в годах, но образованной, умной и тихой. Соседка эта работала заведующей аптекой и снабжала няню всевозможными дефицитными лекарствами.

Но папа поступил по-своему. В мае месяце, в самое цветение, ему дали путевку в дом отдыха. Уехал он скоропалительно, так что няня Дуня не успела его собрать как следует: подкладка у пиджака отпоролась, на рубашке не хватало пуговиц, и носков папа взял с собой всего одну пару, так что ему пришлось там самому стирать их в речке.

В доме отдыха папа и познакомился с Ангелиной. Вскоре же после его возвращения няня стала пришивать ему подкладку и нашла в кармане два использованных билета на «Дочь Анго». Потому она решила, что папа всерьез загулял.

Потом он принес домой торт в коробке и бутылку портвейна. Попытался спрятать все это от няньки, но она сразу же насторожилась.

— Это что же, гости будут?

— Да,— тихо сказал папа.— А что тебя удивляет?

У Ангелины было очень молодое, милое, хотя и без особых примет, лицо. Золотистые волосы, крутая грудь и очень маленькие руки и ноги. Юбка была до того ей узка, что няня Дуня сказала у нее за спиной:

— Свят-свят-свят!..

А Марианна была рада: во-первых, купили торт, во-вторых, папа в этот вечер был такой смешной: играл на пианино и показывал фокус с палочкой, которая, положенная на ребро пальца и потом перевернутая, почему-то не падала.

На другой день после визита Ангелины папа занялся перестановкой мебели. За шкафом, за пианино, за комодом покоилась густая, ватная пыль. Там же валялась случайно упавшая фотография в рамке. Марианна подняла и увидела папу вместе с мамой. Папа быстро отобрал у нее эту фотографию и спрятал, не отряхнув даже пыли.

Комнату разгородили пополам большим шкафом и диваном с высокой спинкой. Стало некрасиво и тесно. Няня Дуня сказала:

— В цирке, прости бог, и то небось лучше. Может, ты хочешь, чтобы я тебе, как птица, через небель летала?

— Сейчас сделаем проход,— терпеливо объяснил папа.

— Не нужен мне твой проход,— неумолимо продолжала няня.— Я тоже замуж пойду.

Она сдвинула грудью комод и ушла в кухню. Там она принялась готовить котлеты и шумно утиралась фартуком, чтобы привлечь сочувствие соседок.

Папа попытался один отодвинуть диван и отломил валик. Они с Марианной подняли его и кое-как приладили к месту. Потом папа оглядел свои серые от пыли, единственные брюки, сел и вздохнул.

Вечером он отправился за Ангелиной. Няня Дуня с Марианной не ложились спать и ждали, когда под окном зарычит такси, на которое папа занял у няни три рубля.

На другой день няня Дуня взяла грех на душу и заглянула к новой хозяйке в тяжелый потертый чемодан. Разочарование было полное: чемодан был доверху нагружен альбомами. А в альбомах — фотографии артистов и вырезки из газеты «Вечерняя Москва» с кинорекламой.

Няня Дуня приняла сначала артистов за Ангелиных кавалеров, но потом разобралась и сказала только:

— Тыфу! Двадцать пять лет, а в голове глупость. Ох, как и жить будем?..

Марианне тоже очень хотелось посмотреть. Но она только совестливо заглянула раза два через нянино плечо и отошла. Весь вечер она мучилась: как попросить молодую мачеху показать ей артистов, не выдав при этом няню Дуню? Наконец спросила осторожно у Ангелины:

— Вы любите переводные картинки делать? Или смотреть фотографии? А то просто нечем заняться...

Раньше вечерами все они — папа, няня, Марианна, а иногда еще соседка, заведующая аптекой,— играли в цифровое лото или в карты. Когда папа проигрывал, няня Дуня каждый раз приговаривала:

— Козыри свежи, а дураки все те же. На-кась, сдай!

Теперь в комнате было тихо: Ангелине нужно было готовиться к экзаменам на курсы иностранных языков. Она располагалась на диване с оторванным валиком, из-под халата белели ее маленькие полные ноги. А яркие, намазанные краской губы беззвучно шевелились.

Мешать было нельзя. Только няня Дуня нет-нет да и позволяла себе сказать что-нибудь важное:

— С мясом чтой-то плохо стало. Потроха нонче у рынка давали, так что творилось — не дай бог!..

— Да? — словно радуясь, что может на минутку оторваться от словаря, удивлялась и Ангелина. — А зачем нам потроха?

Первого июня праздновали Ангелинино двадцатипятилетие. Папа купил ей кольцо с большим красным камнем. Но через несколько дней Ангелина отправилась, взяв с собой Марианну, на пляж, и кольцо это уплыло с ее маленького пальца. Няня Дуня не утерпела и заявила папе:

— Покойница твоя этот супер как глаз бы берегла. Нашел ты себе Растереху Петровну!

Папа сделал вид, что не понял. Но няня жалости не знала. В тот же день за обедом сказала Марианне:

— А мать-покойница на тебя глядит, как ты не слушаешься, супу есть не желаешь. У ей сейчас сердце кровью запекается.

Папа за последнее время сильно похудел. Глаза у него стали туманные, виски замерцали, а на щеках прыгали два красных пятна, как у простуженного. Однажды Марианна увидела, войдя в комнату, как папа обнял Ангелину, а та увернулась. И пятна на папиных щеках побелели.

Соседки на кухне судачили:

— Она за него из-за прописки пошла. Кто это на ребенка в двадцать пять лет пойдет? Опять же — не работает, сидит барыней.

И только соседка-фармацевт, по-прежнему снабжавшая няню лекарствами, попросила:

— Пожалуйста, прекратите пересуды. Это очень нехорошо.

После 22 июня в Подмосковье наступили долгие, душные, сдавленные тревогой дни. Очередь добровольцев у военкомата, девочки, марширующие по улицам с красными крестами на повязках и с лихой песней: «Броня крепка, и танки наши быстры...» А через неделю — первые зажигалки, посыпавшиеся на крыши домов и сараев. Раненые, которых поместили в школу, куда Марианна уже ходила учиться. И вместо запаха жасмина и дикой розы, богато цветущих почти в каждом саду, над пригородом плыл едкий запах свежих пожарищ.

Няня Дуня и Ангелина копали во дворе щель. Копали по очереди, потому что на всех жильцов была одна лопата, остальные отдали тем, кого послали за город копать рвы.

Дело двигалось медленно: копать умела одна няня Дуня.

У Ангелины это вовсе не получалось, лицо у нее было испуганное и красное. А папа дежурил день и ночь у себя в учреждении. Он изорвал пиджак и прожег брюки. От него, когда он прибегал, пахло пожаром, чердаками, кирпичной пылью и сыростью бомбоубежищ.

К концу июля выдалась одна страшная ночь. Сигнал тревоги подали, когда было еще светло. Но подали поздно: когда все побежали по щелям, уже летели осколки и мальчишку-ремесленника убило на бегу. Где-то так кричал ребенок, что Марианна от ужаса заплакала.

Стояла темная ночь, а отбоя все не было. Самолеты черными воронами пролетели и ушли, а уж только потом забили где-то далеко орудия. Глина посыпалась в щель крупными горячими комками.

— Спаси нас, мать божья! — истошно шептала няня Дуня.

Ангелина дрожала, молча прижавшись к сырой стенке.

— Ты боишься? — шепотом спросила у нее Марианна, сама тоже вся дрожащая. — Не бойся!

Но Ангелина как будто не слышала этих слов.

— Почему? — вдруг с отчаянием выкрикнула она. — Я не хочу!

Тогда няня Дуня перестала креститься и сказала грозно:

— Хватит блажить-то! Сама хоть десять раз помри, а ребенка не пугай. Егоистка!

И Ангелина, испугавшись еще больше, умолкла.

Утром появился папа. Рот у него был черный, глаза слезились. Он долго мял своей коричневой малосильной рукой белую ладонь Ангелины и несколько раз повторил:

— Я тебя прошу!..

Папа шел добровольцем. А о чем он просил Ангелину, ни няня Дуня, ни Марианна так и не поняли. Ангелина при папиных словах громко, но без слез всхлипнула, будто хотела в чем-то покаяться.

— Ты мой милый!.. — сказала она, сама не узнав своего голоса. И, чтобы не смотреть папе в глаза, положила голову ему на плечо.

Няня Дуня сердито махнула рукой и увела Марианну из комнаты.

— Наш-то в крāju свою вцепился, — сказала она соседке, — а на родного ребенка и не поглядит.

Папу проводили, а через полчаса опять объявили трево-

гу, и посыпались черные зажигалки, и улицы потом все были черные.

На заре няня Дуня уложила Марианну спать и пошла заниматься очередь за хлебом. Подурневшая от слез и страха Ангелина тоже прилегла. Но спали они недолго: появилась нянина крестница Нинка, крепкая, низкорослая, решительная девица, уборщица в парикмахерской.

— Хрёстной нету? — спросила Нинка. — Уезжаю я.

На Нинке надет был синий комбинезон, на голове плоский берет со значком Красного Креста. А косу свою в три пальца толщиной она в своей же парикмахерской и среза-
зала.

— С госпиталем уезжаю, — объявила Нинка. — Присягу военную дала.

— Куда же вы едете? — спросила Ангелина.

— А кто же тебе скажет? Тайна.

И вдруг Нинка в упор тоже спросила Ангелину:

— А ты чего тут сидишь? Тело боишься растряс-
ти?

Вечером мимо их дома прошли машины, накрытые срубленными березками. В темном кузове белели забинтованные головы, руки. Уехала и Нинка. Няня Дуня, побелев лицом, шептала что-то и крестилась вслед.

На следующий день к ним пришел папин сотрудник. Он сказал, что для них троих есть места и чтобы они собирались ехать в эвакуацию.

Няня Дуня и Ангелина долго тихо разговаривали о чем-то в своей комнате. Потом до соседей донеслось нянино восклицание:

— Пушай я в своей деревне на печке с голоду поколею, чем мне гдей-то руки-ноги бонбой оторвет!

— Но ведь к вам в деревню могут прийти немцы, — пробовала возразить Ангелина.

— Не придуть! — уверенно сказала няня Дуня. — Мы от уезда сорок семь верст.

Тогда соседка, та самая, что утверждала, что Ангелина вышла замуж из-за прописки, отворила дверь в комнату и авторитетно сказала:

— Основное — что на вас теперь числится ребенок. А то вас, как не работающую одиночку, могли бы мобилизовать и услать куда-нибудь. С ребенком вас теперь никто не имеет права тронуть.

— А мы едем в эвакуацию, — решительно и даже весело объявила Ангелина.

Ей казалось, что ничего страшного впереди уже не будет.

В Муроян Ангелина и Марианна попали к концу первого военного лета. В вагоне рядом с ними ехал красивый полный мужчина в полувоенной одежде, так туго опоясанный широким желтым ремнем, что живот у него вылезал, как у няни Дуни лезло из кастрюли пирожковое тесто.

Он очень оживленно беседовал с Ангелиной, угощал ее папиросами «Тройка», она отказывалась, но все-таки попробовала закурить. Они разговаривали, вспоминали довоенную жизнь, что-то спорили насчет музыки и театра и громко смеялись. Даже когда остальные ложились спать. Так что их в конце концов попросили считаться с окружающими. Одна пожилая, замученная дорогой женщина сказала им очень зло:

— В такое время флиртовать просто неуместно. Будьте людьми.

Но Ангелине было сейчас не до флирта: она с надеждой думала о том, как было бы хорошо, если бы этот влиятельный, солидный дядя помог ей получше устроиться, чтобы избежать всяческих мытарств, о которых она уже наслышалась в дороге.

Красивый попутчик действительно дал ей записку к председателю Муроянского исполкома, посоветовав не ездить в большой областной центр, где уже полно беженцев и эвакуированных. Обещал на всякий случай оставить Ангелине и свой адрес в Краснокамске, но почему-то так и не оставил. Когда он сошел с поезда, у Ангелины был очень расстроенный вид.

Поселок Муроян был пылен и неприютен. Автобусов и трамваев здесь никаких не было, и от станции до исполкома идти было очень далеко. На песчаных горушках мостились без всякого порядка дома и бараки рабочих смолоперегонного и механического завода. Над поселком плыл густой скипидарный запах, не неприятный, но дурманный. На реке Мурё шел сплав леса россыпью, и все берега были завалены мокрыми кряжами, с которых оползала коричневая пахучая шкура.

Председатель исполкома, к которому Ангелина везла письмо, сам уже был на фронте. Его преемнику, бывшему начальнику поселковой пожарной охраны, Ангелина устало объяснила, кто они такие и откуда, и сказала, что специальности у нее нет, что она училась на курсах иностранных языков и умеет рисовать по шелку и делать аппликации.

Он к этому отнесся так, будто она ему сказала, что умеет ходить на голове.

— Ни к чему это сейчас, — сказал он, сочувственно вздохнув. — Теперь, милка моя, не до шелков, не до бархатов... Как у тебя насчет грамотности? Ребятишек учить некому стало.

И он послал Ангелину в деревню Тихое, где нужна была учительница в школу-четырёхлетку.

— Место хорошее, учеников всего восемнадцать голов. Так что давай поезжай, дорогая гражданка!

...Дорога в Тихое шла ярким, янтарным сосняком, таким стройным и ровным на подбор, что он казался нарисованным. Еще не тронутый осенью, блестел под вечерним солнцем молодой березовый подлесок. И от этого зеленого спокойного богатства Ангелина и Марианна почувствовали себя как-то бодрее.

— Вон грибок растет! — увидела Марианна. — Можно мне сорвать?

Их вез на телеге мальчишка лет пятнадцати, неразговорчивый, но все время ругавший лошадь. Он обернулся к Марианне и сказал со взрослым равнодушием:

— На што он тебе? Кабы груздь, а то дрянь — обабок. Их сейчас уже не берут — кислые.

В Тихое приехали, когда по деревне проходило стадо. Коровы все были черные, некрупные, но сытые, они как будто с трудом несли полное вымя. Поскотина была рядом, там сонно гудели шмели над примятой, но еще не пожелтевшей и не потерявшей сока травой.

— Это что же, весь багаж ваш тут? — спросила вдова Капустиха, к которой сельсовет определил прибывших. — А зимовать как же думаете?

Действительно, у квартиранток было что на себе, то и при себе. Полнененькая, золотоволосая Ангелина привезла с собой две шляпы, темно-синий бостоновый жакет в талию, короткий красный сарафан из маркизета. Правда, в чемодане у нее было еще множество каких-то пестрых шелестящих вещичек, но, как определила вдова, ничего путного. И у маленькой Марианны, кроме панамки, двух коротеньких платьев и курточки с перламутровыми пуговицами, тоже ничего не было.

— У нас есть деньги, — живо сказала Ангелина, — мы можем купить.

Капустиха усмехнулась сочувственно.

— Вряд ли вы что сейчас укупите. Может, власть вам чем пособит?

Но «власть» обещала только обеспечить дровами на зиму и землей под огород. И все же до холодов, казалось, было еще далеко, и Ангелина, надев свой яркий сарафан, гуляла с падчерицей по деревне. Дачников в этой дальней северной местности никогда не бывало, да и приезжие были редки, поэтому жители Тихого отрывались от привычных дел и с любопытством глядели им вслед.

— И не поймешь, девка ли, баба ли... А меньшая-то славенькая.

Тепло продержалось весь сентябрь, дороги были сухи, еще не оголился лес. Деревня дремала, обнесенная, как частоколом, зелеными елками, под которыми изумрудной пеной вздувался мох. Прямо с края леса горбились кочки красной брусники, крупной, как бусы. Ягоды уже поспели и легко осыпались с куста на руку. Тут же росли жирные маслята, рассыпавшись семьями по сухой траве. И боком выпирали из земли белые твердые грузди.

Рискнув зайти чуть подалее в лес, Ангелина и Марианна увидели большой пруд. У берегов вода стояла зеленая и масляная, а к середине, в которую ударял солнечный луч, серебрилась, как рыба чешуя. Близко к себе пруд не пускал: кочкастый, вязкий его берег как будто глубоко дышал, ступить в эту зеленую мякоть было страшно.

Ангелина и Марианна долго разглядывали этот пугающий, какой-то таинственный пруд. Когда же оглянулись, им показалось, что лес сомкнулся и не осталось ни единой тропы. Но деревня была совсем рядом: они услышали тележный скрип на лесной дороге, потом гудок «кукушки», которая ходила мимо Тихого на Муроян.

— А когда мы домой поедem? — вздрогнув от этого гудка, спросила Марианна у мачехи.

Та ничего не ответила.

Они вернулись в деревню. Вдова Капустиха рыла на огороде картошку, поддевая тяжелый куст на вилы-четырёхзубки. Она посмотрела из-под ладони на приближающихся квартиранток и молча покачала головой. Она не помнила в своей шестидесятилетней жизни такого дня, когда бы она шла из лесу с порожними руками, будь то мешок травы, короб с груздями, вязанец березняку на веники или лыка на мочало.

И все-таки вдова пожалела квартиранток и сказала:

— Айдате, девки, картошки молодой поешьте. Сварено у меня.

Глядя на спокойную в своей беспечности Ангелину, вдова грешным делом подумывала, не рассчитывает ли та на свою

красоту. Мужики, которых в Тихом осталось не много, улыбочиво поглядывали на приезжую учительницу, издали примечая ее красный сарафан. Только времена теперь были не те, чтобы можно было много взять с этих мужиков: у каждого семья душ по семь, по восемь и нигде лишнего куска.

Весь сентябрь и половину октября школьники копали в колхозе картошку и вязали овес. Ангелина сидела на полянке с карандашом в руках и вела учет ссыпанным ведрам и навязанным снопам. Таким образом ей удалось сохранить свои единственные туфли на французском каблуке. Мальчишки и девочки, таскавшие плетеные кошелки с картошкой, кричали ей издали:

— Учительница! Десяту носку запиши! Гляди не путай!

Бригадир Сеня, рыжий, похожий на петуха парень, присаживался рядом и спрашивал:

— Ну, как дела идут, Андилина Ивановна? Трудимся? Разрешите на списочек ваш поглядеть.

А сам невольно косился на высокую Ангелинину грудь, на крутые плечи, припеченные ветром и покусанные кое-где неотвязным мошкарьем.

— Вы не представляете, Андилина Ивановна, какие у нас раньше сельскохозяйственные успехи были! По картошке и по турнепсу — первое место в районе. Опять же всевозможный корнеплод...

Ангелина слушала рассеянно, но улыбалась. Сеня рос в собственных глазах и сыпал культурными словами:

— А теперь вот, благодаря проклятого фашизма, совершенно оголяется сельское производство. Мужчины исполняют военный долг, а в результате на полях одни, я извиняюсь, бабы и юные дети. Просто сердце рыдает, Андилина Ивановна!

Не успели в колхозе убрать овес и докопать картошку, как Сеню призвали в армию. Он зашел попрощаться и сказал:

— Желаю, Андилина Ивановна, всего самого наилучшего! Прошу проследить за прессой: Семен Коптелов о себе даст знать!

В этот вечер Ангелина грустила. Может быть, жалела Сеню, а может быть, боялась нового бригадира, черного горбатого мужика, единственного в деревне, кто остался совсем равнодушен к ее молодости и яркости.

Утром он чуть свет приходил к дому вдовы и дубасил в наличник:

— Подолгу спите, едри вашу мать!

Марианну в поле не брали. Она бродила по огороду, разглядывала торчащие из земли желтые пузики репок, бурые узлы свеклы, накрытые зонтиками из собственных листьев. Осторожно трогала рукой холодные кочны капусты в лопнувших рубашках. Ей хотелось что-нибудь съесть, но она никогда самовольно не вырвала ни одной морковки.

— Святой ребенок,— говорила вдова.

Однажды к вдове зашла соседка. Поговорили про то, про се, и соседка вдруг спросила:

— Долго ты дармоедок этих кормить будешь? Ведь ты себя оголодишь начисто. Ну, добро бы еще девчонку, а эту толстозадую чего жалеть? Ведь она тебе в огороде копка не сделала.

— Да бог с ими,— печально отозвалась вдова.— Не поле-польское у меня картошки этой. Всего-то мешок рассаживала. Сама выкопаю.

Овес весь убрали до снега и сразу принялись молотить. Целыми днями на току трещал барабан и стучала веялка. В приводе ходило три пары бокастых лошадей, и в гривах и в хвостах их густо желтела овсяная солома. Мальчишки свистели и шелкали кнутами. Бригадир, тот самый черный, горбатый, широко разводя локти, пихал снопы в барабан молотилки. Бабы парами, будто танцуя, подхватывали на грабли обмолоченную солому и гнали ее граблями дальше по току, вытрясая неосыпавшееся зерно. За током росли овсяные клады, и ветер сбивал им макушки, словно шапку на ухо.

Марианна подошла поближе, чтобы посмотреть, и мальчишка, отгребающий от веялки зерно, сказал ей:

— Гоняла бы воробьев. Какое-никакое, а дело.

Воробьи не очень пугались Марианны, хотя она усердно махала прутиком и кричала:

— Кыш!..

И все-таки бригадир, из черного ставший желтым, погладил ее по голове и в обед велел налить ей молока, как и другим молотильщикам.

Дома Марианна сказала:

— А я сегодня тоже немножко работала!

...Первый мороз пришелся на третью неделю сентября. Не убранные еще с огорода кочны капусты как будто кто-то обсыпал мелкой белой солью. Когда днем пригревало солнце, над стожком сена, сложенным у вдовы в огороде, курился голубоватый парок. Стог обсыхал, и тогда от него начинало приятно пахнуть чаем. И из леса ветер приносил преловатый, сладкий запах.

— Это чем так пахнет, тетя Агния? — спросила Марианна у вдовы.

— Опятками, чуешь. Самое им время.

После уборки колхоз выделил Ангелине пять пудов мелкой картошки и два мешка капусты, уже схваченной морозом. И еще телегу обмолоченной овсяной соломы.

— Интересно, что я должна с ней делать? — недоуменно спросила Ангелина.

— Зимой всякой травинке рады будем, — заметила практичная вдова.

Собираясь в школу, Ангелина долго не решалась надеть на себя шушун на вате, который жертвовала ей вдова. Шушун был ветхий, истертый на локтях и крепко засаленный по вороту. К тому же он был и мал Ангелине: она еще не вовсе спала с тела, а вдова была женщина дробная. Главное же — шушун этот удивительно не вязался с туфлями на каблуках и шляпой из лилового фетра.

— Нет, не могу, — сказала Ангелина, побледнев даже, и быстро сняла с себя вдовью справу, пахнущую сундучной лежалостью.

Она надела свою жакетку из синего бостона, рукава и ворот у которой тоже страшно лоснились, и ушла. А вечером молча плакала.

3

В это позднее январское утро у вдовы было очень скорбное, черное лицо.

— Поприели мы все, деушки, — сказала она, поставив самовар на пустой стол. — Промышлять чего-то надобно.

После этого наступила такая же пустая тишина, только слышно было, как подтекает самоварный кран.

— А вы козочку доить не пойдете? — виновато спросила Марианна вдову, вздрагивая, хотя в избе было уже вытоплено.

— Отдоилась наша козочка: окотна...

Ангелина ушла в школу, не сказав ни слова и надев тот самый вдовый шушун, от которого она отказалась три месяца назад. Тем более что в этот день она решила пойти на Муроян, в исполком. Да и шушун теперь не был ей узок.

Вернулась она поздно. Вдова, несмотря на утреннее предупреждение, смастерила пустые щи.

— Скажите, далеко отсюда деревня Боровая? — вдруг спросила, не глядя на вдову, Ангелина.

— Да порядком. Одним днем туда-сюда не обернешься.

— Мы теперь там будем жить...

Вдова в растерянности обронила ложку. Взглянула на Марианну и увидела, что она раскрыла рот с маленькими слабыми зубами, будто кто-то причинил ей внезапную боль, от которой у нее захватило дух. И вдруг Марианна закричала, зажмурилась, на которых сразу же выступили слезы, и стуча по столу маленькими, бессильными кулаками:

— Нет, нет, нет, нет!.. Не поеду!

— Не говори глупости, — тихо сказала Ангелина. — Я уже обо всем договорилась...

В Боровую они приехали к ночи. Воевала метель, шевелились сугробы. Ангелина и Марианна неподвижно лежали в коробе, накрытые белым от снега куском кошмы.

— К школе, что ль? — спросил возчик.

Ангелина подняла голову:

— За церковь, третий дом от угла...

— Это что ж, к Рядкову, значит?

Выбеленная снегом лошадь пошла дальше. За санями тянулись две глубокие борозды, как на пахоте. В домах уже не было огня, и они казались черными пнями под белой снежной шапкой.

— Ну, подымайтесь, приехали!

Марианна попробовала встать на ноги и упала: теперь уже на ней была надета вдовья одежина, доходившая ей до пяток.

На стук долго никто не отвечал. Нерешительно стучала Ангелина, потом начал бухать в ворота возчик. Он, видно, тоже сильно замерз, потому что несколько раз густо обругался. Наконец хозяин им открыл. Это был высокий пожилой мужик с черным клоком бороды. Он пристально вглядывался в две белые фигуры — женщины и девочки, прижавшиеся к воротам.

— Кто такие?

— Вы забыли? Вы меня звали к себе... — слабым от холода голосом сказала Ангелина. — Мы из Тихого...

— Ишь ведь! Верно, звал.

Рядков стирал ладонью снежинки, которые таяли на его непокрытой, с проплешиной, голове. Он как будто и не спешил пускать приезжих в свой двор.

— Да ты што, так твою мать! — рассердился возчик. — Пусти их в избу-то. Ведь шешнадцать верст по метели ехали.

Рядков зажег на кухне слабую лампочку и тут же загородил окошко большой грязной подушкой, чтобы свет не был

виден с улицы. Теперь маленькая боязливая Марианна разглядела как следует его лицо. У Рядкова был крупный, решительный нос, глубокие, почти невидные зрачки. Нижняя, по-молодому розовая губа чуть отвисала, показывая желтоватые, но еще нерасшатанные зубы.

На нем была нижняя рубашка с тесемками у ворота. Тело под рубахой угадывалось сухое, но сильное. На плоской груди серебрилась цепочка с крестом.

— Пожаловали, значит? — улыбаясь, спросил Рядков. — Ладно.

Очень хотелось есть. Так хотелось, что дрожали пальцы. Но Рядков ничего им не дал, хотя под лавкой стояла большая миска с молоком для кота и туда был накрошен хлеб. Кот этот, зеленоглазый, корноухий, терся у хозяйских ног, однообразно, но преданно урча.

— Ложитесь, — велел Рядков. — Ты туда, а ты туда... — Он указал Ангелине на кровать за перегородкой, а Марианне — на узкую лежанку, куда вспрыгнул кот.

— Мы вместе, — попросила Ангелина.

Он посмотрел на нее испытующе. Розовая губа его сложились совочком, и он усмехнулся.

— Воля ваша.

Ангелина и Марианна легли на кровать, почти не раздеваясь, и накрылись с головой, потому что им казалось, что хозяин и кот смотрят на них с печи.

— Я боюсь, — на ухо мачехе сказала Марианна.

Утром Рядков разбудил их сам. Пальцы его крепко взяли Ангелину за плечо.

— Пожалуйте, барышни приезжие, чай кушать.

В маленькое окошко лез рассвет. Рядков уже сам истопил печь, загреб горячие угли и вздул самовар.

— Провиант есть у вас какой с собой? — спросил он, когда его постояльцы приблизились к столу.

— Пока у нас ничего нет, — сказала Ангелина.

— Пока? А потом, значит, рассчитываете получить? Ну, поглядим.

Рядков выставил из горки на стол три чашки и блюдо с сахарным песком. И вдруг Марианна увидела белые поджаристые плюшки.

— Возьмите по одной, — милостиво распорядился Рядков, улыбаясь собственному великодушию. — Это я в пекарне печи уделявал, так дали мне сдобок. А уж чай вам сегодня постный будет. Не принесла мне одна баба молочка, метели испугалась.

Он пристально наблюдал, как они ели. Сам не съел ни кусочка, пил только пустой чай, звучно втягивая его через оттопыренную губу.

— Радиво небось любите слушать? В кино ходить? У меня ничего этого не будет. Я живу убого. Я человек рабочий.

Им оставалось только молчать и ждать. Плюшки свои они уже съели и теперь тоже тихо пили пустой чай.

— Я радивов не слушаю,— наслаждаясь их робостью, продолжал Рядков.— Правильного-то ничего не скажут. Один гольный обман.

— Какой же обман? — решила спросить Ангелина.

— А всякий. Такой-то пунт взяли, эдакой... А немец прет да прет.

— Но ведь под Москвой их очень сильно разбили,— уже смелее сказала Ангелина.

Рядков поглядел на нее пристально и вдруг спросил:

— А ты город Одест знаешь?

— Да,— не сразу поняв, ответила она.

— А что дальше, Москва или Одест?

— Смотря откуда.

— Все оттуда! — Рядков подмигнул, будто слова его содержали какой-то хитрый смысл.— Ничего ты не знаешь! Проснетесь как-нибудь, а немец-то тут: вашим от наших низкий поклон!

Ангелина и Марианна не без страха переглянулись.

— Это же все изменится,— совсем робко сказала ма- чеха.

— Когда рак свистнет! А покуда вы с голоду подохнете, если добрые люди не выручат.

Он отвесил губу и улыбнулся.

— Держитесь за меня. Сумеете угодить — как царицы жить будете. Рыбы достану, пельмени мясные будут вам.

— Вы только скажите: что надо делать? — ободрившись, спросила Ангелина.

— Скажем, спешить некуда.

Рядков приглаживал гребешком бороду и черные стоячие волосы надо лбом и висками. И, продолжая улыбаться, глядел на беспомощно-красивую и еще не окончательно исхудавшую Ангелину.

— На покойную ты мою Дусю похожа,— сказал он вдруг Ангелине и указал на портрет над комодом.— Две капли воды.

С портрета слепыми, бараньими глазами смотрела женщина в платье с глухим воротом и с черной кружевной наколкой на гладко причесанной голове. Это была очень некрасивая женщина. Но Ангелина не обиделась.

С Рядковым она познакомилась на прошлой неделе, когда ходила на Муроян, в исполком, просить материальной помощи. Ждать ей там пришлось долго. В нетопленном коридоре, где она сидела на скамейке, возился возле голландки печник. Руки у него по локоть были в саже и глине, даже борода запачкана. Но он несколько раз пристально и хитро поглядел на Ангелину, и нижняя розовая губа его при этом топырилась, как в предвкушении сладкой еды.

— Приезжие будете? — спросил он, крепя проволокой печную дверцу.

Ангелина чуть кивнула головой. После полутора часов пустого ожидания ей стало тошно. И все решительные, заранее заготовленные слова связали, как лист ольхи по первому морозу.

— Зря ты тут ждешь, — вытирая грязные руки о рогожку, сказал печник. — самого нынче не будет. Я тут все порядки знаю. Ты вот ступай туда, — он указал Ангелине лесенку наверх. — Там писака один сидит.

В комнате наверху Ангелина увидела горбатенького, похожего на речного рака человека, который распростер клешни над столом.

— Ничем сейчас твоей нужде пособить не можем, — сказал он, пробежав заявление, в котором Ангелина просила зимней одежды для себя и для падчерицы. — Год только начался, фонду еще не отпустили.

— Но вы должны помогать эвакуированным, — бодрясь, заявила Ангелина.

— Само собой, что должны. А вот нету сейчас ничего, верь душе. Даже пары рукавиц дать не можем. Заявление свое оставь, через две недели приходи. Чего-нечто подкинем обязательно.

А пока он ей дал пропуск на разовый обед в исполкомовскую столовую. Там Ангелина съела мясной суп, а блин из яичного порошка решила отнести Марианне. Но и блин съела, едва отошла от Муроян. И вдруг с ясностью почувствовала, что никакие две недели она ждать не может и не хочет: все в ней отчаянно запросило сытости и тепла. Она не знала, на кого ей теперь обижаться, но ей было невыносимо обидно и жалко себя, молодую и красивую, в допотопном шушуне,

в котором просто невозможно чувствовать себя человеком.

В эти сложные минуты Ангелину как раз и догнал на санях Рядков, тот самый печник, который лез к ней с расспросами в исполкоме. Он придерживал лошадь и, улыбаясь в бороду, предложил:

— Желаетьш, подвезу, красавица заезжая? Не робей: лошадь казенная; коногон при службе. Дорого не возьму.

Ангелина села к нему в сани, на накрытые рогожей кирпичи. А Рядков продолжал улыбаться.

— Замужние?

— Да.

— А спать небось не с кем?

— Это не имеет значения, — вяло сказала озябшая и усталая Ангелина.

Рядков гладил варежкой бороду и неотрывно смотрел на спутницу.

— Не с того крыльца просить ходишь. Я тебя научу. Оденься получше — да к вечерку, когда посетителей нету, прямо к коммунальщику, к Ивану Григорьевичу. Он вашего брата любит.

— Дело в том, что мне нечего надеть получше, — тихо, но внятно призналась Ангелина.

— Это другой оборот. — И он вдруг предложил: — Тогда иди ко мне на квартиру. Сыта будешь. У меня уж если похлебка, то похлебка, а не столовская...

Рядков сказал гадкое слово, которое Ангелине пришлось молча проглотить. Ее уже тянуло на слепую покорность. И она через силу улыбнулась этому чернобородому, хитроглазому мужику.

— Только ведь со мной девочка...

— И девочке место будет. Я куски не считаю.

А когда озадаченная Ангелина заметила, что ведь ее могут и не отпустить из школы в Тихом, Рядков махнул рукой.

— Мне Ивану Григорьевичу только слово сказать.

Они ехали, и Ангелина думала, что у ее попутчика, наверное, большой, богатый дом, в котором полно еды и одежды. Перед ее глазами вдруг встала груда чего-то хлебного, теплого, печеного, и голова напухла туманом. Она закрыла глаза и предположила с надеждой, что, может быть, этому бородатому дядьке просто нужна прислуга, чтобы ему стирала, убирала?..

Но Рядков не собирался наводить тень на плетень. Он тут же, в санях, крепко обнял Ангелину за плечи и сунул свою черную бороду ей в замерзшее лицо.

— Согласна?

Сомневаться не приходилось. И все-таки чем дальше они ехали по холодной бескрайней дороге, тем решительнее Ангелина уговаривала себя: «Все зависит от того, как себя поставить. Он не посмеет...»

В первое же утро Рядков велел своей молодой квартирантке стирать белье. Он сам вынул из печи огромный чугунок с кипятком и выплеснул Ангелине в корыто. Потом долго рылся в комоде и достал кусок твердого, как кость, лежалого, темного мыла.

— Где надо примыль, а зря не трать.

Он зорко глядел на Ангелину, как будто изучал каждое движение ее мокрых, красных от пара рук. И вдруг заключил:

— Стиральщица из тебя ни к... Полоскать на речку ступай, чтобы белье мылом не воняло. Не терплю.

Он дал ей старые, разбитые пимы, и она, оскорбленная и уже уставшая, ушла, оставив Марианну вдвоем с хозяином.

— Дедушка, а как зовут вашу кошку? — осторожно спросила Марианна.

Рядков как будто в первый раз заметил девочку.

— Где это ты кошку увидела? Я такой дряни не держу. Это кот, Пишка.

Пишка уже терся возле Марианны, и хозяин ревниво сказал ему:

— Брысь!

— Дедушка, а когда я пойду в школу? — уже без надежды на добрый ответ опять спросила Марианна.

Рядков посмотрел на нее, как на глупую, и промолчал.

Обед он сварил сам, не доверив Ангелине даже почистить картошку. Чистил он ее удивительно быстро и тонко. Так же быстро искрошил, залил водой и поставил на огонь. Сделал подболтку из муки с молоком, влил, когда похлебка была почти готова. Попробовал большущей, похожей на ковшик ложкой и подсоллил.

Этой похлебки он дал им досыта, и они были вознагражде-

ны за все мучения вчерашней голодной ночи. Но ни рыбы, ни обещанных пельменей — ничего этого не было. Ни в обед, ни в ужин.

Зима стояла до того многоснежная и вьюжная, что делалось страшно: а вдруг да совсем накроет, заметет и из дому не вылезешь, не найдешь тропы...

В избе у Рядкова было грязно, тесно, но всегда тепло. Топил он сам, дров у него было припасено много, и жарких, и легких — на всякую погоду. Лежанка круглые сутки держала теплоту, и с нее доносилось спокойное и сытое урчание кота, вгонявшее в дремоту.

Марианна в школу не ходила, потому что нечего было обувать. А Ангелине Рядков достал справку о болезни. Чего он только не мог!

— И дальше не ходи, — сказал он ей. — Карточку отберут, так и леший с ней. С полкила хлеба я тебе всегда добуду.

Эти «полкила» он действительно добывал. И если он кормил их с Марианной досыта, то одевать не спешил. Но когда на Ангелине расплзлась последняя рубашка, Рядков сжался. Загораживая собой сундук, он отмерил три локтя ситца и дал Ангелине.

Она взяла без благодарности. За эти месяцы она снова пополнела, и с бледной полнотой к ней пришло злое равнодушие, только иногда переходящее в бессильную ярость. Самое обидное и нелепое заключалось в том, что Рядков искренне считал — Ангелина пришла к нему, чтобы иметь сожителя.

— Я понимаю, — говорил он, улыбаясь, — твое дело молодое. Куда побежишь? Ясное дело — к Рядкову. Еще ни одна баба на меня не обижалась.

— Послушайте, сколько вам лет? — злобно спросила Ангелина. Она упорно не говорила Рядкову «ты», чтобы подчеркнуть этим полное отсутствие душевной близости.

Но он относил это «вы» за счет уважения и страха. Оттопырив розовую, как будто сладкую губу, он пустил пальцы гулять в черной войлочной бороде.

— Пятьдесят четвертый мне всего. Ты думала, больше?

— Да, — подавленно сказала Ангелина.

— Ан ошиблась! Кабы я в Соловках в земляной яме пять лет не отсидел, я бы вовсе за молодого отвечал. Опять же — я на кого попало не кидался, баб брал с перебором.

«Боже мой... — в тоске от его красноречия думала Ангелина. — Если бы два года назад мне сказали, что все это будет!..» И невольно ужаснулась. Был молодой музыкант, был лейтенант-летчик, потом немолодой, но интеллигентный муж. А теперь вот печник, который трясет над ее лицом бородой и позволяет себе в самые неподходящие минуты выражаться нехорошими словами.

Ангелине хотелось считать, что она пошла на все это ради Марианны. Но девочка не уставала каждый день, заглядывая ей в глаза, спрашивать: «Скоро мы отсюда уйдем? Сколько стоят билеты на поезд? А можно идти пешком? Может быть, папа нас ищет? А где теперь няня Дуня?»

Иногда они обе, воодушевившись случайными добрыми слухами, принимались мечтать о том, как поедут домой. Так фантазируют маленькие дети: сделают из стульев поезд и «едут на дачу». «Едут» до тех пор, пока мать или нянька не велят собирать игрушки и ложиться спать.

Ангелина и Марианна теперь спали очень много... На ночь Марианне стелили на кухне, а Ангелина спала в передней горнице, на постели хозяина, с четырьмя грязными подушками и ватным одеялом. Рядков с вечера укладывался на печи, а к полночи слышался его не по возрасту легкий прыжок, шелест босых пяток по половику и скрип кровати, на которой лежала Ангелина.

Десятилетняя Марианна, оставаясь одна в темноте, боялась и скучала. Однажды ночью она проснулась от боли в щеке: у нее запоздало шел коренной зуб. Марианна долго ежилась, потом тихо встала и пошла на цыпочках в горницу, где спала мачеха. В темноте она нашла кровать, но, наткнувшись на жесткую шерсть бороды, заплакала в испуге.

Что-то удержало Рядкова, и он не обругал Марианну. Ангелина, пряча дыхание, лежала неподвижно, а Рядков слез с постели, взял Марианну за руку и повел на кухню. Зажег свет и отрезал ей кусок калача. А когда она легла, он накрыл ее поверх одеяла теплым пиджаком.

— Спи, — велел он не слишком грозно. — А то цыганы придут.

Утром он поднимался рано, сам топил печь и грел самовар. Завтракали все вместе, а потом он уходил, и тогда Ангелина брала к себе на постель Марианну. После Рядкова здесь было еще тепло, пахло табаком и печной глиной.

И Марианна решилась как-то спросить у мачехи:

— Ты женилась с дедушкой? А как же папа?

Лицо у Ангелины выразило болезненную растерянность.

— Ты с ума сошла! И вообще это не твое дело.

— Я понимаю, что не мое,— серьезно согласилась Марианна.— Я только боюсь, что он нас никогда не отпустит домой.

— Ну хорошо, спи,— отвернувшись к стенке, глухо сказала мачеха.

Марианна печально посмотрела в потолок, оклеенный порывевшей от печного жара бумагой и засиженный мухами.

— Знаешь, мне совсем не хочется спать... Можно, я буду что-нибудь петь тихонько?

Ангелина повернула к ней удивленное лицо:

— Ну, пой...

— «Орленок, орленок, взлети выше солнца!..» — слабым речитативом начала Марианна.

— Не надо,— нервно вздохнув, попросила мачеха.

Потом она опять уснула, а Марианна лежала и томилась в одиночестве. Хоть бы мышонок вылез из подпечья. Но мышей в этом доме не водилось: здесь был надежный кот.

Часто Рядков, вернувшись к обеду домой, заставлял Ангелину и Марианну под одеялом.

— Все бока пролеживаете? Я думал, может хоть раз в неделю полы примоешь.

— Завтра,— небрежно отзывалась Ангелина.

— Едите каждый день, а работать все завтра.

Марианна шепотом спросила мачеху:

— А можно, я буду пол мыть?

— Еще чего! — сонно-тяжелым голосом сказала та.— Сам вымоет.

И Рядков мыл сам. Марианна со страхом смотрела, как он, раскорячившись и чуть не касаясь бородой пола, скреб его большим ножом и при этом глухо матерился.

— Пускай, пускай! — шептала Ангелина.

Марианна, ничего не понимая, смотрела на бледные, полные, как в отеке, плечи мачехи, на ее богатые, но нечистые и потому потерявшие золотистость волосы, которые уже отросли ниже плеч и которые она никогда не заплетала. Однажды Марианна почувствовала под собой на простыне хлебные крошки и, пошарив рукой, нашла остатки хлеба под подушкой: мачеха ела даже ночью, когда Рядков спал.

То, что Ангелина располнела, было ему по душе.

— Бездельник телок, зато мясо сладко. А вон на эту,— он указал на Марианну,— зря только хлеб перевозжу.

Он не любил девочку и ревновал к ней кота. Этого зеле-

ноглазого мордатого зверя даже Ангелина не вытеснила из хозяйской души.

— Вы мне — никто. Не родня, не кровные, — сказал как-то Рядков. — А его я из ямы котенком вытащил, когда топить бросили. Одного молока сколь ему споеил!

Ангелину задели эти слова, и она бросила небрежно и оскорбительно:

— Ну и сидите со своим котом!

— И посижу, — спокойно отозвался Рядков. — Вот ты рожу свою воротить, а он меня никогда когтем не задел. Меня люди стороной обходили, а этот кот другом мне был. — И добавил грозно: — Ежели тронете когда этого животного, горькими слезами будете плакать!

День ото дня раньше начинало белеть за окошком. Уходил вьюжистый февраль, отпускали морозы. Как-то утром, когда Ангелина еще дремала, Марианна спустила с постели босые ноги. Кот тоже спрыгнул с лежанки и подошел к ней. Она взяла его на руки и села на лавку около окошка, до половины уже оттаявшего. Улица была голубоватая, спокойная. Ночью поросил легкий снег, и дым из труб шел книзу, стелился по крышам серым войлоком.

— Ты куда? — сонно спросила Ангелина с постели, слышав скрип двери.

— Пишка хочет на улицу.

Утонув ногами в больших разбитых пимах и прикрывшись шалью, Марианна постояла у калитки, прижимая к себе теплого кота. Мимо прошли две женщины с ведрами на коромыслах и остановились.

— Ты чего же мерзнешь тут?

— Я гуляю, — сказала Марианна.

— Уж какое гулянье в одном платишке...

Они понесли дальше свои ведра, плеская голубой водой в чистый снег. Потом одна из женщин вышла на крыльцо и поманила Марианну. Та отпустила кота и нерешительно пошла через улицу.

— Соседка, а знаться не хочешь. Гляди-ка, у меня тоже деушка маленькая есть.

И показала Марианне годовалую девочку.

— А Сеньку моего знаешь? Отличник!

— Нет, — сказала Марианна. — Я сейчас, к сожалению, не посещаю школу.

Хозяйка пошла ставить самовар и дала Марианне поддер-

жать девочку. Та была тяжеленькая, немоватая, с круглыми глазами. Долго держать ее на руках Марианне было трудно, поэтому она вместе с девочкой села на пол, на чистый половик, от которого пахло речным полосканием. Так же пахло и платье на девочке.

— Маменька твоя, я гляжу, все дома да дома. Хворает, что ли?

Марианне сделалось очень неловко.

— Вы знаете, она очень неприспособленная...

— Неспособная — так покажут. Чего ж за печкой сидеть? Чай, вы молодые.

Марианне не хотелось отсюда уходить. В этом доме было все, чего так не хватало в рядковской избе: ровная, недущная теплота, белизна печи, тень занавесок, яркость самоварной меди. А главное — ребенок, спокойный, как будто понимающий...

— Тетя, а у вас есть радио? — спросила Марианна.

— Как не быть!

Хозяйка включила репродуктор, и Марианна подошла поближе.

— Это «Половецкие пляски», — сказала она. — А вы не скажете, как на фронте? Мы ведь абсолютно ничего не знаем.

Провожая Марианну, хозяйка дала ей крупное белое яичко.

— Ходи к нам. С Томкой поиграешься.

Дома Ангелина с тревогой посмотрела на падчерицу.

— Где же ты была?

— В гостях, — сказала Марианна. И вынула из кармана яйцо. — Меня пригласили, и я пошла.

Потом она села возле мачехи и добавила очень серьезно:

— Это просто ужасно, что мы никуда не ходим. Ведь мы совсем молодые!

Ангелина смотрела на нее со странным выражением лица.

— Нет, Марианна, — тихо сказала она, — я уже не молодая!

Однажды Ангелину разбудил стук в неурочное время. Окно было заморожено, и нельзя было увидеть, кто стучится у ворот. Сам Рядков никогда не стучал, наоборот, приходил неслышно, зная секрет засова на калитке, и они узнавали о его приходе, когда он уже появлялся в избе, высокий, белый от метели, и с его приходом по кухне вместе с запахом зимы тянулась ворчливая руготня.

А тут кто-то стучал громко и упорно. Пришлось кое-

как одеться и идти отворять, хотя Рядков и запрещал пускать чужих.

Пришел председатель колхоза Лазуткин. Оглядел избу и сел без приглашения.

— Хозяина нету? — спросил он сиплым с мороза баском.

— Нету, — тихо ответила Ангелина, придерживая зановенную рубашку у ворота.

— А вы, значит, квартирантка его будете? Так... Слышал, что из школы ушли. На какие средства прожить рассчитываете? Может, в колхоз к нам работать пойдете?

Растерявшись перед этим молодым, аккуратно одетым мужиком, глаза у которого были серо-голубые, как цветок барвинка, Ангелина безуспешно пыталась поправить нечесанные волосы. А в голову ее, измороженную душным жаром избы, невольно кинулась мысль: вот не смогла же судьба послать ей этого чистенького, наверное, ласкового мужика!

— А какая у вас работа? — со слабой, но чуть игривой улыбкой спросила она.

Но Лазуткина эта улыбка не проняла.

— Разная у нас работа, — сказал он со спокойной деловитостью. — Сельская. С лошадьми водиться не приходилось? Запрягать сможете?

— Нет, — стукнув зубами от волнения, сказала Ангелина.

— А доить?

Она покачала головой.

— Худо!

Он молча размышлял, куда ее такую деть — пухлую, белую и малоподвижную, с маленькими, не по комплекции, руками и ногами.

— Беда с тобой, девка! Уходи ты отсюда, пока не поздно. А то ведь захряснешь, образ свой потеряешь. Ежели мы все так-то вот сядем да руки складем, кто же армии нашей пособит? Ей ведь тоже есть надо.

Ангелина молчала.

— Неси заявление. Я вам хлебушка, картошки понемногу выпишу. До весны перебьетесь.

— А в чем же я пойду работать в ваш колхоз? — спросила Ангелина. — Босиком?

— На крайний случай лапти обуешь. Сейчас это не зазорно.

— Вы-то вот не ходите в лаптях, — сказала она, указывая Лазуткину на его черные, подшитые кожей пимы.

Председатель поднялся.

— Ну, как хошь. Не гнушно тебе здесь быть, так сиди.

А вот девочку вы обязанные в школу посылать. Думаете, что раз война, то и законов уж нету?

Рядкову об этом визите Ангелина ничего не сказала. Но он каким-то образом узнал и сам.

— Вот так-то вас, дураков, и охмуряют. Лазутке план надо исполнить, вот он и ходит, агитирует. Чего ты в колхозе-то не видела?

— А вы сами разве не колхозник? — растерянно спросила Ангелина.

— Только бы не хватало! Я от исполкома, при коммунальном отделе состою. Я человек рабочий.

Потом Рядков рассказал Ангелине, что отец вот этого самого председателя Лазуткина в двадцать первом году его, Рядкова, выследил, когда он тайком в деревню пришел жену свою повидать.

— Восьнадцать месяцев я на Печоре у зырян скрывался, очень по супруге скучал. Трое суток не спал, до бабы дорвался, — сразу уснул. А Лазутка как тут и был. Привел с собой еще двоих сельсоветчиков, связали меня, чуть руки не пообрывали... Ну и я им легко не дался: зубами действовал, как голодный волк!

Рядков топырил губу и мрачно улыбался.

— Жалко, мало мы их, красногуzych, в восемнадцатом году драли! — добавил он с ядовитым сожалением и сделал жест своей длинной, как плетка, рукой, будто стегнул с почетом.

Ангелина, вздрогнув, отодвинулась. Она даже и не представляла, что у советской власти есть еще настоящие враги. Неужели он и ее считает такой же, раз говорит ей такие вещи?

Рядков и сам почувствовал, что пересолил: кто ее знает, еще доносить побежит. Когда легли спать, он долго молчал. Потом его шершавая от холодной воды и глины рука тронула Ангелину за плечо.

— Ты в одно ухо слушай, а в другое выпускай, — сказал он мягко. — Вот к весне я тебе сам хорошее место найду. У самого хлеба будешь.

Все, что пряталось зимой за высокими сугробами, за темнотой, за короткими пасмурными днями и длинной, скрипучей от мороза ночью, — все это с первым порывом весны запросилось наружу. Мартовский луч ударил в окошко и вы-

светил даже самый темный и грязный угол. Звон капли не давал спать, как раньше, до полудня. Небо и вода в открывшихся полыньях звали своей чистой синевой, и хотелось смыть с лица все, что легло на него за долгую, томительную зиму.

В одно студеное, но ясное утро Ангелина и Марианна вышли на улицу. До полной весны было еще далеко, лед на реке держался, только подплыл голубой водой. Но серые тени на снегу и оголившиеся завалинки говорили о том, что еще неделя — и быть ростепели.

Накануне посыльная из правления колхоза принесла для Марианны ордер на калоши.

— Председатель, Федор Абросимыч, вам отхлопотал. Бежите в магазин, выкупайте.

А уходя, предупредила с серьезностью:

— Глядите не сменяйте на что: у председателя у самого дети разутые.

На мысках калош играло черное солнышко, внутри алела мохнатая подкладка. Это были игрушки, а не калоши. Марианна до самого вечера не выпускала их из рук.

— Обула тебя советская власть! — усмехаясь, заметил Рядков. — Ну-ка, дай погляжу.

Но Марианна прижала калоши к груди и сказала мужественно:

— Это мои личные калоши. Пожалуйста, их не трогайте.

...Ради первого дня мачеха могла б и проводить Марианну до школы. Но она ступила всего несколько шагов от калитки и сказала, пряча лицо в платок:

— Ты иди одна. Тут ведь недалеко. Смотри снегу не набери в калоши.

Марианна побежала, а когда оглянулась, мачеха, хоронясь посторонних взглядов, поспешно закрывала за собой высокую калитку.

— Ну что, проводила? — спросил с печи Рядков. У него ныли ноги, с вечера он принял какой-то «состав», а теперь прогревался.

Ангелина, не ответив на вопрос, молча раздевалась. Давно не мытые, но все еще красивые волосы свалились ей на плечи.

Рядков привык к ее неразговорчивости. На его собственную словоохотливость это не влияло.

— Я те вот что скажу: ты эту девчушку за собой не закрепляй, — посоветовал он, растирая ладонью сучковатые ко-

ленки. — Отец жив останется, а нет — государство воспитает, у него карман большой. Тебе дай бог самой как-нибудь прожить. К труду ты неспособная.

— Это не ваше дело совсем, — неприязненно сказала Ангелина.

— Как же не мое? Я ведь вас обоих кормлю.

Рядков слез с лежанки и заковылял в сени вытрясать самовар. А Ангелина взяла гребень и подошла к зеркалу. От печного жара и копоти зеркало стало грязно-свинцового цвета, и смотреться в него было все равно что в стоячую болотную воду.

Но в избе в это утро было очень много солнца, так что и в этом зеркале Ангелина увидела свое большое белое лицо с нечеткими, очень бледными губами. Под глазами и у рта, как грязь, легла тень.

— Хороша, хороша, — заметил Рядков, застав Ангелину у зеркала. — Садись кашу есть.

Ангелина не была голодна. Но она по привычке взяла ложку и пододвинула чашку к себе поближе, так что Рядкову нужно было тянуться через весь стол. Но он ел мало, как больной или маленький ребенок. Только два раза протянул свою длинную, худую, как кнутовище, руку, а потом вовсе положил ложку. Ангелина молча съела всю кашу одна, до последней крупки.

Внезапно подняв голову, она увидела, что Рядков смотрит на нее в упор.

— Ты дальше-то жить со мной будешь? — спросил он тихо и даже ласково. — Не обманешь?

И, не получив ответа, глубоко и нервно вздохнул.

— Я ведь тебя, дуру, люблю! Не было бабы, окромя супруги, какую бы я целовал. А тебя целую!

Ангелина опять ничего не сказала, и он вдруг вскрикнул:

— Чего молчишь-то? Я с тобой разговариваю!

Она вздрогнула, но ответила достаточно дерзко:

— Что же я, должна теперь всю жизнь в четырех стенах сидеть? Я хочу хоть людей видеть.

Рядков вскочил, загремел посудой, забегал. Его черная высокая тень заметалась вслед за ним по избе.

— Да куда ты годишься — на люди-то тебя пустить? Учительница из тебя, сам слышал, никудышная, любой сопливый мальчишка тебя просмеет. Никакой работы не знаешь, барыня на вате! Тебе только в постельницы и идти, куда больше-то!

Он забросал ее обидными словами, но чем больше злился сам, тем злее и бледнее становилось лицо Ангелины

— Вы — кретин! — негромко, но жестко сказала она.

— От хретины слышу, — уже более миролюбиво отозвался Рядков. И вдруг неожиданно заулыбался: — Зря кусаешься. Нам с тобой в ладу надо жить. Кто тебя еще прилюбит, кому нужна?

— Напрасно вы так думаете, — все еще зло сказала Ангелина. — И без вас мне помогут.

Он покачал головой.

— Это кто ж тебе поможет? Помогают таким, какие работают, для государства стараются. А вы кто? Вы бары Белорукие!

Ангелина подавленно молчала.

Но обида росла, колола и душила.

— Ну, хорошо, я барыня, — тихо сказала она. — А вы? Вы раньше истязали людей, а теперь меня мучаете. Вам ведь все равно, что сейчас война, что люди переживают такое горе...

Рядков только усмехнулся.

— Ты уж шибко переживаешь! Как припекло, ты юбку подобрала — да дралка! Чего же ты, такая сознательная, за родину грудь не стала?

— Ведь я же женщина, — слабо возразила Ангелина.

— Ваша сестра сейчас тоже в ход идет. Вон в газете пишут, что немцы девку одну словили да в петлю. А она одно торочит: «Да здравствует Советская власть!» Ты, чай, такого и во сне не видела.

Ангелина сидела, опустив непричесанную, будто побелевшую голову.

— Тут вы правы, — тихо сказала она. — Я этого не могу...

Рядков торжествовал:

— То-то! Ну и помалкивай тогда.

Выпив стакан пустого чая, он начал собираться на работу. Еще раз натер себе чем-то пахучим опухшие колени, обернул их шерстяными лоскутами и, поскуливая и ругаясь, сунул ноги в валенки, натянул рыжий от глины ватный пиджак, надел старую-престарую шапчонку на заплешивившую голову и подвязал фартук.

— Ладно, пойду, — сказал он, забирая мастерок и другой печной инструмент. — Ты уж без меня не скучай. — И потянулся, чтобы поцеловать на прощание.

«Не скучай!..» Он еще думает, что она может без него

скучать, как верная жена без мужа или собака без хозяина!

Рядков ушел, а Ангелина так и сидела у стола с неприбранной посудой. В низкие окна ударяли широкие полосы света и преломлялись на грязном щелястом полу. Все, что стояло, лежало, висело в этой избе, вдруг показалось ей таким нечистым, непромытым и безобразным, что у нее не было больше сил смотреть.

Глаза Ангелины невольно остановились на сундуке. Он был большой, окованный железными полосами, с массивной накладкой и надежным амбарным замком. Это от нее, с которой он спит, прячет Рядков свои «богатства». Наверное, было бы справедливо принести тяжелый колун и сбить прочь этот замок. Хотя бы для того, чтобы одеть девочку. Почему она должна мерзнуть? В чем она виновата?

...Это ужасно, что здесь такие долги, как испытание, нестерпимые, холодные зимы! Ангелина почти с умилением вспоминала спокойную, теплую осень в Тихом, робкую в своей бедности вдову, ушедшего на фронт рыжего Сению-бригадира. Вспомнила, как плакала Марианна, когда они уезжали из Тихого.

«И этот мерзавец хочет, чтобы я Марианну теперь куда-то отдала! Вдруг он в самом деле этого потребует?»

Ангелина тихо заплакала от отчаяния. Плакала долго и, сама того не замечая, произнесла вслух несколько гадких ругательств, которые так часто слышала от Рядкова. Потом она вытерла слезы, подобрала растрепавшиеся волосы и стала думать о том, что делать.

Заскрипела калитка. Это вернулась Марианна, озябшая, с красными пятнышками на щеках. Платок сполз у нее на затылок, и на коротеньких светлых волосках надо лбом лежала светящаяся изморозь.

— Что это ты так быстро? — пряча заплаканные глаза, тихо спросила Ангелина.

— У нас только один урок был, — живо сказала девочка. — А потом нас на ферму водили, мы там кормили теле-ночка.

Марианна торопливо сняла свои новенькие калоши и побежала к мачехе.

— Знаешь, какая у нас учительница хорошая! Мы стихи про войну читали! А чего ты плакала? Тебя дедушка обидел?

Ангелина не ответила.

— Ты правда хочешь, чтобы мы ушли отсюда? — тихо спросила она.

Глаза у Марианны стали большими-большими.

— Конечно! Мы же будем работать! Я тебя так буду любить за это! — И она кинулась мачехе на шею.

Та впервые обняла ее с материнской силой.

— Марианна! — рыдая, сказала она. — Я тебя никому не отдам! Ты же моя девочка!..

Утро было белое и опять резко холодное. Ангелина повязала голову черным платком и надела рыжую от глины телогрейку. Рядков уже был на работе, Марианна в школе. Кот с лежанки пристально смотрел на Ангелину, будто спрашивал: «Куда идешь?»

Она вышла на улицу и тихо пошла вдоль заборов и плетней по скользящей тропе в сыром снегу. И так же тихо, пряча лицо, спросила у встречной женщины, где живет председатель колхоза.

Лазуткин жил совсем неподалеку. Ангелина увидела его дом, который, пожалуй, был хуже других: и ниже, и темнее, и без крытого двора.

— Нету самого, — гостеприимно сказала Лазутиха. — К конюхам пошел. Сядь-ка, посиди.

Председательская жена по росту была баба-гвардеец, на полголовы выше дверной притолоки. Говоруха, шербата и с сильной рябью на улыбчивом лице. Ангелина втайне надеялась, что Лазутиха не догадывается, кто она такая. Но та все знала. И спросила живо, как о чем-то совсем обычном, житейском:

— Ладишь со своим-то? А то ведь он Авдотью свою покойную так мутусил! По неделе на улицу глаз не казала, родимая!

Ангелина вспомнила, с каким уважением, даже с любовью говорил Рядков о своей покойной жене. И невольно содрогнулась.

— А ты не в положение ли? — не унималась Лазутиха. — Чтой-то вроде пухлая?

— Да что вы! — вспыхнув, сказала Ангелина. И поднялась, чтобы скорее уйти.

Но хозяйка поймала ее за рукав.

— Слышь, чего скажу-то! Мы тут на Восьмой март собрались, киселью наварили, бражки! Уж попели, уж поплясали! Надо душу-то отвести нам, женщинам. Чай, мы работаем!

Она бы наговорила много, но Ангелина, боясь расспросов, не стала ждать и пошла искать Лазуткина сама. Наезженный след, чернота и навоз на снегу показывали, что тут дорога к конному двору. Она вышла на черный пятачок,

в полукружье старых саней с поднятыми оглоблями и снятых с колес тележниц. Где-то рядом мальчишеские голоса покрикивали на лошадей и слышалось лошадиное отфыркивание.

— А! — сказал Лазуткин, увидев Ангелину. — Здравствуйте! Милости просим гривен на восемь!

Он вроде бы и не очень удивился, что она пришла.

— Давай за сарай отойдем, а то ветрено тут, продует тебя, — предложил он, мельком взглянув на ее ненадежную «справу».

Лазуткин был красивый, немного застенчивый молодой мужик. На мгновенье у Ангелины, когда она несмело взглянула в его серо-голубые глаза, опять родилась смутная мысль — увлечь, завоевать этого председателя. Но она тут же сама впервые устыдилась своих намерений.

Да и Лазуткин казался неприступным. Отойдя вместе с Ангелиной за стенку сарая, он и не подумал заигрывать, а спросил деловито:

— Ну, так что скажешь?

— Дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь работу, — не глядя ему в глаза, тихо попросила Ангелина.

Он немного помолчал.

— Я уж тут про тебя думал, с правлением говорил. Надо нам, девка, тебя из этого омута тащить. В учетчицы пойдешь?

— Конечно! — сказала Ангелина и, в первый раз не испытывая обиды от мужского равнодушия, вдруг заплакала от благодарности.

— ...Все, все как есть подай сюда! — кричал Рядков, размахивая длинными, граблястыми руками. — Все до нитки скидай!..

Он толкнул Ангелину на постель и с силой стащил с ее ног валенки.

— К Лазутке ходишь! Поглядим, как гола-боса победишь к своему коммунисту! Он тя в лыко, в рогожу оденет!..

— Я же ходила насчет работы... — сдавленно произнесла Ангелина.

— Насчет работы контора есть, а не по-за амбарами шастать! Скидай платье, говорю!

Ангелина почти машинально сняла с себя старое сатиновое платье, утратившее цвет от долгого лежания в сундуке, — платье это принадлежало еще покойной Рядчихе.

Рядков подхватил платье, быстро отомкнул сундук и сунул его туда.

— Рубаху давай! — приказал он, не глядя на Ангелину.

Она сидела почти нагая и смотрела на него остановившимися глазами. И в ту минуту, когда Рядков, решившись, видимо, поступиться рубахой, уже замыкал сундук, Ангелина вдруг метнулась к печи, схватила молоток, которым бьют кирпич, и с маху ударила Рядкова по лысеющему темени острым бойком.

Рядков сел на пол и закинул голову, прихватив ладонью хлынувшую кровь. Всегда розовая его губа мгновенно побледнела, а глаза из маленьких и глубоких стали большими и страшными.

— Нет, — сказал он еле слышно, — нет, врешь, не убьешь!

И, опершись на руки, он стал сначала на четвереньки, потом, шатаясь, выпрямился и пошел на Ангелину. Она вскрикнула страшным криком и, как была, босая и в одной рубашке, бросилась к двери.

Калитка, ведущая на улицу, была замкнута на засов. Боясь, что не успеет ее отомкнуть, Ангелина кинулась в раскрытые огородные ворота.

Натоптанная тропа вела к берегу и дальше, через реку. Ангелина бежала и не видела, как угрожающе синеют на реке разводья. Она в ужасе оглянулась на рядковский дом и сбегала на лед. Но под босыми ногами ее вдруг раздался хруст, и она опять отчаянно закричала.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Этот зимний день у Зорьки тоже остался в памяти. Было это на праздник Конституции, 5 декабря 1947-го... В деревне не работали, готовились к выборам в местный Совет. Доверенные ходили по избам со списками и убедительно просили, чтобы в день выборов хозяйки с утра не затевались с делами, а шли бы скорее голосовать.

— Эх, жизнь! — с сожалением сказал Зорька, узнав, что на участке будет буфет и на каждого избирателя шоколадные конфеты и белый хлеб по килограмму. — Не видать, значит, мне этих конфет: семи месяцев не хватает, не дорос.

Зорьке по этой осени пошел восемнадцатый. Он изo всего вырос, помощнел, скулы у него раздались, и на них затопырилась шерстка. Табаку он еще не курил, и цвет лица у него был девичий.

Накануне праздника Зорька поставил пять петель на зайцев. Надо было теперь пойти посмотреть. Он бежал пушистым полем, скользя на самодельных широких лыжах и отталкиваясь единственной палкой. Декабрьское желтое солнце посверкивало ему в глаза, и он высоко, как молодой олененок, вздергивал голову и шурился.

Лес встретил Зорьку белой тишиной. Зеленые веточки молодых листенниц посыпали его плечи снегом. Зорька пригнулся и юркнул в чашобу.

Две петли остались пусты, около одной похозяйничала лиса, оставив только кровь да шерсть на снегу. А двух зайцев Зорька вынул сам. Они были твердые, длинные, со смерзшимися попарно лапами и со стеклянными от мороза глазами. Он прицепил их к поясному ремню и побежал обратно. Зайцы болтались, холодили ему бедра через ватные штаны.

От леса Зорька покати́л вниз, под угор, где скрестились две дороги: одна к ним, в Боровую, другая на Муроян. А сбоку, в редкой белой рощице, бугрился старый могильник с часовней, порушенной и растасканной на ремонт печей. Там уже давно никого не хоронили, поэтому-то Зорька так удивился, увидев девочку. Невысокая и тоненькая, она ходила от могилы к могиле, с трудом переставляя ноги по глубокому уже снегу.

Девочка вздрогнула, когда сверху, с угора, почти прямо на нее скатился вдруг парень на лыжах.

— Ага, испугалась! — густо сказал Зорька. — Ты чего тут ищешь?

Девочка подняла на него светлые, разумные глаза и тоже спросила:

— Как вы думаете, что можно искать на кладбище? Я ищу могилу.

— Это чью же?

Она не ответила. Зорька с удивлением разглядывал ее. На девочке был надет коротенький, казенного покроя бушлатик со следами железной окалины и машинного масла, тонкий бумажный платок с цветами, мальчишковые ботинки, обутые поверх грубых шерстяных носков. Щеки у девочки были маленькие, плоские и без румянца. Зорьке даже неловко стало за свои собственные розовые скулы.

— Ты не детдомовская? — осторожно спросил он.

— Я раньше в детдоме жила. А теперь я уже работаю на механическом заводе.

Зорька ласково усмехнулся:

— Такая маленькая, а уже работаешь!

— Почему маленькая? — серьезно заметила девочка. — Мне уже шестнадцать лет.

Она сняла с руки варежку и заправила под платок негустую светлую прядку. Тут Зорька увидел, что пальцы у нее какие-то голубоватые, прозрачные, так что, кажется, косточки видны. И в нем сразу всколыхнулось ребячье воспоминание.

— Как тебя звать?

— Марианна.

— Ты мачехину могилу ищешь?

У Марианны дрогнули ресницы.

— А откуда вы знаете?

— Стало быть, знаю, — уже бодрее заявил Зорька. — Вы ведь у Рядкова на квартире стояли. А ты меня помнишь?

Девочка подумала и покачала головой.

— Не помню. Это ведь уже давно было. Когда еще была война...

Они смотрели друг на друга. Зорьке показалось, что Марианна не хочет или боится обо всем вспоминать. А он помнил...

Весной сорок второго поляя вода вынесла ниже Мурояна утопленницу. Тело было дочерна побито льдом и морожеными кряжами, оставшимися от сплава. Опознали рядковскую квартирантку, привезли сюда, в Боровую, и похоронили на старом кладбище. На похороны пришли только одни старухи да еще председатель колхоза Лазуткин. Марианны на похоронах не было: наверное, ее пожалели и не привезли из детского дома.

— Знаешь что, — сказал Зорька, — ничего мы тут с тобой сейчас не отыщем. Она ниже, в ложке... Снежищу там по пояс. А весной, когда сойдет, я тебе покажу.

Зорькина деревня была совсем рядом, и он решил позвать Марианну погреться. Она подумала и пошла с ним, раза два оглянувшись на засыпанное снегом кладбище.

Зорькин домик лепился с краю деревни. За огородом сразу же рос низкий колючий сосняк. Калитки у ограды не было. Зорька поднял жердину, заменявшую ворота, и пропустил Марианну во двор, как хозяйки впускают овечку

или теленка. Крылечко было ветхое, мерзлые ступеньки жалобно поскрипывали.

— Срок в армии отслужу, все наново перелажу,— сказал Зорька.

Изба была пуста. Наверное, Зорькина мать ходила по соседям, разводила тары-бары. На шестке лежал на боку немый чугунок, из которого дотекала лужица картофельной похлебки.

— Не истопила,— покачал головой Зорька, тронув печь рукой.— Вот еще горе-то горькое... Ты погоди, я живо!

— Давайте я вам что-нибудь помогу,— предложила гостья.

Зорька только рукой махнул: сиди, мол! Тогда Марианна сняла свой бушлатик и уселась на лавку. Глаза ее оставались на стенке, которую Зорька всю обклеил вырезанными из газет и журналов картинками, а также конфетными бумажками.

— Очень красиво получилось,— искренне сказала она.— Это вы сами сделали?

Когда в печи запрыгал огонек, Марианна подошла и села возле печной дверцы, поближе к теплу.

— А ты храбрюга! — желая польстить, заметил Зорька и пододвинулся чуть-чуть к ее остренькому плечу.— Одна не побоялась на могильник пойти.

Она не приняла комплимента.

— А чего же бояться? Что там может быть страшного? Вы разве бонтесь? — Она взглянула в окошко и добавила озабоченно: — Гораздо хуже, что скоро начнет темнеть, а мне домой далеко...

— Я провожу,— успокоил Зорька.— Аль я уж не парень? Потом он спросил, как она теперь живет.

— Сейчас ничего. Хорошо,— ответила Марианна.

У нее было белое лицо с грустными, но живыми глазами. И Зорька немного тушевался, чего с ним раньше никогда не бывало: он был говорун и девчатник и уже обцеловал в своей деревне всех хорошеньких девчонок.

— А я думал, плохо тебе живется, раз ты на могилу пришла. Кому хорошо, тот не ходит.

Марианна покачала головой.

— Ходят потому, что память... Когда я была в детском доме, нас не пускали одних далеко. А теперь я могу ходить куда захочу.

— Вот и к нам приходи,— предложил Зорька.— Придешь?

— Спасибо,— сказала Марианна.— Если позволят обстоятельства.

Ее велеречивость все больше удивляла Зорьку. Он привык, что девочки или хихикают, или отмалчиваются, особенно если парень малознакомый. А эта была совсем другая.

— А то, желаешь, я к тебе прибегу? — предложил он. Марианна как будто смутилась:

— Да нет, не надо.

— Боишься, что ль, кого?

— Я не боюсь, а так... — уклончиво сказала Марианна.

Но Зорька не унимался:

— В кино бы сходили. А то, может, у тебя другой парень есть?

Он готов был задать еще много вопросов, но тут пожаловала его мать.

— Гли-ка, гости! — сказала она тоненьким, певучим голоском.— Никак сынок мой сударушку себе привел?

— Чего болтаешь? — сурово и смущенно оборвал Зорька.

Мать уселась возле Марианны.

— Глазочки-то какие ясные! А тельца-то нету... Сирота небось? Не досыта кушаешь?

Зорька воспользовался моментом и попросил:

— Сварила бы чего-нибудь. Дело-то к ужину.

— А ково варить-то? — улыбнулась мать.— Неково, сыночек, варить.

Зорька показал ей зайцев, уже оттаявших в тепле. Мать вздохнула.

— Ох, дайте вдове поправить на голове! Ведь его свежевать надо, а у меня и пальцы не слушаются.

Зорька досадливо махнул рукой.

— У нее сроду так,— объяснил он Марианне, выйдя вслед за ней в сени.— Больная она у меня. Ты возьми себе.

Он поднял за уши зайца в закровавленной шкурке и подал Марианне. Она невольно отшатнулась:

— У него еще глаза глядят!

Но она все-таки взяла этого зайца и с Зорькиной помощью упротала в ситцевый мешок.

— Большое спасибо,— прочувствованно сказала она.— Мне даже неудобно, что вы отдаете... Разве заяц вам самим не нужен?

Зорька хотел проводить ее до самого Мурояна, но Марианна отказалась. Он все-таки постоял на дороге до тех пор, пока она не свернула за белый перелесок.

«Ну, говоруха! — улыбаясь, думал он. — Чудная!..»

На конном дворе Зорька принял ночное дежурство. Развесил чиненные хомуты, долил в поилку десяток ведер воды со льдом, чтобы к утру согрелась. Лыдинки закружились, перемешались с плавающими соломинками, превратились в иголочки и растаяли. Зорька взял вилы, пошел в стойки. Там, в одной из них, белесой от пара, висел на подвесах его давний приятель, вконец одряхлевший сивый Бурай. Под глазами у мерина была слезная чернота, спина вогнулась, брюхо оплыло шаром. Ясно было, что Бурай свое отработал.

Но ни у кого рука не подымалась списать коня из жизни. Только мальчишки конюхи, пользуясь тем, что Бурай не ест, растаскивали его порцию овса по карманам.

Зорька нагреб в шапку отрубей, дал Бураю из своих рук. Но Бурай жевать не мог, зубы его хлопали.

— Эх, — мрачно сказал Зорька, — Бурай ты, Бурай! — И ответил на шумный, больной вздох коня тоже глубоким, тревожным вздохом: горько было думать, что не сегодня-завтра старого конягу отташат в яму.

Зорька почувствовал вдруг, как вместе с Бураем уходит и его нелегкое отрочество. Он сегодня не стал рассказывать Марианне, как прожил сам эти шесть лет. Сколько своими руками и на своем мальчишеском горбу перетаскал тяги, скукая о куске хлеба.

Только в сорок пятом было у них в деревне всего много — хлеба, молока, картошки. С них-то Зорька и начал вдруг расти, волосы у него закудрявились, голос обломился, и взрослые девчонки стали принимать его в компанию. Стыдновато было, что плохо одет, но и тут повезло: за хорошую работу Зорьке дали американский подарок — бархатные штаны и мохнатую длинную шерстяную рубаху с красными стрелами на груди. Рубаха была очень красивая, но все же он засомневался: не женская ли?

— Не понимаешь ты ни лешего! — объяснили Зорьке. — Это теперь самая мода.

Зорька пришел с мороза домой с красными щеками да еще с красными стрелами на рубахе и в новых штанах. Мать посмотрела на него и вдруг заплакала.

— Не нравится?.. — огорченно спросил Зорька. — Понимала бы ты что! Ведь это самая мода!

Вспоминая теперь все это, Зорька по-взрослому усмехнулся. Американские штаны уже протерлись, рубаху со стрелами мать распустила на варежки. Быстро летит время!

Бурай вывел Зорьку из задумчивости, толкнув мордой

в плечо. Зорька потрепал его по теплым ноздрям. Пора было заниматься делами. Но сегодняшняя встреча с Марианной не шла у него из головы.

2

По воскресеньям в Мурояне собирался большой базар. Полным-полно натаскивали всякого барахла. Военный с саперскими погонами на шинели предлагал женскую кофточку с яркими розами на груди и руках,— наверное, японскую, трофейную. Какой-то дядя держал в озябших руках американские пудовые ботинки с железной оковкой, два раза подбитые стальными шипами. Шерстобиты выносили новые бурые пимы с твердыми, как трубы, голенищами и просили по пять сотен за пару.

— За пять сотен сам носи! С рождества цыган шубу продает.

Меньше было едового. Бабы торговали замороженным молоком, ржаными шаньгами, картофельными оладьями и конфетами своей варки. В особом ходу были хлебные карточки. Но шли они по дешевке: уже слух был, что вот-вот отменят.

Зорька оглядывал базар, прошел вдоль рядов. И вдруг... увидел Марианну.

Она, закутавшись в большую шаль, стояла за деревянным рундуком. Перед ней на платке была насыпана горка белой мокроватой соли. Тут же стоял и небольшой граненый стаканчик. Но Марианна не смотрела на свой товар: в руках у нее, спрятанных в белые варежки, была какая-то потрепанная книжка, и чуть опушенные изморозью глаза внимательно ходили по строчкам.

— Здорово! — громко сказал Зорька.

Марианна вздрогнула, положила книжку и сделала движение — закрыть свою соль.

— Торгуешь, значит? Ты ведь обещалась прийти.

— Не могла,— тихо сказала Марианна

— Прямо уж не могла! Небось не захотела.

Зорька как будто наслаждался ее смущением.

— Почему соль-то у тебя?

Она ответила еще тише:

— Пять рублей стакан.

— Дорого. В этом стакане мухе пить подавать.

Марианна вдруг спросила очень серьезно:

— Почему вы смеетесь? Разве смешно?

Зорька опешил.

— Да я не смеюсь... Валяй торгуй. Только уж книжки читать нечего, а то проторгуешься...— И потянулся, чтобы заглянуть, что Марианна читала.

Но она поспешно спрятала книжку за пазуху, собрала соль в платок и, увязав ее вместе со стаканчиком, вышла из-за рундука. Они вместе с Зорькой пошли по улице.

— Хотите, возьмите себе эту соль,— предложила Марианна.— Вы же тогда подарили мне зайца. А тут еще четыре стакана.

Зорька посмотрел ей в глаза.

— А где ты ее берешь?

— Нам один человек приносит...

— Кому «нам»?

— Мне и Шурке.

— Какому такому Шурке?

Марианна живо рассмеялась: было очевидно, что Зорька ревнует. Но она тут же сказала с видимой печалью и в первый раз на «ты»:

— Думаешь, мне очень нравится продавать эту соль? Если бы я жила одна... А то у нас с Шуркой все вместе.

Потом она объяснила Зорьке, что Шурка — это ее старшая подруга.

— Она меня редко посылает на базар. Но сейчас она простудилась.

Зорька перестал ревновать и, оглянувшись по сторонам, взял Марианну за озябшую руку.

— Смотри, в другой раз приходи без обмана. Я ведь тебя ждал...

Они постояли немного возле водокачки, окутанной белым морозным паром. По обмерзшему желобу в подставленные водовозами кадushки рвалась с шипением синяя, тяжелая на вид вода.

— Будешь со мной ходить? — тихо спросил Зорька.— А если не нуждаешься мной, то говори прямо...

Большеносая, зеленоглазая Шурка сурово посмотрела на свою младшую товарку.

— Так чего он тебе трепался, парень этот?

— Он говорит: «Давай будем с тобой ходить»...— смущенно призналась Марианна.

Шурка с силой колотила деревянной киянкой по согнутой полосе железа. Кругом тоже наперебой стучали молотки,

лязгали станки-ножницы и выплевывали ушки с двумя дырочками, которыми крепились ведерные дужки, ручки к шайкам, питьевым бачкам и прочей посуде. Хотя основным назначением завода был ремонт оборудования для лесопунктов, драг и МТС, тут не пренебрегали и ширпотребом: была сейчас во всяких корытах и шайках повсеместная крайняя нужда.

Шурка работала здесь уже четвертый год и имела, как жестянщица, шестой разряд. А Марианна попала сюда недавно и пока делала подсобную работу: распрямляла молотком проволоку, резала самый простой закрой, олифила готовые бачки и ведра. Ладони у нее сделались оранжевые от олифы и краски и сморщились, как у старушки. Так что незаметны даже были порезы и царапины.

— «Ходить!» — иронически заметила Шурка. — Ишь сопляк! Ты бы еще с семилетним связалась.

— Между прочим, он хороший, — тихо, но упрямо сказала Марианна.

— Они все хорошие, пока спят.

Шурка всего четырьмя годами была старше Марианны. Но, бог ты мой, какая она была уже взрослая! Тысячу с лишним ночей они проспали рядом в детском доме, и Марианна шагу не ступила без Шуркиного веления. Правда, Шурка, помнится, на первых порах ее побила раза два, но Марианна ей это простила.

— Ты, Марианка, не бойся, я тебя не брошу, — с полной ответственностью обещала Шурка, когда старших воспитанников распределили на производство. — Я не такой человек, чтобы бросить. Ты мне от своего детского пайка уделяла.

Она каждый вечер приходила после смены в детский дом и, чтобы няньки не ворчали, мыла пол в сенях и в коридоре и таскала воду. Правда, ей за это дело давали поужинать, но Шурка старалась не ради ужина.

В первую ночь, когда они оказались опять на одной койке в заводском общежитии, обе долго не могли уснуть и шептались о том, как будут жить, когда все наладится и всего станет много, как было до войны: конфет, колбасы, ситцу, калош...

— Обуемся с тобой, оденемся!.. — мечтала Шурка.

— Будем на концерты ходить! — в тон ей шептала Марианна.

— Главное, работа чтобы повыгоднее. Я ведь на работу зверь! Ты со мной не пропадешь.

Марианне очень хотелось приласкаться к Шурке, но та сантиментов не признавала. Она укрыла Марианну до ушей стеганым одеялом и еще раз пообещала:

— Я тебя ни при каком обстоятельстве не брошу.

Марианна любила Шурку. У той было некрасивое, бурое от веснушек и в двадцать лет уже немолодое лицо. Улыбалась она редко, только Марианне. За угловатый характер Шурку в цехе недолюбливали, и называлась она не иначе, как Шурка Рыжая. Никто ее фамилии не помнил. Даже в социалистическом соревновании одна работница-жестяница написала: «Вызываю на соревнование Шурку Рыжую».

Когда на красной доске за номером первым появилась Иванова А. П., то все переглянулись и спросили друг у друга:

— Это кто же у нас Иванова? Шурка Рыжая? Да разве же она Иванова?

— Ну их всех к шуту! — сердито-равнодушно огрызнулась Шурка. — Какие не рыжие! На самих посмотреть не на что.

Характер у Шурки был не из веселых. Но иногда на нее находила светлая минута, и она вдруг в разгар смены начинала петь. Пела негромко, но звучно. Сразу смолкало десятка два молотков, и работницы прислушивались.

Шурка исполняла всегда любовные песни, удивляя слушателей и неожиданным содержанием, и особым томным южно-русским выпевом.

Я не знаю, я не знаю, что со мною,
Что волнует грудь мою...
Почему мне, почему мне нет покою,
Почему я все пою...

— Шурка, это какая же песня? — спрашивали любопытные.

— Заграничная, — спокойно отозвалась Шурка. — По радио вчера пели. А вы работайте, работайте! Чего руки-то опустили?

Самой ей пение работать не мешало, словно голос ее существовал совсем отдельно от угловатого тела и длинных, ухватистых рук.

— Я вся как есть для работы уродилась, — сказала она Марианне. — А ты другая. Ты для труда не подходишь.

— Почему же я не подхожу? — тревожно спросила Марианна. — Ведь я же работаю... Мне скоро разряд повысят.

Шурка озабоченно вздохнула:

— Что разряд! Моя такая задача, чтобы тебя на чистое место устроить. В ателье, что ли, или на общественное питание.

...День в декабре кончался рано. Уже в четыре ложился серый сумрак. По соседству в электроцехе прерывисто стучало динамо и гудел угольный котел.

Шурка скинула с верстака цилиндр для ведра и принялась за следующий. Черные от железа, большие ее руки ни на минуту не останавливались.

— Нечего тебе со всякой шпаной связываться, — решительно сказала она Марианне, имея в виду ее знакомство с Зорькой. — Здешние ребята все хитрованцы. Только и смотрят интерес свой справить. Я тебе жизнь губить не дам.

Шурка была искренне убеждена: самое страшное, что может быть в жизни, — это если парень обманет девуку. После этого хоть не живи.

Кто-то из работниц, перекрывая грохот молотков, крикнул:

— Шурка, зубило мое не брала? Что за дьявол, все из-под рук прут!

— Ну тебя к шуту! — равнодушно отозвалась Шурка. Однако вынула из фартука зубило и послала Марианну: — На, снеси ей. Пусть в другой раз рот не разевает.

Когда Марианна отнесла зубило, прерванный разговор возобновился.

— Этот парень тебя и насчет соли выпытывал?

— Да...

— Вот чалдон проклятый! А пусть он скажет, как нам жить, если он такой умный. Сам-то небось сало ест.

— Ну, какое сало! — возразила Марианна. — Он же один работает, и у него больная мама.

— Тем более сочувствовать должен.

Соль, о которой шла речь, добывал Шуркин знакомый, отчаянной жизни гуляка, инвалид Марк. Раза два в месяц он путешествовал куда-то под Сольвычегодск и покупал там соль на килограммы. А тут, в Мурояне, Шурка сбывала стаканами. Рассчитывалась Шурка с Марком честно, поэтому он ее на другую перекупщицу не менял. У Марка правая рука заканчивалась протезом в черной перчатке, действовал он ею довольно ловко, но, если нужно, мог изобразить полную беспомощность, так что его ни один проводник не решился бы согнать с поезда и на базаре не трогал ни один милиционер. Из-за отчаянной гульбы у Марка только за последнюю зиму расстроились два сватовства в хороших домах. Но Шур-

ка при всех своих твердых правилах относилась к Марку с непонятным снисхождением.

— Человек за нас пострадал...

...В половине пятого смена кончалась. Кочегар в электро-
цеке тянул ручку гудка, и по заводскому двору разливался
унылый, как волчий вой, протяжный сигнал. Побросав молот-
ки и киянки и затолкав под верстак рукавицы и фартуки,
жестяшники устремлялись из цеха.

Наладчик Родя, умазанный машинной смазкой робкий
парень, улучив минуту, когда Шурка прятала инструмент
под верстак, дернул Марианну за рукав.

— В кино пойдешь?

— А что сегодня? — шепотом спросила Марианна.

— «Арсен»...

Шурка разогнулась и сказала сурово:

— Никуда она не пойдет! Отваливай!

По дороге из цеха она объяснила Марианне:

— Один вот так-то позвал девку в кино, а потом
нашли ее... Лежит гдей-то под сараем, вся изнасилован-
ная...

Когда вышли за проходную, стало совсем темно. И все
же Шуркины острые глаза различили какое-то движение
в конце улицы, где был магазин. Они с Марианной убыстри-
ли шаг и спросили у бежавшей мимо женщины:

— Чего дают?

— Ерши копченые!

— На рабочих или на всех?

— На всех. Бежите скорее, а то кончатся!

Шурка прибавила скорость.

— Вот, а ты еще хотела в кино! Прозевали бы...

Ершей они получили, но Шурка осталась недовольна:

— Самые заскребки нам попали. Кому крупные, а тут
одна мелочь, да черные какие-то.

Продавец, равнодушный мясистый дядя, изрек через при-
лавок:

— Вас подкоптит, вы тоже черные будете.

Марианна посмотрела на него своими светлыми серьез-
ными глазами и сказала:

— Очень остроумно!..

...Чтобы попасть в отдельную комнату, которую Шурка
отвоевала для себя и Марианны в семейном общежитии,
нужно было пройти через большую общую кухню. Там на
плите постоянно ворчал и брызгал серым кипятком котел
с бельем. Запах щелока лез в ноздри, но к этому все привыкли

и как будто не замечали. Только комендант, когда заходил, чихал и бранился.

— Ну и любите вы стирать, лешак бы вас всех понес!

И Марианна заметила: здесь действительно страстно любили стирать. Шурка, например, придя с работы, надо же надо, тут же начинала стирать и мыть пол.

— А ты не трусись, не трусись,— говорила она Марианне.— Взяла книжку, так читай. Я не против твоей книжки.

...В ожидании прихода Шурки в кухне сидел Марк и, улыбаясь, поглядывал, как одна из хозяек учит своего ребенка ходить. Ноги у ребенка были колесиком, но он крепко держался за материнский палец и не падал.

— Вон иди к дяденьке,— посоветовала мать, подпихивая ребенка вперед.— У его вон игрушечка какая! — и указала на черную деревянную руку Марка.

Ребенок шагнул, покачнулся и сел на пол. А когда Марк протянул ему неживую руку с аккуратно выгнутыми пальцами, ребенок вовсе испугался и заплакал.

— Отставить! — пробасил Марк.— Это не по-гвардейски! — И еще больше заулыбался.— Я их, поросятых таких, люблю! Когда женюсь, у меня их полный загон будет.

Старушка, подсобница со смолоперегонного, оторвалась от каши, которую варила, и сказала Марку:

— Бодливой коровушке бог рог не дает. Пропьешь ты их всех.

В это время как раз и вернулись Шурка с Марианной.

— Вот и мы,— застеснявшись при виде Марка, сказала Шурка.— Здравствуйте, Марк Андреевич!..

Она при всей своей независимости очень опасалась, что соседи подумают, будто у нее с Марком что-то есть как с мужчиной. И быстро юркнула к себе в комнату.

Марк прошел вслед за ней и за Марианной.

— Ерши! — сказал он, садясь и разглядывая покупку. И тут же добавил какую-то рискованную прибаутку, срифмовав со словом «хороши».

— Не надо, Марк Андреевич,— покраснев, попросила Шурка.

Она быстренько перебрала этих ершей, наредила и нарезала к ним луку. Все трое стали пить чай. Шуркин опытный взгляд сразу определил, что Марк нервничает: к закуске нету выпивки. Но Шурка стойко поборола в себе намерение послать Марианну за чекушкой.

И Марк мрачнел.

— Так вот, девочки, соли больше не будет,— вдруг заявил он.

Шурка побледнела.

— А почему?

— Не будет. Отменяется. Скоро сами узнаете.

Марк достал из кармана три смятых полсотни и показал Шурке.

— Эти капюры теперь только на растопку годятся. Леформа.

Толком он ничего и не объяснил. И Шурка в простоте души подумала, что он связался с другой перекупщицей, которая, наверное, для него чекушки не жалеет. И грустно промолчала.

— Ну, до свидания, милые создания,— сказал Марк, поднимаясь.— Целоваться некогда.

Шурка помогла ему попасть деревянной рукой в рукав шинели и с последней надеждой заглянула в глаза. Но Марк ничего не обещал.

— Обсолонился я только вашими ершами. Нет чтобы пельменями угостить.

После его ухода Шурка сказала озабоченно:

— Без торговли трудно нам будет. Прокормимся, а на вещи ничего не останется.

Она расстелила постель, и они с Марианной легли. Шурка долго молчала, потом вдруг спросила нерешительно:

— Марианка, как думаешь, этот статуй еще придет?

— Не знаю,— не угадывая состояния подруги, рассеянно сказала Марианна.— Вообще-то лучше бы он не приходил.

Сама она думала о том, отпустит ли ее Шурка в следующее воскресенье: они с Зорькой договорились, что пойдут на кинокартину.

3

Со второй недели декабря загуляли сильные метели. Только опытный коногон не потерял бы полем дорогу. Начали гулять и волки, запрыгали по сугробам, словно играющие собаки.

Зорьке показалось, что на него из сумерек поглядели волчьи красные глаза, когда он на лыжах бежал полем домой, возвращаясь из Мурояна. Но он был так охвачен новостью, что не успел как следует испугаться. В узелке за плечами Зорька вез три тяжелых буханки пшеничного хлеба, еще не успевших отвердеть на морозе.

— Мам! — закричал он, швырнув лыжи в ограде и вбегая в избу. — Мам, на Мурояне хлеб теперь без карточек дают! Пшено стоит, лапша!.. У меня с собой пять гривен денег было, я хлеба купил!

Мать схватила узел, стала шупать, будто не верила. Когда же Зорька развязал его и вытащил из стола большой ножик, она тихо спросила:

— Сынок, а винца-то тама-ка не дают? Не видно?

— Нет! — сердито отрубил Зорька. — Кто про что, а вшивый про баню. Никакого винца тебе не будет.

Во дворе у Зорьки прижился шенок-полугодок. Зорька отрезал целый угол от буханки, пошел кормить щенка. Тот схватил из Зорькиных рук горбушку и, как безумный, кинулся под сарай.

— Эх, дурак! — ласково сказал Зорька. — Теперь будет хлеб, пойми своей головой!

Но шенок, забившись подальше, повизгивал над пшеничным куском. Зорька швырнул ему еще и пошел в избу, довольный жизнью и собой.

...К концу месяца белые метели унялись, наладилась дорога, и до новых снегопадов нужно было вывозить колхозное сено. Стога стояли на дальних покосах, и обернуться с возом туда-сюда раньше позднего вечера нечего было и думать.

— Эх, подводишь ты меня! — досадливо сказал Зорька бригадиру, который и в воскресенье отряжал его по сено. — Ведь у меня девчонка. Сам, что ль, молодой не был?

Все-таки надеясь, что засветло вернется и поспеет до ночи на Муроян, к Марианне, Зорька махом запряг Буланого. Стоя в рост на голых санях, он вылетел в белое поле и заорал навстречу ветру свою любимую озорную припевку:

Нам хотели запретить
По этой улочке пройтись!
Стены каменны пробьем,
По этой улочке пройдем!

Белый лес летел мимо. Рыжим комком проскочила по опушке лисица. Длинный гривастый Буланий, направляемый тугой вожжой, резко свернул в чашу, рассекая полозьями снег и тревожа косматые елки.

— Тпр-р, стой, сатана чернохвостая!.. — Зорька спрыгнул с саней и повел лошадь в поводу.

Сено туго шло на вилы: оно было тяжелое, черное, кое-где даже тронутое седой прелью. Прошное лето было насквозь дождливое: копны по два раза раскидывали, раз-

вешивали на шестах, на кустах и сушили. Каждый навильник, который Зорька поднимал, весил не меньше пуда, а вместо травяного запаха сено пахло густым табачным настоем и морозом.

Навивая и очесывая воз, Зорька отплевывал труху и бормотал себе под нос:

Я не буду брагу пить,
Котора брага пенится,
Я не буду ту любить,
Котора ерепенится...

Воз Зорька вывел большой, заправский. Уж потом пожалел, что пожадничал: покос был низкий, и снегу сюда надуду по пояс. Буланый через каждые двадцать метров останавливался, тяжело поводя брюхом.

И Зорька тогда шел передом, топтал и проминал дорогу.

Когда вышел с возом на большак, день поссерел. Зорька, пока навивал воз и воевал со снегом, распарился, а теперь озяб и, чтобы схорониться от ветра и белой пороши, шел позади воза, нахохлившись и сдвинув шапку на лоб.

Но и в спину дуло. Ваты в Зорькиной телогрейке после четырехлетней носки вроде бы и совсем не осталось. А новый пиджак надеть было жалко: в чем бы он тогда пофорсил перед Марианной? Он подумал о том, что уж сегодня вряд ли увидит ее, и ему стало очень досадно.

— Иди, черт!.. — прикрикнул он на Буланого, но только махнул кнутом, а ударить не ударил.

В окнах уже горели огни, когда Зорька вошел в свою избу. А тут было темно. Загородив ладонью, Зорька зажег лампочку: решил, что мать спит. И увидел Марианну. Она тоже спала, расстелив на лавке свой черный бушлатик.

Марианна пришла сюда еще за полдень. Она тихонько открыла дверь в знакомую уже избу и задержалась на пороге, не без опаски глядя на Зорькину мать. Та сидела на постели. По нижней рубашке змейками сползали две узкие черные косицы, и сквозь каждую, как прорось в дереве, проблескивала седая серебряная жилка.

— Это ты? — ласково удивилась Зорькина мать. — Ну, иди, иди!

Когда Марианна прошла вперед и села, она опять спросила с живым интересом:

— Имечко-то твое как? — И, узнав, вздохнула: — А я вот все хвораю, Марьяна. Как есть насквозь я вся больная. Каждый мой нервок токает.

— А где же ваш мальчик? — осведомилась Марианна.

— Мальчик-то? На работе, должно... В колхозе.

Марианна с сочувствующим любопытством смотрела на эту женщину. Беловолосый и широколицый Зорька был не больше похож на мать, чем голубь на ворону. Он был здоровый, веселый и живой, а мать походила на догорающую черную головню, которая вот-вот обуглится и загаснет.

— А у меня, Марьяна, парень-от князь,— сказала вдруг Зорькина мать, будто угадав Марианнины мысли.— Красотой в отца пошел. А меня-то ведь тоже по-уличному княгиней зовут.

И она с ничем не объяснимой откровенностью рассказала Марианне, что в двадцать девятом году, когда и колхозов здесь не было, жили по всему уезду выселенцы. Один такой пришел к ней, спросил, нет ли табаку. Она ему сорвала прямо на огороде три густых столба, научила, как подсушить. И насыпала ему зеленых бобов, дала редьки. Картошки еще не было, только зацветала.

— До чего же красивый мужик был, Марьяна! Сразу я в его влюбилась по самое сердце. Подождала-подождала, не придет ли вдругорядь, да и пошла сама его искать. Они, поселенцы-то, возле Мурояна уголь выжигали.

— И он был настоящий князь? — живо спросила Марианна.

— Самый настоящий! В Ленинграде раньше жил. Дом держали на восемнадцать комнат.— И она глубоко вздохнула.— Уж какой мужик был, Марьяна, в гробу буду лежать, дрогну! Я простая баба, а он со мной, как с ровней. Ты вот наших-то мужиков, хамла, не знаешь...

— Я ничего этого еще не знаю,— потупившись, сказала Марианна.

— И не дай бог знать. Мой-то законный муж тогда на вербовке был. Он бы Зорьку придушил, да я, как ему приехать, парня-то схоронила у одной баушки. А потом мужик мой от воспаления головы помер. Всего было мне двадцать пять годов... С тех пор одна сижу, а после Валерьяна моего Евгеньича другого мне не надо.

Зорькина мать улыбалась черным, диковатым лицом. Света в избе было мало, и Марианне сделалось жутковато.

— А как вас зовут? — спросила она, стараясь не смо-

треть в черные, немного раскосые глаза Зорькиной матери.
— Меня звать Зоя. А князь-то мой еще и Засенькой звал!..

Она засмеялась и, словно боясь, что Марианна уйдет и не дослушает, спешила досказать:

— Последний раз ночует он у меня, и вдруг посреди ночи бегёт ихний один: «Собирайся, Валерьян, проверка всем!» В эту же ночь их с Мурояна прямехонько на Чардынь, а оттудова неизвестно куда. Уж как я кричала, Марьяна! Вернись, волком выла!.. По снегу за ними ползком ползла. Вот с тех пор я свой главный нерв и попортила.

— А он?..— вновь захваченная рассказом, спросила Марианна.

— У его кольцо схоронено было. От прежней, от законной жены. Он мне это колечко оставил. Больше не было у него ничего. Потом письмо прислал. Вот экими большими буквами! Знал, что малограмотная я. Пишет: «Назови ты моего сына Светозаром...»

Зорькина мать вздохнула и заключила:

— Потоль, Марьяна, я милого мово друга и видела!

У Марианны сердце стучало неположено часто: то, что она сейчас слышала, удивило, напугало ее. Ей показалось, что она не сможет теперь от всего этого отделаться.

А на улице уже смеркалось. Серпок молодого месяца блеснул через примороженное окошко. В избе держалось тепло, но оно уже тянулось кверху, а по полу расходился сыроватый, пахнувший подпольем холодок.

— Ты малому-то моему смотри не говори, чего я тебе рассказывала,— попросила хозяйка.— Это между нами, между женщинами.

«Женщина» ничего не ответила. Зоя легла и потянула на себя одеяло.

— Добыла бы ты мне, Марьяна, вина... Хоть с четверочку. А то маюсь я... Уж так-то позабыться охота!

И она закрыла глаза. Марианна посидела несколько минут молча. Потом, оглянувшись на задремавшую хозяйку, взяла с шестка пустые ведра и, стараясь не загромезть, вышла в холодные сени.

Мороз с речки дохнул Марианне в лицо. Она остановилась и огляделась. На высоком белом берегу стоял дом с заколоченными окнами и высокой глухой калиткой. В доме никто не жил, ничей след не вел к этой калитке, и весь дом до окошек был погружен в снег.

Не без тайной боязни Марианна нагнулась к голубой

проруби. Ей даже показалось, что из этого холодного глубокого окна кто-то поглядел на нее. И она на секунду зажмурилась.

— Это ты? — шепотом спросил Зорька. — Спишь? Марианна сразу открыла глаза и села.

— Я нечаянно уснула... А где ты был так долго?

— В лесу. — От Зорьки пахло снегом и сеном.

А мать не просыпалась и не слышала, о чем они говорили. Во сне она то охала, то причитала, но понять нельзя было ни слова. Зорька и Марианна сидели друг возле друга уже в полных сумерках.

— Ты небось есть хочешь?

— Не очень...

— Тут у меня гостинцы тебе есть.

Зорька пошарил на полке и достал какой-то сверточек.

— Я на выборах старух развозил, так выделили мне шоколаду.

Мать опять горько охнула, будто кто-то пнул ее в больное место. Не просыпаясь, она села на постели и тут же опять повалилась, как куль.

— Не бойся, — тихо сказал Зорька, — это видится ей.

— Я не боюсь, — тоже шепотом отозвалась Марианна. И осторожно, как мышка, хрупнула твердой, сладкой конфетой. — Почему ты сам не кушаешь?

— На што они мне, — со спокойным равнодушием отозвался Зорька. — Я не маленький.

Он взял в свой горячий кулак Марианнины пальцы и ласково мял их, шупал.

— Что у тебя, костяшки побиты? — Он поднес ее пальцы к своему лицу, чтобы лучше рассмотреть. — Вот и ноготок черный.

— Это молотком. Я проволоку прямила.

Зорька заглядывал ей в лицо.

— Эх, красивая ты! Тебе бы не по железкам стукать, а где-нибудь в театре выступать!

Марианна подумала и сказала:

— Совсем я не такая красивая. Это ты красивый. У тебя глаза карие, а волосы светлые. Это ведь редко встречается.

Зорька был польщен. Но его удивил слишком пристальный взгляд Марианны.

— Ты чего так глядишь?

— Ничего, — смутившись, ответила она.

«Ведь он князь...» — думала она, невольно вспомнив слова Зорькиной матери: «До чего же красивый мужик был, Марьяна! Сразу я в его влюбилась по самое сердце...» И вопрошающе посмотрела на Зорьку: неужели он ничего не знает?..

С полминуты они сидели молча. Потом Зорькина рука полезла ей за спину. Другой рукой он придерживал ее за дрогнувший подбородок и поцеловал прямо в рот.

— Я тебя не обману, не бойся. Не загораживайся!

Марианна в свои шестнадцать лет уже знала, что мальчишки, когда лезут целоваться, жмурят глаза, потому что им все-таки стыдно. А Зорька не жмурился, смотрел в упор и со взрослой серьезностью не выпускал Марианну из своих крепких рук.

Она все-таки отстранила его и попросила:

— Не надо.

— Пошто же не надо? Я ведь не нахально...

— Все равно. Зачем?

— Как зачем? Характер друг у дружки визнаем, потом поженимся.

— Но ведь мы еще маленькие...

— Какие же мы маленькие? — почти сердито сказал Зорька. — Как работать, так мы им не маленькие.

С этим доводом нельзя было не согласиться. Но Марианна попробовала еще возразить:

— Можно ведь просто дружить. И вообще надо, чтобы Шурка сначала замуж вышла, а потом уж и я...

— Это та, конопатая? Да кто же ее возьмет? — с чисто мужской самоуверенностью заметил Зорька. — Долго ждать придется.

— Она очень хорошая! — горячо сказала Марианна. — Просто она считает, что теперь нет надежных мужчин: все или женаты, или очень пьют...

— Я пить не стану, — твердо обещал Зорька. И добавил: — И вообще я... я ласковый. Пальцем никогда не трону.

И вдруг Марианна засмеялась. Зорька еще не успел обидеться, она ему объяснила:

— Я сейчас читаю одну книжку... Там купец уговаривал девушку выйти за него замуж. Он тоже сказал: «Я тебя пальцем не трону». А потом он ее бил...

Зорька ошеломленно молчал. Потом сказал сердито:

— Читаешь чего не надо. Раз я говорю — не трону, значит, не трону.

Марианна улыбнулась.

— Да не в том совсем дело! Просто мне смешно стало, что ты говоришь как тот купец.

Зорька что-то хмуро соображал. Потом подвинулся опять поближе к Марианне.

— Ты дала бы и мне эту книжку почитать,— попросил он.— Про купца про этого...

Когда мать очнулась, они все еще сидели в темноте и оба тихо жевали. Мать поднялась на локте, и большие мерцающие ее глаза уставились на сына и девочку.

— Ты еще здесь? — спросила она Марианну и покачала головой.— Пошто же это ты домой не ушла? Не прошенный гость, знаешь...

Зорька крепко схватил Марианну за руку.

— Сиди! — сказал он властно.— Кто хозяин-то тут?!

4

Последняя метель разыгралась, когда март уже был на исходе. Снег был колкий, сердитый. Он иссек затвердевший наст, изноздрил его, придавил к земле. А когда проглянуло и заиграло солнце, все поползло, распустилось в тысячу мутных, пенных ручьев.

Но сорок морозных утреников продержались стойко. Там, где днем ворчала вода, утром над досуха вымороженными лужами хрустел лед. К маю высохло все, а на праздники так пригрело, что народ ходил по улицам во всем летнем и без шапок. Промытые окошки были отворены настежь, и оттуда всю пахло брагой и сдобной стряпней.

Шурка тоже напекла пирожков из сеяной муки. Обмазанные яйцом, они дотемна запеклись и надулись. Глядя на Шуркины хлопоты, Марианна невольно вспоминала, как всего в прошлом году, примерно в это же время, они с Шуркой ходили на ближнее колхозное поле подбирать ячменный колос, осыпавшийся после уборки. Колоски были мелкие, усатые, колкие. Жнейка вмяла их в глубокие колеи, смешала с грязью. Дома Шурка рассыпала мокрые колоски по горячей плите, потом вытащила во двор и принялась растирать между своими большими жесткими ладонями. Колкий, сухой ус сносило ветром, а зерна падали на расстеленную по земле Шуркину старую юбку. Потом она приволокла тяжелую ступку с пестом, и всю неделю у них на ужин была ячменная каша.

За этой кашей их тогда в первый раз и застал Марк, притащивший тяжелый, мокрый узел с солью. Шурка пригласила Марка к каше, и он остался доволен.

— Молоток баба! — похвалил он Шурку. — Мне бы такую!..

Эта похвала еще тогда, видимо, внушила Шурке какую-то смутную надежду. Но Марианна об этом не догадывалась.

На Первое мая перед вечером Марианна позвала Шурку погулять. На площади у поселкового Совета были танцы, и тут же должны были прямо на открытом воздухе показывать картину «Убийца среди нас».

— А ну-ка тот придет... — спрятав глаза, сказала Шурка.

— Кто? — удивилась Марианна.

— Да этот... статуи-то мой, Маркушка. Он обещался.

Марианна тоже опустила глаза. Ей стало как будто страшно и стыдно.

— Ведь он же водку пьет, — тихо сказала она.

— А кто не пьет-то? Я рассчитываю его от вина отбить.

Прождав с полчаса, они все-таки вышли за ворота и сели на свежевыструганную лавочку. Было очень тепло, но Шура надела новые ботинки и повязалась шалью с кистями.

— Хорошо! — заметила она, глядя на вечернее красное небо. Но пестрое от веснушек лицо ее выдавало тоску ожидания.

«Статуи» так и не пришел. Народ расходился после картины, переговариваясь о том, что в картине ничего не поймешь. Наши все понятные, а на заграничные лучше не ходить. Вот про любовь, это у них бывает ничего.

При слове «любовь» Шурка вздрогнула.

— Пойдем домой, — сказала она Марианне.

...Утром на кухне Шурку окликнула соседка:

— Александра, желаешь, чего скажу? — И, не дождав-шись Шуркиного согласия, сообщила: — Твой Марк распрекрасный вчера к Красновым ходил. Ихнюю Глафиру сватать.

Шурка как будто застыла. Некрасивое, носатое лицо ее совсем подурнело от стыда и страха. Опомнившись, она коротко спросила:

— Сосватал?

— Да нет, шутишь, что ли; Красновы, они не глупые.

Шурка тихо ушла в свою комнату, села к столу и заплакала.

— А ну его к шуту! Нашел над кем смеяться: мы же сироты, военные жертвы!

Марианна робко попробовала ее утешить. Но Шурка в первый раз недобро посмотрела на нее.

— Тебе хорошо! Небось сейчас к колхознику своему побежишь. А я кому нужна?

Марианна, чтобы не оставить Шурку одну со слезами, в этот день не пошла к Зорьке. Они с Шуркой сели вышивать крестом дорожку на комод, каждая со своего конца. На улицу не выходили, чтобы никто Шурку не видел. Вышивали до тех пор, пока кончились нитки. Тогда Шурка вымыла и без того чистый пол, и они с Марианной сели доедать вчерашние пироги.

— На наш с тобой век, Марияна, эдаких-то Марков хватит,— бодрясь, сказала Шурка.— Он думает — дуру на-шел...

Но когда погасили свет и легли, Шурка больше не сказала ни слова. Лежала чужая и неподвижная, и Марианне даже показалось, что ее большое костистое тело как будто холоднее обычного. Она осторожно погладила Шурку по плечу. Та вздохнула глубоко, но не отозвалась.

— Пришел! — победным шепотом сказала Шурка, незаметно пытаясь прикрыть собой дверь, за которой сидел Марк.— Марианка, будь другом, выручи, сбегай! — И протянула пустую чекушку.

Это был очень грустный вечер. Марианна почувствовала такую тоску в сердце, не отличимую от боли, как в тот день, когда осталась без Ангелины. Водку она принесла, поставила возле двери и быстро ушла.

На дворе собирался дождь. Рано пришедшее тепло сменилось ненастьем. Шурка опомнилась, когда уже потемнело. Она бегала по мокрым от дождя дворам и искала Марианну. Подгоняемая страхом, сбегала даже к реке. Но сплавщики, еще табунившиеся на берегу, сказали что ничего тут такого как будто бы не было.

— Топиться, что ли, кто собрался? Погодите недельки две, вода еще холодная.

Тогда Шурка решила, что Марианна, наверное, ушла в деревню и там, чего доброго, останется на ночь. Она со страхом подумала о том, что парень, конечно, промаху не даст и воспользуется. Шурка уже хотела бежать в деревню, но вспомнила, что заперла на ключ уснувшего Марка.

Поддавив горький вздох, она пошла домой. Тихо открыла дверь. Там, где всегда спала Марианна, теперь лежал и сопел Марк, свесив вниз свою черную деревянную руку. Шурка,

не смея будить, осторожно присела возле постели. Марк не проснулся.

Утром до самого завода Шурка бежала бегом. За спиной у нее ревел гудок и торопились опаздывающие.

Марианна, низко наклонив голову, сидела возле верстака на чурбачке и привычно стучала молотком по железному пруту. Она вздрогнула, почувствовав над собой Шурку, но продолжала стучать.

— Ты где же это была?

— У девчат в общежитии...— И, чтобы переменить разговор, Марианна сказала: — Знаешь, кто-то уташил у нас вчерашнюю заготовку.

В другое время Шурка взбеленилась бы. Но сейчас ей было не до заготовки. Она тихо спросила:

— Ты чего это характер выказываешь? Обиделась?

— Нет.

— Тогда чего же ты? Разве я тебя гоню? Будешь с нами жить.

— Нет,— сказала Марианна.— Не буду.

Пора было начинать работу, а руки у Шурки не слушались. Она судорожно вздохнула, взялась за киянку, а проходящему мимо мастеру так ничего и не сказала о пропаже заготовки. Отвернувшись от Марианны, Шурка загрохала своим деревянным молотком, но через минуту опять положила его.

— Чем уж он так тебе поперек горла стал? — сухо и почти враждебно спросила она, имея в виду Марка.— Он ведь не живого человека зарубил...

Марианна почувствовала явный намек и еще ниже опустила голову.

Но Шурку уже прорвало:

— А ну тебе совсем к шути! Ты ту паразитку забыть не можешь, на могилу бегаешь, а на меня тебе семь раз наплевать!

...На другой день Шурка собрала Марианну и проводила в общежитие для девчат-одиночек.

— Что получишь — запирай, а то голая останешься,— стараясь загладить вчерашний крутой разговор, озабоченно посоветовала она.— Взаимы не давай: тебе при твоём характере обратно не получить.

Шурка дала Марианне еще несколько практических наставлений, потом задержала дыхание и сказала трагически:

— Главное, Марианка, с парнями пока не надо. Не губись!..

Она ушла, а Марианна осталась сидеть над своим сундуком. Потом достала коврик из лоскутков и постелила возле койки. Поставила на тумбочку петушка-копилку, положила гребень, коробку под иголки и нитки и яркий японский веер, купленный Шуркой неизвестно где и зачем.

— Я бы тебе и зеркало большое отдала, да Маркушке не у чего бриться будет,— сказала Шурка, когда собирала Марианну.— А книжки все забирай, они нам ни к чему. Нам читать некогда.

Марианна покончила с устройством и оглянулась. Возле ее койки на окошке цвела герань и раздражающе пахла. Но цветки ее напоминали Марианне детство: у няни Дуни герань была в большом почете.

— Давай паспорт на прописку,— сказала сторожиха.— Есть у тебя паспорт-то? Или ты еще малолетка?

— Есть, конечно,— сказала Марианна.

Она достала из сундучка новенький шершавый паспорт. Получила она его всего полгода назад, и раньше он всегда хранился у Шурки. Поэтому Марианна раскрыла его и сама с любопытством посмотрела на свое изображение, припечатанное штемпелем. Личико было маленькое, косое и непохожее.

— Скажите, а где же все девочки? — спросила она сторожиху.

— Девочки? На халтуре. На станции дрова грузят.

Девчата вернулись только к вечеру. И принялись отмыывать керосином смолу, испятнавшему им руки до самого локтя. Запах керосина и еловой смолы на время перебил назойливую герань.

— Тебя Шурка Рыжая выгнала или ты сама ушла? — спросила у Марианны одна из девчат.

— Сама, конечно. Мне там было очень скучно...

— Ну, у нас скучать не будешь,— заметила другая девица, самая видная и независимая, с недевичьим именем Домна.— Мы живем весело. Кстати, с полочки десятку гони: складчина будет. А парня приведишь — с него двадцатку.

Тут же девчата пожелали узнать, есть ли у Марианны парень.

— Да я не знаю,— застенчиво сказала та,— кажется, есть.

Над этим «кажется» дружно похохотали, а потом вдруг, как по команде, все стали наряжаться и мастерить прически. Когда стемнело, пришли двое ребят. Один, узкоглазый, но красивый мордвин, молча сел к своей девчонке,

и они тихо просидели друг возле друга весь вечер. Зато другой парень полностью взял инициативу. Усадил девчат вокруг себя, достал колоду карт и стал учить всех играть в тысячу.

— Хорошенькая, а вам не сыграть? — спросил он у Марианны. — Вы почему такие сердитые?

— Я не сердитая, — сказала Марианна, находясь еще под впечатлением Шуркиных наставлений. — Просто спать хочется...

Парень не унимался.

— Такие молодые, а спать хотите! Могут вам на сон грядущий сказку рассказать. Только давайте познакомимся раньше. Герман Иванович Жуланов. Токарь по одиннадцатому разряду. Гордость производства.

— Черт, трепач! — заметила Домна. — Что пристал? У нее свой парень есть.

Герман поправил на себе серый костюм-тройку и сказал серьезно:

— Очень жаль!

Через час он ушел. Девчата спрятали наряды, легли и заснули как убитые. Лежа под байковым, плохо греющим одеялом, Марианна слышала, как сторожиха выпроваживала из сеней молчаливого мордвина.

К запаху герани и невыветрившегося керосина прибавился еще и сладко-стойкий запах одеколona, оставленный Германом. В окно светил месяц. Северная майская ночь была похожа на день. Слышно было, как возле деревянных свай моста с журчанием крутилась вода.

Напрасно Марианна пыталась убедить себя, что не будет скучать без Шурки. Ей было холодно и горько. И просто необходимо было с кем-нибудь поговорить.

В приоткрытую дверь неслышно вошла сторожихина кошка, черная, с белым носом. Села на Марианнин коврик и стала задней лапой драть за ухом. Марианна тихо поманила ее, и кошка вспрыгнула на койку, замурлыкав у самого Марианнина уха.

Этого оказалось достаточно, чтобы Марианне стало немножко легче: все-таки она была не одна.

Когда Марианна утром проснулась, девчата были уже на ногах и говорили о том, что их вчера на погрузке обсчитали и не записали вагон метровника, который они честно погрузили.

— А, пусть подавится! — заключила Домна в адрес десятичника. — Им, шакалам, выпить на что-то надо.

Увидев, что Марианна проснулась, она подошла к ней:
— Ты никак плакала? Наплюй! Хватит на помочах жить. Воля дороже всего.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Две черные лошади, одна высокая, другая пониже, гремя железным боталом и высоко подкидывая передние, спутанные ноги, прыгали по мокрой луговине. Маленьким темным комком лежал на земле жеребенок.

Рассвет только наметился, чуть покраснел низкий пушистый ольховник в той стороне, откуда шло утро. Возле черного, обуглившегося пня тлел еле заметный алый уголек. Он, как хищный глазок, то вдруг выплывал, то исчезал, на минуту покрывшись пеплом. При вспышке видны становились узенькие столбики конского щавеля и черные головки куриной слепоты.

Потом над кустами прочертилась алая полоска зари, и чернота уступила место серому сумерку. Виден стал остоз плуга у края пашни и квадрат бороны, уткнувшийся зубьями в землю. Лошади уже не прыгали и не гремели боталом. Упершись в траву передними, спутанными ногами, они стоя досыпали остаток ночи, готовые каждую минуту вскинуть уши и потрясти спутанной жесткой гривой. Все так же недвижно покоем и ушастый жеребенок.

Зорька выкатил прутиком уголек из загасшего костровища, взял его на ладонь и, катая, принялся раздувать. Зажег клочок бересты, и огонек запрыгал белочкой.

— Спишь? — тихо спросил он Марианну.

Она лежала на снятой с колес телеге. Дрогнула от Зорькиного шепота, откинула край козьей шубы и подняла голову. Потом села, поджав под себя теплые со сна ноги.

— Я вот все думаю... — Зорька сосредоточенно глядел на огонь. — Надо тебе расчета добиваться. Не ближе место сюда каждый раз бегать.

Но Марианна слушала Зорьку как-то рассеянно. Внимание ее было занято нежным заревом, которое вставало за леском. Последние клочки тумана тянулись куда-то вниз, под угор, где пучилось рыжими кочками холодное болото. Большое черемуховое дерево посреди пашни тоже казалось клоком белого тумана.

— Ты слышишь, чего я говорю-то? — нетерпеливо спросил Зорька.

— Слышу, конечно... А сколько сейчас может быть времени?

— Пятый, поди... Не выпалась, так спи еще.

— А ты разве не хочешь?

— Я не буду. Разоспишься — хуже. К обеду нам управиться надо. Тогда Лазуткин кобылу даст огород пахать. — Зорька помолчал и добавил: — Серая, как ожеребилась, не та лошаденка стала. На такой много не наработаешь. Ее из-под Сталинграда пригнали, нога была перебита. — И для бодрости Зорька решил пошутить: — Нашей Серой надо бы пенсню хлопотать: она инвалид Отечественной войны.

Марианна, уже отряхнувшая дремоту, засмеялась. Словно в ответ, лошади на лугу вдруг вытянулись, затрясли гривой и всхрапнули, заслышав приближение другого коня. Тотчас же, как большая птица, встрепенулся и жеребенок. Встал на тонкие ноги и побежал к матери.

Из-под угора, белый от тумана, выехал всадник. Зорька пригляделся, узнал председателя.

— А, это вы тут! — сказал Лазуткин, подъехав к Зорькиному огоньку. — Пошто в стане не ночуете? Холодно ведь.

Он спрыгнул с лошади и присел рядом с Зорькой. О Марианне он уже слышал, но видел ее раньше только мельком.

— Это, князь, значит, суженая твоя?

— Ага, — серьезно сказал Зорька. — Она со мной четвертое воскресенье боронит. Гляди, трудодни за ее не зажил. — И, воспользовавшись моментом, попросил: — Лазуткин, ты бы пособил нам расписаться. А то ей с завода расчет не оформляют.

Председатель, храня улыбку, раскуривал от уголочка.

— Правильно, нужно законы соблюдать.

— Какие еще законы? — угрюмо спросил Зорька. — Выходит, закон против, чтобы любовь была?

— Любовь! А не хочешь ли обождать? До законного совершеннолетия?

— Научил! — Зорька еще больше нахохлился. — А там через год мне и в армию призываться. Что же я, для дяди женюсь?

Председатель уже не слушал Зорькино ворчание. С веселым прищуром он разглядывал Марианну.

— А ты что же молчишь все время? Ты не немая?

— Нет, — ответила Марианна. — Но ведь вы меня ни о чем не спрашиваете. В общем, как все мужчины...

Лазуткин удивился даже:

— Ты скажи, она какая! Серьезная, оказывается, дамочка. А не погодить ли тебе замуж, пока росточку наберешь?

— А я и не тороплюсь замуж, — независимо сказала Марианна, но все-таки оглянулась на Зорьку. — Просто он с вами шутит.

У полевого стана заколотили палкой по подвешенной рельсе. Ветер, налетевший невесть откуда, густо обсыпал черную землю белым цветом облетающей черемухи.

— Рано мы встали, да мало направили, — заметил Зорька, первым поднимаясь с земли. — Ты, Лазуткин, посиди, покарауль мою райскую птицу, — он кивнул на Марианну, — а я напонть сгоняю.

Он распутал лошадей, сел на лазуткинскую низенькую кобылу и погнал звонко топающих коней в белый, еще не развеявшийся туман.

Марианна и председатель остались вдвоем.

— Ишь ведь, что Светозар твой говорит! Может, и правда тебя шапкой накрыть, чтобы не улетела?

Теперь уж Марианна разглядывала этого сорокалетнего веселого мужика, от которого крепко пахло самосадом и ночным полем.

— А я вас вспомнила, — застенчиво сказала она. — Когда я была маленькая, вы к нам приходили.

Лазуткин покачал головой:

— Не можешь ты, мила дочь, меня помнить. Я прошлой зимой только из армии воротился. В Германии служил. Это ты моего покойного брата помнишь. Его под Кенигсбергом убило. Он Федор был, а я Нестер.

— Вы очень похожи, — глядя в серо-голубые лазуткинские глаза, удивленно сказала Марианна.

— Чай, родные братовья. Так-то вот, товарищ девочка!

И Лазуткин, придвинувшись близко к Марианне, ткнул ее легонько в бок своим крепким, как каменным, пальцем.

— Оно бы все ничего, — сказал он, оглянувшись в ту сторону, куда ускакал Зорька. — Светозар у нас парень первый сорт. Только вот с маманей его можешь ты не заладить. Чудная она баба.

— Это правда, что у нее муж был князь? — осторожно спросила Марианна.

Лазуткин вдруг зло прищурился и сплюнул.

— Ханурик он, а не князь! Навязался бабе на шею да сгубил ни за што. Была человек как человек, работница...

— Разве он ее не любил?

— А что же ему не любить? Может, сколько-то и любил, да она сама боле того в голову забрала. У нее свой мужик хороший был, из тихих тихий. А ее вон куда рвануло!

Марианна невольно вспомнила страшные слова Зорькиной матери о муже: «Он бы Зорьку придушил, да я схоронила его у одной баушки». Но тут же вспомнились и другие слова: «С тех пор одна сижу, а после Валерьяна моего Евгеньича другого мне не надо».

— Знаете,— задумчиво сказала она Лазуткину,— все-таки бывает на свете сильная любовь. Когда от разлуки даже сходят с ума. Вот, например, есть такая французская писательница Жорж Санд...

— А! — махнул рукой Лазуткин. — Какой к лешему Жорж! Не забивай ты себе голову. Вы, женщины, на этот счет...

Тогда Марианна, чтобы он не заподозрил ее в легкомыслии, решила признаться:

— Знаете, мне очень хочется стать учительницей. Для первого класса, где маленькие... — Она засмушалась и добавила: — Потому что, наверное, я сама такая маленькая и останусь...

«Умненькая девчонка-то,— подумал Лазуткин,— науки хочет. А у меня вон две халды растут — все вечерки да поделки, а из пятого никак в шестой не перевалят...»

Зорька подогнал лошадей. Они трясли мокрыми мордами и бодро фыркали. Лазуткин подтянул подпругу у своей кобылки и сунул сапог в истертое стремя.

— Насчет с завода уволиться — это я помогу. Я тут сам заинтересованный. А с женитьбой погодите. Я еще в действительной был, нам в театре постановку показывали. Там парень один все заявлял: «Не желаю учиться, а желаю жениться!...»

— Ладно,— сердито перебил Зорька.— Поезжай от греха.— И крикнул вслед председателю: — Так я возьму нонче кобылку-то, Лазуткин?

Тот махнул рукой: ладно, мол.

Зорька зауздal Буланого и завел в постромки плуга. Обротал и матку, возле которой крутился жеребенок, впряг в борону и кинул на влажную спину лошади свой пиджак вместо седла.

— Ну, садись,— сказал он Марианне. И посадил ее под пятку.

В первый раз, когда она боронила с Зорькой, Мари-

анна пробовала ходить за бороной, но разбила ботинки, спотыкаясь о крутые комья. Потом Зорька уговорил ее сесть верхом. Кобыла была смирная, послушная, но хребет у нее был острый, жесткий, так что и Зорькин пиджак плохо вырубал.

Зорька прошел с плугом два гона. Потом махнул Марианне рукой, и она, неуверенно задергав поводьями, направила покорную кобылу на поднятую Зорькой, исходящую паром полосу.

В разбуженном ольховнике всю свистели птицы. От серой комковатой борозды поднимался и таял пар. На соседнем поле, за лесом, зачихал трактор и двинулся по полю, качаясь, как лодка на волне. От стана выезжали другие пахари, весело и бессмысленно ругая лошадей. День обещал быть горячим: утренний ветер не оставил ни единого облачка.

— Но, Серая! — Марианна легонько стеганула лошадь концом поводка. — Ну, чего же ты так тихо идешь?..

Зорька крикнула издали:

— Понужай, понужай! Хитрит она!

С черемухового дерева, как мотыльки, спархивали последние белые лепестки, и бурая, поднятая плугом земля хоронила их. Грачи летали парами, словно танцевали, чертили круги и садились на пашню чуть не под ноги лошадям. Солнце сверкало огромным золотым ситом. Марианна вдруг вспомнила Шуркину песню, которую та пела в легкие для души минуты, и сама замурлыкала:

Я не знаю, я не знаю, что со мною,
Что волнует грудь мою...
Отчего мне, отчего мне нет покоя,
Отчего я все пою...

Рыжий жеребенок по кличке Яблочко бегал неотступно вслед за матерью, как будто боялся потеряться. Он спотыкался о крутые отвалы плуга, раза два упал, но бегать не прекращал.

— Глупый-то! Вот глупый!.. — кричала ему Марианна, качаясь на жесткой лошадиной спине. — Ну чего ты все бегаешь?

Зорька в это время как раз поравнялся с ней и сказал:

— У тебя бы мать была, ты бы тоже следом бегала. Ведь он маленький.

Марианна с упреком поглядела в его красное, каленое лицо. И Зорька вдруг спохватился:

— Эх, не то я бухнул! Не сердись, Марианка!..

Он оставил Буланого и подошел к ней:

— Ты бы покрылась, а то солнце тебе макушку нацелует.

Пот полз по Зорькиному запухшему от работы внаклон лицу. Он слизнул этот пот языком и утерся рукавом. Поправил на Серой оползшую набок шлею и при этом легонько погладил теплое от солнца колено Марианны.

Ей захотелось ответить ему чем-нибудь. Но она еще немного боялась его и стеснялась. Поэтому она только улыбнулась и помахала свободной рукой.

Когда на следующем гоне они с Зорькой снова поравнялись, он опять утер мокрое лицо рукавом и сказал наставительно:

— Ты Лазуткина-то не шибко слушай. Он про законы толкует, а сам девок да баб молоденьких вон как любит!.. Мы ведь тоже знаем.

В обед Зорька отправился на полевой стан за кашей. Недопаханного осталось совсем чуть-чуть, и после обеда можно было сразу трогаться на свой огород. Разве только немножко переждать жару.

Марианна осторожно слезла с лошади. Распрягать сама она еще не научилась. Она и себе стеснялась признаться, что немного побаивается старой, безобидной Серой и ее рыжего маленького сына, который, пожалуй, ни с того ни с сего может брыкнуть своей тонкой, поджарой ногой.

Под горой крутился голубой ручей и, как змея, уползал в высокую траву. По берегу цвела густая желтая калужница. Листья у цветов были зеленые и холодные, как кожа у лягушонка.

В прошлый раз, когда они здесь пахали, Марианна нарвала этой калужницы. Но когда пришла со своим букетом в деревню, в глазах у Зорькиной матери вдруг отразился ужас.

— Ты зачем это нечисть в избу тащишь? — спросила она тихо, но грозно. — Беды хочешь?

Она выхватила у Марианны цветы и кинула их в подпечек.

— Понеси вас нелегкая, откуда пришли!

— Разве это плохие цветы? — удивленно спросила Марианна.

— Да будь они светом прокляты! — с сердцем сказала Зорькина мать. — Они ж с болота.

...Марианна разулась и вошла в ручей. Заслышала за собой шорох и оглянулась. Нераспряженная Серая тоже шла к воде, волоча за собой опрокинувшуюся вверх зубьями

борону. За ней бежал Яблочко. Он с размаху влетел в ручей, увяз передними ногами и тонко заржал.

Его мать отняла морду от замутившейся воды и посмотрела на шалуна, потом на Марианну. Та тоже расшалилась, зачерпнула в ладони воды и плеснула на Серую. Кобыла затрясла грязной седой гривой, как будто отгоняла оводов.

И вдруг дико и звонко закричал жеребенок. Выпрыгнув на берег, он споткнулся о борону и повалился бедром на острые зубья. От ужаса Марианна сама чуть не упала: Зорька уже предупреждал ее, чтобы не оставлять бороны кверху зубьями. Она не успела еще и опомниться, как Зорька уже летел к ручью сам, швырнув на бегу котелок с кашей.

— Дурочка чертова! — чуть не плача, крикнул он Марианне. — Раззява! Дать бы тебе, чтобы знала!

Лицом он в эту минуту сделался очень похож на мать, и Марианна невольно отшатнулась от его замахнувшейся руки. Но он не ударил. Обхватив жеребенка поперек, Зорька оторвал его от бороны, два крайних зуба которой были залиты красной кровью.

— Чего стоишь? Неси скорее опутку!

Ошеломленная Марианна подчинилась. Зорька повалил жеребенка на траву, связал ему передние и задние ноги, чтобы тот не мог вскочить. Серая подошла и начала лизать раненный бок своему Яблочку. Тот плакал, показывая короткие, не изжеванные еще зубы.

— Держи его, — сурово велел Зорька. — Я за подводой сбегаю.

Марианна молча села возле связанного жеребенка. Он все время поднимал голову и кричал. Мать тихо ржала в ответ. И Марианна тоже заплакала беззвучно. Она ощутила вдруг такое детское одиночество, какого не помнила с того дня, когда ее привели в детский дом и она узнала, что Ангелины больше нету... Теперь ей опять показалось, что она осталась одна не только на этом черном поле, но и во всем свете.

Но Марианна опомнилась, вытерла слезы и посмотрела на жеребенка. Он затих, как будто задремал. Только маленькое порванное бедро его дрожало судорожной дрожью.

— Может, ты пить хочешь, Яблочко? — спросила Марианна и уже без всякого страха потрогала ладонью сухие и горячие губы жеребенка.

Зачерпнуть воды было нечем. Марианна поспешно сняла с себя ситцевую кофточку, обмакнула в ручей и поднесла Яблочку. Он стал сосать, потом пожевал и отъел один рукав.

Минут через десять загрохотала телега.

— Подымай его, Ст ветозар, — сказал бригадир, отгоняя тревожно заматавшуюся кобылу. И нагнулся над жеребенком. — До кости пробрался!..

А Зорька хмуро глядел на Марианну.

— Ты чего это заголосилась? — строго, как муж, спросил он.

Она молчала, голые плечи ее слегка дрогнули. В руках у нее Зорька увидел не мокшую, изжеванную кофточку.

— Не кричи, пожа~~луй~~ста, — вдруг сказала Марианна. Зорька немного опешил. Потом овладел собой и сказал так же сурово:

— Пиджак мой на~~кин~~ь и ступай к нам в деревню. Марианна выжала из кофточки остаток воды и надела на себя. Правая рука ее, оставшаяся без рукава, белела незагорелой кожей. В мокром, прилипшем к телу ситце Марианна казалась страшно худенькой.

— Ну, поехали, что ли? — окликнул Зорьку бригадир. — После разберется. Кобылу привяжи.

Зорька почти машинально прикрутил поводок к тележному задку. Оглянувшись, он увидел, что Марианна уходит. Но в противоположную от деревни сторону. Зорька догнал ее в два прыжка.

— Ты что не слушаешься? Я ведь сказал...

Она посмотрела ему в глаза.

— А почему я должна тебя слушаться?

— Так ведь огор~~о~~д пахать... Ты когда опять придешь?

— Не знаю, — тихо сказала Марианна. — Может быть, совсем не приду.

Стук удаляющейся я телеги и слабое, болезненное ржание жеребенка привели Зорьку в себя. Он повернулся и побежал за телегой. На опустевшей луговине валялся на боку брошенный им котелок. Из остывшую кашу доклеивали черные грачи.

Лето цвело. На молодых елках алели тонкие, смолистые и сладкие столбики будущих шишек. Желтела липа, сизы синели ягоды жимолости. Скромным белым кружевом цвела в овраге смородина. И с шорохом, зеленым и живым, росла трава.

На Муроянском тракте Зорьку обогнала машина, но он ее пропустил: кабина была занята, а в кузов он лезть не хотел. Там возили известь, а на Зорьке были новый бумаж-

ный пиджак в полоску и жаркие, не по лету, армейские галифе, предмет зависти деревенских ребят.

В Мурояне на базаре Зорька купил кулек сладких орехов, спрятал в карман и, трудно вздохнув, свернул на знакомую улицу.

Окна в общежитии все были настежь, и в одном сидела сторожиха, грызла прошлогодние тыквенные семечки.

— Девки на гору гулять пошли. А ты чей будешь?

Она раздобрилась и пустила Зорьку в комнату, указав на Марианнину койку.

Койка была узкая, ровненько застеленная чистым одеялом. На стенке желтолицая «Монна Лиза», вырезанная из журнала. И больше ничего. Зорька поглядел вокруг: над другими, более пышными постелями — и плавающие по чернильной воде лебеди, и цветные фотокарточки с золотисторозовой обсыпкой. На тумбочках батарея флаконов, все с картинками.

«Икону повесила, — подумал Зорька, вернувшись глазами к «Моне Лизе», — а больше ничего нету...»

В окошко через занавеску сеялось июньское солнце и собиралось в играющее пятно на коврикe возле Марианниной кровати. Зорьке захотелось накрыть это пятно сапогом, но он побоялся испортить чистый коврик. Он сидел и томился.

Марианну он увидел еще в окошко. Она несла пучок неспешей земляники, обложенный травой-белокрайкой. На Марианне было светлое платье и черные мальчиговые ботинки, так знакомые Зорьке. И он вдруг почувствовал, что у него даже сил нет подняться с табуретки, на которой сидел.

Разговору их никто мешать не стал. Тут насчет этого существовал между девушками неписанный закон. Правда, из любопытства они сунулись посмотреть, но тут же, выпрошенные Домной, ушли куда-то к соседям. Но разговор все равно не клеился.

— У вас что, выходной?

— Да. А у тебя?

— Мы летом без выходных. Ягод насбирала?

— Хочешь?

— Зеленые еще. Я ведь не медведь...

И вдруг Зорька, собравшись с духом, сказал:

— Ты думаешь, я бы тебя бить стал? Да я сам вон как напугался!

У Зорьки на чистой рубашке у самого ворота раскололась

пополам пуговка. Она, наверное, резала ему шею, но он этого не замечал. А Марианна только и смотрела на эту пуговку.

— Яблочко еще не выздоровел? — осторожно спросила она.

Зорька оживился:

— Прямо не выздоровел! Серая ему зализала. Уже бе-
гает всюю. К покосу без матки выгонять будем.

— Разве скоро покос?

— Недели через три. Придешь?

Марианна молчала. Зорька нерешительно подвинулся к ней.

— Уж ты меня прости! А то, верь слову, прямо жить
неохота!

Тут они в первый раз встретились глазами. Казалось,
еще немножко — и Марианна тоже подвинется к нему, и они
будут сидеть, как зимой сидели под игру метели и под
сонное причитание Зорькиной матери.

Но Зорька промахнулся.

— Шла бы ко мне насовсем. А то чего ты тут, по баракам
этим, нагладишься? Хорошим девкам тут делать нечего.

Все тепло в глазах у Марианны сразу загасло.

— А что тут у нас, в бараках, плохого? — почти резко
спросила она. — Как ты можешь говорить?.. Вообще-то я уже
поняла, что у тебя очень отсталые представления. И если
хочешь знать, барак — это было при царе. А теперь общежи-
тие. Понятно?

Зорька остоленел. А Марианна решила его не жалеть.

— Ты вроде Шурки. Ей всегда казалось, что все люди
плохие. Это потому, что она очень темная.

Оскорбленный сравнением, ошеломленный, Зорька смот-
рел затравленно и одиноко. А Марианна продолжала:

— Почему я должна идти к тебе? Ты даже не спросил, —
может быть, мне хочется поехать куда-нибудь далеко. На-
пример, на Камчатку.

— Пошто же на Камчатку? — чуть слышно спросил
Зорька.

— Ну, на Северный полюс, где белые мишки.

Он решил, что она над ним смеется. Но что-то удержало
его от взрыва. Он отвернулся и стал напряженно думать.

— Я бы тоже с тобой на Камчатку... — наконец тихо
сказал он. — Да вот мать...

После этого он глубоко вздохнул и взял шапку.

— Пойду я тогда...

И ушел, забыв даже отдать гостинцы, которые были у него в кармане. Когда опомнился, то выкинул их в бурьян около забора. Услышав за собой шорох, вздрогнул и обернулся: кулек со сладкими орехами уже теребила какая-то собачонка.

— У, морда! — сказал Зорька и вытер слезы.

Теперь он уже точно понял, что для Марианны не годятся те слова, которыми можно сговорить другую девчонку. Но иных слов он, к сожалению, пока не знал.

3

Когда-то вдоль этой дороги стояли рыжие сосны, ровные и гладкие, как новые кегли. И по их стволам, отмеченным стрелами подсоски, текла, засыхая на солнце, густая белая смола.

Теперь здесь остались только низкие, заросшие травой пни, и по вырубке, открывшейся солнцу, белел земляничный лист, обещающий богатые ягоды.

Марианна шла в Тихое. За Мурояном она сразу разулась и верст восемь пробежала легко и быстро. Пути она почти не помнила, но ноги вели ее, и она, минуя вырубку, вышла туда, куда надо.

Зеленые елки, растущие вокруг Тихого, уцелели. На усыпанной иголками и спрятанной от солнца земле цыплячьими выводками желтели лисички.

Вдова Капустиха копошилась на огороде. Она разогнулась и приложила ладонь горсточкой ко лбу. Пригляделась и узнала Марианну.

— Большая ты стала. Поди, замуж скоро?

В избе на столе стоял тот самый самовар с подтекающим краном, который Марианна хорошо помнила. По этому крану вдова в точности определяла погоду: если двигается туго и подтекает — к ненастью, а когда в исправности — к вёдру.

— Тетя Агния, — шепотом сказала Марианна, — вы меня простите, что я так долго к вам не приходила.

Вдова была по-прежнему спокойна.

— А пошто тебе ходить-то? Чай, своих делов хватает.

И обе помолчали. Взгляд Марианны скользнул по стенке. Она вздрогнула, увидев фотографию Ангелины, вправленную в некрашеную рамку. Покойная мачеха была сфотографирована еще столичным фотографом — с пышными кудрями, с юной и обещающей улыбкой.

— Тетя Агния, вы ее помните, значит?

Вдова вздохнула:

— Как не помнить-то!.. Не надо было мне отпускать вас. Уж я и то каюсь...

Марианна кинулась к вдове. Та обняла ее, погладила по плечам.

— Да уж не плачь, чего уж теперь... А что дымочком от тебя пахнет?

— Я в сборочном цехе работаю, — смахивая слезы, живо сказала Марианна. — Там у нас автоген и электросварка...

— Что ж, хорошо, — заметила вдова, хотя, конечно, не знала, что такое автоген и электросварка. — Только смотри, через силу не рвись: ты деушка молоденькая, как вица зеленая, перегнешься...

Марианна долго не решалась, потом спросила:

— Тетя Агния, можно мне с вами поговорить?

...На обратном пути Марианна свернула на лесную тропу и вышла к реке. Мура текла под высоким, крутым берегом. Измытый дождями, здесь чернел старый деревянный лоток, по которому заготовители спускали с горы дрова на сплав. Между досками лотка пробилась трава и жесткий розовый вереск.

Вдова сегодня сказала Марианне:

— Если сударик твой дурит, направь. Все ведь хорошее от нас, от женщин.

Неужели она может кого-то «направить»? До сих пор направляли ее.

Далекий гудок завода в Мурояне спугнул мысли Марианны. Солнце уже уходило. Марианна обула свои мальчишковые ботинки и побежала.

На полпути осталась в стороне Боровая, окруженная зеленым полем. Марианне показалось, что она даже отсюда, с дороги, видит белый камень на старом могильнике, оплетенный диким выюнком. Здесь они в первый раз встретились с Зорькой прошедшей зимой.

Марианна остановилась, вздохнула и пошла дальше. Через час она уже была в Мурояне. По улицам бродил тихий вечер. Народу было мало, все ковырялись по своим огородам, огребали зацветающую картошку.

И вдруг Марианна увидела Шурку. Та шагала с озабоченным, осунувшимся лицом, на котором резче обозначились рыжие веснушки, и несла в руке большую, потрепанную в очередях сумку.

Шурка тоже увидела Марианну и в смущении остановилась.

лась. Казалось, еще минута — и она бросится обнимать свою бывшую подружку.

— Ну как живешь? — ласково, но с отчуждением спросила она.

— Очень хорошо, — сказала Марианна. — А ты?

— И я ничего. Сказали, в Пустоваловском сельпе чайники малированные дают. Побежала, а уж расхватили.

Шурка была низко, почти до глаз, покрыта головным платком. И все же Марианна без труда разглядела, что под этим платком на лбу что-то неладное.

— Да вот иднотик-то мой, — небрежно, будто не придавая этому значения, сказала Шурка, — вчера поругались, он деревягой своей как махнет! Дурак, он дурак и есть.

— А ты не можешь от него уйти? — со вспыхнувшей надеждой быстро спросила Марианна.

— Это с какой же стати? Мы с им расписанные, зачем я пойду? — И тут же Шурка осведомилась: — Не слыхала, Марианна, никто пальта мужского не продает? Сорок восьмой размер.

Они попрощались и пошли в разные стороны. Шурка ни разу не оглянулась, — наверное, очень торопилась.

Потом еще издали Марианна заметила Германа. Он стоял возле ларька, где торговали густым, темным пивом. Вечер был теплый, а Герман парился в своей серой тройке, а на белой шелковой его рубашке видны были следы пролитого пива. Он тоже увидел Марианну и пошел ей навстречу.

— Хорошенькая, погодите минуточку! Вы не против сегодня в парк сходить?

— Против, — тихо ответила Марианна. — А вообще, вы могли бы и поздороваться.

Герман растерялся, но спрятал растерянность в смешке. Он молча дошел вслед за Марианной до общежития. И уже у дверей опять предложил:

— Если одна со мной боишься, можно еще девчат пригласить.

— Я вовсе не боюсь, — сказала Марианна. — Просто не хочу.

Герман все-таки зашел в общежитие и просидел довольно долго, изумив на этот раз девчат своей молчаливостью и хмурым видом.

— Тебя что, в солдаты берут? — с усмешкой спросила Домна.

Когда он собрался уходить, одна из девчат выскочила вслед за ним. Вернувшись, объяснила остальным:

— Это он из-за нее,— и кивнула на Марианну.

Девчата насторожились.

— Ишь, черт, куда нацелился!

— Вообще-то если его в руки взять, он ничего. Живут хорошо, обули бы ее, одели.

А Домна строго сказала:

— На кой черт ей все это? Она и сама обуется, оденется. Правда, Марианна?

Та слушала рассеянно. У нее гудели ноги, а перед глазами плыл синий воздух, лес, река, Шуркино озабоченное лицо...

— Эх, нам бы твои заботы! — сказала одна из девчат и под села к Марианне на койку. — Вон Клавка замуж идет, на платье наскребла, а на туфли не осталось. Жених бóсую брать не хочет.

— Возьмет! — усмехнулась Клавка, та, у которой был роман с мордвинном. — Самой просто неудобно.

Тогда Марианна, оживившись, предложила:

— Я тебе могу дать двести пятьдесят рублей.

Она поспешно открыла сундучок, где рядом с паспортом и свидетельством об окончании школы-семилетки лежало несколько бумажек.

Кто-то из девчат заметил:

— Это уж полное хамство — у сироты брать.

— Я же отдам, — виновато сказала Клавка.

Молчаливая Домна тоже поднялась с койки.

— Отдаст. Только что означает «сирота»? Зачем человека обижать? Сейчас такое понятие отсутствует.

Марианна сделала вид, что ничего не случилось. И спросила:

— Скажите, а когда же свадьба?..

4

Покос — славное время: под косами вместе с травой ложится земляника, кусты ягоды княжанки, грибы — красноголовики. Бывает, что коса въедет в мягкую кочку, оттуда взвываются мелкие дикие пчелы, и когда от них отобьешься, можно забрать взятку — фунта два светлого меда.

Возле делянки, с которой Зорька свозил копны, стенкой стоял густой малинник. По верхушкам уже наливались ягоды.

— Это тоже не работа, — недовольно заметил Зорька Лазуткину. — Баб из кустов не выгонишь.

В разгар покосной страды в колхоз прислали заводских — черных от смазки слесарей, жестянщиков в рваных фарту-

ках, кузнецов с подпаленными бровями, сборщиков, учетчиков, бухгалтеров. Как всегда, на всех не хватало граблей и вил, и большинство, воспользовавшись заминкой, прямым ходом рванулось в малинник.

— Шут с ними, пусть налопаются! — досадливо, но несходительно сказал Лазуткин. — А потом, если они мне по копне на брата не поставят, я с них с живых не слезу.

Он отозвал Зорьку в сторону и сообщил:

— Тут, Светозар, между прочим, девочка твоя.

...В руках у Марианны были маленькие шербатые грабли. Она осторожно, боясь обломить последние колки, выгребала из кустов сухую траву. Зорька, держа в поводу Буланого приблизился нерешительно.

— Гребешь, значит? — тихо спросил он.

— Гребу... — тоже очень негромко ответила Марианна. Зорька не знал, что говорить.

— Ваши чумазики вон по ягоду утекли, а ты что же работаешь?

Марианна сказала уклончиво:

— Я боюсь, что не выполню норму... У нас же задание.

Зорька поглядел на ее исколотые жесткой травой ноги, на шербатые грабли, и в горле у него что-то сжалось. Он сказал угрюмо:

— А у меня с матерью худо. Ее в больницу хотели, а она убегла. Двое суток искали. Теперь запираю ее.

Лицо у Зорьки было худое и суровое. У Марианны дрогнули ресницы.

— Почему же ты не приходил?

— Зачем же пойду, когда я тебе не нужен?

Раньше Марианна боялась лошадей. Теперь она подошла совсем близко к Буланому и взялась за конец поводка, коснувшись при этом намеренно Зорькиной руки.

— Неужели так трудно было прийти? — еще раз тихо спросила она.

Позади них кто-то шумно зашевелил кустами, затрещал сухьями, выбираясь из малинника. Зорька с опаской оглянулся.

— Ты думаешь, я боюсь, что нас увидят, — сказала Марианна, глядя ему прямо в глаза. — Я абсолютно не боюсь!

— Ой, плохо, мне, Марианна, плохо! — сказала Зорькина мать, накрывая темной рукой то место, где болело сердце. За окном шел холодный, нудный дождик, который часто

приходит в конце июля на смену ясным дням и мешает закончить сенокос.

— А почему вы бонтесть в больницу? — спросила Марианна.

— Боюсь. Чего в ей хорошего, в больнице-то? Больница меня, Марьяна, не вылечит. Я сама себя вылечу, если сердцем успокоюсь. Мне бы опять любовь мою найти... Тут бы я и ожила. Я ведь еще не старая, Марьяна!

Дождик перестал. За окошком густел вечер. С ближнего некошеного поля пахло мокрым клевером. В палисаднике бледно розовел прибитый дождем шиповник. Зорька оставил Марианну и мать вдвоем, ушел просить лошадь, чтобы до ночи успеть в больницу на Муроян.

Марианна зажгла свет и снова села возле Зои. Невнятное любопытство к жизни заставляло ее слушать, что та рассказывает. Между ними возникло что-то вроде доверия, как между взрослыми женщинами.

— Ведь это меня за то бог бьет, что я мужнину плоть в себе не удерживала, — с печальным воодушевлением призналась ей Зоя. — От законного своего мужа родить не хотела. Потому — не любила ево... — И добавила строго: — Станешь со Светозаром жить, так-то не делай. Не хитри.

Через полчаса заскрипели ворота, приехал сам Лазуткин в шарбане. Больная увидела председателя, и на лице у нее промелькнуло что-то вроде желания прихорошиться, прибраться.

— Здорово, княгиня! Говорят, занемогла ваша милость?

Лазуткин положил шапку и подошел к постели.

— Эх, Зоя, Зоя! Бойкая ты была баба! Не при деточках сказать, помutilа ты нас, молодых ребят!

— Всего бывало, Нестер Абросимыч, — с тихим удовольствием вспомнила та.

— По старой замашке хочу прокатиться с тобой. Соберайся.

Зоя улыбнулась председателю болезненно, но игриво.

— Неохота курочке идти, да тянут за хохолок!

Зорька и Марианна остались вдвоем.

— Уйдешь? — спросил Зорька.

Марианна молчала.

Зорьке и самому не хотелось для первого раза оставлять ее сейчас в пустой избе, где незримо жила тоска и болезнь.

— Боишься?

Марианна покачала головой.

— Почему все спрашивают: «Боишься?» Неужели я такая маленькая?

Зорька шагнул к ней и, оглянувшись на дверь обнял за плечи.

— Какая же ты маленькая? — очень ласково сказал он. — Ты уже вон какая выросла! Вовсе большая стала...

А Зоя умерла через неделю. Лазуткин, возвращаясь с совещания по сенокосению, заехал в больницу. Ему там сказали, что все эти дни Зоя была вроде бы ничего, а тут, в последнюю ночь, убежала со своей койки, и утром нашли ее в больничном саду, под черемухой.

— Чего же вы смотрите? — с досадой спросил Лазуткин. — Ходит тут вас косой десяток, подолами трясет...

— Десяток! Сторожа и двух нянек на покос взяли от исполкома. Сестра да санитарка на всю больницу разрываются.

Один из больных сообщил Лазуткину, что будто слышали ночью, кто-то шебуршился под окном. Но подумали, что это какая-нибудь парочка: сад при больнице был густой, и пары сюда частенько заходили.

— Эх, Зоя, ты Зоя!.. — уже с тоской сказал Лазуткин. — Бедная ты баба!.. И я возле тебя, было время, грелся, а теперь лежишь ты здесь, всем людям холодная...

И поехал прямо на лесопилку, велел сделать гроб.

А Зорька еще ничего не знал. На Буланом возил сено волокушами, готовил стог.

— Не сыровато? — спросил Лазуткин, мучаясь другими мыслями.

— Пересушивать не придется.

Лазуткин собрался с духом и сказал:

— Ну, Светозар Валерьяныч, остался ты сам себе большой, сам себе маленький. Вот так, парень...

...Зоя похоронили неподалеку от того камня, под которым лежала всеми уже забытая Ангелина. Проходя мимо этого камня, Лазуткин сказал Марианне:

— Прибей досочку. Кто по земле не бегал, тот и не согрешил. Говорят, тоже красивая баба была!..

На поминках он сильно выпил и кричал Марианне и Зорьке:

— Эх, кабы у меня своих семерых не было, я бы вас к себе в дети взял!..

У Лазуткина действительно была полна изба ребят, и все с серо-голубыми, как барвинок, глазами: своих трое и четверо от покойного брата.

— Все равно! — кричал Лазуткин, обнимая Зорьку и Марианну. — Я из вас людей наделаю! Я город Берлин брал! Своими простыми, советскими руками!..

Поминки были богатые: колхоз дал Зорьке муки на пироги и ячменя на пиво. Этим-то пивом Лазуткин и окончательно набрался. Забыл, что он на поминках, а не на свадьбе, и гудел:

— Горько-о!..



Сладкая женщина

Восьмого марта 1971 года, как раз в женский праздник, в одном из старых, агонизирующих перед сносом домов в Черкизове около девяти часов вечера раздался на лестнице стук падения. Один из жильцов услышал этот стук, открыл дверь и увидел, что на площадке лежит без признаков сознания женщина, очень прилично одетая и еще довольно молодая. В соседнем подъезде громко пели и веселились по случаю праздника, и жилец-пенсионер подумал, что женщина эта забрела сюда, что называется, с пьяных глаз. Он уже хотел захлопнуть свою дверь, но потом подошел, поглядел и понял, что дело не так.

Минут через пятнадцать приехала «скорая», и пострадавшую отвезли к Склифосовскому. При ней нашли пропуск, удостоверяющий, что она является работницей карамельного цеха одной из московских кондитерских фабрик, Доброхотовой Анной Александровной.

Утром следующего дня было сообщено на фабрику о происшествии с Доброхотовой. Там уже знали, что она не вышла на смену, но ничего не подозревали о причинах. Тем более что все видели ее седьмого марта на вечере, посвященном Международному женскому дню. Она даже сидела в президиуме. И очень удивились, почему это она вдруг оказалась в Черкизове, когда живет в районе Бутырок.

Состояние Доброхотовой было определено врачами как состояние «тяжелое реактивное». В больнице она вскоре пришла в себя и не переставая плакала. Но по всему было видно, что плачет она не от боли, а словно бы от жестокой обиды. Из-под опущенных век выбегали крупные слезы, стекали по щекам, а оттуда на желтую бязь наволочки. О чем же она все время плачет, Доброхотова ни одним словом не желала объяснить и очень болезненно реагировала на расспросы.

Молоденький студент-практикант, дежуривший возле Доброхотовой и присутствовавший при ее обследовании, обратил внимание, как приятно и сладко от нее пахло, чем-то ванильным, шоколадным. Он также обратил внимание и на то, как не соответствует сильно развитая мускулатура рук, плеч да и всего тела этой еще далеко не пожилой женщины совершенно безвольному, бессильному ее состоянию.

И все-таки, несмотря ни на что, это была красивая, крупная и, казалось бы, вся для счастья созданная женщина. Хороши были у нее светлые, спутанные волосы, хороши голубые глаза, полные слез. На минутку она как будто бы успокоилась и задремала, но тут же сильно вздрогнула и открыла глаза. Молоденький и еще робкий в обращении с больными студент взял ее руку. Их глаза встретились. Что-то во взгляде этой больной смутило его и заставило отвернуться.

Дальнейшее обследование показало, что Доброхотова А. А., 1930 года рождения, ранее сердечными заболеваниями не страдала и никаких психопатических отклонений, которые могли бы повлечь за собой состояние, приведшее к падению с лестницы, не имела. Врачи заподозрили, не было ли совершено какое-нибудь хулиганское действие по отношению к пострадавшей, и об этом было тут же сообщено в милицию.

С кондитерской фабрики, где работала Доброхотова, приходили подежурить возле нее товарки-карамельщицы. Приносили передачи, к которым Анна Александровна почти не притронулась. Она уже не плакала. Забинтованная и утянутая в гипсовый корсет, она лежала тихо и неподвижно, словно придавленная большой тяжестью. Появившийся по делу Доброхотовой лейтенант милиции решил к ней с расспросами не подступаться, а направился в Черкизово. Он вошел в тот подъезд, где Восьмого марта Доброхотову нашли без чувств, и стал обходить квартиры, чтобы дознаться, к кому или от кого она в тот вечер шла.

Дом был старый, деревянный, по две коммунальные квартиры на этаже. Часть жильцов из него уже выехала, получив ордера на новую жилплощадь. Те, кто еще в этом доме жил, никакой Доброхотовой не знали. Значит, лейтенанту милиции нужно было опросить и тех, кто уже выехал. Времени это заняло много, потому что расселяли черкизовских жильцов по самым разным местам: и в Бескудники, и в Матвеевскую, и в Теплый Стан.

Посетил лейтенант и дом, где была квартира Доброхотовой, на Бутырьках. Жильцы сказали, что несколько раз в эту

зиму видели мужчину средних лет, звонившего в квартиру к Анне Александровне. А ее ближайшая соседка по лестничной клетке слышала даже однажды, как Аня спросила из-за двери: «Тихон, ты?»

Лейтенант проверил: в деревянном доме в Черкизове никакой Тихон прописан не был.

А сама Доброхотова уже чувствовала себя получше, съела что-то из принесенной ей сотрудницами передачи. Попросила зеркальце и сделала попытку привести в порядок свои богатые светлые волосы со следами рыжины на концах: когда-то она красилась.

Во время очередного посетительского часа одна из товарищек спросила ее:

— Аня, а что бы Юру твоего вызвать?

Юра — это был сын Анны Александровны, который учился в одном из ленинградских высших военных училищ.

— Не надо, — тихо сказала Доброхотова. — Что уж теперь?..

В начале апреля с Доброхотовой сняли гипс и отправили домой в сопровождении двух сотрудниц с фабрики. По дороге, пока ехали в такси, Анна Александровна улыбалась, пробовала шутить, но как только вошла в свою однокомнатную квартиру, вся сникла, губы у нее задрожали.

Сотрудницы посидели с ней, постарались успокоить, обещали наведываться как можно чаще, а уходя, попросили ближних соседей приглядеть, помочь, если что. С этого вечера в квартире у Ани Доброхотовой раза два-три в день раздавался осторожный звонок: соседи спрашивали, не надо ли чего. Это были люди, с которыми раньше она почти никакого общения не имела.

Фабричный комитет со своей стороны выделил Ане денежное вспомоществование и предложил путевку в дом отдыха. От путевки этой Аня отказалась, ссылаясь на перемену в настроении и желание поскорее, как только кончится у нее больничный лист, выйти в свой цех.

Ответственного по подъезду в доме, где проживала Аня, милиция попросила на всякий случай, если будет замечен этот таинственный Тихон, сообщить в отделение. Но Тихона больше не видели. Да и зачем его было искать? Потерпевшая никаких претензий не заявляла, а, наоборот, чтобы всему положить конец, сказала, что на лестнице в черкизовском доме не горел свет, поэтому она и упала.

— Света действительно не было, — подтвердили и жильцы из Черкизова.



На Ярославском вокзале села в вагон электрички женщина, заняла первую от входа лавочку на два места, где бы напротив нее никто не мог сесть, положила свои сумки и сразу отвернулась к окну. Глаза у нее были сильно заплаканы, и она, видимо, не хотела, чтобы кто-нибудь мог смотреть ей в лицо.

С каждой остановкой пассажиров не убавлялось, а прибавлялось: было холодное, сентябрьское предвечерье, и люди с ночи ехали по грибы. Уже в Пушкине грустной женщине пришлось подвинуться: рядом с ней сел грибник, высокий, черноволосый, видный мужчина в затертом и порванном плаще и с большой старой грибной корзиной, дно у которой все прохудилось и затянуто было поржавевшей проволокой.

Конечно, грибнику смешно ехать в лес во всем хорошем. Но на этом и плащ и рубашка могли быть почище. И если бы черные, с легкой сединой на висках волосы были бы покороче подстрижены, то не так почернел бы и засалился ворот. Женщине это сразу бросилось в глаза, даже заплаканные.

Когда холодный резиновый сапог усевшегося рядом грибника нечаянно коснулся ноги соседки, она вздрогнула и отдернула ногу.

— Виноват! — вежливо сказал грибник.

Тут он заметил, что соседка его в слезах, и посмотрел на нее очень внимательно. На других скамейках шла оживленная карточная игра. Рядом, через проход, длинноволосый парень прижимал к себе дремлющую, раскрашенную девочку. В предвкушении новых грибных «уловов» делились воспоминаниями о черных груздях и опятах грибники-пенсионеры. И никому не было дела до слез той женщины, что сидела у самого выхода. Никому, кроме вошедшего в Пушкине высокого мужчины в старых резиновых сапогах.

— Что это вы так расстраиваетесь? — спросил он.

Женщина вдохнула в себя слезы и не ответила. Поспешно достала платок и зеркальце. Несмотря на дрожащие губы, покрасневший нос и мокрые глаза, она была довольно красива, хотя и немолода. Но кое-что в этой женщине, хотя бы голубой плащ-болонья и высокая прическа с пучком-шишкой ярко-рыжего цвета, было данью стандарту. Сама она, видимо, этого не подозревала и считала, должно быть, что выглядит достаточно интересно и модно. К тому же весь костюм ее был предельно аккуратен: ни пятнышка на голубом плаще, свежие босоножки, нейлоновый шарфик, прикрыва-

ющий пучок-шишку и собранный бантом под круглым, приятным подбородком.

Спрятав мокрый платок, женщина решилась все-таки взглянуть на своего соседа. Их глаза встретились: ее — голубые, плачущие, и его — карие, лихие, под густыми четкими бровями. Побрит он был неважно: наверное, мешали две глубокие складки на обеих щеках.

— На дачу, что ли, едешь, рыженькая? Продуктов-то набрала.

Она хотела резко ответить на «рыженькую». Но это у нее не получилось.

— Нет, в деревню еду. Мама умерла, завтра девятый день... Пришлось отпуск просить, отметить нужно: все-таки в деревне пока с этим еще считаются. Мама тоже большое значение придавала...

— Точно, отметить не мешает, — все так же весело согласился сосед, будто речь шла не о поминках, а о каком-то радостном событии. — А главное, дорогая, ты не плачь. Ты лучше нас жалеешь, живых!

Что он этим хотел сказать? Заигрывал, что ли? Женщина отвернулась, желая показать, что ей сейчас не до того.

Но кареглазый не унимался:

— А я по грибы. Святое дело!.. Ходишь леском, ощущаешь природу. Тут тебе груздь попадется, там, глядишь, беленький. Радостей-то сколько! Верно, рыженькая?

«Рыженькая» подумала, что ее сосед слегка под градусом, поэтому и лезет с разговорами. Но вином от него вроде бы не пахло, и ни в кармане плаща, ни за пазухой, ни в корзине не видно было бутылки, с которой путешествуют в лес многие грибки.

— А то поедете к нам в деревню, — вдруг почти игриво пригласила она. — У нас грибов этих сколько хочешь, коробами волокут.

Сказала и спохватилась: куда же это она зовет совсем незнакомого человека? Ей от станции идти пешком почти три километра по глухой дороге, с собой порядочные деньги. А такой дяденька что хочешь с тобой сотворить может.

Но «дяденька» затряс головой:

— Не подойдет. У меня свои места.

Женщина поймала себя на том, что уже не плачет. Нос у нее утратил красноту, подсохли глаза. Она еще раз взглянула на себя в зеркальце, перевязала шарфик. И вдруг, совсем того не собираясь делать, с чисто женской непоследовательностью рассказала своему соседу, которого только

что готова была заподозрить во всех смертных грехах, все, что надо и не надо: до какой станции она едет, как называется их деревня, отчего умерла мать и что после нее осталось и т. п.

— Не знаю, как с домом быть. Продать бы его надо, а посоветоваться не с кем. Сын в Ленинграде, военнотрудовой...

— А муж?

— Да разошлись мы, знаете ли... Человек был трудный. Кареглазый усмехнулся:

— Ишь ты, «трудный»!.. А ты, значит, легкая? Ну, поглядим.— И он подвинулся к ней.— А зовут как?

— Анна Александровна...

— Нюша, значит? Анюта?

— Это почему же Анюта?.. Аня.

Он ласково положил ей ладонь на плечо.

— Ты не Аня, и я не Тиша. Чего уж молодиться?.. Будем знакомы: Тихон Дмитриевич.

Она дернула плечом, освобождаясь от его руки. Что это значит «молодиться»? Сорок два года — это еще до старости далеко. И тут же подумала, что зря сказала про сына: сразу свой возраст выдала.

Аня постаралась сообразить, кто он такой, этот Тихон Дмитриевич. День был будний, а его несло в лес по грибы. Если отпуск у человека, так уж ехал бы куда-нибудь в дом отдыха или к родне. А то охота такому дяде мотаться по электричкам с худой корзиной! Ладно, если хоть для себя грибы эти собирает, а то, может быть, на рынке их продает по рублю за три гнилых гриба.

— На каком производстве работаете?

— На самом хорошем.

Все это было как-то подозрительно. Аня даже немножко отодвинулась. А Тихон Дмитриевич достал пачку «Памира» и закурил, пренебрегая запретом курить в вагонах электрички.

Горе по матери-покойнице не совсем лишило Аню аппетита. Она достала из сумки булку, плавленый сырок, потом еще купила у проходящей по вагону мороженщицы пачку пломбира. Но есть одной было как-то неудобно.

— Поделиться могу с вами.

— Спасибо, рыженькая моя, не хочу.

Когда доехали до платформы «83-й километр», Тихон Дмитриевич вздел веревку от своей корзины через плечо и поднялся.

— До свидания, Анна Александровна. Гляди, больше не плачь.

— До свидания,— уже холодно ответила Аня, утираясь после мороженого.

Он вышел в тамбур, оттолкнув дверь резиновым сапогом. Еще с минуту видна была через стекло его высокая фигура, но он ни разу на Аню не оглянулся, и она с горечью подумала: чего тогда и лез знакомиться?

Зашипели наружные двери. Тихон Дмитриевич сошел на платформу и затерялся среди высадившихся грибников.

В Александрове Ане предстояла пересадка, и она села на платформе под фонарем ждать своего поезда. Хорошо бы зайти после трехчасового пути в туалет, но оставить сумки было не на кого, а идти туда с продуктами Аня брезговала.

И вдруг она опять увидела Тихона Дмитриевича. Он вышел из вокзального буфета, что-то жуя, и пошел в другой конец платформы. Потом еще раз прошел мимо Ани. Она не могла ошибиться: своими глазами она видела, как полчаса назад он сошел на «83-м километре». И ей пришла в голову мысль: уж не выслеживает ли ее тут этот человек? Аня была не из пугливых, но теперь испугалась, схватила свои сумки и побежала в вокзал посмотреть, нет ли случайно кого-нибудь из знакомых, с их станции. Но никого не нашла.

Тихон Дмитриевич в третий раз прошествовал мимо. Ане показалось, что теперь он ее заметил, но не показал вида. Это уже было совсем подозрительно. Ее донял страх, и появилась мысль обратиться к милиционеру. Но тут как раз подали состав на Ярославль, и Аня увидела, что Тихон Дмитриевич совсем не собирается в него садиться. Он расположился со своей корзиной в глубине платформы, закрыл глаза, уткнулся носом в воротник плаща и дремлет. Объявление о посадке не всколыхнуло его.

Облегченно вздохнув, Аня забралась в вагон со своей поклажей и, пока поезд не отошел, не спускала тревожного и недоумевающего взгляда с уснувшего на перронной лавке Тихона Дмитриевича.

— Тыфу ты!..— сказала она почти вслух, задетая тем, что все-таки осталась без мужского внимания.— Ну и Тихон, с того света спихан!..

Совсем успокоившись, она рассудила, что этот Тихон просто сошел на «83-м километре», чтобы пересест в другой вагон. Может быть, с дружкой каким-нибудь договорился, может быть, контролера приметил. Как-никак, он скоротал

ей два часа пути, обижаться не приходилось. А то бы всю дорогу так и проплакала.

Но Аня тут же упрекнула себя за легкомыслие:

«Наболтала ему черт-те чего. Из-за какого-то дурака и про маму забыла...»

За окошком бежали, скакали темные кусты. Стекла начали потеть — к ночи еще холодало. Никогда расстояние в семьдесят пять верст не казалось ей таким длинным и тягостным. Она была от природы разговорчива и в потоке слов часто находила себе утешение. А тут вагон был почти пуст.

Дверь отворилась, и Аня вздрогнула. Вошел проводник. — С билетом едешь?

Анин вид внушал доверие, проводник на билет даже не посмотрел. Ушел, щелкнув дверью, а Аня опять вздрогнула. Ей становилось страшно.

«Как же я лесом-то пойду? Догонит кто-нибудь, так ведь со страху умрешь!..»

Под «кем-нибудь» она невольно предположила того же Тихона Дмитриевича. Она видела, что он остался на перроне в Александрове, и все-таки теперь ни за что не могла поручиться. Вспомнила, как сама звала его с собой, и себе же ужаснулась: «Вот ведь дура-то неумная!..»

Когда осталось ехать километра два, Аня достала из сумки резиновые сапожки и переобулась. Сапожки были такие же чистые, как и все на ней, новые. Сойдя с поезда, она несколько раз оглянулась по сторонам. У станции горели два ярких фонаря, а вокруг была одна сентябрьская сырая темень. Дорогу отыскать можно было только угадкой, небо было серо-черное, трава под ногами кочковатая и скользкая.

Со сноровкой бывшей сельской жительницы Аня взяла наперевес через плечо свои сумки, предварительно подколов английскими булавками полы плаща-болоньи, и быстренькими шажками направилась в темноту, все больше убеждаясь, что никакой Тихон Дмитриевич за ней не идет.

...В деревне не было уже ни одного огня. Дом покойницы матери стоял весь черный, загороженный высокими черемухами. Аня опасливо обошла знакомый с детства заборчик и постучала к соседке, к Клавдее.

Снимая в сенях грязные сапожки, она уже радовалась хотя бы тому, что благополучно дошла. Было всего начало двенадцатого, но для деревни это уже полная ночь: в десять часов отглядели телевизор и легли. Тикали ходики на стенке, и шуршали в потемках поздние, вялые мухи.

Клавдея согнала с кровати двух уснувших ребят, постелила им на полу, а на кровати, на перине, уложила Аню. Перина была глубокая, большая, нагретая детьми. В Москве у Ани была тахта-кровать, жесткая, как вагонная лавка. Она подумала, что может теперь увезти перину, оставшуюся после покойницы матери, и подушки тоже. Только не знала еще, куда днем эту перину прятать, чтобы не разрушить в комнате «стиль». А перину ей хотелось: сорокадвухлетнее пополневшее тело часто тянулось к покою.

...Да, перину-то можно было увезти. Но покоя, как Аня понимала, все равно не будет. Покрутишься с боку на бок, пока уснешь. И свет зажжешь среди ночи, потому что страшно: ведь одна осталась. Было за что обижаться на судьбу: за одно лето и муж бросил, и мать умерла. Ну, тот подлец бросил, так уж пропади он пропадом, — значит, не любил. А мать-то и жалела, и любила. Такая суровая была по виду женщина, необщительная, себе на уме, а все для дочери. Приехав на другой день после ее внезапной кончины, Аня нашла в комодке сберегательную книжку, из которой видно было, что все деньжонки, и пенсию свою, и те, что сама Аня матери понемножку высылала, целы и лежат на ее, Анино, имя. Что-то около полтысячи рублей...

Вспомнив про эти полтысячи, Аня тут же подумала о том, что если удастся продать дом и все остальное, то сумма будет очень порядочная. За гардероб с зеркалом могут дать в деревне рублей пятьдесят, за круглый стол — не меньше двадцатки. Та же Клавдея возьмет: у них пообедать сесть не за что.

«Господи, о чем я сейчас думаю, дура я несчастная!» — упрекнула себя Аня. Ей стало стыдно, словно кто-то мог подслушать ее мысли. Ведь всего неделю назад она рыдала на все кладбище: «Мамочка родная, самая разродная!.. Не отойду от твоей могилки, не троньте меня, не уводите от моей мамочки!..»

...Нет, не уснешь, хоть не только одну, три перины под бок подложи. Да еще мухи шуршат так противно, словно земля сухая в яму осыпается, как тогда на кладбище. Кажется, вовек этого шороха не забыть!

«Мамино пальто можно будет Симе Душкиной предложить...»

Аня опять спохватилась: «Господи, опять я про это. Пальто какое-то в голову лезет!.. — Она положила подушку под щеку холодной стороной. И вспомнила: — Что же это я Клавдее не сказала, что мясо у меня в сумке!.. Ведь у них кошки...»

Аня прислушалась, спокойно ли в сенях.
«Не засну, нипочем не засну до самого утра... Ужас какой! Еще часу небось лет...»

И все же наконец почувствовала, что засыпает. А кареглазый лихой Тихон Дмитриевич будто сказал ей на ухо:

— До свидания, Анна Александровна! Больше, смотри, не плачь.

2

Утром Аня поднялась рано, грустная и безмолвная, попила чаю у Клавдии. Пила и ловила себя на мысли, что долго не промолчит, что хочется ей обо всем подробно с Клавдеей поговорить. Покойная мать, бывало, как только приедешь, через порог не даст переступить, уже лезет с расспросами:

— Ну, а он-то што?.. А ты ему што?.. Ну и удумали в две головы!.. А что бы с матерью-то пересоветоваться? Глотка бы не усохла.

Погудеть для нее — это было первое дело. Тебя же и обругает, но тебя же и успокоит. А Клавдея была баба застенчивая, в чужие дела никогда не лезла, да и некогда ей было чужие дела разбирать: своих забот хватало. Вот и сейчас — пора загребать жар в печи, из чугуна суп убегает, в сенях визжит и крутится в загородке поросенок Борька. И надо еще развести углевой уют, чтобы подглядить ребятам рубашки и пионерские галстуки. Электрического уюта Клавдея из экономии не держала.

— Не припалить бы ненароком, — озабоченно бормотала она, водя тяжелым утюгом по красному, запачканному кое-где чернилами галстуку. — Шелк-то теперь все искусственной...

Отправив ребят в школу, Клавдея проводила Аню в оставшийся ей от матери дом. Сняли большой замок. В сенях висели собранные матерью еще в день смерти лесные ягоды. Заплесневели, покрылись белой тиной огурцы в большой кадке. В доме было сыро, с печи пахло луком. Мать его там рассыпала сушить, но печь уже девятый день стояла нетопленая, и лук начал портиться.

В первую минуту Аня совсем растерялась и села, не зная, с чего начать, за что приниматься.

— Чуркинский дачник спрашивал давеча, не продашь ли какую икону, — сообщила Клавдея. — Он еще у матери у твоей все примерялся купить.

— Еще чего! — рассердилась Аня. — Нахальство какое!

Это же память. Ей, может быть, цены нет, а он сунет какую-нибудь пятерку!..

В этом самом доме Аня, точнее сказать, Нюра, Нюша, родилась и прожила до семнадцати лет. Потом дважды в году, среди зимы и к осени, на Иоакима и Анну, когда обе они с матерью были именинницы, она приезжала сюда гостить — от Москвы было неполных двести верст. В этом доме она знала каждую наклеенную на стенку картинку, каждое пятно на обоях, которые они с матерью так и не собрались переклеить. Все сейчас тут было на своем месте, но Аня ничего не узнавала: не было самой мамы — все стало незнакомым.

— Руки ни на что не налегают, — грустно сказала Аня.

Потом они с Клавдеей все-таки принялись хозяйничать. Одна пошла по воду, другая за дровами. В огороде не выкопанная еще картошка вся усыпана была мелкой желтой антоновкой. Теми самыми яблоками, за которыми в Москве стоят в очереди и платят по сорок копеек за кило. А тут их не один пуд. Но Ане сейчас было не до этих яблок.

Она затопила плиту, потом, немножко обвыкшись, отпустила Клавдею, у которой своих дел было полно. Уходя, та попросила не выбрасывать селедочные головки — она поросенку сварит.

Аня отложила эти головки, потом хотела крутить котлеты из привезенного мяса, но не нашла мясорубки, которая, она точно знала, у матери в хозяйстве была.

«Неужели Клавдея унесла? — подумала Аня, заподозрив тихую свою соседку, потому что только ей и оставила ключ от дома. — Да что же это за люди такие!..»

Не нашла она и капронового сита, чтобы протереть ягоды. Не нашла большого куска новой марли, который сама недавно привезла матери и в который та откидывала творог. И сердце у Ани так гневно задрожало, что она сразу же решила никому из деревенских ничего не дарить на память из материнского достояния.

Но как бы то ни было, готовить поминальный обед нужно было. Аня сварила суп из венгерских пакетов, зажарила мясо, сделала сладкое и пирог на дрожжах. Поставила на стол бутылку портвейна, бутылку «московской» за два семьдесят семь. В день похорон она угощения организовать не смогла: нервы не выдерживали, голова шла кругом, и нужно было сразу возвращаться в Москву, чтобы оформить краткосрочный отпуск. Теперь Аня хотела убить двух зайцев: помянуть, как положено, мать, не обидеть ее память, и оказать уважение своим землякам. То ли продается этот дом, то

ли нет, так надо людей как-то расположить. Может быть, кто-то и приглядит за подворьем, а то ведь всё по доскам растащить могут.

«На двадцать с лишком рублей только продуктов привезла да на вино потратилась,— сказала сама себе Аня.— Хватит им!..»

Но когда она пошла за «ними», то есть за своими деревенскими, чтобы пришли помянуть, то никто, кроме двух старушек, поначалу идти не хотел. Все ссылались на неотложные дела. Даже Клавдея как будто почувствовала что-то в настроении Ани, стала отговариваться тем, что ей на ферму нужно и что без нее дети уроки не поделают.

Сама же Аня поймала себя на том, что когда пришла приглашать Клавдею, то сразу же окинула глазами ее кухню, но ни мясорубки, ни сита не увидела. Марля на шестке висела тоже как будто бы не похожая, реденькая, желтая.

Клавдея все-таки на поминки пришла, но сидела как-то принужденно и молчала. Никто почти ничего не кушал. И Аня, привыкшая считать, что в деревне едят — как за себя кидают, была огорчена и обижена: тащила сюда все, старалась, надрывалась.

Она угощала и так и сяк, потом начала плакать. Слезы все и спасли. Настроение переменялось. Сперва прослезилась Клавдея, самая ближняя соседка покойницы, за ней остальные. Со слезами да с воспоминаниями и поели кое-что. Но Аня чувствовала, что жалеют не покойницу, а сочувствуют ей, Ане, в ее горе. Для нее не секрет было, что мать в деревне не больно любила. Аня еще девочкой была — мать всех прочь гнала со своего крыльца, как будто могли приступки просидеть.

— Вон бревна-ти свалены у пожарки. На них и сидите, а тут вам не клуб.

Отгоняла она молодежь, но потом стали обходить дом и ее же сверстники. Садились где-нибудь напротив, пусть крылечко было тут и ветхое, да дочиста вымытое. В доброхотовскую сторону и не глядели.

— С того боку и солнышко не светит.

Но об умерших плохо не говорят. Тем более когда родная дочь сидит рядом, плачет, переживает.

— Хозяйка была,— сказал кто-то уважительно о покойнице.

Аня вытерла слезы, отогнала прежние нехорошие мысли и каждому, кто явился на поминки, решила дать что-нибудь в память.

Пятилетней Клавдеинной девочке, которая пришла вместе с матерью, дала керамическую фигурку и пластмассовую коробку под нитки. Самой Клавдее — эмалированное ведро и совсем еще хорошую дорожку на пол.

— Пройдешь по ней — вспомни мою маму!

Клавдея в долгу не осталась, вечером пришла помогать Ане копать картошку. Аня копала в старых шерстяных перчатках, Клавдея — голыми руками.

— Ой, да ну ее, эту картошку! — сказала Аня и взялась за поясницу. — Тут ее и за неделю не выкопаешь.

— Выкопаем, — заверила Клавдея, поддевая куст лопатой и отрясая в борозду. — Как же это бросить, не выкопать? Баба Нюха старалась, садила.

Аня не любила, когда мать называли бабой Нюхой. Но сейчас она простила Клавдее это прозвище, оброненное невзначай. Мать-покойница выговаривала не чисто букву «ша», получалось не «Нюша», а «Нюха». Она и мужа своего, Аниного отца, звала Хуркой вместо Шурки.

Копали Аня с Клавдеей и на другой день, нарыли что-то шесть мешков. Аня без привычки замучалась, хотя и была женщиной не из слабых: за аппаратом в карамельном цехе стояла каждый день по восемь часов — и хоть бы что. Но картошка не карамель, ее и лопатой поддень, и куст отряси, и куль оттащи. А главное — раздражали грязь да пыль, неудобными казались ватник и тяжелые сапоги.

— Сладкое-то вы там свободно едите? — спросила Клавдея. — Конфеты-то, чай, в любое время?

— Да и смотреть не хочется.

Эти слова что-то задели в Клавдее. Она воткнула лопату в землю и стала рассказывать, как она девчонкой в военные годы работала на пекарне, видела, как другие не только муку, но и сахар ташат, а сама до того робка была, что крошки взять не смела.

— Формы мажу, а нет чтобы когда маслица отлить хоть с ложку... Раз зимой забоялась одна ночью на пекарню идти, захожу за Наташкой Пестовой, а они сидят, ужинают и прямо из бидончика масло в картошку-то льют!.. Испугались, садят меня тоже картошку есть, а я как заплачу!..

Аня не слушала и даже досадовала: и чего это Клавдея бормочет? Историю про масло и про сахарный песок она уже слышала от нее не раз. Пора бы уж и забыть. Неприятно это было слушать и потому, что сама Аня в свои детские годы при отце и матери лиха не видела. Отец был путевым обходчиком, приторговывал шпалами, обкашивал все участки

вдоль линии, держали двух коров. И мать была расчетлива: крынку сыворотки и то никому даром не нальет. Потом отец кладовщиком в совхоз устроился, а что уж дальше было, Ане тоже вспоминать не хотелось.

...Солнце садилось. Ане перед Клавдеей неудобно было, а то бы она уже давно бросила лопату. «Вот разошлась нехстати!..» — досадовала она на свою ретивую помощницу. И вдруг услышала, как та кого-то окликнула:

— Эй, дядечка, картошку, что ли, покупаешь? Иди, продадим.

Аня оглянулась и вздрогнула: за изгородью стоял, смотрел на нее своими карими, запомнившимися ей глазами и улыбался Тихон Дмитриевич.

— Как же это вы меня разыскали? — спросила Аня, когда они уже сидели в доме за столом. — Далеко все-таки...

— Для бешеной собаки сто верст не крюк. Вы же приглашали.

— Да я же не всерьез... Что же вы чай-то не пьете?

Аня уже немножко кокетничала. Она была польщена: все-таки он ее запомнил, явился.

Тихон Дмитриевич на этот раз одет был вполне прилично, в хорошем пиджаке, в начищенных полуботинках. Аня сообразила, что он успел уже дома побывать за эти двое суток. Наверное, одинокий, а то разве жена пустила бы туда-сюда кататься? И побрит, и подстрижен был хорошо, значит, побывал и в парикмахерской. И казался гораздо моложе, чем Аня при первой встрече предположила.

Тихон словно бы не замечал, какое он производит на нее впечатление.

— По грибы-то ходишь, Анна Александровна?

— Какие мне сейчас грибы, что вы!..

— А может быть, пойдем завтра?

«Ишь ты, завтра! Значит, ночевать у меня собирается, — подумала Аня. — Пускай на мосту¹ ложится, а я в комнате запрусь».

— Зачем мне грибы-то? — сказала она. — Солить не во что, держать в Москве в квартире негде. А вы, наверное, продаете?

— Да ни в коем случае.

«И то, пойти, что ли, с ним?..» — уже прикидывала Аня.

¹ Мост — сени в срубе (яросл.).

В конце сентября темнеет рано. Правда, вечер был славный, не слишком туманный и сырой. Тихон Дмитриевич снял чистый пиджак и помог Ане принести с огорода кули с картошкой.

«Что Клавдея-то про меня подумает? — опустив глаза, думала Аня. — Скажет: прямо после поминок...»

Она постелила Тихону Дмитриевичу в сенях, где на старой деревянной кровати лежал матрац, набитый свежей овсяной соломой — еще мать припасла.

— Во сколько же поднимать вас завтра? — спросила Аня.

— Да я сам тебя подниму, — сказал Тихон, насторожив Аню таким ответом.

Она нарочно громко скребыхнула крюком, чтобы он слышал, что она от него заперлась. Потом ей показалось, что он вышел из сеней на улицу и бродит под самыми окнами. У нее еще горел свет, она не спеша раздевалась.

«А ведь ему меня видно... Ладно, пусть поглядит».

Сделав так, чтобы он все-таки не очень нагляделся, она погасила свет и легла. Но в потемках ей сразу стало как-то страшно.

«Ведь не знаю я его совсем. Сорвет крючок на двери да и пристукнет меня. Или деньги потребует. И ничего не сделаешь, все отдашь, лишь бы живую оставил... Хоть бы догадалась я, идиотка, топор с моста убрать!..»

Пока Аня мучилась такими страхами и обзывала себя то идиоткой, то дурой, Тихон Дмитриевич ушел из-под ее окон, вернулся в сени и лег, вызвав слабое шуршание в соломе и скрип деревянной постели. И стало совсем тихо. Никто к Ане не ломился, никто ни на ее деньги, ни на ее честь не покушался. Она пролежала часа два с раскрытыми глазами, пытаясь расценить события.

Сегодня она этого Тихона рассмотрела получше. Мужик видный, ничего не скажешь. И не алкоголик, а то обязательно заговорил бы сразу насчет бутылки. Держится вроде бы совсем прилично. Может быть, зря она про него всякие темные вещи думает: просто она его как женщина заинтересовала.

«Тогда чего же он, дурак, сейчас-то не постучит?.. Бойт-ся, значит. Тогда уж это тоже не мужик. Я бы не пустила, но все-таки знала бы...»

Тихон так и не постучал. Аня уснула, тревожная и раздосадованная. Утром, когда она очнулась, в сенях по-прежнему было тихо.

«Спит! А говорил, что разбудит...»

Она быстро оделась и откинула крючок на двери. Тихон в сенях уже не было. Она увидела его в огороде: он докапывал картошку, которую они с Клавдеей вчера не одолели. А ее, значит, пожалел будить... Тихон был в нижней рубашке, с раскрытой грудью, а на дворе было еще холодно и росисто.

— Тихон Дмитриевич, да что вы это?.. — почти с нежностью спросила Аня. — Зачем вы?

Потом они пили чай. Самовар Аня поставила поленилась, согрела на плитке чайник. Тихон пришел с огорода и мыл руки под железным рукомойником. Аня смотрела ему в спину и думала: «Как муж все равно... Интересно!»

Перед тем, как отправиться в лес, Аня села к зеркалу и долго наводила красоту: чернила ресницы, клала тень на веки, укрепляла шпильками пучок-шишку на голове.

— Тебе лучше коса пойдет, — вдруг сказал Тихон. — И бросала бы под лисицу-то краситься.

Аня только усмехнулась.

— Может, не пойдем в лес? — спросила она, поворачиваясь к Тихону подкрашенным лицом. — Сыро сейчас там. Да и грибов-то, наверное, уже нету теперь.

Ей еще проще было бы сослаться на то, что у нее других дел полно. Но Аня сейчас о делах думала меньше всего. Просто для того, чтобы отправиться в лес, нужно было обуть сапоги, повязывать платком, надевать ватник или какое-нибудь другое старое пальтишко. А ей хотелось быть красивой и модной, не какой-нибудь деревенской Матреной.

— Разве что так пойдем, погуляем, берегом пройдемся.

Аня даже корзинки под грибы не взяла, а Тихону дала старое ягодное лукошко, которое, если останется порожнее, не жалко и бросить в лесу.

Она повела его полем, между скошенных овсов. По колкой стерне прохаживались черные галки, склевывали оброненное зерно. Покачивались по закрайкам поздние пахучие ромашки. Роса на их мелких жестких цветах уже обсохла, сырыми оставались только стрелчатые листья — от них-то и пахло сладковатой осенью, пустынностью поля.

— Как спалось-то? — спросила Аня.

Тихон ответил не сразу.

— Я на сене люблю спать, чтобы небо видно было. Летом накосить, чтобы с марьянником, с колокольчиками!..

— У нас тут частным лицам косить не дают, — прозаически заметила Аня.

— А я бы и спрашивать не стал. Мне ведь не тонну надо.

Им попалась навстречу Клавдея — уже успела побывать с бельем на речке.

— Куда это вы собрались? Глядите, нынче Сдвижение¹, в лесу змеи сползаются.

— Серьезно? — испуганно, будто в первый раз это услышала, спросила Аня.

Тихон сделал успокаивающий жест: ерунда, мол. И они пошли дальше, провожаемые удивленным взглядом Клавдея.

...В лесу было действительно сыро и, несмотря на конец сентября, очень еще зелено и густо. Дождливая и безморозная осень не давала лесу выцветиться, пожелтеть. Только косматая трава обрыжела и огрубела. В сосняке толсто лежали сухие иглы, земля под ними прела и выталкивала из себя грибные семьи: масляки, лисички, сыроежки всех цветов — белые, оливковые, синие, красные...

— Да не бери ты их,— сказала Аня.— Подумаешь, грибы!..

Она перешла на «ты» и очень волновалась. А Тихон как будто этого совсем не замечал, занялся грибами. Палкой он разрыл хвойный ворох и нашел под ним два маленьких, сросшихся парой белых грибка-карапузика в полмизинца высотой.

— Вот вы где, шельмецы!..

Потом его внимание привлекла сытая птичка с толстым сердитым носом. Она клюнула красную ягоду на кусте шиповника и тихо, с шипом, присвистнула. Сразу же рядом оказалась вторая птица, такая же сытенка, но менее заметная пером.

— Видишь, нашел пищу и дамочку пригласил! — показал Ане Тихон.

— Нужны тебе воробьи эти!

— Хороша! Снегирька от воробьев отличить не можешь.

Он набрал грудку красной брусники и хотел положить ей в рот.

— Да я не люблю ее,— сказала Аня.— Все губы свяжет...

— А что же ты вообще-то любишь? — спросил Тихон, прищурив свои карие, опасные глаза.— Тебе тогда и в деревню ездить нечего. Ходи на Неглинную, в Пассаж.

Они поглядели друг другу в глаза. «Чего это он придумывает? Как будто издевается...»

Аня знала все эти лесные места как свои пять пальцев и заблудиться никак не могла. Но страшно боялась вдруг

¹ Воздвижение (27 сентября).

остаться среди леса одна. Они, бывало, с покойной матерью ходили всегда след в след, перскликались. А Тихон, как нарочно, уходил от Ани, скрывался за кустами. И не сразу откликался.

Болонья на Ане вся промокла, с полы вода натекала в резиновый сапожок. Она дрожала и уже мучалась.

— Тихон!.. — почти с отчаянием, громко закричала она.

Он вышел с той стороны, откуда она его не ожидала. Оказывается, он был тут, совсем близко. Праздничный пиджак и ботинки его были тоже совершенно мокры — не пожалел.

— Чего ты испугалась? — спросил он очень ласково, заметив бледность и тревогу у нее на лице.

— Я не испугалась, Тихон, — тихо сказала Аня. — Ты не уходи от меня...

Он понял. Поставил на траву свое лукошко и подошел к ней.

Домой они все-таки несли грибы. Их набрал Тихон, десятка два не крупных, только утром вылезших из земли белых. Он подстелил под них травки и всю дорогу любовался на свое лукошко, перекаладывал в нем эти грибы, чтобы было покрасивее.

«Чему он радуется?.. — с недоумением думала Аня. — Рад, что женщину нашел по себе, или грибы эти ему все на свете заслоняют?..»

То ли вспыхнувшие чувства помешали, то ли она совсем разучилась искать, но сегодня Аня так и не увидела ни одного ценного гриба и очень удивлялась, как это их видит ее спутник.

— Гриб любит, когда ему поклонись, — объяснил Тихон. — А места, верно, у вас хорошие. Не наврала ты мне, рыженькая моя!

Он обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Она хотела подставить губы, но он уже шагнул дальше. Аня шла за ним и думала: что же такое происходит? Как этот человек за какой-нибудь неполный день сумел взять над ней такую власть? Она уже сегодня пообещала ему, что дома своего в деревне не продаст: глядишь, и еще когда-нибудь соберутся сюда. Ей пришло в голову, что ее дом, может быть, и есть та приманка, на которую клюнет этот красивый, ласковый и в то же время опасный мужик. Все ему тут так нравится! Пиджак вымочил, ботинки испортил, а идет радуется, как мальчишка. Или уж правда тут у них так красиво, богато, хорошо? Что же она раньше-то этого не замечала?..

— О чем задумалась? — спросил Тихон.

— Да так... И сама не знаю.

— Ну, подумай, подумай. Это никогда не мешает.

«А ведь он вроде смеется?..» — уже тревожно прикидывала Аня. Она настолько была этим Тихоном загипнотизирована, что, ничего не зная о нем самом, про себя почти все ему выложила. Ей думалось, что все равно, если будут они вместе, он ее обо всем строго расспросит. А ей хотелось эти расспросы опередить, выглядеть искренней и доверчивой. Тихон слушал ее внимательно, как будто хотел запомнить каждое слово. Но потом спросил довольно равнодушно:

— А чего это ты передо мной все исповедуешься? Я ведь тебе не поп.

— Да чтобы ты не подумал, Тиша, что я очень женщина плохая. Бывают гораздо похуже.

— А я и не думаю. Наверное, бывают. Ты у меня сладкая, ванильная! Вроде торта! — И Тихон похлопал ее по мокрой голубой болонье.

Аня невольно понюхала воротничок отсыревшей, помятой блузки. Привычка мешала ей улавливать свой сладкий запах. Сейчас она слышала только запах сырых хвойных иголок, налипших на ее плащ и засыпавшихся за шею.

«Никак его не поймешь. Что шутит все, так это еще ладно. А вот, может быть, не только жена у него есть, но и детей косяк. Раньше нужно было спрашивать, а теперь уж все равно...»

...Когда они открыли избу, Аня села, не имея даже сил снять с ног грязные сапожки. Тихон нагнулся и разул ее.

— Здорово ты промокла-то, — сказал он. — Затопим, может быть? Я дров принесу.

— Да погоди!.. — прошептала Аня, тронутая его заботой, теплом его рук. — Погоди, Тиша!..

Он руку освободил и спокойно заметил:

— Хватит пока. Разгулялась, рыженькая!..

Аня справилась с собой, встала, стряхнула мокрую болонью. А Тихон, уже как хозяин, принес из сарая дров и растопил плиту. Приготовил сковороду и сел на порог чистить грибы.

Он провел в этом доме считанные часы, но почему-то точно определил, где что стоит, где что лежит. Сразу нашел соль, бутылку с маслом, взял с печи две луковицы и не плача их очистил.

Когда грибы начали ужариваться, он положил нож и надел свой пиджак.

— Погляди тут, я сейчас приду.

Аня видела в окошко, что Тихон направился к магазину. Оказывается, он уже знал, где и магазин. Наверное, еще вчера разведку произвел. Ходил небось по деревне и про нее спрашивал. Теперь все знают... Но тот ли это человек, которому она может вполне довериться, она, такая сейчас растерянная, ослепевшая?

Тихон вернулся из магазина с бутылкой «кубанской». Достал стаканчики, налил себе и Ане, положил ей на тарелку жареных грибов.

— Ну, Анна Александровна, за все за хорошее!

У Ани чуть не брызнули слезы.

— Будет ли оно, хорошее-то?

На это Тихон ответил:

— Хорошее все зависит от нас самих.

«Кубанскую» они распили поровну: Ане хотелось разогреться, осмелеть и помолодеть. И она хитрила: не хотела, чтобы Тихон выпил лишнее, зачем он ей нужен пьяный? Сама она, достаточно захмелев, все-таки соображала четко: если сейчас он побежит «добавлять», значит, трудно будет с ним и уж сегодня, во всяком случае, ничего хорошего не получится.

Но Тихон «добавлять» не пошел. Он сам убрал посуду со стола, потом сказал:

— Ну, мне на поезд пора. Спасибо.

Провожать его Аня не пошла, да он ее и не звал. Она просидела почти до сумерек одна. Потом в дверь постучалась Клавдея. В руках у нее была мясорубка.

— Емельяныч давеча утром занес: баушка твоя ножи направлять отдавала.

Аня молчала и ждала, что Клавдея спросит про утреннюю прогулку. Но Клавдея была баба скромная. Сделала вид, что и не заметила порожней «кубанской» под лавочкой. Все еще почитая себя должницей за дорожку и эмалированное ведро, подаренное Аней, предложила:

— Давай картошку-то в подполье опустим. Когда еще продается.

Аня покачала головой: не до картошки, мол. Тогда Клавдея встряса порожние кули и разложила их по сеним, чтобы сохли. Провожая ее на крыльцо, Аня вдруг попросила:

— Клаша, ты узнай при случае... Сот за шесть я бы все-таки дом отдала. Куда мне одной?.. Я ведь работаю, квартира у меня.

«Неужели ни о чем не догадывается?.. — думала она,

присматриваясь к Клавдее. — Ведь на мне прямо написано, что я с мужиком была... А дом продам. Нужна я ему, Тихону этому, так и без дома сойду».

3

Лежа одна в потемках избы, Аня постаралась вспомнить, что же она сегодня Тихону в пылу доверия про себя выговорила. Честно призналась, что семейная жизнь у нее сложилась не гладко. Кое-что она, понятно, утаила, кое-что прибавила в свою пользу. Может быть, Тихон и не очень поверил. А может, ему и вообще-то наплевать?..

Аня лежала в избе, где пахло пылью от картофельных кулей, попорченным луком. И немного еще табачным дымом — это осталось после Тихона. Лежала и все вспоминала...

Из деревни она в первый раз уехала в сорок седьмом году. Мать не очень охотно отпускала ее от себя, совсем молоденькую и красивенькую, — опасалась. Но был и резон: девчонка росла балованная, еле-еле из шестого в седьмой перевалила. Пришлось бы в поле овес вязать или на лесозаготовку — волком бы взывала, потому что без привычки. В городе все-таки работа полегче. А обувь-одеть на первый случай есть что: одна дочь у матери.

Аня приехала к родне в старое Кунцево, с большими трудами прописалась и устроилась там же, в Кунцеве, на трикотажную фабрику мотальщицей. Как раз кончились карточки, можно было купить сколько хочешь черного и белого хлеба. Но черного Аня и дома вдоволь видела, а тут, дорвавшись до подмосковных булок и саек, не знала удержу. Хлеб ей шел не в толщину, а в силу и в румянец. Девчонка еще больше похорошела и теперь даже в зеркало редко заглядывала — так была уверена в себе. Из Нюрки она быстро сделалась Аней и захороводила всех ребят в округе. Ухаживали за ней и женатые, и пожилые, рабочие и мастера, влюбился даже механик. Но Анино поведение строго контролировалось кунцевской родней, и хотя ее голова кругом шла от успехов, но она твердо продержалась до совершеннолетия. Работала Аня старательно, зарабатывала для девчонки много, накупила себе обнов и, боясь, чтобы их в общежитии не расхитили, держала у тетки. Туда же и бегала каждый день после смены, чтобы переодеться для кино или концерта.

— Главное, от солдат держись подальше, — предупреждала тетка. — С солдата потом не спросишь.

В этом Аня с теткой согласиться не могла: как раз солдаты и были самыми приличными ухажерами. У них, правда, не было денег, но уж если назначить солдату встречу на восемь вечера, то без пяти он будет стоять где-нибудь под часами, ковырять асфальт своим кирзовым сапогом и краснеть в волнении от ожидания. Для солдата встреча с девочкой — праздник, а гражданский парень опоздает на полчаса, да еще и ломается: «Зря я на футбол не пошел!..»

И все-таки не солдату суждено было стать на Анином жизненном пути.

Весной сорок девятого года она познакомилась со студентом-медиком Мариком Шубкиным. У его родителей была в Кунцеве большая старая дача с полуразрушенной террасой и беседкой в саду. Сам Шубкин, профессор-терапевт, уже ходил с палочкой, супруга его была помоложе, но все равно показала Ане старухой. Марик был их единственное запоздалое дитя.

Знакомство произошло как в песне — у колодца. В неистовности была уличная водоразборная колонка, и соседи с ведрами устремились в сад к Шубкиным, где сохранился единственный, уже очень запущенный колодец. Туда же тетка послала за водой и Аню.

— Можно у вас ведерочко набрать? — спросила Аня у студента, который сидел в ветхой беседке с учебником на коленях. — А то у нас ни водиночки в доме.

Эта «водиночка», сказанная через приятное «о», выдала в Ане уроженку северных мест. Она тогда еще заметно окала, потом в себе это совершенно преодолела, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не узнал, что она из глухой деревни. Но сейчас именно эта «водиночка» чем-то пленила заучившегося студента. Он положил свою книжку и подошел, чтобы помочь Ане управиться с цепью и воротком.

— Что вы, я и сама достану, — бойко сказала Аня. — А то вы еще обольетесь.

У нее были такие голубые глаза и заманчивые яркие щеки, что Марик и сам покраснел. Аня налила ведра и пошла. На спине у нее закачались две ржаные косички с васильковыми лентами в хвостах. Она уже на свои волосы покушалась, и только парикмахерша отговорила ее, сказав, что косы теперь опять в моде, что их покупают за большие деньги и приплетают всеми правдами и неправдами к остриженным волосам.

Остаток дня студент занимался рассеянно, а позже сам признался Ане, что получил первую двойку по гистологии.

Колонку на улице починили не так скоро, и Аня опять появилась с ведрами возле шубкинского колодца. Зацвела белая сирень. На Ане было светлое платье «японка» с подкладными плечами, которое она, таская воду, сумела не облить и не запачкать.

— Как вас зовут? — спросил Марик.

— На букву «А», — сказала Аня.

Во время этого многозначительного разговора на террасу вышла хозяйка дачи, мать Марика, пожилая женщина с седыми усиками и маленькими ручками. Она увидела розово-щековую девицу в светлой «японке», но ровно ничего не заподозрила и сказала сочувственно:

— Боже мой, все еще не починили колонку!

Аня еще не догадывалась о том, что произвела известное впечатление на студента. В этот вечер у нее назначена была встреча совсем с другим кавалером. В парке ее ждал «слесаренок» Валька. Он скормил ей три порции мороженого, но после этого повел себя слишком смело. Аня напугалась и обиделась. Когда танцевали, Валька тоже хамил и нарочно наступал ей на ноги. И не так Ане было больно, как она жалела испачканные новые босоножки. Когда сидели на скамейке, Валька продолжал валять дурака, так что на них два оглянулся дежуривший в парке милиционер. В конце концов Аня даже заплакала, плюнула Вальке на шевитовые брюки и ушла домой.

— Кто это тебе сделал? — спросил на другой день Марик, увидев у Ани выше локтя синяк, след «нежности» Вальки-слесаренка.

— Да так, дурак один, — сказала Аня. И со значением поглядела на студента, давая этим понять ему, что с тем «дураком» все покончено.

В отличие от здоровяка Вальки, Марик был невысок, худ, носат и очень рыж. Короткие волосы его были так курчавы, что Аня вполне могла предположить, будто он на ночь накручивает их на бумажки. Через неделю Марик сдал последний экзамен, и они с Аней договорились встретиться на Белорусском вокзале. Они гуляли по улице Горького, потом Марик повел Аню в кафе. Впервые она ела мороженое за столиком, из вазочки, не рискуя закапать платье. Марик пытался ее заинтересовать рассказом о шахматных партиях и о том, что его товарищ однажды выиграл у Смыслова. А Аня думала о том, почему все на них поглядывают: потому ли, что она такая интересная, или потому, что Марик такой рыжий?

Они еще несколько раз встречались на вокзале и гуляли

по улице Горького. Но однажды Марик свернул в Благовещенский переулок и привел Аню в свою московскую квартиру. Аня очутилась в большой комнате с очень высоким, давно не беленым потолком. И эта, и другие две такие же комнаты были заставлены тяжелой, массивной мебелью, целый угол занимали часы с огромным маятником и гириями, в беспорядке лежали книги, бумаги, футляры с чем-то тяжелым, пахло невыветрившимся лекарством, пылью и немывыми полами.

Бледный Марик попробовал говорить насчет любви. Аня молчала. Он спросил, можно ли ее поцеловать. Она не отодвинулась.

В ней зародилось волнение, но не от Марикова поцелуя, а от необычных слов, от необычного обращения. Оказывается, были на свете слова, которых она ни от Вальки, ни от Кольки, ни от Мишки никогда не слышала. Оказалось, что «любовь» может быть без всяких откровенных призывов, без хохотка и без нахальства. Есть для этого дела какие-то тихие, приятные замашки, которых ни Мишка, ни Валька, ни Колька не знали, а этот рыжий невзрачный студентик знал.

И все-таки Аня никак не «загоралась». Пока Марик ее неуверенно ласкал, она искоса поглядывала на обстановку комнаты, такую для нее чужую и непривычную: набитую пылью резьбу на шкафу и буфете, исцарапанную, облупленную крышку пианино, дорогую, но очень тусклую посуду, пятна на узорном паркете.

— У вас что же, никто и не прибирается? — спросила она.

Студент думал только о любви. Не видя никакого ответного чувства с ее стороны, он робко осведомился:

— Почему ты меня отталкиваешь?..

— А где я тебя отталкиваю? — спокойно заметила Аня. — Я сижу и сижу.

Сраженный ее ответом, Марик не нашел, что сказать еще, и положил свою рыжую голову на ее теплые коленки.

«Ну как он сейчас заплачет? — подумала не лишенная жалости Аня. — Ну и чудной! — Она почувствовала, что грудь у Марика дрожит. — Вот пожалей, поддайся, а потом ребенок будет...»

Но, вопреки собственной же логике, она не встала и не ушла из этой чужой, не нравившейся ей, запущенной шубкинской квартиры.

Анина родня недоглядела, и «любовь» длилась до конца

дачного сезона. Почти каждый вечер в квартире в Благовещенском переулке ненадолго зажигался и тут же гас свет. Потом поздняя электричка увозила Аню и Марика обратно в Кунцево.

Но если бы кто мог наблюдать эту пару, сидящую в почти пустом и плохо освещенном вагоне, тот понял бы, что это не влюбленные.

Аня сидела, отвернувшись к окну, чтобы не видеть студента, которого не любила и больше не хотела. Марик большим усилием воли заставлял себя что-то ей говорить. Влечение его еще не прошло, но Аня ни в чем не подогрела его нежность, не стала ему подругой, и Марик уже боялся ее: она стала с ним груба и самого его вызывала на грубость. Хотя это было не в ее интересах: случилось то, что в те годы поправить было крайне трудно.

— Но я же женюсь,— виновато сказал Марик.

— Нужен ты!..— шепнула Аня и заплакала.

Она и мысли не допускала, что сможет признаться во всем своей родне. Марик «раскололся» первым. Но рискнул сказать родителям только то, что он любит одну девушку...

— Теперь я понимаю, почему ты получил столько двоек,— сказала Раиса Захаровна Шубкина.

Несколькими днями позже Марик признался, что будет и ребенок.

— Не вы первые, не вы последние,— сказала лишенная предрассудков Шубкина.— На каком курсе эта девица?

— Она ни на каком...— И Марику пришлось рассказать все.

Мужество едва не покинуло Раису Захаровну. Она ушла в другую комнату, где старик Шубкин попробовал ее успокоить:

— В конце концов, девочке можно дать образование.

— Не говори глупостей! — уже трагически сказала жена.— Тебе скоро семьдесят лет. Кто ее будет учить, когда мы будем лежать в могиле? И еще надо, чтобы она хотела учиться.

...Аня действительно учиться не собиралась. Пока ей хватало тех шести классов, которые она окончила в деревне. Кино сейчас было звуковое, надписей читать нужды не было. К тому же Аня была достаточно бойка, схватчива, память на нужные слова и обороты у нее была отличная, так что никто бы и не догадался, что она не умеет правильно написать «до свидания» и на письмах к матери помечает: «Получить Доброхотовой Аны Платоновны».

Анина тетка узнала обо всем последняя. Минувя калитку — она перелезла на участок Шубкиных через забор и устроила скандал. Шубкины попросили ее успокоиться и сказали, что они ничего не имеют против, если только Аня любит их сына.

— Чего про любовь толковать, когда живот скоро на нос полезет, — уже спокойнее сказала Анина тетка. — Главное дело, вы ее пропишите.

Появилась в Кунцеве и Анина мать. В те годы тоже еще красивая и статная даже в толстом ватном пиджаке и в валенках с калошами.

— Что же это студент ваш устроил? — строго спросила она и скорбно покачала головой. — Девухе судьбу испортил. Разве хорошо?

Шубкины согласились: конечно, нехорошо.

— Нюрка ведь с ним жить не хочет, — продолжала мать. — Помогите ей на ребенка — и бог с вами. Не прокурору же на вас жалиться?

Шубкины, пораженные, переглянулись. Аня стояла тут же и старалась на них не смотреть.

Вчера она действительно призналась матери, что не хочет идти в дом к Шубкиным: «жених» с товарищем в шахматы играет, про марки какие-то толкует. В квартире аптечным чем-то пахнет, а от этого запаха ей вовсе тошно: что ни съест, все обратно.

— Да это, чай, пройдет, — заметила мать. — У всех так.

— Ничего не пройдет. Комнаты черные, коридор страшный. Одних зонтиков валяется штук восемь, а выйти не с чем — все сломанные. Едят все тертое, варят на пару, без соли. Старик больных на дом приводит, а «сама» анализы ему какие-то на стеклах делает. Прямо видеть не могу!.. Целый день руки моют, а грязи — через порог не перелезешь.

Анина мать пожала плечами.

— Так ведь грязь-то соскрести можно, дура! Пропишут тебя, площадь будет. А там разберешься со студентом со своим. Старик-то вроде вовсе смирные, чай, не будут тебя в горб-то колотить.

Но Аня плакала и не соглашалась.

— Они будут с книжками да с трубками со своими сидеть, а я чего между ними делать стану? К ним и на свадьбу-то никто не пойдет... А зачем я без свадьбы?

Про жениха Аня совсем не поминала, и мать, знававшая толк в любви, поняла, что девке этот рыжий студентик совсем ни к чему. Предпочитает лучше одна с ребенком остаться.

— Поняла я тебя насквозь,— с печалью заключила мать.— Ты хочешь родить да мне спихнуть. Это ты, милка моя, ловко придумала!..

Решено было, что Аня до декретного отпуска доработает на трикотажной фабрике, потом уедет к матери в деревню. Но, прожив около двух лет возле самой столицы и отведав всего того, чем она была богата, уезжать Аня отсюда не захотела. Она была не первая и не последняя, кто родил и жил без мужа. Никого с ребенком из общежития на улицу не выгоняли, а даже наоборот, иногда давали отдельную комнату. У фабрики были свои детские ясли. Правда, носить в них детей было далеко, чуть ли не через весь поселок, но ноги свои, молодые. А Шубкины со своей стороны заверили, что понесут материальную ответственность.

— Я боюсь вас уговаривать,— сказала Ане старуха Шубкина.— Я понимаю, что вам нужен совсем другой муж. Но что вы будете делать одна с ребенком?

После отъезда матери Аня немного приуныла, но потом узнала, что только по их цеху пойдут зимой в декрет пять матерей-одиночек, и немного успокоилась.

Один раз в цехе зашел разговор между пожилыми работницами: что же с девками делать? Декрет за декретом, а работать некому, и в яслях по двое ребят в одной кровати лежат. В фабричном комитете мешок заявлений: одной на коляску, другой на пальтишко — и все ведь с государства!

На это одна из членов цехового комитета, женщина с безупречным семейным положением, сказала резонно:

— А кто же может запретить молодым женщинам иметь детей? Это их право, раз война оставила их без мужей.

Другая, старая, с медалью «За доблестный труд», не согласилась:

— А ихнее право ребят кидать да по кинам бегать? Дежурные в общежитии стоном стонут. Родила — так качай.

И Аня, став нечаянной свидетельницей этого разговора, покраснела и твердо решила, что уж она-то будет примерной матерью для своего первенца, будет заботиться о мальчике или о девочке. И все тогда скажут: «Какая Анька Доброхотова молодец! Трудностей не испугалась. Таким и помогать-то приятно».

Когда пришел срок отправиться в родильный дом, Аню схватил страх. Она там так кричала, что качали головой выдавшие виды няньки и акушерки. На самом деле роды были очень легкие: Аня была очень здоровая, крепкая, полная сил. Не успела она откричаться, как к ней снова

вернулся румянец. Но мальчик родился маленький, слабый и крупноносый, как и его отец.

Когда Аню выписали из родильного дома, в переулке стояла Раиса Захаровна Шубкина. Она хотела подойти, но Аня демонстративно прошла мимо нее в сопровождении двух подружек и сделала вид, что знать не знает, что за старушка такая.

Мальчика своего она принесла уже в семейное общежитие. И сразу почувствовала разницу: у девочек были по стенкам коврики с лебедями, открытки с красивыми артистами, салфеточки да флакончики, а тут пеленки на веревках и на батареях, соски да горшки. В первый день Аню пожалели более взрослые мамы и помогли ей перепеленать ее Юру. Ане не пришлось в детстве нянчить ни братьев, ни сестер: она была у матери одна. И теперь из глаз ее выкатились две крупные слезы и упали крошечному сыну на красное лицо.

Жизнь стала тяжелой, беспокойной. Одиноких матерей выручало лишь чувство общей личной неудачи. Их было в комнате вместе с Аней шесть человек. Если не орал один ребенок, то плакал в это время другой. Крик и писк этот казались как будто бы естественными и не вызывали у матерей особого волнения. Света на ночь не гасили, и не став четкой границы между днем и ночью, утром и вечером. Завешанная пеленками комната была больше похожа на больничную палату: дети попеременно или все сразу хворали. В эту комнату уже не заходили парни и избегали заходить и незамужние девочки.

В конце первой недели в общежитие пришла Раиса Захаровна Шубкина. Из всех комнат сбежались, чтобы на нее посмотреть.

— Анечка, вы, конечно, носите его в детскую консультацию? — робко спросила Шубкина, глядя на своего очень невзрачного внука.

— Сестра сама приходит. Вчера купать велела.

— А в чем же вы будете его купать?

— А вон таз...

Раиса Захаровна посмотрела на сомнительного вида оцинкованную шайку с двумя ручками, в которой были замочены какие-то тряпки. И замолчала. Она боялась обидеть Аню и других матерей, которые тоже, видимо, купали в этой шайке своих ребят. Уходя, она дала Ане деньги, завернутые в бумажку. Когда Шубкина ушла, деньги были пересчитаны.

— Скажи спасибо, на таких людей нарвалась, — сказали

Ане товарки,— сами деньги приносят. Вот и купи корытце малированное. Еще и на конверт с кружевом останется.

Корытца эмалированного Аня не купила, обошлась и без конверта с кружевом. Ей очень хотелось купить высокие резиновые боты с «молнией» на боку. На остаток от шубкинских денег она угостила девчат кремовым тортом и для Юры взяла погремушку «Глобус».

Кончился послеродовой месяц, и Аня вышла в цех. По утрам, в полной темени, она несла Юру в ясли, завернув в тяжелое, плохо просыхающее сатиновое одеяло, купленное на «пособие по рождению». Вечером, когда свободные девчата шли в клуб смотреть трофейных «Королевских пиратов» или «Ты — мое счастье», Аня отправлялась опять в ясли за сыном, которого сама с легкой насмешкой называла «Шубкин», хотя он записан был на ее собственную фамилию. Она исхудала, потому что Юра очень плохо спал ночью, ее мучало молоко, которое она не умела сцеживать, чтобы оставлять ему в запас на день.

Юре было месяца два с небольшим, когда Аня, последовав чьему-то совету, сварила ему в первый раз жидкой манной каши. Высосав целую бутылку этой каши, Юра в первый раз спал ночь без просыпа. Стало ясно, что раньше он просто был голодный, оттого его и нельзя было укачать.

Тогда Аня купила целый килограмм манки, стала варить ее погуще и кормила Юру уже с ложки. Это дело она теперь могла перепоручить кому-нибудь из товарок, поэтому Аня после трехмесячного перерыва помчалась в кино. Она сидела в темном зале, рядом с каким-то незнакомым парнем, смотрела «Мелодии любви» и думать не думала о том, что побывала два месяца назад в роддоме, что у нее есть сын Юра, что каждую неделю появляется в общежитии патронажная сестра — посмотреть, не пытается ли она каким-либо способом избавиться от младенца, что раз в месяц приходит инспектор из собеса и справляется у администрации, верно ли, что она, Аня, по-прежнему мать-одиночка и не зря ли получает она пособие от государства.

...Юра с манной каши сначала полнел, потом опять начал хиреть. Теперь чем бы его ни накормили, молоком ли, кашей ли, соком, он все отрывал. После одного из посещений патронажной сестры его поместили в больницу. Аню вместе с ним не положили, поскольку она призналась, что грудью своего Юру почти не кормит. Она передала своего мальчика, вялого, некрасивого и — теперь уже очевидно — больного, в руки санитарке и тут же в приемном покое расплакалась. Пожи-

лой фельдшер посмотрел на круглые, очень розовые Анины щеки и покачал головой.

— У него коклюш, что ли? — вытирая слезы, спросила Аня.

— Сама ты коклюш! Диспепсия у него.

Аня еще горше заплакала, хотя понятия не имела, что такое диспепсия. Но, вернувшись одна в общежитие, теперь уже на сухую койку, она вдруг испытала чувство огромного покоя, почти счастья: впереди были ночи, в которые можно было крепко поспать, не подниматься чуть свет, не лезть в трамвай с передней площадки с тяжелым плачущим свертком на руках, не стирать по вечерам пеленки, не мыть бутылки, не варить кашу. Уснув камнем, Аня забыла даже сцедить молоко, а утром почувствовала сильную боль и испугалась. Но она так ничего и не сделала, чтобы уберечь молоко, и оно у нее в сутки перегорело.

С этой поры она спала сладко и беспросыпно. Но однажды все-таки проснулась среди ночи, разбуженная не детским, а взрослым плачем.

Горько плакала ее соседка, шофер Маруся, иступленно целуя лицо своей шестинедельной девочки. Всего пять дней назад эту Марусю выписали из больницы, изрезанную и зашитую. Всем на фабрике известно было, что родила она от завгара, который ничего знать не хотел. Девочка, в свои полтора месяца не весившая и трех килограммов, принесла своей матери-одиночке столько беды и боли, что дрогнула бы и взрослая баба. Но восемнадцатилетняя Маруся плакала лишь потому, что судьба не послала ей в достатке грудного молока. Купить его от другой матери не было средств, а прикормом Маруся боялась сгубить девочку, от избытка материнских чувств названную Элеонорой.

Аня со смутным страхом посмотрела на плачущую Марусю и подумала о своем Юре. Вдруг его там режут? Или колют?.. Потом накрылась с головой, чтобы ничего не слышать и не видеть.

Темным зимним вечером в общежитии опять появилась Раиса Захаровна Шубкина. Дежурная сказала ей, что Аня ушла в кино. Раиса Захаровна села внизу и стала ждать. Аня вернулась часу в одиннадцатом.

— Юрочке лучше, — сказала Шубкина. — Мы сделали, что могли. Конечно, я понимаю, вы молодая, вам хочется развлекаться...

Аня молчала. После кино и морозной улицы щеки у нее были удивительно розовые и свежие. Правда, кроме новых

резиновых ботинок с «молнией», на ней не было сейчас ничего шикарного, но она во всем была красива и отнюдь не жалка, как это могло бы быть в ее положении.

Из больницы, с согласия молодой матери, Юру привезли прямо к Шубкиным. Аню без особого труда удалось убедить, что Юре еще нужен уход, что в ясли его сейчас отдавать нельзя. В квартире в Благовещенском переулке за него принялись Раиса Захаровна и ее совсем старенькая сестра. Были уже без особой надобности вызваны детские врачи, и сам старик Шубкин советовался с кем-то по телефону. Для Юры освободили целую комнату, и нанятая специально для этого женщина ее отмыла и отскобила, застелила всю мебель белой марлей.

Когда Аня пришла навестить сына, он лежал в кровати, одетый в вязаную розовую кофточку. На его маленькой голове начали густо виться рыженькие волосы. Над кроватью выстроилось все семейство Шубкиных. Аня просидела почти весь вечер молча и, накормленная маковым пирогом, ушла. Никто ее из этого дома не изгонял, но никто особенно и не приглашал.

— Переноси вещи да живи у них, — советовали Ане. — Не выгонят, не имеют права.

Аня и сама знала, что не выгнали бы. Но она понимала, что это было бы концом всему — молодой жизни, веселым часам. Оттуда уж в кино не побежишь. Хоть хозяева и смирные, а все-таки неудобно будет сидеть сложа руки. Не старуха же ночью к ребенку вставать будет, если мать рядом. А там привыкнут, что кто-то все делает, так и будут считать, что вроде так и надо. Главное же, нужно как-то и о дальнейшей жизни подумать — к ним в дом другого мужа не приведешь.

Позже Аня узнала, что Шубкины наняли какую-то пожилую даму, чтобы гулять с Юрой. Аня увидела эту даму возле Юриной коляски, страшно озябшую и тщетно пытающуюся закатить коляску в подъезд.

«Денег-то им девать некуда! — подумала Аня не без ревности. — Гуляние какое-то придумали. Кто же это за гулянье деньги отдает?»

В марте месяце вернулись большие холода, и Юрина «нянька» сбежала. Обрадованная Аня сама раза два вывезла Юру в скверик. Но, просидев с полчаса, поняла, что задаром никто на скамейке морозиться не станет.

— Летом нагуляется, — сказала она Шубкиным. — Летом в деревне золотое гуляние.

Раиса Захаровна переменилась в лице, но ничего не решилась сказать. Весной приехала из деревни Анина мать, и они обе отправились к Шубкиным смотреть Юру. Приняли их там хорошо, но трясаясь от страха. Анина мать вроде и не старела, оставалась крупной, видной пожилой бабой, каждый жест которой, каждый взгляд, вся ее повадка говорили: что наше, то уж наше!

— Спасибо большое вам за воспитание, — сказала Анина мать. — Мальчик-от пусть уж до лета у вас побудет. С пасхи у меня корова доить будет.

Шубкины еще раз ужаснулись и стали жить надеждой только на какой-нибудь счастливый случай. Но то ли деревенской бабушке не приглянулся внук, то ли она решила, что надо ей, прежде чем у люльки сесть, доработать в колхозе до пенсии, но срок Юриного отлучения от Шубкиных все откладывался.

Аня перешла в общежитие для одиночек и опять числилась в девушках. Но, несмотря на свой жаркий румянец, на свои живые голубые глаза, на все платья, которые она теперь себе нашла, она и к двадцати годам не нашла жениха, не нашла и к двадцати одному, и к двадцати двум годам. Все оказалось не просто... Расплатившись один раз за свою ошибку, Аня осторожничала и парням ни на какие уступки не шла. Почти в каждом видела она теперь обманщика, который только и смотрит, чтобы «интерес свой исполнить». Не забыла она и того, как культурно вел себя с ней Марик в начале их романа. Хоть он был и рыжий и носатый, но ни материщины, ни грубости от него Аня не видала.

Теперь она вся была настороже: чтобы опять не поступить по-глупому, опрометчиво, но чтобы и не прозевать своего счастья. От этой заботы Аня стала не по годам взрослеть и утрачивать всю девичью непосредственность. К двадцати пяти годам она уже выглядела не девушкой, а скорее одинокой красивой молодой женщиной.

К этому же времени Аня перешла работать на большую кондитерскую фабрику. Здесь и работа была чище, и общежитие богаче, а главное — она сладкое очень любила, просто бредила им. Первое время так и жила — с конфетой или с куском шоколада за щекой. Утром, подойдя к воротам фабрики, жадно вдыхала в себя запах ванили и улыбалась.

Поначалу никто здесь про нее ничего не знал. Но чтобы не платить налога за бездетность, Ане пришлось предъявить в бухгалтерию свою книжку матери-одиночки. Уже через две смены и в цехе узнали, что новенькая — незамужняя вдова.

Но Аня не растерялась и сразу избрала тактику: стала держаться любящей матерью, хвасталась покупками для своего мальчика и жаловалась на то, что «свекровь» не умеет его воспитывать, балует и что, как только будет возможность, она Юру от Шубкиных заберет и сама им займется.

— Буквы уже знает,— рассказывала Аня про своего Юру с такой гордостью, будто сама его этим буквам обучила.— «Маму» из кубиков складывает.

По праздникам Аня получала для сына хорошие подарки от фабричного комитета, билеты на новогоднюю елку. Как-то раз, несмотря на протесты Шубкиных, боявшихся инфекции гриппа, она привела Юру на детский утренник в клуб фабрики. Дети кричали, бегали, а он сидел тихо, очень серьезный, рыженький и хорошо одетый. И вдруг вызвался прочитать стихотворение «Плывет, плывет кораблик, кораблик золотой...». Он ни разу не сбился, дочитал до конца, и дети притихли, когда его слушали.

Аня, пока сын «выступал», сидела гордая, розовая, красивая и держала в руках Юрину меховую шубку на шелковой подкладке. И эта шубка, и все другое, надетое на Юру, куплено было не ею, но это сейчас никому и в голову не приходило: такой счастливый, независимый вид был у Ани, которая и сама теперь была очень хорошо одета. Кармельный цех, где она работала, сэкономил ей деньги: тут было и сгущенное молоко, и жидкий шоколад, и мед. Сначала она всего этого съедала помногу, потом поменьше, а дальше — ровно столько, чтобы быть сытой и своих денег на питание почти не тратить. Когда ей выдался случай купить дорогое пальто с воротником, она заняла у стариков Шубкиных тысячу рублей, но с отдачей не очень спешила. Она знала, что они сами не спросят.

...Когда утренник кончился, Аня вывела Юру на улицу, и тут они увидели бабушку Шубкину. Она принесла запасный шерстяной платок. Юру закутали им поверх шапки и повели домой.

— Юрик стихи рассказывал,— благодушно сообщила Аня.

Раиса Захаровна взглянула на нее с благодарностью, словно Аня выучила Юрика этим стихам.

— Вы, может быть, зайдете к нам? — спросила она.

— Да нет уж, сегодня не пойду,— сказала Аня.— Дела у меня много: выходной-то один.

Однажды, явившись к Шубкиным в необычное время, она «нарвалась» на Марика. Тот уже заканчивал аспирантуру

и жил в каком-то городке для ученых. Когда Аня вошла в комнату, Марик одним пальцем играл для Юры «Чижики» на пианино.

Аня не смутилась. Но ей показалось, что Марик стал не такой уж рыжий, как прежде. И на возмужавшем, пополнившем его лице нос не выглядел таким большим. Он, видимо, знал, какая тревожная ситуация была в семье у его родителей, как их мучает будущее Юры, как они боятся Ани. Самому ему, по всей видимости, жилось неплохо: на нем был хороший костюм, в передней на вешалке висела куртка на меху и ондатровая шапка.

«А ведь это мог муж мне быть», — подумала Аня вдруг, испытав досадливое чувство: неужели прогадала?

Но Марик поздоровался с ней достаточно холодно.

— Как ты живешь? — спросил он.

— Хорошо, — спокойно ответила Аня.

— Ну и прекрасно.

Старуха Шубкина пригласила за стол. Она очень суетилась, подавала, принимала, что-то уронила и разбила. Ее совсем старенькая сестра пила чаем Юру, тот был рад обществу и баловался. А Аня сидела как гостя. За чаем она поймала на себе пристальный взгляд Марика. Видимо, он сравнивал ту хорошенькую щекастую девочку, которая по глупости и любопытству сошлась с ним пять лет назад, с той мужественно-крепкой, ярко одетой женщиной, которая сейчас сидела напротив него и довольно умело держала в белых пальцах дорогую фарфоровую чашку.

«Может, он все-таки опять на меня располагает?» — уже тревожно думала Аня.

Но она ошибалась. Когда она собралась уходить, Марик вышел за ней в переднюю и сказал сухо, почти резко:

— Если любишь ребенка, возьми его отсюда совсем. Или не ходи сюда. Зачем ты мучаешь людей?

— Да они сами не отдадут, — резко сказала Аня.

Ее вдруг одолела такая злость, что она, уже одетая в пальто и ботинки, вернулась в комнату и крикнула:

— Юрочка, я в субботу за тобой приду!

Старуха Шубкина так и охнула:

— Марк, что ты ей такое сказал? Вы не жалеете ребенка!..

Весной внезапно умер старик Шубкин. Ане сообщили об этом на фабрику. Как все деревенские жители, очень отзывчивая на смерти и болезни, она бросила все дела и побежала к Шубкиным.

— Говорите, что поделывать надо, — сказала она, входя в квартиру.

Раиса Захаровна ломала ручки и говорила что-то несвязное. У ее сестры дрожала голова. Юра капризничал. А Марик еще не успел приехать.

Не дожидаясь распоряжений, Аня ликвидировала страшный разгром в кухне, собрала все Юрины игрушки и дочиста вымела в комнатах. Потом сбегала в магазин, купила мяса, сварила суп и заставила старух и Юру поесть.

— Вещи соберите, я в больницу снесу, покойничка нашего одеть.

Выяснилось, что нет ни одной пары чистого белья. Аня быстро постирала, посушила над газом, выгладила горячим утюгом.

— Сколько народу перелечил, а крепкой рубашки нету!..

Аня не отличалась особым тактом, но на этот раз искренне хотела помочь. В первый раз она осталась ночевать в этой квартире. До позднего часа она просидела возле Раисы Захаровны, а маленький Юра уснул у нее на коленях.

— Как живой лежит, — рассказывала Аня, уже видевшая «сбранного» и положенного в гроб старика Шубкина. — Что значит в одночасье человек умер! Не мучился. Я отгул возьму, все сделаем как следует, проводим, помянем.

Два дня Аня бегала, покупала, убирала, варила. Никогда еще в квартире у Шубкиных не было такой чистоты и порядка: старухи в последнее время справлялись совсем плохо.

Маленький Юра был очень удивлен: почему мама теперь все время здесь? Он привык, что она являлась иногда по субботам с гостинцами, которые бабушка Шубкина умоляла не давать все сразу. А теперь эта мама, подвязав бабушкин фартук, ходит по комнатам со щеткой и тряпкой. У нее озабоченное, строгое лицо. Она готовит, моет, что-то перестилает и внушительно говорит плачущей бабушке:

— Не плачайте, Раиса Захаровна! Хватит. Вот понесут, тогда еще поплачете.

Юра потянул мать за фартук и спросил:

— Мама, а чей у нас будет день рождения?

— Ничей! — строго ответила Аня. — Дедушка у тебя помер, не понимаешь, что ли? Сиди, не балуйся.

К дню похорон появился бледный Марик. С ним приехала незнакомая Ане хорошенькая, худенькая и очень модная девица. Аня поняла, что это или невеста или уже жена Марика. Но не смутилась.

Видимо, старуха Шубкина рассказала сыну, как много

сделала для них в эти дни Аня. Он и сам заметил в комнатах необычный порядок и сдержанно Аню поблагодарил. А его невеста или жена просто приняла ее за приходящую домработницу. У Ани хватило самообладания, чтобы и ухом не повести. Но Юра подбежал к ней и назвал мамой. И произошло замешательство: невеста или жена Марика побледнела и растерялась.

Тогда Аня решила расставить все точки над «и». Она подала маленькому Юре какой-то журнал и громко велела: — Снеси папе. Скажи: «Давай, папа, картинки поглядим».

Про себя же решила: «Пусть знает. На похоронах уж наверное ругаться между собой не станут».

Похороны и поминки действительно прошли достойно. Со стороны можно было предположить, что старика Шубкина оплакивает единая дружная семья. Аня вела себя с достоинством, немножко поплакала. И если Марикова девица как будто боялась подойти к гробу, то Аня подошла смело и даже приложила покойнику к руке.

После поминок Аня перемыла всю посуду, подтерла в кухне пол и отозвала туда Марика.

— Юру я уж теперь увезу, — сказала она. — А вы поймите совесть, позаботьтесь о старухах-то.

Марик вздрогнул от удивления: как это она позволяет себе лезть не в свое дело?.. Но тут же решил не обострять отношений. Он понимал, что основания для претензий к нему были и у Ани.

В самом начале лета Аня увезла Юру в деревню. Ему уже шел пятый год. Он был крупный, сообразительный и достаточно набалованный. И хотя был взволнован и счастлив тем, что его куда-то далеко везут, но его очень насторожило то, что обе бабушки Шубкины рыдают, а мама не особенно старается их утешить.

Электрички ходили тогда только до Загорска. И Аня с сыном села в ночной поезд Москва — Котлас, набитый пассажирами до самой багажной полки. Юра не спал. Затиснутый матерью куда-то наверх, он с безмолвным и тревожным любопытством глядел то вниз, на спящих, то в темное окно. Он так и задремал сидя, и в четыре часа утра Аня сняла его оттуда, обмякшего, сонного и тяжелого, отвела в грязную уборную, потом надела на него пальтишко и панамку, поставила в тамбуре, а сама принялась таскать вещи.

Их встретила деревенская бабушка, после маленьких старушек Шубкиных показавшаяся Юре страшно толстой. Она долго чмокала его в щеки и в рыжую макушку, хотя он недоброжелательно крутил головой. Потом мать и бабушка взвалили себе на плечи восемь тяжелых «мест» и бодро пошли по скользкой от росы тропе между мокрых калиновых кустов.

Юра угрюмо шел за ними, потом заявил:

— Я устал!..

— Ничего, Юрочка, бежи, бежи! — почти не оглянувшись, сказала Аня.

Но он заплакал, сел на траву и не хотел вставать. Тогда бабка отдала Ане еще два «места», посадила Юру себе на одну руку, другой ухватила тяжелый деревянный чемодан, и они пошли дальше, но уже не так прытко.

— Важный мальчик-то какой! — задохнувшись, сказала бабка. — Хунтов сорок, чай.

Юра поглядел в ее красное, с двумя подбородками, лицо, на котором, как сироп через бумагу, проступал теплый пот, и тихо сказал:

— Пустя, я сам буду идти.

Дома бабка выставила перед гостями студень, кисель и красивые пироги. Юра схватил пирог, но когда откусил, то сначала растерянно скривил рот, а потом тоскливо заплакал: в пироге был мокрый, пахнущий постным маслом зеленый лук.

— Это что же они поделали над ребенком? — удивилась бабка. — Не ест ничего. Куда же ты мне такого привезла?

Но перерешать что-то было поздно. Аня провела несколько дней с сыном, потом, ранним утром, пока Юра еще спал, она ушла на станцию. Мать проводила ее до калитки и легла рядом с внуком, чтобы тот, проснувшись, не испугался. Но все равно Юра долго ревел и не мог понять, как же его так предали. И только последовавшее разрешение идти на улицу босиком, не умываться и есть с утра конфеты его немного успокоило. Он заметил, что и бабушка за компанию с ним не стала умываться и утренний чай пила тоже не с сахаром, а с конфетами.

В огороде она дала ему съесть немытую бледно-розовую морковку, потом нарвала ему стручки гороха, в которых еще совсем не завязалось зернышко.

— Надо руки мыть? — спросил Юра, когда ладони его стали совсем черные.

— А вон ступай помой,— и бабушка указала на кадуюшку, где стояла пахучая зеленая водица.

Юра начал болтать в этой кадуюшке руками, взмутил со дна всю грязь и в первый раз ощутил, что он уже в чем-то счастлив. И когда бабушка, грузно усевшись у бани на лужке, позвала его к себе и посадила на коленки, Юра пошел на сближение.

— Расскажи, пожалуйста, сказку,— попросил он.

— Какую же тебе сказку? — вздохнула бабушка.— Ты, чай, сам боле моего знаешь сказок-то: у ученых жил.

...Дней через десять Аня получила от матери письмо: «Все у нас с Юрочкой хорошо. Сперва все плакал, а теперь подряд все кушает, молоко с чаем пьет, только на ночь не пою, а то обое с ним спим крепко. Пошли нам макарон белых или вермишели...»

И Аня знала: мать ворчука и шепотница, но внука не обидит, потому что не чужой, а своя кровь, единственный пока дочкин ребенок.

Лето, после того как Аня отвезла Юру к матери, было у нее совсем вольное. Раза два она навестила старуху Шубкину, впавшую в отчаяние от одиночества.

— Знаете, Анечка, каждую ночь я вижу Юрочку во сне, как я надеваю на него ботиночки, как веду мыть руки... Я не столько тоскую о покойном муже. Мы, Анечка, с сестрой совсем одни. Марк почти ничего не пишет.

Аня дала Шубкиной свой телефон на работе и просила, если нужно будет в чем-то помочь, чтобы та звонила без стеснения,— она придет, все сделает.

— Только уж насчет долга вы меня извините, Раиса Захаровна...

Аня так и не вернула той тысячи рублей, которую брала взаймы на пальто. Но Шубкина только замахала руками:

— Не поминайте, пожалуйста, про эти деньги!

Провожая Аню, она глядела ей в рот: не скажет ли она еще чего-нибудь об Юрочке, не пообещает ли осенью вернуть его обратно? И, отказываясь от денег, старуха рассчитывала, что Аня не догадается, что средств прежних нет, что нет сил, очень плохо с сердцем и что Марк под влиянием своей новой жены отрешивается от всяких обязанностей по отношению к сыну.

— Я купила для Юрочки витамины,— сказала Раиса Захаровна.— Может быть, вы сможете переслать?

— Давайте,— великодушно согласилась Аня.

Она ушла, троекратно облобызав свою несостоявшуюся

свекровь, довольная собой, даже умиленная. При ее силе и ловкости Аня в один час переделала в квартире Шубкиных столько, сколько старухам не сделать бы в неделю. Но Шубкина не хотела принимать услуг даром и подарила Ане какую-то брошку. Аня думала, что она пустяковая, но от сведущих людей узнала, что это камея. За эту камею она еще несколько раз приходила помочь, повидаться, поговорить о Юрочке. Потом стала заглядывать реже, закрутилась и месяца два не собралась пойти. На московских улицах уже лежал снежок, когда Ане сообщили по телефону на работу, что Раиса Захаровна Шубкина скоропостижно умерла.

Как Аня рыдала!.. Шубкины — это была ее молодость, ее первое несуразное увлечение. Это были люди, которых она не любила, но тем не менее понимала, что они отнеслись к ней по-человечески и очень любили ее сына. Она вспомнила старика тихоню Шубкина, который никогда не сказал ей ни единого недоброго слова и никогда не отказывался давать медицинские советы и выписывать рецепты ее многочисленной деревенской родне. Она вспоминала Раису Захаровну, ее подарки за каждую услугу, ее робкие заискивания из-за Юры. Вспоминала большую, нескладную, неуютную квартиру в Благовещенском переулке с пыльными люстрами и изъеденными молюю коврами, шкапами, бумагами и книгами, которую слабые руки двух старух тщетно пытались привести в божеский вид.

Неловко было и то, что свой тысячный долг Аня им так и не вернула. И теперь, собираясь на похороны, она не пожалела сотни рублей и купила большой венок с железными листьями и коленкоровыми цветами.

...Весной Аня наведлась в деревню. Юра успел вырасти, охрипнуть голосом и выучить такие слова, которых он у Шубкиных никогда не слышал. Аня застала сына на крыше сарая. Юра ломал пирог, кусал сам и кидал вниз петуху. Увидев мать, нарядную, с сумкой гостинцев, проворно слез с крыши и, шлепая босыми темными пятками по холодной еще земле, подбежал к ней.

— Юрочка! — удивленно сказала Аня. — Какой ты большой-то стал!..

Весь вечер Юра ел гостинцы. Мать и бабушка глядели на него и улыбались.

— Он на ихнюю породу-то и не похож, — сказала «баба Нюха», уже слышавшая от Ани, что московская ее «сватья» умерла.

Но Юра был все-таки похож на шубкинскую породу.

Может быть, поэтому бабка и считала нужным это время от времени опровергать. Аня погладила сына по рыжей голове и дала ему еще горсть конфет-драже. Про бабушку Шубкину она ему ничего не сказала.

4

Через год в жизни Ани произошли существенные перемены. Началось с того, что на фабрике ее вовлекли в общественную работу. И она довольно быстро обнаружила в себе большие способности к этому делу.

Поначалу ее выбрали страховым делегатом по своей смене. Лишенная домашних забот, Аня не отказывалась сбегать то в больницу, то к кому-нибудь из болящих на квартиру. Других страхделегатов бюллетенившие работницы побаивались: обследует да и донесет, что нарушается постельный режим, больная с температурой стирает белье. Но Аню никто не боялся. Она если обнаруживала такое нарушение, то только отгоняла больную от корыта, достирывала сама, а в страховом комитете никогда ни гугу. Знала она теперь и адреса всех больниц, и где когда посетительский час. Ее даже больничные няньки стали узнавать.

Очень скоро Аня поняла, как выгодно быть хорошей и что авторитет — это великое дело. Раньше она всем была Нюрка, Анька, а теперь Аня, Аня дорогая!.. Производственной она и раньше считалась не хуже других, но как-то все оставалась в тени. А тут один раз получила премию, другой раз премию, потом благодарность в приказе. Как-то подошла к ней председательница цехового комитета и сказала:

— Анечка, съезди в однодневный дом отдыха в Сокольники. Ты ж набегалась, отдохни, путевка тебе бесплатная.

Ближе к зиме вызвал и начальник цеха.

— У тебя, Доброхотова, есть шанс на будущий год комнату получить.

Комната эта была Ане очень нужна. До сих пор жила она в общежитии для одиночек и тяготилась этим. За пять лет работы на кондитерской фабрике нажила себе порядочное приданое, а повесить и положить свои вещи было просто некуда. Надоело и то, что всегда ты у всех на глазах и все у тебя на глазах. И всегда есть опасность, что из-за пустяка может получиться ссора. Аня стала большой чистехой, аккуратницей, а общежитие есть общежитие: одна юбку швырнет,

другая тарелку немытую оставит, третья — совсем халда, все вокруг себя роняет. Каждому свою голову и свои руки не приставишь, и вообще жизнь табуном годится только для самых молодых, которым все трын-трава. А когда чувствуешь себя солидно и самостоятельно, такая жизнь уже не может удовлетворить.

Необыкновенно приятно было теперь Ане и то, что о ней позаботился сам начальник цеха, который с год назад ее вроде бы и знать не знал: работниц в карамельном цехе было около четырехсот человек, разве всех запомнишь? А сейчас Аня сидела у него в кабинете, и он смотрел на нее, такую красивую, пышноволосую, с марлевой наколкой на голове. Халат на ней был белоснежный и отглаженный. Аня расплнела немного, но тяготилась этим только потому, что кое-что из одежды стало ей узко. А так она знала, что многим мужчинам нравится такой пухленькой. Возможно, и сам начальник цеха не отказался бы поухаживать.

Но с женатыми мужчинами Аня по-прежнему была осторожна, а для парней она уже была не невеста: почти двадцать шесть лет и в паспорте сын Юра.

Страхделегатские обязанности и привели Аню к замужеству. Одна из ее товаров, карамельщица Лида Лядькина, получила бытовую травму — ошпарила руку и ногу из электрического чайника. В больнице ее долго не задержали, чуть ожоги подсохли, отпустили домой. Жила она в районе Ямских улиц, и Аня отправилась ее навестить.

Нашла квартиру, позвонила. Открыл какой-то мужчина невысокого роста. Лица его Аня в темноте коридора даже не разглядела. Оказалось, что это сосед, а сама «пострадавшая» ушла в поликлинику на перевязку. Аня села подождать ее на кухне. Невысокий мужчина прошел мимо с чайником и сказал:

— Зайдите в комнату ко мне, а то тут с черного хода дует.

Аня, считавшая, что ей стесняться не приходится, поскольку она лицо полномочное и представительное, отказываться не стала и пошла.

Комната ей очень понравилась: диван хороший, стол под скатертью, на окошке красивые цветы. Книжки стоят, картинки висят. Но сам хозяин комнаты не очень интересный. Все время держится как-то боком. Аня все-таки рассмотрела, что левый глаз у него какой-то странный и щека под ним не гладкая, а бугристая, красноватая. Одет он был в черную рубашку со светлым галстуком, и брюки у него очень хорошо

держали складку, будто только что с гладильной доски. Но волосы на голове были белесые, прямые, реденькие.

Аня молчаливостью не отличалась. Начала с того, что заговорила о своем общественном поручении.

— Доброе дело делаете, — сказал хозяин комнаты и рискнул повернуться к Ане всем своим неказистым лицом. — Как имя и отчество ваше?

Поговорили кое о чем, а тут пришла из поликлиники «ошпаренная» Лида Дядькина. Взбираясь на пятый этаж без лифта, чуть не ревела, но увидела в квартире Аню, обрадовалась, стала хохотать и рассказывать, как у нее собрались девчонки, танцевали и добесились до того, что повалились на диван и потащили за собой шнур от электрического чайника.

— Ой, ты не представляешь, Аня, до чего я на них зла!.. Ведь они мне недели на три нетрудоспособность устроили!

Левая нога у Лиды была страшно толстая, в сто слоев обмотанная бинтами. Так же и правая рука до кисти, только кончики облитых марганцовкой пальцев торчат наружу.

— Садись, Анечка. Тут мне парень один соленых помидоров принес, он на овощебазе работает. Вот, ешь котлеты, девки принесли, задобрить хотят. Новый год на носу, а у меня комната, ну и, ты понимаешь, все ко мне. А мне сейчас эти танцы как собаке здрасте!..

— Да не таракти ты, ненормальная! — приказала Аня. — Говори, что тебе сделать надо. Может, в аптеку или куда?

Лида хохотала и слушать не хотела.

— Аня, ты меня не выдашь? Я вчера с парнем одним в Дом культуры «Правды» проперлась. Билетов не было, а он контролерше говорит: «Посмотрите, ведь девушка инвалид!..» Ну и пропустили. Симону Синьоре видели.

Аня решила спросить:

— Слушай, а кто это сосед твой?

— Николай Егорович, что ли? Да он мастером на номерном заводе работает. А что, он, наверное, жаловался, что у Дядькиной шуму очень много?

Аня покачала головой.

— Глаза у него какие-то разные...

— Один свой, другой стеклянный. Так он ничего мужик. Кушаков-то. Культурный. Книжки читает. И невесту культурную ищет.

Лиде и в голову не приходило, что такая видная женщина, как Аня, может заинтересоваться Николаем Егоровичем Ку-

шаковым: тому уже лет немало, рост всего метр шестьдесят четыре, глаза нет. Только что пальто с каракулем.

— Аня, ты не представляешь, как мне все-таки охота за семилетку сдать! Пошла бы в техникум. А то кому я такая нужна? Сейчас все ученые, все с дипломами!

Через три дня Аня принесла Лиде деньги по листку нетрудоспособности и опять встретила в коридоре с Николаем Егоровичем.

— Здравствуйте!..

— Добрый вечер,— тихо и любезно сказал Кушаков.

Лида уже угадала в Ане определенную заинтересованность и крикнула:

— Николай Егорович, идите к нам чай пить!

В первый раз Лидин сосед от приглашения отказался. Но когда Аня зашла еще и еще раз, он сдался, пришел и сел с Аней рядом. Она чувствовала, что Лида ему уже о чем-то намекнула. Николай Егорович сидел слева от Ани, ближе к ней своим здоровым глазом, но все равно она видела и другой, неживой, более темный, устремленный все время в одну точку.

— Что бы вам с Аней познакомиться поближе, а, Николай Егорович? — уже в открытую шла Лида.— Она у нас хорошая, общественница.

Николай Егорович робко посмотрел на Аню и сказал тихо:

— Очень буду рад.

Потом Лида нарочно оставила их на время вдвоем, убежала куда-то, припадая на плохо заживающую ногу.

— Пойдемте завтра в театр,— предложил Николай Егорович.

— В какой? — волнуясь, спросила Аня.

Она чувствовала, что пришла ее пора.

За один месяц они с Николаем Егоровичем посмотрели «На дне», «Порт-Артур», «Закон Ликурга» и «Барабанщицу». Ане все очень нравилось. Но особенно ее привлекал Театр Советской Армии: места удобные, помещение замечательное, публика солидная и спектакли более понятные, чем в других театрах.

Все стало непривычно и тревожно. Днем Аня ждала, что Николай Егорович позвонит ей на работу, скажет, куда взял билеты. Потом они встретятся где-нибудь поблизости от Аниного общежития, съедут в троллейбус, он ей высмотрит место, а сам будет стоять около нее. В гардеробе он подержит ей пальто, примет от нее ботики и сразу предложит пойти

в буфет: может быть, она после работы не успела покушать? Аня вежливо откажется, они пойдут в партер, сядут в мягкие кресла ряду в десятом, в одиннадцатом, и Николай Егорович тихонько положит ей в руку шоколад. Он все забывает, что она этот шоколад видеть не хочет. В буфет они пойдут в антракте, он там ей купит бутерброды и фрукты, а домой свезет в такси.

Аня уже твердо решила, что выйдет замуж за Николая Егоровича Кушакова. Такого хорошего, вежливого человека вряд ли еще встретишь. Другой уж к тридцати шести годам таких дров наломал! Действительно, Николай Егорович хотя и был человек тихий, внешне незаметный, но держался он очень мужественно. Вставной глаз его был страшноват, но к этому можно было привыкнуть. Зато очень хороши были у него зубы, рот был добрый, нос правильный, хороший. Аня очень не любила курносых и губастых.

«Чего уж это я изображать из себя буду? — думала Аня. — Пойду сегодня к нему. Неужели потом бросит?..»

В этот вечер они смотрели какой-то спектакль из мирной армейской жизни. Названия Аня не запомнила, потому что очень волновалась. Она ничем не намекнула Николаю Егоровичу, что согласна на сближение с ним, но он сам все понял. Оба сидели в троллейбусе, опустив глаза.

— Ты открой, посмотри, нет ли кого в коридоре, — сказала Аня, когда они поднялись на пятый этаж.

Обращением на «ты» она как бы окончательно все решила. И, уже меньше волнуясь, вошла за Николаем Егоровичем в его комнату с книжками и цветами на темных окнах. Он помог ей раздеться, потом сам снял свое серое драповое пальто с каракулевым воротником. Одевался он хорошо, но даже Аня заметила, что мог бы одеваться немножко и помоднее для своего возраста, с фантазией, и не носить того, что на многих.

— Жалеть не будешь? — тихо спросил Николай Егорович, когда они оказались лицом к лицу.

— А ты так поступай, чтобы я не жалела, — сказала Аня.

В маленьком Николае Егоровиче она нашла человека ласкового и благодарного. И исполнилась ответного чувства.

Через неделю Аня объявила в цехе:

— Замуж я выхожу, девочки! Правда, на десять лет почти он старше меня, но три ордена у него.

Лида Дядькина, невольная пособница этого брака, рассказывала всем:

— Вы не представляете, девчата, как этот Кушаков

в Аньку нашу влюблен! Такого тихонького из себя изображал, по вечерам все дома торчал, и вот попался!

Никто так и не узнал, что именно «изображал» из себя Николай Егорович. Сама Аня уже позже догадалась, что ее муж просто в свое время, будучи холостым, не оказал Лиде мужского внимания. И сознание того, что Николай Егорович предпочел ее, двадцатилетнюю мать-одиночку, совсем молоденькой и бездетной Лиде, заставляло Аню гордиться собой, своей солидностью, своим серьезным и ответственным характером. Но Лиде Дядькиной она решила не слишком доверять и в комнату к ней мужа одного не пускала.

— Не дождалась ты комнаты, Доброхотова,— сказал начальник цеха, узнав, что Аня уже перебралась из общежития к мужу.— Ну ничего, мы тебе отдельную квартиру со временем дадим.

На Восьмое марта Аня привела Николая Егоровича с собой на фабрику, на вечер. На нем был темный костюм с орденской колодкой, рубашка с твердым белым воротничком. Всем он очень понравился, все сделали вид, что и не заметили его разных глаз. Швы на щеке Аня ему немножко запудрила и соорудила из его светлых вялых волос подобие модной мужской стрижки.

— Ты, Коля, улыбайся почаще,— посоветовала она,— тебе улыбка очень идет.

Теперь вместе с замужеством к Ане пришел новый интерес — театр. Больные и пенсионеры ей уже порядком поднадоели, и она попросила, чтобы ее с соцбытсектора перекинули на культуру. Сама она с Николаем Егоровичем каждую неделю регулярно ходила в театр. На следующий день после спектакля, стоя за аппаратом, из которого ползли завернутые в бумажку карамели, Аня пересказывала своим подругам содержание спектакля. Правда, у нее получалось так, что все до единой пьесы держались на остролюбивной ситуации. Даже «Оптимистическая трагедия». Но тем большим успехом пользовались у карамельщиц эти пересказы.

— Ты бы, Аня, и нас сводила на эту постановку. Организовала бы.

— Да обязательно организую,— обещала Аня.— Нельзя же, девочки!.. Так театр много дает!

Благодаря Ане карамельщицы ходили на «Марию Тюдор», на «Квадратуру круга», на «Жизель». Накануне советовались, кто что на себя наденет, чтобы друг друга не повторить и в то же время исходя из реальных возможностей каждой.

Потом дело было поставлено и вовсе на широкую ногу. Аня завела надежный блат в Центральной билетной кассе и не ленилась бегать туда после работы с заявками на коллективный просмотр. И так как не всем работницам театр был по карману, то иногда брали курс на кино.

Аню даже обижало, если кто-то из девчат увиливал от коллективных посещений: «А я с Витькой пойду...», «А я с Сережкой была...».

— Девочки, я просто вас не понимаю!.. По-моему, совершенно все по-другому воспринимаешь, когда в коллективе смотришь. Кому-то что-то не понятно осталось, потом можно обсудить. А от Сережки да от Витьки какое вы разъяснение получите?

Ей самой уже и в голову не приходило идти со своим Колей один на один, забраться в угол да жаться там колено о колено. Аня теперь предпочитала идти культурно, одевшись как следует, на сеанс 7 часов 30 минут, сесть в том ряду, где сидят свои же работницы, чтобы каждая поздоровалась с ее мужем и сказала ему:

«Это все ваша Аня для нас старается».

Увлечение зрелищами сменилось увлечением дружескими посиделками. Переписали весь цех, когда у кого день рождения, и обязательно после работы чем-нибудь отмечали. Выход на пенсию — тоже. Бракосочетания — особенно. Конечно, без всяких крупных пьянок, Аня бы на это никогда не пошла. Но учинялась какая-то добрая и в общем полезная суетня, рождались между собой сердца женщин, и Аниному тшеславному сердцу была от этого особенно большая радость. Она и подарки покупала, и поздравительное слово говорила. И это получалось у нее и складно и очень тепло.

— Какая культурная женщина Анна Александровна! — сказала про Аню одна молоденькая работница, недавно из учениц.

Девочка эта и не представляла, что у «культурной женщины» всего-то шесть классов образования и заставь ее на бумаге написать те слова, которые она так бойко говорит, ей бы очень туго пришлось. Да Аня и сама теперь уже достаточно остро чувствовала (как, наверное, Николай Егорович отсутствие глаза), что образования ей не хватает — она бы в коллективе сильно продвинулась.

— Упустила я свои возможности, Коля, — сказала она как-то мужу. — Мне бы при матери хоть классов восемь закончить. Дура была!..

— Возьми да поумней,— посоветовал Николай Егорович.

— Шутишь! Это какой смех будет, если я за детскую парту сяду: во мне без малого восемьдесят килограмм!

— Туда не с весу берут,— усмехнулся Николай Егорович.— Потом вовсе отяжелеешь.

* Так, с усмешкой да с подначкой, Аня почти решила, что с осени пойдет в седьмой класс вечерней школы. Написано было письмо в деревню, чтобы прислали справку за шесть классов. Николай Егорович купил для Ани учебник по алгебре, «Зоологию», «Историю средних веков». Заправил две авторучки и положил все на видное место,— может, захочет позаниматься, подготовиться. Но Аня обходила учебники, как лиса петлю с приманкой. Кончилось тем, что Николай Егорович на досуге сам читал «Зоологию» и «Историю средних веков».

— Война Алой и Белой Розы,— заметил он, заслышав, как ссорятся в коридоре соседки.

Аня его замечания не оценила.

— Прочел свои «Средние века» — ну и убери,— сказала она.— Чего они будут лежать?

Этим она как бы хотела сказать, что вечерняя школа — это еще пока вилами на воде писано. Николай Егорович надоедать ей не стал. Только ближе к началу нового учебного года все-таки спросил:

— Форму-то школьную тебе покупать?

Аня глубоко вздохнула.

— Ох, Коля!.. Не знаю, что и сказать тебе.

Заявление в вечернюю школу все-таки было подано. Правда, написал его Николай Егорович, а Аня только расписалась. В первый день занятий он ее проводил до школы. Вернулся домой и весь вечер чувствовал себя тревожно, необычно. Подумал о том, что часто теперь вечерами будет один. Но пожалел не себя, а Аню, которая, наверное, сидит теперь за партой ни жива ни мертва. Николай Егорович судил по себе: он бы тоже волновался, стеснялся, говорун он был плохой. Правда, ему почти сорок, а Ане всего двадцать восьмой, голова еще свежая.

Сготовив по всем правилам ужин, Николай Егорович оделся и пошел встретить жену.

— Жива? — спросил он ее.

— Жива-то жива,— покачала головой Аня.— Устала очень. Это все ты, Коля! Придумал!..

Посещала она занятия с месяц. Отдали соседям билеты

на «Каширскую старину»: нужно было писать изложение по «Капитанской дочке». Не ходили в гости: Николай Егорович сел вычерчивать Ане трапеции и параллелограммы. Аня утешалась: другим и вовсе помочь некому. Про червей и моллюсков она кое-что выучила. Но сразил ее немецкий язык.

— Не получится ничего, Коля,— трагически сказала она однажды.— Этой ведьме немке два понедельника жить осталось, а она еще сопит, придирается. Я, конечно, не Валентина Гаганова, но я тоже собой чего-то представляю. Можно и посчитаться.— И добавила жалостно: — И так голова болит, Коля, ты не поверишь!.. Может, я в положении? Тогда на фиг все трапеции эти!

Николай Егорович был сбит с толку, не разгадал Аниного маневра. В школу Аня больше не пошла, а через некоторое время сообщила:

— Нету ничего, Коля. Прямо как гора с плеч!..

Оставшись при своих шести классах, Аня особенно не унывала. На отношение коллектива ей обижаться не приходилось: она была бессменным членом цехового комитета, потом ее избрали в фабком, потом делегатом на районную профсоюзную конференцию. Было ей даже предложение подать заявление в партию.

Аня решила, что тут уже надо говорить все начистоту. Сначала она сослалась на невысокую грамотность, а потом, запыхав щеками, призналась:

— А еще, знаете ли, у меня отец сидел: овес с фермы выносил...

Ей сказали, что овес это не помеха, тем более что и отец ее давно умер. Но во второй раз почему-то уже не предлагали. И в Ане разыгралась гордость. Она даже хотела отказаться от общественных поручений. Но Николай Егорович ее в этом не поддержал. Да Аня и сама понимала, как важно ей быть на виду. Не теряла она и надежды получить от фабрики отдельную квартиру, поэтому портить отношения ни с кем не хотела.

— Мальчика-то возьмешь, когда квартира будет? — спрашивали те, кто знал, что у Ани растет в деревне сын-нишка.

— Была бы квартира! — со вздохом отвечала Аня.— Дождись-ка ее!..

Но Николай Егорович никакой квартиры не хотел ждать.

— Когда за малышом поедем? — все время спрашивал он.

«Малышу» шел уже седьмой год. Бабка обочлась месяцами и с осени записала его в школу. Метрическое свидетельство Юры было в Москве у матери, и бабке поверили на слово, что парню полных семь лет, и приняли его в первый класс. Тем более что Юра был очень большой и очень самостоятельный.

В долгие зимние вечера он, обученный буквам еще в доме Шубкиных, стал сам читать. Книжек в достаточном количестве бабка ему добыть не могла, и он читал журналы «Огонек», «Смену», «Крестьянку».

В школе Юре очень понравилось: он тут оказался первым учеником. Его посадили поближе к доске, и если кто чего-нибудь не знал, он вставал и говорил. И был тщеславием в мать: ответит верно и всех оглядит, улыбаясь. Рыжие волосы, уши, нос у него были шубкинские, розовые щеки — Анины, а зубов вообще никаких не было — менялись.

Аня и Николай Егорович приехали в деревню к Аниному дню, двадцать второго сентября. Шли со станции и увидели Юру. Он шагал из школы, одетый в замызганное пальтишко, из которого давно вырос. В руке у него была авоська с книжками, заменявшая портфель. Шапки на нем не было, и голова рыжела издали, освещаемая сентябрьским солнышком. Когда он подошел ближе, то и мать и отчим заметили, что никуда не годятся и ботинки. Ане при этом показалось, что Николай Егорович, который видел Юру в первый раз, был неприятно удивлен. Взгляд его, обращенный на модницу жену, как бы говорил: «Твой ли ребенок-то, что же это ты?..»

Юра не кинулся к матери. Он остановился, оглядел гостей и сказал с ребячьим спокойствием:

— Здравствуйте. Это вы приехали?

Он уже знал от бабушки, что мать нашла себе «хорошего человека». Но это его пока мало касалось. Он не очень рассчитывал, что его отсюда заберут, и не очень к этому стремился. Все лето он ловил в речке раков, приловчившись хватать их за спинку голыми руками. В плетеной клетке у него жил свиристель, в ящике в сенях — кролик. И была некоторая опасность, что в его отсутствие бабка может свиристора выпустить, а кролика ободрать.

Юра холодно взял у матери песочное кольцо, обсыпанное орехами. Но тут же съел его и посмотрел на второе. Это второе подвинул ему уже Николай Егорович. Юра по-

смотрел пристально в его искусственный глаз и стал грызть кольцо.

Потом, не обращая внимания на приехавших, словно это были совсем посторонние люди, Юра положил на стол свой букварь и нарочито громко стал читать, как бы желая показать, какая ерунда для него этот букварь:

— «Мама варила кашу. Катя кашу ела...»

Его локти, которыми он уперся в стол, были порваны, у ворота не хватало пуговок. Придя из школы, он снял корявые ботинки и теперь стоял только в носках, из которых торчали маленькие грязные пальцы.

— Мама, да что же ты так его водишь? — недовольно заметила Аня. — Рваное все на нем.

— Озорничает много, вот и рваное, — сказала бабка. — А с меня теперь не больно спросишь: я вам не молодая ведь, все свои сроки отработала...

И «баба Ньюха» вдруг заплакала, захлюпала. Аня поймала ее взгляд, брошенный на Николая Егоровича. И поняла: мать расстраивается потому, что зять ей не понравился, совсем на другого рассчитывала, на молодого и на красивого. Хотя Аня и постаралась, чтобы Николай Егорович выглядел поинтереснее, но «бабу Ньюху» обмануть было трудно: та в свое время знавала красивых мужиков.

Чтобы удержаться, не сказать ненужного, бабка ушла в огород. Там дергала к столу позднее луковое перо и потихоньку горевала. Следом за ней вышла и Аня.

— Мама, ты что это номера выкидываешь?..

Николай Егорович тоже понял, что не имел успеха у тещи. И подвинулся к Юре:

— Пятерок много уже получил?

— Много, — тихо сказал Юра. Он присматривался.

— По какому же предмету?

— По всем.

— И пишешь чисто?

— Не очень... Скажите, а почему у вас такой глаз?

Николай Егорович в первый раз улыбнулся.

— На войне мне выбили. У меня только один свой. А этот стеклянный. Точно в цвет не подобралось.

Юра подвинулся к отчиму совсем близко.

— А вы им видите?

— Нет, ничего не вижу. Одним обхожусь.

...А в огороде в это время шел совсем другой, более нервный разговор.

— Не пойму я, чего тебе надо, мама,— уже сердясь, говорила Аня.— Мне с ним хорошо, а тебе какое дело?

Мать мяла в пальцах луковое перо и дрожала губами.

— Ты смотри, как он к ребенку отнесся... Ты еще не знаешь, как другие женщины с мужьями на этой почве мучаются.

С крыльца сошли Николай Егорович и Юра.

— Можно мы минуток на десять гулять пойдем? Вон Юрий мне что-то показать хочет.

Они пошли по деревне, ветер гнал им в спину опавшие кленовые листья. Юра шагал чуть вразвалку, руки кинул за спину, изображая взрослого. Николай Егорович поглядывал на него и соображал, как бы его сегодня подстричь немножко. И если есть возможность, то и отмыть. Зарос парнишка, а ведь ему завтра опять в школу.

Они вышли к сараям, стоявшим на отшибе, посреди сжатого, пустого овсяного поля.

— Что же ты мне показать хотел? — спросил Николай Егорович.

— Да ничего. Пусть они там себе разговаривают. А мы тут с тобой будем.

Николай Егорович помолчал и сказал:

— Хороший ты мальчик.

Они присели на ворошок соломы. Из-под него выбежала мышка полевка, но Юра не испугался.

— А ты можешь свой глаз снять? — спросил он.

— Могу.

— Тогда ты лучше его не надевай. А завяжи глаз черной повязочкой. Всем будет понятно, что ты инвалид Отечественной войны. А так не понятно.

— Ты думаешь? Ладно, сделаю.

Юра посмотрел очень пристально на Николая Егоровича. И осторожно потрогал не очень чистыми пальцами его порченную ранением щеку.

— Только я боюсь, что тебе мама не разрешит: с глазом красивее.

Николаю Егоровичу стало не по себе: ведь что-то он думает сейчас, этот рыженький пацаненок!.. Видел их с матерью вдвоем какой-нибудь час, а уже построил выводы. Но Николаю Егоровичу было радостно, что всего час потребовался, чтобы они с Юрой сошлись.

Над голым полем промахали крыльями отлетающие грачи. Юра сделал движение руками, как будто целился в них. Большой нос его озяб. Он подобрал под соломой ноги.

— Сколько уж ты в деревне живешь? — спросил Николай Егорович.

— Давно. Два года.

Николаю Егоровичу Аня далеко не все рассказала относительно Юры. Он и сам родился и вырос в деревне, и ничего необычного в обстановке, которую он застал в доме у тещи, для него не было. Наоборот, ему, проводшему детство в крайней бедности, сразу бросился в глаза хороший достаток, только, пожалуй, порядка не хватало. Но было как-то тяжело, что они с Аней в Москве ходили по театрам, по гостям, а тут дичал этот малый в обществе бабки-нелюдимки. Ну ладно еще летом, туда-сюда побежит, в лес, на речку. А зимой-то как же они?..

— Замерз? — спросил Николай Егорович Юру.

— Нет, я мальчик не зябкий, — сказал тот, желая, видимо, продлить их разговор наедине.

...Дома их ждал стол с ужином.

— Ну что он там тебе интересного показал? — уже поладив с матерью, весело спросила Аня у мужа.

— А это уж у нас с ним мужской секрет, — тоже весело ответил Николай Егорович.

Они пробыли в деревне три дня. Больше Николаю Егоровичу с Юрой погулять наедине не пришлось: стенкой полил дождь, еще похолодало. Бабка топила печь.

Юра пришел из школы и увидел, что мать собирается к отъезду. Он все еще не надеялся, что его возьмут с собой, и отнесся к этому внешне спокойно. Достал из сумки тетрадку с пятеркой и показал Николаю Егоровичу:

— Еще одну получил.

— Молодец!

Аня сказала не без волнения:

— Видишь, Юрочка, я вам с бабушкой денег оставляю. Мы тебе книжки вышлем и тетрадки. Бабушку не обижай, слушайся. Тогда мы и тебя в Москву возьмем.

— Это когда? — серьезно спросил Юра.

— Скоро... На тот год.

Провожать до станции Юру тоже не взяли. В последнюю минуту он в темных сенях повис на руке у Николая Егоровича, но ничего не сказал, чтобы не услышали мать и бабка.

Аня поручила мужу нести корзинку с яйцами и ведро с солеными грибами. Николай Егорович утратил весь свой франтоватый вид. Но это делали не корзина и ведро: попорченное ранением лицо его было так мрачно, так опустились плечи и виновато выгнулась спина, что казалось — идет по

деревне не сорокалетний мужчина, а какой-то невзрачный старичок. К тому же и дождь моросил...

— Да ладно, Коля,— уже в вагоне сказала Аня.— Ты же видишь, что я и сама переживаю. В школу его в Москве в шесть лет не примут, а тут он уже при деле и к маме привык.

Николай Егорович поднял на жену свой единственный глаз и вдруг тихо произнес ругательную фразу. Никогда Аня от него ничего подобного не слыхала и поэтому очень испугалась. Ей и не понятно было: кого Николай Егорович, собственно, ругал: ее самое, угрюмую тещу или судьбу...

Аня оправилась от испуга и сказала дрожащим, обиженным голосом:

— Что это ты, Коля, себе позволяешь? Считаешься культурным человеком...

— Юру они взяли из деревни на следующую осень. Бабка плакалась:

— Теперь и съест ничего не захочешь — одна!..

— Мама, я поперек своему мужу не пойду,— сказала Аня.— Он Юру усыновить хочет.

«Баба Нюха» во всем видела корысть:

— Как не хотеть! Своих-то нету.

Аня по поводу «своих» помалкивала. Пока с нее хватало: есть один сын.

Юре купили новое пальто, и сразу же по прибытии в Москву Николай Егорович повел его в парикмахерскую. Потом они посетили зоопарк и Музей Вооруженных Сил.

— Я хочу быть военным,— серьезно сказал Юра.

— Почему?

— Как почему? Разве не нужны разведчики? Столько книжек про это!..

Вечерами Юра читал вслух, читал очень бойко, с выражением. Аня прислушивалась немножко испуганно: это в восемь-то неполных лет!.. Что же в двенадцать будет? Этак дурочкой рядом с ним окажешься.

В первую ночь Николай Егорович встал и поглядел, как Юра спит. Для мальчика еще не было одеяла, он лежал под Аниным старым пальто, от которого пахло химчисткой и невыветрившейся ванилью.

«Голова у него не разболелась бы»,— подумал Николай Егорович.

Некоторое время он, рискуя отвыкнуть от протеза, не носил своего искусственного глаза и прятал ранение под черной

повязкой. Ане он не сказал, что это он делает для Юры, а сказал, что самому так легче.

Юра не ластился к отчиму. Но Аня замечала, что смотрел ли телевизор, обедали ли, играли ли в лото, Юра всегда садился рядом с Николаем Егоровичем, а не с нею. Свой школьный дневник он показывал только ему. Обращаясь к отчиму, Юра словом «папа» не злоупотреблял, зато в третьем лице он произносил это слово часто и с радостью:

— Когда папа придет? Мы с папой пойдем!..

Каждую субботу они с Николаем Егоровичем совершали поход в Ямские бани. В квартире была ванная, но все равно они предпочитали баню. Тут Юра, не рискуя показаться подлизой, изо всех сил тер мочалкой узкую спину Николая Егоровича. Тут увидел он впервые все его швы и шрамы и в порыве детской благодарности за подвиги прижался к ним своим намыленным животом. Он помнил, как в деревне раз три в зиму его мыла в корыте бабка, как это его раздражало и как он всячески от этого мытья увиливал. А теперь он только и ждал, когда Николай Егорович наберет в шайку воды, даст ему пощупать, не горяча ли, положит его на лавку и одной горстью будет поливать ему на спину, а другой рукой будет мылить и полегоньку тереть. Николай Егорович приучил Юру и париться. Потом он выпивал кружку пива, а Юре покупал лимонаду, и они выходили из бани и всю дорогу до дома веселились: такие они оба были чистые и красивые.

Вторым большим удовольствием для них обоих было ходить в гости к тете Стеше, сестре Николая Егоровича.

Стеша была роста очень маленького. Видимо, вся порода у них, у Кушаковых, вышла такая мелкая. И если Николай Егорович ел для мужчины не много, то Стеша вовсе ничего не ела, только много пила чаю. И одежду себе покупала в «Детском мире». Была она женщина почти неграмотная, еле-еле расписывалась и работала уборщицей: убирала несколько подъездов в кооперативном доме у ученых. К этим же ученым ходила убираться по квартирам. Много времени уходило у нее и на поликлиники: постоянно Стеша лечилась, выстаивала в очереди на процедуры.

Аня со своей единственной золовкой как-то не сошлась. Ей казалось, что Николай Егорович слишком уж радеет для своей сестры. Правда, Аня знала, что Стеша Николая Егоровича вырастила, хотя сама была старше его всего на девять лет, ходила с ним на руках побираться в голодные годы. Но все это было давно, а сейчас Ане казалось, что Стеша ее недостаточно высоко оценила, не сказала, что

брату повезло: нашел себе молодую, красивую. К первому посещению их Стешей Аня всего наготовила и ждала похвал. Но Стеша почти ни крошки не съела, только выпила две чашки чаю «с пустом». И весь вечер промолчала. Аня не догадалась, что это от робости. И по уходе золовки позволила себе заметить:

— Немые — и те на пальцах показывают, а эта сидит, как чурка. Нечего и удивляться, что никто замуж не взял.

Посетила и она Стешу. Та не по скупости, а по недостатку фантазии купила какой-то торт. Побоялась, что своей стряпней не угодит.

— Когда покупаете, на дату выпуска надо глядеть, — заметила Аня. — Ему пять суток.

Больше она к Стеше не собралась — не понравилось: тесно, душно, поговорить не о чем. Николай Егорович ходил туда один, потом, когда привезли в Москву Юру, они отправились туда вместе.

Вернувшись домой, Юра сказал матери:

— А у тети Стеши на окошке зеленая травка растет!

По неясной для Ани причине Стеша сразу привязалась к Юре, будто он был какой-то сирота. Чем он ей угодил, Аня так и не узнала. Но поскольку это все-таки была родная сестра ее мужа, ревновать не приходилось: другая бы вообще брата отговорила чужих детей усыновлять. Но родственных отношений между Аней и Стешей так и не получилось.

В квартире, где жила Стеша, был телефон. Сама она позвонить не решалась, наверное, из-за Ани, да и робела перед телефонным аппаратом. Звонил ей всегда Юра.

— Позовите, пожалуйста, Степаниду Егоровну Кушакову.

Стеша прижимала трубку к уху и шелестящим голосом говорила:

— Алё!.. Кушакова слушать.

Тогда Юра кричал:

— Тетя Стеша, мы с классом идем на «Аленький цветочек»! Тебе надо посмотреть. У нас многие ведут своих родителей.

— Да нет уж, — продолжала шелестеть Стеша. — Куда я?.. Ты с отцом иди.

Уговорить ее не удавалось. Стеша двадцать лет прожила в Москве, а в театре не была. Раз только видела выездной спектакль в клубе.

— Отметков-то плохих нет у тебя, Юра?

— Конечно, нет! Что ты, тетя Стеша!..

Когда Юра с Николаем Егоровичем раз в неделю приходили к ней, Юре разрешалось сидеть, сняв ботинки, с ногами на огромной, пышной постели. Его очень удивляло, почему у такого маленького человечка, как тетя Стеша, такая большая постель. Тем более что, кроме этой постели, в ее комнате уже почти ничего нельзя было поставить.

— Оставались бы ночевать, — говорила им каждый раз Стеша.

Юре очень хотелось остаться, но Николай Егорович торопил его и уводил домой. Стеша шла проводить их до трамвая. Все трое они были почти одинакового роста.

Дома Юра передавал матери привет от тети Стешы.

— Ну как она там? — великодушно осведомлялась Аня.

— У нее давление. Сто пятьдесят на девяносто.

Аня поглядела на своего рыженького сына:

— Все ты знаешь!

А Николай Егорович трепал Юру по волосам: он был ему благодарен за Стешу.

Будь он другим человеком, он бы и не заметил, что чего-то не хватает в отношениях между Аней и ее сыном. Вроде она его и любит. Но любит как тетка племянника или как теща зятя: рядом — хорошо, а лучше — на расстоянии. Отчасти Николай Егорович мог это понять: ребенок вырос на чужих руках, в стороне, и, за исключением некоторых внешних черт, ни повадкой, ни характером не был похож на свою мать. И не то чтобы Юра боялся ее, но он был настороже: вдруг она не поймет и обидит. Что-то похожее Николай Егорович находил и в своих взаимоотношениях с Аней. Может быть, это их с Юрой и сближало. У них даже тайны общие появились. Так, они оба тайком вздыхали об Элине Быстрицкой.

— Ох, глупые!.. — сказала тетя Стеша, когда они открылись ей. — Да на кой же вы ей нужны, Елине-то этой?

С тех пор, как взяли Юру, Ане хлопот прибавилось и заметно убавилось в комнате места. На ночь складывали стол, чтобы ему постелить. И если Аня тяготилась главным образом теснотой, то Николая Егоровича подчас раздражало другое: она часто забывала, что сыну уже десятый год, что не все при нем можно говорить, тем более что мальчик понятливый. Он ловил себя на том, что даже если Юра и неправ, то ему хочется принять его сторону.

Раз Юра наклеил на стенку какой-то корабль, вырезанный из журнала.

— Что ты обои-то портишь? — прикрикнула Аня. — Не мог кнопкой приколоть?

— Тут мое место, — хмуро сказал Юра.

— Твое!.. Твое — у бабки в деревне.

— Чтобы я этого больше не слышал! — вдруг прикрикнул Николай Егорович, в первый раз указав жене, что не она, а он в этой комнате хозяин.

Аня резкость мужу простила: в конце концов, речь шла об ее же собственном сыне. Но размолвки из-за Юры на этом не прекратились.

Как-то Аня принесла с работы три билета в кино.

— Папа говорит, что мне эту картину смотреть не надо, — сказал Юра.

— А куда же я билет дену? Уж очень много твой папа понимает!

Потом Аня шепотком спросила Николая Егоровича:

— Коля, про что картина-то? Там, говорят, про это...

— Именно, что «про это», — Николай Егорович покачал головой. — Ведь знала!

Аня виновато вздохнула. Когда Юра уснул, сказала мужу:

— Что же это мы ссориться стали, Коля? Так хорошо жили!..

...Весной пятьдесят девятого года Юра перешел в пятый класс со всеми отличными отметками. На радостях они с Николаем Егоровичем поехали кататься на речном трамвае. Погода не задалась, дождливо. Но они не жалели, что поехали.

— Не раздумал военным-то стать? — спросил Николай Егорович.

— Конечно, нет.

Юра в свои одиннадцать лет ростом почти догнал отчима. Стал крупным, видным, большеголовым малым. И все-таки приходилось следить, чтобы у него и уши и шея были чистые.

— У военных разлуки много, — осторожно сказал Николай Егорович.

— С тобой мы все равно будем видеться. А если меня куда-нибудь забросят, мы придумаем код.

— Ладно, — согласился Николай Егорович. Снял свой плащ и накинул на Юру.

Летом Аня свезла сына в деревню к бабушке. А вернувшись, навела в комнате образцовый порядок.

— Выкину я Юркино барахло, — сказала она мужу,

извлекая из-под дивана железки и моточки проволоки.— Приедет, новых натащит.

Но железки Юре уже не понадобились. Как сына инвалида участника Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов — «Славы» и «Красной Звезды», его приняли в Суворовское училище.

Что-то подсказывало Николаю Егоровичу, что так лучше для Юры. Но когда он его туда отвез, то на обратном пути вдруг почувствовал боль в сердце и еще на вокзале зашел в медпункт.

— Не выпили? — сразу спросил врач.

— Нет,— сказал Николай Егорович.— Не пью.

6

Николай Егорович и Аня опять остались вдвоем. Аня немножко потосковала, муж ее стал еще молчаливее. Кончились телефонные переговоры со Стешей: и Юры не было, и Стеша теперь часто лежала по больницам. Как-то раз Аня, чтобы угодить мужу, побежала к ней во Вторую Градскую... Стеша почему-то испугалась: если уж Аня пришла, то не конец ли?

А на своем сладком производстве Аня по-прежнему преуспевала. Приносила домой по сто двадцать, по сто сорок рублей, теперь уже в новых деньгах. Всего десятки на две-три меньше мужа. И по-прежнему состояла в общественниках: три года подряд была председателем цехового комитета. Но Николай Егорович хорошо помнил: когда они познакомились и потом поженились, Аня этой работой была очень увлечена и никакое общественное поручение ее не тяготило. Теперь же она приходила с фабрики и начинала с того, что кого-то ругала и жаловалась Николаю Егоровичу, что ее работой задушили, что она воз тянет, что все это последний год и т. д.

— Это верно, что тяжело, когда желания нету,— заметил Николай Егорович.

— Что значит желания нет? Просто уже никакие нервы не выдерживают.

— Отведись.

— «Отведись»!.. Сколько сил отдала! Соплюхи эти, что ли, меня заменить могут?

Николай Егорович взглянул на жену своим одиноким глазом, словно хотел сказать: ну, ты, спасительница отечества!.. Но сказал обычную в этих случаях фразу:

— Незаменимых нет.

В театр они теперь ходили все реже. Во-первых, купили телевизор. Во-вторых, все, что раньше Ане нравилось безоговорочно, теперь уже как-то не волновало. Некоторая слабость осталась у нее по-прежнему к Театру Советской Армии, и лучшей актрисой она почитала Людмилу Касаткину.

Жили они с Николаем Егоровичем мирно, никогда между собой не скандалили, не повышали друг на друга голос и для окружающих были очень удобными соседями. Николай Егорович охотно давал займы, а Аня не занимала своими вещами общих углов в коридоре, не развешивала своего белья над чужими кастрюлями. Оба никогда не висели на общем телефоне, разве что Аня по своим профсоюзным делам.

Но за последнее время у нее была только одна неотвязная мысль, вытеснившая все остальное, — отдельная квартира. И в связи с этим снова ожил интерес к общественной работе.

— Я такой воз везу, да если они мне не дадут!..

За короткий срок Аня организовала два культпохода: один — в цирк, другой — в оперетту, выхлопотала у дирекции автобус для экскурсии в Домик в Клину, собрала трем пенсионеркам на подарки и помогла библиотечарше-передвижнице провести в женском общежитии встречу с известной поэтессой.

— Девочки, — еще накануне очень волновалась Аня, — я вас прошу: отложите вы все ваши свиданки. Приедет пожилой человек, стихи про любовь пишет. Послушаете, может быть, и для себя какой-то вывод извлечете.

Встреча в общежитии прошла очень хорошо. Слушали внимательно, потом одарили поэтессу цветами и отвезли домой на фабричной машине. Аня добросовестно отсидела весь вечер, хоть и устала, под конец с трудом одолевала зевоту: встала-то чуть свет.

— Приезжайте к нам еще, пожалуйста, — сказала она, провожая поэтессу, — мы очень поэзию любим.

Дома она пожаловалась Николаю Егоровичу:

— Не умеет все-таки, Коля, наша молодежь себя держать. Выскочили в чем были — в халатах, в бигудях... Хорошо, что я сама в дверях встала, не пустила, пока не оделись как люди.

Николай Егорович заинтересовался, что за поэтесса у них была.

— Я фамилию не запомнила,— честно призналась Аня.— Интересная еще женщина. В черном джерси.

— Ты что же, на показе моделей была? Ведь стихи же слушала.

Аня даже немножко обиделась.

— Ну, знаешь, Коля!.. Не тем у меня сейчас голова занята.

А в голове была квартира. Но квартиру дали не Ане, а Николаю Егоровичу. Для нее это было почти неожиданно: она как-то упустила из виду, что у мужа военные заслуги, что у него нет глаза и что он на своем производстве человек очень нужный и знатный. Если бы он сам об этом ей говорил, она бы уже давно вознегодовала: как это — не считаются с инвалидами войны, не ценят самоотверженного труда!

— Коля!..— сказала Аня, закрыв свои голубые глаза.— Вот теперь мы проживем как люди!

Поставь он ей тут условием, чтобы был наконец ребенок, возможно, на радостях она бы и согласилась. И был бы у него еще сын. Но он смолчал. Ане шел тридцать девятый год. Она столько здоровья и нервов растратила на то, чтобы этих детей не было! Так неужели же рожать в сорок лет?

...Квартиру они получили на Бутырском хуторе, недалеко от завода, где работал Николай Егорович. Аня сбывала светлый рижский гарнитур, купленный восемь лет назад, и купила темную «Ютту». Телевизор «Рекорд» в светлой отделке в эту «Ютту» не вписывался, его отдали тете Стеше, а купили темный «Рубин» на ножках.

Сидя около экрана 50 сантиметров на 38, Аня вновь испытала все живые радости и смотрела все передачи подряд. И если спектакль или фильм ей нравились, то она это относилась опять же за счет размера нового экрана и четкости изображения.

Хлопоты, связанные с переездом на новую квартиру, совсем подорвали Анин интерес к общественным делам: своих дел невпроворот, перевезти все, обставиться. Один только пол циклевали и покрывали лаком целую неделю, обои на свой вкус переклеивали. С другой стороны, Аня все-таки чувствовала себя обиженной: почти пятнадцать лет она не жалела своего времени для других, а если бы не муж, то и сейчас сидела бы в коммунальной квартире.

— Кончать эту беготню надо, Коля,— как-то заявила

она Николаю Егоровичу.— Хорошенького помаленьку им. Если все часы вместе скласть, какие я для людей потратила, можно два института закончить.

Николай Егорович удивленно посмотрел на нее: что это она вспомнила об образовании, без которого прекрасно обходилась? Но он ничего не сказал, только повел плечами.

Надо было знать ее Колю, чтобы понять: молчит-то он молчит, но видит ее насквозь. Знает, как она любит быть на виду, любит, чтобы люди от нее хоть в чем-то зависели, чтобы шли с просьбами, услуживали и даже заискивали. Аня долго помнила, как Николай Егорович рассердился, когда в благодарность за выхлопотанную ею путевку в Ессентуки помогли Ане достать банлоновый костюм, а в другой раз ковер без открытки.

— Тебе скоро, как городничему, носить начнут,— сказал он и долго не хотел заколачивать пробки в панельную стенку, чтобы повесить этот ковер.

— Коля, да ты, ей-богу, как ребенок! — обиделась Аня.— Люди же видят, что я со своим временем не считаюсь. Ну отблагодарили за внимание. Самому же тебе лучше, чем спиной по голой стенке шаркать.

Ковер в конце концов был повешен. Николай Егорович знал, что далеко не всегда Аня действует из голой корысти. Кроме болезней, путевок, походов по театрам и музеям она охотно улаживала семейные ссоры, занималась сватовством, молодым и пожилым была подругой и приятельницей. Но совершенно счастлива она бывала лишь тогда, когда за все хлопоты и усилия ее осыпали словами благодарности. Эти слова стали ей нужны, как воздух. Аня думала, что со стороны это и не заметно. Но однажды получила урок.

Одна из пожилых карамельщиц, когда ей было фабричным комитетом в чем-то отказано (и не по Аниной вине), сказала:

— Разве ты для меня сделаешь? Я ведь тебе не подружка, и отблагодарить мне тебя нечем.

Аня возмутилась, а потом испугалась: значит, что-то стало известно?! И тревожно покосилась на Лиду Дядькину, которая тоже была членом цехового комитета и присутствовала при этом неприятном разговоре.

Но Лида просительницу не поддержала:

— Ульяна Петровна! Разве можно так безответственно!..

Ульяна сразу пошла на попятный, как будто застеснялась Лиды:

— Чего с меня взять, я ведь малограмотная...
«Малограмотная»!.. — горько подумала Аня. — Зарплату получишь, небось сосчитать сумеешь!..»

И, оставшись с Лидой один на один, спросила:

— Ну, ты скажи, Лида, за что?..

Всегда веселая Лида сидела, сжав губы.

— Аня, ну что я тебе буду говорить? Ты сама все прекрасно понимаешь.

Когда-то у них с Лидой Дядькиной была большая дружба. Как-никак, а ведь это она познакомила Аню с Николаем Егоровичем. Потом у Ани ничего с вечерней школой не вышло, а Лида без особых охов и стонов одолела восьмой, девятый, десятый и вышла замуж за своего одноклассника, белоруса Петю Луковца. Аня с Николаем Егоровичем ходили тогда к Лиде в гости — обмывать сразу два аттестата зрелости. Хозяйке предстояло родить, но она порхала бабочкой. Ждала уже второго, а первый мальчик только еще ползал по полу.

— Что это ты, мать, ясли на дому устраиваешь? — шутя спросила Аня. — Сверх плана выдавать начинаешь.

— Нам можно, — весело отозвалась Лида, — качать есть кому: у Луковца моего день ненормированный, да еще свеков в запасе.

Потом призналась Ане:

— Уж я все рассчитала: в марте — в роддом, до сентября кормлю, а там — бабке в лапы. И полный вперед, на заочное!

Теперь Лида была уже на четвертом курсе Пищевого института. А самый младший, уже третий по счету, Луковец не давал ей по ночам спать и отмотал все руки.

— Это не ребенок, а империалист какой-то! — говорила Лида.

Профсоюзной работой ее Аня старалась не загружать особенно: где уж с тремя грызунами да еще заочнице! Но Лида как будто была двужильная. И то ли характер у нее был полегче, то ли пограмотнее она была, чем Аня, то ли память у нее на обещания была крепче, но Аня стала замечать, что чаще всего со всякими просьбами и предложениями бегут прямо к Лиде, а не к ней. Особенно молодежь.

— Лида, как бы на выставку графики? Поговори, пожалуйста.

— Лидочек, у Нинельки свадьба. Надо нам организоваться

— Лида, а как насчет турлагеря? Ты узнай, пожалуйста, у Доброхотовой.

А что касается сугубо личных просьб, то с ними и вовсе шли к Лиде, словно бы Аню стеснялись. С одной стороны, Ане казалось нормальным, что со всякими пустяками не лезут сразу к ней, как к равной, как к подруге. С другой стороны, было все это и как-то тревожно: уж не утратила ли симпатий и доверия?

— Что это ты за посланник такой? — заметила она раз Лиде. — Пусть сами подойдут, если нужно.

Лида Дядькина «наглена на глазах».

— Аня, будем говорить честно: не обязательно ждать, пока подойдут, можно и самой поинтересоваться. Люди все разные: есть такие, что и стесняются.

«Тебя что-то не стесняются! — подумала Аня. — Это мне не с Ульянами Петровнами ухо остро держать надо, а с тобой, милка моя!»

И сказала как можно великодушнее:

— Господи, а чего ж стесняться? Не они для нас, а мы для них.

Перед выборами фабричного комитета Аня сильно поволновалась. Следуя Лидиному совету, сама подходила к людям, интересовалась. Когда одну работницу положили в загородную больницу, Аня собралась и поехала, хотя ехать нужно было тремя автобусами и погода была совсем дрянная. На свои личные деньги купила апельсинов и букетик подснежников.

— Анна Александровна, солнышко! — благодарила больная. — Спасибо вам всем, не забываете меня. Вот и Лидочка уже три раза была.

Казалось бы, Аня могла только радоваться, что ее помощники без всякой указки, не в порядке поручения, съездили, навестили больного человека. Но она возвращалась из больницы с тяжелым чувством. Опять эта Лидка!.. Знала бы, так можно было самой и не ездить. И Аня поймала себя на мысли, что не только все эти люди с их болезнями, заявлениями, запросами давно ей не нужны, но, что самое главное, и она-то сама им давно не нужна. Уйди она в сторону, разве жизнь остановится? Цех будет работать, карамели выпустят, сколько надо. А захотят выставку графики посмотреть, так та же Лидка их сводит.

На перевыборах Аня отчиталась в проделанной цеховым комитетом работе и попросила ее освободить. В душе была у нее некоторая надежда, что самоотвод ее принят не

будет и что попросят ее и дальше поработать. В заключение своей просьбы она добавила со свойственной ей игривостью:

— А то, знаете, на меня уж муж мой обижаться стал. Ревнует, поскольку я совсем дома не живу.

Она знала, что никто ее слов Николаю Егоровичу не передаст. И ей было приятно, что присутствующие на собрании мужчины посмотрели на нее с особым значением.

Но Анины тайные надежды не оправдались: самоотвод был принят. Правда, в протоколе записали, что возглавляемый ею цеховой комитет работал хорошо, люди не считались со временем, обеспечили борьбу за качество продукции, за культуру труда, провели большую культурно-массовую работу и т. д. Но было записано, что именно люди, а не персонально она, Анна Александровна Доброхотова.

— Отдохнешь, Аня, — сказал ей кто-то из бывших подружек, желая поддержать: заметили, как она повяла.

— Неужели нет! — с вызовом воскликнула Аня. — Конечно, отдохну.

И подумала: «Чего я психую? Ведь сама же этого хотела».

Успокоить себя ей не удалось. Домой она вернулась взволнованная, с красными пятнами на щеках.

— Ты представляешь, Коля, кто на мое место метит? Соседушка наша бывшая, Лидка Дядькина. Знаешь, какую карьеру баба делает!..

И Аня стала рассказывать мужу, что Лиду посылают от фабрики на «Голубой огонек», какому-то ансамблю торт преподносить.

— Вчера репетиция была. Шла с этим тортом, так небось ног под собой не чувствовала!

Николай Егорович благодаря жене был в курсе дел Лиды Дядькиной. Знал, что семейство все прибавляется, что Лидин Луковец хоть и любит детей, но уже обалдел от них. Что со свекровью у Лиды контакта не получилось, а сдать всех ребят на пятидневку ни у Лиды, ни у ее мужа духу не хватало.

— Не понимаю, Коля, ради чего она на себя этот хомут надела, — сказала Аня. — Требования сейчас к профсоюзной работе поднялись, только успевай поворачиваться. А квартиру им и так после третьего ребенка дали. Зуд, что ли, у ней такой — на людях-то вертеться?

— Зато ты отзудилась, — сказал Николай Егорович. — Теперь, может, соберешься, Юре письмо напишешь.

Двадцатилетний Юра уже учился в одном из ленинградских высших военных училищ. Два раза в году приезжал к родителям. А Николай Егорович по субботам ходил на междугородную, заказывал разговор на пять минут.

— Ты знаешь, Коля, как я не люблю писать,— созналась Аня.— Теперь мы вполне к нему и съездить можем.

Она словно бы ссылалась на то, что раньше при ее загруженности о родном сыне подумать некогда было. Николай Егорович все ее маневры угадывал, но сейчас он видел, что жена все-таки расстроена, что, может быть, это первые в ее профсоюзной карьере настоящие тяжелые минуты, и ничего больше ей говорить не стал. Налил ей чаю.

Казалось бы, в результате он сам только выиграл: Аня, свободная от общественных хлопот, теперь все внимание перенесла на него самого. Но они вдруг поменялись местами: теперь позже стал приходить домой Николай Егорович. Аня была удивлена и обижена, потребовала объяснений.

— Ребятам помочь нужно было. Молодые совсем, только из профтехучилища.

— Понятно! — заключила Аня.— Это ты за квартиру стараешься. Брось, Коленька, производство тебе и так обаяно.

Николай Егорович, чтобы таких замечаний избежать, старался задерживаться не слишком часто, особенно по субботам, когда у Ани была стирка. Мужа она уже давно не пускала ходить по баням. Да одному, без Юры, ему это и не доставляло большого удовольствия. Хотя Николаю Егоровичу было непонятно Анино отвращение к баням и прачечным, но он охотно помогал ей возиться со стиральной машиной и развешивать белье на лоджии.

— Только трико свои не вешай на самый вид,— просил он.

— Интересно!.. Да ведь они чистые.

Николай Егорович усмехнулся.

— Ты вот фильмы разные смотришь — разве там вешают?

Один только раз Аня поступилась субботней стиркой: по телевизору показывали «Свадьбу в Малиновке». Они уже видели эту «свадьбу», поэтому Николай Егорович к телевизору не сел, а поместился где-то сбоку от Ани с газеткой. В разгар событий на экране он поднял голову, но посмотрел не в телевизор, из которого неслись веселые бабьи визги, а на Аню. Она сидела раскрасневшаяся, в халате из

яркого жатого ситца, с голыми руками. С розовой ноги ее свалилась тапочка. На лице у нее была написана такая радость причастности к событиям в Малиновке, что Николай Егорович не смог сдержать усмешки. Он отложил газету и тоже стал смотреть, стараясь понять, что же все-таки так радует его жену. Но так и не понял.

После картины Аня поставила чайник и накрыла вечерний чай. Она сама пила его всегда почти пустой: конфеты и печенье давно приелись ей в цехе. В крайнем случае пила с сахаром и оставляла себе к чаю кусок селедки, чтобы лучше пилося.

...Теперь, в отдельной квартире, им было так спокойно!.. За стенами не раздавалось никакого шума, разве что лифт прошипит на лестнице. Не обязательно было мыть с вечера посуду, можно оставить на утро — кухня своя. Можно полураздетой, а то и совсем раздетой выйти в коридор. Аня очень удивлялась своему Коле, который всеми этими возможностями не пользовался. Но она не была неблагодарной: она помнила, что радостями отдельной квартиры обязана Николаю Егоровичу. И первые полгода в этой квартире у нее с мужем был опять медовый месяц, за который она расплатилась трудным абортom. Но, оправившись после него, снова расцвела.

...Кто бы посмел сказать, что она своего мужа не любила! Но Аня начала как-то тяготиться собственной верностью мужу, который, как ей казалось, этого в должной мере не ценил: ни разу ее не приревновал, ни разу не допросил, где она была, что делала. А ведь она, между прочим, не в диком поле скотину пасла, а среди людей работала, где есть на кого поглядеть, с кем провести время. Словом, на Аню надвигался «бабий век», и она стремилась взять от жизни свое. Может быть, времени свободного стало побольше, голова разгрузилась?..

Она не могла пожаловаться на холодность мужа. Но Николай Егорович никогда не был особенно активен, как будто боялся навязываться. В последнее же время он взял привычку задерживаться с «пацанами» из профтехучилища, приходил усталый и словно бы не замечал жены.

В общем получилось так, что Аня два раза изменила своему Николаю Егоровичу.

Она давно уже заметила, что к ней равнодушен технолог из их цеха, человек не очень молодой и семейный. Но ведь и она была не барышня. Как-то согласилась посидеть с ним в кафе «Гвоздичка». Потратился он всего на четыре

рубля восемьдесят копеек, но уже как-то обязал. Потом пригласил в «Софию». Аня там наелась жареной баранины, у нее ныла печень, но Николаю Егоровичу она пожаловалась на сердце и даже послала в аптеку взять валерианки.

Первая измена произошла в день Восьмого марта. На фабрике устроили вечер в складчину, и за Аню пятирублевый пай внес технолог. После вечеринки он поймал такси и привез Аню в один из кривых переулков на Переяславке. Они ощупью спустились по темной лестнице в полуподвальное помещение. Анин кавалер открыл ключом какую-то холодную дверь, и она очутилась на горбатом, шершавом, тоже очень холодном диване. Оказалось, что здесь была контора ЖЭКа, где технолог работал по совместительству. Тут недавно делали ремонт, и Аня все пальто увальяла в побелке.

— Что же, лучше места не придумали? — в сердцах сказала она технолог и подумала: «Десятки две потратил, так уж думает, что можно как последнюю!..»

И потом она не столько переживала измену мужу, сколько ей страшно было вспомнить диван, на котором она лежала. Она и с технологом перестала здороваться после этого. И сердилась на Николая Егоровича, который в тот вечер не пошел с ней вместе на праздник и тем самым не оградил ее от всяких ухаиваний.

В другой раз вышло вовсе нелепо! Умирала в больнице Стеша. Около нее сидели Николай Егорович и приехавший на несколько дней из Ленинграда Юра. А Ане во что бы то ни стало нужно было забрать по открытке из магазина холодильник «Ока». Она привезла его домой на такси, и шофер, молодой молчаливый парень, помог ей этот холодильник внести. Он не сразу ушел, топтался в коридорчике, и Аня решила попросить его сдвинуть кухонный шкаф, чтобы холодильнику было место. И когда они оба оказались затиснутыми в угол, то даже трудно было понять, кто кого первый обнял.

Когда Аня закрыла за этим таксистом дверь, то с опозданием испугалась. Во-первых, жильцы из соседней квартиры могли заметить, что он долго у нее был. Во-вторых, парень этот мог быть и больным. А в-третьих, ей показалось, что он шарил глазами по обстановке. Потом обчистят, и следов не найдешь. Но вскоре Аня успокоилась, вымылась в ванне, и стала ждать из больницы мужа и сына.

А те сидели в сквере недалеко от больницы. Николай

Егорович плакал, и ни он сам, ни Юра не хотели, чтобы Аня это видела. Стеша скончалась час назад.

Была середина апреля, в сквере еще лежали островки снега. На Юре была плотная шинель, а на Николае Егоровиче второпях надетый старенький плащ и холодная кепка на голове.

— Пойдем, папа. Ты ведь замерз.

— Сейчас пойдем. Погоди, Юра...

Так они и сидели: один пожилой, маленький, какой-то убитый, другой совсем молодой, высокий, крупнолицый. А думали оба об одном — о покойной Стеше. Юра вспоминал о том, как, попав в Суворовское училище, он первое время очень тосковал и хотел убежать. Но не домой, а к тете Стеше: она бы его приютила, а мать, конечно, послала бы обратно.

А Николай Егорович вспоминал, как пришел сразу после женитьбы на Ане к своей сестре. Сказал, что ему теперь хорошо. А она на это сказала:

— Дай бог, чтобы на подольше!..

Значит, не надеялась, что это навсегда. Хотела только, чтобы ему подольше хорошо было.

Перед смертью Стеша два дня ничего не говорила, никого не узнавала, но незадолго до конца вдруг сказала Николаю Егоровичу и Юре:

— Оставались бы ночевать...

Наверное, ей показалось, что она опять у себя дома, на своей огромной постели, и что Юра еще маленький...

— Давай я такси поищу,— предложил Юра отчиму.— Ты устал очень.

— Ничего. Дойдем с тобой потихоньку.

После Стешиной кончины близких родных у Николая Егоровича не осталось. Конечно, он понимал, что, случись что, за его спиной целый коллектив товарищей, весь завод, на котором он проработал с самой войны. Но он не хотел перед собой лицемерить: важно было, чтобы свой человек пришел в последний час. И его утешало, что такой свой у него есть — двенадцать лет назад усыновленный им рыженький мальчишка, Юрка.

— Ну, пойдем. Темнеть стало.

Аня открыла им дверь и спросила тревожно:

— Что это вы так поздно?

Николай Егорович молчал. Юра сдержанно рассказал матери кое-какие подробности Стешиной смерти.

Аня попробовала всплакнуть, но это у нее получилось недостаточно искренне. И Николай Егорович оборвал ее:

— Хватит!..

Аня вздрогнула и замолчала. Это было нелепо, но ей показалось, что муж догадывается о ее сегодняшнем приключении с таксистом, что обязательно на ней остался какой-нибудь предательский след, который или муж или сын заметили. Но Николай Егорович на нее и не глядел, а Юра если и встречался глазами, то больше из вежливости.

— Я, папа, на поминки остаться не могу, — сказал он. — С кладбища — прямо на вокзал. Надеюсь, мама тебе поможет.

— Чего помогать! — отрывисто кинул Николай Егорович. — Там жильцы в доме все хотят сделать...

И он задержал губами. Юра принес стакан воды и погладил отчиму руку. Аня сидела никому не нужная, оскорбленная. Она как раз и рассчитывала, что хлопотами на похоронах и поминках загладит свое невнимание к покойной золовке.

Похоронив сестру и проводив в Ленинград Юру, Николай Егорович ходил молчаливый и горький, ему было не до того, чтобы разгадывать тайны жены. И Аня, когда страхи заболеть или снова оказаться в положении кончились, только улыбалась сама себе: что поделаешь, когда она всем молодым мужчинам внушает любовь? Ей и думать не хотелось, что и технолог, и таксист просто воспользовались моментом. Таксист, правда, пытался встречу повторить: Аня увидела его с лоджии. Но Николай Егорович как раз был дома, и Аня сделала таксисту знак, чтобы убирался.

«Господи!.. — сказала она сама себе в минуту легкого раскаяния. — Я ведь не за деньги. Другие женщины на целый месяц на юг специально для этого ездят...»

Потом ее начало раздражать, что Николай Егорович все никак не придет в себя после Стешиных похорон и поминок. И, не рассчитав сроков, дней через десять после золовкиной смерти, Аня, без чувства меры накрапившись и сделав волосы еще рыжей, чем они до этого были, попробовала показать своему Коле, как она его любит. Руки ее, которыми она обхватила его за шею, как всегда, пахли ванилью и ликером, но теперь этот запах почему-то показался Николаю Егоровичу противным.

— Да ты что, проститутка, что ли?.. — резко спросил он, увидев у нее на щеке ко всему прочему еще и нарисованные черные родинки.

Аня оскорбилась, но потом подумала, что может же муж, в конце концов, за столько лет ее один раз и обругать.

— Другой бы радовался,— сказала она,— что жена его так любит.

Но Николай Егорович что-то не радовался. Долго еще после Стешиной смерти к нему приходили малознакомые люди, извинялись и просили взять деньги, которые они якобы остались должны за работу покойной Степаниде Егоровне.

«Ничего себе пахла баба! — думала Аня.— Половину Москвы обслуживала!»

Позже она узнала, что Стеша оставила Николаю Егоровичу и Юре тысячу рублей в новых деньгах. Кое-что из ее добра пошло дальней родне, а ей, Ане, не досталось ровно ничего. Была у нее мысль попросить из этой тысячи у Николая Егоровича себе на шубу, но что-то удержало. Уже позднее Аня горько раскаялась в своей деликатности, потому что уже тогда, после Стешиной смерти, появилось у нее ощущение, что мужнина любовь пошла на убыль. Впрочем, она и мысли не допускала, что Николай Егорович куда-то от нее денется.

7

В начале лета они поехали к матери в деревню. Там Аня, оголив плечи и ноги, часами лежала в огороде, на зеленом лужке возле бани, и слушала, как за сараем Николай Егорович строгал что-то рубанком, колотил деревянным молотком по листу железа; у тещи всегда хватало для него поделок.

— Отдохнул бы ты, Николай,— для вида скажет старуха, проходя мимо зятя. А в уме держит одно: что бы это еще такое ему велеть сделать, пока не уехали?

...На голое Анино плечо села маленькая бабочка. Она согнала ее, чуть не раздавив, и на плече остался теплый желтый след. Аня поправила под головой высокую перовую подушку, вынесенную ей в огород матерью. Подушка уже пропахла травой и укропом, который отсеялся по всему огороду.

«Как хорошо лежать-то,— думала Аня.— Позвать что ли, Колю? Да нет, чего его отрывать? Он ведь любит с железками всякими возиться...»

Но, пролежав еще с полчаса, она все-таки позвала: — Коля!

Николаю Егоровичу перешло за пятьдесят. Волос на голове у него осталось вовсе мало, и лицо исхудало. Еще весной Аня придумала, чтобы он носил черные очки: и модно, и

глаза стеклянного не видно. И, чтобы муж, не дай бог, не обиделся, она ему очки достала дорогие, самые модные, два часа отстояла за ними в магазине «Лейпциг».

Аня подвинулась, чтобы дать Николаю Егоровичу место на большой подушке. Но он не лег, а сел рядом.

— Ты бы накрывалась чем-нибудь — обгоришь.

— Да ну, что здесь, Сочи, что ли? Знаешь, Коля, мне вчера с вечера что-то в правом боку все неловко было.

— Кушала много на ночь.

Разговор получался какой-то не слишком ласковый. И Аня с тревогой подумала:

«Может быть, он слышал чего?..»

С матерью у них с первого же дня начались какие-то обидные для Николая Егоровича разговоры. Старуха упорно считала, что Ане в замужестве шибко не повезло. Аня сдержанно улыбалась и говорила, что она в общем судьбой своей довольна. Но мать только трясла головой:

— Да полно-ко!.. За что тебе его любить-то? За то, что ли, что журналы все читает? Тебе бы такой ухарь нашлся!..

— Глупости ты говоришь, мама,— спокойно отзывалась Аня. Но можно было догадаться по тону, что отчасти это и так.

Вечером мать стелила ей на своей постели, а Николая Егоровича норовила «отсадить», спроваживала спать в сени.

— Отдохнешь от него, Нюра. Чай, и там, в Москве, надоед.

«Любит мама не в свое дело лезть»,— думала Аня.

И вот теперь, жалуясь мужу на то, что вчера в боку было неловко, она пыталась оправдаться перед Николаем Егоровичем за то, что последовала совету матери и спала одна.

Николай Егорович тоже прилег, но не рядом с Аней, а поодаль. Теперь, когда он очень похудел, резче стали заметны бугры и швы под его вставным глазом, веко словно еще больше отяжелело, и все чаще Николай Егорович доставал из кармана носовой платок, чтобы вытереть влажную подглазницу.

«Наверняка на маму обижается,— размышляла Аня.— А я-то тут при чем?..»

— Поедем домой,— вдруг сказал Николай Егорович.

— Это почему же?

Он не ответил, но сделал нетерпеливый жест: если, мол, не понимаешь, так что же объяснять?

— Да брось ты, Коля! — ласково сказала Аня и потяну-

ла его за руку.— Хорошо-то как тут! Где ж нам еще и отдохнуть с тобой, как не у своих?

Придя с огорода, Аня посмотрела на себя в большое зеркало. И улыbnулась. Перед отпуском она устала, много работала, на сверхурочные оставалась и сама себя ругала за это, потому что выглядела неважно. Теперь и румянец и бодрость вернулись. Можно спросить любого — никто ей больше тридцати двух, тридцати трех лет не даст... Правду мать говорит, что со стороны Николай Егорович кажется ей почти отцом.

Весь остаток дня Аня была к мужу очень внимательна. Но вечером он сам под предлогом, что жарко, ушел спать в сени. И Аня обнаружила, что ее Коля еще и самолюбив.

«Ладно,— подумала она.— Дома мы с ним разберемся».

Честно говоря, ей были непонятны все эти «усложнения». Если сердится, сказал бы прямо, тещу бы обругал, в крайнем случае наподдал бы им обеим. А Николай Егорович под интеллигентного играет, ходит, как Гамлет из картины. И все же Аня вняла его желанию, и через несколько дней они стали собираться в Москву.

Старуха готовила им гостинцы и плакалась:

— Давленье замучило, голова шаром опухает. Жду, вот Юрик обещался лекарство прислать. А что бы самому приехать? Ростила его, почесть, три года спали вместе. Первый кусочек — ему.

— Мама,— как можно мягче сказала Аня,— парень уже офицер. Что же он около тебя сидеть будет?

Сама она очень жалела мать: та совсем постарела, под глазами мешки, ноги ходят плохо. Главное — очень тяжела стала, грузна, на юбках ни один крючок не сходится. Будь она хоть с зятем в хороших отношениях, взять бы ее к себе. Но ведь они с Колей еще не старые, а комната одна.

Когда они вернулись в Москву, Аня впервые заметила, что ее Коля вроде бы и здесь тяготится быть с ней целыми днями дома, вроде бы скучает. Не догуляв двух недель, он прервал отпуск и вышел на работу. И Аня на него даже немножко обиделась: были планы покататься по каналу Москва — Волга, позагорать на пляже в Пирогове или на Клязьме.

«Так ведь я и одна запросто могу поехать,— подумала Аня.— Не утопят меня там без него».

Проводив Николая Егоровича на работу, она уложила в сумку свой пляжный ансамбль и отправилась в Пирогово. Ей попалась там веселая компания, с гитарой, с вином.

Купались, пили, ели. Аня еще загорела и пополнила, потому что не столько плавала, сколько лежала на берегу и веселилась. Когда подошел срок выходить на работу, она стала примерять свое рабочее платье и обнаружила, что оно теперь ей на нос не годится, везде режет, не дает ходу, а расставлять его уже некогда и нечем.

— Ужас какой!.. Не представляю, Коля: с чего это я?...

И уговорила мужа пойти с ним в универмаг, где купила себе новое, просторное платье. Заодно разорила Николая Егоровича еще и на шелковый гарнитур: покупать так покупать! В этот бельевой гарнитур, наполовину состоящий из прозрачных кружев, она обрядилась и ходила весь вечер по квартире, не задегивая на окнах шторы и радуясь тому, что не тесно, а белое кружево безумно идет к ее загару.

— Хорошо делать стали, Коля,— сказала она,— от импортного не отличишь.

Николай Егорович кивнул. А Аня подумала:

«Стареет. Ходишь перед ним раздевшись, а он с газетой не расстанется».

Этим же летом Аня совершила роковую ошибку: отпустила Николая Егоровича одного в дом отдыха на две недели, оставшиеся у него от отпуска. Опасений у нее никаких не было, тем более что Николай Егорович стал за последнее время особенно необщителен и молчалив, совсем уподобился своей покойной сестре.

Перед поездкой он помог Ане возиться со стиральной машиной. Она не захотела его сильно утруждать.

— Вернешься — тогда чехлы снимем, стираем.

К приезду мужа Аня сняла все занавески с окон, портьеры, чехлы с двух кресел и дивана. Хорошо, что хоть не замочила: Николай Егорович не вернулся. Прислал короткое, как удар, письмо. Это было его первое письменное обращение к Ане. Она даже почерка его как следует не знала и не могла сразу разобрать, что он такое пишет. Но разобрать было необходимо, поэтому Аня все-таки прочла:

«Аня, прости меня, пожалуйста. Не сердись, жить с тобой я больше не могу...»

«Это почему же он не может, почему?.. — ошеломленно спрашивала Аня. — Да чего же я, дура, не понимаю: он дружку себе там нашел!..»

Она решила сразу написать сыну, чтобы помог вернуть

Николая Егоровича. Но было очень стыдно, да и написать как следует Аня бы не сумела. И, швырнув письмо Николая Егоровича, на котором не было обратного адреса, она начала громко рыдать. В первый раз она пожалела, что живет в отдельной квартире: если станет плохо с сердцем, никто и не подойдет, да и поделиться не с кем — хоть вой!

Немного успокоила ее мысль: ведь придет же Николай Егорович за своими вещами. А тогда уж надо его любой ценой крепко схватить. Надо — так она и на колени бросится.

— Только явись! — вслух сказала Аня. — Вряд ли, Коленька, я тебя отпущу!..

Но Николай Егорович за вещами не приходил, и вообще было совершенно не понятно, где он находился. Аня сбегала на его старую квартиру — там никто ничего не слышал. Побежала на квартиру покойной Стеши — там уже совсем посторонние люди жили.

Тогда рано утром Аня подошла к заводской проходной. Завод был огромный, территория тянулась на несколько сот метров. В потоке людей она увидела наконец Николая Егоровича. Он шел в своем хорошем костюме, в котором уехал в дом отдыха, но без подаренных ею черных очков.

Аня не помнила, что и было. Она плакала и угрожала, что бросится под машину. От крика и слез ей стало плохо, и Николай Егорович позвал такси.

Она почти силой заставила его сесть с ней в машину. Он поговорил с одним из сослуживцев и поехал с Аней.

— Ты только скажи: другую нашел? — не стесняясь водителя, спрашивала Аня и хватала Николая Егоровича за руки.

— Нашел, — тихо сказал он. И сделал знак, чтобы она помолчала до дома.

Как только они оказались в квартире, Аня сразу же продолжила допрос:

— Что же она, лучше, что ли?..

Николай Егорович посмотрел своим единственным глазом в красное от слез лицо Ани и опять тихо ответил:

— Лучше.

Она вытерла слезы и сказала громко:

— Сволочь она хорошая! Да и ты тоже. Небось уж с ней отношения имел и ко мне лез?

— Я никогда к тебе не лез, — еще тише заметил Николай Егорович.

— Вот это интересно! Это ты хочешь сказать...

Аня заплакала и опять принялась искать его руки, которые он прятал.

— Коля, неужели ты не представляешь, как я тебя люблю?..

Он отвернулся.

— Это тебе только кажется.

Аня вздрогнула: что это значит «кажется»? Может быть, он про таксиста узнал или про технолога? И она спросила уже робко:

— Разве я в чем перед тобой виновата, Коля?

Николай Егорович ни про какие ее измены не знал и не пытался узнать. А сама Аня пока еще не отдавала себе отчета в том, что изменила ему гораздо раньше, чем отправилась в «Софию» есть баранину с технологом и обнималась в углу за холодильником с молоденьким таксистом. Этому всего год... А если бы Николай Егорович был поречистей, он бы сейчас сказал ей: «Как же ты, кукла с голубыми глазами, не поймешь, что я давно душой с тобой врозь живу!.. Ты думаешь, я старый, поэтому и не интересуюсь твоей красотой? Я еще красоту понимаю, хотя и глаз у меня один и от сердца мне в плечо бьет. Я от друга никогда не ушел бы. А что ж мне из милости-то возле тебя сидеть?.. Разве много мне от тебя нужно было? Хотел, чтобы человеком была...»

Но Николай Егорович всего этого произнести не смог. Он молчал.

В этот раз так они ни до чего и не договорились. Аня даже испугалась: до чего же этот маленький человек упрям!.. Действительно, что ли, царицу какую нашел? Вещей своих он даже не попытался взять, а Ане казалось, что пока его пальто, пиджаки, брюки в ее руках, еще не все потеряно.

Через два дня она опять подкараулила его у проходной и тут увидела на нем незнакомый рабочий костюм. Значит, купил. Значит, к ней за вещами не придет...

Этот костюм доконал Аню окончательно. Она так заплакала, что ничего не могла произнести, и ушла, даже не обругав Николая Егоровича.

У Ани оставался еще ход. Идти на завод, где работал Николай Егорович, в парторганизацию. Конечно, если она там будет плакать и просить, то подумают, что она какая-нибудь убогая. Нет, она будет требовать. Как пригрозят ее Коле, что строгий выговор запишут, так он и одумается.

— Я ведь, знаете, передовик производства, — сказала Аня секретарю партбюро, пожилой и, на ее взгляд, излишне спокойной женщине. — Все время на выборной профсоюзной

работе. Вы меня оградите... Если ему партийная совесть позволяет от жены уйти... Я вас убедительно прошу так этого не оставить. Я установки знаю.

Как она ни бодрилась, слезы приходилось сдерживать. По привычке Аня нарисовалась и теперь боялась, что вместе со слезами с глаз поплывет чернота.

— Я скоро двадцать лет работаю... Вы можете у нас в организации справиться. Я...

Она слишком много этих «я» произнесла. Заплачь она сейчас в три ручья и скажи: «Так я его, подлеца, люблю...», наверное, она без сочувствия не осталась бы. Но она все твердила про свои нагрузки, про то, что с ней все на производстве считаются.

— Николай Егорович у нас тоже пользуется большим уважением, — сказала секретарь партбюро.

— Интересно! Какое же может быть уважение? Вы бы лучше на ту женщину повлияли. Разве можно так подло поступать? Я вот хочу в «Работницу» письмо послать...

Секретарь партбюро посоветовала лучше не посылать. Обещала поговорить с Николаем Егоровичем, но по тону Аня поняла, что разговор этот будет так, для отвода глаз. И тут уж она не стала сдерживаться и заплакала. Секретарь налила ей водички, но Аня к стакану не притронулась. И подумала: та баба, что увела Николая Егоровича, работает, конечно, на их же производстве. Может быть, она член партии, потому секретарь ее и выгораживает. Господи, сколько она сама, когда председателем цехового комитета была, всяких семейных ссор уладила, а тут ее и слушать не хотят!.. Да что же она, не в Советской стране, что ли, живет?

В «Работницу» Аня все-таки написала, как сумела. Ей по поручению редакции ответила та самая пожилая поэтесса, которая прошедшей зимой выступала со стихами в женском общежитии и которую Аня запомнила по черному джерси. Поэтесса посоветовала ей быть мужественной и не усугублять своего горя ненужной, оскорбительной для женщины суетней.

— «Ненужной»!.. — горько сказала Аня, дочитав письмо. — Понимала бы что в жизни! Самой небось сто лет, вот и...

...Аня похудела и пожелтела. Что-то колотилось и болело у нее в левом боку. Как-то ночью она поднялась с постели и упала. И так ей это состояние было непривычно и страшно, что она перепугалась, взяла неделю отпуска и опять поехала к матери в деревню.

Приехала Аня к ягодной поре. Еще держалась в чаще черника, покраснела брусника. Они с матерью уходили на целый день в лес и там все время перемывали одно и то же: какую подлость совершил Николай Егорович и какой найти способ его вернуть. Ничего не придумав, стали решать, как Ане прожить без него.

Август стоял зеленый, благодатный, цвел розовый вереск, еще пели птицы — ничего они не замечали.

— Найди себе, — говорила мать. — Не такие находят.

— А привыкать-то как трудно!.. — грустно шептала Аня.

До отъезда в деревню Аня все-таки успела узнать, что ее разлучница работает совсем не вместе с Николаем Егоровичем и никто на их предприятии ее в глаза не видел. Оказалось, что она медсестра в районной поликлинике и они с Николаем Егоровичем познакомились, когда она приходила к покойной Стеше делать уколы. Женщина она была не очень молодая и как будто бы не очень видная. И от этого Ане стало немножко легче.

— Зарабатывает ерунду какую-то, комната у нее с матерью на двоих, — рассказывала она.

— Ну уж, тогда я прямо и не пойму, — вздыхала старуха. — С ума он сошел!..

Собирали ли они чернику, уходили ли в поляны за рыжиками, возились ли в огороде — все время на языке у них было одно и то же. И Аня начала от этих разговоров уставать, ей уже казалось, что все случившееся было давным-давно, что она страшно постарела за это лето и надежд на то, что будет ей еще хорошо, совсем не осталось.

— Подумать только, что я в своей жизни пережила!..

Но «баба Нюха» вдруг исполнилась старушечьей мудрости:

— Да полно-ко!.. Твою бы жизнь да каждой бабе! Дитя твоего люди помогли взростить, государство выучило. От мужа ни бита, ни ругана не была. Забудется все, с ногтями отстрижется. Ешь-ка вот пирожочки.

Наверное, была у старухи тайная надежда, что дочь теперь возьмет ее к себе. Но сказать не решалась: та сколько ни поплачет, а одна жить не станет.

В начале сентября Аня вернулась в Москву, вышла на работу. Ей еще предстояло выработать тактику: жаловаться ли товаркам на свою судьбу, или делать вид, что все к лучшему, что свобода для женщины — это самое святое дело.

— Разошлись мы, девочки, — призналась она наконец. — Заметила я, что мой Коля стеклом своим на сторону косит.

«Ну и иди, говорю, на все четыре стороны. Меня такие отношения тоже не устраивают».

Встретив сочувствие, Аня ожила и стала фантазировать: жаловалась на то, что Николай Егорович якобы очень «тесно» ее дома держал, замучил ревностью, ограничивал ее общественный рост. Надеясь, что многие позабыли, как обстояло все на самом деле, обвинила бывшего мужа и в том, что родной ее мальчик вырос на стороне. И так горячо она это рассказывала, что и сама всему верила.

— Трудно одной будет,— пожалели Аню.— И материально, и вообще.

— Интересно! — побледнев, сказала Аня.— Да что, он меня поил, кормил?..

Имела она неосторожность завести подобный же разговор при Лиде Дядькиной. Не учла, что Лидка и Николая Егоровича хороша знала, да и ее самое неплохо. На людях Лидка ей никакого замечания не сделала, а потом сказала:

— Аня, ведь он тебя любил! Зачем ты все это плетешь?

Аня смахнула слезу и призналась искренне:

— Ой, Лидка!.. Ты не представляешь, как тяжело!..

Она уже поняла: все только притворяются, будто не знают, что не по взаимному недовольству разошлись они с мужем, а он ее бросил, нашел другую. Поэтому и жалеют.

Та же строптивая Ульяна Петровна сказала Ане с большим сочувствием:

— Аня, миленькая! Наше женское дело — перенести. Лишь бы на детей не отразилось. Лишь бы дети наши нас уважали.

У «малограмотной» Ульяны Петровны, которая всего лет на шесть-семь была постарше Ани, было трое взрослых детей. И двое уже с высшим образованием. Они-то, наверное, мать уважали. Аня подумала, какую она ошибку сделала: послушала Николая Егоровича, Юру от себя отпустила. Мог бы и при ней институт окончить, не обязательно военным быть. И больно стало при мысли, что Юра когда о ее беде узнает, то может и не посочувствовать.

Дома ей теперь одной сидеть перед телевизором было невыносимо. Вместе с цехом пошла в кино, посмотрела «Большую стирку». Посмеялась немножко, хоть и через силу.

— Ты бы, Аня, тряхнула стариной, сводила бы нас в театр.

«И то, чем одной-то сидеть...» Аня отстояла у кассы часа три и купила всем билеты на «Дети Ванюшина».

— На них только с нагрузкой можно достать, а я для вас сделала. Постановка исключительная! — говорила она.

Но самой ей «Детей Ванюшина» посмотреть не пришлось. Вечером накануне спектакля ей принесли телеграмму: умерла мать.

Аня так закричала, что услышали в соседних квартирах. Сбежались люди, большинство которых она и не знала толком, ввели ее в комнату, посадили на диван. Предлагали чем-нибудь помочь. Но что они могли для нее сделать?

Опомнившись наконец, Аня побежала к телефону-автомату. Дрожащими пальцами кое-как набрала номер.

— Девушка, можете вы мне Колю позвать? То есть Николая Егоровича...

«Девушка» ответила тряским, старушечьим голосом:

— Извините, а кто его просит?

«Это теща его новая! — похолодев, подумала Аня. — Интеллигентная! Неужели не позовет?..»

— С работы это, по делу... Очень попрошу!..

Николай Егорович подошел. Услышав его голос, Аня чуть не зарыдала.

— Коля, горе у меня!.. Мама умерла. Может быть, ты пришел бы, Коля?..

— Зачем же? — тихо спросил Николай Егорович.

Аня чуть не рухнула в автоматной будке.

— Как это зачем? Я ведь одна... Юра сейчас еще в летних лагерях, его не отпустят.

Николай Егорович долго молчал. В трубке что-то шуршало. Потом он спросил:

— Наверное, деньги тебе нужны?

Слезы хлынули в черную трубку.

— Да какие деньги, Коля!.. Приди хоть на полчаса. Ведь надо же как-то посоветоваться. Я тебя как человека прошу!..

— Ладно, — сказал Николай Егорович.

Он приехал минут через сорок. На нем был очень приличный финский плащ и красивое кашне. И все в Ане заклокотало от обиды: он нарочно вырядился, чтобы над ней посмеяться. И вместо того, чтобы советоваться, «как с человеком» и чтобы просить о помощи, Аня опять начала «выяснять отношения».

Если бы не лежащая на столе телеграмма, Николай Егорович мог бы подумать, что она выдумала причину, чтобы его сюда заманить. Он молча и хмуро слушал, что она говорила.

— Некультурная ты женщина, — сказал он тихо. — Все ведь от этого.

Тогда Аня закричала:

— Я уж знаю, что ты теперь культурную себе нашел! Поздравляю тебя, Коленька! Только если бы она была культурная...

Николай Егорович встал. Лицо его сморщилось и побледнело.

— Что тебе надо? Меня от одного твоего вида мутит.. Мать вон у тебя скончалась, а ты ругаешься и губы намазала. Зачем ты меня позвала?..

Это уже было несправедливо: она губы намазала еще до того, как принесли телеграмму. А что же, спрашивается, ей теперь и делать, как не мазать, раз он ее бросил? Ей не сто лет, чтобы она чумичкой сидела. И будет краситься, и одеваться будет!..

— Вот тебе деньги, — сказал Николай Егорович и положил на стол пятьдесят рублей. — Я хотел Юре отправить. Попозже пошлю.

Аня нашла в себе силы сказать:

— Вещи свои заberi.

— Да мне они теперь не нужны, — сказал Николай Егорович.

Он вышел, тихо прикрыв дверь. До Ани донеслось шипение лифта. Она сидела и думала, что Юра давно ей не писал, а с отчимом, наверное, переписывается регулярно. Сумел парня полностью на свою сторону переманить.

— Не хочу жить!.. — вслух сказала Аня. — Не хочу!..

Но жить было как-то нужно. Хотя бы для того, чтобы похоронить как следует мать, распорядиться ее домом. Аня оделась, снова вышла на улицу и пошла к почте — дать Юре телеграмму, что умерла бабушка.

«Только на похороны его и вызываем, — подумала она. — А я вот умру, так чужие люди его вызывать будут!..»

От мыслей этих стало страшно. Это только сказать легко: не хочу жить! А каково лежать-то?.. Сколько вон на кладбище покинутых могил, провалились, и песком венки засыпан. А когда Аня подумала, что столько она для людей старалась, так хотела быть хорошей и за все за это ей не будет никакого внимания, то у нее слезы опять полились из глаз, и она испортила три бланка, прежде чем смогла нацарапать телеграмму.

На другой день она уже опять была в деревне. В это лето уже в третий раз.

Клавдея, соседка, рассказывала, что мать нашли вечером возле роши. Сидит у куста, а рядом стоят ягоды.

— Ох, и тяжела! Насилу на телегу подняли.

Аня отдала Клавдее рубль, который та потратила на телеграмму, и, полная страха, отворила дверь в дом.

— Мама!.. — сказала она тихо. — Что же ты сделала? Зачем ты меня оставила?.. Одна я, мама!..

Кто же мог знать, что всего неделя пройдет и Аня встретит Тихона?

8

Уезжая из деревни, Тихон спросил Анин рабочий телефон и обещал, что позвонит. Ждать Ане пришлось порядочно. А она после всего, что случилось, места себе не находила: неужели провел время — и в сторону?.. Самолюбие до того ее мучало, что вдруг ни с того ни с сего она бледнела и дрожали руки.

Наконец Тихон позвонил. Голос его показался Ане холодным, но она отнесла это за счет плохой слышимости, да и разговаривать по телефону с производства — это не из своей квартиры.

Тихон назначил ей свидание и дал какой-то адрес в Черкизове, куда она должна была тем же вечером явиться. Сказал, что бояться нечего, что квартира чужая, кореш ему ключ оставил, и никто там им не помешает.

— Чего я в чужой квартире делать буду? — стараясь держаться независимо, спросила Аня. — Приходи сам ко мне.

— Это успеется, — сказал Тихон.

Аня пока еще головы не потеряла и потому опять допустила некоторые подозрения: не поступит ли на этот раз с ней Тихон как-нибудь плохо? Не окажется ли в этой черкизовской квартире еще каких-нибудь неизвестных мужчин?.. Ведь такие страсти иногда рассказывают! И конечно же ей было очень обидно, что не он ее ищет, а она должна куда-то ехать его разыскивать.

И все-таки Аня отправилась. Но не взяла с собой денег, вынула из ушей серьги, намылила палец и стащила обручальное кольцо, купленное Николаем Егоровичем. Осторожность подсказывала ей, что надо бы и пальто надеть похуже. Но хотелось быть красивой.

С большим трудом Аня нашла дом, где ее ждал Тихон: все какие-то закоулки да подворотни. Улица вся разъезжена: стоят краны, режут самосвалы, идет снос. Тут же

рядом бьют сваи под новые дома, и не знаешь, как подойти к старым.

Когда Аня поднималась по темной лестнице, то подгибались ноги: опять мучил страх. Здесь заорешь, так никто и не услышит, такой шум стоит на улице. Она позвонила негромко, но дверь сразу же открылась.

Это была большая коммунальная квартира, но никого из жильцов видно не было.

— Ты что же здесь, правда, один? — спросила Аня.

— А кого же тебе еще надо? — Тихон улыбнулся и прямо у порога обнял ее.

Он сразу доказал Ане, что очень по ней соскучился. Обласканная и зацелованная, она и думать забыла об опасениях, что кто-то ее здесь обидит. Она почувствовала себя двадцатилетней, свободной, неистраченной, как будто никогда не было у нее ничего — ни Марика Шубкина, ни сына Юры, ни Николая Егоровича с его изменой.

— Тишечка мой!.. — нежно сказала Аня.

Он погладил ее по руке.

— У тебя вроде кольцо было?

— Зачем я теперь буду его носить? Оно от того мужа. А ты мой будешь совсем, тогда другое надену.

Тихон помолчал.

— А верно ли, что у тебя мужа нет?

— Да ну тебя! — целуя его, прошептала Аня.

А сама думала: «Могло быть и так. Разве бы я при Коле сюда не пришла? Если бы попался такой, как Тихон?..»

Казалось, теперь он ей поверил. И обещал, что в следующий раз сам к ней придет. Аня когда представила, что в следующий раз, в ее собственной квартире, им еще лучше будет, то у нее голова закружилась. Первая их встреча с Тихоном в лесу так ее не закабалила, как сегодняшнее свидание, хотя там, в лесу, вокруг них все было так прекрасно, зелено, свободно, а здесь, в этой чужой, пустой квартире, было и не очень уютно и не очень чисто. Аня ушла отсюда полностью влюбленная, омолодившаяся, потерявшая голову. И старалась не думать даже о том, что ее Тихон все-таки человек странный: вроде бы она ему нравится, но ничего он ей о себе не говорит, ничего не обещает.

На следующей неделе он пришел к ней сам. Аня, как в былые дни, навела образцовый порядок, сняла чехлы с мебели, выгладила гардины. Но одеться решила в то платье, в котором была в прошлую встречу: она верила в приметы.

Тихон оглядел все спокойно.

— Ничего живешь. Только теперь у всех так.

— Я думала, тебе понравится,— задетая, сказала Аня.

— Хватит, что ты мне нравишься. Я не шкафы твои глядеть пришел.

Вроде бы обижаться не приходилось. Но Ане все-таки было немножко обидно: одет Тихон неважно, денег, как она понимала, у него нет или если и есть, то немного. Наверное, перебивается из кулька в рогожку. А сел на плюшевый диван так, словно всю жизнь на плюшевом и сидел. Неужели действительно настолько влюблен, что, кроме нее самой, ничего не замечает?

И Аня попробовала себя держать так же влюбленно, как в прошлый раз. Но странное дело: сегодня все как-то получалось не полно. Там, на чужой хромой тахте, они были как дома, а тут Тихон сидел — будто к двоюродной сестре в гости пришел. Аня и сама испытывала смущение, которого раньше, с другими мужчинами, не знала. Может быть, потому, что немножко боялась Тихона, как всегда боится женщина красивого мужчину, боится его пренебрежения. Но ведь и она не девчонка кургузая!

— Хотел я тебе конфет купить,— сказал Тихон,— да вспомнил, что ты и так вся сладкая.

Аня решила быть смелее, поглядела ему прямо в глаза.

— Ты сладкое любишь?..

— Люблю.

Последовало объятие, которое показалось Ане слишком коротким. Тихон отодвинул ее, посмотрел как-то остро, и морщины на его щеках сделались глубже.

— Вряд ли у нас с тобой что получится...

— Почему же? — упавшим голосом спросила Аня.

— Богато жить ты привыкла.

— А почему нам с тобой, Тихон, не жить богато? — Аня сделала попытку опять обнять его.

— Со мной не будет богато. Не хваткий я, деньги у меня не держатся. Не умею жить, короче говоря.

Что-то он сегодня Ане не нравился. Не с похмелья ли хмурился? Она на всякий случай купила для него бутылку. Обстановка подсказывала, что надо сейчас ставить ее на стол, иначе из встречи может ничего не получиться.

Но она ошиблась, поданное на стол вино не оживило Тихона.

— Себе тоже наливаешь? — вдруг спросил он.

— С тобой за нашу любовь выпить.

— А не рано про любовь-то говорить? В третий раз всего меня видишь. Может, я не стою.

Аня подвигалась и подвигалась к нему.

— Стоишь, Тихон, стоишь!

Он усмехнулся.

— Ну ладно, пей. Только я тебя после этого целовать не буду.

Тут Аня могла и обидеться. Сам пьет, а ей, видите ли, каплю проглотить нельзя, а то целовать не будет! Это он хитрит, чтобы самому больше досталось. Ну и не целуй, шут с тобой!..

Но она слишком много ждала от сегодняшней встречи. Поспешно отодвинув свой стаканчик, Аня сказала:

— Ну и не буду. Раз не велишь, Тиша, то и не буду.

Он поглядел на нее пристально, как бы желая определить, насколько она искренна. И, наверное, поверил, потому что и сам подвинулся к ней.

— А глазки-то голубые!.. — сказал он теплым голосом. — Шарик! Ну, будь здорова, дорогая!

Аня не была искушена в тонкостях обращения, но ей показалось, что все-таки не бутылка ему нужна. Ничего он не хитрил и выпить много постеснялся. В благодарность за угощение навел порядок на столе, снес посуду в кухню. Увидел, что смещен водопроводный кран, поправил.

«Господи, да что же это он?.. — недоумевала Аня, — Дался ему кран! Ох, к этому мужику не сразу подладишься».

Тихон пробыл у нее ровно до девяти. Потом встал, оделся и ушел. Аня проводила его и долго не гасила света. Сегодняшнее их свидание не было радостным. Но когда она вспоминала их встречу в лесу и потом на черкизовской квартире, то понимала, что от Тихона ей не отказаться, разве только он сам ее бросит. Сейчас все ее мысли были направлены на то, как сделать, чтобы он не бросил.

— Господи!.. — сказала она вслух. — Еще ничего-то не выдавши, а уже думаешь, чтобы не бросил! Ведь этот мужик — последний у меня. А какой мужик-то!..

Аня чувствовала, что пришло не счастье, а несчастье, страхи да сомнения. Все это было не по ней. Она и сама всю жизнь по-настоящему не мучилась и, как другие мучаются, не замечала. И теперь, понимая, что может погореть, как солома, всю вину за случившееся попыталась перевалить на Николая Егоровича: если бы он от нее не ушел, то и не привела бы она сюда этого Тихона. Но тут же подумала:

ну, а какой смысл-то, что был бы с ней Николай Егорович? Зачем он ей нужен после Тихона?

«Что же это я?.. Да ведь это Тихон был после Коли... Все перепуталось у меня!..»

Аня погасила свет и легла. Ложась, нащупала что-то на постели. Это Тихон обронил мундштук. Запах табака еще раз напомнил, что только что рядом был мужчина. Запах был совсем слабый и невкусный, но Аня долго держала мундштук у самого лица.

«А я-то сама неужели ничего не стою? — словно спохватившись, спросила она себя. — Нет, врешь, милый мой! Еще так к себе привяжу, что не отлепишься!»

Ей трудно было отработать следующую смену: все ждала, что ее позовут к телефону. Но Тихон не звонил.

Он протомил ее с неделю. Потом пришел как ни в чем не бывало.

Аня прямо с порога подступилась к нему с упреками. А он даже удивился:

— Да что же я, должен каждый день ходить? Вот придумала!

Губы у Ани дрожали, лицо было сердитое и красное. Тихон потрепал ее по щеке.

— Не надувай губы-то, не надувай. Не идет тебе.

— Не могу я без тебя, Тиша!.. — дрожащим голосом сказала Аня.

Он был немного тронут. Аня решила этого момента не упустить. Она поспешно вытерла мокрые глаза, поправила причесочку, попудрила горячее от недавнего злого волнения лицо. И села рядом с Тихоном.

— Что новенького, Тиша?

— Новостей много. Вот Индира Ганди в гости к нам собирается.

— Что это ты мелешь?..

Он весело засмеялся.

— Ах ты моя сладкая!.. Ты не сахарной пудрой щеки-то присыпаешь?

И он обнял ее, сорокалетний мужик сорокалетнюю женщину.

Аня перестала красить волосы, чтобы не быть для него «рыженькой». К ним возвращался их природный, русский цвет. Тихону нравились ее волосы, он все трогал их рукой, гладил.

— Давай я концы отстригу, — сказал он, указывая на сохранившуюся на прядях рыжину.

— Она сама сойдет, Тиша.

Потом стала накрывать на стол. Тихон вышел в коридор — вернулся с бутылкой «Золотой осени».

— Сегодня я угощаю.

На этот раз оказалось, что он и от самой легкой выпивки может быть разговорчивым. И Аня поняла, что он весь зависит от настроения, как парус от ветра. Любил, например, чтобы снег шел. Она утром, когда увидела, что асфальт белый, не обрадовалась: сапожки не успела из ремонта взять. А Тихон пришел сейчас с мокрыми ногами и смеется.

За «Золотой осенью» он ей рассказал, что служил во флоте и на сверхсрочной плавал в загранике, своими глазами видел Южную Америку.

— Из-за границы-то привез что-нибудь с собой, Тиша?

— Кому мне было привозить? Я тогда одинокий был.

Аня помолчала. Тогда одинокий, а сейчас, значит, не одинокий? Ее он имеет в виду или другую женщину? Спросить бы надо, да как бы настроение ему не перебить.

— Сперва с восторгом плавал, — продолжал Тихон, — потом тоскливо стало. Спишь в койке, а в глазах — трава, орешник, колокольчик с лютиком сплелся!.. Я в деревне вырос. От немцев мы ушли, и больше я уж туда не попал.

Аня решила, что лучше не скрывать, что ей удалось продать свой деревенский дом. И, заметив, что Тихон помрачнел, сказала в свое оправдание:

— Чем с домом-то, лучше уж на машину записаться.

Тихон посмотрел на нее пристально.

— Тебе только «Фиаты» и водить!

Он лег на диван и закинул локти под свою черную большую голову.

— Вёклы у тебя в огороде красивые были. Я тогда картошку копал и все любовался.

Аня вспомнила, что вёклы эти покойная мать все покупала спилить — огуречник ей тенили. Сама Аня даже толком не помнила, сколько их было, вётел этих. С одной, кажется, Юрка, маленький, раз упал.

— Отдохнуть захотим, Тихон, так я любую путевку до стану. И на Кавказ, и в Крым.

— Это уж ты сама езд, — холодно отозвался он.

Ане все-таки удалось опять вернуть его к хорошему настроению. Тихон умел быть снисходительным: что, мол, взять с женщины? Особенно красивой. Ты ей про орешник да про вёклы, а она вон уже опять носом в зеркало сунулась.

Уговорить его остаться на ночь она не смогла, в девять вечера он поднялся.

— Будь здорова, Нюлочка!

— Баба есть у тебя! — не выдержав, закричала Аня. Уж очень не хотелось ей его отпускать.

— Грубо ты себя ведешь, — сказал Тихон. — Замечание тебе.

«Ну и что же теперь делать-то? — думала Аня, оставшись одна. — Даже если и есть у него жена, все равно ведь буду с ним встречаться...»

Когда он один раз пришел к ней очень усталый и уснул, она обыскала его пиджак, обнаружила полтинник мелочью и профсоюзный билет, из которого узнала, что фамилия Тихона Соколов, что родился он, как и она, в 1930 году и что по специальности он слесарь-монтажник. Взносы в профсоюз были у него не плачены несколько месяцев.

Теперь при желании Аня могла бы узнать его адрес через справочное бюро. Но решила до поры до времени этого не делать: боялась неприятностей.

Вскоре по неосторожности Аня сама же себя и выдала: назвала Тихона «товарищ Соколов».

— Откуда ты знаешь, что я Соколов? — Он покачал головой. — А ты, оказывается, сыщик!..

И Тихон пропал надолго. Аня намучилась, боялась хоть на минуту вечером выйти из дома, чтобы его не пропустить. Второго ключа она ему пока не доверила.

«Разве это любовь?.. — уже мрачно спросила она себя в один из одиноких январских вечеров. — А вдруг больше вообще не придет? Что же придумать-то?..»

Но уже на следующий день ее кликнули к телефону.

— Здравствуй, Анна Александровна! Это товарищ Соколов тебя беспокоит, Тихон Дмитриевич. Зайти сегодня можно будет?

Аня стиснула зубы, потому что хотелось крикнуть: «Что же это ты, гад, со мной делаешь?..» Но она ответила тихо: «Приходи». И почувствовала, что у нее разжимаются пальцы, сердце дрожит, туманится голова.

Наверное, Тихон догадался, что Аня «доходит». И наконец сказал ей то, чего она все время допытывалась: жена с ним не живет, хотя они еще не в разводе и квартира у них не поделена. Девочка Тамарочка учится во втором классе.

— Ну, чего тебе еще знать надо? — грустно спросил Тихон.

Надежды захлестнули Аню: «Может быть, разведется А что алименты еще сколько-то платить будет, это полбеды. С него и алиментов-то небось... Ведь не академик»

— Неужели сегодня опять рано уйдешь?

— Надо девочку встретить. Она на фигурное катание ходит.

Ревность и обида раззадоривали Аню.

— А мать-то что же не встретит? Тоже, что ли, с кем-нибудь время проводит?

— А это уж вовсе дело не твое! — грозно сказал Тихон.

Ане стало ясно: он до сих пор по своей жене страдает, надеется, наверное, что опять сойдутся. Оттого и домой рано уходит. За два с лишним месяца их знакомства он о своей бывшей жене ни одного плохого слова не сказал, хотя теперь Ане ясно было, что он этой женщиной очень обижен. А она просчиталась: попробовала ему на своего Колю жаловаться.

— Что же, ты все это одна нажила? — спросил Тихон, указывая на обстановку.

— Да не одна, конечно...

— То-то и есть. В телевизор-то любишься, на диване сидишь, а мужа ругаешь.

— Не хватало еще, чтобы он у меня все вывез!.. — с обидой бросила Аня. И вдруг, взглянув на Тихона, поняла: не надо было всего этого говорить, не надо!..

Когда он ушел, она думала: ладно, пусть страдает по своей жене, пусть встречает дочку с фигурного катания, пусть не умеет деньги держать и не платит профсоюзных взносов. Только бы от нее не уходил.

Неделей позже Аня узнала от самого же Тихона, что работает он в одном из строительно-монтажных управлений. Раньше работал на кране, возводил дом в двадцать семь этажей в районе Юго-Запада.

— А теперь строповщиком. Знаешь, который под краном стоит, груз цепляет.

— Это почему же?

— Разжаловали. Пьяный в кабину сел.

Аня представила себе Тихона в кабине подъемного крана, под самым небом, да еще нетрезвого, и ей показалось, что сердце у нее оборвалось, замутило внутри, кругом пошла голова.

— Ведь и под краном-то, наверное, тоже опасно, Тиша?

— Трезвый буду — не раздавят. А пьяный — туда и дорога.

И добавил:

— Было время, я совсем вином не интересовался. Хороший парень был! В хоре участвовал. Я, конечно, не солист. В последнем ряду стоял.

Он очень молодо улыбнулся и обнял Аню.

— Не дала природа голоса настоящего. Но я песни очень люблю. Не такие, как сейчас по этому ящику блеют, — он указал на телевизор, — а настоящие, под хороший оркестр.

Про многое Тихон стал с ней говорить, только о своих семейных делах не распространялся. А Аня исподволь все-таки норовила узнать, что да как.

— А много ты сейчас денег им отдаешь, Тиша? — очень осторожно осведомилась она.

Он ответил неохотно:

— «Она» много не берет. У нее заработок. Инженером в «Мосэнергo» работает.

— Небось поэтому и зазналась, что инженером?

Тихон покачал головой.

— Да нет... Разлюбила, наверное

«Хоть бы поглядеть, какая жена у него была», — думала Аня. Слово «инженер» ее гипнотизировало, как будто оно включало в себя все понятия: образование, красоту, положение.

— Тихон, а мне-то ты веришь, что я тебя люблю?

— Наверное, любишь. Только ведь смотря какая любовь.

— Да какую же тебе надо?.. — почти с отчаянием спросила Аня.

И, не дождавшись ответа, сползла на пол, обняла его колени и засыпала их волосами. Такое видела недавно в кино. Наверное, не очень удачно получилось.

— Ну что ты представление-то устраиваешь? — строго спросил Тихон. — Такая женщина красивая, боевая, а по полу ползаешь.

Аня вздрогнула и оглянулась на зеркало. Да, она еще была и сильная и красивая, только на щеках не было уже прежнего румянца. Прическу, правда, очень запустила, да и сейчас, падая на колени, немного растрепалась. Аня поправила волосы, одернула халат и вдруг почувствовала, что уж больше и не знает, что ей говорить Тихону. Нет, не любит он ее. Тогда зачем же ходит сюда?..

Как же тогда ей дальше жить? Ведь ничем не отвле-

чешься — ни беготней по соцстраху, ни разбор по произ-
водственных неурядиц, ни культурными мероприятиями. Да
сейчас ей уж, пожалуй, никто никакого дела и не доверит:
совсем не та она стала. Это было невероятно, но Ане почему-
то казалось, что даже когда она с Тихоном вдвоем, кто-то
незримо присутствует рядом и все видит.

— Ну что же, — горько сказала Аня. — У меня вон замок
в шкафу не запирается. Может, починишь? Тебе замки чи-
нить приятнее, чем со мной быть.

Одно из их свиданий было прервано появле-
нием Юры. Аня как-то сразу и не сообразила, кто это может
звонить. Чуть запахнув халат, она пошла открывать дверь.
Ее сын стоял на лестничной площадке с небольшим чемо-
даном в руках. На его погонах и на фуражке лежал белый,
слабый снег.

— Добрый вечер, — сказал Юра и поцеловал мать. —
Ты что, уже ко снуходишь?

Ничего не подозревая, он снял в коридоре шинель, су-
нул своим носатым, большеглазым лицом в зеркальце
у вешалки, потом шагнул в комнату. Задержать его Ане
не удалось, да у нее как будто и язык отнялся.

...Сын не был у нее с Ноябрьских праздников. У Ани
тогда уже шел роман с Тихоном. Ей бы следовало в тот
приезд воздержаться от упреков Юре, который, прежде
чем навестить ее, был у Николая Егоровича, в его новой
семье. Казалось, пора бы уж Ане крест поставить на своем
бывшем муже. Но она, как истинная женщина, даже любя
другого, все равно пыталась выведать, каково там Нико-
лаю Егоровичу с новой-то, с интеллигентной. Хотелось
услышать, что ему там солоно, что он просчитался. И отно-
шение сына ко всему происшедшему ее просто оскорб-
ляло.

— Это почему же я не должен туда ходить? — почти
с вызовом спросил Юра.

— Конечно, там культурные!.. А мать-то ведь у тебя дура
непромытая!..

— Я этого не говорю...

Аня провела платочком под глазами.

— Вот правильно бабушка-покойница высказывалась,
что ты больно гордый, Юра.

Сын пожал плечами.

— Не знаю. Бабушка меня любила. Где ее похоронили —
у нас в деревне или в Макаровке?

А больше им и не о чем было тогда поговорить. Водку

Юра не любил, ел очень умеренно, несмотря на свой большой рост и плотность. Чтобы скоротать вечер, включили телевизор. Но Аня заметила: Юра смотрит только из вежливости.

— Ты, Юрочка, чайник мне эмалированный не привезешь? У вас там, в Ленинграде-то, говорят, хорошие.

Нет, неплохой все-таки у нее был сын! Другой молодой офицер сказал бы: «Да ты что, с ума сошла? Буду я еще с чайниками!» А Юра обещал:

— Хорошо, привезу.

...И вот сейчас ее сын увидел Тихона. Тот сидел на диване без пиджака и без ботинок, но в целом его вид ничего не выдавал. Зря только рядом оказалась брошенной подушка. Зато вид матери говорил о многом.

— Это, Юрик, из деревни ко мне приехали, — тихо сказала она. — Земляк наш один...

Крупное молодое лицо Юры почти ничего не выразило.

— Ну как погода у вас тут? — спросил он. — У нас в Ленинграде зима какая-то кислая. Я, мама, всего на десять минут: у меня поезд на Харьков.

Юра вынул из чемодана и положил перед матерью какую-то коробку.

— Ты извини, фантазия ничего забавного не подсказала.

«Что же этот-то молчит?.. — боясь взглянуть на Тихона, спрашивала себя Аня. — Хоть бы выручил чем... Парень не растерялся, а этот молчит».

— Чаю попьешь, Юрочка?

— Не беспокойся. В поезде сразу принесут.

И Юра снял только что повешенную на крючок шинель. Поцеловал мать уже не в щеку, а в висок, подальше от рта.

Когда Аня вернулась в комнату, лицо у Тихона было почти черное. Он шарил в карманах, ища папиросы, но никак не мог найти.

— Старший лейтенант?..

— Да... Ты не подумай, Тиша, что он нарочно. Он ведь ничего не знал. А то бы не пришел. Он хороший...

— Я это понял, — сказал Тихон.

Не докурив папиросы, он поднялся.

— Ну ладно, пойду.

Его интонация исключала возражения. В коридоре он слишком долго затягивал шнурки на ботинках, оборвал один, завязал узелком.

— Никак!.. — сказал он почти жалобно.

— Когда придешь, Тиша?

— Как-нибудь зайду.

Оставшись одна, Аня села в кресло и, не зная, что с собой делать, протянула руку и включила телевизор, этот спасительный ящик.

Сейчас на его экране шла ярая пляска. Одетые в расшитые рубашки мужчины плясали вприсядку, почти ходили на голове. Какой-то танцевальный коллектив старался во всю. Аня просто обожала такие выступления, но сейчас не могла понять: да что же они никак не остановятся, пляшут, как заведенные?..

«Юра к отцу пошел... Если бы ему на поезд, он бы билет показал...»

Не было ничего предосудительного в том, что она встречалась с Тихоном. Ей только за сорок, мужа нет. Но Ане подумалось, что она сегодня сильно, очень сильно обидела своего сына. Может быть, на этот раз он приехал с какими-то теплыми словами, может быть, он хотел ей что-то о себе рассказать. У него было очень хорошее лицо, когда он вошел. Вот коробку привез с дорогими духами... Какая она ни на есть, а все-таки же мать ему! Он и пришел... А тут этот сидит.

Пляска на экране все продолжалась. Теперь, показывая нижние юбки, кружились девчата.

«Расскажет Юра Коле или нет?» — думала Аня.

И вспомнила, как вел себя Тихон:

«Пятый десяток мужику, а растерялся. Как побитый сидел...»

9

Февраль был удивительно безжалостный — мокрый, сквозняковый, без единого яркого солнечного пятна. Когда вдруг в двадцатых числах одно воскресное утро выдалось светлее обычного, Аня обратила внимание, что уж очень плохо стало у нее в квартире: пыльно, натоптано, захватано. Вроде как когда-то в квартире у Шубкиных.

Аня взяла тряпку и щетку, но так ничего толком и не сделала. Открыла форточку, но тут же озябла и захлопнула ее. По утрам Тихон никогда к ней не приходил, и все-таки она постояла у окна, искала его глазами среди прохожих.

Она не видела его уже десять дней. Накануне она с коло-
тающимся сердцем подошла к киоску справочного бюро,

чтобы узнать, где проживает Соколов Тихон Дмитриевич, 1930 года рождения. Но постояла возле киоска и отошла прочь. Она и сама себя не узнавала: раньше бы она этого Тихона со дна моря достала.

«А ведь я заболела...» — думала Аня. Все время она теперь мерзла. Один вид падающего мокрого снега вызывал у нее озноб и даже самый легкий ветер — слезы.

Приближалось Восьмое марта. Совершенно случайно Аня встретила на улице с Николаем Егоровичем. Она и не хотела к нему подходить, но он увидел ее и подошел сам.

— Извини, Аня... С наступающим праздником!..

В руках у него был букетик мимозы за рубль. Он потискал его в руках и отдал Ане.

— Ты ведь не для меня покупал, — отчужденно сказала Аня.

— Ну, раз так сошлось... Как живешь?

— Ты бы хоть свои вещи забрал. Думаешь, мне на них легко смотреть?

Николай Егорович очень смутился и сказал:

— Ну что же, если можно, пойдем сейчас.

В квартире у Ани и перед праздником не было порядка, но Николай Егорович виду не подал. Аня поставила в стакан подаренные им цветы и пригласила почти шепотом:

— Садись, Коля.

Он сел, не сняв пальто, только положил на стол шапку-треушку. В комнате не было ни одного предмета, который указывал бы на то, что здесь бывал другой мужчина. В то же время все как будто говорило об этом.

Ане показалось, что Николай Егорович стал старше и еще некрасивее. Вид его ничем не выдавал, что он особенно счастлив со своей новой женой. И хотя Аня стороной узнала, что они живут очень хорошо, у нее вдруг родилось такое ощущение, что позови она сейчас Николая Егоровича обратно, он бы не отказался. Но он уже не был для нее мужчиной, скорее родственником, бывшим приятелем, человеком, которому можно многое рассказать.

— Помог бы ты мне, Коля, — сказала она. — Уехать бы мне куда-нибудь. Квартиру бы, что ли, сменить. Совсем не могу сидеть одна...

Аня владела сейчас той отдельной, очень удобной квартирой, которую получил Николай Егорович. Ему же, как она знала, приходилось пока жить у тещи, за перегородкой. Первое время Аня себя утешала: ему еще площадь дадут, он ин-

валид. Но, видимо, Николай Егорович не просил, поэтому ему и не давали.

— Можно эту квартиру разменять, Коля,— предложила она.— Чтобы и у тебя свой угол был. Я ведь тебя еще не выписала.

— Да нет,— сказал Николай Егорович,— мы, наверное, скоро получим.

Аня вздохнула: «мы», то есть он и его жена, медсестра эта. Сказано это «мы» было так, что Аня поняла: она ошиблась, к ней он не вернется. Она не испытала ревности, потому что любила теперь другого, но ей было очень больно, потому что она не могла про себя и про Тихона сказать такого же «мы».

Не она, а Николай Егорович первым заговорил о Юре:

— В адъюнктуру его, наверное, возьмут. В Ленинграде останется.

Аня не знала, что такое адъюнктура. Но по тону бывшего мужа поняла, что это хорошо.

— Способный он,— сказал Николай Егорович.— Ну, я пойду...

Оставшись одна, Аня легла на нерасстеленную кровать. Стала думать: о себе, о Николае Егоровиче, о Юре. И о Тихоне, увидеть которого у нее уже почти не осталось надежды. У нее заболела голова и набежали слезы. Мелкая, но очень пахучая мимоза, которую подарил ей Николай Егорович, только прибавила головной боли.

На другой день было седьмое марта. С утра в цехе уже шла суетня. У конфетниц из-под белых халатов виднелись праздничные платья, под белыми повязками прятались модные укладки, постукивали по пластиковому полу лаковые туфли всех расцветок. И прорывался сквозь запах ванили и шоколада колющий запах арабских духов и нежный аромат «Белой сирени».

С утра всех женщин авансом поздравили, и каждая получила сувенир. Ане подарили три стаканчика на подставке. Она смутилась, подумав, что подарок этот вроде насмешки, со значением, как выпивающей. Но потом увидела и у других такие же стаканчики и успокоилась.

Утром, надевая свой лучший костюм, Аня почувствовала, что он на ней висит мешком. Рабочее ее платье было всегда свободное, Тихона она принимала дома в халате, вместе они никуда не ходили, и вот теперь Аня обнаружила, что ее голу-

бой банлоновый костюм, который когда-то достали ей в благодарность, оказался совсем с пустой грудью, бока юбки обвисли, подол закрыл раньше всегда открытые колени.

«Вот это я дошла!..» — подумала Аня.

На торжественном вечере, посвященном Международному женскому дню, Аню попросили в президиум. Она сидела тут из года в год, за этим зеленым мягким сукном, между корзинами с цикламенами и гортензиями. Сидела всегда в первом ряду, чувствуя себя вполне достойной этого места. Сейчас Аня села во второй ряд, так, чтобы ее не очень видно было за другими женщинами и за цветочными корзинами. А рядом с ней села Лида Дядкина, нынешний председатель цехового комитета.

«Платьице не из новых, — отметила про себя Аня. — Лидка-то, пожалуй, не возьмет, если что и достанут...»

Немного поволновавшись, Аня решила, что плохо ли, хорошо ли ей было в личной жизни, пусть когда-то и воспользовалась она своим бывшим положением, но работала она на производстве всегда честно, ровно, даже в самые тревожные часы ее судьбы. За столько лет ни разу бюллетень не взяла, разве что по своим женским делам... Молодежи помогала, продвигала. Ведь не для себя же только, не ради зарплаты!..

Заканчивая свое поздравительное слово, директор фабрики сказала:

— Разрешите, товарищи, особо поздравить тех женщин, чей рабочий юбилей отмечаем мы в нынешнем году. Вот, например, ровно двадцать лет, как трудится на нашей фабрике Доброхотова Анна Александровна!..

«Ох, с ума я совсем сошла, забыла!.. — ужаснулась Аня. — Верно ведь, я как раз под праздник оформилась. Люди-то не забыли!..»

И Аня вынула из рукава платочек. Она вспомнила себя двадцатидвухлетнюю, румяную, постоянно весело жующую то конфеты, то какой-нибудь кекс. Вспомнила, как приводила маленького Юру на утренник, где каждому ребенку дали по шоколадному наборчику. Вспомнила, как радовалась, когда ее из подсобниц поставили к аппарату. Вспомнила, как приводила потом в клуб фабрики своего Колю...

Потом женщины-кондитерш поздравляли приехавшие на вечер популярные московские артисты, в том числе актер из бывшего Аниного любимого театра, Театра Советской Армии. Все они пожелали собравшимся на вечер женщинам больших успехов в труде и счастья в личной жизни. И хотя эти пожелания из-за частого употребления почти утратили свой перво-

зданный смысл, но если бы они не были сказаны, пожалуй, было бы как-то пусто.

Ане и ее товаркам вручили почетные грамоты с золотым обрезом за производственные успехи и участие в общественной жизни. Аня понимала, что участия с ее стороны за последнее время никакого не было, а грамоту дают ей потому, что хотят поддержать, видят ее тяжелое настроение. Поэтому она собралась с духом и, когда представитель горкома профсоюза пожимал ей руку, улыбнулась и сказала громко:

— Большое спасибо, постараюсь оправдать вашу высокую оценку. Наша продукция идет для людей...

После торжественной части кондитерши танцевали с артистом из Театра Советской Армии, который, видимо, решил в этот вечер уже никуда больше не спешить. Аня видела, как он гонял вальсы с Лидой Дядькиной. Могла бы и она потанцевать, если бы не платье, которое, как ей казалось, выдавало все ее переживания.

Поблагодарив фабричный комитет и дирекцию за прекрасный вечер, забрав грамоту и подарки, Аня потихоньку ушла домой. Шла всю дорогу пешком: ей казалось, что если в троллейбусе или в автобусе ее кто-нибудь толкнет, то ей будет очень больно.

В подъезде своего дома она увидела, что в почтовом ящике что-то белеет. Она открыла ящик и взяла письмо. Оно было от Тихона.

После смерти матери Аня почти не получала писем. И с тех пор, как получила тогда письмо от Николая Егоровича, даже боялась вскрывать конверты. Юра присылал открытки: у него тайн не было.

«Поздравляю тебя с праздником женщин, — довольно четко писал Тихон, — и желаю всего самого лучшего в твоей жизни и работе. К тебе приходить, считаю, неудобно. Если можешь, приходи туда, где виделась с тобой: от метро «Преображенская» садись на 11 трамвай, там пешком подойдешь. Буду тебя ждать седьмого и восьмого марта до восьми вечера. А не придешь, дело твое. Претензий не имею. Считаю, что ничего не было, я с вами не знаком».

Аня с испугом посмотрела на часы — двадцать минут девятого. Опоздала, он уже ушел. Значит, завтра. А как этого завтра дожидаться? Нескладный он, этот Тихон, дикой души человек!.. Может, и не любил всерьез, но ведь ходил же к ней, целовал, обнимал и вдруг застеснялся — опять беги куда-то к нему. Ведь знал, она не барышня, у нее взрослый сын есть.

А как бы хорошо было, если бы пришел он! Она еще вчера прибралась немного, заставила себя. И даже вино, которое он в последний раз не тронул, стоит и его дожидается. Грамоту, полученную сегодня, она бы ему, конечно, не показала, чтобы его самолюбия не задеть, а над подаренными стаканчиками пошутили бы и обновили бы их.

Но главное, что она его опять увидит, хоть здесь, хоть там.

«Как он пишет-то хорошо!.. — думала Аня, разглядывая написанные Тихоном слова и отменяя их обидный для себя смысл. — Ох, Тихон, Тихон!.. Какой же мне веревкой тебя к себе прикрутить?..»

Ночью уснуть не удалось, Аня поднялась почти зеленая, поднялась совсем рано, словно боялась опоздать к своему Тихону. Услышала звонок и перепугалась: не Юра ли опять? Совсем бы некстати.

Но пришла Лида Дядькина.

— Здорово, давно не видались! — почти враждебно сказала Аня. — Чего это ты?..

— Здравствуй. Дай иголочку скорее: петлю на чулке по дороге спустила.

Лида уселась на диван, занялась чулком и стала рассказывать, как вчера вечером веселились, зря Аня так рано ушла.

— Как, с артистом-то не договорилась? — усмехнулась Аня.

— Какой артист, лапочка! Защита диплома на носу, у младшего подозрение на диабет. Луковец мой бастует, свекровь сама замуж собирается. Ну просто сумасшедший дом!..

— Раз хочешь инженером быть...

— Хочу, — честно призналась Лида. — Ведь тридцать три уже. Потом поздно будет, Аня. И сейчас так стыдно, если чего не знаешь: ведь не девчонка-студентка, а взрослая баба! У нас, Ань, преподаватель один до чего же на этот счет!.. Увидел у меня обручальное кольцо на пальце, совершенно отношение переменил.

Лида была миловидная, но, конечно, далеко ей было до Ани. Ни покетничать не умела, ни что другое. Уж Аня бы этого преподавателя охотунала!..

— Мужа-то не бросишь, когда диплом получишь? — спросила она, немного заражаясь Лидиной живостью.

— Самой бы не бросили! К вечеру, веришь ли, руки-ноги дрожат. Слушай, Аня, я ведь вот насчет чего...

Лида управилась с чулком и вернула Ане иголку.

— Давайте на субботу и на воскресенье — в Суздаль. Оказывается, кроме меня, никто из наших не был. Я как-нибудь свекровь уломаю. Валерку — ей, Луковец с Нинкой посидит, а Генку можно с собой. Ему десять, Ань, ты представляешь! Время-то как летит!..

Аня тоже не бывала в Суздале. И не знала даже, ради чего это нужно туда нестись. Посмотрела на Лиду: вот заводная баба!.. Ведь только что про защиту какую-то говорила!

Не ясно было и ради чего она к ней-то пришла. Она, Аня, теперь лицо не выборное, там уж теперь другие девчонки копошатся. Местный КВН придумывают, вечер поэзии. Ну, девочки — это понятно: ребят с других предприятий приглашают, знакомства заведут. А Лидке-то что, когда она от своих младенцев не просыхает?..

— Я так считаю, Аня, что тебе тоже надо русскую старину посмотреть, — сказала Лида. — Необходимо представление иметь.

Аня сидела бледная, теребила полы плохо выглаженного халата. Вчерашний голубой банлоновый костюм валялся неприбранный.

— Да ну тебя, Лидка, с твоей стариной! — вдруг, чуть не плача, шепнула она. — Ты бы лучше спросила, как я жива!..

— А я зачем пришла? — перебила Лида. — Ну-ка, давай выкладывай.

Аня глубоко вздохнула. Нет, пока ничего не скажет. Что уж дальше будет...

Этот вечер был очень холодный, мела колючая метелица. В шесть часов на улице зажглись огни, и Аня стала собираться. Руки у нее были холодные, как ледышки, страшно было коснуться собственного тела. Она забыла погасить в квартире свет, вспомнила об этом уже внизу, но махнула рукой и пошла. Капрон обжигал ей ноги, когда она стояла на остановке 11-го трамвая, снег летел под платок и набивался в светлые, давно уже не крашенные волосы.

Вышла она из дома с большим запасом времени, но на улицах было скользко илюдно по случаю праздника. Люди еще, видно, не накупились, из каждого магазина что-то тащили, у метро вокруг цветочниц стояла давка. Ноги у Ани замерзли и шли плохо, под сердцем были тяжесть, тревога и холод.

Улица, куда ей нужно было свернуть, почти не освеща-

лась. Длинный бетонный столб, на котором укреплялся фонарь, был повален и лежал вдоль изуродованного тротуара. Но окна в деревянном магазине, построенном, наверное, еще во времена нэпа, светились, внутри толпился народ, и мужчины выходили с бутылками в кармане.

«Нет ли тут его?.. — подумала Аня. — Зайти недолго».

Она поднялась по заплыванным ступенькам. Какой-то совершенно пьяный мужчина дал ей дорогу. Аня крепче держала свою сумочку и вошла в магазин.

Как ни людно здесь было, но она сразу увидела, что Тихона нет. Уже хотела повернуться и уйти, но в голову пришла мысль: надо взять для него. И она шагнула к прилавку.

— Опоздала! — сказал ей кто-то. — Кончились!..

— Никакой нет? — испугавшись, спросила Аня.

— Почему никакой? Дорогая есть. А дешевенькая кончилась!.. С самого утра торговали. Праздничек!..

Это говорила женщина, сильно выпившая, почти черная лицом, в грязном пальто: падала, наверное. В авоське болтались у нее три пустых бутылки на сдачу. Подрагивающими, не женскими пальцами она пересчитывала мелочь и, видно, не добирала нужной суммы.

Аня вспомнила вчерашний вечер в Доме культуры своей фабрики, цикламены, гортензии, красные и белые гвоздики, портреты женщин-работниц, висящие в фойе, грамоты с золотыми обрезам. Вспомнила красивого весельчака артиста, который танцевал с ее счастливыми товарками.

— Вы бы не давали ей, — тихо сказала Аня продавщице, кивнув на женщину, считающую мелочь. — Она же ведь до дома не дойдет.

— Вам жалко, вы и проводите, — отозвалась продавщица.

Сама-то берешь, — сказал еще кто-то у Ани за спиной.

Она поспешно спрятала в сумку бутылку «столичной» и пошла из этого магазина, как-то очень некстати оказавшегося на ее пути.

«Где же дом-то этот?..» — соображала Аня, обходя какие-то изгороди и траншеи.

Даже в праздничный день стройка не молчала. Выл самосвал, только что выплеснувший из кузова бетон. Скрипел какой-то замороженный канат, в густо-сером небе плыла подхваченная крапом белая панель.

Аня была здесь пять месяцев назад, когда только начи-

нался снос и одна сторона улицы еще хранила свой малоэтажный, шербатый облик, темнела подворотнями и заборами. Теперь поперек улицы встали два шестнадцатизэтажных белых корпуса с розовыми лоджиями, выведенные уже почти под крышу. И где-то сбоку, как забытый, заваленный мокрым песком и обломками асфальта, доживал свой срок тот двухэтажный, облупленный дом с темными окнами и неосвещенной лестницей.

— Пришла все-таки? — спросил Тихон.

Аня дрожала. Он это заметил, когда снимал с нее пальто.

— Что это ты?

— Замерзла что-то...

— Ничего, ведь в последний раз.

Она не поняла, что он хочет сказать: то ли они вообще в последний раз встречаются, то ли этого дома больше не будет. Квартира была совсем пуста. Из коридора исчезли даже вешалки, и не горело ни одной лампочки. В комнате, где Тихон ждал ее, не осталось ничего, кроме большого старого письменного стола на двух тумбах, никому, видимо, не нужного. Валялись на полу какие-то бумаги, под сорванными кое-где обоями обнажились доски перегородок. Комната освещалась только через окно: напротив на стройке горели два ярких прожектора.

Но дом еще отапливался: наверное, не все жильцы уехали. Батареи были горячие, окна над ними плакали, и подоконник, на который Аня хотела присесть, был совсем мокрым.

— Где же это ты пропадаешь, Тихон? — для начала как можно суровее спросила Аня.

Он не ответил. Прикрыл дверь в коридор, постелил прямо на пол свой ватный пиджак и позвал:

— Иди, посидим.

Аня подошла и села рядом с ним. Свет от прожекторов через окошко совсем слабо доходил в этот угол. Тихон сунул руку в карман, ища папиросы. Но не нашел.

— Вот до чего я дожил, — вдруг сказал он. — Даже покурить нечего.

Аня исполнилась жалости и обняла его за шею.

— Тишечка!..

Он ее рук не отвел, но сам не обнял.

— Уехали!.. — сказал он.

— Кто? — шепотом спросила Аня.

— Мои... Комнатой сменились, с Басманной в Черемушки. А ко мне две бабы какие-то въехали. Вчера полдня барахло

перетаскивали, а сегодня, гляжу, одна уже белье стирает, другая рыбу какую-то жарит...

Аня вздохнула с огромным облегчением: уехали!.. Дрожать она перестала, ей стало тепло, почти жарко. Но она постаралась скрыть от Тихона свою радость.

— А ты бы согласишься не давал на кого попало. Ишь какие, рыбу жарят!.. Что это еще такое!

Можно было подумать, что она сама никогда не стирала белья и не жарила рыбы. Аня гладила Тихона по голове, по плечам и жалела. Ей показалось, что теперь дрожит он. Действительно, очень сильно дуло с пола. Наверное, распахнута была дверь в подъезде, и холодом доносило даже на второй этаж. А может быть, дом был очень уж ветхий, недаром доживал свои последние дни.

— Нечего нам тут с тобой сидеть, Тиша. Пойдем.

— Погоди.

— А чего годить? Холодно здесь. Ко мне не хочешь, так теперь и к тебе можно.

— А вот это уж не выйдет! — отрывисто сказал Тихон.

Аня опять не поняла, почему это не выйдет. А переспросить было страшно. Она попробовала снова приласкаться, притянула его к себе. Щеки у Тихона были небритые, рот какой-то горький.

— Ты не торопись, — сказал он. — Сегодня и мне торопиться некуда. Раньше, хотя «она» и не велела Тамарке моей в коридор выбегать, когда я приду, та все равно в шелку на меня посмотрит. Я в свою комнату нарочно дверь не затворял: девочка умыться побежит или в туалет, еще увижу ее. А вчера я на все задвижки заперся, чтобы чужого шума не слышать. Потом сюда ушел, один в потемках сидел.

— Да я ведь не знала, Тиша.

Ане было очень жаль его. У нее не отнимали ребенка, она его сама отдавала. Но она любила Тихона и не могла остаться равнодушной к его горю, у нее даже слезы показались. Он не догадался, что это все-таки были слезы радости, облегчения, ликования. И продолжал уже с большим доверием:

— Я хотел чертовину эту... хельга, что ли, называется, помочь им вниз снести. А она не дала. Подумала, что расколотить могу. Но я абсолютно трезвый был. А что руки у меня в данный момент дрожали, так это у любого...

— Конечно!

— Водитель с грузчиком смотрели... Поняли все. Один

говорит: «Поди закури». Еще в комнату за мной зашел
«Брось, говорит, друг! Ну их всех!..»

И вдруг Аня почувствовала, что уже хватит. Не весь же
вечер ей слушать про водителя да про грузчика. Она-то
ведь у него есть, сидит рядом. Инженерша небось новоселье
справляет, а она тут с ним, в холодном углу. По первому
слову пришла. Нет, нечего тут его рассказы выслушивать.
Надо его уводить.

Аня встала, раскрыла свою сумочку, достала расческу,
губную помаду. Заодно поставила на окошко «столичную».

— Я, Тихон, решила взять для праздника. Чтобы поздра-
вил ты меня. А тут как ее пить-то? Ни посуды нет, ничего...
Пойдем-ка, милый!

Он тоже поднялся с пола. В том, как он вставал, было что-
то грозное.

— С праздником, говоришь? Значит, праздник у тебя?..

Аня попятилась от него, прикрыла грудь сумочкой.

— Поздравляю!.. Ты свою пользу понимаешь. Знаешь ты,
кошка-лизунья, что я и любить-то тебя могу, только если
выпить!.. Ну-ка, дай ее сюда!

Тихон взял бутылку. Аня еще попятилась, словно в руке
у него была не бутылка, а топор или нож. Но тут же она
услышала плеск, бульканье. По полу растекалось темное,
горько пахнущее пятно, ручейком потекло под брошенный
кем-то в этой комнате старый письменный стол.

— На! — сказал Тихон и протянул ей три рубля. —
И посуду тебе. Больше нет у меня.

— За что ты так меня, Тихон? — почти шепотом спросила
Аня.

— За то, чтобы понимала что-нибудь. А не одни шкафы
свои да халаты.

Это показалось Ане слишком уж несправедливым.

— Чего ты меня шкафами-то упрекаешь? — уже резко
спросила она. — Я их честно заработала. Люди ко мне с дове-
рием, с уважением, а я тут с тобой по грязному полу валяюсь.
Нашел, понимаешь, дуру!..

Она говорила еще что-то. Но получалось, как тогда с Ни-
колаем Егоровичем: она то ругалась, то умоляла.

— Тиша, ты не сердись. Если бы я тебя не любила, разве
бы я сюда пришла? Ну чем я тебя не устраиваю? Квартира
у меня...

— Этаж не подходит, — сказал Тихон.

Аня всей глубины его иронии не поняла и продолжала
что-то лепетать, но уже что-то более подходящее:

— Ведь мы с тобой, Тихон, с одного года. Можем друг другу жизнь составить...

Он стоял у окна. В темном небе проплыла сердцевидная лебедка подъемного крана с покачивающимися тросами. Они, как шупальца, опустились где-то за стопами серых блоков и что-то подхватили. На минуту кран прекратил свое скрипение и скрежет. Стало слышно, как где-то, совсем близко, празднуют застолье и поют песни. Кран опять заскрипел. Огонек, горящий на конце его стрелы, прочертил небо из стороны в сторону.

— Нет,— сказал Тихон,— С какого же мы с одного?.. Я только за эту неделю сто лет прожил.

Аня хотела ему сказать, что и она все это время не находила себе места и что у нее вся душа изныла, что она в эту минуту чувствует себя страшно старой и усталой. Но холод, который она испытывала полчаса назад, опять охватил ее, и она почувствовала, что может сейчас только рыдать, а не говорить.

— Ты прости, Анна Александровна,— уже чуть-чуть виновато сказал Тихон.— Может быть, я перед тобой виноват. Но с тобой я не поднимусь. Это уж точно.

Он взял с пола свой пиджак.

— Всѐ! Прощай, сладкая!..

...Аня долго не могла прийти в себя. Потом заспешила, словно дом, в котором она находилась, могли каждую минуту начать ломать, разрушать.

На лестничной площадке было страшно темно, очень холодно и голо. Еще там, в квартире, надевая пальто и еле попадая в рукава, Аня почувствовала, что ей плохо. Сейчас она попробовала поискать рукой звонок в соседнюю квартиру, слабо поскребла по двери. Потом опустилась на одну лестницу ниже.

Может быть, она споткнулась, может быть, что-то внутри у нее отказало, но она поняла, что падает.

Пожаловал апрель. Солнце просилось через стекла в комнату, но Аня еще боялась открывать окна. Боялась, что вернется тот, мартовский холод, что-то ворвется опять в ее комнату, напугает, испугает. К тому же внизу, во дворе, копошились рабочие-ремонтники, а Аня не хотела слышать мужских голосов.

Лида Дядькина принесла ей деньги по больничному

листу. По дороге купила два длинных зеленых огурца. Ра-
вернула их, и в комнате стало свежо. Огурцы блестели, ка-
муляжи.

— Салатик сделаешь. Витамины!..

— Помнишь, Лида, как и я по соцстраху бегала? —
грустью спросила Аня. — На постановки вас водила, настро-
е ние вам создавала. А как давно-то было это, Лидка!..

Лида села на диван и опять попросила иголку с ниткой —
положительно не везло ей с чулками!

— Знаешь, Аня! — вздохнув, сказала она. — Может, это
пошло прозвучит, но я тебе скажу, что это тоже помогает.
Это тоже средство — когда ближе к людям. Ты думаешь, у
меня с Луковцом без визга обходится? Этот уроженец Пин-
ских болот, как черт, упрямый! А уж про свекровь можешь
меня не спрашивать. «Пятрусь, твоя биглая опять щи не сва-
рыла!» Понять ее, конечно, можно: чуть что — ребят к ней.
А ведь с ними с троими, Аня, человеческой головы мало —
лошадиную надо, и то оторвут.

— Полно!.. — слабо улыбнулась Аня. — Ведь внуки они
ей. И у нас с тобой будут.

Лида взглянула на нее пристально: смотри-ка, о внуках
заговорила! Вот что значит крах в личной жизни!

— Перестань! Мы для себя что-нибудь поинтернее при-
думаем. — Лида сунулась к зеркалу, подбила свои волосен-
ки. — Поправляйся, выходи на работу, мы тебе без дела про-
сидеть не дадим. Ты, Аня, не представляешь, как приятно,
когда что-нибудь удастся, когда бабы наши довольны! Я тебе
свекровькин здоровьем клянусь! А ты сама знаешь, как мне
важно, чтобы она подольше на печку не залезала.

Ох, какая болтуха эта Лида: сто слов в секунду.

— Вообще-то ей до печки далеко. Если бы она с женихом
своим не разругалась, я бы уже бледный вид имела. А теперь
есть надежда, что посидит с Валеркой, пока я с защитой по-
кончу. Специальность я, Аня, запросто сдам, а вот полит-
экономию — ой, ты не представляешь!.. Бабка наша очки на-
дела, в учебник сунулась и говорит моему Луковцу:
«Пятро, она ж у тебя скоро полной психой будет...» Как
будто что разобрала!..

Аня между прочим знала, что Лида только тарахтит, а
ладит со свекровью неплохо. Сколько словами ни перешвы-
риваются, а ложки друг без друга не съели. Лидка своих
щей не успеет сварить, так свекровькин наестся. А та у нее
на дня пять раз чаю напьется. Так вот и живут вместе уже
двенадцатый год, по очереди в кино ходят. А если какое-ни-

будь мероприятие на фабрике, Луковчиха разрядится в пух и прах и является вместе с невесткой.

— Хорошая ты женщина, Лида!.. — сказала Аня. — Очень хорошая!

Лида махнула рукой.

— Это ты свекрови моей скажи. Ну, Аня, я тебе желаю!..

...А вечером приехал Юра. С большим эмалированным чайником. И с цветами. Купил матери белых гвоздик и пучок первых фиалок.

— Здравствуй, мама!.. Вот тебе ленинградский чайник, болгарские гвоздики и фиалки местного сбора. Держи!

— Юрочка!.. — взволнованно сказала Аня. — Какой же ты большой-то стал!..

Ей показалось, что она не видела сына много лет.

Юра положил фуражку и снял шинель. Расстегнул ворот влажного кителя: на дворе было плюс десять.

— Даже слишком большой, мама: толстеть я начинаю. И лысеть.

Он наклонил голову, и Аня увидела на его крутом, рыжем, курчавом затылке легкий намек на будущую лысину.

— Что же ты так, Юрочка? Ведь тебе только двадцать пятый...

Юра прошелся по комнате, потом сел в кресло. Расстегнул китель, потом вовсе снял его: ему не хотелось выглядеть гостем.

— Помнишь, мама, ты говорила насчет обоев? Я купил тебе в Ленинграде финские, очень красивые.

— Да разве я просила, Юра?.. Это покойной бабушке нужны были обои-то... А ведь теперь я, Юра, бабушкин дом продала.

Юра собрал лоб гармошкой. Потом повел плечами: раз продала, значит, нужно было.

— А сарай тот, около роши, жив? — спросил он. — Где мы с ребятами рацию прятали?

Рацией был пустой посылочный ящик, который Аня прислала им в деревню с лапшой и конфетами и который Юра с товарищами наполнили какими-то железками и окрутили проводами.

— Сарай стоит. А дом-то как жалко мне было продавать, Юрочка, — сказала Аня, против воли вспоминая все, что за последнее время у нее было с этим домом связано. — Помнишь, стенки-то какие были!.. Казалось, вечные!

Юра сделал успокаивающий жест: раз продала, значит, всё. Можно поговорить о чем-нибудь другом.

Аня робко взглянула ему в глаза. Знал ли он что-нибудь? Ей страшно было подумать, что ее взрослый, такой солидный, рассудительный Юра может догадаться, как она потеряла голову от безудержной любви и дошла до того, что ее подобрали с переломанными ребрами. Она сына не звала, не писала ему, что больна. Он или от Николая Егоровича узнал, или от чужих. И приехал. Вряд ли уж он так мать любил. Приехал по чувству долга. Аня понимала: это Юре не от нее досталось. И вряд ли от родного отца, чьего имени он даже не знал. Может быть, от бабушки, от дедушки из Благовещенского переулочка. А может быть, и не по крови это ему передалось. Взял от отца, маленького, не очень здорового, но сильного человека. И от тех людей, среди которых жил и учился и которые свой долг знают.

Конечно, Аня не могла этого в своих мыслях достаточно четко сформулировать. Но она это чувствовала.

А Юра между тем спросил:

— Мама, а почему бы тебе со мной в Ленинград не прокатиться? К Товстоногову сходили бы.

— Да я, Юрочка, уже на работу скоро выхожу.

Они посмотрели друг на друга. «Шубкин-то мой какой красивый стал! — думала Аня. — Ранса бы Захаровна поглядела!..»

И спросила сына:

— А девушки-то у тебя нет еще, Юра?

— Есть, мама.

Аня не выдержала и заплакала.

— Маленький ты мой!.. Не бросишь ты меня, Юра?

Говорить это ей было очень стыдно: что же она, только теперь вспомнила, что могла бы и для сына пожить?

Но Юра перевел все на юмор, сказал, что он лицо заинтересованное, что «Литературная газета» пишет о том, чтобы берегли бабушек, что у него проекты на создание семейного очага и т. п.

— Только я не в смысле возраста. Ты не обижайся, мама...

Аня вытерла слезы и сказала:

— Я не обижаюсь, Юрочка. Что ты!.. Нет, не обижаюсь.

Вид с балкона

Орест Иванович стал отцом более чем четверть века назад. И обстоятельства, которые предшествовали рождению его первого и единственного сына, не были особенно радостными, не такими, о которых хотелось бы помнить всю жизнь.

Он был уроженцем города Плавска, в Москву попал после службы в Красной Армии, и родни у него в столице не было никакой. В Плавск, этот маленький, тогда ничем не примечательный городок, он вернуться не захотел. Зацепившись кое-как в Москве, нашел койку в пригороде, между Немчиновкой и Баковкой. Прописали его здесь временно, жилье было полузимнее, холодное, в двух километрах от станции. Дома в ту пору освещались здесь только керосином, осенью возле станции и на дачных просеках было темным-темно и до жути грязно. Отсюда Орест Иванович ездил ежедневно паровым поездом и трамваем от Брестского вокзала на Красную Пресню, где работал техником-нормировщиком на сахарном заводе, получал что-то рублей триста, из них сотню отдавал за койку с хозяйским матрасом, одеялом и подушкой.

Он в те тридцатые, предвоенные годы был кудрявым, симпатичным, по-провинциальному застенчивым молодым человеком. Экипироваться по-столичному, купить хорошее пальто, костюм — все это тогда было ему не под силу, хотя он и не пил и даже не курил. Ходил Орест Иванович в сапогах и армейских галифе, оставшихся после службы на действительной. Летом он носил белый, чистенький «апахик», зимой сатиновую косоворотку под грубошерстным, жарким пиджачком.

Но в этом скромном наряде он приглянулся молоденькой,

бойкой и очень смазливой Люсе, которая работала помощником повара в заводской столовой. И по сей день у Ореста Ивановича была где-то запрятана ее фотография тех лет: Люся в белом колпачке льет что-то в большой котел, а сама смотрит в объектив круглыми, крайне беспечными глазами, готовая вот-вот расхохотаться.

Нельзя сказать, чтобы уж очень хороша собой была эта Люся. Но того, что наводит на грешные мысли, было в ней предостаточно. Познакомившись с Орестом Ивановичем, она поначалу попробовала напустить туману, сообщила, что переписывается с одним моряком-подводником с Черноморского флота, который по отбытии срока службы возьмет ее замуж. Люся даже показала какую-то фотографию моряка в бескозырке, смахивающую больше на цветную открытку, купленную где-нибудь в киоске. Но, рассказывая о моряке, сама липла и липла к Оресту Ивановичу.

Он был совсем не прочь жениться, но Люси побаивался. Ему мерещилась милая девушка из хорошего семейного дома, с укладом и уютом, которого ему все годы молодости так не хватало. Люся же сама была человеком без роду и племени, и, кроме постоянной московской прописки, никакого «приданого» у нее не имелось. Жила она в комнате с двумя подружками, тоже мечтающими о замужестве. Тут, правда, в отличие от того места, где временно квартировал Орест Иванович, был и электрический свет, и трамвай проходил почти под самыми окнами. Но это все-таки был не тот случай, когда следовало поступать очертя голову. И Орест Иванович с «предложением» не спешил.

Но Люся его из своих рук выпускать не хотела. Всю весну сорокового года они встречались: сначала ходили в Краснопресненский парк культуры и отдыха, и когда совсем потеплело, поехали подальше в лес, за Голицыно. С наступлением осени Орест Иванович уже допускал мысль, что стоит, пожалуй, ценой потери свободы прописаться наконец в Москве на постоянное жительство. Кончились бы ежегодные мытарства по паспортным столам и кабинетам начальников милиции. Правда, он плохо представлял себе жизнь в компании Люсиных подружек, но сама она заявила бесстрашно:

— Это их не касается. Я тебя не на их койку, а на свою приведу.

Но Орест Иванович все-таки не дал «привести себя на койку». Как только они с Люсей расписались и он получил права московского гражданства, он нашел крошечную комнатушку около Новинской тюрьмы. Регистрации брака пред-

шествовала еще и заминка с Люсиным паспортом: она его потеряла еще в прошлом году, но, не желая платить сто рублей штрафа, так и не заявила о потере. В отличие от Ореста Ивановича, которого подобные вещи всегда пугали, Люся на все формальности поплеывала, словно не в столице жила, а глухой тайге, где никто никакого паспорта не спросит.

Свадьба была самая скромная из-за недостатка места, но Люся и тут сумела наплясаться до изнеможения и утром опоздала на работу. Это могло обойтись ей в полгода принудительных работ, поскольку уже был обнародован Указ от 26 июня 1940 года, но заведующая столовой это дело покрыла, пожалев невесту. С тех пор Орест Иванович, хотя ему нужно было подниматься только в семь, вставал в пять и будил Люсю, которая, не боясь никаких указов, спала, как сурок.

Их сын, которого они называли Игорем, родился зимой сорок первого. Люся по беспечности прозевала срок декретного отпуска и родила его почти что у плиты. Хорошего приданого для своего первенца они с Орестом Ивановичем, понятно, купить не могли, набрали так, кое-что. Но ребята и девочки сложились и подарили им комплект пеленок и распашонок, а завком пошел навстречу и выделил какое-то прибежище рядом с территорией завода, где густо носилась сахарная пыль.

Сейчас Орест Иванович не смог бы точно вспомнить, каков был размер полученного жилища, на чем они там сидели, спали, из какой посуды ели. Но он отчетливо помнил, что это было с ч а с т ь е. Он впервые ощутил себя совершенно полноправным человеком. Попробовала бы Люся, живя на частной квартире, вовремя не платить за свет, пренебрегать уборкой общих мест, всюду разбрасывать пеленки и соски, как она это могла делать сейчас, живя уже в собственной комнате. Орест Иванович не испытывал особой нежности к новорожденному сыну, но и за него был тоже рад: ребенок был горластый, беспокойный, весь в мать, но в с о б с т в е н н о й комнате это уже было полбеды: соседей Люся в любую минуту могла послать к чертовой бабушке.

Орест Иванович очень скоро понял, что Люся не из самых самоотверженных матерей. Всю себя без остатка отдавать ребенку она никак не хотела, как будто предвидела, что это не последнее дитя в ее жизни. С первых же недель она обнаружила явное стремление спихнуть Игоря в ясли и бежать в свою столовую, к котлу с лапшой. И так как ее зарплата и тот бидончик супу, который она каждый вечер приносила из

столовой, были очень существенны в их жизни, то Орест Иванович возражать не стал. Тем более когда увидел, что Игорь в яслях находится в гораздо лучших условиях, чем дома, где ему даже кровати негде было поставить и где он спал на обеденном столе, пригороженный чем попало.

— Ты хоть руки-то помой,— сказал он однажды Люсе, когда та прибежала с работы и прямо взялась за сына-пеленашку.

— Отстань, я вчера в душе была. Заразная я, что ли? Нас ведь проверяют.

Орест Иванович, несмотря на свою неустроенную, шротскую судьбу, был брезглив. Как ни нужен был приносимый Люсей из столовой суп и гарнир от вторых блюд, ел он их как бы через силу, и его посещала неприятная мысль, не доедает ли он за другими. Не нравилось ему и то, что его жену «проверяют». За четырнадцать месяцев их совместной жизни Люся стала почти красивой, брак и ребенок пошли ей явно на пользу и девичьей живости в ней не истребили. Она порой нравилась даже собственному мужу, но того, что люди называют «совет да любовь», между ними не было. Зато у Ореста Ивановича была прописка, даже собственная площадь, что-то около двенадцати квадратных метров, за которые нужно было платить всего по тем деньгам рубля три, что ли... В общем, стоимость хорошего обеда. Был и сын, к которому Орест Иванович надеялся привыкнуть и со временем полюбить.

Двадцать четвертого июня сорок первого года, когда Ореста Ивановича вызвали в военкомат, сын его был в яслях, жена на работе. Он помнил, что Люся очень побледнела, когда он к ней забежал, хотя перед этим лицо у нее от кухонного жара было как свекла. Она бросила большую шумовку и очень непритворно заплакала, даже кинулась к нему на шею.

В звании техника-интенданта второго ранга Орест Иванович был прикомандирован к эвакуационному госпиталю, который переправлялся из Москвы под Рязань. В начале октября, сопровождая оттуда партию солдат в батальон для выздоравливающих, Орест Иванович смог побывать набегом у себя дома, на Красной Пресне.

Уже с августа он не знал, что там делается: как Люся, как ребенок? Она на три письма ему не ответила, но он понимал, что она растрепана, забывчивая, несерьезная, и все готов был ей простить. Сейчас ему казалось, что он едет к любимой жене, к любимому сыну. Перед Орестом Ивановичем

чем стояла задача: увезти Люсю и мальчика вместе с собой. Он не был уверен, что долго еще задержится при эвакуационном пункте, который должен был в скором времени проследовать в глубокий тыл. Но надеялся, что Люся с ребенком смогут уехать туда же.

Заботы его оказались напрасными: от соседей он узнал, что Люся примерно во второй половине сентября пустила себе в комнату на постой какого-то командированного, а недели через две вместе с ним, прихватив и восьмимесячного Игоря, отбыла в неизвестном направлении.

— Мы заходим, а у нее на постели посторонний человек спит, — сообщил старичок сосед. — Я еще документы у него проверил. Брось ты ее, Орест, к черту! Ищи сына!

Когда возмущение и обида немножко схлынули, Орест Иванович рассудил, что от Люси этого можно было ждать: ей все хотелось жизни веселой, любви горячей, чтобы муж и побил, зато потом как следует «пожалел». Ясно, что вскорости тот, командированный, ее бросит, но тогда он ей, видимо, не на шутку приглянулся. Орест Иванович вспомнил, что сам-то он был холоден с Люсей, и в состоянии крайней, скверной тоски махнул рукой.

В свой эвакуационный пункт Орест Иванович не вернулся. Провисел к военному коменданту и выпросил отправку на фронт. Только теперь в трагической суматохе октября и ноября, пережив эту гадкую, нелепую измену, он возмужал. Он вдруг почувствовал, что из его жизни вместе с Люсей ушло что-то, прежде так тяготившее его, вызывавшее порой даже безразличие, от которой он очень страдал. К сыну он не успел еще привыкнуть настолько, чтобы переживать сейчас жестокую боль, хотя всю дорогу от Рязани до Москвы он думал только о нем и о Люсе. Сейчас ему жаль было тех темных, октябрьских ночей, когда он не мог уснуть, тоскуя по семье, по Люсе во всяком случае...

Через несколько дней Орест Иванович был на передовой. Теперь он не был озабочен ничем, кроме того, чтобы как можно мужественнее, бесстрашнее выполнить свой воинский долг. Теперь он был лейтенант как лейтенант, отличавшийся от других только тем, что не заводил себе фронтовой подружки, не переписывался с незнакомыми девушками в надежде на будущую встречу. Тем более не ждал он писем и от той, на которой числился женатым.

Временами, особенно когда он наблюдал горе других солдат и офицеров, потерявших из виду свои семьи, начинала и Ореста Ивановича грызть мысль о сыне. Но фронтовой

мир оказался тесен: нашлись люди, которые знали о судьбе его бывшей супруги. Люся обосновалась в Кирове и там родила дочку от того самого тыловики, который умыкнул ее из Москвы и который сам уже давно был на фронте, так что Люся теперь перебивалась одна с двумя детьми. Орест Иванович скрепя душу переслал ей свой аттестат, но этим его заботы и ограничились.

После серьезного ранения уже в конце сорок третьего года Орест Иванович опять побывал в Москве и от соседей узнал, что из Кирова Люся перекочевала с детьми в город Любим, Ярославской области, где у нее была какая-то родня. Отец ее маленькой девочки, по имеющимся сведениям, погиб на Курской дуге, так что на него ей рассчитывать совсем уж не приходилось. Но во всех передрыгах бывшая супруга Ореста Ивановича не потеряла присутствия духа, и, хотя сейчас возле нее и было двое сопляков, она как будто бы неплохо устроилась и даже не теряла надежд на новое замужество.

Встреча их произошла только в сорок седьмом. Орест Иванович уже демобилизовался, успел кончить два курса вечернего отделения Института имени Плеханова и работал плановиком в одном из учреждений в системе Министерства коммунального хозяйства.

И тут явилась Люся, приехала в Москву, чтобы оформить развод. Орест Иванович увидел своего шестилетнего сына. И не только его, но и четырехлетнюю девочку, которую мать неизвестно зачем притащила с собой.

Свою бывшую супругу Орест Иванович еле узнал. Перед ним стояла крепкая, приехавшая в Москву, закалившаяся в невзгодах молодая баба, которая, казалось, не испытывала никаких угрызений совести. Она закурила прямо Оресту Ивановичу в лицо и стала весело рассказывать какие-то совершенно ему неинтересные подробности своей бурной биографии. Стоящая рядом маленькая девочка была не его дочерью, но Орест Иванович не без страха заметил, что девочка эта очень похожа на Игоря, отчего невольно рождалось чувство, что и Игорь, может быть, тоже не его сын.

Оба ребенка воспитывались по-спартански; Люся ими почти не занималась; не одевала, не умывала, дети все делали сами. Они предпочитали сидеть не на стульях или на диване, а все время возились на полу, охотнее всего под столом. Есть не требовали, но если видели что-нибудь съестное, то немедленно, не спрашивая разрешения, хватали сами. А Люся на это не обращала внимания, много курила, много и громко

разговаривала. Голоса ее Орест Иванович тоже почти не узнавал, тем более что в нем временами звучали какие-то драматические ноты: горя, видимо, она все-таки хлебнула да и в будущем вряд ли могла рассчитывать на совсем гладкую жизнь.

Поскольку у Оresta Ивановича была теперь довольно большая комната в районе Тишинского рынка, которую он получил, вернувшись с фронта с тремя ранениями и двумя орденами, он не мог не приютить у себя Люсю с детьми, хотя все в нем протестовало против этого: ведь Люся не просто погостить приехала, а получить развод в связи с тем, что у нее намечался новый брак. О подробностях она умалчивала, да и Орест Иванович ими не интересовался. Единственное, что его кололо, — судьба сына. Но это было не теплое родительское чувство; скорее это была боязнь нарушить долг и запятнать совесть. Да и шестилетний Игорь не только не обнаруживал никаких симпатий к отцу, а, наоборот, почему-то боялся его, жался в сторону и не отвечал на вопросы. Люсе сейчас невыгодно было, чтобы Игорь разгадал в Оресте Ивановиче своего родителя, раз у нее возникал новый муж... И все-таки улыбнись ему мальчик хоть раза два, что-то в Оресте Ивановиче растопилось бы. А сейчас он был готов тут же, немедленно выложить деньги за развод, только бы поскорее Люся уехала и увезла детей. Это были, пожалуй, самые тяжелые дни и недели в его судьбе, тяжелее тех дней и недель, когда он лежал в госпитале под угрозой ампутации ступни.

Задавать Люсе вопрос, почему она с ним так подло поступила, Орест Иванович уже не считал нужным: и слава богу, что она так поступила, а то сейчас эта крепкая, короткошеяя баба с накрашенными губами была бы его женой.

Кто разводился в те годы, тот помнит... Правда, Орест Иванович чувствовал, что женщина-судья, переводившая взгляд с него на Люсю, а с Люси опять на него, понимает прекрасно, кто прав, кто виноват. Тем не менее Оресту Ивановичу присуждены были алименты на содержание сына впредь до его совершеннолетия и, кроме того, его обязали выплатить их за все послевоенные годы. Ладно, что у Люси хоть хватило совести заявить, что на девочку она алиментов не требует, что та от «другого», хотя по закону она вполне могла бы содрать их с Оresta Ивановича.

Длилось все это около трех недель. Орест Иванович совсем не мог спать в своей собственной комнате. И днем у него все валилось из рук. А Люся совмещала бракоразводный

процесс с беготней по барахолкам. Что же можно было сказать, когда дети ее действительно были раздеты? Орест Иванович дал ей кое-что из вещей, привезенных из Германии. Люся все это очень выгодно пустила в оборот: одно продала, другое обменяла, приделалась сама и одела детей. Наблюдая все это, Орест Иванович пришел к выводу, что эта женщина ни при каких обстоятельствах не пропадет.

То, что она вела себя в его комнате так, будто приехала в гости к родственнику, а не к брошенному ею же мужу, с одной стороны, как бы облегчало положение, а с другой — делало его совершенно безобразным. Утром Орест Иванович видел ее плохо постиранное белье, кинутое куда попало, попеременно с детским, тоже очень грязным. Слышал, как она зевает и как бранит детей, если они долго не спят, ни на минуту не задумываясь о том, что можно бы вести себя здесь потише и не каждую секунду напоминать о своем существовании. Под конец Орест Иванович почувствовал, что нервы его сдают.

Когда все было кончено, он проводил Люсю с детьми на вокзал. Игорь по-прежнему держался отчужденно, и Оресту Ивановичу пришла в голову эгоистическая мысль, что это к лучшему: гораздо больше было бы переживаний, если бы сын потянулся к нему.

Только в самую последнюю минуту ему показалось, скорее померещилось, что Игорь поглядел на него очень пристально, будто вдруг узнал в нем родного папу, от которого его сейчас увезут и которого он больше не увидит. Может быть, тут сыграли роль две порции мороженого, которые Орест Иванович на вокзале купил детям. Он растерялся, не зная, что еще сделать и что сказать.

— Ну прощай, Игорь,— поспешно, но как можно ласковее произнес Орест Иванович и нагнул, чтобы поцеловать сына.

Потом он погладил по голове ни в чем не виноватую, хотя и абсолютно чужую девочку и сделал так, чтобы в посадочной суматохе не подать руки Люсе. Но и ей было не до рукопожатий: она уже воевала с кем-то из пассажиров за место на нижней полке, пристраивала туда вещи и ребят. Только когда поезд тронулся, она спохватилась и махнула рукой Оресту Ивановичу в окошко. А он постоял, пока не проскочил мимо него последний, до отказа набитый людьми вагон, и поздравил себя с тем, что все-таки легко отделался.

Ночью он проснулся: ему померещилось, что он опять в своей комнате не один, что где-то совсем рядом Люся в

коротком, нечистом халате, курит в потемках папиросу и насморочно сопят дети. Орест Иванович встал и наконец открыл окно.

Казалось бы, под прошлым была поставлена точка.

Но минуло что-то около двух лет, и Орест Иванович вдруг получил от Люси какое-то лживое, истерическое письмо. Она писала, что Игорь не дает ей никакого покоя, все время просится к своему настоящему папе. Писала, что Орест Иванович произвел на мальчика очень хорошее впечатление, поэтому теперь между Игорем и отчимом, новым Люсиным мужем, постоянно происходят неприятности, отчего ее сердце просто обливается кровью...

По письму этому можно было подумать, что Игорю не восемь, а по крайней мере восемнадцать лет: тут и «хорошее впечатление», которое якобы произвел на него Орест Иванович, и «неприятности» между ним и каким-то там типом... Орест Иванович вспомнил полное равнодушие к себе маленького сына и понял, что Люся все врет. Что-то изменилось в ее семейной жизни, в результате чего Игорь оказался лишним, и мать хочет от него избавиться. Письмо было неряшливо и неграмотно написано, оно невольно напомнило Оресту Ивановичу грязные Люсины платья и рубашки, которые она, приехав в Москву разводиться, разбрасывала по его комнате.

Теперь уж он ничего не написал ей в ответ, хотя некоторое время его и мучила мысль, что мальчишку, который все-таки был его сыном, где-то там обижают, может быть, даже и бьют. Ему казалось, что Люся способна и на это, а уж тем более он ничего не знал о ее новом муже. Одновременно Орест Иванович догадался, что ведь как раз к этому времени он погасил свою алиментную задолженность за все послевенные годы и что теперь те триста рублей в месяц, которые с него впредь будут удерживать, Люсю, наверное, уже не устраивают. От мысли этой ему стало просто тошно, и он так и не смог себя заставить хоть что-нибудь ответить ей.

Но Люся и без зова явилась в один прекрасный день и привезла Игоря. Орест Иванович вернулся со службы и увидел их обоих, сидящих перед его дверью на лестнице. Когда он подошел ближе, Игорь почтительно встал: конечно, его научила мать.

— Здравствуй, папа, — сказал он громко, но тоже заученно.

Слово «папа», произнесенное даже с неживой интонаци-

ей, произвело впечатление на Ореста Ивановича. Сердце подало ему какой-то сигнал.

— Здравствуй, Игорь,— сказал он сыну, но ни слова не сказал Люсе.

Зато она тут же, на лестнице, сообщила:

— Извел меня. Даже ночью плачет. Соседи думают, что мы его бьем.

Орест Иванович ошеломленно посмотрел на глазастого, худого, плохо одетого мальчишку. И заметил, как при словах матери тот опустил голову, весь съежился, словно хотел в какую-нибудь щель забиться. Что же это с ним? Ночью плачет... Может быть, мать просто врет, а ему сейчас стыдно за нее, поэтому он и ежится.

— Ну ладно, идем,— сказал Орест Иванович сыну и даже взял его за руку.

Люся подхватила свои пожитки и тоже проследовала за ними в квартиру.

— Двести рублей в кассе взаимопомощи взяла,— сообщила она.— А то на какие деньги я бы его привезла?

Она жаловалась на отсутствие денег, но уже на следующее утро побежала за какими-то покупками. Орест Иванович в первый раз остался один на один с сыном.

— Правда, что ты ко мне хочешь?

— Да.

— Будешь слушаться меня?

— Ага...

Орест Иванович все еще никак не мог отделаться от мысли, что все это подстроено. Но он понимал, что уж если его бывшая супруга что-то затеяла, то она ни перед чем не остановится. Неприятностей ему не хотелось: он, несмотря на исполнительный лист, по которому с него взыскивали алименты, был у себя на службе на очень хорошем счету.

Надо было приступить к исполнению родительских обязанностей. Орест Иванович покосился на узел, в котором Люся привезла кое-что из детской одежды. Но решил ни при каких обстоятельствах им не воспользоваться, даже не разворачивать.

— Бери шапку, пойдем,— сказал он Игорю.

В Краснопресненском универмаге Орест Иванович купил сыну серую школьную форму, но так как лето только начиналось, то еще бумажные брюки и две клетчатые ковбойки.

— Длинно, наверное, будет... Ничего, вырастешь.

На обратном пути Оресту Ивановичу показалось, что Игорь заглянул ему в глаза, словно хотел убедиться: раз ты

мне все это купил, значит, ты меня оставишь? Теперь уж вроде не было сомнения, что он никак не желал ехать с матерью обратно в Любим.

Когда шли мимо зоопарка, Игорь увидел плавающих птиц и рискнул прилечь к решетке. Но Орест Иванович подумал, что вряд ли стоит начинать с развлечений.

— Пойдем, пойдем,— не строго, но решительно сказал он сыну.

К вечеру вернулась и Люся, принесла четыре пары резиновых сапожек, и в комнате запахло обувным магазином. Люся увидела Игоря в новой красной ковбойке, и Орест Иванович заметил, как задергались ее подкрашенные губы. А когда она заплакала, тут уж он испугался, как бы она вдруг не изменила своего намерения и не увезла обратно Игоря.

Чтобы предотвратить всякие объяснения, Орест Иванович сказал как можно тверже:

— Я его беру. А тебя прошу как можно скорее уехать.

Люся вытерла слезы и попробовала заикнуться насчет денег на обратную дорогу, но Орест Иванович отказал наотрез. До вокзала он ее не проводил, довел только до ближайшей станции метро. У него сложилось впечатление, что Люся действительно едет в свой Любим без билета. И еще он отметил про себя, что после вступления в новое замужество она стала куда менее агрессивной.

Когда на следующий день утром Игорь проснулся, матери уже не было. Орест Иванович замер и выжидал, что спросит мальчик. Но тот молчал.

Потом слез с дивана, подошел к столу и потрогал пальцами чайник: это был намек на то, что он хочет чаю. Потом Игорь не выдержал и протянул руку к калачу, который Орест Иванович для него же и приготовил.

— Пойди вымой руки,— сказал отец.

Мальчишка поплелся на кухню и через двадцать секунд вернулся.

— А лицо?

Игорь покорно пошел снова. На этот раз вода шумела дольше. Полотенца он не нашел и явился весь мокрый. Он перестарался, холодная вода текла с волос, щеки и нос были красные.

— Ну, садись,— сказал Орест Иванович.

Он смотрел, как мальчишка жадно, всем ртом кусает калач, и понял, что в Любиме его не больно сладко кормили.

— Разжуй, потом глотай,— уже добрее заметил он сыну.— Куда ты торопишься?

Потом Орест Иванович смекнул, что не стоит так уж стоять над душой у парня, которому все-таки уже восемь лет. Он отошел от стола и сделал вид, что чем-то занят.

«А волосы у него мои,— подумал он, оглянувшись на Игоря, на его темно-русый, с завитком затылок.— Хотя что-нибудь...»

...Это было воскресенье. Оставив Игоря одного, Орест Иванович вышел на улицу, к телефону-автомату. В квартире, где он жил, тоже был телефон, но Орест Иванович не хотел быть кем-нибудь услышанным.

— Лиля,— сказал он, слегка прокашлявшись,— слушай, тут вот какое дело...

Лиля, с которой Орест Иванович был близко знаком вот уже более года, не была посвящена в тайны его биографии и не подозревала о существовании у него какого-то сына. Орест Иванович скрывал от нее, что он алиментщик, считая, что ущерба этим Лиле не наносит: она работала закройщицей в ателье закрытого типа и в материальной поддержке с его стороны не нуждалась.

Сперва Лиля восприняла сообщение как розыгрыш, потом сказала:

— Ну, знаешь!

Орест Иванович тоже был задет: он вправе был ожидать, что Лиля проявит хоть какой-нибудь интерес, спросит, по крайней мере, сколько лет его сыну, как его зовут. Но она сослалась на то, что сейчас ей разговаривать некогда, когда освободится, то позвонит. Он повесил трубку и хлопнул дверцей автоматной будки.

Игоря он застал дома сидящим в углу, прямо на полу. Мальчик теребил в руках старую полевую сумку, оставшуюся у Ореста Ивановича после фронта. Еще за дверью он услышал, как Игорь бормочет нараспев:

И пусть только белый попробует,
Протянет к нам лапу свою!..

Игорь увидел отца и испугался, не станет ли тот бранить его за сумку.

— Играй, играй,— хмуро, но миролюбиво сказал Орест Иванович. Тем более что в его холостяцком, одиноком хозяйстве не имелось ни одной другой вещи, которой можно было бы заинтересовать восьмилетнего мальчишку.

После телефонного разговора с Лилей Орест Иванович

несколько дней пребывал в неважном настроении. А Игорь держался пугливо: не понимал, в чем дело, думал, что отец им недоволен.

Как-то вечером они укладывались спать. Мальчишка воился с ремешком, украдкой косясь на отца.

— Бери подушку, ложись ко мне, — вдруг сказал Орест Иванович сыну.

Тот покорно подошел. Отец подсунул ему руку под голову, но оба долго лежали молча. Потом Орест Иванович почувствовал, что мальчишка заснул, и попытался свою руку освободить.

Но тут же пальцы Игоря прошлись по лицу отца, и его маленькая жесткая рука крепко схватила его за шею. Орест Иванович не отстранился, хотя Игорь вроде бы опять на ночь рук не вымыл. Он подумал о том, что, наверное, там, в Любиме, Игорь спал не один, может быть с сестренкой. Вряд ли он хотел обнять именно его, к которому конечно же еще не привык. Днем пока Орест Иванович никаких проявлений ласки от Игоря не видел.

«Как же все-таки мы с ним будем?.. — спросил себя Орест Иванович, думая о тех сложностях, которые внес сын в его одинокую, но свободную жизнь. — Что я ему скажу, если он о матери вспомнит? Или о сестренке?»

— Скажи-ка, вы там... очень плохо жили? — однажды решил спросить он сам у сына, не рискуя назвать все своими словами.

Мальчишка молчал, но Орест Иванович видел, что тот понял, о чем его спрашивают.

— Мы через забор дрова тырили, — вдруг сказал он.

— Как же так?.. Своих, что ли, не было?

— Ага.

— И кто же тебя посылал? Мама?

— Нет. Бабка, у какой мы жили. А мама говорила: не ходи, убьют.

Орест Иванович уже не рад был, что начал этот разговор. Сейчас он, как никогда, чувствовал себя виноватым перед сыном, который где-то мерз, которого посылали воровать дрова. А что, если бы его в самом деле изуродовали? Но Орест Иванович теперь с ясностью понял, что о матери Игорь не хочет говорить ничего плохого и не следует его на это направлять. Единственное, к чему он должен стремиться, это сделать так, чтобы Игорь ее поскорее забыл.

Первого сентября Орест Иванович в первый раз проводил своего сына в школу. По возрасту Игорь был даже стар-

ше своих одноклассников, но по развитию явно отставал: сказывалось детство, проведенное в ненавистном теперь Оресту Ивановичу городе Любиме. Но в конце концов оказалось, что в классе Игорь не худший, а за многое его даже хвалили. Перед Новым годом Орест Иванович пришел в школу на елку и увидел, как его сын под музыку исполняет какие-то силовые приемы, марширует и делает стойку на руках. Потом Игоря взяли в музыкальный кружок, и после нескольких занятий он уже мог исполнять что-то несложное на балалайке.

Соседи по квартире, желая морально поддержать Ореста Ивановича, находили в его сыне большое сходство с отцом, но сам Орест Иванович, к сожалению, этого сходства никак не мог уловить. Временами раздражал его и аппетит Игоря: мальчишка все время что-то ел, жевал, сосал.

Летом он отправил его на два срока в школьный пионерский лагерь. Недели через две Орест Иванович почувствовал, что немножко скучает, и решил навестить сына. Игорь не ожидал приезда отца, поэтому, когда увидел его, замер и только потом шагнул навстречу.

Помня его аппетит, Орест Иванович привез ему всяких гостинцев. Игорь тут же разорвал пачку с печеньем и принялся грызть.

— Тут тебе еды-то хватает?

— Ага. Ребятам привозят, они и мне дают!

Орест Иванович смотрел на Игоря и думал о том, что надо будет все-таки приезжать сюда регулярно. Вовсе не дело, чтобы его сына кто-то подкармливал, чтобы он подглядывал, что едят другие дети.

Но Оресту Ивановичу представилась возможность поехать на двадцать четыре дня в один из крымских санаториев. Он еще ни разу не был в Крыму, поэтому ему не хотелось упускать такую возможность. Вернувшись после сорокаградусной ялтинской жары в Москву, где лето было холодное и сырое, он в первый раз в жизни простудился и вынужден был взять бюллетень. Таким образом, он почти все лето не видел сына.

Орест Иванович лежал у себя дома на диване, когда Игоря привезли из лагеря родители его школьных товарищей.

— А я думал, тебя дома нет,— сказал Игорь спокойно и без всяких упреков.

После долгой разлуки он показался отцу очень окрепшим и выросшим. В свои девять лет Игорь был теперь плотный, бычковатый мальчуган, с большими, как у теленка,

сери-молочными глазами и озорным, обгорелым носом. Ковбойка, которую купил ему Орест Иванович два года назад, из красной стала грязно-розовой, манжеты истрепались и не прикрывали кистей рук. Сейчас уже не приходилось сомневаться в том, что Игорь очень похож на свою мать. И была в этом обстоятельстве для Ореста Ивановича доля горечи.

Правда, чувство это понемножку рассеялось, когда Игорь обнаружил явное желание ухаживать за больным отцом: стал все вокруг него прибирать, ставить на место. Лег на живот и достал из-под дивана оброненные туда Орестом Ивановичем газеты. Видимо, в лагере его ко многому приучили, даже есть и пить вовремя.

Потом в Игоре обнаружили и непонятные для Ореста Ивановича хозяйственные наклонности: он не в труд, а в удовольствие мог отстоять в очереди и притащить тяжелую сумку продуктов, быстро усвоил, что и почем стоит, в каком магазине что лучше купить. С одной стороны, это было совсем неплохо, а с другой стороны, как понимал Орест Иванович, это все шло от матери и грозило обратиться теми базарными хватками, которыми отличалась Люся.

— Лучше уроки делай! — сухо сказал он Игорю, когда тот сообщил, что в магазине за углом что-то «дают».

Как-то раз, возвращаясь домой, Орест Иванович увидел сына, бегущего через улицу с потрепанной хозяйственной сумкой. Вид мальчишки был озабоченный.

— Куда ты?

— Огурцы дают.

— Ну и зачем они нам?

— Марье Ивановне.

— А ну-ка домой!

Игорь посмотрел жалобно: видимо, соседка Марья Ивановна очень просила его насчет огурцов.

— Ну иди, только в последний раз.

Орест Иванович не был человеком недоброжелательным, и со всеми соседями у него были хорошие отношения. Но ему никак не нравилось, что его сын бегал кому-то за огурцами, выводил гулять чьих-то собак. Явно не стоило поощрять в нем эти холуйские наклонности.

— Если ты мне еще хоть одну двойку принесешь, — сказал он Игорю, когда тот разгрузился от огурцов и пришел домой, — то смотри!..

А в общем-то ничем серьезным сын его не огорчал. Он не приносил из школы пятерок, разве что по физкультуре, по пению, по труду. Но и двойки бывали не так уж часто. А глав-

ное — мальчишка был очень самостоятельный, не нуждался в опеке, сам находил себе дело: собирал для школы бумагу, металлолом, был на подхвате у пионервожатых, у нянечек, даже у дворников. Его замызганный портфель еле вмещал какие-то «необходимые» предметы: банки с красками, кисточки, пузырьки для опытов.

— Эх ты, мусорщик! — сказал как-то отец. — Недалеко ты с этим делом пойдешь.

Игорь ухмыльнулся и кивнул головой, словно согласен был «далеко не пойти».

— Хотел ведь летчиком-испытателем стать.

— Меня не возьмут в летчики, — сказал Игорь. — У меня глаза разные.

— Как разные?..

— Вот погляди.

Игорь приблизил свое лицо к лицу отца. Ошеломленный Орест Иванович пригляделся, и ему действительно показалось, что один зрачок у Игоря серый, добрый, а другой чуть зеленее, какой-то крапчатый и есть в нем что-то тигриное. Только не от взрослого тигра, а от тигренка-малыша. Но когда Игорь перестал таращить глаза, опять заулыбался, оба зрачка одинаково заискрились, стали как будто одинаковыми.

— Чушь ты мелешь: — сказал Орест Иванович.

— Я сам не знал, а мне ребята сказали.

— Ну и почему нельзя в летчики? Ты разве плохо видишь?

— Нет...

Орест Иванович еще раз окинул взглядом плотненькую круглоголовую фигуру сына, его короткопалые, не очень чистые руки, посмотрел на его рваный портфель.

«Чего я от него хочу? — спросил он сам себя. — Ему только одиннадцатый год. Дурачий возраст. Умыться на ночь не заставишь. А все-таки, пожалуй, хорошо, что он у меня есть».

3

Больше Орест Иванович не женился. С одной стороны, возросла его привязанность к Игорю, с другой — в складную семейную жизнь уже не верилось.

Орест Иванович, несмотря на свое потайное тяготение к женскому полу, был человеком сдержанным. Во-первых, он все еще не мог выйти из-под впечатления, которое произвела на него вся история с Люсей. Во-вторых, его ко многому обя-

зывало служебное положение. У них в организации дело с моралью было поставлено строго. Не могло, например, идти речи о том, чтобы запереться с какой-нибудь «дамой» в служебном кабинете. Жизнь в большой общей квартире тоже накладывала определенные запреты. И тем не менее за последние три-четыре года, уже при сыне, у Ореста Ивановича было несколько романов.

С одной веселой и интересной женщиной, массовичкой по профессии, Орест Иванович трижды ездил в отдельной каюте на теплоходе, курсирующем от Речного вокзала до «Солнечной поляны». Над их головами грохали ноги танцующих на верхней палубе, казалось, что кто-нибудь может ухитриться заглянуть в узкую щель между рамой и занавеской, которой было задрапировано окошко в каюте. Но если это смущало и травмировало Ореста Ивановича, то его спутница-массовичка относилась к этому совершенно терпимо. Может быть, именно поэтому Орест Иванович и не поехал с ней в четвертый раз.

Гораздо больше была задета его душа несостоявшейся любовью с молодой врачихой из районной поликлиники. Живая и говорливая, совсем не похожая на задерганных, умученных обходами районных врачей, будущая «пассия» Ореста Ивановича ходила к ним в квартиру возле Тишинского рынка лечить старушку, единственной болезнью которой была дряхлость.

— Товарищ дорогой, — обратилась она к Оресту Ивановичу, — наверное, вы ответственный по квартире? Что же у вас такая безобразная раковина? Просто руки мыть противно. Организуйте что-нибудь.

Орест Иванович не был ответственным, но он нажал на домоуправление, и раковину им заменили.

Старушка соседка все не поднималась, и врачиха, которую звали Майей Трофимовной, посещала их квартиру регулярно два раза в неделю, обычно в конце обхода.

— Здравствуйте, товарищ ответственный! — весело говорила она Оресту Ивановичу, хотя он ей уже вежливо объяснил, что вовсе он здесь не ответственный. — А что это вы сегодня так рано дома?

Майя уже догадывалась, что рано он теперь приходит из-за нее, но делала вид, что знать ничего не знает. Тем не менее близкое знакомство все же состоялось. Молоденькая участковая врачиха была человеком свободным и лишенным предрассудков. Когда Орест Иванович в первый раз рискнул

посетить ее, тамошние жильцы высыпали в коридор, но Майю это несколько не смутило.

— Ух ты, какой вы сегодня красивый!.. Заходите.

Орест Иванович действительно оделся как нельзя лучше: на нем был бледно-голубой габардиновый макинтош, почти такая же голубая шляпа, синие полуботинки. Но он уловил веселую иронию в словах Майи, и это несколько ослабило радость свидания.

Майя Трофимовна красавицей отнюдь не была: глазки у нее были веселые, но очень маленькие, брови реденькие, носик картошечкой. Правда, фигурка была очень складная и, несмотря на крестьянское происхождение, красивые руки и ноги. Сердце Ореста Ивановича она пленила и любовью к стерильному порядку, так что по сравнению с полной неряхой Люсей и даже с Лилей, которая выполняла левые заказы из ателье у себя на дому и превращала квартиру в склад тряпок, маленькая комнатка Майи казалась Оресту Ивановичу райской обителью.

Ему пришлось довольно долго приходить в эту обитель, прежде чем Майя, видимо под влиянием доброй минуты, разрешила ему задержаться у себя дольше положенного.

Уже во втором часу ночи Орест Иванович, счастливый, вернулся домой и тут увидел Игоря, но не спящего на диване, а сидящего опять на полу, у двери, зареванного, несчастного...

— Чего ты плачешь?.. — тихо спросил отец.

— Да-а, а где ты был?..

— Ну перестань!.. Что ты, маленький, что ли?

...В окна лезла весна, светало рано. Орест Иванович был близок к тому, чтобы сделать Майе предложение. Но его постигло страшное разочарование: сразу же погрузневшая Майя почему-то опять перешла на «вы» и сказала:

— Ну что это вы, товарищ дорогой?.. Мы же с вами такие разные!..

Орест Иванович был обижен и не мог понять, в чем же эта «разность». Правда, он был старше Майи лет на двенадцать, но по всем остальным данным: образованию, служебному положению, — как он считал, он должен был ее устраивать. Что у него сын, она тоже знала. Значит, другое... Неужели ей было плохо с ним, просто она стеснялась сказать?

— Ну что же, — сказал Орест Иванович, чтобы не услышать еще чего-нибудь обидного, — тогда извините!..

Теперь он уже не спешил со службы домой, потому что

опасался застать Майю: в квартире жила тьма народу, и кто-нибудь мог захворать.

Один раз он все-таки «напоролся» на нее, застав в кухне у новой раковины, над которой она мыла свои красивые и без того чистые руки.

— Здравствуйте, товарищ ответственный! — дружелюбно сказала Майя.

— Добрый день,— холодно ответил Орест Иванович и тут же закрыл за собой дверь в свою комнату, не желая больше повторять, что он не ответственный.

«Почему?...» — думал он.

Вечером, глядя на спокойно спящего Игоря, он продолжал размышлять:

«Все-таки несправедливо... Один и один. Хоть бы этот замурзяка меня по-настоящему любил!...»

Игорь довольно рано обнаружил признаки возмужания. Становясь юношей, он очень заметно похорошел. И хотя по-прежнему учился не блестяще и не всегда красноречиво мог высказать свои мысли и желания, но от товарищей в развитии отставал все меньше и меньше. В пятнадцать лет у него пробились темненькие, пушистые усики, и так как зубы у него были белые и ровные, то в совокупности это выглядело очень привлекательно. И сколько ни старался Орест Иванович задержать сына подольше в школьной форме (не из экономии, а в воспитательных целях), это казалось уже несправедливым по отношению к взрослому, видному парню, которым интересовались девчонки-старшеклассницы.

За огурцами для соседей Игорь теперь уже не бегал, банок и пузырьков в портфеле не таскал. Свободное время проводил в автомастерской при школе, да появилось у него новое увлечение — гитара, полученная в приз за какое-то спортивное достижение.

Жили они пока по-прежнему в коммунальной квартире около Тишинского рынка, но Орест Иванович к тому времени перешел работать в одно из республиканских министерств, так что появились виды на отдельную квартиру.

С юных лет привыкший к самостоятельности, не знавший ни опеки, ни роскоши, Орест Иванович не страдал от отсутствия в доме большого уюта. Длительная одинокая жизнь приучила его к порядку, Игорь перенял его повадки, поэтому жили они в относительном благоустройстве и чистоте, не испытывая тяги к украшению быта. Да и жить без лишних

вещей двум мужчинам было гораздо легче. Зато они не отказывали себе в хорошей еде, ходили в цирк, на стадион имени Ленина, иногда даже в театр, сменили маленький телевизор на самый большой. Правда, на карманные расходы Орест Иванович выдавал сыну весьма умеренно, но тот ни разу добавки не попросил. Не замечал Орест Иванович и того, чтобы Игорь потихоньку курил или тем более попробовал бы вина.

Нет-нет да и ловил себя Орест Иванович на мысли, что мог бы он побольше любить и нежить своего сына, что тот как-никак единственное и, наверное, навсегда родное существо. Не самый неудачный мальчик на свете был его Игорь, в котором пробудилась и доверчивость и даже какая-то телячья ласковость, несвойственная мальчишкам его возраста. Но Орест Иванович порой недоумевал: почему так легко Игорь навсегда забыл о матери, до восьми лет его художественно растившей? Не получится ли в один прекрасный день так, что и все сделанное для него отцом тоже будет забыто, оставлено без всякой благодарности?

В старших классах Игорь учился уже с большой натугой, и Орест Иванович пережил по этому поводу немало неприятных часов. В аттестате зрелости, который наконец получил Игорь, преобладали кудрявые тройки. Но странное дело: на новом, белом, чистом листе, выведенные как будто с любовью, эти тройки не производили обидного впечатления.

Орест Иванович все-таки недобро усмехнулся:

— Ну оторвал!.. Даже по истории тройка. Подумаешь, хитрый предмет! Куда ты с этим «документом» пойдешь, интересно?

Он взглянул на сына и убедился, что тот-то не слишком огорчен своим аттестатом. Рад, что школьная маета позади: образ молодого героя, забастовка орехово-зுவевских ткачей, сослагательное наклонение в немецком языке...

— А от мамы-то своей ты ведь недалеко ушел, — уже зло сказал Орест Иванович. — Тебе бы так и сидеть в Любиме этом!..

Игорь удивленно и тревожно покосился на отца: в «тигрячем» глазу его мелькнул какой-то укор. Но он только мотнул головой и ничего не возразил.

Но Орест Иванович зря возмущался: даже и с тройками Игоря приняли в автодорожный институт. Видимо, помогли его спортивные успехи: он уже имел разряд по пятиборью. В характеристике, которую он представил, перечислялись все

его общественные нагрузки. Так что не успел начаться в институте учебный год, Игоря и тут выбрали в какую-то секцию, потом в курсовое комсомольское бюро, потом еще куда-то.

— Пап, дай мне на проездной,— попросил он у отца.— Со стипендии я тебе отдам.

— Вряд ли она у тебя будет.

— До Нового года всем дадут.

— Ну, разве что до Нового...

Игорь был по-своему счастлив. Ему хотелось сказать отцу что-нибудь приятное.

— Знаешь, папа, ты ведь теперь можешь жениться.

Орест Иванович пожал плечами.

— Спасибо за разрешение. Только что-то не очень хочется. Да и тебе подольше не советуя.

Совет этот, пожалуй, был и излишним. Хотя Игорь был парень видный и мог не сомневаться в успехе, он этим не пользовался пока, держался застенчиво, дружил одинаково — и с ребятами и с девушками. Что касается его учебных дел, то Орест Иванович как-то успокоился: среди товарищей Игоря по курсу будущих светил вроде бы не прощупывалось, всех задало какое-нибудь хобби, а в результате экзамены все-таки сдавались, дипломы защищались и жизнь шла. А Игорь так вообще был молодец: среди самой пьяной компании оставался трезв, девочек не обижал и тем более не нарывался на алименты, что даже среди первокурсников имело место. Но вот обществом отца он с некоторого времени не то чтобы тяготился, а как-то получалось, что все они были врозь и врозь. Второе лето подряд Игорь уезжал на целину, а весной, осенью все свободное от занятий время убивал на то, что помогал своим товарищам, отцы которых были машиновладельцами, возиться с их «Запорожцами» и «Москвичами».

В конце концов Оресту Ивановичу пришла мысль, что лучше уж, чем убивать время и силы на чужие машины, купить свою. Надо сказать, что за всю свою жизнь Орест Иванович рубля не израсходовал зря. И не так уж ему нужна была эта машина, как ему не хотелось, чтобы его сын ходил у кого-то в слесарях, бегал по лестнице с ведром кипятку, с какими-то тряпками. Но Орест Иванович решил пока Игорю о своем намерении не говорить. Только когда Игорь заговорил о покупке мотороллера на заработанные на целине деньги, отец сказал с явным намеком:

— Подождем. Зачем мелочиться?

По тому, как заблестели глаза у Игоря, Орест Иванович понял, что парень догадался, о чем идет речь.

— Ты ведь у меня один,— сказал он с предельным великодушием.— Для кого мне беречь?..

До покупки машины было еще далековато, но Игорь сдал на водительские права и все свободное время проводил теперь в гараже у товарища, возле старой, облезлой «Победы», набивал руку. Оба они с отцом перешли на режим строгой экономии: уже больше не покупались театральные билеты, футбольные и хоккейные матчи смотрелись по телевизору, была продана гитара и ценный спортивный инвентарь. Как ни странно, именно теперь, когда они стали складывать в ящик стола пятерки и десятки, наступило и сближение: было о чем посоветоваться, прикинуть возможности. Орест Иванович, увлеченный теперь не меньше сына, решил воздержаться от покупки мебели для новой квартиры, которую они получили на Фрунзенской набережной с видом на Москву-реку и Нескучный сад. В комнате у Игоря так и осталась только одна раскладушка, а комнату самого Ореста Ивановича украшал главным образом большой телевизор под черное дерево с блестящими ручками. Сюда был перевезен от Тишинского рынка старый кожаный диван и обеденный стол, под которым пятнадцать лет назад играл Игорь, доставленный матерью из Любима в столицу. Пиджаки свои и брюки Орест Иванович и Игорь вешали пока в большой стеной шкаф, в котором почему-то даже после нескольких месяцев пребывания в новой квартире все еще пахло черт его знает каким-то вонючим клеем.

— Вот коврик какой-нибудь нам с тобой обязательно надо,— сказал Орест Иванович,— чтобы сиденье новое не попортить. И в санитарном отношении...

— Ага,— отозвался Игорь,— правильно...

Орест Иванович пошел к телефону: он вел переговоры насчет гаража. А заодно и условился насчет первого техосмотра.

Красивый зеленый «Москвич» был куплен в разгар весны шестьдесят второго года. В первое же воскресенье Игорь повез отца по достопримечательностям Подмоскovie. Взволнованный главным образом ощущениями от своего машиновладения, Орест Иванович все же получил удовольствие от увиденной им впервые Сергиевской Лавры и Абрамцевского музея. Радовало его и то, как уверенно Игорь сидит за рулем: по крайней мере, ни разу их ГАИ не остановила, ни рубля штрафа они не заплатили. Ковра, правда, они еще не раздо-

были, но Орест Иванович застелил сиденье чистой белой бумагой, а Игорь с разрешения отца поместил в кабине вырезанный из журнала «Америка» портрет Одри Хепбёрн.

— Папа, можно я Яшкину семью на дачу отвезу? — спросил Игорь.

— Что это за Яшка?

— Наш один... У них ребенок.

— Ну, знаешь!.. Если ты с самого начала...

Игорь не возразил, но отцу показалось, что тот огорчен. Чтобы оправдать свои слова, Орест Иванович добавил:

— У тебя экзамены на носу. Какие могут быть переезды?

«Теперь его все эксплуатировать начнут, — думал он, поглядывая на сына. — Телок!.. Езда такая сложная, из-за кого-то рисковать?»

Но Игорь все-таки рискнул: месяца через полтора после того, как был куплен красивый, зеленый «Москвич», в самый разгар экзаменационной сессии Яшкиному ребенку срочно потребовалось какое-то лекарство. И тут на Каширском шоссе, возле Борисовских прудов, на маленькую машину Игоря налетел большой автокран.

На щеку и на лоб Игорю наложили два шва, переносье все закрепили пластырем. С месяц Игоря мучили в стоматологической клинике, исправляя челюсть и зубы. Орест Иванович уже готов был к тому, что сын его останется уродом. Когда он вспоминал, какие зубы у Игоря были раньше, его трясло, как в лихорадке. В нем наконец проснулся настоящий отец, со всеми угрызениями совести, с настоящими страхами и болью.

Но Игорь уродом не остался. Правда, от перенесенных страданий он поседел, и не ровной сединой, а прядями. После выхода из клиники он обрил голову, но и это не помогло. Верхние зубы еще долго были перехвачены у него металлическими пластинками и крючками. В результате операции на челюсти изменился и голос. Но это все было дело временное, а главное — не пострадали ни череп, ни зрение.

— Теперь мы с тобой одного возраста, — с трудом улыбаясь, сказал Игорь отцу, намекая на седину и вставные зубы.

Орест Иванович не разрыдался, как мог бы другой отец на его месте. Но мужества ему для этого потребовалось много.

О разбитой машине они не сказали друг другу ни слова, как будто ее никогда и не было. Через неделю после аварии Орест Иванович, совершенно не постояв за ценой, продал

«Москвич» с искалеченным радиатором первому попавшемуся покупателю, лишь бы только Игорь не вздумал снова сесть за руль. Когда Игоря выписали из клиники, отец мог бы отвезти его домой на такси, но они с молчаливого обоюдного согласия пошли к остановке троллейбуса.

Орест Иванович взял отпуск и стал своему сыну нянькой: варил, прокручивал через мясорубку, протирал через сито, чтобы Игорю легче было глотать, пока во рту у него было полно металла. Бегал за самыми дефицитными продуктами, чтобы отбить у него вкус этого металла, помогал умываться и одеваться, потому что у Игоря долго болело плечо. Сопровождал на рентген и перевязки, а главное — всячески старался развлечь, чем-то повеселить, помочь забыть о болях, о пережитых страданиях.

— Хорошо, что мы с тобой холостые, — бодрясь, сказал Игорь. — А то бы сейчас кто-то рядом ныл...

— Вот уж не знаю, хорошо ли, — вырвалось у Ореста Ивановича.

4

В институт Игорь не вернулся. Из-за катастрофы, которая произошла с ним на Каширском шоссе, экзаменов он за четвертый курс не сдал. И хотя ему была предоставлена возможность сдать их осенью, он так и не смог заставить себя отвлечься от физической боли и переживаний, связанных с потерей совсем новенького «Москвича». Да и Орест Иванович не нашел в себе силы, чтобы достаточно активно понукать сына. При других обстоятельствах, брось парень институт, завтра же его забрали бы в солдаты, но Игорю теперь это не угрожало.

— Трудиться надо идти, — с мрачной усмешкой сказал он отцу. — В интеллигенты я теперь с такой мордой не гожусь.

С осени Игорь пошел работать на завод имени Ленинского комсомола, собирать те самые маленькие, красивые машины, к которым Орест Иванович теперь не испытывал ничего, кроме неприязни. Чтобы утешить его, Игорь обещал, что с будущего года вернется в автодорожный, на заочное. Но в это как-то плохо верилось: и тут, на заводе, едва Игорь огляделся, его впрягли в какую-то секцию, выбрали в цеховое комсомольское бюро, и дома его Орест Иванович теперь почти не видел. Мысль, что сын его останется слесарем, пусть и самой высокой квалификации, была ему просто ножом по сердцу. Он уже и запомнил, с чего начинал сам:

скоблил формы на хлебозаводе в давно забытом им Плавске, потом, до армии, три года счетоводом спину гнул, не успевал на локти заплаты нашивать.

Некоторые приятные минуты Орест Иванович все-таки испытал, когда в канун Нового года Игорь принес и показал ему значок «Ударник коммунистического труда».

— Смотри, какой герой!.. Ну что же, садись, выпьем с тобой по этому случаю.

И они обмыли значок.

— Вот и большой мужик ты у меня стал!..

— Ага, большой!..

Они выпили еще по рюмке, потом Орест Иванович пошел на свой диван, а Игорь включил телевизор.

— Чего там? — спросил отец, более склонный подремать.

Играл большой симфонический оркестр. Управлял им пожилой красавец дирижер со страстным, увлеченным лицом. Игорь слушал молча, потом позвал отца.

— Пойди погляди.

Орест Иванович поднялся.

— Это кто такой?

— Кароян.

Оба внимательно глядели. Этот человек, чьи руки и лицо занимали сейчас весь экран, был старше Ореста Ивановича и, наверное, годился Игорю в дедушки. Иногда виден был зал, лица слушателей, чаще всего молодые, женские. И Оресту Ивановичу пришла в голову мысль, что этого таинственного, раньше им не виденного Карояна могла бы полюбить самая молодая и красивая женщина. А он сам в свои пятьдесят пять лет сидит тут, ничем не согретый, так ничего сколь-ко-нибудь яркого и не переживший.

Когда оркестр замолчал, зал разразился аплодисментами. Орест Иванович опять подумал о том, что аплодируют, наверное, не музыке, какой-то сложной и незнакомой, а глазам пожилого дирижера, его лицу, страстным рукам.

— Понравилось тебе? — спросил Игорь.

— Понравилось.

— А ты включать не хотел!..

— Почему я знал? Теперь будем включать.

— Обязательно будем!

Орест Иванович обратил внимание, что глаза у сына что-то уж очень ярко блестят, особенно тот, «тигрячий». Знал ли Игорь, что будет играть этот оркестр, или включил телевизор случайно? С тех пор как Орест Иванович взял сына из больницы, на попорченном швами лице Игоря можно было

заметить гораздо больше разнообразных чувств, чем тогда, когда он еще был белозубым красавчиком. Раньше жил рядом с отцом покладистый, но без царя в голове сынок, а теперь — задумчивый, что-то решающий молодой мужик. Орест Иванович обратил внимание и на руки Игоря, большие, рабочие, по-прежнему не всегда хорошо отмытые.

Ему в этот вечер захотелось подольше посидеть с сыном.
— Неси шахматы, сыграем.

Они сыграли две партии, потом Игорь пошел к себе в комнату, лег на раскладушку и взял книгу. Орест Иванович еще днем обратил внимание на незнакомый переплет. Но ни фамилия автора, ни название ничего ему не сказали. Это был перевод с испанского, а на обложке стоял штамп библиотеки какого-то НИИ.

«Как она к нему попала? — подумал Орест Иванович. — Вот так берут в библиотеке книжки и не отдают...»

Через несколько дней перевод с испанского сменился переводом с чешского.

— Кто это тебя снабжает? — спросил Орест Иванович сына.

Игорь набрался духу и сказал:

— Лена.

Какая-нибудь Лена, или Таня, или Наташа должны были рано или поздно появиться. Этого и сам Орест Иванович подспудно желал. Но сейчас, когда Игоря так «покорезило», когда он еще ничего в жизни не добился, когда всеми силами нужно притащить его обратно в институт, всякие Лены, Тани, Наташи были вроде бы совсем ни к чему. И откуда она взялась, эта Лена?..

В один прекрасный день она пришла к ним в квартиру на Фрунзенскую набережную и подала Оресту Ивановичу очень маленькую, тоненькую руку.

Это было миловидное, худенькое существо с пепельными волосами ниже плеч. Сквозь стекла больших очков глядели светлые, как будто добрые глаза. На Лене были узкие, выцветшие брючки, полосатая трикотажная кофточка с большим вырезом, из которого выглядывали острые, незагорелые ключицы.

Оресту Ивановичу вспомнилось, что эту девицу он вроде бы видел в клинике, где лежал Игорь. Когда он пришел к сыну, она любезно поздоровалась и тут же уступила место.

— Это что за посетительница? — спросил тогда Орест Иванович Игоря. — Из автодорожного, что ли?

Игорь покачал забинтованной головой, указал на другую

койку, где лежал какой-то парень: к нему, мол, а вовсе не ко мне приходила.

И вот теперь оказывается, что и к нему тоже. Значит, эта история тянется больше чем полгода. Не из-за этой ли самой Лены бросил парень институт, захотев собственных денег и самостоятельности?

...Сейчас Ореста Ивановича прежде всего задел за живое костюм будущей невестки. Ведь могла бы она явиться в юбке, а не в штанах, могла и чулки надеть, чтобы не показывать ногти на маленьких, детских ножонках. Орест Иванович подумал о молодых и не слишком молодых женщинах, которые во время оно занимали его воображение. Он вспомнил даже свою проклятую Люсю: она была яркая, броская, любила попростее одеться, и даже когда у нее ребенок грудь сосал, все равно прихорашивалась и подкрашивалась. Орест Иванович воскресил в памяти своих бывших знакомок, всегда подтянутых, со вкусом одетых и причесанных. Ни одной из них не пришло бы в голову нацепить на себя подобие матросской тельняшки и в таком виде идти в первый раз в дом к жениху. Эта Лена как будто на субботник собралась, только что ситцевым платком не покрылась.

Появление Лены было совершенно неожиданным, поэтому у Ореста Ивановича не оказалось никакого угощения. И в комнате против обыкновения был беспорядок: в связи с событиями последних месяцев заботы о быте отошли у них с Игорем совсем на десятый план. Но Орест Иванович не заметил и тени разочарования на лице у Лены, как не заметил и смущения, с которым девушка, по его мнению, должна была бы в первый раз прийти на показ к родне будущего мужа.

И вдруг он понял: чего же ей разочаровываться или удивляться? Ведь ей же здесь не жить. И он этого не хочет, и она, вероятнее всего, не согласится. Если бы тут у них не один, а пять диванов стояло, пять люстр и пять ковров бы висело, похоже, что Лене это было бы безразлично. Орест Иванович почувствовал, что рано или поздно она его сына уведет за собой, сделает это черное дело, хотя глаза у нее и добрые.

Все же он попытался быть гостеприимным, что-то подать на стол, приготовить. А его сын доверчиво и влюбленно смотрел на Лену. Тщетно пытался Орест Иванович уточнить, о чем они вполголоса переговаривались, но так ничего и не понял. Ну ладно, Игорь хоть операцию перенес, еле языком ворочает, а Лена-то чего же боится, как человек, рот раскрыть? Мурлычет что-то на каком-то птичьем языке. Орест Иванович уже был посвящен в то, что Лена на четыре года

старше Игоря и уже находится в разводе, поэтому ему казалось особенно нелепым, что она как будто корчит из себя девочку.

— Знаете что,— вдруг сказала Лена, увидев, что Орест Иванович собирается жарить яичницу,— если можно, я лучше сырое яйцо выпью. Я очень люблю сырые.

Орест Иванович растерялся и стоял с чайником в руках, не зная, ставить ли его на газ, или Лена предпочитает вместо чая пить сырую воду.

— До свидания,— приветливо сказала она, выпив яйцо и не дожидаясь другого угощения.— Игорек, я побегу сейчас за Алкой в Гнесинское. Позвони вечером после одиннадцати.

Когда она убежала, Орест Иванович спросил:

— Что это еще за Алка?

— Девочка ее...

— Ах, еще и девочка имеется?

— Да,— мужественно сказал Игорь,— имеется.

С одиннадцати вечера до двенадцати Игорь сидел у телефона. Сам он почти ничего не говорил, а Лена щебетала так громко, что голос ее Орест Иванович слышал даже в соседней комнате. А может быть, ему это казалось. Вроде бы такой односторонний разговор не мог сильно ему мешать, но выдержать его в течение часа оказалось безумно трудным. Орест Иванович готовился к тому, чтобы излить свое недовольство, но Игорь его опередил.

— Тебе большой привет,— сказал он.

— Спасибо...

— Знаешь, она ведь очень хорошая.

Орест Иванович приподнялся и сел на диване.

— Чем же она такая хорошая? Одну семью уже развалила.

Игорь сморщил свой зашитый лоб и пожал плечами.

— Почему ты знаешь, может, не она развалила.

— Первая баба у тебя, поэтому и думаешь, что лучше нет.

Тогда Игорь сказал почти грубо:

— Знаешь, давай лучше не будем!..

— Что это значит «не будем»? — взорвался Орест Иванович.— Не касается это меня, что ли?..

Оба они долго не могли успокоиться. Утром Игорь хмуро сказал отцу:

— Я думал, ты рад будешь. А то бы она сюда не пришла.

— Да пусть приходит! — с надрывом кинул Орест Иванович.— Они сейчас все такие. Зачем тебе лучше, чем другим?

Весь день он не мог найти себя и руки. Вспоминал в деталях собственные романы, которые по возможности пересказывал в тайне от окружающих, хотя стеснялся ему была некого и нечего: он был человек свободный. Вспоминал короткие и длинные значные беседы по телефону из общей квартиры со своими избранницами. Конечно, это была не та любовь, от которой теряют голову. Но уж зато все было прилично, не напозор. А эта приходит без всякого стеснения, в бранных, сырых яща ест.

— И ты меня извини,— сказал он вечером Игорю. — Не хочется мне тебя отдавать. Все-таки один ты у меня...

Но полностью уступить Игорю и не пришлось. Лена, состоя в невестах, появлялась и уходила. Орест Иванович теперь неторопился со службы домой: ему хотелось, чтобы Лена ушла без него. Следы ее присутствия оставались в виде забытой у телефона записной книжки, гребенки и заколок в ванной, завернутых в газету детских ботинок или ее собственных стареньких босоножек, предназначенных для ремонта. Еще чаще наталкивался Орест Иванович на какие-то забытые таблетки: от головной боли, сердечные, желудочные. Можно было подумать, что в гостях побывала не двадцатисемилетняя молодая женщина, а старушка пенсионерка. Нашел бы и несколько направлений — к рентгенологу, на сдачу крови из вены, к невропатологу...

— Да что за черт? — спросил он у Игоря. — Чего это она все лечится? Когда же она работает-то?

Четыре года назад Лена закончила Иняз, владела французским и испанским, но до сих пор не могла найти работы, которая была бы ей по сердцу. С преподаванием в школе у нее ничего не вышло, она вспоминала это как страшный сон. Никого она ни в чем не обвиняла, относилась к своим неудачам за счет отсутствия педагогического таланта. Мечтала она о литературной работе и работала пока в иностранной библиотеке при каком-то крупном НИИ на половинной ставке. Временем своим она располагала довольно свободно. Но Оресту Ивановичу доподлинно известно было лишь то, что средства у его будущей невестки были очень скромные. Может быть, именно поэтому и ходила она в своей тельняшке?.. По крайней мере, Орест Иванович на ней пока никакого другого костюма не видел. О семье Лены сведения он имел тоже весьма отрывистые: мама когда-то пела в хоровой капелле, сейчас на пенсии. Отец Лены, по специальности зоолог, скончался десять лет назад от последствий тяжелого фронтального ранения. Лениной девочке шесть лет, ее водят в музыкальную

школу при Гнесинском училище, живут они все в одной комнате, в большой коммунальной квартире в Померанцевом переулке. Есть у Лены еще и какая-то тетя, в прошлом тоже имевшая отношение к искусству, а теперь больная и нуждающаяся в уходе.

«Да, нашел себе мой сынок!..» — думал Орест Иванович.

Сейчас ему уже как-то и в голову не приходило, что Игорь его это тоже не подарок: физиономия попорчена, институт брошен, специальность не освоена и денег не гора. Разве что парень добрый и ненахальный — предался душой этой ничем не примечательной Лене.

Но Орест Иванович не мог не признать и того, что было все-таки что-то милое и беззаветное в этой маленькой худенькой Лене. Может быть, потому, что сама она испытывала какие-то недомогания, она каждый раз с искренней заинтересованностью осведомлялась у Ореста Ивановича насчет его самочувствия. Она не требовала к себе никакого внимания, довольна была всем: яйцо так яйцо, сосиски так сосиски. Ее правилом было — никого и ничем не затруднять.

— Орест Иванович, дайте мне, пожалуйста, десять копеек, — как-то попросила она, не застав Игоря дома.

Он хотел было всучить ей рублей пять (все-таки почти родственница), но Леночка затрясла головой и, получив гривенник, убежала. На следующий же день она оставила ему свой долг на столе с записочкой: «Сердечное спасибо, дорогой Орест Иванович!» Вот и сердись на такую!..

Это было уже перед весной, на обледенелые тротуары пал сырой снег. Лена забежала к ним на Фрунзенскую набережную с мокрыми, зазябшими ногами.

— Игореньша нет? — спросила она, отдавая Оресту Ивановичу в руки свою старенькую шубку. — А как ваше самочувствие?

Орест Иванович усмехнулся и сказал, что самочувствие ничего.

— Какой вы молодец! А я уже три дня так отвратительно себя чувствую.

«Зачем же ты, матушка, любовь задумала крутить, если постоянно отвратительно себя чувствуешь?» — хотелось спросить Оресту Ивановичу. Но он все-таки был человек достаточно сдержанный.

Они посидели с Леной вдвоем и даже выпили чаю.

— Что же вы мне про свою девочку никогда ничего не расскажете?

— Вы знаете, я ее сама уже почти неделю толком не вижу. У меня очень больна подруга.

Слышать это было странно: неужели не хватает Лене собственных хворей, чтобы еще при ком-то сиделкой сидеть?

— Разрешите, я поговорю по телефону,— попросила Лена и говорила, как подсчитал Орест Иванович, ровно тридцать пять минут.

Оторвавшись наконец от трубки, она сказала тревожно:

— Где же все-таки может быть Игорь?.. Я сейчас попробую...— И опять припала к телефону.

Она долго и терпеливо пробивалась через частые гудки к Игорю на завод, но там ей ничего не сообщили. Тогда Лена снова позвонила больной подруге, чтобы объяснить, что задерживается.

«Вот сейчас придет Игорь, наверное, захочет побыть с ней,— думал Орест Иванович,— а ее черт несет к подруге...»

Ему было жаль и Игоря и Лену, простуженную и плохо одетую, жалко и себя самого, тоже ничем не согретого.

— Как же все-таки у Игоря с институтом? — спросил он после короткого молчания.— Крест он, что ли, на это дело поставил?

— Видимо, с будущего года,— ответила Лена, набирая еще один номер.— Вы знаете, он сейчас очень увлекся чтением...

Она могла этого и не сообщать: рядом с раскладушкой Игоря навалом лежали какие-то переводные романы.

— Зря вы, по-моему, мозги ему засоряете,— сказал Орест Иванович, досадуя и на то, что Лена никак не оторвется от телефона.

Лена положила трубку, глаза у нее печально округлились.

— Орест Иванович, что с вами?.. Ну зачем так?..

Игоря они прождали почти до десяти часов вечера. Лена продолжала куда-то звонить, а Орест Иванович места себе не находил. В конце концов Игорь явился. Оказалось, что с завода молодежь посылали на овощную базу.

— Я кочан капусты приволок,— сказал он.— Морковь паршивая, я не взял.

Оресту Ивановичу и раньше было не по душе, что его сына все время куда-то гоняют: то на озеленение, то на картошку, то на капусту. Он по опыту знал, что особо ценных работников

на эти дела не посылают. Но его утешала мысль, что Игорь просто из тех, кто всегда «вызывает огонь на себя».

Сейчас Орест Иванович готов был отчитать сына за то, что тот не сообщил о походе на овощебазу. Но впрочем удержался: Лена, которая сейчас на это имела гораздо больше права, и не думала бранить Игоря, а заботливо его раздевала и любовалась принесенным им кочаном капусты. Она провела с Игорем минут двадцать, потом убежала.

— Вот и целуй свой кочан,— усмехнувшись, сказал Орест Иванович сыну.

Игорь улыбнулся и промолчал. Рот у него уже не болел, только передние зубы поблескивали сталью. Швы на лице тоже побелели, к седым прядям на голове отец уже привык. Ему казалось, что сын его опять красивый и заслуживает большего женского внимания.

— Слушай,— сказал Орест Иванович,— все-таки на что они живут? Я сегодня посмотрел на ее обувь...

— Я хотел ей купить, она ни в какую...

— У нее что же, и ребенок босиком ходит?

— Нет, ребенок не босиком.

Оресту Ивановичу хотелось спросить, получает ли хоть эта нескладеха Лена алименты на свою девочку. Но как-то не хватило духу.

Ночью ему приснилось, что его невестка ест сырую капусту. Он сразу проснулся. И так как до утра было еще очень далеко, то у Ореста Ивановича была полная возможность поразмышлять, что же в конце концов из всей этой истории получится.

6

Наконец Игорь с Леной подали заявление в загс и расписались. Никаких свадебных торжеств не последовало, хотя Орест Иванович великодушно заявил, что готов понести определенные затраты.

— Закажем «Огни Москвы», можно даже попробовать и на «Седьмом небе».

— Да нет,— сказал Игорь.— Какое «Седьмое»!.. Это, папа, все не для них.

— Для кого это не для «них»?

— Ну, для Ленки, мамы ее... Вообще для всех ихних.

— А что же такое «ихним» нужно?

— Да ничего.

— Ну, а ты сам что же, и голоса не имеешь?

— Мне тоже это дело теперь вроде бы ни к чему.

Оказывается, совершенно напрасно Орест Иванович рисовал себе картину не слишком пышной, но хорошо организованной свадьбы человек на тридцать, на которую он бы мог пригласить и своих сослуживцев. В его возможностях было заказать любой комфортабельный зал, с хорошим столом и квалифицированным обслуживанием. Конечно, Орест Иванович не мог силой натянуть на «молодую» свадебное платье и фату, но от нового, хоть как-то соответствующего моменту платья она бы, наверное, не отказалась. Что касается Игоря, то отец его и спрашивать не стал, а договорился о срочном пошиве черного костюма в закрытом ателье. И вот теперь пожалуйста: им ничего не нужно!..

— Ты, папа, не обижайся,— сказал Игорь.— Мы в этот день с Ленкой на Рихтера пойдем. Нам билеты подарили.

Орест Иванович, конечно, знал, что существует такой известный музыкант Рихтер и что билеты на него так, раз-два, не достанешь. Но все-таки, чтобы прямо из загса идти на концерт — не очень это умно и прилично.

— Ладно,— с горечью бросил он.— Идите, куда хотите: хоть на Рихтера, хоть на Бетховена!..

После того как Игорь и Лена узаконили свои отношения, молодая стала появляться в квартире на Фрунзенской набережной гораздо чаще, иногда даже оставалась ночевать.

Комнаты в квартире у Ореста Ивановича были смежно-изолированные, то есть сообщающиеся, но раньше Игорь дверь в коридор из своей комнаты никогда не пользовался, а проходил через комнату отца. Теперь эта связующая дверь закрылась. Орест Иванович купил к ней маленькую, блестящую задвижку. В тот день, когда он эту задвижку приладил, настроение у него было самое ужасное: так он ревновал своего сына.

Помнится, это была суббота, они утром втроем пили чай. Потом Лена долго говорила с кем-то по телефону. Орест Иванович лежал на своем диване и молчал. Примерно после часа он прислушался: невестки его на кухне слышно не было. Он встал и направился туда сам. Наверное, со стороны это выглядело забавно, но он попытался приготовить субботний обед. Не просто так, как раньше, что-нибудь на скорую руку сварить, а именно приготовить.

Орест Иванович крошил морковку, когда за его спиной Лена сказала как будто бы немного виновато:

— Знаете, а ведь мы с Игорем должны уйти...

— И куда же это?

— Тетя Мила плохо себя чувствует.

Скажи Лена, что они идут в кино, на выставку, на чей-нибудь день рождения, возможно, Орест Иванович так бы не обозлился. А сейчас он еле удержался от того, чтобы не швырнуть морковку на пол. Но Лена этого вроде бы не заметила и спросила ласково:

— Можно взять ваш зонтик? Игореньш простужен.

Сам же Игорь, вроде бы совсем и не простуженный, сказал смущенно:

— Ты не волнуйся: мы это все вечером слопаем.

Обедать один Орест Иванович, понятно, не стал. Он снял полотенце, которым был подпоясан вместо фартука, сел тут же в кухне и тупо посмотрел на открытую им же банку болгарского перца.

Отдавая должное покладистому характеру своей невестки, Орест Иванович все же считал, что лично его такая жена не устроила бы: постоянно Лена покидала Игоря, чтобы кого-то навестить, кого-то куда-то устроить — то на свободные места в «Современник», то к знакомому стоматологу. А в целом эти разговоры по телефону и беготня могли бы, кажется, и здоровую бабу с ног свалить. Например, Лена затрачивала массу энергии, чтобы зимой, в канун Нового года, добыть букетик живых цветов и собственной рукой вручить его в Зале Чайковского Валентине Левко или Леониду Когану. Конечно, это лучше, чем бы она бегала по универсам или ателье, но всему есть мера.

Как-то раз Лена опять покинула Игоря одного с отцом дня на два: стояла неплохая погода, но кто-то из ее знакомых ухитрился простудиться. Орест Иванович, желая войти в прежнее доверие к сыну, приготовил хороший ужин. Открыл баночку с красной икрой, нарезал салями, купленную в буфете своего министерства. Они с Игорем очень хорошо посидели, даже выпили коньячку.

— Слушай, а не надоело тебе все это? — спросил Орест Иванович, указывая глазами на дверь, в которую недавно выскочила Леночка.

— А что ты имеешь в виду? — настороженно осведомился Игорь.

— Да ты сам знаешь.

— Нет, не надоело. А что тебе не нравится?

Что было на это ответить? Действительно, ничего плохого вместе с Леной в их дом не пришло. Никаких требований и ссор из-за квадратных метров, никаких недобольств.

Оресту Ивановичу хотелось, чтобы Игорь разговорился. Он налил ему еще.

— Слушай, а стоящая ли она баба-то? Или у нее одни болезни? Есть ли тут из-за чего?..

— Это уж ты через край!.. — покраснев, сказал Игорь.

— Ладно, извиняюсь. Ты бы ей хоть пальто новое купил.

— Я предлагал. Она наденет, посмотрит в зеркало и тут же снимает. То ли не нравится, то ли цена дорогая, я уж и не пойму...

— Чудная она какая-то у тебя.

— Немножко... Но она человек очень хороший. Вон у нас ребята женились и говорят — скучно. А мне с ней нет.

Странно в общем-то было слышать такие слова от молодого парня: «Она человек очень хороший». Так говорят о своих женах люди пожившие, которым что-либо менять поздно. Да и то бывает, что и от очень хороших уходят. Значит, не скучно ему со своей Леной? Опять же слава богу!..

И тут Орест Иванович рискнул задать давно смущавший его вопрос:

— Слушай, а где же тот-то... первый ее?

Игорь долго молчал. Похоже было, что он и не ответит.

— Она ему институт закончить помогла. За него диплом писала.

— И все-таки ушел?

— Чего ему уходить? Они не вместе жили.

Орест Иванович понял, что с тем, с первым, происходила примерно такая же канитель, как и в этот раз с Игорем. Только его сын — это его сын: поступил порядочно и женился.

— И давно это было?

— Давно. Уже семь лет.

Ничего себе, значит, даже рождения ребенка не дождался! Однако досталось этой Лене... И Орест Иванович решил быть до конца великодушным.

— Вот что, Игорь. У меня есть деньги, возьмите. Одень ты свою жену, как человека. Обстановку какую-нибудь приличную купите. И хватит вам из дома в дом ходить, как цыганам. Тесно вам тут со мной, можно кооператив организовать.

— Спасибо, — сказал Игорь. — Это, папа, все надо обдумать...

Оресту Ивановичу ясно было, что тут влияние Лены. Он уже жалел о внесенных предложениях.

— Не желаете, так не надо. Уговаривать не намерен. — Вдруг ему сделалось страшно жалко себя, и он сказал почти

жалобно: — Хотелось мне для вас... Я свою жизнь прожил несчастливо...

Игорь поднял брови.

— Ты несчастливо?.. А я, папа, думал, что наоборот.

«Что он имеет в виду?» — спросил себя Орест Иванович. И сказал уже холодно:

— Чем-то я вам не подхожу. Не пойму только, чем. Может, они графы какие-нибудь или князья?

— Какие графы! Ленкин дед политкаторжанин. В Александровском центре сидел.

Выпитый коньяк давал себя знать. Орест Иванович заводился, что с ним бывало очень редко.

— Что-то не похоже, что в центре... Тоже небось артист какой-нибудь.

— Ну, знаешь!..

— Я ведь вроде неплохо к вам относился, — продолжал Орест Иванович. — Терпел, пока вы тут незарегистрированные крутились. И сейчас в ваши дела не мешаюсь, не смотрю, чего вы там едите, пьете. Пусть твоя супруга спасибо скажет, что я ни разу от телефона ее не турнул, когда она болтает по часу.

— Может и не болтать, — угрюмо сказал Игорь.

— Да это ладно: у телефона — так, по крайней мере, дома, на глазах. А сейчас вот она к подружке какой-то помчалась? Ты уверен?..

Это уже был запрещенный прием. Игорь сначала побледнел, потом порозовел.

— Набрался ты, — сказал он очень хмуро. — А то уж и не знаю, как мне тебя понять.

Орест Иванович отвернулся. Он уже и сам догадался, что наговорил лишнего. Но ему очень жаль было самого себя. Он в эти минуты искренне желал, чтобы Лена действительно подалась бы куда-то на сторону и они с Игорем опять остались бы вдвоем.

На минуту Орест Иванович стряхнул с себя хмель.

— Ты мог бы мне раньше сказать, что у нее дед с революционным прошлым.

— А что это меняет? — добродушно спросил Игорь. — Не вздумай рекламу делать, а то мне первому попадет.

...Да, странная это была, с точки зрения Ореста Ивановича, семья. Тем сильнее был его интерес к ней, желание хоть краем глаза поглядеть, узнать, чем там дышат.

В одну из суббот к Оресту Ивановичу привели самую младшую представительницу странного семейства, шестилет-

нюю Аллочку: Лена и ее мама хоронили кого-то из знакомых на Востряковском кладбище.

Это была худенькая, как мать, девочка с вывернутыми внутрь коленочками. На кудрявой голове был укреплен роскошный бант. Она увидела в коридоре черный, вращающийся табурет, сидя на котором Орест Иванович всегда обучался, и спросила:

— А где же у вас рояль от этой тумбочки?

Она не раскапризничалась, когда ее оставили вдвоем с незнакомым человеком. Она даже попыталась сама поддержать разговор:

— А вы выписываете какой-нибудь журнал?

— «Огонек» выписываю.

Он положил перед ней несколько номеров. Аллочка раскрыла один и начала внимательно рассматривать.

— Я это знаю, — сказала она, показывая ему репродукцию с «Русалок» Крамского. — Вы любите читать Гоголя?

Орест Иванович был несколько озадачен.

— А ты и читать умеешь?

— Мне читает бабушка. Но я тоже умею. Бабушка говорит, что мне совсем нечего будет делать в первом классе.

Такой вострухой, наверное, была и Лена лет двадцать назад. Зачем же ей было выбирать себе в мужа парня, который чуть ли не до пятого класса по складам читал, только стойку на руках хорошо делал? Оресту Ивановичу подумалось, что Лена со своей дочкой и мамашей-певицей будут, чего доброго, сильно подтрунивать над его Игорем, который хоть и неплохой парень, но в иллюстрациях из «Огонька» не очень-то разбирается, тем более, наверное, в тех переводных романах, которые Лена так настойчиво таскает ему из библиотеки.

— Чем мне тебя угостить? — спросил Орест Иванович у Аллочки. — Вот бери конфеты.

— А вы разве не пьете чай?

— Можно и чай.

Стаканы были очень горячие, и Аллочка попросила, чтобы он налил ей в блюдечко. Орест Иванович сделал это охотно: девочка начинала ему нравиться, между ними рождалось что-то вроде взаимного доверия.

Но после чая наступила некоторая заминка: Аллочка заметно заскучала.

— Что-то долго твоя мама... — сказал Орест Иванович.

— Да, — согласилась Аллочка. — Но что же поделаешь, если сейчас всех хоронят так далеко?

На это он уж совсем не знал, что ей сказать.

— Ты, наверное, свою маму очень любишь?

— Конечно. Я люблю всех своих близких. — Аллочка стала загибать пальцы: — Маму — раз, бабушку — два, Игоря — три... А вы, вы тоже наш близкий?

— Да не знаю... Наверное, близкий.

— Тогда и вас.

Лена появилась в половине восьмого. Грустно и торопливо стала передавать печальные подробности похорон на Востряковском кладбище. Напрасно Аллочка пыталась отвлечь ее и заставить обратить внимание на себя.

— Она вам не надоела? — спохватилась наконец Лена. — Ужасная тараторка!.. Это ведь тоже не норма. Я все собираюсь ее показать...

«О господи ты мой боже!..» — взмолился про себя Орест Иванович.

Ему стало жалко Аллочку, которую, наверное, затаскали по врачам. Когда ее уводили домой, она по собственной инициативе поднялась на цыпочки, чтобы обнять Ореста Ивановича. Он был очень тронут и выразил надежду, что теперь Аллочка будет часто приходить к нему в гости. Сегодня он воспользовался случаем и выведал от нее точный адрес их квартиры в Померанцевом переулке. Его давно подмывало нанести визит вежливости своей «свateľе», которая пока что под разными предлогами уклонялась от знакомств. Оресту Ивановичу хотелось собственными глазами увидеть, что за обстановка ждет его сына, если Лена в один прекрасный день перетянет его туда. Он уже примирился с мыслью, что рано или поздно так оно и будет и вряд ли имеет смысл этому противиться.

Как-то в будний день, рассчитывая не застать дома Лену, он отправился в Померанцев переулок, предварительно купив для «свateľи» цветы, а для Аллочки — красивую, но несложную настольную игру.

Орест Иванович прошел тесным, старым московским двором, поднялся по выщербленной лестнице на очень высокий четвертый этаж и вступил в длинный и неудобный коридор.

Судя по вечным хлопотам Лены вокруг здоровья матери, Орест Иванович рассчитывал на худшее — увидеть маленькую старушку, прищемленную радикулитом, или отложением солей, или вообще какими-нибудь еще более страшными недугами. Но увидел пожилую, довольно высокую даму с усталыми, но прекрасными глазами. В отличие от своей двадцативосьмилетней дочери она косметикой не пренебрегала: седые

волосы ее были подкрашены и даже, как показалось Оресту Ивановичу, слегка подрумянены были щеки. Она не ожидала появления постороннего человека, была в халате, поэтому страшно смутилась, даже испугалась.

— Бабушка, не бойся, это он!.. — поспешила объяснить Аллочка и кинулась к Оресту Ивановичу.

— Вы меня извините, — сказал он, тоже смутившись, — мы с вашей внучкой договорились...

— Да, да, пожалуйста!..

Подарку Аллочка очень обрадовалась, хотя в настольной игре, которую принес ей Орест Иванович, всего и дела было, что подбрасывать косточку и передвигать фишки. Она столкнула в сторону нотные тетрадки, тут же уселась и начала играть сама с собой, казалось бы, с истинной увлеченностью. А ее бабушка, попросив у гостя извинения, куда-то скрылась: вероятно, чтобы переодеться. Так что Орест Иванович получил возможность как следует оглядеться.

Он увидел, что жили в этой комнате, с лепными венками на потолке и с большим венецианским окном, очень тесно, но не без признаков уюта. Орест Иванович привык к голым стенам, пустым подоконникам, стенным шкафам и казенного вида дивану. Поэтому был несколько ошарашен обилием предметов, нужных и ненужных: бархатных, истертых подушек, склеенных вазочек и бюстов. Всего этого плюс книги, ноты, тетради хватило бы, пожалуй, не на одну комнату, а на две, три. Видимо, здесь легко было загонять гвозди в стену, раз столько навешано было разных картин и фотографий в металлических и деревянных фигурных рамках.

Внимание Ореста Ивановича задержалось на небольшой, не то картине, не то портрете: здесь изображена была молодая, высокая женщина в свободном голубом платье, гуляющая по осеннему саду. У женщины этой было матовое, мечтательное лицо, и желтые листья падали ей на плечи.

— Это не твоя ли бабушка? — осторожно спросил Орест Иванович у Аллочки.

— Что вы!.. Это просто картина «Айн штиллер винкель». То есть «Тихий уголок».

Орест Иванович ступешался и решил больше подобных вопросов не задавать.

Аллочкина бабушка вернулась, переодевшись в темное платье и с бисерной ленточкой на шее. Как ни приятно был удивлен Орест Иванович внешностью своей «сваты», но он не мог не отметить про себя, что в чем-то мать и дочь — два сапога пара. Хозяйкой его симпатичная новая родственница

была явно не из лучших: чашки пахивали валерьяновым корнем, ножи — рыбой, у кофейника падала крышка. Орест Иванович вежливо пил прохладный кофе, принесенный из коммунальной кухни, откуда-то за сто верст, а сам все прикидывал, каким бы это образом завести разговор по душам, предложить свой совет и помощь. И никак не решался: для такого разговора нужно было, чтобы хозяйка дома была бы попроще, поземнее. А эта пожилая дама держалась как-то испуганно, натянуто, будто не свой человек пришел, а кто-нибудь из ЖЭКа или даже из прокуратуры...

Все же Орест Иванович рискнул высказать предположение, что хорошо бы в интересах всей семьи сменить эту комнату с лепным потолком высотой почти в четыре метра, который теперь ни один маляр не возьмется белить, на отдельную квартиру в каком-нибудь тихом, зеленом районе, в Тимирязевском, например. У Оresta Ивановича в тамошнем бюро обмена были связи, и можно бы попробовать...

И вдруг он почувствовал, что говорит что-то не то. И сам испугался: прекрасные глаза его «сваты» наполнились слезами.

— Нас хотят ломать!.. — дрожащим шепотом произнесла она и опять убежала, чтобы не расплакаться при Оreste Ивановиче.

А маленькая Аллочка объяснила:

— На нашем месте будет Госхлорвинилсоюз.

Орест Иванович пожал плечами: он никогда не слышал о существовании такого союза.

— Бабушка очень волнуется, — сказала Аллочка, перестав бросать косточку, — потому что она родилась в этой комнате. Потом здесь совсем рядом Дом ученых, там бывают концерты. А главное — вы посмотрите, какой вид!..

Она повела Оresta Ивановича к балконной двери. Через нее забрызганные дождем и первым снегом стекло был виден белый особнячок с острой двускатной крышей. К нему примыкал какой-то тихий дворик, отгороженный поломанной когде чугунной решеткой. В дворике росли голые липы, под ними две черные от дождя скамейки, с круглой клумбы еще не были убраны почерневшие стебли осенних цветов. Сам балкон, с которого открывался этот не слишком пленивший Оresta Ивановича вид, был крошечный, на нем едва умещалось старое соломенное кресло.

— Конечно, зимой это не то, — поспешила сказать Аллочка. — Приходите весной или летом. А сейчас давайте с вами немножко поиграем.

Орест Иванович сел рядом с Аллочкой и тоже подбросил косточку. Ему было очень неприятно, что Зоя Васильевна так расстроилась. Ну не хочет, так в чем же дело. Он же не выселиться пришел. Аллочка, кажется, была единственным существом в этой семье, у которого он не вызывал недоверия.

Зоя Васильевна вернулась, стала уговаривать Ореста Ивановича выпить еще чашку кофе. Он согласился, чтобы ее больше не огорчать. И заметил, что и на этот раз она успела что-то исправить в прическе и косметике за свою короткую отлучку. Но, как показалось Оресту Ивановичу, она делала это не из кокетства, а как будто желая что-то такое скрыть, не выдать какую-то печальную тайну.

— Извините меня, — вдруг сказала Зоя Васильевна. — У меня страх перед всякими переменами. После смерти мужа нужно было что-то сделать с личным счетом. А мы носили разные фамилии. На меня почему-то так накричали...

— Мало ли хамья! — возмутился Орест Иванович.

Он хотел объяснить, что все хлопоты он может взять на себя, а уж на него — никто не посмеет накричать. Но по взгляду Зои Васильевны понял, что этот разговор лучше не продолжать.

— Вот Аллочка меня и обыграла! — как можно веселее сказал Орест Иванович, хотя ему и самому стало грустно.

Он собирался домой и подбадривал себя тем, что все могло быть и хуже. «Свастей» могла оказаться какая-нибудь Матрена Карповна, которая бы на него накинута и стала бы с места в карьер плакаться на жизнь и чего-то требовать. А тут и Лена и ее мама, зная его служебное положение и большие возможности, ровно ничего от него не хотят. Так что и он со своей стороны готов был примириться с существующим положением вещей. Только как же все-таки они здесь всем табором разместятся? Больше всего Орест Иванович боялся, чтобы его сын был кому-то в тягость. А в такой тесноте волей-неволей это может случиться. Половина комнаты загромождена роялем, а ведь можно же, наверное, какой-нибудь инструмент поменьше купить. Вот этот еще нескладный шифоньер куда-нибудь выбросить бы...

Но тут Орест Иванович почувствовал, что в мыслях своих зашел слишком далеко, распоряжаясь в чужой комнате, и поспешил проститься. Аллочка и ее бабушка проводили его длинным коридором, состоящим из множества темных углов, настоятельно требующих капитального ремонта. На плохо освещенной лестнице Орест Иванович чуть не наступил на kota и ужасно перепугался. «Как быстро к хорошему привы-

каешь», — думал он, сопоставляя девятиэтажный мощный корпус на Фрунзенской набережной с этим доживающим свой век домом с непромытыми венецианскими окнами, а заодно и с тем домом у Тишинского рынка, где они раньше обитали с Игорем и ходили умываться на общую кухню за отсутствием ванной комнаты.

Ни невестка, ни сын, узнав о визите Ореста Ивановича в Померанцев переулочек, не выказали никакого недовольства. Наоборот, на другой же день Лена сказала Оресту Ивановичу:

— Мама просила передать вам большой привет. И Алка тоже.

— Спасибо! Скажите, что очень рад был познакомиться. Вскоре Орест Иванович поймал себя на том, что ему хочется повторить свой визит в Померанцев переулочек. Конечно, не только ради того, чтобы поиграть с Аллочкой в настольную игру и обозреть вид с балкона, но главным образом для того, чтобы еще раз взглянуть на Зою Васильевну. Слишком непривычной для его глаза была эта пожилая, но по манерам своим какая-то юная женщина. Углубленная наблюдательность несвойственна была Оресту Ивановичу, но сейчас он как-то угадал, что была в этой давно переставшей петь Зое Васильевне какая-то недопетая песня.

Исполненный самых добрых намерений, он рискнул через несколько дней позвонить в Померанцев переулочек. Аллочка сообщила ему, что бабушка ушла в магазин, в очередь за судаком. Орест Иванович поспешил сказать, что вовсе бабушке не следует стоять по очередям, что судака он им может принести из своего служебного буфета. Позже он позвонил еще раз, но Зоя Васильевна разговаривала с ним по-прежнему как-то испуганно и напряженно и пожаловать в гости не приглашала. Так что Орест Иванович не рискнул лезть со своим судаком.

— Я хочу воспользоваться случаем, — сказал он, — и поздравить вас с наступающим Женским днем.

Зоя Васильевна вежливо, но без особого энтузиазма поблагодарила его.

— Хотелось бы знать, и как ваше здоровье.

— Спасибо, сносно. Но все мы немного простужены.

Это был как бы намек на то, что посещения сейчас нежелательны. Оресту Ивановичу подумалось, что желанным гостем он в Померанцевом переулке вообще вряд ли когда-

нибудь будет. Видимо, слова Лены о том, что ее мама передавала ему большой привет, были просто актом вежливости.

Когда он посетовал на это сыну, то Игорь сказал:

— Брось, папа! Ленка, во всяком случае, к тебе очень хорошо относится.

6

Вскоре Орест Иванович получил подтверждение словам Игоря: невестка пригласила его в театр.

— Играет моя школьная подруга, — сказала Лена. — Правда, я еще не знаю, что за спектакль.

Оказалось, в Москву приехал на гастроли один из областных театров. Орест Иванович, которому еще накануне был вручен билет, пришел за полчаса до начала, а Лена, естественно, запаздывала. Билетерша на вопрос, что за пьеса, сказала, что вроде бы про любовь.

Лена появилась рядом с Орестом Ивановичем, когда в зале уже гасили свет.

— Опять кто-нибудь заболел? — улынувшись, спросил он.

— На этот раз, слава богу, никто. Я пыталась достать для Риты цветы: это ведь ее первая большая роль. А Игорь, наверное, совсем не появится: у него бюро.

Сидели они в десятом ряду, было удобно, все видно. Но вот насчет любви в пьесе было что-то не густо. Орест Иванович чуть-чуть заскучал, но виду, конечно, не подал.

На сцене изображалась деревня трудных военных лет: хромой председатель колхоза, вдовы бабы, солдатки... Действительно, кто-то кого-то любил и ревновал, но главное сводилось к сеновывозке. Орест Иванович не мог про себя не отметить, что актрисы, изображавшие этих вдов и солдаток, никак не могли упрятать под телогрейки и платки свои современные ухватки. И юбки на них едва доставали до колен, что тоже расходилось с представлением Ореста Ивановича о тех достаточно памятных временах. Он поглядел украдкой на свою невестку: Леночка сидела очень грустная. В антракте она призналась Оресту Ивановичу:

— Мне так обидно за Риту!..

Орест Иванович не считал себя большим знатоком в драматургии, но он попробовал защищать пьесу, свалив все на постановщика, который, к сожалению, не почувствовал эпохи.

— Молодой, видимо, войны не помнит.

— Ну что вы!..— совсем грустно сказала Лена.— Ему сто лет в обед. Просто все это такая труха!..

Орест Иванович пожал плечами: с его точки зрения, термин этот уж никак не подходил. Если бы это была «труха», такие спектакли и фильмы не показывали бы почти ежедневно по телевизору, их не смотрели бы миллионы людей. Он согласен с Леной, что сюжет не отличается новизной, но все не мешает лишний раз повторить для тех, кто забыл или просто не хочет знать о том, что перенесло старшее поколение.

Лена угадала его настроение.

— Орест Иванович, но это так фальшиво написано! Ведь актерам просто тошно играть все это.

Он не нашел, что ей возразить; возможно, она была в чем-то права. А Лена вдобавок положила ему на локоть свою руку, лишенную веса.

— Ну не сердитесь!

— Что вы, Леночка! — сказал Орест Иванович.— Я совсем не сержусь.

После спектакля они пешком дошли до Комсомольского проспекта.

— А как поживает ваша мама? — осведомился Орест Иванович.

— Спасибо, она вся в Алкиных делах. В музыкальной школе затевается какой-то концерт.

Орест Иванович отважился и сказал:

— Мне кажется, Леночка, ваша мама меня не очень жалует.

Лена испытала некоторое замешательство.

— Нет, что вы!.. Ее можно понять: она ленинградка, близкие и друзья погибли в блокаду, а к новым знакомствам она относится несколько настороженно.

Они подошли к храму Николы на углу Хамовников. В полных сумерках церковь белела сахарным пряником. Лена явно хотела сменить тему разговора.

— Правда ведь, не верится, что это построено, — сказала она.— Как будто эта церковь возникла сама собой. Как в сказке: не печалься, ложись себе спать, утро вечера мудрее. Значит, это стоит десяти самых бодрых спектаклей.

— Да,— не без мрачности согласился Орест Иванович

Сколько ни заговаривая ему Лена зубы церквями и спектаклями, он понимал, что он по-прежнему отвергнут. И ему было очень горько.

Дома их встретил Игорь, который уже вернулся с работы и досматривал футбольный матч.

— Где это вы так долго? «Арарату» наколотили. Я вам тут вермишель сварил.

После вермишели Лена села к телефону и разговаривала со своей подругой Ритой, которая уже разгримировалась после спектакля и вернулась в номер гостиницы.

Орест Иванович невольно прислушался... Лена неловко высказывала Рите все, что думала. Орест Иванович снова услышал слово «труха». Сейчас этот термин вдвойне ему не понравился. Он на месте Лены воздержался бы от критики: актриса молодая, впервые выступает в главной роли, театр здесь, в Москве, в гостях...

Телефонный разговор затянулся, и Ореста Ивановича это стало сильно раздражать.

«А тот телок посуду моет. Ну и терпение у него!...»

Когда Лена положила трубку, она легонько постучала в комнату к Оресту Ивановичу и сказала шепотом:

— Я чувствую себя перед вами виноватой за сегодняшний вечер. Но Рита обещала достать билеты на «Трамвай «Желание».

Рита не обиделась на критику и действительно достала билеты на «Трамвай «Желание». Но всего два билета, не то что в прошлый раз, когда возле Ореста Ивановича и его невестки пустовало целых три места.

— Вы не против того, чтобы пойти с моей мамой? — совершенно неожиданно предложила Лена. — Ей очень хочется посмотреть этот спектакль.

У Ореста Ивановича просто-таки заколотилось сердце. Он сказал, что, конечно, конечно, не против. В обеденный перерыв он побывал в парикмахерской, а придя домой, очень тщательно приоделся и взял побольше денег на буфет.

Весь день он себе представлял, как будет сидеть в театре рядом с Зоей Васильевной. Ни о каких «Трамваях» он не думал, хотя очевидно было, что зрелище не из последних, раз так трудно достать билеты. Он был очень благодарен Лене. Но минут за сорок до начала спектакля она неожиданно позвонила и сказала, что ее мама плохо себя чувствует. Оресту Ивановичу это показалось и подозрительным и обидным. Он заявил, что тоже не может идти в театр — у него дела.

— Что вы?.. — огорчилась Лена. — Это же очень интересная пьеса.

— Вот и сведите на нее своего мужа. А то он у вас вроде бы совсем не в счет.

Лена не спешила обижаться и попыталась объяснить, что у Игоря вечерняя смена, но Орест Иванович не стал входить в подробности и сухо пожелал невестке всего хорошего. Развязал галстук и сел на диван. Ведь это только подумать: не хотят его, да и все тут!..

Чтобы в этом убедиться, он часа через полтора позвонил в Померанцев переулоч.

— Здравствуй, Аллочка! Что ты поделываешь?

— Ничего, ела кашу, сейчас ложусь спать.

— А бабушка дома? Как ее здоровье?

— Неважно. У нее очень болит голова.

Орест Иванович почувствовал себя негодяем и перешел на шепот.

— Ты извинись за беспокойство, Аллочка. Передай бабушке привет. Пусть она скорее поправляется.

Спать он не ложился долго. Около часа ночи пришел с работы Игорь, но Орест Иванович сделал вид, что уже уснул, и не вышел к сыну. Когда же все-таки задремал, ему пригрезился самый глупейший сон: он и Зоя Васильевна собираются ехать куда-то в... рояле, из которого вынут весь музыкальный механизм.

Утром Орест Иванович рискнул опять позвонить в Померанцев переулоч и тем же осторожным шепотом осведомился у Аллочки насчет здоровья бабушки.

«А ведь я их повадки перенимаю», — подумал он.

Раньше он никогда и никого о здоровье не расспрашивал.

В один прекрасный день жильцам дома по Померанцеву переулочу объявили, что дом их действительно передается под какое-то учреждение. Лена с матерью и девочкой получили ордер на квартиру из двух комнат около метро «Ждановская». Орест Иванович был задет тем, что не прибегли к его помощи с целью получить какой-нибудь более модный район, Юго-Западный, например, или тот же Тимирязевский — организовать это ему было бы пара пустяков. Но, как говорится, кума с воза — куму легче. Он сам помогал семье Лены в переезде на новую квартиру и был искренне удивлен тем, с какой скорбью не только его недоступная «сватья», но и другие жильцы прощались со старым домом в Померанцевом переулочке.

Орест Иванович с большой осторожностью, боясь осту-

питься на ужасной лестнице, нес вниз с четвертого этажа доверенный ему Аллочкой стеклянный аквариум. Внизу он услышал, как ругались рабочие, грузившие в машину рояль. Ему было очень неприятно слышать, когда один из них повторил почти его собственную мысль:

— Купили бы скрипку какую-нибудь, а то ворочай танк этот!

Переезд состоялся в начале декабря, еще при полном отсутствии снега на улицах. А ближе к Новому году, когда зима легла, к метро «Ждановская» переключался и Игорь.

Когда он в последний раз заглянул домой, чтобы прихватить кое-что из своей одежды, между ним и Орестом Ивановичем состоялось объяснение.

— Отрываешься, значит?

— Ага. Мне оттуда на работу рукой подать.

— И отсюда не сто верст было.

Игорь положил в чемодан старые лыжные брюки и сказал:

— Мы, папа, к тебе приходите будем.

— Большое спасибо! Когда прикажете ждать?

Чудно все-таки было: куда парень лезет? Две смежные комнаты, потолок — рукой достать, в туалете повернуться негде. Летом, наверное, в лоджии спать придется, а зимой под роялем. Но охота, говорят, пуще неволи.

— Ладно, — сказал Орест Иванович, — надоест тебе, приходи, место твое цело будет.

— Не надоест. Такие не надоедают.

— Это какие же?..

— Я тебе уже говорил. Да ты и сам знаешь. Я вот рад, что к Склифосовскому попал, а то бы Ленку и не встретил.

— Даже так?..

И, видя, что сын сейчас уйдет, Орест Иванович вдруг сказал:

— А я ведь хотел тебе новую машину купить.

Только на секунду в хмуром лице у Игоря что-то изменилось. Потом он решительно взял чемодан.

— Какая машина!.. Я пойду, не сердись, папа

...Не в первый раз Орест Иванович оставался в своей большой квартире один. Но в этот вечер он как-то растерялся. Дня два-три он держал себя в руках, а потом на него навалилась такая тоска и обида, что сказали бы сейчас, что посадят ему на голову и бывшую певицу, и Аллочку, и даже рояль поставят — и этой ценой вернется его сын, — он бы, пожалуй, согласился. Сколько недовольства вызывали у него

раньше Ленины часовые разговоры по телефону, а вот сейчас этот телефон совершенно свободен и молчит, как могла. И хоть бы кто-нибудь догадался позвонить ему в эти трудные часы.

Зима в новом году установилась не по-московски приятной, с хорошими морозами и снегом, прикрывшим черноту улиц и дворов. После работы Орест Иванович получал в раздевалке свое зимнее ратиновое пальто, каракулевую шапку-пирожок и шел пешком через весь центр к себе на Комсомольский проспект. Делал он это не ради потери веса: полнотой Орест Иванович не отличался, до седых волос сохранил ровную грудь, втянутый живот и молодую походку. Правда, за последнее время немного опустились щеки, труднее стало брить подбородок и в глазах стало плавать что-то желтоватое. Стоило поволноваться, и эта желтизна заметно увеличивалась, но к врачам Орест Иванович не обращался до тех пор, пока ему не потребовались очки.

Однажды, это было под вечер, он проходил по Кузнецкому мосту. Начинались школьные каникулы, поэтому на улицах полно было детей. И вдруг Орест Иванович нос к носу столкнулся с Зоей Васильевной и Аллочкой. У девочки в руках была коробочка с гостинцами: ясно, что бабушка водила ее куда-то на елку.

На этот раз Зоя Васильевна не испугалась, как будто бы даже обрадовалась.

— Мы были в ЦДРИ...— сказала она Оресту Ивановичу.

— Смотрите, какой у меня подарок! — подняла свою коробочку Аллочка.

Подарок был самый скромный, рубля на полтора. Если бы Орест Иванович вовремя подумал, он у себя в учреждении мог бы получить для Аллочки подарок побогаче. Он решил, то это упущение можно исправить, и предложил тут же зайти в «Детский мир». Но Зоя Васильевна вежливо отклонила это предложение.

— Мы очень спешим.

Он решил не обижаться и пошел проводить до метро.

— Игорь и Лена поехали в Дорохово покататься на лыжах,— сказала Зоя Васильевна.— Мы с Аллочкой одни.

Похоже, что в этом сообщении содержалось приглашение в гости. Но Орест Иванович не рискнул уточнить.

— А как вы себя чувствуете на новом месте, Зоя Васильевна?

— Квартира не такая плохая. Немножко холодно... Но говорят, что это временно.

Видимо, это было их общее правило — не жаловаться ни на что, кроме собственного здоровья. Орест Иванович, стараясь не смутить Зою Васильевну, оглядел мельком ее зимний наряд: вытертая, но сохранившая некоторой шик беличья шуба, такая же шапочка, а вот на ногах, маленьких, как у дочери, современные, отяжеленные подошвами ботинки, в которых, наверное, не очень уютно путешествовать в центр из отдаленных районов.

Он рискнул взглянуть ей и в лицо. К ее мягким, голубоватым глазам очень шла беличья шапка. Щеки от мороза были слабо-розовые, но и это придавало ей сходство с румяной внучкой. Оресту Ивановичу только сейчас пришло в голову, что его «сватья», наверное, никак не вписывается в пейзаж малогабаритной двухкомнатной квартиры, что для нее просто необходим тот высокий потолок с лепными украшениями, огромное, затененное с улицы ветками окно и какое-то подобие камина, увиденные им тогда в квартире в Померанцевом переулке. Ему подумалось о том, что Зоя Васильевна страдает там, в десятиподъездном, типовом панельном доме, окруженном пустырями с остатками потревоженных, изломанных кустарников, поваленных деревьев.

— А у нас летом будет бассейн, — жизнерадостно сообщила Аллочка. — Игорь будет учить меня плавать.

Ее бабушка улыбнулась.

— Не сердитесь, пожалуйста, на Лену и Игоря: они очень, очень заняты. Игорь в вечернем университете...

Они простились: Аллочка и Зоя Васильевна спустились в метро, а Орест Иванович пошел пешком мимо Политехнического музея, пересек площадь и вскоре оказался около гостиницы «Москва». Здесь, в гостиничном ресторане, он год назад собирался отпраздновать свадьбу сына... Он полез в карман пальто за носовым платком и нащупал что-то тверденькое: это Аллочка тайком сунула ему туда шоколадку.

...Через несколько дней позвонил Игорь.

— Папа, здорово! Как ты там? На днях забегу. Большой привет от Ленки!

— Спасибо, — сдержанно, но без упреков сказал Орест Иванович. — И ей тоже.

Перед весной Орест Иванович решил уходить на пенсию. Ему лично средств хватало, а сын подмоги что-то не просил.

Была в этом решении и скрытая месть: предлагал — не брали, а теперь придете — так уж и не взыщите... Но это, конечно, было не основное: Оресту Ивановичу шел шестьдесят третий год, сорок шесть лет он прослужил беспорочно и сейчас мог уйти, оставляя о себе у сослуживцев самую хорошую память.

Но в первые дни своего вполне заслуженного отдыха Орест Иванович ничего, кроме усилившегося одиночества и растерянности, не испытывал. Телефона на новой квартире у его единственных родственников не было, а ходить туда без приглашений Орест Иванович по-прежнему не считал удобным.

Но вдруг позвонила Аллочка.

— Здравствуйте, Орест Иванович!

Он страшно, до стука сердца, обрадовался:

— Здравствуй, Аллочка! Откуда же ты звонишь?

— У нас во дворе установили пять автоматов. Правда, три уже сломаны. А как вы поживаете?

— Да что я!.. — сказал Орест Иванович. — Вы-то как?

— Мы ничего. Бабушка понемножку успокаивается.

Орест Иванович обещал, что как-нибудь соберется и навестит их. Ему все-таки хотелось, чтобы его по-прежнему считали занятым человеком.

— Спасибо тебе, Аллочка, что позвонила. Я по тебе соскучился.

Девочка помолчала, потом спросила:

— Почему же вы не спросите, как я учусь? Ведь мне пришлось перейти в другую музыкальную школу.

Теперь помолчал Орест Иванович.

— Я все понимаю, Аллочка... Держись!

— Хорошо, буду держаться. А привет передать?

— Конечно. Всем большой, большой привет!

Он положил трубку и подумал о том, как же Аллочка дотянулась до телефонного диска. Ведь она такая маленькая! Только сейчас, услышав Аллочкин голос, Орест Иванович почувствовал, до какой степени он по ним по всем скучает. Надо было соврать, что заболел, тут уж невестка обязательно бы примчалась.

После того как в его квартире жило, хотя и набегами, существо женского пола, пусть и непутевое в смысле хозяйствования, отсутствие Лены теперь ложилось какой-то печалью на все, что окружало одиночество Ореста Ивановича. Почему-то чаще всего он смотрел на не занятый теперь никем телефон.

Иногда, правда, раздавалось вдруг дребезжание: это зво-

нили из ЖЭКа, где он теперь, как пенсионер, был включен в актив. При его участии уже состоялось два заседания товарищеского суда, правда, оба раза по не слишком серьезному поводу: ночная пьянка, возмущившая соседей, и порча лестничной панели мальчишками-старшеклассниками. Орест Иванович произнес на этих заседаниях какие-то значительные слова и, только придя домой, спохватился, что ошибочно приписал фразу «Человек — это звучит гордо» Александру Сергеевичу Пушкину. Произошло это потому, что он был тогда поглощен собственными переживаниями, в сравнении с которыми порча лестничной панели была действительно «трухой» — сейчас этот термин пригодился ему.

Но с наступлением лета культурно-оздоровительная и воспитательная суматоха затихала, и телефон в квартире у Ореста Ивановича трагически молчал. Была у него возможность вернуться на два летних месяца на прежнюю работу: сотрудники рвались в отпуска. Но и у самого Ореста Ивановича тоже в кармане была путевка на июль в один из прибалтийских курортов.

Вечерами, когда темнело, он включал телевизор, а когда убеждался, что эту передачу он видел по крайней мере пять раз, то брал очередной номер «Огонька». Читать ему никто не мешал, стенки в доме были достаточно толстые, ибо дом, в котором теперь жил Орест Иванович, сооружен был в начале пятидесятых годов, и сюда вселилась тогда однородная и вполне солидная публика. С годами, правда, все несколько перемешалось: люди разъезжались, съезжались, разменивались. На лестницах стало погрязнее, во дворе шумнее, здесь гуляли уже не чистые, красивые собаки, а шныряли брошенные выехавшими хозяевами кошки. Только стены в доме, к счастью, продолжали оставаться непроницаемыми. Когда Орест Иванович ложится спать, в ничем не загороженные окна его квартиры смотрели мелкие звезды. Какие-то далекие вспышки бросали темную тень на потолок. Этот потолок был тоже достаточно высокий — что-то около трех метров. Но лепные украшения на нем, естественно, отсутствовали.

Он не мог бы с точностью сказать, когда наступил кризис и одиночество перестало сильно его тяготить. Пожалуй, все-таки с того дня, когда он принял твердое решение заняться наконец благоустройством своего быта. Он вселился в эту квартиру около десяти лет назад, но все эти годы о ремонте не помышлял. Казалось ему, что все достаточно чисто. Обои, правда, сильно выгорели, но нигде не отстали и не сморщились по углам, как положено теперь в каждой порядочной

новой квартире. Нигде от косяков не отлетела штукатурка. не проржавели трубы в ванной, краны и душ хотя и подтекали, но в размерах допустимого.

И тем не менее теперь Орест Иванович решился на обстоятельный ремонт. Связываться с леваками он не считал возможным и обратился в одну из контор по ремонту квартир.

Разговаривал он спокойно, но достаточно твердо, дал понять, кто он такой и чего бы ему хотелось — ремонта качественного, а не так, тят-ляп...

В назначенный день и сравнительно с небольшим опозданием к Оресту Ивановичу в квартиру пришли две женщины с ведрами и кистями. Обе сразу посмотрели на потолок.

— Это ведь лестницу надо...

— Ну, так в чем дело?

— По телефону надо звонить.

— Вот телефон, пожалуйста, звоните.

Залыпанную побелкой стремянку привезли через час после того, как уже сам Орест Иванович позвонил в контору.

— А с нами-то и не считаются, — сказала одна из маляров, миловидная и еще достаточно молодая. — Вам бы из сорок второй конторы вызвать, а у нас плохо делают.

— Ну, уж будьте добры, на этот раз сделайте хорошо, — твердо сказал Орест Иванович.

И он тут же поставил им ультиматум: отделать одну комнату, потом приниматься за другую. Женщины-маляры поглядели на него, как на выжившего из ума.

— Нам ловчее бы обе сразу...

— Вам ловчее, но я к соседям ночевать идти не собираюсь.

Малярши окончательно притихли, тем более что Орест Иванович для чего-то спросил и записал их имена, отчества и фамилии. Пока они «раскрывали» потолок, красили рамы и двери, он неотступно стоял у них над душой.

— Когда вы обедать собираетесь?

— Когда кушать захочем.

— Хорошо бы вам захотелось от часу до двух. Я бы тоже пошел перекусил.

Малярши поняли, что хозяин с ремонтом затеялся всерьез. Поэтому рискнули опоздать с обеда всего на двадцать минут. Внизу, в подъезде, они спросили лифтершу, кто такой их заказчик. Та пошутила и сказала, что он народный артист СССР.

— Наверное, заслуженный. Мы народных всех знаем.

Когда дело с ремонтом подвинулось к концу, Орест Ивано-

вич купил своим дамам килограмм конфет «Южная ночь». Отделали они его квартиру вполне прилично, хотя было совершенно очевидно, что получить «в лапу» они не надеялись.

Конфеты настолько растрогали обеих малярш, что они сами снесли на помойку содранные старые обои, бапки и ведра из-под краски. В их присутствии Орест Иванович позвонил в контору и попросил, чтобы была записана благодарность работницам Крякуновой и Самохиной. Работница Крякупова ему особенно приглянулась, и Орест Иванович спросил у нее домашний телефон на случай, если ему захочется еще что-то подновить...

Следующим заходом Орест Иванович принялся за покупку мебели.

Еще сравнительно недавно он совершенно равнодушно проходил мимо витрин мебельных салонов, не интересовался ни арабскими кроватями, ни финскими «стенками». Он достаточно хорошо чувствовал себя на диване, привезенном еще от Тишинского рынка.

Теперь, сделав два витка по мебельным магазинам, Орест Иванович купил отечественный гарнитур «жилая комната», отказавшись только от книжного шкафа, который был ему не нужен. Остальное на другой день ему доставили и внесли на восьмой этаж. Орест Иванович расписался в квитанциях и подумал о том, что совершенно зря многие из его знакомых связывают ремонт квартиры и покупку мебели с какими-то кошмарами. Разочарован он был несколько лишь тем, что при его высоком росте был низок обеденный стол и короток новый диван. Орест Иванович извлек из стенового шкафа свои пиджаки и брюки и водворил их в трехстворчатый гардероб. Дверцы у этого гардероба отворялись бесшумно, но были скользкие, как живой сом.

Спал Орест Иванович на новом диване плохо. Ему казалось, что он едет в поезде или ночует на вокзале. С полночи он перешел на свое старое место, только тогда уснул. Когда же утром проснулся, то не сразу догадался, что произошло. Стулья и новый диван он покупал как будто зеленые, а сейчас ему показалось, что они серые. Потом Орест Иванович понял, что это магазинная пыль, доставленная вместе с гарнитуром.

Огорчился он еще больше, когда увидел, что вчера, когда втаскивали мебель, сильно попортили обои в передней и поцарапали дверь. Но зато появился повод, чтобы созвониться с симпатичной маляршей, о которой Орест Иванович за эти дни несколько раз вспоминал.

Та не сразу поняла, кто с ней говорит, но когда он напомнил ей о конфетах «Южная ночь», то спросила:

— Недовольны, что ли, чем?..

Орест Иванович сказал, что, наоборот, всем доволен, и хотел бы видеть ее у себя, и без напарницы.

Он не был уверен, что малярша поняла его намек. Однако когда в семь часов вечера раздался звонок, кинулся открывать.

Но это была Лена.

Орест Иванович сразу понял, что невестка его «в ожидании». Это существо, почти не имевшее объема, теперь заметно округлилось и очень похорошело. А ведь он не видел ее, пожалуй, чуть больше месяца...

— Господи, какие у вас огромные перемены! — удивилась Лена. — Ну, Орест Иванович, вы просто молодец!

А ему стало страшно неудобно, словно она могла догадаться, что он совсем не ее ждал. И вообще, словно он все это время был занят какой-то глупой, детской игрой. Свой мебельный гарнитур он даже не сумел толково разместить в комнате, он стоял сейчас так же безжизненно, как стоял до этого в мебельном магазине.

— Да, вот решил немножко привести квартирку в порядок. Нравятся вам обои?

— Очень хорошие. Только вам теперь придется снять шторы.

И Лена страшно удивила Ореста Ивановича, в первый раз спросив, не может ли он ее чем-нибудь накормить.

— Я теперь ем, как удав, — весело сказала она с явным намеком на свое положение.

— И скоро это у вас произойдет?.. — спросил Орест Иванович, не решаясь все назвать своими словами.

— Видимо, в июле.

У него почти нечего было ей предложить. Он вспомнил, что она любит сырые яйца.

— Этого совершенно достаточно, — сказала Лена, когда Орест Иванович извлек из холодильника два диетических яйца. — У меня есть с собой два рогалика.

Он решил и спросил:

— Леночка, расскажите, что у вас-то делается?

Лена сказала, что у них все в порядке. Игоря опять послали в колхоз, на весеннюю посевную.

— Он и меня хотел взять с собой дня на два, на три. Но мама плохо себя чувствует, а Алка от рук отбьется.

— Давно я вас всех не видел,— сказал Орест Иванович.

— Я теперь безумно далеко работаю: тридцать минут езды по Внуковскому шоссе. Но работа очень интересная.

— Да, это далеко...

Орест Иванович подумал о том, что это Лена никогда не успокоится. Сколько раз он ей предлагал, что устроит ее сам. Было место у них в министерстве, в отделе зарубежных связей. А она ничего умнее не придумала, как накануне декретного отпуска устроилась куда-то за двадцать километров. Он посмотрел на ее добрые, но припухлые глаза явной сердечницы, на малосильные руки и подумал, что ей и вообще-то вряд ли нужно еще родить.

— Вы знаете, почему я забежала? — спросила Лена. — Как вы теперь устраиваетесь с питанием? У нас в институте прекрасный буфет. Вчера, например, были копченые язи.

Только не хватало еще, чтобы она, курсируя между Внуковским и Рязанским шоссе, возила ему каких-то язей! Но Орест Иванович был очень тронут, ему трудно было это скрыть.

— А я думал, Леночка, что вы меня совсем не любите!

— Да что вы!..

Уходя, Лена сказала:

— Я вам очень благодарна за Игоря! И мама тоже.

И Алка.

...Оставшись опять один, Орест Иванович сел на новый диван, который он по совету Лены передвинул в противоположный угол, открыв себе оттуда вид на набережную Москвы-реки, на Нескучный сад. Под ее же руководством он передвинул и гардероб, Лена помогла ему расставить кое-какие предметы в новом буфете. Она сказала, что когда будут и новые шторы, то вообще все у Ореста Ивановича будет замечательно. Он спросил совета, не расстаться ли ему с тяжелой бронзовой фигурой, которую подарил ему кто-то лет пятнадцать назад. Это был пограничник с собакой в очень настороженной позе.

— Знаете, оставьте их, пожалуй,— сказала Лена. — Вы ведь, наверное, к ним привыкли.

Она сказала это так, будто речь шла о живых существах. Когда Лена ушла, Оресту Ивановичу подумалось, что действительно единственная родная ему вещь в этой комнате — пограничник с собакой. Ко всему остальному нужно было еще привыкать и привыкать.

Лена сказала, что «это» произойдет в июле. Сейчас

было самое начало мая, еще не убрали праздничных флагов. А в июле Орест Иванович как раз должен был ехать в Прибалтику... Значит, эта недотепа Лена знала, что будет ребенок, в тот период, когда они получали ордер на квартиру. Почему же было тогда не заявить, не взять справку?.. Бабе под тридцать, а решительно ничего не хочет соображать. И тот балбес тоже хорош!

И вдруг Орест Иванович совершенно четко уяснил себе, что именно ради этого «балбеса», его сына, Лена пошла на то, чтобы иметь еще младенца. Ей с мамой вполне хватило бы Алочки. И не о квадратных метрах думала его невестка, когда решилась на такое дело. Оресту Ивановичу стало безумно обидно: его ни одна так не любила.

Потом, успокоившись, он подумал о том, что вот родится мальчик или девочка, и ему, конечно, покажут их только издали. Воспитывать их будет бабушка, бывшая певица. И все будет так, словно он, Орест Иванович, не имеет к этому ребенку никакого отношения.

Он вспомнил последнюю фразу, сказанную Леной: «Я вам очень благодарна за Игоря!» Значит, все-таки благодарна, понимает, кто сделал из Игоря порядочного парня. Но неужели она не догадывается, что было время, когда Орест Иванович только и думал о том, чтобы уж лучше Игорь не был таким порядочным?..

Орест Иванович почувствовал, что запутался, увяз. Надо было бы радоваться, а ему в голову лезла какая-то обидная, злая чушь. Не надо было уходить с работы, никто его не гнал, наоборот, удерживали. Родится ребенок, ведь не может же он не взять на себя обязательств. А он бросил работу для того, чтобы заниматься всякой ерундой: обоями, диванами, ремонтом, попытками завязать интимное знакомство с работницами сферы бытового обслуживания.

Тут Орест Иванович опомнился и кинулся к телефону. Подошел муж симпатичной маляриши. Услышав, что прийти на Фрунзенскую набережную уже не надо, он сказал: — Ладно, хрен с вами!

Обруганный Орест Иванович успокоился и словно бы для страховки закрыл дверь на цепочку. Мысли его снова вернулись к семье сына, живущей у метро «Ждановская».

«Надо будет им телефон выбить», — думал он. — Нельзя жить без телефона».

Начало лета стояло жаркое и почти без капли дождя. И это как будто увеличивало однообразие одинокой жизни Ореста Ивановича. Он встал рано, брился шумной бритвой и шел вниз, в магазин, за ряженкой, сдавал пустые бутылки, брал полные. Две очереди, одна в кассу, другая к прилавку, давали ему возможность бегло просмотреть «Советскую Россию», а «Правду» он оставлял для более серьезного прочтения.

Однажды он возвращался домой с двумя бутылками и коробочкой финского сыра. На сегодня у него было намерение отправиться навестить «святое семейство», как он в добрую шутку именовал теперь Лену, ее маму, Аллочку, а заодно Игоря, который вроде бы должен был вернуться из колхоза.

Но в подъезде лифтерша объявила Оресту Ивановичу:

— А вас тут ждут.

Под лестницей, рядом с лифтершей, сидела... Люся. Если так можно было сейчас назвать эту пятидесятилетнюю, толстую, но очень плохо выглядевшую женщину. Можно было предположить, что она приехала сейчас с Северного полюса: на ней было надето жаркое шерстяное платье с рукавами, сверху еще какой-то жакет и прорезиненный плащ. Адрес Ореста Ивановича Люся, как она ему объяснила, достала через справочное бюро после того, как не нашла его на старой квартире около Тишинского рынка.

— Я лечиться приехала, — скорбно объяснила свое появление Люся. — Печень замучила, с сердцем плохо...

Орест Иванович молча пропустил бывшую супругу к себе в квартиру. Она долго и тяжело ворочалась у него в передней, пока разделась. А он отвернулся к окошку, глядел в затонутый жарой Нескучный сад и молчал.

— А где Игорь? — с несвойственной ей прежде робостью спросила Люся.

Он не ответил. Она села, тяжело дыша, как загнанная.

— Восемнадцать лет я в Москве не была...

— Могла бы и еще восемнадцать не приезжать, — не поворачиваясь к ней, отозвался Орест Иванович.

— У нас там медицинская помощь очень плохая...

Орест Иванович упорно молчал. Через некоторое время Люся опять спросила:

— Игорь-то уж работает, наверное?

— Ты забудь, что есть Игорь! — резко сказал Орест Иванович.

Люся достала большой ситцевый, явно мужской платок и заплакала в него, шумно, не стесняясь.

— Рада бы забыть!.. Если бы я его тебе не отдала, тот подлец его бы заколотил!..

Орест Иванович вздрогнул. Он вспомнил, что ведь у Люси была еще и девочка.

— Выросла, — пояснила Люся. — Эта сама кого хочешь заколотит.

Она снова заплакала и призналась:

— У меня их двое еще... Замучили они меня!

Оресту Ивановичу хотелось сказать: что посеешь, то и пожнешь. Но он удержался, думая лишь о том, как бы скорее избавиться от Люси, выпроводить ее. Решил, что если она попросится передневать или переночевать, то нужно будет найти любой предлог. Он заставил себя приглядеться к Люсе, и у него явилась мысль, что она пьет: отеки, какая-то желто-черная полнота, вода в глазах, дрожащие пальцы. Он вспомнил, какая она красивая и бойкая была перед самой войной. Что же так ошарашило, сломило эту красивую, бездумную, такую нахальную прежде бабу!..

— Сколько примерно у вас частные врачи за прием берут? — вытерев слезы большим, нечистым платком, спросила Люся.

— Не знаю. Я вообще ни у каких врачей не лечусь.

— Счастье твое. А я от уколов вся синяя.

Оресту Ивановичу стало почти тошно. И он спросил глухо:

— Ты чего от меня хочешь?

— Ничего не хочу. Зайти-то надо было... узнать. Как Игорь-то? Наверное, уже институт закончил?

Орест Иванович ничего не ответил: не хватало, чтобы он еще и объяснил ей, что Игорь института не кончил. Интересно, что она-то сама из своих детей сделала? Постепенно гнев Ореста Ивановича стихал. Если бы еще не было так жарко. Непонятно, как это Люся не растает в своем шерстяном платье? Ему хотелось раздеться до пояса, но при ней он не мог себе этого позволить. Он пошел в кухню, открыл кран с холодной водой.

— Чаю бы попить, — попросила из комнаты Люся. — Два дня на вокзале живу.

Орест Иванович согрел для нее чайник. Люся, видимо,

догадывалась, что он ничем потчевать ее не собирается, поэтому достала из сумки хлеб и сахар.

— Недавно мебель купил?

— Недавно.

— Хорошая... Помоги мне, пожалуйста, в гостиницу устроиться. У меня справка есть, что я на лечение.

Он хотел отказать, но достал записную книжку и вышел в коридор к телефону. Дверь он за собой прикрыл, чтобы Люсе не все было слышно. Связался с бывшим сослуживцем, человеком мощных возможностей, и тот дал ему телефон директора ресторана при одной из гостиниц комплекса ВДНХ.

— Вот поезжай, — вернувшись в комнату, сказал Орест Иванович и подал Люсе адрес.

Она поспешно допила чай и стала собираться.

— Мне бы еще только на лечение устроиться...

Он сурово промолчал: она, видно, думает, что устроиться на лечение — это такое легкое дело. Орест Иванович уверен был, что сейчас Люся попросит еще и денег. По всему было видно, что они ей очень нужны. У него тут же родилось опасение, что если он откажет ей и в деньгах, то она тогда может попытаться разыскать Игоря.

— Я ведь не работаю, — как бы в подтверждение его мыслей, сказала Люся. — Полностью от детей завишу.

О муже она не помянула ни слова: наверное, уже давно сидела без всякого мужа.

Орест Иванович достал двадцать рублей. Люся взяла и спрятала их в кошелек, очень истертый и грязный.

— Спасибо тебе большое!

Она опять долго ворочалась в передней. Дыхание ее было тяжелым, оно как будто не вмещалось в большую пустую переднюю.

— Высоко у вас спускаться...

— Можно вызвать лифт.

— Нет, я вниз ехать боюсь, мне плохо делается.

Орест Иванович уже растерянно посмотрел на бывшую свою жену и вдруг сказал тихо:

— До чего ты себя довела, Люся!..

У нее покривились губы, тяжело задышал живот. Она взялась за ручку английского замка, но не смогла с ним управиться, пока Орест Иванович ей не помог. Уже не прощаясь, Люся тяжело пошла вниз по лестнице. И, пока она не миновала седьмой и шестой этажи, он слышал, как она дышит.

С минуту Орест Иванович постоял на лестничной клетке. Он подумал о том, что вот сейчас Люся дойдет до первого этажа и там, под лестницей, чего доброго, начнет объяснять лифтерше... Фактически он ее выгнал. Выгнал явно больного человека. Черт с ней, что она когда-то изменила ему, подбросила ему сына. Слава богу, что подбросила: чем бы он теперь жил?

Орест Иванович резко нажал кнопку лифта. Люсю он опередил.

Когда она, держась одной рукой за перила, а другой волоча сумку, одолевала последний лестничный марш, он уже ждал ее внизу.

— Подожди, — сказал он, — вернемся...

На другой день ему удалось положить ее в ведомственную клинику. Он вызвал такси и помог Люсе собраться. Ехать пришлось через Красную Пресню. Люся посмотрела в окно и заплакала. Орест Иванович сидел рядом с водителем и видел в зеркале плачущую Люсю. Он думал о том, сколько раз он за эти двадцать лет проходил и проезжал Пресней, но почти всегда оставался совершенно спокоен, а вот сейчас ему стало тяжело.

Вечером он позвонил в клинику, чтобы узнать, как Люсины дела. Дела были неважные...

Через пять дней Оресту Ивановичу пришлось телеграммой вызывать двух Люсиных дочерей, потому что мать их скончалась от инфаркта. Он рассчитывал, что они увезут тело матери и похоронят там у себя, в Любиме. Но те, как говорится, не мычали, не телились. Младшая, по крайней мере, хоть очень горько плакала, а старшая, та, которую Орест Иванович видел трехлетней девочкой, стала крупной и развязной бабой, как в былые годы Люся, и теперь как будто имела какие-то претензии к Оресту Ивановичу, словно он был в чем-то виноват и не оказал их матери достаточно помощи и содействия.

Таким образом, Оресту Ивановичу пришлось взять похороны на себя. Да еще и дать приют двум осиротевшим девицам, которые не упустили случая и сбежали в ГУМ.

Не сразу решился Орест Иванович сообщить о случившемся своему сыну. Он не знал даже, посвящена ли Лена в их семейную историю. У него был ее служебный телефон, и он после некоторых колебаний набрал номер.

Стараясь не уронить себя в глазах невестки, он стал объяснять Лене, кем была в его жизни Люся. Но Лена тактично перебила его:

— Орест Иванович, Игорь мне обо всем рассказывал. Когда похороны? Мы придем.

Вот как!.. Оказывается, Игорь, ни одним словом не обмолвившийся при нем о матери, «все» рассказал Лене. Но Орест Иванович не хотел сердиться. Была у него мысль попросить, чтобы невестка и сын оделись на похороны как-нибудь посolidнее, чтобы не ударить лицом в грязь перед любимыми сестрами. Но что-то удержало его. Пусть приходят в чем хотят. Он уже благодарил судьбу за то, что у него хватило мужества известить сына и невестку о смерти Люси. Могло быть так, что они никогда бы не простили ему. Лена, во всяком случае.

Это был тяжелый день... В первый раз Орест Иванович сам побывал на Востряковском кладбище. Гроб пришлось нести ему с Игорем, да еще наняли двух кладбищенских рабочих. Сзади, ступая уже без прежней легкости, осторожно шла Лена с букетиком белых нарциссов, и две дочки покойной Люси несли купленный тут же у кладбища венок. Одна из них совершенно некстати нацепила на себя какой-то яркий полосатый жакет, добытый накануне в ГУМе.

Но больше всего удивлен был Орест Иванович, увидев на кладбище Зою Васильевну: ведь ей пришлось ехать через всю Москву, и ради чего?.. Или она за Лену тревожилась, а может быть, думала, что этим она окажет моральную поддержку ему самому?

— С кем же осталась Аллочка? — благодарно спросил он.

— Одна. Она у нас уже большая.

Потом Орест Иванович увидел, что явно уставшая Лена о чем-то тихо разговаривает с осиротевшими «родственницами». Те вытирают слезы и с доверием слушают ее, даже старшая, в полосатом жакете, не внушающая самому Оресту Ивановичу никаких симпатий.

На сына он в этот день избегал смотреть: Игорь был растерян и мрачен. Когда сестры в последний раз прикладывались к покойнице и попробовали заголосить, он сделал знак Лене, чтобы она как-нибудь успокоила их, а сам отвернулся. Когда все закончилось, он посадил отца, тещу и жену в такси, а сам повез сестер на вокзал. Самое тяжелое было, пожалуй в том, что старшая, в полосатом жакете, была очень похожа на Игоря. Конечно, он не мог не вспомнить ту девочку, с которой вместе мерз в нетопленной комнате, спал на одной кровати, которую потом, наверное, во сне видел. Орест Иванович уже корил себя, что возложил на

сына такую миссию, лучше бы уж он сам посадил этих девиц в поезд.

На следующее утро после похорон Орест Иванович позвонил по месту своей прежней работы и сказал, что от поездки на прибалтийский курорт он вынужден отказаться по семейным причинам. Пусть путевку передадут кому-нибудь другому.

9

Был самый конец июня. Даже ранним утром в квартире у Ореста Ивановича было страшно душно, хотя окна были открыты настежь. Духота эта пахла известкой: прошло почти два месяца с того времени, как он делал ремонт, а малярные запахи еще не улетучились. Орест Иванович проснулся с таким чувством, что эти запахи проникли ему даже внутрь, в горло и в грудь. Он поднялся и достал из холодильника бутылку «Боржоми».

Но тут задребезжал телефон.

— Здравствуйте, Орест Иванович! Это я, Аллочка. Знаете, у нас сегодня родилось двое маленьких детей.

Орест Иванович чуть не выронил бутылку.

— Как двое?

— Так, двое. Ведь это бывает. Бабушка и Игорь пошли туда, потому что из автомата ничего толком нельзя добиться.

Орест Иванович вытер мокрый лоб. Это что же такое: почему никто вчера не удосужился позвонить ему, что невестку уже препроводили в родильный дом?

Но сейчас обижаться было не время.

— Аллочка, ты меня слышишь? Я сейчас к вам приеду, никуда не уходи.

Орест Иванович положил трубку и стал лихорадочно одеваться.

— «Двое маленьких детей»!.. — вслух повторил он.

Слово «близнецы» еще не пришло ему в голову. Не спросил он у Аллочки и кто эти «двое»: мальчики, девочки?

Солнце резко светило над Крымским мостом. Вода в Москве-реке была серая и, наверное, очень теплая. Асфальт, наоборот, казался синим. Орест Иванович торопился и думал о том, как плохо было в эту душную ночь его невестке, рожавшей двойню.

На метро ему предстояли две пересадки. Очки у Ореста Ивановича запотели. Его сердило, что он не может одолеть собственное волнение и то, что никто в вагоне не догадался

уступить ему место. В конце концов ему за шестьдесят... Если бы знали все эти разомлевшие от жары, равнодушные люди, что он дважды в одно утро стал делом, все бы, наверное повскакали с мест, чтобы его усадить. На этом испытание не кончилось: у метро «Ждановская» предстояло еще сесть на автобус. Но это уже было слишком!.. Орест Иванович отошел за автоматную будку и стащил с себя галстук. Немного отдышался и пошел пешком непривычным для себя торопливым, с перебежкой, шагом.

Район этот был перспективный, но пока еще малоблагоустроенный. Тут только что прошла поливочная машина, и вся проезжая часть улицы залеплена была рыжей, размокшей, сальной глиной, да и на тротуарах ее хватало. Орест Иванович тащил на своих ботинках столько этой тяжелой глины, сколько не перебивало у него на ногах за все послевоенные двадцать пять лет. Невольно он вспомнил тихий, выметенный Померанцев переулоч, куда ему с Фрунзенской набережной было рукой подать.

Шлепал он пешком более получаса. Были у него опасения, что не найдет дома: бывал он тут всего два раза, да и то зимой. Но, увидев перед собой двухэтажный белый детский садик, который зимой только строился, а сейчас ожил, наполнился, как птичник, голосами, Орест Иванович понял, что вроде бы идет правильно.

Аллочка увидела его еще с балкона. Когда он поднялся на четвертый этаж, она уже ждала его у двери и кинулась к нему. В первый раз в жизни Оресту Ивановичу показалось, что он может зарыдать. Он еле-еле сдерживался и стал гладить девочку по голове, пряча от нее свое лицо.

— А ты разве не в школе?

— Что вы! Летом ходят только отстающие.

Должно быть, Аллочка решила, что Орест Иванович страшно волнуется, поэтому все и перепутал.

— Садитесь, пожалуйста. Они скоро придут, и мы все узнаем.

Он еще погладил ее по голове, на которой сегодня не было банта. Но ему не сиделось, он встал и прошелся по комнате.

— Скажи, Аллочка, мама вчера... заболела?

— Да. А дети родились сегодня рано утром.

Потом Аллочка сообщила, что дети — это два мальчика общим весом в четыре килограмма шестьсот граммов.

— Как вы считаете, это не очень мало?

— Да нет, — растерянно сказал Орест Иванович, сам

не знавший, много это или мало.— Наверное, хорошие ребята...

— Я тоже так думаю,— сказала девочка.

Она тоже волновалась, это было очевидно. Надо было бы приласкать ее, развлечь. Но Орест Иванович сейчас уже думал только о собственных внуках: какие они, что для них нужно, как они будут здесь расти? Он рассеянно перелистывал ноты, разбросанные по крышке рояля, и думал о том, что и его внуков, пожалуй, чуть подрастут, засадят за эту штуку.

— По-моему, вы не рады,— грустно заметила Аллочка.

— Нет, что ты!.. Я рад.— Орест Иванович вытер с лица теплый, какой-то тяжелый пот.— Скажи, Аллочка, как вы все тут живете? Игорь... он вам не мешает?

— Что вы! Я даже не представляю, как мы раньше были без него. Если я прошу бабушку спеть, то она говорит, что у нее болит голова, а вот если Игорь попросит, то она никогда не отказывается.

— Что же она поет?..

— Разное. Чаще всего «Что так жадно глядишь на дорогу?». Вы знаете эту песню?

...Стеклянные подвески на люстре, вывезенной еще из Померанцева переулка, жалобно дребезжали: этажом выше топали чьи-то большие ноги, как будто нарочно хотели вызвать этот нервный, непереносимый сейчас дребезг. Потом кто-то так саданул дверь, что люстра исполнила целый концерт. Орест Иванович возмутился: такое безобразие будет потом и над головой его маленьких внуков.

— Там живет один спортсмен,— объяснила Аллочка.— Но он, кажется, скоро разводится с женой. Пойдем на балкон? Тогда мы скорее увидим Игоря и бабушку.

На балконе, в горячем от солнца ящике, доцветали измелъчавшие анютины глазки.

— Я их поливаю,— сказала Аллочка.— Но в этом году такая жара!

Вдали маячило какое-то редколесье. По насыпи шла электричка. Зеленели остатки чьих-то индивидуальных огородов. Пахло жарой и глиной.

— Здесь скоро будет очень хорошо,— сказала Аллочка.— Только вот бабушке не хватает того дворика. Помните, который виден был с нашего старого балкона?..

И она тут же радостно закричала:

— Идут, идут!..

С высоты четвертого этажа Оресту Ивановичу нетрудно

было увидеть своего сына и его тещу. Они очень торопились. Наверное, потому что оставили Аллочку дома одну. Они ведь не знали, что он тут.

— Бабушка, по-моему, уже не плачет,— определила Аллочка.

Те были совсем близко. Орест Иванович не без скрытой боли заметил, что Игорь и его красавица теща выглядят совершеннейшими близкими родственниками. Идут, чуть ли не обнявшись, и что-то горячо обсуждают: может быть, как детей назвать или как их тут, в этой двадцатисемиметровой квартире, разместить. Еще здорова ли мать? Орест Иванович, волнуясь и досадуя на сына, думал о том, что вот детей-то делать не хитро, а вот условия для них создать — об этом должен сейчас кто-то другой позаботиться. И ему очень хотелось, чтобы этот другой был именно он сам.

— Я открою,— сказал он Аллочке.— Погоди...

...Сына своего Орест Иванович не видел месяца два. Игорь был худой, загорелый, нестриженный и за каким-то дьяволом отпустил усы. Волосы валились ему на лоб и закрывали шрам. Рубаха на нем была модная, но не очень свежая, что в данный момент было извинительно.

Но гораздо больше поразил Ореста Ивановича вид «сватьи». Она помолодела, казалось, лет на десять, хотя сегодня и пренебрегла несколько своим туалетом и на ее голове седина сейчас явно преобладала над искусственной рыжиной.

— Поздравляю вас, Зоя Васильевна!

Она в первый раз лучезарно улыбнулась ему и ответно пожала руку. Она так устала, что еле могла говорить.

— Лена просит... передать вам большой привет!..

Орест Иванович был просто счастлив. Он повернулся к сыну.

— Как это ты опять не в колхозе?

— А что я сейчас там делать буду? — пряча от отца в кулак усы и улыбку, сказал Игорь.

Но тут Орест Иванович понял, что на сегодня хватит выговоров.

— Ну, поздравляю и тебя,— сказал он сыну.

Потом все спохватились, что сегодня никто из них четверых еще не пил чаю. За этим не очень вкусным чаем Орест Иванович окончательно умилился душой и готов был недвусмысленно заявить, что внуков он своей милостью не оставит. Как никогда, он сегодня был рад, что у него имелись для этого возможности. Перед глазами у него уже стояла

новая квартира из трех, а то и из четырех комнат, раздельный санузел, большая кухня, лоджия, где не только две, а целых пять колясок поставить можно.

Он уже раскрыл было рот, но вовремя остановился; Зоя Васильевна, которая успела нанести на свое счастливое лицо какие-то косметические штрихи, крайне дружелюбно обратилась к нему:

— Вы знаете, у нас в роду уже были близнецы. Страшно похожие!..

— А как же их не путали? — поинтересовалась Аллочка.

— Няня надевала на них разные варежки.

— А летом?

— Кажется, у одного была на шее родинка.

Игорь, который больше помалкивал, только улыбался, на этот раз пробасил:

— Ничего, мы своих не спутаем!

Что-то в этом же духе следовало произнести и Оресту Ивановичу, но он как-то не находил слов. И ощутил себя в положении человека, который может со своими чисто метражными соображениями сейчас оказаться некстати. Аллочка уловила его замешательство и пришла на выручку.

— Давайте лучше подумаем,— как мы назовем наших маленьких детей.

Маришца Огонькова

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Осенью сорокового, високосного года в деревне Орловке, что лежит в двух километрах от Воронежского шоссе, а от железнодорожной станции Венев верстах в восемнадцати, случился ночной пожар.

Посреди деревни пролегал глубокий зеленый яр, который просыхал лишь в самое жаркое лето. Так что огню удалось смахнуть только одну сторону деревни, прогуляться по левому ее порядку. Порохом занялись соломенные крыши, сразу почернели яблони китайки, зачадили малинники. Алым заревом вспыхнули ометы, затлел даже лежалый навоз на задворьях.

Первым загорелся дом Евгеньи Огоньковой. Хозяйки в эту ночь дома не было: поехала в Венев, повезла продавать поздние крепкие яблоки. Евгенья, баба еще молодая, миловидная и робкая, недавно овдовела и осталась с четырьмя детьми. Так что теперь было не до того, чтобы самим кушать эти яблоки. Евгенья и кадушку с глаз убрала, в которой мочили на зиму антоновку. Дома без матери остались тринадцатилетний кудряш Роман, или, как его дома звали, Романок, одиннадцатилетняя Маришка, пятилетняя Лидка и совсем малое дитя в качке, родившееся уже после отцовской смерти.

Ребятишки проводили мать до шоссе, помогли тащить два пудовых мешка. Дождались, пока она втиснулась с этими мешками в маленький голубой автобус, и пошли домой. Пятимесячная Верка, как бы догадываясь, что надолго останется без груди, всю дорогу плакала.

Именно из-за этой крошечной крикухи Евгеньины ребяташки, может быть, и спаслись: Верка не давала уснуть, тосковала без матери, изжевала себе все пальцы. Маришка поила ее разведенным молоком, давала хлебца.

— Ты уснешь ай нет? — со взрослым гневом спросила наконец сестренка-большуха. — Ведь это наказание божее-кое!..

Пошло на первый час ночи, простучал где-то далеко поезд-товарняк. Маришку валил сон, но она ослабевшей рукой отдернула шторку на окошке и поглядела наружу. Вдруг ей показалось, что по темной земле летит какой-то красный вихорек. Это был отсвет, а пожар занимался позади избы, на гумне.

Сердце у Маришки страшно заколотилось. Она хотела крикнуть громко, но лишь тихо завывала. И все же она не растерялась, стащила с кровати Романка, дала крепкую колотушку не желавшей просыпаться Лидке, с недетской догадливостью кинулась к комоду, выхватила завернутые в узелок рублевки, справки, бумажки. Уже на улице она сунула замолкшего от младенческого страха ребенка увальню-брату, а сама бросилась выпускать скотину. Мелкие, некрепкие Маришкины зубы колотились, руки сводил ужас, но она все-таки вытащила застав на воротах, выпустила овец и телку, шестом согнала с насестов перепуганных, дико орущих кур.

С утренним автобусом вернулась Евгенья. Дети ее вместе с другими погорельцами, сбившись в кучку, сидели в яру, в дудках и таволге. Сюда огонь не достал. Тут же стояла ручная швейная машинка и небольшая деревянная укладка, которую соседи помогли огоньковским ребятам вытащить из занявшейся избы. Сюда же Маришка с Романком согнали овец с телятком, только куры все разлетелись неведь куда. А над яром догорали, чадили избы, садочки. Их и не пытались гасить — разве ведрами такое зальешь?

Евгенья, пока бежала от шоссе к дымящейся деревне, кричала. А когда села возле своих детей, так уж и не поднялась. Напрасно Маришка пыталась подсунуть матери под грудь плачущую Верку: Евгенья отмахивалась, как будто ей подсовывали еще одну беду. И если без матери ребяташки держались и не ревели, то теперь все разом залились слезами, и Маришка, и Лидка, задергал губами, заморгал даже крепкий на слезу Романок.

Потом, уже пополудни, из соседней деревни пришла за ними тетка, сестра покойного отца.

— Идите к нам,— сказала она.— Куда же вас теперь денешь?

И Огоньковы пошли, все впятером. Романок погнал телка и овец, пятилетняя Лидка понесла лукошко с цыплятами, которых только накануне насадка неожиданно-негаданно привела за собой из густых лопухов. Пятимесячную Верку взяла на одну руку мать, другой рукой прихватила швейную машинку. А Маришка, поднатужившись, потащила деревянную укладку, в которой теперь была «вся жизнь»: плюшевая жакетка, ковровый платок, пряжа от своих овец да метров десять ситца и сатина в разных кусках. Дня три назад Евгенья, как на грех, достала из этой укладки покрывало и накомодник, вывязанные из крашеных ниток: близился престольный праздник. Теперь они сгорели вместе с комодом и деревянной кроватью. В деревне говорили, что это еще пощада — не было раздачи хлеба на трудодни, а то бы и хлеб сгорел.

У тетки в избе Евгенье с детьми отвели угол за печью. С неделю они кормились от хозяев, а потом, не дожидаясь намека, Евгенья сама сообразила, что уж и хватит. Ведь им пятерым по ложке — и пустая чашка. Она нашла на пожарище уцелевшие чугушки, попросилась к золовке в печь. Но печь была маленькая, сложенная на одну семью, больше двух посудин в нее не становилось. Так что завтракали и ужинали Огоньковы чем-нибудь холодным. Капуста в огороде хоть и уцелела частью, но порубить ее теперь было не во что, а без щей крестьянский живот все равно пуст. А поскольку сгорело и сено, то Евгенья продала телка и овец, зарушила кур, которых Маришка отыскала в ближних лозинках. Надо было как-то жить дальше... Только к будущей весне колхоз обещал помочь погорельцам отстроиться. Но все равно требовались деньги: без них никто тебе ничего не принесет и не положит.

Романка проводили в Тулу, в ремесленное училище. Евгенья облила его слезами, а на Маришку ей таких горьких слез уже не хватило.

— Поезжай, моя золотая, ко хрестной маме,— сказала она.— Поживешь с полгодочка, авось не объешь ты их.

— Я мало ем,— покорно сказала Маришка.— Мне бы в обед чего, а ужинать я и не спрошу.

Маришкина крестная мать, звали которую Лушей, жила в шахтерском поселке Кырьяново, работала на шахте, выдавала фонари. Женщина она была бездетная и нелегкого нрава. Первый муж от нее уехал, со вторым, помоложе

себя, жила уже без регистрации. Это немного смушало Евгенью, но Маришка была еще мала и все равно не поняла бы, что к чему. Мать решила отослать ее с попутчиками: из тех, кто погорел, многие уехали устраиваться на шахты. Она стачала для старшей дочки платье с завязочками у ворота и долгую рубашонку, в чем спать.

Когда Маришку привезли в Кирьяново, на угольных терриконах лежал первый снег. Она уже бывала раньше здесь в гостях и теперь без ошибки сама нашла Лушину квартиру.

— Здравствуйте, крестная мама и ваш муж,— с порога сказала Маришка и, как велела мать, поклонилась.

— Здравствуй,— без особого привета отозвалась крестная.— Ишь ты, какая большая стала! Проходи, садись.

Маришка села, но тут же сказала снова:

— Я вам буду в хозяйстве помогать. Мама велела. За вашу за хлеб за соль.

Хлеб-соль в доме у Луши были неплохие: Маришке отрезали три кружка колбасы, положили их на половину сайки. Но вот щи показались ей невкусными, совсем не такими, как когда-то варила дома мать: больно кисла была Лушина капуста. И первая предательская слеза чуть не капнула в эти щи.

— Чего заплакала? — не по-мужски ласково спросил у Маришки крестнин муж Троша.— Не надо.

— А где я заплакала? — мужественно отозвалась Маришка.— Это Верка с Лидкой небось там без меня заливаются.

После ноябрьских праздников Маришку свели в Кирьяновскую школу, в четвертый класс. Сначала там потребовали справку, но потом директор согласился взять и так.

— Какая с нее справка? — сказала крестная.— У них все до последней липки сгорело.

У Маришки не было ни учебников, ни тетрадок, взять сейчас их было неоткуда. Нашлась старая счетная книга, на ее свободных страницах Маришка стала выполнять домашние задания.

— Смотрите, как новенькая девочка старается,— сказала учительница Ксения Илларионовна. Увидев на переплете счетной книги надпись: «Тетрадка ученицы Огоньковой Марине Парфеновной», она исправила ошибки и добавила: — «Парфеновной, ты будешь еще не скоро. А пока ты Маришка Огонькова.

По дороге из школы к дому Маришка заходила в хлеб-

ный магазин, брала две буханки черного и две буханки белого. Троша был мужик большой и хлеба ел очень много. Резали для него всегда только большими кусками, тонкий ломоть у него не держался в руке.

Маришка возвращалась домой первая, поэтому считала себя обязанной управлять по хозяйству: мела полы, носила воду и грела обед на чудной штуке, именуемой «грец». Стояла рядом и следила, чтобы этот «грец» не коптил.

Вечером, после того как исправно делала уроки, она писала письма матери. Перечисляла поклоны всем домашним, даже крошечной Верке, которая еще ничего не могла понимать. Однако и ей посылался низкий с любовью поклон.

— А я вот все не соберусь своим написать, — признался Троша. — Не выходит у меня. — Троша окончил четыре класса, когда служил в армии, но из скромности всегда указывал, что малограмотный.

Маришка аккуратно вырезала еще один листок из своей счетной книги и приготовилась писать письмо и для Троши. Луша безмолвно наблюдала эту картину. Потом взяла у крестницы исписанный листок и вдруг горячо поцеловала ее в макушку. Это была первая ласка, и Маришка растерялась.

— А вы меня к маме отпустите? — спросила она. — Ведь меня не насовсем отдали.

— Отпустим, — ответила Луша и, отвернувшись, вытерла слезы платочком. И даже Маришке стало ясно: тоскует, что своих детей нет.

К весне сорок первого подоспели новости: из деревни Евгенья прислала длинное, восторженное послание, в котором сообщала, что их семью после стольких горестей наконец настигла и радость: Романок, гуляя с ребятами-ремесленниками по улицам Тулы, нашел кошелек, а в нем три сотенных бумажки, четыре десятки и на два рубля мелочи. Адреса при деньгах не было, и мастер-воспитатель велел Романку отослать деньги в деревню матери, а та посчитала, что на эти деньги сына навел сам господь бог, что эти рубли и сотни — первое бревнышко на новый дом.

С тех пор Маришка, когда шла по улице, глядела только под ноги. Очень ей хотелось тоже помочь матери. Но всего только раз попались ей возле хлебного магазина зеленые три копейки.

Перед майскими праздниками Евгенья дополнительно сообщила, что в соседнем селе продают хату на своз,

просят тысячу двести. Недохватки у нее было семьсот целковых. Уже продана была швейная машинка, ковровый платок и пряжа вся до последней нитки. В письме содержался явный намек, не поможет ли кирьяновская родня: как-никак Маришкина крестная доводилась Евгенье двоюродной сестрой.

Троша заморгал, а Луша промолчала. Смысл был такой: и так немало помогли, целую зиму продержали девочку.

— А что бы Михаил Ивановичу Калинину написать? — вдруг предложил Троша.

— Ты научишь! — скептически сказала Луша.

Маришка решила посоветоваться насчет письма Калинин со своей учительницей Ксенией Илларионовной. Та почему-то смутилась и идеи этой тоже не поддержала. А на другой день отозвала Маришку в сторону и сунула ей десять рублей.

Ксения Илларионовна была еще не старая, но седая и ходила всю зиму в одном и том же платье.

— Дай вам бог здоровья! — подражая интонации матери, сказала Маришка.

— Что ты, что ты! — остановила ее учительница. — Какой там бог. Ты же девочка умная.

В конце мая Маришка закончила четвертый класс, получила листок с четверками и пятерками и стала жить ожиданием, когда Троша возьмет отпуск и свезет ее домой в Орловку. Она уже заранее готовила прощальные слова, которые сказала бы крестной матери:

— Большое спасибо вам за ваше воспитание, за ваш привет!..

Но Троше отпуска все не давали, а потом вдруг взяли его на какую-то переподготовку. Он ушел с железной кружкой, с двумя парами носков, и весь хлеб, что Маришка принесла из магазина, Луша положила Троше с собой в мешок.

Между тем Евгенья к себе в Орловку уже перевезла купленную хату, в которой не было пока ни крыши, ни сеней. Колхоз помог ей деньгами и с перевозкой, дал соломы на крышу и кругляка на сенцы. Но весна стояла холодная, и топить было нечем. С пасхи не мылись, не жалели воды только на маленькую Верку. Но хоть и холодный, но все-таки это опять был свой дом. Его поставили высоко над яром, на прежнем своем месте, возле обгорелых лозин, которые давали от земли новые, зеленые ветки. К троице достроили сенцы, только не было пока двора, но в

него и пускать было нечего: новую скотину нужно было еще наживать да наживать.

Приехал из Тулы Романок, теперь почти что Роман Парфенович: в черной форменной шинели с золотыми буквами, в черном картузе и в намазанных гуталином ботинках. Они с матерью принесли из засеки березовых веток, натыкали за новые наличники и под карниз. Евгенья начисто перемыла все окошки, только вот шторок к ним сейчас не было. Поставили на голый подоконник два столетника да красную гераньку.

Маришка между тем томилась в Кирьяновке. Приходило ей в голову, что ждать нечего, что нужно убежать. Но совесть не позволяла. С тех пор как Троша ушел на переподготовку, Луша взяла ее спать с собой и даже во сне почему-то крепко держала. Маришке думалось, что если она решится и убежит, то крестная мать ее обязательно догонит и воротит.

— Как мне маму охота повидать! — однажды робко призналась Маришка. — Хоть бы одним глазком!..

— Успеется, — отозвалась Луша, — живи пока.

Наверное, если бы она знала, что всего через три дня начнется война, не сказала бы, что успеется. Но ведь никто не знал...

2

Лето сорок первого стояло солнечное и яркое. Ни поздних заморозков, ни холодных дождей, ни сухих ветров. Такое бы лето в мирный год!.. На шахтерский поселок пока еще не было ни одного налета, и даже не верилось, что где-то полыхают деревни, пустеют поселки, уходят на восток люди. Тут, в Кирьяновке, на станции по-прежнему грузили бурым углем платформы, вагоны-пульманы. По насыпям из-под черной пыли вопреки всему лезла лебеда и полынь, в поселке, как облитые медом, цвели липы. Но на клумбах возле шахтерского клуба да и возле домов никто не поливал распустившихся цветов, они сохли, наводили тоску.

Троша с переподготовки домой не вернулся. Луша ходила угрюмая, часто плакала и не спала по ночам. Маришка понимала, что другого такого Троши, случись что-нибудь, Луше ничем не найти: тот не дрался, не ругался, одна беда — много ел. Теперь, без Троши, Маришка приносила из магазина всего одну буханку белого да полбуханки черного. Потом и вовсе хлеб стали давать по карточкам, и на

Маришкину долю падало всего триста граммов, короче говоря — горбушечка.

О том, что творится дома в Орловке, она не знала. Автобусы больше не ходили, в поезда не сажали. А кто шел куда-нибудь пешком, останавливали и спрашивали документ.

— Ангел небесный, снеси меня к маме!.. — горячо попросила Маришка.

Она уже давно догадывалась, что никаких ангелов нет, но просить больше было некого, а домой очень хотелось.

В начале августа в Кирьяновку эвакуировали из Москвы большой госпиталь, заняв под него здание той школы-семилетки, в которой училась Маришка. Сначала по железнодорожной ветке пришел эшелон с медицинским персоналом, с койками, с матрацами, с бачками и кипяtilьниками. Целый вагон — аптека, другой вагон — с рентгеном. А суток через пять привезли раненых: у кого гимнастерка надета в оба рукава, у кого в один, другие просто накрыты пыльными шинелями, а под ними белье и бинты.

От станции до госпиталя было около версты по немощеной улице. Лежачих раненых нельзя было трясти в машине, их клали на носилки, и Маришка видела, как молоденькие медсестры-москвички по четверо тащили их. Они и руки меняли и отдыхали через каждые двести шагов, а раненый боец стонал и бранился.

— Дайте я маленько пособию, — попросила Маришка и протянула руку к носилкам.

Ее не отстранили, и она вместо молоденькой медсестры пронесла носилки полные двести шагов.

— Какая девица-то крепкая! — заметила красивая врачиха со шпалой в петлице и очень строгими глазами. — Ну, хватит, девочка, уходи.

Но Маришка не ушла, а только дождалась, когда скроется из виду строгая врачиха, и опять взялась помогать.

Дома крестная мать спросила ее:

— Ты Троху-то не видела? Гляди, может, и его привезут.

— Я гляжу, — заверила Маришка. — Не пропущу.

Но Трошу не привозили. Везли всяких: смоленских, орловских, московских, а Троши не было.

— Сколько же тебе лет, девочка? — спросили у Маришки московские медсестры, увидев ее снова и снова возле госпиталя.

Маришка pokrивила душой и сказала, что четырнадцать

тый год. Но и рост и отроческая угловатость выдали ее. Разве что светлые, понимающие глаза говорили в ее пользу. Медсестры вроде бы поверили и взяли Маришку с собой в столовую.

Еда там была распрекрасная. Бойцам, медперсоналу и всем вольнонаемным давали жареного мяса, компот с урюком и еще с чем-то приятным, названия чему Маришка не знала. Приводили ее сюда потом еще не раз, она поела и мясных котлет, о которых в деревне только слыхала. Оказалось, что повар раньше служил в большом московском ресторане и готовил, как колдовал. Маришка попробовала и жареной печенки, и почек, и гуляша; детский живот ее радовался, а душа страдала: этого бы компоту сейчас годовалой сестренке Верке, а матери с Лидкой по котлетке бы!..

К Маришке пригляделись и посоветовали пойти к начальнику госпиталя, военврачу первого ранга Заславскому, попросить, чтобы разрешил помогать в палатах, разносить раненым еду, прибираться и писать письма для тех, кто сам не может.

Маришка испугалась, но пошла. Военврач первого ранга очень строго посмотрел на нее через очки с золотцем, но выслушал.

— Будьте добрые,— подражая матери, попросила Маришка,— не откажите в просьбе!..

По распоряжению начальника госпиталя, закрывшего глаза на Маришкино малолетство, ее, Марину Парфеновну Огонькову, зачислили санитаркой по вольному найму, без обмундирования, но с довольствием. Выдали только белый халат, который Маришка сама ушила и подняла карманы. За первый месяц службы она выросла сантиметров на пять, потому что сытно и вкусно ела. Сознание того, что она теперь почти военнослужащая, заставило в Маришкиной душе отступить всем другим тревогам и чувствам. Все реже тосковала она о родном доме и уж совсем не спешила вечерами к крестной. Да и та работала теперь по шестнадцать часов в сутки. Варить на «греце» было нечего, посуда стояла чистая, незакопченная и холодная.

Поначалу не во всем Маришке хватало сообразительности, кое-что делала она и невпопад. Как-то после влажной уборки она увлеченно отстирала все тряпки и дерюжки и повесила на видном месте, чтобы оценили. Но эти тряпки первой попались на глаза заведующей отделением, военврачу третьего ранга Селивановой.

— Это твоя работа? — спросила она очень грозно. — Ты бы еще подштанники здесь развесила!

Маришка страшно испугалась, даже прижалась к стенке. Красивая военврач третьего ранга взглянула на ее маленькие, красные от холодной воды руки и пошла дальше.

— Ты Селиванову не бойся, — сказали медсестры. — Она порядок любит, а так она не вредная.

Маришка изо всех сил старалась запомнить, что если нужно будет спросить о чем-нибудь строгую Селиванову, то нельзя называть ее по имени-отчеству, Валентиной Михайловной, а надо сказать так: «Товарищ военврач третьего ранга, разрешите обратиться!»

Если же вдруг в отделение придет, к примеру, сам начальник госпиталя Заславский и при нем нужно будет что-то Селиванову спросить, то следует говорить так: «Товарищ военврач первого ранга, разрешите обратиться к товарищу военврачу третьего ранга!»

— Молодец! — похвалила Маришку палатная сестра, когда та одолела эту скороговорку. — Ну, беги, разноси ужин.

— Есть, товарищ военфельдшер второго ранга! — радостно выпалила Маришка и побежала в столовую.

Был уже август, пошли дожди — для эвакуаторов самая плохая погода. Прибыл еще эшелон в пять вагонов с одними тяжелыми, откуда-то из-под Вязьмы. Этими же вагонами увезли куда-то тех, кто поправлялся, в какой-то батальон для выздоравливающих. Увозили ночью, в темень.

Утром Маришка точно в шесть пришла в палату, стала наводить порядок. Все обтерла, понесла выбрасывать окурки. Но ее вдруг окликнули с другого конца коридора:

— Огонькова! Мариша!.. Поди-ка сюда скорее!

Там, где раньше была учительская, куда Маришка вслед за своей учительницей, Ксенией Илларионовной, носила тетрадки, линейки, глобус, сейчас была операционная палата. А табличка все оставалась: «Учительская».

— Поди сюда, не бойся, — шепотом сказала операционная сестра и дала ей поддержать какую-то металлическую штучку с ножами. Позже Маришка узнала, что одной из молоденьких медсестер, только что с курсов, во время операции стало тошно. Военврач третьего ранга Селиванова ее выгнала, никого другого под рукой не оказалось, и кликнула Маришку. Раненый, хоть и был под наркозом, весь

крутился, выбивался. Военврач Селиванова резала ему руку пониже плеча. Когда ножик шел в тело, было слышно какое-то шипение, как будто выходил воздух. И словно не по живому телу резали, а по чему-то хрусткому, вроде бы как по замороженному киселю или по студню.

Маришка, хотя и замерла от ужаса, не отвернулась. Но руки ее задрожали, и ножики на лоточке зазвякали. Селиванова потихоньку выругалась, но не по Маришкиному адресу: трудно было резать.

Потом военврач третьего ранга сняла марлю с лица и помахала пальцами в резиновых перчатках. Раненого стали перевязывать, и он теперь лежал уже, как мертвец, очень синий.

Маришка догадалась, что ей уже здесь делать нечего. Но в это время военврач Селиванова, сняв перчатки, вдруг взяла ее за подбородок.

— Ну, крошечка-хаврошечка,хватила страху?

Потом Маришка краем уха слышала, что тому раненому нужно было переливать кровь. А так как не было в запасе нужной группы, то кровь дала сама Селиванова.

Маришке очень хотелось знать, какая у нее группа. Ей укололи палец и выяснили, что у нее третья группа, но сказали, что эта группа мало кому нужна. И Маришка с тоской пососала уколотый палец. Тот раненый, которому дала кровь Селиванова, умер на другой день. Маришке объяснили что у него была газовая гангрена, потому и воздух выходил из руки и хруст был такой. Значит, зря красивая Селиванова старалась.

С того дня Маришка стала меньше бояться военврача третьего ранга и не избегала попадаться ей на глаза.

— Ну что, Огонек? — неожиданно очень по-дружески обратилась к ней Селиванова после очередного обхода. — Как у нас с тобой дела идут?

Маришка не очень растерялась и ответила четко:

— Хорошо идут, товарищ военврач третьего ранга.

Так с легкой руки Селивановой все в госпитале стали звать Маришку Огоньком. И ей это прозвище очень нравилось.

Из Орловки наконец дошло до Маришки письмо. Там мобилизовали всех до единого молодых мужиков, ждали своего черед и пожилые. Хлеб еще не обмолочен, картошка, просо — все в поле. Успели наставить сена, но кто его будет теперь возить. Страшно выйти в луга: немец бьет с самолета, палит копны зажигалками.

«Дорогая доченька,— писала Евгенья,— сообщаем тебе, что брата Романка увезли вместе с училищем неизвестно куда, и не знаем следу. И об тебе болит душа. Такое время, что уж всем бы возля друг дружки».

Маришка заплакала. Накануне она видела в кинокартине, которую показывали раненым бойцам, немцев-фашистов. У всех у них были страшные, нечеловечьи хари, рогатые каски, кованые сапоги, как копыта. Что же будут делать мать с Веркой, с Лидкой, если такие чудища придут к ним в деревню, куда они все будут хорониться?

В начале осени стали проводить занятия по строевой подготовке. Вольнонаемному составу тоже было положено маршировать с учебными винтовками, ползать по лугу попластунски, осваивать приемы построения. Каждое утро с десяти до двенадцати.

Занятия проводил воентехник третьего ранга Чикин, человек не старый, но с темным, стариковским лицом. У него было что-то с легкими, однако это не мешало ему ухаживать за молоденькими сестрами, и улыбка с его темного лица никогда не уходила.

Кроме Маришки, на занятия из числа вольнонаемных выходило человек двадцать: повар, дезинфектор, бухгалтер, киномеханик, остальные санитарки, няньки, нанятые в поселке и в ближних деревнях. Все они исстрадались, пока научились без ошибок выполнять команды: на первый-второй рассчитайся, ряды сдвой, в одну шеренгу становись, право плечо вперед, лево плечо вперед!.. Хорошо, что воентехник Чикин был человек непридирчивый, к тому же всегда влюбленный. А может быть, он придерживался того мнения, что если придет смерть, то каким плечом к ней ни поворачивайся, она все равно тебя накроет. Да и что спросить, когда народ такой не строевой, не физкультурный?

У Маришки было то преимущество, что она уже маршировала в школе, и теперь она все делала быстрее и лучше других. Лево-право выходило у нее само собой, а не после того, как подумает. Она теперь и по коридорам не бегала, а ходила четко, считая про себя: три, четыре, левой, левой!.. Учебную винтовку она тоже привыкла носить и делать с ней приемы, но вот до настоящей стрельбы дело не дошло. Возможно, что при госпитале и не было настоящего оружия.

Занятия шли не нудно, потому что Чикин со всеми няньками и санитарками перемигивался, словно бы дого-

варивался. Насчет вольнонаемного состава, который жил по своим домам, было не строго, а военнотружущим сестрам баловства не спускали. Маришка сама слышала, как на построении комиссар госпиталя, старший политрук товарищ Чалых сказал строго:

— Вчера во время демонстрации кинофильма «Девушка с характером» наблюдалось следующее безобразие: медицинская сестра Богданович и раненый боец занимались обниманием.

Маришка в первый раз подумала: хорошо, что она малолетка, ее никому не интересно обнимать.

3

В десятых числах сентября начались налеты и на Кирьяновку. Два дня подряд бомбили шахтерский поселок, наверное, хотели разрушить шахты. С самолета изрешетили пулями помещение железнодорожной станции, расколотили ветку на Тулу. Насмерть прибило двух ребят из ФЗУ, не пожелавших схорониться в щель. Лежащих раненых три раза пришлось вытаскивать в пришкольный сад, потом таскать обратно. Из окон высыпались все стекла и даже две двери от взрыва слетели с петель.

Сентябрь уходил, и темнело теперь совсем рано, еще до ужина. И каждый вечер можно было ждать нового налета. Но немцы в последние дни что-то не прилетали, хотя в прошлый раз ушли безнаказанно. Только где-то далеко, то ли в Туле, то ли на Косой горе, изредка били орудия.

Совершенно случайно Маришка услышала страшный разговор. Говорили врач по лечебной физкультуре и тот же воентехник Чикин.

— Ведь если придут, то голыми руками нас возьмут: три винтовки на всю охрану.

— Не исключено...

И Маришка в первый раз помертвела от страха. Тихонько, словно боясь быть услышанной этими проклятыми немцами, она побежала в свою палату.

— Девчоночка, куколка, может, слыхала, куда теперь нас?

Раненые уже знали, что готовится отправка. Маришка и сама видела, как отбирают истории болезни, как врач-эвакуатор переписывает какие-то списки.

— Истинный бог, не знаю!

Пожилой боец чуть не в голос заплакал. Он был смолен-

ский, с первых дней угодил в пекло, не ведал, что с бабой, что с детьми.

— Пусть бы смерти предали, хошь на день бы домой!..

— Врешь! — сказал другой раненый. — Не захочешь ты помереть. Я вон гляжу, ты по три каши съедаешь.

— Не плачайте, дяденька, — добавила и Маришка. Но на смоленского, видно, нашло: горько плакал, и все тут.

Пробило семь, и Маришка побежала разносить вечернюю кашу. Пожилой смолянин отсморкал слезы и достал из-под матраца собственную деревянную ложку. Когда Маришка принесла ему каши-перловки, он спросил:

— Хлебушка не прибавишь?

Этой просьбой он ей и раньше досаждал. Но она ответила вежливо:

— Персонал поужинает, останется, я вам принесу.

Ей очень неловко было собирать со столов куски, которых день ото дня становилось меньше и меньше, а на то, что оставалось в котлах, имели свой прицел повара и раздатчики. Ведь могли подумать, что Маришка эти куски для себя собирает.

Хлеба она смоленскому принесла, а он в своей горести съел и поблагодарить забыл. Что же, Маришка не обижалась.

Открылась дверь, сунулась дежурная медсестра:

— Огонек! К врачу-эвакуатору, быстро!

Сердце у Маришки дрогнуло: неужели всех увозят? А как же она? Возьмут ли ее с собой? О предстоящей эвакуации госпиталя говорили уже все, никакого секрета из этого не делали. Маришка думала, что сейчас ей велят собирать обувь, раздавать солдатские мешки, сворачивать койки.

Но составу был дан совсем другой приказ: брать носилки, и на станцию. Привезли еще человек полтора-два раненых, очень тяжелых. Это эвакуировался полевой госпиталь из Сухиничей.

Таскали сухинических в полной тьме: доходил сентябрь. Из тех, кого привезли в четырех товарных вагонах, никто не шел, всех несли. Таскали и санитарки, и медсестры, и врачи, и политруки.

Маришка топила в операционной печку-голландку. Спать ей совсем не хотелось, только немножко ломило шею и плечи. Потом она не заметила, как заснула, уронив стриженую голову в коленки. А проснулась на топчане, под боль-

ничным халатом, которым кто-то ее накрыл. И вдруг увидела в окно, как через парк идут трое мужчин из числа вольнонаемных с лопатами на плече, а с ними старший политрук. Маришка не сразу, но сообразила, что идут они на шахтерское кладбище копать могилу: кто-то последнюю дорогу не пережил.

Эвакуация началась восьмого октября, перед рассветом. На станции, не освещенной ни одним фонарем, стояли вагоны с нарами из свежих досок. Только эти доски и белели в темноте, а сами вагоны были черные и грязные: здесь возили раньше не людей, а грязный товар какой-нибудь, а может, и скотину. Не было ни одного огня и в поселке, и машины, на которых подвозили раненых до станции, шли с темными фарами.

Маришка плакала и цеплялась руками за тех, кто с ней прощался. И вдруг кто-то сказал рядом:

— Хватит реветь-то, придурок деревенский!

И тут же Маришка услышала:

— Медсестра Богданович, перестаньте хамить! И наденьте как следует головной убор: вы не на гулянке.

Это военврач третьего ранга Селиванова Валентина Михайловна так вступилась за Маришку. Та Селиванова, которой она когда-то сильно побаивалась.

— До свиданья, Огонек! — ласково сказала военврач третьего ранга. — Не горюй, может, еще увидимся.

Минут через пять тихо, как бы украдкой, свистнул паровоз и запричитали вагоны. Маришка еще плакала, и искала глазами Валентину Михайловну. Но уж очень темно было...

— Товарищи вольнонаемные! — на этот раз не слишком бодро скомандовал воентехник Чикин. — Собрать носилки, построиться, и шагом марш!..

Все, наверное включая и самого Чикина, подумали, что сегодня можно бы и не строиться. Но порядок есть порядок — время военное.

Как бы в дополнение ко всем слезам дома Маришка застала голосащую Лушу: оказывается, забежал на час Троша. Их держали где-то совсем недалеко, но он по своей малограмотности так и не собрался ничего написать. А теперь уж везли на фронт — это точно.

— Про тебя спрашивал, — сказала крестная. — А я уж и сама забыла, какая ты есть.

В свою родную деревню Маришка вернулась только к следующей весне. Орловку война обошла: еще зимой немцев повернули у станции Мордвес, между Каширой и Веновом, а сорока километрах от Маришкиного дома.

От Кирьяновки до Тулы Маришку довезла попутная машина, а там она побежала пешком, от деревни до деревни. Никто ее не остановил и не спросил никакого документа: ростом она по-прежнему была маленькая. Она шла по колдобистым, оттаивающим дорогам, видела темные метелки не убранного с осени проса, придавленную снегом и льдом гречиху, замороженную свеклу в буртах. Над оголившейся землей низко летало воронье и галочье, ближе к деревням роились воробьи. На поречье ледышками торчали вытаявшие из-под снега капустные кочаны.

— Мамычка, это я пришла!.. — тихо сказала Маришка, перешагнув порог.

Евгенья кормила грудью Верку, которой доходил второй год, но которая как была, так и осталась крошечной. В новой избе было совсем голо, печь, сложенная еще прошлым летом, так и не белена. Мать кормила Верку, а сама прикрывала безжизненную грудь — холодно.

— Мама!.. — повторила Маришка. — Ведь это я.

— Золотая ты моя!.. — вымолвила наконец Евгенья. — Как тебя бог научил?.. Как тебя ножки донесли?

Вечером в деревне не светилось ни одного окошечка: про керосин здесь давно не было и помина. Казалось бы, зачем немцам нужна была деревня в двадцать пять домов, низких, под соломой, которые, как стрижиные гнезда, прилепились на краю глубокого и холодного яра? Ради чего они хотели сюда прийти? Что бы они тут нашли? Груды невыезженного навоза на задворьях да десяток тонн картошки в поле, которую так и захоронил снег.

Только теперь, когда они вчетвером улеглись на лежанке, где раньше и двоим было тесно, Маришка почувствовала, как отошали, подробнели все — и мать и ребята. Сейчас она была при матери старшая. Она лежала, не спала и думала: чем они до тепла дотопятся? В Кирьяновке она собирала уголь возле шахт, а здесь чего же соберешь? Недаром, когда Маришка подходила к своей деревне, она не увидела ни одной рябиночки, ни одной лозинки — все срубили и стопили.

Холода продержались до поздней весны. Единственной крепкой обувкой были Маришкины солдатские ботинки, которые дали ей еще в госпитале. В них она бегала по воду,

таскала на топку погнившую солому с дальнего поля. Но в избе у Огоньковых все равно было холодно, холодно!..

— Верка-то у нас елюшки дышит,— сама чуть живая, сказала Евгенья.— Синенькая вся!..

Девочке сровнялось два года, когда Огоньковы ее схоронили. Уже озеленилась земля, пели дрозды. Маришка оглядела всех, собравшихся на кладбище, и не по-детски ужаснулась: при ярком свете солнца все были черные, лицом похожие друг на друга: и темными платками, и провалившимися глазами. Старухи тянули «Вечную память». Маришка взглянула на небо, там переливалась лазурь. Сколько раз слышала она, что никакого бога нет, но как ей хотелось верить, что крошечная Веркина душа будет плавать высоко-высоко в чистом, теплом небе...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

— Мамычка, а ведь мне завтра восемнадцать лет!..

— Забыла я, дочка,— виновато сказала Евгенья.

Мариша и сейчас была невелика ростом, но лицо у нее было круглое и хорошенькое. Нос, правда, лупился, и обе ноздрюшки остались маленькими, детскими.

Евгенью же военные годы сломили. Так болел желудок, что никакая радость не была радостью. Слишком много за эти годы съели всякой травы и гнили: мороженой картошки, побывавшего под снегом зерна, прелой свеклы. Молодые животы все переварили, а Евгенья заболела всерьез. Теперь, даже если ела хорошую пищу, ей казалось, что во рту у нее трава, горькая и вязкая. Ей шел всего сорок третий год, но она уже была не работница. Даже посидеть выходила только к старухам, потому что тем, кто остался здоров, не всегда хочется слушать про чужую боль.

...По улице шел теплый майский ветер, качались молодые, наново посаженные лозинки. По ступенькам в избу карабкалась зеленая травка.

— Не застудись,— сказала Евгенья, глядя на голые, уже успевшие загореть Маришины руки.— Больно рано, касатка, начала раздешкой ходить.

А Мариша отрезала рукава у платья, чтобы залатать

грудь и подол. Материал был еще довоенный, какого теперь не купишь: сколько носила, а цветочки видны.

Она вывела мать из избы, посадила на лавочку. На Евгенья было два платка: нижний, белый, чистый, а сверху черный с махрами, две телогрейки.

— Знаешь, чего бы я съела, доченька,— вдруг сказала Евгенья.— Кусочек бы той колбаски, какую отец-покойник привозил. Нарезана наискосок, и шкурочка так колесиком и остается.

— Где же нам колбасы взять, мама? Разве только Рома-чок придет.

У Романка была своя история. Ремесленное училище, в котором он до войны учился, осенью сорок первого эвакуировали на Урал, в Свердловскую область. Ребят сразу же стали водить на практику, в кузнечный цех. Обували и одевали, спать клали на чистые койки, но с харчами было плохо: в супе лапшина за лапшиной бегала с дубиной. Когда Романок об этом писал матери и сестрам в Орловку, те обливались слезами, хоть сами и вовсе никакой лапши не видели в то время.

Все же, пока училище о ребятах заботилось, жить было можно. Но в начале сорок третьего ребят-ремесленников передали заводу, там рабочих было под тысячу, и о том, как прожить, теперь каждый должен был заботиться сам. Романок начал с того, что проел новые ботинки и бушлат, которые выдали ему при выпуске из училища, потом пару бязевого белья и шапку; остаток зимы проходил в солдатской пилотке, вследствие чего приморозил одно ухо. Но бедовал недолго: он был малый красивый, весь в мать, очень милую в девках Евгенью, выглядел он взросло и нашел себе «марушку». Она купила ему новый бушлат и ботинки, сама вывязала носки и варежки. Романок стал ходить на работу с картофельным пирогом и с бутылкой молока. В эту пору он в Орловку писем не слал, и Евгенья убивалась как никогда.

В конце сорок пятого Романка призывали в армию. Сейчас он дослуживал в стройбате под Москвой. Домой он еще ни рубля деньгами, ни одной конфетки девочкам не прислал, но домашние, простив ему долгое молчание, теперь обманывали друг друга словами: «Вот Романочек придет, вот Романок придет!..»

Евгенья сидела на майском солнышке, смотрела, как управляется Мариша. Ту бригадир часом раньше отпустил с поля: урок свой выполнила, а дома больная мать. Тепереш-

ний бригадир, инвалид войны, был с совестью. Не то, что прежняя бригадирша-злыдня, которая из здешних баб шема-ло крови попила.

— Минералку, что ли, растаскивали? — спросила Евгенья. Она уже два года как не работала, а знать ей хотелось все.

— Уже запахали. С понедельника садить.

Мариша шестую весну встречала в поле. Когда она в сорок втором вернулась в Орловку, никто не поглядел, что она маленькая: хочешь есть, иди работай. Сперва Евгенья старалась ее далеко от себя не отпускать, боялась, что обидят: положат лишнего девчонке на горб и сделают на весь век калек. Но все же пришлось отпустить. Косить за взрослыми бабами Мариша не поспевала, а грести была не слаба и снопов навязывала больше взрослых девчат. Но хлеба в Орловке сеяли год от года меньше, в основном была картошка да свекла, считалось, что это не тяжелая работа, каждый подросток может ее выполнять.

На огороде у соседей фыркала лошадь.

— Когда же нам-то вспашут? — тревожно спросила Евгенья. — Вечор вижу, Иван Степаныч кобылу ведет, думала, к нам...

На горе свое, Евгенья была не солдатская вдова, а вдова мирного времени. И сколько раз ее по этому поводу обходили: то одного не дадут, то в другом откажут. Ей казалось, что она и расхворалась не от плохого питания, а от несправедливого к ней отношения.

— И нам вспашут, — заверила Мариша. — Главное, мамычка, вы себя не растравливайте из-за этой кобылы.

Она одним самоваром кипятку обстирала всю семью, оставшиеся угли вытрясла в утюг. Пока домывала последнее, первое уже просохло на майском ветру, можно было и гладить. Каждую стирку Мариша боялась, что уж это будет в последний раз — расплзется на ниточки.

— Пойдемте, мамычка, в избу, — позвала она. — А то холодать начинает.

Евгенья покорно встала, пошла за дочерью. У Мариши были такие же серые, добрые глаза, как у нее самой в девушках. Но Евгенья когда-то заплетала нежидкую косу, а дочь, как все сейчас, стрижена на косой проборчик, только уши накрыты. Младшую, Лидку, всю войну вовсе коротко остригали, как овцу: воды и мыла было в обрез.

— Может, чаю хотите, мама? В самоваре на чашечку осталось.

— Нет,— сказала задвленная болезнью Евгенья.— Теперь что-то уж и ничего не хочу.

Она легла на постель, и Мариша накрыла ее. В избе было тихо, тихо. Лидка ушла на речку, приловчившись, словно парнишка, ловить на удочку. Мариша поглядела на ходики: шестой час пора бы ей воротиться. Может, и вправду чего принесет.

Голые когда-то стены огоньковской избы теперь украсили фотокарточки. На самом видном месте висел, конечно, Романок, снятый в солдатской форме. Шея у него была крутая, нос вздернутый и веселый. За плечами сидели две голубых птицы на серебряных веточках.

Остальные фотокарточки были тоже неплохи. Два года назад, перед самой победой, в деревню приехал из Венева фотограф. Делал снимки за картошку: за шесть карточек ведро. Поскольку впереди была посадка, Мариша с матерью платить картошкой не рискнули, а предложили фотографу пяток яиц от первой курочки. Тот взял охотно, а за то, что Огоньковы пустили его в темный угол за печью проявлять снимки, сделал им лишнюю семейную фотографию. Евгенья сидела возле своего дома, на самом солнышке. За плечами у матери стояла Мариша, сбоку десятилетняя Лидка. Девчонки улыбались, а Евгенью не удалось уговорить улыбнуться: она переживала, что нет дома Романка.

— Не расстраивайтесь, мамаша,— сказал Евгенье фотограф, думая, что она оплакивает убитого.— Вечная память, как говорится!..

У самого фотографа не хватало трех пальцев на правой руке, но ремесло его не покинуло, он, как мог, подрабатывал на прокорм своей семье.

— Вас я сделаю в овале и с обрамлением,— обещал он Марише, которая ему как будто понравилась. А может быть, просто рассчитывал, что за овал и обрамление Огоньковы пригласят его пообедать.

Но когда фотограф увидел, чем обедает семья, где лишь одна шестнадцатилетняя Мариша способна заработать кусок, то сесть за стол не согласился, сказал, что сыт, что уже ел.

Мариша тогда в первый раз застыдилась своего платья, в котором ей пришлось фотографироваться. На ногах у нее были не туфли, а сапоги большого размера с парусиновыми голенищами, которыми ее премировали в колхозе.

— Стойте ровненько,— велел фотограф, заметив, как

Мариша переминается от неловкости.— Ваша красота сама за себя скажет.

Марише было отчего волноваться: это был второй снимок в ее жизни, а первого можно было и не считать: там она была снята в младенчестве, между отцом и матерью. Этот маленький, тусклый и желтый снимок сгорел в сороковом году вместе с деревянной переборкой, оклеенной голубыми обоями. А на втором снимке она прямо стояла во весь свой рост, и на пальце у нее светился занятый у подружки перстенок.

Потом этот перстенок был на радостях отдан Марише навовсе: у подружки вернулся домой отец-солдат, с тремя медалями и с двумя чемоданами добра. Наверное, кто-то и позавидовал, но не Мариша. Она радовалась, что вернулся домой, в деревню живой-здоровый человек, значит, скоро кончится война и будет другая жизнь. Она уже мечтала, что будут у них опять ягнята, гуси, утки. Насадят в огороде новых яблонь, вишен, вся деревня оживет, свадьбы пойдут... Правда, ей-то самой рано было о свадьбе думать. Но раз думалось...

Весна в том, сорок пятом, была ранняя, даже грачи прилетели раньше срока, потеснили вороньи и воробьиные стаи. Весь апрель работали от света до потемок, и все с песней. Лошади и те вроде что-то чувствовали, шли без кнута.

Девятого мая Мариша в первый раз в своей жизни хлебнула свекольного самогона, этой белой, пенистой жижи, и в ужасе затаила дыхание. Но уже через минуту радостно улыбалась и пела со всеми, сидя в избе у самого председателя, где в это утро все было залито солнцем.

Кто-то сунул ей в руки балалайку-пятиструнку. Мариша играла хорошо, у них в Орловке почти все девчата умели держать в руках балалайку. А вот гармонистов уже не было.

Сыграй, милый, сыграй, Вася!..

Мариша оглянулась на мать: Евгенья сидела тихая и красивая. Она всегда была лицом голубая, как снятое молоко, но тут у нее на щеках расплылся румянец, так что Марише даже немножко страшно стало: уж больно резка была перемена.

В тот же яркий день, но уже к вечеру, приехали на машине из района поздравлять с Победой, раздавать детям гостинцы.

— Да вы что, я же взрослая,— сказала Мариша, когда ее чуть не приняли за подростка.— Мне не надо!

— Дайте ей, дайте! — крикнул председатель.— Не больно велика!

А Марише очень хотелось быть взрослой. Праздничные пряники свои она отдала сестренке Лидке, которая сжевала двойную порцию, как за себя кинула. А Мариша только прикусила чуть-чуть. Зато воды попила не один ковш: это ее мучил проклятый самогон.

Похмелье не помешало Марише на другое утро подняться на бледной зорьке.

— Что тебя бог в такую рань поднял? — спросила Евгенья.— Поди, и трех-то нету?

— Управлюсь да побегу бригадку нашу побужу,— шепотом отозвалась Мариша.

— Неугомонная ты! — ласково сказала Евгенья.— Деточка ты моя глупая!

Мариша уже обувалась возле порожка.

— Не глупая я, а работать надо, мамычка. Гляньте в окно, какой день сегодня золотой. Теперь уж все хорошо будет, мамычка милая!

2

Мариша глубоко вздохнула, вспоминая то утро, те надежды. Два года прошло, она стала совсем взрослой. Отодвинув шторку, поглядела на улицу: солнышко уже заходило, синела трава. Из яра поднимался туман, расползался по склону. На завтра опять все обещало хорошую погоду.

— Нянька, я сегодня шешнадицать штук пымала!..

Это появилась бойкая рыбачка с ведерком, в котором плескались рыбки-крошечки, такие же тощие, как и сама Лидка.

— Кабы нажива хорошая была — баском сказала она, — я бы их тыщу наловила.

Утром, когда Мариша поднялась на работу, мать не спала.

— Кто бы меня на ноги поставил,— уже с безнадежностью сказала она,— я бы тому в самую землю поклонилась!..

Кланяться в землю Евгенье не пришлось. Она дожила только до вершинки лета, до петрова дня. Соседки толковали, что не надо было в больницу отдавать, что там кого хочешь

залечат, но Мариша, с тех пор как работала в госпитале, свято верила каждому, на ком был белый халат.

Когда она узнала, что матери больше нет на свете, ее охватило страшное отчаяние. Марише уже казалось, что мало они мать берегли, плохо за ней ходили, не всякую ее просьбу уважили. Еще вчера была у них с Лидкой мать, пусть больная, еле слышная, но в полной памяти и с любовью к ним, к своим детям, до последней минуты.

Тем больше была сражена Мариша, когда увидела, что двенадцатилетняя Лидка вытянула из комода оставшийся после матери платок и прихорашивается у зеркала.

— Что же ты не плачешь-то?.. — крикнула Мариша. — Тебе и маму не жалко?

— А что, мне на кладбище непокрытой, что ль, идти? — отозвалась Лидка.

Мариша совсем растерялась. Но что возьмешь с дуры-девчонки? И Мариша нарыдалась одна за двоих.

Романку была отправлена в часть телеграмма, заверенная в сельсовете, чтобы отпустили на похороны. Больница велела мертвую Евгенью забирать поскорее, а Романок все не ехал.

— Ой, погодите минуту, не закидывайте!.. — закричала Мариша, увидев на дороге пылящую машину. Но та, не доехав с полверсты до кладбища, свернула куда-то в сторону.

Романок явился через три недели после Евгеньиных похорон. Приехал уже насовсем — демобилизовали раньше срока: осталось двое сирот. Если дома Романок бодрился и охорашивался, то на кладбище, над могилой, всхлипнул и высморкался прямо в зеленую траву.

Все надежды Мариши теперь были связаны со старшим братом. Ей казалось, что он среди них и самый умный и самый красивый. Хотя кудри Романку в стройбате обкорнали, все равно он был видный — розовощекий, чистый, под гимнастеркой белая рубашка, а портянки из такой теплой и мохнатой байки, что их прямо жалко было наворачивать на пятки.

С начала уборки Романок вышел в поле бригадиром, отдали ему под начало с десятков девчонок и десятка полтора вдовых баб. Опыта у него не было, но выбирать не приходилось, — парней и мужчин в Орловке было совсем мало, в редкой избе пахло мужиком и табаком.

— Годочка через два мы тебя в бригадиры, — сказал Марише председатель. — Да только замуж небось выйдешь, уметешься отсюда куда-нибудь.

— Куда же я уметусь? — серьезно отозвалась Мариша. — Я не одна, у нас семья.

Маришины погодки служили сейчас кто в Германии, кто в Венгрии, кто у себя на Родине, по дальним углам. На выходные дни набегали в Орловку ребята-энтэзовцы, еще раза два-три в году привозили на картошку молодежь из Тулы, из Калуги, даже из Москвы. Но дело кончалось тем, что поговорят, походят с баяном, с гитарой, оставят адрес — и все.

Еще когда жива была Евгенья, Маришу удивил неожиданным ухаживанием немолодой ветеринар-зоотехник.

— Нет, — почти испугавшись, сказала Мариша. — У меня мама больная.

— А то подумай, — не отставал ветеринар. — Мне шалавы надоели, мне на любовь хорошая женщина нужна.

«Женщина» попыталась подумать, но тут же опять ужаснулась. Больше всего Мариша боялась, чтобы не узнала мать и чтобы не подумали, что это она сама навязывалась ветеринару. Ей показалось, что никто ни о чем не догадывается, но ухвертка Лидка и тут влезла:

— Ветинар твой небось слышал, что про тебя в газете писано. Он все газеты получает.

Мариша для виду замахнулась на сестру-нахалку. Но не удержалась и рассмеялась.

— Вот и писано! — сказала она. — А про тебя чего написать? Что ты двойки одни получаешь?

Про Маришину ударную работу действительно писала областная газета «Коммунар». Только никто не догадался прислать ей вырезочку хотя бы. На память. Но все равно она втайне гордилась: ведь не про всех пишут.

Свои личные дела Мариша таила даже от матери: никогда Евгенья не знала, есть ли у ее старшей дочки кто-нибудь на душе. Гнать ее домой, как других девок, не приходилось, всегда, чуть стемнеет, приходила сама. А когда Евгенья слегла, то только на Первое мая и на Победу Мариша собралась гулять, да и то потому, что с улицы очень уж звали.

Еще большая стеснительность появилась у Мариши при старшем брате. Сам он с деревенскими девчатами не водился из гордости, переписывался с какой-то девицей из-под Москвы. Купил патефон, сделал на проулке скамейку и

там все вечера, когда не дождало, этот патефон крутил. Неаполитанские песни пока заменяли ему будущую любовь.

Если дома все было управлено, то и Мариша, спрятав голые коленки под стареньким платьем, тоже сидела и слушала, мечтательно глядя на крутящуюся пластинку.

— Ну, Огоньковы опять музыку завели,— говорили соседи.— А есть-то, наверное, нечего.

Но это уже была неправда. С возвращением Романка Евгеньины сироты стали подниматься на ноги. В ту осень они нарыли много картошки, поэтому взяли поросенка. Была надежда, что к весне возьмут и телку. Около их избы теперь часто стояла на привязи лошадь: бригадиру было положено. А раз была лошадь, то появилась и возможность привезти лишней травы, соломы, дров на топку и не волочить на себе кули с картошкой. Казалось бы, Мариша не должна была испытывать ничего, кроме признательности к брату-бригадиру, но к ней очень скоро просочился в душу страх, что Романок зазнается, зарвется, из бригадиров его турнут и кончится все плохо. Когда он вернулся в деревню, все его ласково звали: «Романушка, Романок милый». А потом стали говорить:

— Вон Огнище покати! Скоро совсем ходить разучится.

Бригадир из Романка получился плохой. Ясно было, что, как только найдется стоящий человек, из бригадиров Романка турнут. И им овладела торопливая жадность: пока у места, хоть лишний куль зерна завезти, припахать сотки три-четыре к огороду.

— Они мне еще за мать ответят! — удивив неожиданной злобой Маришу, сказал Романок.— Задушили работой женщину.

— Не трожь ты маму,— вдруг вырвалось у Мариши.— За-ради господ бога не трожь!..

Дождаться, пока его снимут с должности, Романок не стал, устроился завхозом в районную школу-десятилетку. Ездить туда надо было на автобусе, зато платили зарплату в триста пятьдесят целковых, работа не пыльная, не на здорового мужика рассчитана, и то краски домой при-ташат, то фанеры, то гвоздей. С электролампочками было трудно, а у Огоньковых всегда горела шестидесятисвечевая.

Но главные деньги давала им картошка. Уже давно были порублены вокруг всей Орловки вишневые и яблоневые

сады, все уступило место картошке, которая на веневском неистощимом черноземе росла крупная, ровная и разваристая. Ее ели по три раза в день, ею кормили птицу и скотину, возили продавать в Венев, в Каширу и даже в Москву. В последнюю предреформенную весну она стоила, например, на Павелецком рынке до тридцати рублей за килограмм.

Теперь, правда, цены были уже другие, но и жизнь тоже была совсем другая. В мае сорок восьмого с большой выручки старший брат купил Марише ко дню рождения первое ее пальто на сатиновом подкладе, с отстрочкой по бортам и вороту и с пуговицами на карманах: Марише исполнилось девятнадцать лет.

Что купить, что продать — этим теперь руководил исключительно Романок. Одевался в солдатскую гимнастерку, чтобы было больше доверия, выходил на шоссе, там голосовал проходящим машинам. На базаре набредала в ведра Мариша, а Романок, чтобы не пачкаться и не пылиться, только принимал деньги и сдавал сдачу.

Очень скоро Мариша не столько уследила, сколько чувством поняла, что Романок хитрит, обсчитывает покупателей, а выручку утаивает от нее. Но она, конечно, молчала, ничего не смела сказать, только попробовала давать большой поход, из-за чего на каждом мешке выходила потеря в четыре-пять кило. Сначала Романок на это посматривал снисходительно, но вдруг нахмурился и спросил:

— Ты чего это делаешь?

— Ведь у нас своя...

— А я сказал, кончай!

И Мариша замолчала. Когда ехали обратно из Москвы, по вагонам электрички ходил слепой и, подталкивая впереди себя маленького мальчика, громко и мучительно просил:

— Граждане пассажиры, я являюсь отцом четверых детей, жена тоже инвалид...

— Дай копеечек двадцать, — тихо сказала Мариша Романку.

— А где я их взял?

У Мариши своих денег не было. Но в сумке лежал белый хлеб, купленный в московской булочной. Она отломала уголок от мягкого батона и дала мальчику-поводырю.

— Ишь раздобрилась!.. — тихо, но грубо сказал Романок. — Ты на вокзале в уборную ходила, за что по-

пало хваталась, а я, между прочим, этот хлеб кушать буду.

Вообще Романок стал держаться культурно, по утрам долго мылся у крыльца, смущая своим голым телом проходивших мимо баб и девчат. Уже не говорил «исть», а тем более «жрать», а только «кушать». И не скрывал, что в перспективе у него женитьба на московской невесте. Та, судя по присланной фотокарточке, была далеко не красавица, зато будущая учительница и хотя не из самой Москвы, но все-таки из Московской области.

Мариша испуганно посмотрела на брата, вдруг вскочила и убежала вперед по вагонам. Сошла с поезда не в Кашире, где была пересадка на автобус, а на каком-то полустанке, не доезжая Венева, и в свою деревню пришла только на другой день, заплаканная, сирота сиротой. Самое же трагическое заключалось в том, что она еще забыла в поезде под лавкой четыре порожних мешка из-под картошки, а они были чужие, заемные.

Романок решил свеликодушничать.

— Хрен с ними, с мешками! — сказал он. — Свои отдадим. Люди и насыпью возят.

Но насыпью возить не пришлось. Уже в следующую поездку Романок купил у одного мужика в синей спецовке четыре явно сворованных тарных мешка, за все четыре отдал всего десятку.

— Сумочка такая тебе подойдет? — спросил он Маришу, показывая на вывешенную в витрине галантерейного ларька голубую клеенчатую сумку с пряжкой под золото.

Сестру он все-таки жалел, ей с проданной картошки перепадало кое-что. У нее уже и платья были и туфли. И Марише как-то в голову не приходило, что ведь все это было куплено на ее собственные деньги: только она одна и работала в колхозе (значит, земля принадлежала ей). Лошадь, чтобы пахать, боронить эту землю, тоже давали ей, а не брату. Но Марише казалось, что самое трудное — это продать картошку, договориться насчет машины, захватить хорошее место на рынке. Уж тут-то она с Романком соперничать никак не могла.

— Спасибо, Ромочка! — благодарно сказала Мариша. — Я с этой сумочкой на кино ходить буду.

Романок был не против, чтобы Мариша ходила в кино. Но возвращаться поздно не велел. Да она бы и сама постеснялась...

В начале зимы пятидесятого года состоялась первая свадьба в доме Огоньковых: женился Романок. Невеста его, с которой он познакомился, служа в стройбате под Москвой, только что закончила педагогический техникум и распределилась к ним, в Веневский район. Звали невесту не по-деревенски, Сильвой, хотя отчество у нее было самое простое — Ивановна. С Маришей они были погодками, и можно было рассчитывать, что станут товарками и помощницами друг другу. Но очень скоро Мариша поняла, что невестку ни в огород не пошлешь, ни по воду, ни тем более навоз откидывать. Если даже та и пойдет, то не много парабатает — не приучена.

Свадьба получилась не из веселых: со стороны невесты вышла большая накладка. Оказалось, что мать Сильвы, бухгалтер хлебозавода, к моменту бракосочетания дочери находилась под следствием и вскоре же получила срок с высылкой в какой-то дальний лагерь. Мариша восприняла это очень тяжело, словно не невестина мать, а сама невеста растратила государственное добро. Она бы на месте Сильвы не торопилась со свадьбой и хоть немного погоревала бы.

«Что же мне делать-то, когда народ разойдется? — думала Мариша, глядя на молодых. — Ведь они спать ложиться будут...» И гадала, куда им с Лидкой деваться. Та стала такая наглая, что не застесняется, будет подсматривать в оба глаза.

Но подсматривать в первую ночь было нечего: Романок перепил и беспробудно спал. Сильва устало и разочарованно спросила у Мариши:

— У вас будильник звонит? С утра у меня уроки...

Будильника у Огоньковых не было, но Мариша обещала молодой невестке, что вовремя разбудит. Она уснула Лидку к подружке, а сама забралась на лежанку, в дальний угол. На постели, где спала когда-то покойница мать, теперь лежали молодые. Романок так и не очнулся, похрапывал. Сильву стоило бы пожалеть, но ясно было, что возле Романа она уже не в первый раз, недаром кто-то успел заметить, что молодая на пищу смотрела с неприязнью, поэтому можно предположить, что месяцев через семь родит.

Еще не рассвело, когда в окошко к Марише постучалась подружка, посылали возить с поля свеклу. Ночью выпал снежок, под ногами сразу чернело, слышно было, как в яр сочилась вода.

Собираясь на работу, Мариша подумала, что сегодня будет очень грязно, но все-таки надела ватник получше и покрылась светлым платком: выглядеть старухой ей никак не хотелось.

— Пора вам, — тихонько сказала она над спящей Сильвой. — Восьмой час...

Вечера день ото дня становились темнее. То ветер подывал, то дождило. Как-то поздним вечером Мариша без особо понятной причины всплакнула на печке. Ей казалось, что эти слезы никому не мешают. Но Романок, вдруг очнувшись возле своей супруги, спросил очень сердито:

— Ну, еще чего такое?

— Извините, — шепнула Мариша, — я думала, не слышно...

Наступившая зима особых радостей не сулила. Сильва действительно была в положении и летом должна была родить. Мариша поймала себя на том, что заранее испытывает какую-то неприязнь к ребенку, которого собиралась произвести на свет ее невестка. Нянькой Мариша пробыла все свои детские годы и теперь с тревогой предчувствовала, что опять и настирается и накачается: вряд ли Романок разрешит Сильве бросить работу, тетрадки ее. За это ведь платили деньги, и немалые. У самой Мариши денег не было. На трудодни ей выдали сахарным песком, продать который она не решилась. Все в семье пили чай внакладку, Лидка валила по три ложки на стакан.

Ей под новый, пятьдесят первый год исполнилось шестнадцать. Когда-то она донашивала за Маришей и даже соглашалась надеть какую-нибудь одежду покойной матери, но теперь как с цепи сорвалась: стала требовать и того и другого. Даже в жару не хотела выйти из дому на босу ногу, требовала белые носки.

Ни добрым словом, ни угрозой нельзя было выгнать Лидку в огород, чтобы пополюла или полила. Зато ворохами носила из школы двойки, утром ее было не поднять, вечером не загнать с улицы. А загонишь, сядет на диван и заводит патефон.

Диван этот тоже имел свою историю. Романок привез его поздно ночью из школы, как сактированный. Правда, большого ущерба он этим школе, где работал, не нанес: диван был древний, веревки между пружинами сгнили, обивка истерлась. Но Романок прихватил шпагата, мешковины и метра два красного сукна в чернилах, которым покрывали стол во время собраний. Романкова молодуха достала из

своих запасов полотняную дорожку, расшитую васильками, так что получился такой диван, который в деревне был не у всех и каждого. Садиться на него с ногами было не велено, одна только Лидка пренебрегала этим запретом.

Как-то раз Мариша пришла с работы очень усталая, грязная: за день с тонну колхозной картошки перебрала, перетаскала из зимних ям, рассыпала на солнечной стороне у сараев. Пришла и увидела, что Лидка завалилась на диван, поет что-то и мазюкает себе ногти красным карандашом. На столе неприбранная посуда, в ведрах воды нет даже на донце. Марише очень хотелось крикнуть сестре: «Так целый день и будешь валяться, зараза?»

Но она сдержалась. Сказала только совсем тихо:

— Ноги-то спусти: увидят, заругают.

Лидка и ухом не повела. Она в отличие от старшей сестры ни брата, ни его супругинисколько не боялась. Наоборот, с Сильвой у Лидки сразу пошла дружба: сядут вечером на тот же диван и разглядывают журнал, в котором платья последней моды. А Маришкино сердце болит о другом: нужно картошку из подпола доставать, а то росток кольцом пойдет, обломается. Но разве скажешь? С Лидки много не возьмешь, а другая ведь образованная, техникум закончила, можно бы с глупостями и поговорить. Раз в деревню приехала, надо к делу применяться.

— Нянь! — окликнула сейчас Лидка расстроенную Маришу. — Чего это ты дуешься-то? Дала бы чего поесть.

Вечером и невестка спросила, почему у Мариши вроде бы плохое настроение. Та промолчала, в первый раз ничего не ответила.

— Небось на заем сотни на три женили, — высказал предположение Романок. — Отдавай, раз богатая.

На это Сильва резонно заметила:

— Ты-то хоть не распространяйся. Я сама хожу, людей подписываю.

А Мариша думала совсем не о займе. Она думала о том, что стала в родной семье чужая. В семье, из которой так быстро отлетел дух покойной их матери. При Евгенье никто не бранился, не завидовал друг другу, не зарился на чужую обновку или подарок. Никто не подковыривал друг друга, не обижал.

Теперь все меньше и меньше раздавалось в избе у Огоньковых ласковых слов, а больше высказывалось деловых соображений.

— Мама срок отбудет, ее на прежнее место восста-

новят,— как-то сказала Сильва.— Надо, чтобы она и Лиду туда устроила.

Единственное, за что Мариша уважала невестку, это за ее профессию. Ей хотелось, чтобы и Лидка пошла в педагогический техникум, стала бы учительницей. Но Сильва почему-то была на этот счет другого мнения.

— За четыре сотни полдня в классе отсиди, да плюс подготовка, да тетрадки...

Мариша глядела на молодую невестку и вспоминала свою учительницу Ксению Илларионовну, она-то уж, конечно, сотен не считала. И Мариша не только не выразила никакой благодарности Сильве за ее заботу о Лидке, а, наоборот, сказала холодно:

— Вы уж устраивайте кого-нибудь другого.

Сказала, хотя и знала: никто ее не спросит в случае чего. Захочет Лидка пойти на хлебозавод — пойдет. Захочет на Камчатку уехать — тоже не удержишь.

Вообще с тех пор, как Романок женился, огоньковская семья поделилась на две неравные половины. В одной был он сам со своей Сильвой, к ним же липла Лидка. В другой — одна Мариша. Уже давно не спрашивали ее, если хотели что-нибудь съесть или выпить: прямо брали со стола, с полки и ели. Только посуду и крошки убирала она сама. Она же стирала постельное со всей семьи и носила полоскать под яр. Сильва с белым бельем совсем управляться не умела: на какую-нибудь комбинашку или лифчик измыливала целую печатку мыла. Да и чего было жалеть, когда мыло это не куплено, а принесено Романком из школы, где его выдавали на хозяйственные нужды.

Была у Маришки тайная надежда, что когда отбудет срок наказания мать ее невестки, то Романок с женой переберутся под ее крыло. Но надежда эта угасла самым неожиданным образом.

Получено было письмо, из которого Огоньковы узнали, что мать Сильвы освобождалась досрочно, выходила замуж за «вольного» и оставалась на жительство в Приуралье. Дочку она просила как можно скорее выслать ей те вещи, которые она, не дожидаясь описи имущества, распихала по родственникам и знакомым.

— Ведь это надо же!.. — с возмущением сказала Сильва. — Нашла там себе какого-то кобеля!..

Романок был выпивши, но все сообразил.

— Надо поехать, пока сама не заявила. Ты говорила, там льготы были...

— А вдруг не отдадут? — вмешалась с жадным огоньком в глаза шестнадцатилетняя Лидка.

И тут Мариша не выдержала.

— Бессовестная! — крикнула она младшей сестре. — Ты что не в свое дело лезешь?

Все повернулись к Марише, как будто усмотрели в этом ее вскрике посягательство на то имущество, о котором только что шла речь.

— А чего это ты орешь? — грозно спросил Романок и даже поднялся с места. — Ты кто тут такая?..

Мариша убежала в холодные сени, там наплакалась.

— Ты чего это? — вышел к ней Романок. — Ставь самовар, мы чаю хотим. Вон конфеты, высыпь в блюдце.

Конфеты эти были недоданы кому-то из ребят в школе. Романок иной раз приносил и мятные пряники, и сушки, и пирожки.

— Хитер народ! — сказал он как-то. — Уроки пропускают, а за пряниками приходят.

Мариша ставила самовар, и слезинки капали то в чугунок с углями, то на самоварную крышку с припаянными ручками. Новый самовар в те годы трудно было купить даже в Туле, а то бы Романок расстарался. На самовар ушло последнее ведро, и надо было идти по воду. Раньше Марише и в голову бы не пришло: кому же идти, как не ей? Но сегодня что-то у нее внутри зашевелилось, упрямое и злое. Она поставила пустые ведра посреди избы и сказала чужим голосом:

— Ну, все теперь!.. Идите сами.

4

Весной пятьдесят первого в Орловскую МТС прислали на ремонт техники молодых рабочих с одного из больших подмосковных заводов. Был среди них очень симпатичный, хотя и немножко чудной парень: холодно было, а он приехал без шапки, в одном пиджаке, в парусиновых ботинках. Звали парня Рэм, а фамилия его была Султанов. Говорил он по-русски совершенно чисто, но косоватые, красивые глаза, а также плотные белые зубы выдавали в нем Восток.

— Вы ударница, конечно? — спросил Рэм у Мариши.

— Не знаю, — сказала Мариша. — Работаю...

— Такие, как вы, всегда ударницы.

— Почему же?

— Лицо у вас такое.

Мариша пожала плечами и покраснела. Рэм ей очень понравился.

— Ручки у тебя какие маленькие! — сказал он, перейдя на «ты». — Как же ты ими работаешь?

У Мариши действительно были маленькие, совсем не крестьянские руки. За Огоньковыми тянулся слух, будто покойная Маришина бабушка родила Евгенью не от мужа, а еще от барина. Даже вторая, уличная фамилия была у них — Бариновы. Самое трудное Марише было своими руками ухватиться, но уж если ухватывалась, то несла. Рэм разузнал, где живет Мариша, и вечером явился к ним в избу. Там вся семья сидела на полу, резали картошку на посадку. Только Сильва занималась своими тетрадками.

— Это «лорх» у вас? Много рассаживаете?

— Восемь мешков.

— Есть еще очень хороший сорт, «берлихенген» называется. Слыхали?

— Слыхали, — отозвался Романок, хотя никакого «берлихенгена» отроду не знал.

Рэм достал большой складной ножик с тремя лезвиями и тоже сел на пол, помогать хозяевам. Мариша молчала, чтобы не выдать своего волнения, которое охватило ее при приходе гостя. Ей казалось, что все сразу поняли, зачем Рэм сюда пришел.

Но Романок или ничего не заметил или не хотел замечать. Сказал только после ухода Рэма:

— Сорта знает, а из ботинок пальцы лезут.

Весна была, как нарочно, ветреная, холодная. Поэтому, когда при следующем свидании Рэм протянул Марише свои руки, чтобы согрела, она их не отстранила. Наоборот, позволила ему сунуть их ей подальше в теплые рукава.

— Влюбился я в тебя, — сказал Рэм. — Что, не веришь?

Такое честное и нежное признание Мариша слышала впервые, а ей уже подходило к двадцати двум.

— Что-то в душу постучалось, — ласково улыбаясь, продолжал Рэм. — А ты ничего такого не чувствуешь?

— Нет пока, — тихо сказала Мариша, хотя уже чувствовала.

— Неужели? Тайшьясь, наверное. А зачем это нужно?

— Вы ведь уедете...

Почти до утра Мариша не уснула, боясь пошевелиться, словно Романок смог бы догадаться, о чем она думает.

Она очень боялась брата, который всего двумя годами был старше ее. Заранее представляла, как он вскинет брови, потом сощурился и спросит:

— Эт-то еще чтой-то такое?..

Тем не менее на следующий вечер Мариша, чуть стемнело, выбежала к Рэму. Каждую минуту ее могли хватиться дома: одному ужинать, другому постелить. Романок по вечерам мыл ноги, выцеживая воду из самовара, а она забыла этот самовар разогреть.

Они с Рэмом стояли в потемках за двором. Но даже и тут некуда было спрятаться от ветра.

— Тебе небось холодно? — тихо спросила Мариша. — А, Рэмочка?..

Ее возлюбленный сразу же проявил восточную щедрость, пришел с подарком. Это был шелковый головной платочек с летучей бахромкой, который он показал Марише при огоньке зажатой спички.

— Где же ты его взял?..

— Ножик за него отдал. Видела, какой ножик был у меня?

Мариша не чувствовала себя такой уж бесприданницей, кое-что имелось и у нее: туфли, платья. Но за этот платочек она исполнилась такой благодарности, что у Рэма победно сверкнули глаза.

— Будешь меня любить, маленькая?

Не такая уже Мариша была маленькая, да и сам Рэм был отнюдь не богатырь. Но отеческое его обращение вконец ее растрогало, она обхватила Рэма обеими руками и сказала ему в самое лицо:

— Буду, буду!..

...Поля вокруг деревни были страшно голы, и апрельская ночь недостаточно темна. То и дело приходилось оглядываться — не увидели бы. С осени на каждом задворье хватало соломы-сторновки, припасенного для скотины сена. А сейчас уже ничего, кроме голой черной земли да сырых прутьев, остатков топки.

— Не надо, Рэмочка!.. — с нежностью и стыдом попросила Мариша, когда Рэм совсем осмелел. — Уважь меня, не надо!..

Она жаждала того, чтобы все было как положено: хоть не богатая, но свадьба, белое платье, обручальное колечко. Марише казалось, что если она сейчас уступит Рэму, то этого колечка ей не видать. И к девичьему ее страху подмешивалось еще опасение погубить в весенней грязи свое единственное

пальто, купленное три года назад раскошелившимся Романком.

Взволнованный и сильно озябший, Рэм положил свою голову Марише на плечо. Наверное, понимал, что силой тут не возьмешь, а жалость — самое уязвимое Маришино место.

К полночи притих ветер и на землю спустилась белая стужа. Наверху расплывались и таяли серые, как невытая овечья шерсть, облака. От этой стужи завывали на задворках некормленные собаки. Их держали почти в каждом дворе, но редкий хозяин заботился об их пропитании. Две из них сейчас проскочили мимо Мариши и Рэма худыми, вытянутыми тенями, но не испугали, а только нагнали какое-то недоброе чувство.

— Не сердчай, Рэмочка,— сказала Мариша,— тебе бы надо идти...

Все вокруг уже спало, между темными избами шевелился холод. Но пустить Рэма даже в сени Мариша не рисковала.

— Ну, нагулялась?— утром спросил Романок и гневно сощурился.— Ишь ведь чего придумали!.. Шли бы обыматься за чужой двор, а то хочишь нас опять под пожар подвести?

Мариша поняла, что это Рэм выдал их встречу, чиркнув спичкой в темноте. Хорошо, что у Романка хватило совести не пойти туда и не застать их. Но сейчас он все-таки мог бы помолчать хотя бы при Лидке.

— Связалась с кыргизом каким-то,— сердито продолжал Романок.— Ты думаешь, они зачем в деревню едут? Колхозам помогать? Нет, они едут вашего брата охмурять. Шпана малиновая!

Казалось, еще немного, и он, как в старинку, пригрозит вожжами.

Но Мариша сказала вдруг тихо и оскорбленно:

— Ты зачем, Роман, не в свое дело лезешь?

Домашние переглянулись, в том числе и Лидка, проявлявшая явно повышенный интерес ко всей этой истории.

— Глаза у него красивые — жуть!..— сказала она.

— Дура!— ворчливо бросил Романок.— Я тебе покажу глаза!..

Тем же вечером Рэм опять пришел к Огоньковым. Он не обратил внимания на испуганные, предупреждающие знаки Мариши, смело прошел вперед и сел на лавку.

— Наша бригада скоро уезжает.

— Ну и катитесь!— хмуро бросил Романок.

— Что значит «катитесь»? Надо поговорить.
Мариша стояла в страшном волнении. Хотела спрятаться, но ноги не шли с места.

— Примете меня в свою семью?— спросил Рэм.

— Только бы не хватало!..

— Тогда ее отпустите. Я пока у родных живу, но буду просить комнату.

Романок поднялся и стал против «жениха».

— Кто тебе комнату даст?— произнес он с печальной усмешкой.— У тебя штанов нет, а ты — комнату!.. Разве комнаты таким дают?

— А каким же?

— Самостоятельным, вот каким.

Романок как предчувствовал, что выйдет такой разговор: надел костюм с полоской и часы на руку.

— У тебя совесть есть?— проникновенно спросил он у опешившего на минуту Рэма.— Девчонка — сирота. Мы только жить начинаем, а ты хотишь ее за собой по миру повести.

Повисла плохая тишина. Родительская забота, прозвучавшая в словах Романка, на какой-то миг обескуражила Маришу. Зато к Рэму вернулся дар речи, и косоватые глаза его вспыхнули темным блеском.

— А я не верю, что ты в Советской Армии служил,— сказал он Романку.

— Это почему же?

— Больше похоже, что ты бывший денкинец, кулак. Ты можешь живого человека съесть.

Романок открыл рот, чтобы ругаться, но не сразу нашелся.

— Если хочешь за свою сестру калым получить, тебе надо в Алма-Ату ехать, в Сталинабад!— бросил Рэм и повернулся к Марише.— Испугалась? Я думал, что ты взрослый человек, а ты мелочь, девчонка!..

Хлопнула дверь. Рэм ушел. После его ухода все некоторое время молчали.

— Хам какой!— первой отреагировала Сильва.— Еще и дверь хлопает.

— Хам не хам, а шукарь хороший,— хмуро и озадаченно покосившись на Маришу, сказал Романок.— Неглупо он тут придумал: возьми его в семью...

Мариша молчала. Слезы ее из глаз катились крупные, как дождь в грозу.

— Знаете, что такое Рэм?— вдруг влезла Лидка.—

Революция, электрификация, мир. Я в календаре видела.

— Небось хулды-мулды, а Рэма сам себе придумал,— усмехнулся Романок.— Электрификация!..— Он поглядел на Маришу и понял, что уж хватит: как бы девка не зарыдала в голос.

На ночь Романок сам пошел проверить, заперта ли из сеней дверь на улицу, словно опасался, что сестра убежит.

— Русского, что ли, не найдется?— примирительно сказал он.— А эти, как цыгане, мотаются с места на место. Случись чего, и алиментов не получишь.

Сильва тоже попыталась утешить Маришу — парой шелковых чулок.

— У них только одну петлю поднять надо,— сказала она.— И прекрасно носить можно.

— Спасибо!..— бросила Мариша.— Не надо мне вашего. Спрячьте.

Утром ветер сменился, сильно потеплело, черным жиром растопилась под солнцем земля, как будто кто-то полил распаханные борозды густым конопляным маслом. У Мариши вязли ноги, влажно горели похудевшие щеки. Она плохо понимала, куда ее посылают, что велют делать, что поднимать, что нести. Она ждала вечера, чтобы побежать к Рэму.

До поселка, где жили рабочие МТС, было побольше трех верст. По самой жуткой весенней грязи, когда ни конному, ни пешему, Мариша пробежала эти три версты за неполные полчаса. В большом кирпичном строении, вокруг которого был все тот же развороченный чернозем, сейчас шло веселье: провожали московских. Десятка полтора парней нестройно кричали под балалайку:

За речи, ласки огневые
Я награжу тебя конем.
Уздечка, хлыстик золотые,
Седельце шито жемчугом!..

Мариша не сразу решилась спросить, где же Рэм. Но парни — народ догадливый.

— Еще вчера домой драпанул твой черенький.

Что было сказать? Мариша настолько растерялась, что улыбнулась и тут же прислонилась к косяку. Ребята поняли, что девка «горит», и насмешничать больше не стали. Лишь только Мариша вышла, балалайка забренчала снова:

На кой мне черт твоя уздечка,
На кой мне хрен твоё седло?



Встречный ветер шатал Маришу. Назад она брела, не разбирая дороги. Дважды оставила сапог в грязи и на второй раз заплакала, как плачут в деревне — не безмолвно, а в голос. Благо, кругом никого не было.

К майским праздникам все обзеленилось, обсохло, прогрелось. Совсем случайно Мариша вспомнила, что в подполе зимует луковичный цветок, что давно пора поставить его к свету. Когда она его достала, на нее как бы с укоризной взглянул бледно-желтый росток: поздно, мол, ты спохватилась!.. Велико ли дело — цветок! Но холод цветочного горшка дошел Марише до самого сердца.

Все эти дни ее поедала самая черная тоска. Куда бы она ни пошла, всюду тоска эта была с ней, словно лежала за пазухой. И все-таки Мариша в свои двадцать два пока еще дремала. Детство и юность, полные нехваток и трудов, житейски рано овзрослили ее, но не дали ходу главному. А то бы она уж на второй день метнулась за Рэмом. Дважды за это время она садилась писать ему письмо, но дважды убеждалась, что складно у нее не получается — ведь почти целых девять лет не брала в руки ни пера, ни карандаша. Она просто боялась, что Рэм над таким письмом посмеется, и тогда только хуже будет.

Когда засеяны были в колхозе свекольные участки, рассажена картошка, Мариша пошла просить, чтобы ее отпустили, выдали ей справку. Но сказать, что есть у нее на примете парень и что она хочет уехать к нему, естественно, постеснялась.

— Кто же летом из колхоза хороших работников отпускает?— сказал ей председатель.— До осени погоди.

С Маришиних щек сбежала последняя краска.

— До осени это долго,— тихо сказала она,— я не могу...

Вода точит камень: в начале июля справку Марише все-таки выдали, и она без прощальных объятий и поцелуев покинула Орловку. Невестка ее была на сносях, волновать ее не следовало, и Мариша постаралась проститься по-хорошему.

— Зря на легкую жизнь надеешься,— хмуро сказал Ромапок.— Как бы улицу мести не пришлось.

— Ну что же,— как можно спокойнее отозвалась Мариша,— буду мести.

Ей хотелось добавить: «Я у вас тут тоже не золотыми яблочками игралась». Она поглядела брату в глаза и поняла,

оба они друг дружке уже совсем чужие. А ведь что раньше-то было!.. Готова была богу на него молиться, с самых детских лет больше всех его любила и слушалась.

Сестра Лидка все-таки проводила Маришу до автобуса, но целоваться тоже не стала, словно была уверена, что старшая сестра через неделю, а то и раньше явится обратно.

— Ты уж получше учись, Лида,— сказала Мариша.

Та усмехнулась, скосив глаза: сама, мол, к парню едешь, а мне учиться!..

Эту девчонку Мариша нянчила, до трех лет почти не спуская с рук. В это трудно сейчас было поверить, взгляни кто-нибудь на некрупную, страшно исхудавшую за последние месяцы Маришу и на шестнадцатилетнюю Лидку, которая уже обогнала сестру в росте. На Лидке сейчас был васильковый берет, платье «солнце-клеш» с пуговицами по свиному пятaku, подкладные гвардейские плечи. И на щеках плавал горячий, нахальный какой-то румянец.

— Ну что же, прощай, Лида,— сказала Мариша.

Она в последний раз оглянулась на родную Орловку. Деревня, за войну и послевоенные годы лишившаяся всех садов, стояла над яром, вся залитая солнцем, голая, но прекрасная. Ее со всех сторон опахали тракторами, не оставив почти ни одного зеленого лужка. Но сочная, расцвеченная ромашками и голубым цикорием трава росла по межам, по канавам, по заборам, по крутым склонам оврага, везде, куда нельзя было заехать трактором. Эта трава лезла из земли, подгоняемая ярким солнцем и частыми золотыми дождями, и словно просилась под серп и косу. На поле, сбоку от шоссе, выпревала в горячем черноземе кормовая свекла с зеленью, густой, как лопуховые заросли, и зелень эта тоже цедила через себя свежесть и сладость.

— Ты чего это, нянь?..— удивленно спросила Лидка.— Не плачь, вон автобус идет.

Через час Мариша уже садилась в поезд. Остались позади Ожерелье и Кашира, на подступах к столице пошли трубы, железнодорожные депо и пакгаузы, на которые глядеть после полей и перелесков было просто страшно. Но Мариша, слава богу, ехала в Москву не в первый раз. Адрес, который сказал ей Рэм во время одного из их свиданий, она держала в голове, и чем ближе подъезжала к столице, тем чаще его повторяла.

С Павелецкого вокзала она перебралась на Курский и доехала электричкой до большого и многолюдного подмосковного города. Тут она пошла пешком, держа в правой

руке деревянный чемодан с привязанными к нему валенками, а в левой платок, которым поминутно стирала с лица крупный пот — от избытка жары и страшного волнения.

Мариша уже знала, что лучше лишний раз спросить, чем плутать наугад. Поэтому вскоре же нашла нужную улицу и дом. Она долго стояла перед калиткой, ожидая, что кто-нибудь выйдет. Дом вроде бы был полон народа, но никто, как на грех, не выходил. И Мариша толкнула калитку.

В узкой, как коридор, всего с одним окном комнате сидела за столом и пила чай старая женщина в белом платке. Платок этот был повязан не на косячок, как у русских, а двумя углами свободно ложился на плечи. Несмотря на жару, на старухе этой было что-то уж слишком много всего надето.

— Чего тебе надо? — спросила она, не бросая пить чай.

Мариша подумала, что тут ее никто не ждет и, возможно, не знают даже, кто она такая. Но она ошиблась.

— Поздно ты ехал! — укоризненно сказала старуха, поглядев на Маришин чемодан и привязанные к нему валенки, которые особенно нелепо выглядели в жару. — Рэмка тебя долго ждал, все почтовый ящик глядел.

Мариша безмолвно стояла, не рискуя даже поставить на пол свой чемодан.

— Меня Рабига звать. Садись, чего стоишь? Чай пить хочешь?

Мариша опомнилась и села. Она смотрела на черноебровое, еще не сильно тронутое морщинами лицо старухи и видела в нем Рэма. У нее задрожали губы и покатались слезы.

— Зачем плачешь? Парень много, другой найдешь. А Рэмка сейчас далеко, на Север вербовался. Опоздал ты.

— Не отпускали меня, — тихо сказала Мариша. — Прополка...

Старая Рабига допила чашку и опять принялась цедить в нее черный, густой чай. Широкие рукава ее цветного платья покачивались над столом.

— Прополка много будет, любовь один. — И, желая смягчить упрек, добавила: — Так лучше тебе, Рэмка глупый, куда тебя звал? Пять человек один комнат живем, Рэмка свой койка даже нет. Что война наделал, все ломал!..

Мариша невольно представила себе, что ждало бы ее здесь, в этой комнате: возможно, новая кабала, даже если бы эта умища старуха и стала ее жалеть и за нее заступаться. Рэм не должен был всего этого скрывать. Хотя, будь он сейчас здесь, Мариша согласилась бы остаться.

— Куда сейчас пойдешь? — спросила Рабига.

— Не знаю...

— Жалко тебя! Хороший девушка. Зря чай со мной не пил.

Старуха с трудом поднялась, чтобы проводить Маришу до двери.

— Ноги больной. Жидкий нельзя, а я чай пить люблю. Все равно скоро смерть. Только Рэмка жалко, шибко жалко!.. Один внук у меня. Ну, счастливый тебе дорога!

Уже за дверью Мариша подумала о том, что нужно было спросить новый адрес Рэма. Но, видимо, старуха не считала, что Марише следует его знать, а может быть, и сама еще не знала. Во всяком случае, вернуться Мариша не решилась: робость, унаследованная ею от покойной матери, шла за ней повсюду, как тень.

Она вышла на жаркую улицу и направилась обратно к станции. Кто-то остановил ее и спросил, не продает ли валенки. Она не ответила и пошла дальше.

Вечером она сидела на жесткой лавке в набитом битком зале ожидания Павелецкого вокзала. На улице было уже темно, зал освещался плохо. Те, кто сумел захватить место на лавках, спали тяжелым, тревожным сном. Их могли каждый миг разбудить, согнать с места, они рисковали быть обворованными и проесть последний рубль, пока удастся купить или закомпостировать билеты. Но бедствовали здесь не каширские или веневские, которым в общем-то до дома рукой подать, а дальние: пензенские, саратовские, ульяновские.

На вокзале Мариша сидела сейчас не потому, что собиралась обратно в деревню. Дорога туда ей была заказана. Она ясно понимала, что вернись она туда, с годами превратилась бы в угрюмую, молчаливую бабу с черными руками, к которой никто уже не посватается, а будут от нечего делать приставать женатые мужики. И так как в деревне каждое слово на слуху и каждый шаг на виду, то Мариша ясно представила себе, что всю жизнь она бы держала ответ перед братом, перед невесткой, даже перед Лидкой. Она вспомнила, как они обошлись с Рэмом, и дала себе клятву не простить.

— Подбери ноги-то,— врываясь в Маришины мысли, сурово приказала вокзальная уборщица, подметавшая под лавками.— Понаехали сюда!

Казалось, еще немного, и она прогонит Маришу с лавки, а тогда попробуй отыщи место, где можно приткнуться. Ясно было, что этой уборщице осточертели все те, за кем приходилось убирать грязь и мусор, хотя это и было источни-

ком ее зарплаты. Но, случайно взглянув Марише в лицо, она вдруг спросила:

— А ты не вневская? Ну-ну, сиди!

Иногда человек, который с виду кажется вовсе недоступным, на самом деле только и ищет повода, чтобы поговорить. Так случилось на этот раз. Уборщица, покончив с делами и с ворчанием, пустила Маришу в служебное помещение и посадила пить чай. Мариша, совершенно сраженная непривычным для нее вниманием, все рассказала и не знала, как и благодарить за участие.

— Вот тут у меня яички,— сказала она, раскрывая свой деревянный чемодан,— возьмите, пожалуйста.

Уборщица яички охотно взяла, взамен дала Марише адрес швейной фабрики, которая находилась у Абельмановской заставы. Там одна из ее многочисленных родственниц работала вахтером.

— Давай действуй! Руки есть, работа будет. А парней ты себе еще целую низку найдешь. Не кривая.

Мариша улыбнулась. А она уже давно не улыбалась.

— Садись на «шестерку», до Новоспасского доедешь, а там на трамвай.

Это для Мариши было слишком сложно. Но она горячо поблагодарила за все наставления и, подхватив свой чемодан, пошла с Павелецкого на Таганку пешком по Садовому кольцу, через Краснохолмский, потом через Яузский мост. Времени в запасе у нее было достаточно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В один из приветливых, желто-красных сентябрьских дней Мариша присоединилась к огромной очереди, тянувшейся к Мавзолею Ленина. Ей очень хотелось побыть подольше на Красной площади, поглядеть на Кремль, на Спасскую башню с часами, бой которых она раньше слышала только по радио. Но велено было не задерживаться и проходить. Только миновав Чугунный мост, возле Балчуга, она все же задержалась и взволнованно поглядела на золотые главы, на стены и башни.

С того памятного дня, когда она бедствовала на Павелецком вокзале, доходил уже третий месяц. В конце июля она вышла на работу. Это была та самая швейная фабрика около

Абельмановской заставы, адрес которой так счастливо попал Марише в руки в первый же день в Москве. Прописали ее, правда, временно, но зато она вскоре же получила свой первый в жизни паспорт, для которого сфотографировалась в ближайшем фотоателье. Вышла она не очень похожая, но печать, прижавшая ей правое плечо, удостоверяла, что это именно она, Марина Парфеновна Огонькова, 1929 года рождения, уроженка деревни Орловки. Разве можно было не радоваться?

Общежитие для девочек, куда Маришу поместили, находилось на Симоновском валу, так что на работу можно было бегать пешком, экономя на транспорте. А бегала Мариша по-деревенски быстро. Однажды за ней устремился какой-то незнакомый парень, но так и не догнал.

Волнения и радости этих двух месяцев помогли Марише избавиться от тоски по Рэму. Она о нем думала теперь все реже, хотя и не без прежней нежности, но чаще почему-то вспоминала старую Рабигу. Да еще упорно снилась ей каждую ночь родная деревня, никак от этого нельзя было избавиться. Стоило закрыть глаза — и вот он, зеленый, глубокий яр, полный цветущей таволги, холодный ключ, из которого она дважды в день таскала воду, белый клубничный цвет на не скошенном еще покосе, их дом в три окошка... Но наступало утро, видения эти исчезали, исчезали и сожаления.

Мариша всегда поднималась по-деревенски рано, будь то будний день или воскресенье. По выходным и по праздникам обязательно отправлялась глядеть Москву. Доезжала трамваем до Котельников, а оттуда пешком по всему центру.

На сегодня у Мариши была намечена цель. Побыв на Красной площади, она дошла до ближайшей станции метро и здесь встала в очередь к окошку справочного бюро. Тут она попросила дать ей адрес Валентины Михайловны Селивановой. Красивый и строгий образ этой женщины Мариша носила в себе все эти годы, но ни даты, ни места рождения ее указать не могла.

— Уж будьте так добры! Мы с ней в военном госпитале вместе работали.

Это было еще одним чудом, но Марише дали справку, что Селиванова Валентина Михайловна, рождения тысяча девятьсот одиннадцатого года, проживает совсем рядом, на Большой Полянке, в доме № 19. Предупредили также, что есть в Москве еще одна Валентина Михайловна Селиванова,

но уроженка не столицы, а деревни Шербаково Пензенской области, проживающая на улице Красина.

Мариша решила, что ее Селиванова не может быть из деревни. И на всякий случай добавила:

— Которую мне надо, это военврач третьего ранга.

Стоявший в очереди военный заметил:

— Военврачей третьего ранга уже нет. Есть майоры медицинской службы.

— Извините, — сказала Мариша, — я не знала.

Она взяла справку и отошла. Сразу же решила ехать на Большую Полянку.

Оказавшись на Серпуховке, она вдруг вспомнила: ведь она бывала где-то здесь, когда приезжала с Романком, только не с картошкой, а с соленым салом. На Павелецком рынке это сало у них не пошло: поросенок был тощий, и сало вышло желтое, твердое и невкусное. С Павелецкого они перебрались по кольцу на Даниловский. Значит, она, Мариша, была совсем рядом с Валентиной Михайловной, но сердце почему-то ей никакого сигнала тогда не подало...

На Большой Полянке Мариша нашла нужный ей дом. Поднялась на третий этаж, увидела высокую, как ворота, двустворчатую дверь, на которой ничего не было обозначено, что хочешь, то и думай. И дотронулась пальцем до звонка.

За дверью зашлепали туфли, забрякала цепочка, залаяла собака.

«Только бы чулки не порвала», — подумала Мариша. Но косматая, коротколапая собачонка лишь обнюхала ее белые босоножки, пахнувшие новой клеенкой.

— Мне бы Валентину Михайловну...

— Валя, это к вам!

Прошло с полминуты. Мариша замерла в ожидании, что вот сейчас из комнаты строгой, четкой походкой выйдет к ней военврач Селиванова в белом халате поверх диагоналевой гимнастерки, в начищенных до блеска сапогах, собранных гармошкой на плотных икрах. Мариша в те памятные времена любовалась этими сапогами, они были тонкие, хромовые.

Но Селиванова появилась не из комнаты, а из ванной, в широком мохнатом халате, сырая, красная, с чалмой из полотенца на голове и с папиросой в зубах. Лицо ее пополнило, но было по-прежнему красиво. Мариша отметила все тот же склонный к придирке взгляд, с которым Селиванова по утрам входила в палаты.

— Здравствуйте, товарищ военврач третьего ранга, — тихо сказала Мариша.

Та вглядывалась в нее и как будто не узнавала.

— Огонск!.. Неужели это ты? — проговорила она.

— А кто же? — радостно сказала Мариша. — Я, конечно!..

В комнате у Селивановой они сели на кожаный, исцарапанный собачьими лапами диван. Та же собачонка, которая встретила Маришу у входной двери, сейчас выплясывала по дивану, обнюхивала то Маришу, то мокрые волосы хозяйки.

— Макар, перестань, фу! Иди на кухню!

Макар, поразив Маришу своей дисциплинированностью, тут же прекратил озорничать и ушел.

— А ты прекрасно выглядишь, Огонек! — сказала Селиванова. — У тебя вполне столичный вид.

Мариша уже несколько подпортила свои добрые льняные волосы шестимесячной завивкой. Но комплимент Селивановой показался ей искренним, поэтому очень приятным. И она сама с той же мерой искренности стала рассказывать о своем деревенском житье-бытье, о том, что заставило ее в конце концов эту деревню покинуть.

Селиванова как будто была тронута.

— Ах, ты, бедняжка!.. Ну, как говорится, нет худа без добра.

Из коридора старческий голос оповестил:

— Валя, у вас убегает чайник.

Пока Селиванова была на кухне, Мариша разглядывала обстановку. Мебели и других вещей в комнате было очень много. Вещи все неплохие, даже дорогие, но вот сказать, чтобы здесь царил такой уж порядок, как этого когда-то требовала от палатных санитарок сама Селиванова, то этого не было: пахло окурками, рассыпанной пудрой, и собачонка, видимо, тащила много грязи на лапах.

Только начали пить чай, Селиванову позвали к телефону. Мариша опять долго сидела одна, потом к ней на колени взгромоздился появившийся из кухни Макар. Это ей пришлось не очень по душе: у них в деревне никто собак на колени не пускал.

Наконец Селиванова вернулась. Подошла к главному: спросила, что Мариша делает в Москве. Та рассказала, что вот уже два месяца, как устроилась на швейную фабрику около Абельмановской заставы. Сначала работала подсобницей, а теперь поставили утюжить готовую женскую одежду: платья, сарафаны, юбки, костюмчики... Работа нетяжелая, правда, летом сильная жара в цехе от утюгов. А живет в общежитии на Симоновском валу. На семь человек комната.

Селиванова задумалась.

— Знаешь, я могла бы взять тебя к себе в клинику. Только, пожалуй, хрен редьки не слаще. На твоей фабрике ты еще в ударницы выйдешь, а тут только с больных научишься хapaть. Пей чай.

Мариша пила и украдкой поглядывала на дверь: не войдет ли кто-нибудь? Неужели Валентина Михайловна жила совсем одна? В разговоре та не помянула ни разу ни о муже, ни о детях. Мариша и сама не понимала, почему неудобно прямо об этом спросить. Но вот язык не поворачивался задать вопрос не старой еще женщине, где ее муж: убили, ушел к другой?

Селиванова как будто догадалась, о чем думает Мариша. Нахмурилась и сказала каким-то намеком:

— С Макаром сложно: целый день один.

В комнату заглянула старушка, которая открыла на Маришин звонок и потом напомнила Селивановой об убегающем чайнике.

— Валя, простите, нужно не позднее четырнадцатого числа заплатить за квартиру. Я могу это сделать сама, если вы оставите мне деньги.

— Не оставляю,— сказала Селиванова.— Пусть устранят течь над ванной. На меня сегодня не столько из душа текло, сколько с потолка.

В голосе прозвучали прежние селивановские ноты. Мариша невольно поджалась и даже подумала, не пора ли уходить.

— Познакомьтесь, Екатерина Серапионовна,— уже другим тоном обратилась Селиванова к старушке, указывая на Маришу.— Моя однополчанка. Вам тоже полезно было бы послушать, как поживают выходцы из колхозного крестьянства. А то мемуары все какие-то строчите.

Старушка не успела обрадоваться предложению познакомиться. Последняя фраза Селивановой, видимо, обидела ее, но она нашла в себе силы, чтобы удалиться с достоинством.

Марише стало очень жалко старушку. Ко всем образованным людям она по-прежнему испытывала уважение. Ко всем, кроме своей невестки-учительницы, которая, как теперь понимала Мариша, была не очень-то образованная.

— Ну, я пойду, Валентина Михайловна,— сказала она.— Большое вам спасибо!..

Селиванова взглянула на нее пристально, словно хотела понять, не обидела ли она чем-нибудь и Маришу. Возможно, Селиванова знала за собой эту способность сражать словом.

— Ты еще придешь? Подожди минутку!..

Она вытащила какой-то чемодан и шелкнула замком. А когда повернулась к Марише, то та в первый раз увидела на лице у бывшего военврача третьего ранга какое-то смущение.

— Ты только не обидься, Огонек... Я думаю, тебе это не лишнее будет. Возьми.

Мариша, пораженная, глядела на ярчайшее шелковое платье, которое мяла в руках Селиванова. За что?.. Ведь она чужой человек. Всего три месяца проработали вместе в госпитале. И то, разве Мариша работала? Ее взяли, потому что пожалели. Спасибо, что Селиванова ее узнала, не позабыла.

— Можешь не благодарить,— сказала Валентина Михайловна и закурила, чтобы покончить с неловкостью.— Я за него немке пятьсот граммов масла отдала. Она даже всего триста просила... Так сказать, трофеи.

Что-то осталось в Селивановой суровое и грозное, не позволившее Марише сейчас отблагодарить ее поцелуем или предложить услуги — убратся, постирать. Она только сказала тихо, с прежней своей еще детской интонацией:

— Дай вам бог здоровья, Валентина Михайловна!

Селиванова усмехнулась.

— Ладно, Огонек, иди. А то я после ванны совершенно разваливаюсь.

Мариша простилась и вышла на лестницу, прижимая к груди селивановский подарок. Такого платья она не видела даже во сне, а Селиванова рассталась с ним, как будто это была какая-нибудь старая юбка десятого года носки. Да еще и смутилась, как будто боялась, что Мариша не возьмет. Для Мариши это было большим открытием в характере бывшего военврача третьего ранга.

В новом платье она показалась своим соседкам по комнате. На тех заграничное платье необычайного покроя с плиссированными рукавами и подолом произвело заметное впечатление. А комендантша сказала:

— Одень пенек, будет как ясный денек. Шифон. У меня до войны такое было.

Маришу не обрадовало сравнение с пеньком, но обижаться всерьез у нее оснований не было.

Через некоторое время она снова отважилась пойти на Большую Полянку. Ей очень хотелось чем-нибудь услужить Валентине Михайловне, а заодно и той старушке, ее соседке, которая, судя по всему, тоже была человеком одиноким.

На негромкий Маришин звонок теперь дверь открыла сама Селиванова. Лицо у нее было напудрено, ярко накрашены губы. Одета она была в синий шерстяной костюм с высокими плечами и большими острыми бортами. В петличке белела красивая шелковая ромашка.

— Заходи, заходи, Огонек. Но у меня всего полчаса: я ужоу в театр.

Макар суетился и скулил, чувствуя, что сегодня вечером он останется один. Лакированные туфли хозяйки вызывали у него активный протест, он пробовал царапать их лапой.

— Если хочешь, можешь у меня переночевать,— сказала Селиванова.— К двенадцати я вернусь. Посиди с Екатериной Серапионовной. Неплохая старуха.

Мариша решила остаться. Екатерина Серапионовна напоила ее чаем. Чашечки, из которых они пили, были страшно тонюсенькие, весили не больше кленового листа. Этих чашечек у Екатерины Серапионовны осталось всего несколько, но она не пожалела их подать. Значит, посчитала Маришу достойной гостьей.

— Книжек у вас сколько,— сказала Мариша,— вот бы почитать!

— Пожалуйста. Что вы любите?

Мариша должна была признаться, что читала совсем мало. Некогда, да и где в деревне книжки возьмешь? Старушка была очень удивлена.

— Разве у вас там не было библиотеки?

— В районе только. Я раз зашла...

— Ну и что же?

— Дали мне книжечку... Стала читать, да что-то не поняла.

Екатерина Серапионовна была тронута Маришиной искренностью.

— Я найду для вас что-нибудь подходящее,— обещала она.

Так странно, непривычно было Марише слышать, что кто-то обращается к ней на «вы». Тем более такая культурная старушка в золотых очках с черным шнурочком.

— А вы сами тоже книжки пишете? — рискнула спросить она у Екатерины Серапионовны.

— Ну что вы! Для этого нужен талант. А я просто записываю... В жизни было много событий, встреч. Возможно, это даже кому-то и будет интересно.

Селиванова вернулась в первом часу ночи. Бросила на стол измятую театральную программку, на которой Мариша

разобрала: «Стакан воды». Устало стащила с ног лакированные туфли, швырнула на спинку стула синий жакет с шелковой ромашкой в петлице.

Мариша решила, что Валентине Михайловне не понравился спектакль, поэтому она и не в духе. Но Селиванова сказала какую-то странную фразу:

— Боже, какие бывают кретины!.. Ну просто ничего не доходит!

Тогда Мариша догадалась, что Селиванова была в театре не одна. И как бы в подтверждение этого в затихшей квартире резко зазвонил телефон. Селиванова вышла в коридор и взяла трубку.

— Конечно, уже дома, — сказала она. — Вы что, думали, я на улице ночевать буду?

Вернулась в комнату, погасила свет и начала раздеваться.

— Поразительная заботливость! — вдруг бросила она то ли Марише, то ли самой себе. — Лучше бы такси поймал.

Очень скоро Мариша заметила, что ее прихода на Большой Полянке ждут. Поэтому каждое воскресенье аккуратно приходила. Екатерина Серапионовна показывала ей, как раскладывается пасьянс, который Мариша первоначально приняла за гадание. Поручениями ее тут не обременяли, разве что Селиванова просила зайти на рынок и купить морковки для «дуралея», то есть для Макара.

— Сколько у нас в деревне моркови! — сказала Мариша. — А ни одна собака есть не будет.

Так началась первая московская зима, которая ни в чем не разочаровала Маришу: она устроилась на работу, получила московскую прописку, разыскала Валентину Михайловну и познакомилась с Екатериной Серапионовной. Тут, на Большой Полянке, к ней стали относиться как к своему человеку, ничего от нее не скрывали: ни пристрастий, ни слабостей, ни странностей. Мариша не могла не заметить главное: обе ее новые приятельницы очень мало занимались делами сугубо житейскими и обе не терпели праздности. Старушка с завидным прилежанием что-то писала и переписывала, посещала какие-то собрания и вела общественную работу в домоуправлении, а Селиванова даже в воскресенье с утра садилась у телефона и начинала обзванивать медицинские учреждения: кого-то куда-то надо было перевести, кого-то срочно оперировать, срочно достать какие-то лекарства.

— Что же вам совсем покою нет, Валентина Михайловна? — вздохнула как-то Мариша. — Чаю попить не можете.

— Да, — согласилась та, — надо было идти в стоматологию.

Чаю она все-таки выпила, потом заглянула в комнату к соседке.

— А вы почему дома? Ведь на Новодевичьем открывают какой-то мемориал.

Старушка спохватилась, надела шляпу и поспешно удалась. По Москве она всегда ходила пешком, не любила ни троллейбусов, ни автобусов.

— Примечательная все-таки старуха, — сказала Селиванова. — Единственный сын погиб на фронте, муж скоростно умер, — другая бы духом пала. А эта, как видишь, бегают...

Мариша видела, что отношения между Валентиной Михайловной и ее соседкой очень хорошие, что стоит Екатерине Серапионовне занемочь, Селиванова тут как тут. А ведь они даже не дальние родственники, а люди, чьих судьба совершенно случайно свела в одной квартире.

Марише шел двадцать третий год, но она была дитя трудных лет и осталась некрупной, на вид почти девчонкой. Это преимущество давало ей возможность утаить годика два-три. И если по деревенским понятиям она была уже «старуха», то здесь, в Москве, ей эта кличка не угрожала.

— Скажите, а почему бы вам не выйти замуж? — как-то спросила ее Екатерина Серапионовна.

Мариша сперва покраснела, потом побелела и ответила тихо:

— Как же выйдешь-то?.. Я ведь тут мало еще кого знаю.

В мае по случаю дня рождения Мариши Екатерина Серапионовна повела ее в филиал Большого театра на «Царскую невесту». Предварительно она разъяснила, кто такой был Иван Грозный, кто такие опричники, как деспотизм царя крушил человеческие судьбы.

— Тем не менее это был великий преобразователь, — добавила Екатерина Серапионовна. — Этого не надо забывать.

— Вам следует выступать с лекциями, — язвительно заметила присутствовавшая при этом Селиванова. — Если

будете упираться на то, что для великих преобразований необходимо было каждого третьего сажать на кол, как раз попадете в точку.

Услышав эти слова, Мариша даже испугалась, хотя смысл сказанного дошел до нее далеко не полностью.

— Идите, идите, — уже мягче сказала Селиванова, — опоздаете.

Сидели они далеко, в последнем ряду третьего яруса. Больше восьми рублей за билет Екатерина Серапионовна не могла себе позволить.

Царская невеста была не очень молода и несколько неповоротлива, но голос у нее был просто соловьиный. До Мариши впервые доходил живой, чудесный звук, а не тот, который ей до этого приходилось слышать из радиоприемника. А когда Марфа запела: «В том городе мы вместе с Ваней жили...», Мариша вспомнила свою Орловку, черный огород со множеством грачей, зеленый яр, в котором журчал ключ, и молча заплакала. Молодой боярин Лыков показался ей чем-то похожим на Рэма, и к концу акта слезы потекли сильнее.

Екатерина Серапионовна потрепала своей мягкой ручкой тоже маленькую, но твердую Маришину руку.

— Эти слезы делают вам честь, — сказала она.

В антракте они вышли в фойе, увидели, как у буфетных стоек люди едят бутерброды с копченой колбасой и пьют сидро. Может быть, Маришина спутница смутилась своего безденежья, а может, это действительно было ей не по душе, но она сказала:

— Мне не нравится манера набивать рот в театре.

Они с Маришей отошли и сели подальше от тех, кто ел и пил.

Весна — лучшее в Москве время года, это поняла Мариша. В деревне они, бывало, плавали по полой воде, не могли вытащить ног из черной грязи. Запасы топки подходили к концу, и если тепло запаздывало, то все ходили хрипатые, простуженные, обветренные, собирали каждую сухую травинку, щепку, чтобы истопить печь и обогреться.

А здесь было сухо, тепло, везде чисто выметено. Когда они с Екатериной Серапионовной поздно вечером возвращались из театра, шли через Красную площадь, Марише показалось, что все кругом — сказка: в ушах еще стояло грустное пение, а над Василием Блаженным в фиолетовом низком небе стелилось густое, с кровавым подплывом облако. За москворечье светилось из сумерек не уснувшими еще окнами.

Все это было очень похоже на ту декорацию, которую человеком рукой, казалось, нельзя и нарисовать.

Марише хотелось остановиться, замереть и смотреть. Но нужно было поторопливаться, чтобы не обеспокоить Селиванову поздним приходом: часы над Спасскими воротами показывали уже первый час ночи.

2

Лето в Москве стояло очень жаркое. После деревенского простора Марише все не хватало воздуха, мокло за пазухой и сохли губы.

В один из горячих и пыльных июньских дней она поехала на Большую Полянку. В жарком воздухе плавал запах цветущих лип.

Трамвай, на который Мариша села, звонил громко и нудно, от этого звона становилось еще жарче.

Селиванова была сегодня чем-то явно раздражена. Много курила и разговаривала отрывисто.

Екатерина Серапионовна потихоньку объяснила, почему у Валентины Михайловны неважное настроение. В квартире на Большой Полянке ранее проживал один полярник, который постоянно был в отлучке, — Мариша удивлялась, почему дверь в третью комнату всегда закрыта и жильцов не видно. Теперь на эту дверь был повешен сургуч на веревочке; полярник получил отдельную квартиру в первом жилом высотном здании, а в его комнату должны были вселить какого-то нового жильца. Он бы уже появился, но домоуправление все тянуло с ремонтом.

— Я понимаю Валины опасения, — сказала Екатерина Серапионовна. — Мы ведь уже давно живем в квартире вдвоем. А теперь могут появиться люди, которые не переносят собак.

Мариша привыкла к Макару, и сейчас ей уже странно было, что кто-то может его не переносить.

— Разве что только с кошкой въедут, — сказала она, — тогда конечно...

Но у нового жильца кошки не оказалось. Судя по всему, он был тоже человеком совершенно одиноким. Мариша увидела его во время очередного визита на Полянку. Это был высокий, белокурый, немолодой мужчина, одетый, несмотря на летнюю погоду, в тяжелый шерстяной свитер.

— Здравствуйте, — сказала Мариша, когда новый жилец открыл ей дверь. — Я к Валентине Михайловне пришла и к Екатерине Серапионовне.

— Да, да, пожалуйста, — отозвался тот и ушел в свою комнату, скрипя распахнувшимся паркетом.

Екатерина Серапионовна сообщила Марише, что новый жилец производит неплохое впечатление: человек интеллигентный, преподаватель института.

— Пока трудно сказать, — заметила Селиванова. — Вполне возможно, что и зануда.

Тем не менее Мариша обратила внимание, что сегодня Валентина Михайловна не расхаживает по квартире в халате и с полотенцем на голове. С самого утра на ней была светлая спортивная платье, в котором она выглядела и более и моложе. А у Екатерины Серапионовны к старенькой кофточке приколото пожелтевшее кружевное жабо.

Внезапно в коридоре зазвонил телефон. Обычно поджидала Екатерина Серапионовна, которой, как считала ее соседка, все равно делать нечего. Но на этот раз Мариша услышала мужской голос:

— Одну минуточку! Валентина Михайловна, это я!

Разговаривала Селиванова по телефону кратко и не поймешь с кем, словно хотела поскорее отвязаться. Потом сказала громко:

— Спасибо, Борис Николаевич!

— Ради бога!

Такой обмен любезностями очень понравился Марише. Теперь обстановка в квартире на Большой Полянке стала для нее еще более привлекательной.

— Если жулики полезут, — сказала она, — у вас мужчина есть в квартире. — Екатерина Серапионовна с тех пор, как после амнистии сорок шестого года кто-то пытался взломать замок, страшно боялась жуликов.

В общем, новый жилец пришелся очень ко двору. Он не отличался на первых порах особой разговорчивостью, но был вежлив и предупредителен, старался никому своим присутствием не помешать. Его приезд не внес никакой сумятицы, ничем не нарушил привычного хода жизни в квартире на Большой Полянке. Борис Николаевич даже отказался от ремонта в своей комнате, который должно было сделать домоуправление, потому что это могло создать затруднения для соседок. А может быть, и сам этого ремонта боялся. Селиванова очень скоро заявила, что им крупно повезло.

Первые сведения о новом жилье поступили от Екатерины Серапионовны. Марише она сообщила, что Борис Николаевич специалист по западной литературе, главным образом по немецкой. После тяжелых фронтовых ранений он нашел

в себе силы закончить аспирантуру и подготовить кандидатскую диссертацию. Тема ее — писатели-романтики, поэты «Бури и натиска». Екатерине Серапионовне следовало бы разъяснить, что это за штука такая «Буря и натиск», но Мариша и так догадалась, что это что-то быстро интересное, а то разве бы такой серьезный человек стал заниматься.

На осторожный Маришин вопрос: а где же у Бориса Николаевича жена?.. — старушка ответила, что, кажется, они разошлись. Мариша попыталась представить себе дручку, которая отказалась от такого интересного, непьющего, образованного мужчины, и ничего не могла понять. Никаких внешних недостатков в Борисе Николаевиче не было. Правда, лицо у него почти всегда было бледное, голос негромкий, движения сдержанные, и лет ему можно было дать больше, чем ему было на самом деле. Одевался он тепло и, пока не приобрел уличного термометра, каждое утро вежливо осведомлялся у соседок, какова сегодня погода.

Хозяйство у нового жильца было самое примитивное. Пробавлялся он пищей случайной, но Мариша не раз наблюдала, как расточительно много сыплет Борис Николаевич в чайник заварки. У них в деревне такой порции хватило бы на неделю, и то не попить.

Поначалу она стеснялась Бориса Николаевича: он казался ей недоступным, немножко, может быть, гордым. В этом и не было ничего удивительного: ведь он был такой ученый, о чем бы он с ней стал разговаривать? Но вскоре Марише представился случай убедиться, что это не совсем так.

Она приобрела себе новое пальто из темно-синего драпа, на шелковой подкладке. Старое, купленное ей еще Романком четыре года назад, теперь никакого вида не имело. На радостях она отправилась со своей обновой на Полянку. Там в прихожей висело большое зеркало, в котором можно было себя как следует оглядеть.

На Екатерину Серапионовну и на Валентину Михайловну новое пальто особого впечатления не произвело. Но тут из своей комнаты вышел Борис Николаевич, внимательно посмотрел на Маришу и вдруг сказал:

— Вы знаете, я бы немножко укоротил рукава. И хорошо бы какой-нибудь светлый шарф.

— Oго! — весело заметила Селиванова. — Очень дельное предложение.

Она тут же принесла бледно-голубую крепдешинную косынку и повязала Марише на шею.

— Вы не считаете, товарищи, что нам пора пристроить

пашу девицу за какого-нибудь хорошего мужика? — сказала она.

Мариша смутилась и проговорила совсем тихо:

— Зачем? Не обязательно.

Борис Николаевич ей улыбнулся и подмигнул, как будто хотел подтвердить, что действительно не обязательно: какая в этом радость? Еще двадцать раз успеется.

Однажды, придя на Полянку, Мариша не застала никого, кроме Бориса Николаевича.

— Это вы, Марина? Проходите, пожалуйста, ко мне.

За неимением свободного стула Мариша присела на краешек дивана. И вдруг вздрогнула, услышав за собой чье-то грустное дыхание.

— Это Макар,— пояснил Борис Николаевич.— Скучает без хозяйки.

Селиванова только что уехала в Новый Афон. Екатерина Серапионовна считала Маришу своим человеком, поэтому намекнула ей, что Валентина Михайловна отправилась туда не столько для того, чтобы отдохнуть, сколько чтобы избавиться от очередного назойливого поклонника.

Макар подтвердил свою тоску еще одним глубоким вздохом. Вздохнула и Мариша. Оглядела комнату: в углу над книжным шкафом густо туманилась паутина.

— Вы давно знакомы с Валентиной Михайловной? — спросил Борис Николаевич.

— Давно. Мы с ней вместе в военном госпитале работали.

— Как же это могло быть? Ведь вы же тогда ребенком были.

— А вот и могло! Меня в порядке исключения туда взяли. Я очень сильная была.

Борис Николаевич взглянул на ее маленькие руки.

— Неужели? А сейчас?

— Сейчас еще сильнее.— Мариша улыбнулась и вдруг спросила: — Борис Николаевич, вы не разрешите, я у вас тут приберусь?

Он оглядел свою комнату, словно в первый раз ее видел.

— Что вы, с какой же стати?.. Если не возражаете, давайте лучше выпьем чаю.

После первой же очень крепкой чашки сердце у Мариши страшно заколотилось.

— Что это с вами?

— Упарилась...

К чаю у них ничего не было. На кухне стояла баночка с вареньем, принадлежавшая Екатерине Серапионовне, и с ее, естественно, решили не трогать.

— Сделаем вид, что мы варенья не любим. — сказал Борис Николаевич. — Налить вам еще?

Потом он спросил, откуда она родом: воронежская, тамбовская, курская?

— Тульская, — оживленно ответила Мариша. — К нам можно через Венев ехать, а можно через Узловую.

И, не ожидая дальнейших расспросов, она рассказала, какое у нее было прекрасное, ласковое детство, когда были живы и отец и мать. Как всей семьей ходили в колхозный сад собирать яблоки. Десять мешков наберешь, одиннадцатый твой. Сорта были хорошие: грушовка, аркад, анис, а из поздних — боровинка, антоновка.

— У нас и в своем саду было много. Только куда их? Варенья в деревне не варили.

— И не жалко вам было от ваших яблок уезжать?

Мариша только рукой махнула: где они уж теперь, эти яблоки!.. Объяснила, что в войну уцелело у них на огороде всего одно корявое деревце. Его трясли все кому не лень, и свои и соседские. На самой макушке оставалось всего с десяток яблок, которые она сама на Преображение сбивала длинным шестом, чтобы испечь в русской печи. Так сладко пахло!.. А вернулся брат, он и эту яблоньку ссек под корень, чтобы было удобнее пахать.

Борис Николаевич внимательно слушал.

— Я почти не представляю, как сейчас живут в деревне, — задумчиво сказал он, — видел только во время войны.

— Сейчас по-другому, — поспешила заверить Мариша. — Белого хлебушка, правда нет, а картошки много. Что вы так смотрите?.. Ей-богу, много, даже не съедаем. А вы бы поглядели, какая крупная!

Ее собеседник улыбнулся, видимо, она его убедила.

— А в Москве вам нравится?

— Даже очень. Нас с фабрики в Останкинский музей возили. И по каналу Москва — Волга. Все удовольствие бесплатно, только буфет за свои.

Мариша сказала это и смутилась: она-то в буфет не ходила. С деньгами она расставалась все еще по-деревенски туго. Подруги пытались ее угощать, но она согласилась только на полпорции мороженого.

— Да, в Москве интересного много, — сказал Борис

Николаевич.— Это хорошо, что вы приехали. Поступите учиться...

Наверное, он думал, что ей лет семнадцать-восемнадцать. Мариша не стала его разубеждать.

Заскреб ключ во входной двери, появилась Екатерина Серапионовна с каким-то большим конвертом в руках.

— Вот рискнула в первый раз обратиться в редакцию,— объяснила она.— Оказывается, что у них уже есть материал на эту тему.

И старушка стала объяснять, что покойный муж ее был лично знаком с Андреем Белым.

Борис Николаевич спрятал улыбку.

— Лучше бы, конечно, с Демьяном Бедным.

Мариша решила проявить свою осведомленность.

— А мы в школе один стих Демьяна Бедного учили,— сказала она.

Подмяв под голову пеньку,
Рад первомайскому деньку,
Батрак Лука вздремнул на солнцепеке...

— Позавидуешь Луке! — заметил Борис Николаевич и возобновил свои занятия, прерванные появлением Мариши, а она смутилась и уже жалела, что вспомнила Демьяна Бедного: лучше бы промолчала.

К началу осени вернулась из Нового Афона Селиванова, черная, худая и красивая. Осведомилась, устранили ли течь над ванной, но не буйствовала, когда узнала, что течет сильнее прежнего. Мариша отнесла это за счет того, что Валентина Михайловна просто не хочет проявлять своего характера при новом соседе. Та попробовала даже перейти с ним на однополчанское «ты»: оказалось, что в сорок третьем они оба были под Белгородом почти рядом, рукой подать.

— Не я тебя чинила, старлейт,— сказала Селиванова,— а то бы ты сейчас не скрипел.

Но Борис Николаевич сделал вид, что этого «ты» не слышал, и продолжал обращаться к обеим дамам по-прежнему на «вы». Селивановой ничего не оставалось, как с этим примириться.

Марише показалось также, что Бориса Николаевича несколько тяготит опека, которой досаждают ему бывшая военврач третьего ранга.

— Скажите, почему у вас такая ненависть к врачам? —

раздраженно спросила Селиванова, когда Борис Николаевич в очередной раз отказался от предложения измерить ему давление.

— У меня к вам ненависть? — попробовал он отшутиться. — Да ни в коем случае!..

— В конце концов, это просто смешно. Я уже почти договорилась относительно вас в ЦИТО. Туда люди по три года очереди ждут.

— Тем более не хочу. С какой же стати?

Марише нравились люди застенчивые, не нахрапистые, такие, как Борис Николаевич. Но все-таки почему же не полечиться, если есть возможность? Были дни, когда он очень плохо себя чувствовал, старался совсем не выходить из своей комнаты, чтобы избежать вопросов: почему это он сегодня такой бледный да что у него болит. Меньше других он стеснялся Мариши, как будто она была еще девочкой, малолеткой.

— Вы захворали, Борис Николаевич?

— Да, что-то неважно себя чувствую.

— Ничего вам не надо?

— Спасибо, у меня все есть.

— А то бы я с радостью. Огурчиков не хотите?

— Спасибо, не хочу. Не беспокойтесь.

Он прошел на кухню, налил себе стакан воды. Наверное, чтобы принять какое-нибудь лекарство. Селиванова ему натакала их очень много. Через час Борис Николаевич вышел из своей комнаты уже в более бодром настроении.

— Вы не к метро? — спросил он у Мариши, видя, что та тоже собирается уходить. — Пойдемте вместе.

Мариша страшно обрадовалась, пошла рядом с ним и просто не находила слов. Она и сама не могла объяснить, что в этом человеке так ее притягивало. Назвать Бориса Николаевича красавцем было нельзя. Но лицо его было до того не похоже на все другие лица, которые когда-либо доводилось ей видеть, что казалось ей самым лучшим. Одевался Борис Николаевич очень скромно. Рубашки, которые он носил дома, относились к разряду тех, что называют «смерть прачкам», темные, не то в сеточку, не то в клеточку. У него был единственный приличный, хотя и не новый, костюм. И еще шерстяной свитер, в котором Мариша его первый раз увидела. Есть такие люди — что на них ни надень, во всем они хороши.

Короче говоря, теперь Мариша только о Борисе Николаевиче и думала и приходила на Полянку каждый раз в надеж-

де его увидеть. Однажды ухитрилась в его отсутствие обмахнуть пыль в комнате и вымыть почерневший от времени паркетный пол. Он вернулся, сначала ничего не заметил, потом стал делать вид, что не замечает, а под конец сказал:

— Непослушная вы девочка!

Мариша была просто счастлива. Она спряталась за дверь, чтобы ее сейчас никто не видел, и потерла ладонями загоревшиеся щеки.

На швейной фабрике вокруг нее работали в основном женщины, девчата, и из-за каждого неженатого и даже женатого мужчины шла довольно жестокая борьба, затевались интриги, ходили сплетни. Мужики чувствовали, что они сила, и ломали себе цену. Но даже в этих обстоятельствах Мариша успела кое-кому приглянуться и получала предложения «закрутить». Но это было не то, совсем не то!.. Однажды она увидела во сне, что спит с Борисом Николаевичем, очнувшись в сладком ужасе и с того дня совсем потеряла голову. Наводя украдкой порядок в его комнате, она нашла его фотографию, рискнула похитить и до тех пор прижимала к губам, пока испугалась, что фотография попортится.

Позже Мариша узнала, какой это острый нож — ревность. Теперь, когда бы она ни пришла на Полянку, Валентина Михайловна сидела в комнате у соседа или приглашала его к себе. Макар привязался к новому жильцу, а то бы и он непременно взревновал. Если бы не Мариша, пес насиделся бы без морковки: хозяйка его теперь была полна совсем иных забот.

Только за последний месяц Валентина Михайловна сшила себе два новых платья. Одеваться она умела. Тех платьев или сарафанов, которые выходили на швейной фабрике из-под Маришиного утюга, Селиванова не надела бы никогда в жизни. Шила ей жена какого-то архитектора, а туфли присылал из Адлера один грузин, которому Селиванова в свое время сделала сложную операцию и тем обула себя до конца дней.

В комнате у Валентины Михайловны, притиснутое прочей мебелью, стояло старое черное пианино. На его исцарапанной крышке вечно лежало что-то, не относящееся к музыке: шляпы, коробка от обуви, щетки, гребенки, тюбики от губной помады. Но однажды Мариша, придя на Полянку, увидела, что за пианино сидит Борис Николаевич.

— А для вас что сыграть? — спросил он Маришу, как будто польщенный ее удивлением. — Хотите «Турецкий марш»?

Негустые его светлые волосы, когда он играл, рассыпались по лбу. Мариша сидела не шевелясь и смотрела на этот лоб, на пальцы. Честно говоря, музыку она сейчас не слушала, ей было не до музыки.

— Ну так как? — спросил Борис Николаевич.

— Замечательно!..

— Так уж и замечательно? Я ведь не Оборин и не Софроничский.

— Они что же, лучше играют?

Борис Николаевич и Селиванова переглянулись. Мариша почувствовала, что опять сказала невпопад, и больше уже не проронила ни слова.

Сейчас ей уже казалось, что ее приход явно помешал. Но Селиванова сказала дружелюбно:

— Хорошо, что ты пришла, Огонек. У меня отличный рассольник.

Этот рассольник не утешил Маришу, тем более что он вовсе не был отличным. Готовить Селиванова не умела и этим процессом страшно тяготилась. Просто сейчас, по Маришиному разумению, она хотела выглядеть в глазах Бориса Николаевича хорошей хозяйкой.

Разговор, прерванный приходом Мариши, возобновился. Селиванова говорила о своих делах, о том, что в клинике в последнее время обострилась обстановка. Вместо того чтобы нормально лечить людей, разводят демагогию, подсиживание. Опытный врач иногда вынужден оправдываться в чем-то перед какой-нибудь нахалкой медсестрой.

— Вам легче: вы не врач и не биолог.

— У нас свои проблемы, — вздохнул Борис Николаевич.

— Так переходите с немецкого романтизма на что-нибудь более родное. На какие-нибудь там «Бруски».

— Должен заметить, что «Бруски» — роман отнюдь не худосочный.

Мариша сидела молча и подавленно: понимала, какое огромное преимущество было у Валентины Михайловны. О чем она сама могла поговорить с Борисом Николаевичем? Она и слов-то таких не знала, какие слышала за этим столом.

Приближался новый, тысяча девятьсот пятьдесят третий год. У обитательниц квартиры на Полянке была надежда, что встречать его Борис Николаевич будет вместе с ними. Но он объявил, что уезжает в город Ржев. Там жила его

мать, в Москве ее по не понятной Марише причине почему-то не прописывали. С фотографии, стоявшей на столе у Бориса Николаевича, смотрела симпатичная седовласая женщина, которая и в Москве наверняка никому бы не помешала. А в Ржеве, оказывается, было плохо с дровами, и вообще там люди еще не могли прийти в себя после военной разрухи. Мама Бориса Николаевича пыталась давать домашние уроки математики, но появление фининспектора положило этому конец. Когда Мариша об этом узнала, то вновь вспомнила свою любимую учительницу, Ксению Илларионовну. Жива ли она?

От поездки в Ржев, понятно, никто Бориса Николаевича отговаривать не стал. Он надел под костюмный пиджак свой толстый черный свитер и уехал. Непрактичный, как многие мужчины, он не сумел взять с собой никаких продуктов. А может быть, у него просто не оказалось денег.

После его отъезда Селиванова не без колебания приняла чье-то приглашение на новогоднюю встречу и ушла из дома. Мариша и Екатерина Серапионовна остались в этот вечер вдвоем. Они просидели до двенадцати часов ночи, выслушали новогоднее поздравление по радио. Потом Мариша постелила себе в кухне на полу и легла. Селивановский Макар подумал и лег рядом с ней.

Она уже задремала, утомленная грустью. Вдруг кухня осветилась. Это вернулась Валентина Михайловна.

— Ну, конечно, эта аристократка выпихнула тебя в кухню! Иди ко мне, ложись на диван.

Мариша попробовала заступиться за Екатерину Серапионовну, сказав, что она сама тут легла, что тут удобно, тепло.

— Ну, как хочешь.

Ушла Селиванова не сразу, а после того, как выкурила две папиросы. У Мариши было такое чувство, что она хочет ей что-то сказать. Но та ничего не сказала.

3

Он ведь знал, кто Мариша такая — простая работница. Однако когда открывал ей дверь, то не было случая, чтобы не помог снять пальто.

— Здравствуйте, Борис Николаевич! Как съездили?

— Спасибо, все хорошо. Проходите, пожалуйста.

— Я извиняюсь, а где же все?

— Насчет Валентины Михайловны ничего не могу ска-

зять, а Екатерина Серапионовна, кажется, пошла на собрание активна в домоуправление.

Мариша вспомнила высказывание Селивановой по адресу своей старенькой соседки: «Мужа похоронить не успела домоуправление хапнуло у нее одну комнату. Я думала, она по крайней мере, год рыдать будет, а она уже на следующей неделе в это же домоуправление отправилась какой-то таинственный кружок проводить».

— А вы все пишете, Борис Николаевич? — заглянув ему через плечо, спросила Мариша. — Наверное, уже много написали? И все про бурю?..

— Про какую бурю?.. Ах, про «Бурю и натиск»!.. Нет, не только. А как ваши дела?

— Радость у меня, Борис Николаевич. Комнату мне дают. С одной женщиной на двоих.

— Какая же радость, если на двоих?

— Но ведь мы всемером жили.

Он смотрел на нее и улыбался.

— Позавидуешь вам, Мариночка: всем вы довольны, везде вам хорошо.

— А что же мне? Молодая я, здоровая...

Она в эту минуту была не только молодая и здоровая, но и хорошенькая. Щеки у нее еще с мороза были розовые, серые глаза улыбались.

— Хотите чаю? Только у меня, кажется, кончился сахар. Мариша сказала, что в одну минуту сбегает: магазин рядом. Когда она вернулась с пачкой рафинада, Борис Николаевич уже поставил чашки на стол. Они сели друг против друга и принялись за чай. Мариша старалась смотреть в блюдце, а Борис Николаевич смотрел на нее. Он был сегодня очень приветлив.

— Что это вы все глядите на меня? — смущенно спросила Мариша.

— А почему же не глядеть? На вас глядеть очень приятно. Вы сегодня такая хорошенькая. Ну-ка, поднимите головку! Мариша подняла и улыбнулась.

— Вот так все время и улыбайтесь. Это вам отнюдь не вредит. Не все умеют хорошо улыбаться, а вам это дано от природы.

...Каждую минуту могла прийти с собрания Екатерина Серапионовна. Могла появиться и Селиванова, поэтому Мариша решила, что надо поспешить с признанием.

— Знаете, Борис Николаевич... Вы только не обижайтесь. Я ведь в вас влюбилась. Хотите верьте, хотите нет.

Наступила пауза.

— Влюбились?..— спросил он, сразу став очень серьезным.— Когда же это вы успели?

— Успела вот.

Он был заметно смущен.

— Вот так штука!.. Ну, влюбились, так любите. Спасибо!..

Мариша поняла, что дела ее плохи.

— Вы уж никому не рассказывайте...

— Ну что вы, как это можно?

Борис Николаевич пересел поближе к Марише и даже взял ее за руку. Она сегодня надела кольцо с алым камушком — цветом любви. Сейчас поджала палец в надежде, что он не заметит.

— Все это пройдет, Мариночка, помяните мое слово.

— В жизнь не пройдет!

Он пожал плечами, как бы удивляясь ее упрямству.

— Должен вам доложить, что я ведь весь по кускам сшит. Если еще и голова откажет, чем мы тогда будем с вами заниматься? По дворам с обезьянкой ходить?

— С какой обезьянкой? — испуганно спросила Мариша.

— Ну, это я просто хотел вас немножечко развеселить. Улыбнитесь, пожалуйста.

Мариша попыталась, но не вышло.

— Что же мне теперь делать-то, Борис Николаевич?

— Даже не знаю, что вам такое и посоветовать...

Опять наступила пауза.

— Я понимаю,— шепнула Мариша,— зачем я вам? Я малограмотный человек, из деревни...

— Как вам сказать... Дело, конечно, не в этом. Грамотным человеком вы станете, если захотите. Я вам этого искренне желаю.

Сейчас Марише было совершенно все равно, станет она грамотной или нет.

— Кончена моя жизнь! — опять шепнула она.

— Перестаньте говорить глупости! — с несвойственной ему строгостью прикрикнул Борис Николаевич.— В конце концов, вы меня ставите в нелепое положение. Что вы во мне нашли? Это смешно просто!

Мариша смотрела сквозь слезы на Бориса Николаевича и думала: «Как это что нашла?.. Да тысячи мужиков, хромых, косых, пропивших половину разума, и те думают, что лучше их нет. А в этом человеке все, ну просто все, что только может быть лучшего! Кого же тогда и любить?»

Если бы кто-нибудь полгода назад сказал Марише, что она будет сама навязываться мужчине, она бы очень обиделась. А вот сегодня так и вышло. Но, как это ни странно, стыда она сейчас не испытывала, а только одну горькую печаль.

— Бросьте, умоляю вас! — повернувшись к ней, сказал Борис Николаевич.

Он стал говорить о том, какая она славная, какая добрая, как в квартире на Полянке все ее любят, и что если она сейчас из-за пустяков обидится и перестанет здесь бывать, то на его душе будет страшный грех.

А она слушала и думала: «Хороши пустяки! Тут, можно сказать, вся жизнь!..»

И вдруг Марише показалось, что они сейчас в квартире уже не одни. Хотя вроде бы и входная дверь не хлопала, и пол не скрипел. Она вышла из комнаты Бориса Николаевича и действительно увидела перед собой Селиванову. Та пристально поглядела на Маришу, потом отвернулась и хотела повесить на вешалку свое пальто. Оно соскользнуло и свалилось на пол.

— Это вы, Валентина Михайловна?

Селиванова молчала, пальто так и лежало на полу.

— Знаешь, это в конце концов... Я понимаю, что тебе замуж надо. Но все-таки следовало бы подумать, куда ты лезешь. Я считала, что ты умнее!

В следующее воскресенье Мариша на Большую Полянку не пошла. Сидела и плакала. Ее обидели именно там, где она меньше всего могла ожидать. Она уже корила себя, что так безраздельно отдала душу обитателям квартиры на Полянке, ведь за это время могла бы обзавестись подружками, могла бы при большом желании познакомиться даже с кем-нибудь из парней. Но, возвращаясь мыслями к Борису Николаевичу, она понимала, что никакие парни ей не нужны, даже самые золотые; любовь к человеку, который был старше ее на целых восемнадцать лет, как будто прибавила ей самой ровно столько же.

Слезы у Мариши то просыхали, то набегали снова. Так смолкает ночной дождь, и вдруг снова стучат и шуршат по крыше капли. Марише казалось, что еще ни разу в жизни не была она так несчастна. Не радовала и новая комната на двоих, хотя раньше ей и вовсе некуда было бы спрятаться со своим горем от шести девчонок, которые спали койка к койке.

Но долго одиночества Маришина душа не выдержала.

Трижды садилась Мариша на трамвай, чтобы ехать на Полянку, и трижды сходила на следующей остановке. Наконец все-таки поехала.

Бориса Николаевича в квартире видно не было. Дверь в его комнату сегодня была плотно закрыта, и ее сторожил Макар.

Селиванова извлекла из холодильника торт с желтыми кремовыми розами.

— Изволь есть, — как-то очень сурово и категорично потребовала она.

До Мариши почему-то к этому торту никто не притронулся. Ей показалось даже, что сама хозяйка смотрит на кремовые розы с отвращением. И Марише вдруг стало ясно, что за истекший месяц в квартире на Полянке что-то случилось.

— Знаешь, наш-то герой собирается дать тягу, — после длительного молчания сказала Селиванова. — Вчера явился с этим тортом. Чтобы подсластить...

Мариша замерла и слушала. Оказывается, Борис Николаевич втихомолку подыскал себе обмен и на днях переезжает куда-то в район Красной Пресни. Когда он об этом объявил, то был очень смущен, пытался приводить какие-то неубедительные доводы.

— Говорит, экспресс идет оттуда к месту его работы. Пусть попробует. Ему в этом экспрессе последние кости переломают.

Валентина Михайловна была растеряна и угнетена. Оставалось только догадываться, что за это время произошло между нею и Борисом Николаевичем.

К торту Мариша почти не притронулась, и его унесла к себе Екатерина Серапионовна. Старушка тоже была озадачена тем, что Борис Николаевич их покидает, но особой трагедии в этом не видела. А Мариша в смятении думала о том, что другой мужчина на его месте покрутил бы голову им обоим с Селивановой, а после бросил бы их, когда надоели. Этот же человек, наверное, даже комнаты себе хорошей подбирать не стал, взял первую попавшуюся, только бы своим присутствием никому душу не бередить. Она попыталась представить себе, какое же лицо было у Бориса Николаевича, когда он пришел к Валентине Михайловне с этим тортом, какой голос...

Увидела Мариша Бориса Николаевича в последний раз уже в середине февраля. Селиванова нарочно в этот день из дома ушла, и отъезжающего провожали Екатерина Серапионовна, Мариша и Макар. Лицо у Бориса Николаевича

было тревожное, бледное, чувствовал он себя с самого утра плохо, принимал какие-то таблетки. Никак не мог уложить вещи, пока Мариша ему не помогла.

— Спасибо вам большое, Марина!.. Не беспокойтесь, это я сам возьму. Прощайте!..

Шарф он на шею замотать забыл, он болтался у него из кармана. Мариша старалась не смотреть ему в глаза.

— Счастливо, Борис Николаевич! Посуда ваша вот в этой корбочке, не разбейте.

— Посуда? Ох, да, благодарю вас!.. Передайте привет Валентине Михайловне. Очень жаль...

— Обязательно передам, — поспешно сказала Мариша.

Екатерина Серапионовна глядела вниз из окошка, с третьего этажа, Макар отчаянно царапал дверь, стараясь вырваться на лестницу. Мариша вернулась в квартиру, увидела голую комнату, в которую уже сегодня должен был кто-то въехать, и больше не стала себя сдерживать, всхлинула и спрятала лицо в ладони.

Освободившуюся после Бориса Николаевича комнату занял отставник, человек преклонного возраста, но крепкого телосложения. После его визитов в домоуправление, а потом в райисполком появились водопроводчики, маляры, и места общего пользования были приведены в полный порядок. На входной двери повешен ящик с замочком, и сюда дважды в день опускалось большое количество столичных газет и журналов.

— Валя, вы несправедливы, — покачала головой Екатерина Серапионовна, когда Селиванова высказала что-то нелестное по адресу нового жильца. — Василий Степанович человек очень спокойный, мы даже шагов его не слышим.

— Вот это и плохо, — отрезала Селиванова. — Почему это ваш Василий Степанович ходит так неслышно, когда в нем, наверное, центнер веса?

Валентина Михайловна явно хандрила. Она опять стала расхаживать по квартире в старом халате и шлепанцах на босу ногу.

— Дело прошлое, Огонек, — призналась она Марише, — но я никак не могу забыть этого человека.

Мариша сама не могла забыть.

— Согласись, что это был очень приличный мужик. Такая уж у меня дурацкая натура — всегда меня притягивают люди, в судьбе у которых какое-нибудь неблагополучие. Не могу я видеть сытые морды. Вот такие дела, Огонек.

И Селиванова рассказала Марише и про то, что нашла

общие знакомые, от которых она узнала, что бывшая супруга Бориса Николаевича в пору их совместной жизни вела себя, мягко говоря, не очень красиво.

— Вот ничтожным бабам всегда везет,— заключила Валентина Михайловна.— И таких еще любят всю жизнь. Просто непостижимо!

Мариша готова была согласиться, что в жизни много непостижимо. Непостижимо было и то, что и она собиралась любить Бориса Николаевича всю жизнь.

Последующие события той холодной зимы отодвинули в сторону личные, пусть самые горькие переживания. Через десять дней после отъезда Бориса Николаевича с Большой Полянки Маришу чуть не раздавили в толпе, когда она попыталась попасть в Колонный зал, чтобы посмотреть на мертвого Сталина. Она никогда не видела вождя живым и страстно возжелала взглянуть хотя бы на его гроб. Перепуганная, плачущая от боли, горя и изнеможения, она поздно вечером едва добралась до Большой Полянки.

— Вот идиотка!..— испуганным и злым шепотом сказала Селиванова.— Боже мой, какая идиотка!

Она сама помогла Марише вымыться, дала валерианки и забинтовала ободранное до мяса колено. Потом понесла эти же капли и Екатерине Серапионовне: старушка не осушала глаз уже третьи сутки.

— Нет, это просто невыносимо! — сказала Селиванова.— Прекратите! Чего вы воете?

Мариша была так удивлена, что у нее даже слезы просохли. Селиванова показалась ей очень бесчувственной, и все Маришины симпатии сейчас были на стороне плачущей старушки. Та, впрочем, через несколько дней утешилась, а Мариша пребывала в печали весь март. Но на производительность труда ее переживания не повлияли, тем более что мартом заканчивался производственный квартал, и работать спустя рукава никак не приходилось.

Весна в этом году не спешила: на Москве-реке синел лед, морозило и метелило до самого апреля. День прибавился на два часа, но этого как-то не ощущалось.

— Ты не желаешь, Огонькова, в хор записаться? — спросила Маришу профорг из цеха.— Говорят, настоящего артиста пришлют руководить.

— В хор?..— удивленно переспросила Мариша. Ей не верилось, что настало время, когда опять уже можно петь.

Но дни эти наступили. Близилось лето, на фабрике заговорили о путевках, о детских лагерях, об экскурсиях и поезд-

ках. В одно из майских воскресений швейниц повезли на массовку. Ехали по Рязанскому шоссе, на семьдесят пять километре автобус свернул в лес. Первая трава была так хороша, что жалко было топтать. Только разве кого оставишь, тем более что большинство приехало с детьми. В лесу нашли большой пруд с голубыми незабудками по берегу — он был еще очень холодный, и только те, кто сильно подвыпил, рискнули лезть в воду. Но было очень весело; целый день играли два баяна, женщины перепели все песни, какие только знали. И если бы некоторые девчата вели себя посдержаннее, то и вовсе массовка была бы замечательная. Что ж поделаешь, когда на швейной фабрике ребят и мужчин мало? Лучше уж поискать на стороне, а не ссориться и ревновать при всем коллективе.

— Ну как, Огонькова, довольна? — спросила председатель фабричного комитета. — Еще поедешь?

— Большое спасибо, очень довольна, — сказала Мариша. — Лес такой прекрасный! У нас в деревне такого нету, у нас все поле...

Но больше этим летом на массовку не поехали: оно в Москве было дождливое-предождливое. Правда, в цехе и без солнца жары хватало, а вот прогуляться пойти — это уже хуже. Мариша купила себе зонтик, а поверх новых босоножек иногда даже надевала галоши. Но Москва — это не деревня, тут любую лужу можно обойти стороной, не замочив ног. Что же касается настроения, то оно у Мариши теперь было уже вовсе бодрое. А плохая погода на нее не влияла.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Весна пятьдесят четвертого года была ранняя: уже с середины мая повсюду цвела по бульварам и скверам лиловая сирень, а кое-где на припеке зацветала и поздняя, белая.

В обеденный перерыв швейницы устремлялись в зеленый садик при фабрике. Мариша заметила, что семейные женщины редко ходят в столовку, может быть, деньги сэкономили, а может, повара не могли на них угодить. Марише казалось, что зря: щи мясные давали очень вкусные и всего за рубль сорок. На гривенник хлебушка — и очень хорошо. Второго блюда, честно говоря, Мариша и сама не брала, считая, что гуляш или битки — это баловство, роскошь.

То ли действительно погода была уж очень хороша, то ли события последних месяцев воодушевляли, но чувствовали сейчас себя все вокруг так, словно какую-то тяжелую заботу с плеч стряхнули. А причина была простая: каждая вторая работница на их фабрике была или тульская, или рязанская, или смоленская; всю зиму только и было разговоров по цехам, что государство сняло с колхозников налоги, скостило колхозам долги и дало ссуды на подъем хозяйства. Товары в деревне появились, одежда, посуда. А то ведь за войну так подбились, что картошку сварить было не в чем, из черепков пили и ели. Не у одной Мариши, почти у всех по деревням жила родня, свойственники. Молодежь на фабрике за путевками в дом отдыха гналась, в какую-нибудь поездку, а те, кто постарше, жертвовали свои отпускные дни на то, чтобы проведать мать, старшую сестру, тетку. Нагружались пшеном, макаронами и ехали. Хорошо, кому дорога была прямая, а кому и с пересадкой.

Все чаще посещала Маришу мысль, что надо бы пренебречь обидами и съездить в отпуск в Орловку. Она бы не к брату гостить поехала, а только поглядеть на родное поле, постоять над зеленым яром.

Но поехать в Орловку Марише не довелось. Этой весной она познакомилась со своим будущим мужем.

Уже не раз попадался ей на Симоновском валу парень в армейской фуражке без звездочки. Наверное, где-то рядом жил. Марише казалось, что когда он ее замечал, то замедлял шаг, а потом смотрел вслед. И вот однажды решил остановиться. Подмигнул веселым глазом и подал крепкую, горячую руку.

— Здорово!

— Здравствуйте!

— Меня Толей звать. Анатолий Трофимыч Лямкин.

Почему было и Марише не сказать, как ее зовут? Выглядел этот веселый Анатолий лет на тридцать, плечи у него были раскидистые, подбородок и скулы твердые, мужские. Под рабочей курткой чистая голубая рубашка.

— Чего глазки-то прячешь? Не занятая? Давай в кино сходим.

На первый раз Мариша от приглашения отказалась. Но до дома ее Анатолий проводил. Чтобы не думала, что он шпана какая-нибудь, показал служебное удостоверение и водительские права второго класса.

— Восемьсот пятьдесят получаю, но без премиальных не живу.

Теперь, узнав адрес Маришиного общежития, он уже на следующий день появился и там.

— Я билеты купил на восемь часов. Собирайся.

Следовало бы помедлить с согласием. Но парень как будто предлагал от души. Другая на Маришином месте скакала бы от радости.

— Ну что же, пойдете, — сказала Мариша.

Анатолий сегодня явился шикарным, в новом песочном костюме и в большой шоколадной кепке. Он был полон расположения, только вышли, взял Маришу под ручку. Метров двести до кинотеатра она шла вроде бы сама не своя.

— А ну, пацан, айда отсюда к чертовой бабушке!

Это он согнал мальчишку, который занял их места. Тот пулей слетел со стула, юркнул в проход.

— Пусть бы сидел, — несколько ошеломленно сказала Мариша, — вон ведь мест свободных сколько.

— Те места нам не годятся, — со значением улыбнулся Анатолий и подпихнул Маришу в последний ряд, в самый угол.

Она разволновалась и страшно жалела, что пошла: ожидала хамства. Но Анатолий грубостей себе никаких не позволил, только посмеивался, болтал и наклонялся к самому лицу. Картину он Марише, естественно, посмотреть почти не дал. Щеки у нее горели, а руки были страшно холодные.

— Зайти-то к тебе можно? — спросил Анатолий, когда фильм кончился.

— Нельзя, — сказала Мариша.

Он истолковал это по-своему:

— У меня, понимаешь, тоже комната с корешом на двоих. Ну, я его махану куда-нибудь. Пойдешь?

Мариша еще категоричнее сказала, что никого «махать» не надо, она все равно не пойдет.

— Это ты такая? Что я тебя съем, что ли? Посидели бы, поговорили.

Анатолий проводил Маришу до общежития, у дверей пробовал опять уговаривать:

— Ну, а в другой-то раз пойдешь?

Чтобы не упрекать себя потом, что сразу оттолкнула человека, она постаралась улыбнуться и сказала:

— Другой раз — другой сказ. Спокойной ночи!

Хотела она этого или не хотела, но последующие дни думала об Анатолии. Ее только удивляло и тревожило, почему он ее ни о чем не расспросил: ни кто она, ни что она, есть ли у нее родные, близкие, даже сколько ей лет. Это

наводило на мысль, что намерения его самые несерьезные и держаться с ним следует сурово.

А Анатолий тем не менее торопил события. Сидели ли они с Маришей в парке или опять в зале кинотеатра, он утверждал только одно: как бы это побыстрее сойтись. Ей казалось, что ему все равно, что за девица ему достанется, лишь бы побыстрее досталась.

Но Мариша ошибалась: Анатолий влюбился. На третьей неделе знакомства он сказал:

— Чего голову-то друг другу крутить? Давай распишемся.

Мариша взглянула ему в глаза и увидела, что парня действительно заело. В эту минуту Анатолий показался ей даже красивым. Мариша опустила глаза, вспомнив, что не так давно любила другого человека, такого непохожего. И подумала о том, что ведь мог же этот Анатолий встретиться ей год назад. Тогда, возможно, она была бы даже счастлива.

Сраженная неожиданным поворотом судьбы, Мариша вдруг сдалась. В конце концов ведь ей этой весной исполнилось двадцать пять лет. В начале июня они с Анатолием расписались.

Муж милостиво разрешил Марише остаться при своей фамилии, которая ей самой очень нравилась и которой она дорожила как памятью о тех днях, когда все в госпитале ласково называли ее Огоньком, в том числе и военврач третьего ранга Селиванов. Она и вправду была тогда «огоньком», а теперь, после того, как жизнь на нее несколько раз дунула, что-то никак не разгоралась... При мысли о Селивановой Маришу посетила грустная догадка, что выбора ее Валентина Михайловна может не одобрить.

Расписывались по месту жительства жениха и невесты, на Симоновском валу. Анатолий стоял нарядный и счастливый. Он уже добился того, что кореша его перевели к другому холостяку, а им с Маришей досталась комнатенка с одним окошком, но с большим стенным шкафом и крашеным полом. На стекле висели казенные часы, которые два раза в день нужно было подталкивать, чтобы шли.

Народу на свадьбу Анатолий созвал больше, чем позволяла жилая площадь. Кто из гостей опоздал, тот стоял в коридоре, принимал тарелки и рюмки через головы. На кровати, где предстояло провести первую ночь молодым, сидело сейчас человек тринадцать гостей.

Ни Романок с женой, ни сестра Лидка на свадьбу к Ма-

рише не приехали. Может быть, потому, что свадьба эта была скоропалительная, а в деревне любят, чтобы было время на сборы, на раскачку. А может, просто убоялись трат: на свадьбу к сестре с пустыми руками не поедешь.

Так что Мариша сидела совсем одна среди мало знакомых ей людей, и, как она ни бодрилась и ни улыбалась, явно проглядывали ее смятение и неуверенность в правильности того, что происходит. Дважды в жизни она влюблялась, а вот теперь идет замуж, можно считать, не любя.

Селиванова Маришино приглашение тоже отвергла.

— Нет, знаешь... Я ведь под гармошку плясать не умею.

Что касается Екатерины Серапионовны, то та честно призналась, что очень боится пьяных. А какие Мариша могла дать гарантии, что будет по-другому?

Однако особого разгула не было. Анатолий в этот вечер не повалился, как Романок на своей свадьбе, хотя выпил немало. Когда ему показалось, что гости уже навеселились, он не постеснялся сказать прямо:

— Метро, трамвай кончаются, поэтому большое до свидания вам всем!

Маришу он обнял так горячо, что она даже на какой-то момент почувствовала себя счастливой. Все-таки Анатолий женился на ней без всякого расчета, значит, по-настоящему любил. А такое бывает не часто.

Когда медовый месяц был в разгаре, Мариша решила показать своего молодого мужа обитателям квартиры на Большой Полянке.

Екатерина Серапионовна, увидев нарядных Маришу и Анатолия, обрадовалась. А Мариша прежде всего обратила внимание на то, что от селивановской двери убран коврик, на котором всегда возлежал Макар.

— Собаки больше нет,— шепотом сообщила Екатерина Серапионовна, когда гости зашли к ней в комнату.

Интонация у старушки была печальная, хотя раньше между нею и псом отношения были самые спокойные. Видимо, она переживала за свою соседку.

— Я вас поздравляю! — сказала Екатерина Серапионовна. — Желаю вам счастья!

— Спасибо, бабуся! — за себя и за жену отозвался Анатолий. — А комната-то у тебя какая хорошая! Продай-ка нам ее.

Екатерина Серапионовна растерялась.

— Что вы хотите сказать?..

— Хочу сказать, что продай. Как-нибудь сделаемся. Мариша с мольбой посмотрела на своего «молодого». Она уже поняла, что привела его сюда в первый и последний раз.

В это время в комнату вошла Селиванова. Опять в халате.

— Добрый день, Валентина Михайловна,— робко сказала Мариша.

— Здравствуй, Огонек,— как-то вяло отозвалась та.— Появилась, наконец?

К себе она гостей не пригласила, за свой сугубо домашний костюм извиняться тоже не стала.

— Не обижайтесь на нее,— попросила Екатерина Серапионовна, когда Селиванова удалилась.— Она все еще не может прийти в себя после смерти собаки. Я тоже как-то плохо себя чувствую в последнее время. Совсем не могу работать, остановилась на полуслове...

— Ладно, пошли! — заскучал Анатолий.— Прощай, бабуся!

Провожая Маришу, Екатерина Серапионовна сказала: — Постарайтесь остаться такой, какой вы были. Помните, как мы с вами плакали на «Царской невесте»?..

Мариша была очень подавлена.

Анатолий же искренне удивился, что его молодая жена так сникла. Правда, она еще дома просила его, чтобы он зря не молол языком. Но он был твердо уверен, что все, что ни скажет,— правильно. И если молчать, так это надо не в гости идти, а в глухой лес по грибы.

2

Лето пошло на вторую половину, в июле температура в цехе, где работала Мариша, доходила до тридцати пяти. Гладильщицы раздевались до нижнего белья, наказав уборщицам и вахтерам лиц мужского пола в гладилку не пускать. Только одна Мариша не пожелала даже в самую жару расстаться со своим синим рабочим халатом.

— А ты, я гляжу, левша! — удивилась новая мастерица, увидев, как она ловко перехватывает тяжелый утюг из правой руки в левую.

— Я и левша и правша,— улыбнувшись горячими губами, сказала Мариша.

— Ну, тогда ты тут у нас всех забьешь.

Мариша никого «забывать» не собиралась, но действительно оказалась расторопнее, а главное, выносливее других. Но и ей приходилось нелегко. Выпускали сейчас в основном швейные изделия из штапельного полотна, только что входившего в моду. Глажке это полотно поддавалось хорошо, но, чтобы честно отутюжить каждый шов на платье или халате, не вытянуть и не завалить на сторону, приходилось попариться. За смену Марише накидывали больше сотни изделий с пришитыми пуговицами, которые при неосторожности можно было расплавить. А утюг, который сам же и брызгал горячей водой и паром, весил больше четырех килограммов. Под конец смены Мариша чувствовала непривычную слабость, и маленькие, пусть и сильные, руки ее становились горячими и ватными.

Анатолию Мариша про это не рассказывала, не жаловалась, а то он, чего доброго, мог сорвать ее с работы, которая Марише все-таки была по душе и приносила хорошую денежку. Вот только раздражало, когда к концу месяца уж очень авралили. Мариша тогда спала плохо — перед глазами у нее плыли сарафаны, юбки, блузки: в цветочек, в клетку, в горох, гладкие, пестрые, с рукавами, без рукавов...

За первый месяц после свадьбы Мариша принесла своему мужу тысячу рублей чистыми. По прежним, деревенским представлениям, это была огромная сумма. Но Анатолия она этими деньгами не удивила.

— Шибко-то не жмите, а то расценки подрежут, и за те же денежки будешь не сто, а двести подолов утюжить.

Мариша не поверила, но в чем-то Анатолий оказался прав. В следующем месяце вместо штапеля пошел какой-то жесткий вискозный материал, утюжить который было чистое наказание: перегреешь утюг — горит, не догреешь — так и остается мятое, никакого вида нет, а ведь это людям покупать.

Один месяц Мариша на пестрых пляжных ансамблях просто сама «сгорела»: какой-то модельер придумал такое, что кругом одни швы и петли. Притом тройка: трусы, лифчик и накидушка. А плата, как за одно изделие.

«Куда это столько нашили? — грустно спросила сама себя Мариша. — Можно подумать, что все купаются».

После тысячи рублей приносить домой меньше ей было неудобно, она поднаегла и заработала еще больше. Но в поллучку с нее удержали большой подоходный налог да еще за бездетность шесть процентов, и она отошла от кассы очень удивленная и обескураженная. Хорошо, что Анатолий был

не из самых жадных и большого неудовольствия не выразил.

— Бог дал, бог взял, — сказал он. — Не тужи, Парфеновна!

Сам он за три года жизни в столице сменил уже несколько мест. Всерьез он ни с кем не задибался, работал ровно, получал премии. Тем не менее, как только подвертывалось место получше, сомнениями не терзался и брал расчет. Мариша смутно догадывалась, что Анатолий подхалтуривает, левачит на казенной машине, но, видимо, с умом: еще ни разу не попался, и водительские права у него были чистые, как стекло.

— Зачем ты это делаешь, Толя? — спросила она однажды, найдя у него в кармане смятую сотню.

— Брысь! — весело сказал Анатолий. — Без сопливых обойдемся.

На другой день он ей на эту сотню приволок две пары чулок и флакон духов. Не догадался только бумажку хорошую в магазине попросить, завернул подарок в «Вечерку».

Молодой Маришин муж был неизменно весел как человек, в жизни которого исключены неприятности. В отличие от жены Анатолий ничего и никого не боялся, все ему было ясно и понятно. Последнее время работал он в одном из строительномонтажных управлений, возил блоки, кирпич, раствор. Была у него возможность пересест на персональную «Волгу», но катать начальников и их жен Анатолий не желал из принципа. Поэтому терпел свой самосвал, тяготился только пылью и грязью. Каждый день он менял рубашку, а нижнее когда через день, когда через два, не реже. Мариша стирала и гладила, пришивала пуговицы. Не дожидаясь, когда чистюля муж сделает замечание, меняла постельное белье, выколачивала подушки и одеяла. Занавески у них в комнате были белее снега, накидки и покрывало шумели от крахмала. Анатолий нашел жену отнюдь не ленивую. Только иногда ему казалось, что она ни минуты не сидит без дела, потому что хочет за этим делом спрятать какую-то свою тайную печаль.

— Сядь, посиди, — сказал Анатолий и хлопнул ладонью по дивану рядом с собой.

Мариша села, но тут же протянула руку, чтобы взять клубок и спицы. Муж отобрал их.

— Ты кто? — спросил он. — Старуха, что ли?

Один раз он застал Маришу моющей полы в общем большом коридоре, куда выходило десять дверей.

— Разве наша неделя?

— Да нет... Грязно очень.

Анатолий, не постучав, открыл дверь в комнату к многодетным соседям и спросил грозно:

— Моя жена вам, паразитам, что, уборщица? — И, по-вернувшись к Марише, добавил: — Увижу еще, убью!

Она подняла на него глаза и спросила совсем тихо, не с вызовом:

— За что же такое ты меня убьешь?

Сам заниматься хозяйством Анатолий не любил, хотя на поверку оказалось, что умел он делать все. Один раз взял у Мариши из рук кусок кислого теста и завернул такую узорную плюшку, что она только ахнула.

Но еще больше она была удивлена, когда Анатолий взялся склеить гармонию для соседа, а когда та была готова, сам с перебором сыграл «Вниз по Волге-реке». На Маришин вопрос, почему же он себе не купит баяна или аккордеона, Анатолий махнул рукой:

— Да ну!.. Это так, баловство. Вон лучше радио слушай.

По субботам Анатолий и Мариша ходили в баню. Анатолий управлялся за неполный час, а Мариша иной раз должна была только шайки дожидаться минут десять — пятнадцать. Ей как-то не приходило в голову, что надо дать полтинник банщице, и все было бы в порядке. В ожидании жены Анатолий выпивал в буфете кружки три-четыре пива, но домой один никогда не уходил, ждал Маришу.

В начале зимы он побывал в командировке в Саранске. Там купил на базаре пуховую пензенскую шаль, специально для того, чтобы Мариша не застудила голову после бани. Неделью на одном хлебе сидел, но купил. Светло-серая шаль очень шла к серым Маришиным глазам и розовым после жаркой бани щекам. Это замечал не только собственный муж, но и другие мужчины, которым давно бы следовало отправиться домой, а они все толпились возле буфетной стойки.

— Ты сегодня что-то долго парилась, — заметил жене Анатолий. — Я уж хотел было обратно за пивом становиться.

— Рядом ребенка маленького мыли, — сказала Мариша. — Неудобно было плескаться.

— Когда ребят натащут, это хуже нет. — И, не приняв молчаливого упрека жены, Анатолий добавил: — А ведь не доливает пива! Спасибо, хоть холодное.

...Начался новый, тысяча девятьсот пятьдесят пятый. Меньше года Мариша была замужем, но ей казалось — много больше. К Восьмому марта портрет ее вывесили на стенд Почета. Сначала Маришу вызвали в фабричный комитет и там, ослепив двумя лампами, сфотографировали. Кроме почетного места на стенде, она получила еще двести рублей премии. Она догадывалась, что не всегда премии достаются тому, кто их заслужил, а иногда и тем, кого любят мастера, кто держится к ним поближе. Но у нее лично никакой заручки тут не было, значит, она действительно заслужила эту премию своими руками и терпеливым характером. К другим работницам мастера иногда не рисковали даже подступиться с невыгодным изделием, а шли к Марише: знали, что отказа не будет, что она не огрызнется и не побежит с жалобой в фабричный комитет.

На Восьмое марта Маришу посадили в президиум и дружно приветствовали аплодисментами. Она была очень тронута, она даже не представляла, что ее на фабрике так много людей знает и любит. Поэтому дала себе твердое слово, что как работала честно, так и будет честно работать, как затыкала все дырки, так и будет затыкать. Людское спасибо — это тоже большая радость, счастье даже.

Мариша в этот вечер была нарядная, веселая, пела и плясала вместе со всеми. Под конец работницы затеяли играть в жмурки, завязали глаза начальнику ОТК. Завязали, возможно, плохо, потому что он вскоре же поймал Маришу и отпустил не сразу.

— Я вас по маленьким ручкам узнал, — сказал он ей.

Начальник ОТК был немолодой, но мужчина очень интересный, чернобровый. Мариша и не догадывалась, что он ее раньше заметил и разглядел, какие у нее ручки. Ей и в голову не могло прийти, что она кому-нибудь, кроме своего Анатолия, может понравиться. Внимание начальника ОТК ей было очень приятно, но волю этому чувству она не дала. Муж у нее был ревнивый, да и вообще ни к чему.

Две сотни премиальных Мариша отдала Анатолию. Она без его ведома денег не тратила, и это ее нисколько не угнетало. Наоборот, ей казалось, что так даже и жить легче, тем более что муж для нее ничего не жалел.

Вскоре после праздника Анатолий опять уехал в недельную командировку. Мариша осталась дома в одиночестве, и к душе ее вдруг впервые подступил холодный страх: в чем дело, почему у них ребенка-то не намечается? Неужели потому, что нету у нее до сих пор большой тяги к своему мужу,

такой тяги, как у него к ней? И самым удивительным и пугающим было то, что Анатолий ей по этому поводу пока не задавал ни одного вопроса. Это невольно приводило Маришу к выводу, что изъян заключен, возможно, и не в ней, а в нем. Такое предположение заставляло ее до поры до времени молчать, потому что совестно было об этом спросить... Мариша твердо давала себе слово пойти к доктору, но все не шла: сильно страшно — вдруг скажут, что надеяться не на что. Вот если бы Анатолий ее к врачу послал, она сразу побежала бы.

Но он об этом и не думал. Однажды только сказал каким-то полупнамеком:

— Вот ты говоришь, дети. А погляди, что у Мишкиных делается!

За стеной у соседей с утра до вечера гомозилась и орала ребятня. Их пока было трое, но четвертый должен был родиться вот-вот. Никого эти дети не слушались: ни отца, ни матери. Боялись одного Анатолия и, когда он появлялся в общем коридоре, опрометью кидались в свою комнату.

— Мои бы были, я бы их всех передушил!

Сказано это было, конечно, для красного словца, но у Мариши внутри все вздрогнуло.

— Кто бы это тебе дал детей душить?..

До Анатолия наконец дошло. Он нахмурился, потом сказал:

— Ну ведь нет их пока, и слава богу.

Это «пока» немножко утешило Маришу, как будто от этого слова могло что-нибудь зависеть. Она подумала о том, что в конце концов у их матери первенец родился только через два года после свадьбы.

Но это соображение недолго утешало Маришу. Весной ей исполнилось двадцать шесть лет. И вместо того, чтобы радоваться теплу и солнечному свету, она чувствовала чисто осеннюю тоску. Ночью она видела какие-то страшные, несуразные сны. Опять видела во сне Бориса Николаевича и во сне же любила его. Видела какую-то чужую девочку, которой расчесывала после бани мягкие длинные волосы. Потом видела мальчика, играющего на пианино, чего только не снилось!.. У Мариши совсем отбило аппетит, он пропадал еще и от работы в густом пару. Она исхудала, чем вызвала неудовольствие мужа.

— Об тебя, Парфеновна, ушибешься скоро. Что это с тобой делается-то?

Мариша никому про себя ничего не рассказывала, не жаловалась, не делилась. Но женщины, которые работали

рядом с ней, о многом догадались и сами полезли с советами. Одна работница предложила по врачам не ходить, а съездить к «бабушке».

— Да что вы!.. — покраснев и побледнев, сказала Мариша. — Да зачем я туда поеду?..

— Поезжай, поезжай! — посоветовали и другие. — Образованную из себя не корчь.

И Мариша допустила мысль, что, возможно, следовало бы и поехать. Рекомендованная «бабушка» жила в Раздорах, по Белорусской дороге. Мариша доехала до Раздоров электричкой, а от станции до поселка шла три километра пешком.

«Бабушка» самым прозаическим образом стирала белье, как видно, с большой семьи. Чтобы домашним не было слышно, о чем она разговаривает с посетительницей, включила приемник, из которого шла передача на иностранном языке.

— Если доверяешься, — ласково и многозначительно сказала она, — то я тебе, так и быть, помогну.

Мариша попыталась изобразить на лице доверие. Она ждала чего-то таинственного, а «бабушка» дала ей только какой-то желтоватой воды в четверке из-под московской водки и велела пить ей и Анатолию на ночь, не забывая трижды перекреститься «перед и опосля».

— У меня муж неверующий, — робко сказала Мариша.

— Сама его окрести. Всю выпьете, опять приезжай.

Мариша хотела дать «бабушке» десятку. Та затрясла головой:

— Допреж дела денег не беру.

Это несколько убедило Маришу в том, что она приехала сюда не напрасно. Может быть, и произойдет «дело».

Но Анатолий не только креститься, но и пить эту желтую воду наотрез отказался, послал Маришу вместе с «бабушкой» куда подальше.

— Поноса не боишься, тогда пей, — сказал он, — дурочка!

Но утопающий хватается за соломинку, поэтому Мариша на всякий случай выпила эту четверку. Ничего с ней не случилось — ни хорошего, ни плохого. Но к «бабушке» она больше не поехала, а пошла в поликлинику.

Молодая врачиха, в отличие от внимательной и ласковой «бабушки», к Маришиной беде отнеслась довольно равнодушно, как будто та жаловалась на бессонницу или насморк. Сказала, что особенно волноваться не нужно и чтобы Мариша зашла через полгода.

— Ну, что опять? — спросил Анатолий, увидев Маришины слезы.

— Толя, ну зачем я на свете живу?.. — дрожащим голосом сказала она. — Для чего?

— Надоела ты мне, Маришка! — сказал он сердито. — Чего ты от меня-то хочешь? Ты думаешь, во мне дело? Как бы не так!.. Не знаешь ты ни черта!

И чтобы как-то успокоить жену, добавил:

— Дались тебе эти дети! У моей матери нас шесть штук было. А думаешь, много ей от нас радости? Почти всех уже схоронила.

Говоря это, Анатолий погладил Маришу по волосам, положил свою голову ей на плечо.

— У меня сегодня знаешь какой день неподходящий был. Чуть ведь не влип я, Маришка!..

И он рассказал, что по дороге в Москву из Нового Иерусалима он подсадил к себе в машину каких-то двоих мужиков с молочной флягой. Те сказали, что везут побелку, а когда задержал пост, оказалось, во фляге молоко.

— Детские ясли обообрали, сволочи! И меня из-за этих сорока литров чуть под угол не подвели. Ладно, что инспектор человек попался, поверил. А то бы ты сейчас уж одна сидела. Тут бы никакая святая вода не помогла.

Это сообщение сразило Маришу. Она представила себе, что могла остаться совершенно одна. А человека, который ее несомненно и преданно любил, забрали бы и увезли куда-то... И Мариша, зарывав, еще раз горячо попросила его вести себя честно, повторяла, что никаких сотен и тысяч ей совсем не надо. Сказала ему даже, что его любит и без него померет.

Анатолий побледнел и крепко обнял жену.

— Маленькая моя, дуручка!.. Да разве я не понимаю? Я бы сам без тебя помер!

То ли оттого, что она простудилась, то ли от всех переживаний, но Мариша в первый раз в жизни расхворалась. Болела голова, и все время тянуло плакать. На медпункте фельдшерница увидела у нее слезы и спросила, в чем дело. Но Мариша только взяла таблетку от головной боли и, ничего не объяснив, ушла домой. Там до самого прихода Анатолия проплакала, положив голову на руки. Больничный лист ей выписали с трудом, потому что температуры не было. Но Анатолий пригрозил участковому врачу, что если с женой что-нибудь случится... Тот не захотел связываться, дал бюллетень на два дня. Сказал, чтобы потом Мариша обратилась к невропатологу.

— Это уж мы сами сообразим, — ответил Анатолий. — Надо, так к профессору сходим. Не в диком лесу живем.

В начале лета пришло очередное письмо из Орловки. Там уже забыли или делали вид, что забыли, при каких обстоятельствах Мариша покинула родной дом. Прежние письма, как правило, содержали разнообразные просьбы купить, достать, прислать. Но Мариша чувствовала себя обязанной разве что только в отношении младшей сестры, Лидки. Та, нахалка, правда, ни разу толком и не поблагодарила.

В последнем письме Маришу неожиданно приглашали в крестные матери: у Сильвы с Романком родился второй мальчик. Заодно они собрались окрестить и первого, родившегося сразу же после отъезда Мариши из деревни, то есть почти четыре года назад.

— Тебе эта волынка в полтысячи обойдется, не меньше, — пожал плечами Анатолий, когда Мариша показала ему письмо. — А думаешь, потом спасибо скажут? Я, брат мой, этот народец знаю!

Мариша промолчала. Что-то колыхнулось в ее душе. Ей очень хотелось поехать взглянуть на родные места, иногда просто до слез хотелось. Особенно беспокоило ее, как там могилка матери и отца: за эти годы и затоптать могли. Но сейчас она решила, что не поедет. Подумала о том, что вот Сильва проверяет, приходят ли ребята в школу в красных галстуках, Романок вывешивает флаги к празднику, а сами собираются тащить детей в церковь. Насколько веру покойной матери Мариша уважала, настолько лицемерие было ей поперек души, и она испытала прежнюю острую неприязнь к брату и невестке, хотя Сильва была, возможно, не так уж и виновата: Романок и крестины-то задумывал наверняка для того, чтобы лишний раз по пьянствовать.

Думая обо всем этом, Мариша не без некоторой гордости смотрела на собственного мужа. За год их совместной жизни Анатолий ни разу не перепил. Нормой его был стограммовый стопарь, закушанный чем-нибудь основательным: куском жареной колбасы с горчицей, тарелкой густого супа. Аппетит у Анатолия был очень хороший, шоферский. Иногда Мариша, глядя на жующего мужа, невольно вспоминала Бориса Николаевича, который жил почти на одном крепком чае. Она представить себе не могла, чтобы этот человек пил, к примеру, водку...

Еще задолго до летнего отпуска Анатолий завел разговор о том, чтобы махнуть куда-нибудь к югу, поглядеть

море. У одного из сослуживцев его, Гоши Сокова, был пыхтун — «Москвич» первой послевоенной марки.

— Не развалится, так доедем,— весело заявил Анатолий.— На бензин Гошке полсотни подкину, и всех делов. Он со своей бабой и мы с тобой.

Ему не пришлось уговаривать Маришу. Ей тоже страстно захотелось к тому синему морю, про которое она слышала только от счастливых людей, там побывавших, в том числе и от Анатолия, который служил в армии под Балтой.

— Покупаемся! И яблоки там по полтиннику ведро. Мариша прыгала, как девочка, собираясь.

Попутчиками оказались крошечный дядя с лысеющей макушкой, которую он прикрывал огромной кепкой лазурного цвета, и его супруга Галнна, Галочка. Дама эта была такого солидного объема, что Мариша испугалась, хватит ли им вдвоем места на заднем сиденье «Москвича».

— Мне что-то не хочется с ними ехать, Толя,— улучив минутку, шепнула Мариша мужу.

— Да брось! Что нам с ними, детей крестить? В вагоне двое суток париться, думаешь, лучше?

Из Москвы на юг выехали в первых числах июля, в очень сильную жару. Соковы взяли с собой килограммов тридцать сырой картошки. Может быть, Галочка учитывала свой хороший аппетит, а может быть, просто знала по опыту, почему на юге картошка. Так или иначе, в маленьком «Москвиче» было очень тесно, жарко, и еще не доехали до Серпухова, как у Мариши от всех переживаний, неудобств и жары заболела голова.

За рулем попеременно сидели то Гоша, то Анатолий. Гоше было лучше: он был коротенький, а у Анатолия подбородок чуть не упирался в колени. До Курска доехали болсе или менее благополучно, потом «Москвич» забаловал.

Галочка, по-прежнему пугавшая Маришу своей неразговорчивостью, тут достаточно ясно высказалась, что нужно было ехать им с Гошей двоим, тогда бы не ломались через каждые два часа. Но Мариша прекрасно понимала, что без Анатолия хозяева «Москвича» ломались бы еще чаще. Он свои «посадочные» отрабатывал честно: первым лез под колеса, подкручивал, домкратил, поднимал, заливал. У Мариши же всю дорогу болела душа, что сама тут ничем не может помочь.

Девятого июля, к вечеру, добрались до Анапы. Несмотря на сильную жару, Мариша умудрилась простудиться: две ночи они с Анатолием ночевали на земле. Она вообще стала

наблюдать за собой странные вещи: в деревне и мокла и мерзла, чем только не питалась, а всегда была здорова. А вот теперь неизвестно отчего-то вдруг насморк, то уши заложило, то поднимается какая-то тошнота. Главное же — очень пляшут нервы от высокомерия Галины. Та работала в большом гастрономе старшим кассиром и не скрывала своего пренебрежения к простой работнице, которая не денежек и пересчитывала, а ворочала тяжелый утюг. Это было до того несправедливым и обидным, что Мариша порой едва сдерживала слезы. Ей так и хотелось крикнуть: «Да погляди на себя в зеркало, ты, мырша! Не нужно мне ни твоего богатства, ни твоей машины. Ведь это счастье, что я не такая, как ты!..»

В Анапе мужчины повели своих «дам» на пляж. Галочка тут же стащила с себя сарафан и улеглась. А Мариша, которую вдруг охватила непонятная застенчивость, на первых порах только разулась и сняла с плеч жакетик, который взяла с собой, боясь новой простуды. Солнце, море, песок просто ошеломили ее.

— Все голые, а ты чего, дурочка, боишься? — спросил Анатолий.

— Да подожди!..

В первый раз в жизни Мариша должна была раздеваться на глазах у чужих людей, правда, если не считать бани. Но это же совсем другое дело. Откровенно говоря, Марише неприятно было глядеть, как муж ее сидит в одних трусиках при чужих женщинах. Правда, ей за Анатолия стесняться не приходилось: он был мужчина очень складный. А вот Гоша, как только снял с головы свою лазурную кепку, так превратился в сморчка: тело у него было в каких-то белых пятнах, и трусики он мог бы припасти получше, они на нем были длинные, линялые.

Дальше десяти шагов от берега Мариша не отошла, побоялась. У них в Орловке речки совсем не было, только в мокрый год застаивались на лугах маленькие озерки, где вода была теплая, вязкая, не доходившая ребятишкам до пупа. В глубоком яру, прямо у деревни, не купались — тут брали воду. Так что можно было считать, что Мариша теперь купалась первый раз в жизни. Когда она окунулась и тихая зеленая волна толкнула ее в грудь и обдала брызгами горячие щеки, Мариша почувствовала такой восторг, что вскрикнула. Удовольствие было бы еще более полным, если бы не страх за Анатолия, который заплывал так далеко, что она теряла его из глаз.

Через несколько дней дала себя знать и обратная сторо-

на медали. Фрукты в городе на базаре были еще дороги, яблок, обещанных Анатолием, не было вовсе. Он купил Марише черешни, велел есть самой, но она не удержалась и угостила Гошу с Галочкой. Те, пока не доели свою картошку, воздерживались от трат.

Жара стояла страшная, вода была везде невкусная, с ночевой плохо, и Мариша несколько заскучала. Красота морского берега радовала ее только в первые дни. Зато теснота и голый народ стали наводить на нее тоску. Но Анатолию здесь нравилось, ему плевать было на всех голых и одетых, лишь бы жарило солнце и грел бы песок. Он стал коричневым, как крашенное луком яйцо, а к Марише почему-то загар приставал туго.

Если не сидели в воде, то играли в «тысячу». Нашли на пляже еще одного охотника, а Галочка играла, как заправский игрок. Марише думалось, что хотя бы на время игры Галочка могла бы немножко прикрыться, а то неясно, заглядывают мужчины к ней в карты или за вырез купальника.

— Ты чего это насупилась? — спросил Анатолий, решивший, что жена недовольна тем, что он два раза подряд проиграл. — Мы же по маленькой.

Мариша ничего не ответила. Встала и пошла вдоль кромки берега, осторожно ступая босыми ногами по ракушкам. И сколько ни шла, кругом были люди и люди.

Здесь, на морском берегу, Мариша впервые в жизни пребывала в праздности. Предыдущие два отпуска, всего по двенадцать рабочих дней, пришлось на зиму. За один она получила деньгами, другой ушел на ремонт комнаты на Симонском валу, о чем Мариша ни минуты не пожалела. Под руководством мужа она так «художественно» выбелила потолок и покрасила стены, что сама не поверила, что это — дело ее собственных рук. А пол, с которого уже почти вся краска сошла, Мариша отскоблила, как, бывало, в деревне, до цвета свежего яичного желтка. Заботы с таким полом много, но много и радости, светлой памяти: они с матерью, бывало, мыли пол в четыре руки и воды не жалели, хоть таскать ее было далеко, из-под яра.

— Мама!.. — обращаясь к морю, тихо сказала Мариша. — Кабы ты тут меня видела!..

Внутри у нее что-то дрожало. Она понимала: это потому, что все кругом такое непривычное, не родное, а главное, от безделья, которое ей совсем не годилось; ее очень удивляло, почему же другие люди не тяготеют им, с раннего утра до позднего вечера лежат на песке или плещутся в воде.

Они и приехали раньше и позже, наверно, уедут отсюда. Неужели эти люди устают на работе больше, чем она, которой уже совсем не хочется отдыхать? Сейчас в деревне как раз сено гребут... Картошка, наверно, уже цветет лиловым цветом, луку небось сколько в каждом огороде, огурцов!.. Как Мариша любила ранние огурцы! С тех пор как уехала из Орловки, она уже ни одного душистого, холодного от росы не съела. Да разве дело в одних огурцах!.. И смутные, но горькие сожаления вдруг обступили Маришу со всех сторон, набегали, как волны на песок.

В один прекрасный день супруги Соковы объявили, что хотят «отрываться» из Анапы. Но предупредили, что обратно они Анатолия с Маришей задаром не повезут: есть попутчики, которые предлагают деньги.

— Ну ты скажи, паразиты! — возмутился Анатолий. — Всю дорогу я под ихней развальней лежал.

А Мариша была просто счастлива, что не сядет больше рядом с толстой Галочкой и не испытает тошноты, которая преследовала ее по пути сюда, в Анапу, в соковской таракелке.

Уехать по железной дороге оказалось совсем нелегко, но Анатолий проявил максимум предприимчивости. Ушел утром на вокзал и вернулся вечером, рубашка на нем была черная и мокрая.

— Вагон антрацита разгрузил, а то бы мы тут с тобой до ноябрьских сидели.

На следующий день Анатолий с Маришей, с билетами в кармане, в последний раз отправились на пляж. Муж купил Марише целых три килограмма черешни, и сам тоже стал ее есть на виду у Гоши и Галочки, плевал косточками в их сторону.

Мариша сегодня чувствовала себя как никогда прекрасно и позволила себе по этому случаю оголить плечи больше обычного. И только когда солнце стало садиться, испытала грусть: увидит ли она море еще раз, войдет ли в его теплые, качающие волны? Она прощальным взглядом окинула морской берег и пожалела, что ни разу не пришла сюда ночью, когда берег был бы совсем пуст. Страшно, а хорошо!

На работу Мариша вышла в конце месяца, следовательно, опять попала под самый аврал. Ей тут же накидали вороха тех же пляжных ансамблей, от которых и в Анапе у нее пестрило в глазах. И хотя после отпуска всегда тяжело входить в ритм, первые дни прошли быстро и даже весело:

прибегали посмотреть на нее, спросить адрес квартиры, где останавливались.

— Удовольствие очень большое! — заверяла Мариша. — Обязательно поезжайте.

Ей уже искренне жаль было людей, которые не видели моря, а о сопутствующих огорчениях она забыла.

4

Однажды, вернувшись с фабрики, Мариша застала Анатолия в сильной угрюмости. На темной от анапского загара щеке заметна была даже бороздка от слезы. Первой слезы, которую видела у него Мариша.

Объяснения он начал с того, что ругательски обругал соседских ребятишек, которые чуть не порвали письмо, полученное две недели назад, когда они с Маришей еще были в Анапе. Письмо было от старшей сестры Анатолия Раисы. Та вообще-то жила с семьей в Костроме, но писала из деревни, где находилась при заболевшей матери. Марье Емельяновне Лямкиной в середине июля сделали срочную операцию, и со дня на день, как писала Раиса, можно было ждать, что придет конец.

Мариша еще ни разу не виделась со свекровью, не познакомилась. На их с Анатолием свадьбу та не приехала: работала в колхозе бригадиром, в летнее время не отъедешь. Прислала им с оказией двести штук яиц и для молодой отрез на платье.

— Покажи мне письмо, — попросила Мариша.

Но Анатолий почему-то затиснул смятый конверт подальше в карман.

— Дай! — требовательно сказала Мариша.

Она принялась читать и сразу поняла, почему муж прятал это письмо. Сестра Раиса сволочила Анатолия последними словами, не упуская случая обругать и Маришу, хотя ее совсем не знала и, как сама писала, знать не хотела.

— Тебя-то она за что?.. — почти жалобно спросил Анатолий. — Дура чертова!

А Мариша читала дальше и убеждалась, что муж не захотел ей показать письмо не только из-за сестриной брани. Раиса писала не очень разборчиво, но Мариша все поняла. Мать просила исполнить ее волю, чтобы дом, все хозяйство, корову, гусей, кур продать и вырученное поделить на три равных пая. Из шестерых детей, о которых Мариша уже слышала от Анатолия, в живых у Марьи Емельяновны

Лямкиной сейчас оставались двое — сын и дочь. Третью долю Марья Емельяновна хотела, чтобы выделили шестилетней соседской девочке, отцом которой был Анатолий...

— Райка потому свару затевает, что ей неохота на троих делиться, — смущенно бормотал Анатолий, — ее бы власть, она бы все себе захапала.

Мариша как будто не расслышала этих слов. Какое ей дело было до дележей, когда вдруг обнаружилось такое... Анатолий никогда ни единым словом не обмолвился, что была у него какая-то Любка, что осталась девочка. Ведь это он таким манером и ее, Маришу, возьмет да и обманет, бросит. С кем же она жила, с кем на одной постели спала?.. Может, и слава богу, что детей у нее пока нет? Марише стало так тошно и обидно, что она вдруг с силой метнула мужу в физиономию смятый конверт.

— Да за что?.. — чуть не со слезами спросил он, хотя, конечно, понимал, за что.

Мариша думала и о другом. Они-то валялись на пляже, грели животы, ели черешню, а там, в деревне, в это время мучился человек. Не старая старуха, сама ждущая смерти, а женщина, которой еще нет и шестидесяти. Она вспомнила свою собственную мать, тоже замученную болезнью, и громко, по-деревенски зарыдала в голос.

Ехали ночь в сидячем бесплацкартном вагоне. Мариша сидела, притиснутая в угол какими-то чужими людьми, и смотрела в окно на белые, все в холодном тумане болота, темно-синие лужайки и черный лес. Ей казалось, что утро не наступит никогда.

В шесть часов утра сошли на безлюдной станции, в сорока километрах от Ярославля. Анатолий всю поклажу взвалил себе на плечо, хотел хоть чем-то заслужить расположение жены.

Они шли по прекрасной, мокрой от росы, зеленой дороге, входящей все дальше в лес. В Маришиной родной Орловке, под Веновом, редкая лозинка качалась на черной меже, а тут кругом шелестели деревья, цеплялись друг за дружку зеленые сарафаны елок. Чуть место повыше — покачивалась розовая от зари сосна, чуть пониже — сквозила ольха; как выбеленная к празднику, гнула вершину березка. Вся опушка у рощи полна была переспелых ягод, которые ленились собирать редкие путники.

— Не тоскуй, Парфеновна!.. — вздохнув, попросил Анатолий.

Сердце у Мариши ныло: что ждало ее за этим зеленым лесом, за поворотом дороги?

— Вот они, ретивые, явились... Большое вам пожалуйте!..

Сестра Анатолия Раиса стояла около материнского подворья. Добротный, красивый дом Лямкиных был накрыт ветками мощной, набравшей ягоды рябины. Голубели наливники, подновленные, наверное, этой весной. Возле Раисы крутились двое ее детей, чуть поодаль от них стояла и девочка, в которой Мариша сразу же признала дочь Анатолия.

Раиса Лямкина была шестью годами старше брата. Она тоже была женщина видная, но худая и выглядела не на свои годы. Голос ее показался Марише очень злобным.

— Хоронить не успели, а как делиться, так вот они вы!.. — на всю деревню принялась кричать Раиса. И тут же накинулась на Маришу: — А ты чего приехала? Твоего-то тут уж вовсе нет!

Даже не поймешь откуда, сразу набежал народ: старухи, дети, с десятков пожилых баб. Мариша замерла в ожидании, что сейчас Анатолий разинет рот и посыплется ответная ругань. Но он вдруг отвернулся, отошел в сторону и закрыл лицо рукавом пиджака. Мариша почувствовала, что в эту минуту она обязана его как-то защитить.

— Раиса Трофимовна, — тихо попросила она золовку. — Не кричите. Я все понимаю, мы виноваты перед вами, только вы, пожалуйста, не кричите...

Та сразу замолчала, как будто задохнулась. Потом зарыдала так же громко, как только что кричала. Дети напугались. Все, кого согнало сюда любопытство, стояли кольцом и молча глядели на приезжих. Только крупного белого петуха с роскошным красным гребешком вдруг как расхватила нечистая сила: он взлетел над головой у Мариши, сел на высокий заборный кол и что есть духу прокукарекал похожее на «всех перекричу!...».

— Ладно, пойдемте не то в дом, — вытерев слезы, сказала Раиса. — Чего же на улице-то?..

Она пропустила вперед себя своих детей, а ту девочку, которая была похожа на Анатолия, не позвала и даже загородила ей дорогу: нечего, мол, тут. И девочка испуганно отступила.

Первый гнев у Раисы прошел. Брата своего она не видела почти четыре года. И, словно забыв, что только что она его ругала и поносила при всем честном народе, Раиса прилепилась к щеке Анатолия мокрыми от слез губами, и они оба опять принялись плакать, теперь уже в один голос.

Видно, золовка уже поняла, что Мариша не посягнет в этом доме ни на одну вещь, оставшуюся от покойницы, ни на один рубль денег, поэтому она быстро успокоилась и даже подступилась к Марише с поцелуем.

Потом Раиса стала проворно собирать на стол. Выставила холодное, пироги, рыбу, выпивку — весь остаток от поминок. Мариша смотрела золовке в лицо, и оно уже не казалось ей таким злым и чужим, тем более что брат и сестра Лямкины между собой были очень схожи, без всякого труда угадывались в них одного отца, одной матери дети.

За едой Раиса самым подробным образом изложила, как похоронили мать. Гордясь за покойницу, рассказала, что гроб везли на машине, обитой красным кумачом с черными лентами. Правление дало полтысячи рублей деньгами, зерна, мяса. На кладбище присутствовало не только местное руководство, но даже из райисполкома. А накануне председатель сельсовета дал свой мотоцикл, чтобы привезти священника.

— Только больно уж халатно отслужил,— сказала Раиса.— Не понравилось всем. За двести пятьдесят рублей побоялся лишний раз рот разинуть.

— Небось пьяный,— хмуро заметил Анатолий.— Меня тут не было, а то бы я его по шее!..

— Ну уж ты скажешь: по шее!.. Кто бы это тебе разрешил — священника бить?

Раисины дети сидели тут же за столом, ели пироги и слушали, о чем толкуют старшие. Мариша взглянула в окошко, там маячила девочка. Наверное, ждала, когда позовут.

— Поди, вскричи ее,— велела Раиса сынишке.— Есть небось хочет.

Девочка тотчас пришла. У нее были зелено-карие, в чуть припухлых веках глаза, такие, как у Анатолия. Льняные волосы без всякой ленточки, одета она была не поймешь во что: то ли длинная кофта, то ли короткое платье. Никто ее не умыл, не причесал, не одел как следует, а ведь только-только схоронили ее бабушку.

Раиса подвинула девочке пирог и блюдо с рыбой. Та стала есть, и Мариша увидела, что рот у нее шербатый — менялись зубы.

— Шурочкой ее звать,— сказала Раиса Марише и повернулась к маленькой гостье: — Ешь да ступай домой, там мать, чай, с работы пришла.

Мариша поймала взгляд Анатолия, который тот бросил на свою дочь. Взгляд был достаточно растерянный. Он как бы

говорил: что же, мне удавиться теперь, что ли? Что было, то было... Чувствовалось, что Анатолия здорово измучили непривычные для него слезы и бессонная ночь на багажной полке. Поэтому его решили отпустить спать.

— А нам с тобой сидеть некогда,— сказала Раиса Марише.— Ты погляди, что в огороде-то делается. А ведь мне днями тоже уезжать.

До самого темна они обжинали траву, пололи гряды, забитые лебедой и кислицей. Таскали из ближнего болотца воду, отливали капусту и огурцы. Шурочка тоже копошилась рядом, помогала.

— Мама ее не гнала,— вздохнув, сказала Раиса.— Она знала, что Анатоха к Любке таскался.

— Не надо при ней,— шепнула Мариша, оглянувшись на девочку.

Когда совсем стемнело, Раиса и Мариша позволили себе сесть отдохнуть. Они расположились на шаткой лавочке в палисаднике, или, как здесь называли, садочке. Тут густо росли высокие, измельчавшие мальвы, цветы яркие, но совсем без запаха. Запахов хватало других: ветер нес аромат с розового клеверища и с болотца, заросшего белой таволгой. Оба эти запаха были так знакомы Марише с детства. В то же время было в них что-то чужое. Это пахло севером, его темными лесами, густой травой, кочками, болотцами, невытоптанными ягодками, сохранившимся еще звериным жильем.

— Сильно ведь хорошо!..— вдруг с чувством сказала Раиса.— А нас всех жизнь раскидала.

Мариша тихонько пожала ее руку, такую жесткую, как раньше была у нее самой.

— Любку, конечно, пожалеть тоже надо,— продолжала Раиса.— На ремонте работает, шпалы таскает. Все среди мужиков, пить начала...

К вопросу о разделе имущества Лямкины вернулись на следующее утро.

— Так как мы с вами сделаемся?— спросила Раиса.

— Нам ничего не надо,— поспешно заверила Мариша.

— Так уж и совсем ничего?

Анатолий отоспался, но выглядел по-прежнему хмуро.

— Надо оглядеться,— не очень уверенно сказал он.— Корову, например, сейчас, к осени, не продашь. Надо на мясо сдавать.

Раиса вдруг опять налилась гневом.

— У меня дети, а ты собираешься корову резать!

— Ты что, ее, корову, на третий этаж к себе в Костроме поволокешь?

— Да хоть на четвертый, не твоя забота!

Ничто в таких словах не было для Мариши новостью. Но участие в этом семейном дележе было сейчас совершенно невыносимым. Она сидела бледная и губы у нее дрожали.

Но Анатолия почему-то захлестнуло. И не столько жадность, сколько непонятная Марише злоба.

— Ну ладно, тебе отдать — на это я согласен, — сказал он сестре. — Ты хоть за матерью ходила. А той шалаве за что?

— Замолчи!.. — чуть не задохнувшись, вскрикнула Мариша.

Золовка этого крика даже испугалась. К тому же наверняка считала, что на законного мужа кричать не положено.

— Да полно! — примиряюще сказала она Марише. — Чего ты больше всех волнуешься? Нервы-то свои побереги. Разберемся.

«Шалаву», то есть Любку Кузьмину, кстати, никто к этому дележу и не подумал пригласить. Сама она близко к дому Лямкиных не смела подойти. Мариша случайно увидела ее, идущую от железнодорожной линии, с черными, не женскими руками, в пыльном платке. Издали Любка казалась немолодой, хотя была ровесницей Анатолия, значит, всего на три года старше Мариши. За что он эту Любку, которую бросил, ненавидел теперь? Наверное, стыдился сам себя. Сестры рычали и хорохорились.

Раиса тоже заметила Любку, крикнула, чтобы та вышла. Любка вздрогнула, оглянулась и не спеша повернула к Лямкинскому дому.

— Да сиди! — остановила золовка Маришу, когда та хотела уйти. — Не бойся, она баба сильно тихая.

Любка Кузьмина действительно была тихая. На Маришино «здравствуйте» ответила шепотком и больше не промолвила ни слова. Хотя, конечно, понимала, кто перед ней сейчас.

— Ну-ка, выпей и закуси, — вынесла ей тарелку и стопку Раиса.

Шурочка подбежала к матери и ухватила за ее черную руку, потом потянулась губами к щеке. А Мариша с болью подумала: не потому ли не приехала покойная свекровь на их с Анатолием свадьбу, что совесть ее была на стороже Любки с девочкой.

Любка выпила свою стопку и не тожко осмелела.

— Нонче за Мельниковой ругали, а теперь вот и я, ку и яго

там!.. Ты, Раиса, чай, знаешь где? На правую руку, за мостком. Вся трава красная.

Раиса долила ей остаток в стопку.

— Не до ягод. Выпей еще да иди. Дома-то, чай, тоже делов полно.

Любка, как по приказу, сразу же поднялась и пошла. Мариша попробовала удержать Шурочку, но та вырвала ручонку, побежала за матерью.

— Да, оказия!.. — покачала головой Раиса. — Чего тут скажешь?..

Ночью Мариша поднялась и тихо вышла из избы на улицу. Уже начинало светать, все очертания были неясные, туманные, холодные. На лямкинский большой огород, мигнув, упала звезда.

— Сейчас бы идти, идти без оглядки!.. — сказала сама себе Мариша. — Схорониться бы во все белое!..

Шорох позади заставил ее вздрогнуть и обернуться. Вышел и Анатолий, тоже белый, как туман.

— Где ты? — спросил он тревожно. — Ты не заболела?

— Душно...

Муж подошел ближе и вдруг опустился перед ней на землю.

— Прости, Парфеновна!.. Прости меня за все!

Маришиной рукой он вытер себе глаза и еще раз попросил:

— Не сердись. Как скажешь, так все и будет.

Из дома покойной матери они не увезли с собой ничего. Мариша взяла только насильно врученные ей Раисой два мотка белой шерсти, себе и Анатолию на варежки. Да еще сняла со стены фотографию. На ней была вся семья Лямкиных еще до войны: отец, мать, два взрослых парня, дочь-девушка и самый младший, стриженный под бокс, белобрысый Анатолий. Он стоял, ласково привалившись плечом к родной матери, а она обнимала его сильной крестьянской рукой. Рябинка, под которой снялись на лавочке, была в ту пору еще совсем тоненькая, десятилеточка.

Обратно на станцию Анатолий и Мариша шли через нескошенный просторный луг из одних белых ромашек. Время этим цветкам отходило, головки глядели вниз, стебли спутались. И кустился по лугу юный березнячок, грозивший через несколько лет превратиться в густую березовую заросль.

— Тут наш покос был, — сказал Анатолий. — А теперь, значит, косить некому... Зарастает.

К вечеру того же дня они уже были в Москве. За три

года Мариша успела очень полюбить ее, полюбила и ту улицу, на которой жила, даже большую, набитую народом квартиру, окна которой выходили прямо на пыльный тротуар и где всегда приходилось отгораживаться занавесками от прохожих. Но сейчас Мариша возвращалась домой с очень тяжелым чувством.

Она все вспоминала, как благодарила Любка Кузьмина, когда ей сказали, что дадут часть — деньгами и имуществом. Наверное, раньше она от брата и сестры Лямкиных ничего не ждала.

После смерти матери Анатолий всячески пытался подладиться к жене, войти в доверие, искупить вину. Сам заговорил насчет того, чтобы, если не будет своих детей, взять на воспитание какого-нибудь трехлетку. Девочек он не любил, а на мальчика готов был согласиться. И был просто поражен, когда Мариша сказала коротко:

— Не стоит, Толя.

— Почему?.. — тихо спросил он. — Это как мне тебя понять?

Мариша не объяснила почему. Однако Анатолий и сам догадался — жена может сказать: если он родного ребенка бросил, то чужому хорошим отцом не будет. Это Анатолия очень заело, он попробовал еще раз-другой подступить к Марише с тем же предложением.

— Что же, так и будем жить совсем без потомства?

И ласково, в полушутку намекнул, что ведь от бездетных жен мужья имеют полное право уйти. Даже народный суд не задержит.

— Ну что же, уходи, — спокойно сказала Мариша.

Но Анатолий уходить не собирался. Наоборот, он все больше и больше привязывался к жене, любил, порой даже заискивал. Ревновать у него повода не было, но его очень волновало и обижало, что она теперь все чаще и чаще оставляет его одного сидеть дома, а этого одиночества Анатолий боялся, как малый ребенок.

— Скрываешь ты что-то от меня, — жалобно говорил он. — Ну, погоди, Маришка!..

Скрывать Марише было нечего. Просто теперь она не торопилась с работы домой, и если был повод задержаться, то задерживалась. Ведь ей не нужно было бежать ни в детский садик, ни в ясли, никто там ее не ждал, не плакал. Поэтому она не пропускала ни одного собрания, ни лекции, ни беседы. Семейные женщины под разными предлогами

разбегались, а она терпеливо сидела. И почти всегда оказывалась в выигрыше: услышала и узнала много такого, о чем, сидя дома, глядишь, никогда и не узнала бы — о международном положении, об охране здоровья. После очередной лекции о гриппе пошла в аптеку и купила себе «жидкость Сморозинцева», с тех пор ни разу насморком не мучилась.

Как-то была объявлена лекция о трудовом воспитании в семье. Марише воспитывать было некого, но она все равно на лекцию осталась. Народу на этот раз в красном уголке цеха сидело так мало, что ей сделалось неловко перед лектором: и что за люди такие?.. Неужели все на свете знают, что не хотят послушать квалифицированный совет?

— У нас женский коллектив,— пояснила Мариша лектору.— После работы трудно... Уж вы нас извините.

Тот пожал плечами, словно хотел сказать: для вас же хуже. Большого разочарования на его лице не отразилось, он к малочисленной аудитории, видимо, привык. Маришу он посчитал ответственной за мероприятие, во время лекции обращался главным образом к ней и персонально ей улыбался. Однако не исключено было, что она просто ему понравилась: ведь ей было всего двадцать шесть, у нее были хорошие серые глаза и льняные, какие-то не городские волосы.

По окончании лекции Мариша проводила лектора до трамвайной остановки. Она считала, что если можно кому-то улучшить настроение, то это нужно сделать.

— Вы где-нибудь учитесь, наверное? — спросил он.

— Нет,— сказала Мариша,— работаю. Но, может, еще и соберусь.

Но учиться она не собралась. Освоила только квалификацию швей-мотористки и простилась с утюгом. Новая работа нравилась ей гораздо больше. В гладилке Мариша работала в основном среди женщин пожилых, а в пошивочном и на раскрое было много девчат, значит, больше смеха и всякой веселой ерунды. В юности ей так мало довелось шутить!..

Зарабатывала Мариша теперь больше Анатолия, и его самоелюбие от этого сильно страдало. С тех пор как перестал левачить, он получал свои восемьсот и ни копейки больше.

— Ладно, проживем,— смущенно говорил он, принося домой зарплату,— у нас с тобой не семеро по лавкам.

Мариша молчала: напоминать мужу, что у него есть дочь, ей было как-то невмоготу, это стало для них обоих большим местом.

Мариша и видела-то девочку всего считанные часы, та

даже приласкать себя не дала, но все равно уже не было покоя на сердце. Мариша часто себя спрашивала: чем же она-то виновата перед той маленькой девочкой? Она и знать не знала о ее существовании, когда выходила замуж за Анатолия. И чем она могла, если все-таки была виновата, эту вину искупить?

Оба они с Анатолием понимали, что Любка им девочку не отдаст. Из писем Раисы они узнали, что к концу лета Любка с Шурочкой переселились в железнодорожную будку, которая предоставляется путевым обходчикам. Оттуда до школы было больше четырех верст — куда же зимой ребенку идти? Любка поплакала, потом отдала Шурочку в школу-интернат.

— Растащат небось в интернате этом, и не достанется ей ничего,— покачал головой Анатолий, увидев, что Мариша укладывает в посылочный фанерный ящик пряники и пастилу.

Потом взял ящик и сам понес на почту. Помнил, как в деревне туманной, холодной ночью просил у Мариши за все прощения, стоял коленками на сырой земле.

Мариша же думала о том, что у нее, слава богу, не самый плохой на свете муж. Горячей любви к нему ей по-прежнему взять было неоткуда, но человека преданного она в нем все-таки нашла. И ей порой очень хотелось быть с мужем поласковее, потерпимее.

Б

Дружбе Мариши с обитательницами квартиры на Большой Полянке не суждено было заглохнуть.

Мариша не была там больше года, не знала даже, здорова ли Екатерина Серапионовна. Если Селиванова несколько обидела ее при последней встрече своей холодностью, то на старуху не за что было обижаться. Наконец Мариша собралась туда.

Екатерина Серапионовна варила на кухне варенье из ранних слив. Василий Степанович сидел тут же на табурете и читал ей вслух повесть из журнала «Пограничник». Можно было только позавидовать способности Екатерины Серапионовны уживаться с людьми.

Не успела Мариша осведомиться о том, как тут им на Полянке живется, как открылась дверь селивановской комнаты, и хозяйка вышла оттуда в сопровождении незнакомого Марише плотного лысеющего мужчины в светлых, отлично отутюженных брюках. Такая складка не вышла б, пожалуй, и из-под Маришиного утюга. Селиванова была в кремовом

спортивного покрою костюме и в босоножках на немислимо высоких каблуках.

— Ты что, специально от солнца пряталась? — спросила она, услышав, что Мариша была в Анапе. — Где же твой загар?

Ее кавалер любезно поклонился Марише, так что Валентине Михайловне ничего не оставалось делать, как их познакомиться.

— Арсений Александрович, — представился он.

Может быть, Селивановой не понравилось, что он при этом слишком уж галантно качнул животом, но она нахмурилась.

Арсений Александрович удалился, а Мариша подумала, что это, наверное, тот самый, который все звонил прошлой зимой по телефону и от которого Валентина Михайловна так решительно отбивалась.

— Очень я рада, что опять вас вижу, Валентина Михайловна, — сказала Мариша. — Скучала я по вас. И по Екатерине Серапионовне.

— Что же ты так долго не появлялась?

— Да мне думалось, что я вам больше не нужна.

— Ну вот, вздор какой!..

Селиванова ушла в свою комнату и вернулась с журналом в голубой обложке.

— Наш-то герой, посмотри!.. Пробился все-таки.

Под статьей, которую она показала Марише, стояла подпись: кандидат филологических наук Б. Алтарев.

— Борис Николаевич? — радостно спросила Мариша.

— Ну, естественно. Что же, дай ему бог!..

И Селиванова рассказала Марише, как она недавно встретила Бориса Николаевича в магазине на Кировской: стоит в очереди, что-то читает. Зазевался, на него орут...

— Я хотела к нему подойти, но ты знаешь, Огонек, не смогла.

— Он всегда за чаем туда ходит, — тихо сказала Мариша. — Неужели орали?.. И что за люди такие?

— Обычное хамство.

— Да уж... Тихого человека обидеть ничего не стоит. Селиванова посмотрела на нее и улыбнулась.

— Ну, а ты-то как живешь? Не колотит тебя твой Афанасий, или как его... Акиндин?

Улыбнулась и Мариша.

— Еще как тузит. Вся синяя кожу.

Разговор был прерван предложением Василия Степано-

вича посмотреть телевизор. Он недавно приобрел «Луч», а заодно два мягких кресла, которые он сейчас и предоставил дамам. Но когда он вздумал комментировать передачу, Селиванова заметила ему холодно:

— Василий Степанович, дорогой, вы же не экскурсию с Павелецкого на Курский сопровождаете.

Тот уже достаточно изучил нрав своей суровой, но еще очень интересной соседки, поэтому счел возможным не обижаться. Марише даже показалось, что у этого симпатичного дяденьки с розовой лысинкой могут быть виды на Валентину Михайловну. Но та, слава богу, об этом не догадывалась.

По поводу же сегодняшнего гостя в хорошо отутюженных брюках Селиванова никаких разъяснений не дала. Мариша попыталась припомнить его лицо, но так и не смогла: брюки запомнились, а вот лицо нет.

Журнал со статьей Бориса Николаевича она взяла с собой. Она не все поняла в ней, но сознание того, что это написано человеком, которого она любила и которого не забывала, придало чтению особый интерес. Журнал этот Мариша обратно Селивановой так и не отдала, спрятала на память.

6

Был конец февраля. В Кремле заканчивал работу XX съезд партии. На швейной фабрике у Абельмановской заставы ждали встречи с делегатом: одна из швейниц сейчас находилась в зале Кремлевского дворца, своими глазами могла видеть весь Центральный Комитет. В истории фабрики это было впервые: выше, чем в районный Совет, никого отсюда до сих пор не выбирали и не посылали. Марише даже трудно было себе представить, что женщина с простецким именем Мария Егоровна, которая рядом с ней сидела за швейной машиной и те же щи ела в столовой, теперь в Кремле. Женщина, конечно, передовая, с первого года войны в партии. Часто вспоминала, как не халаты и сарафаны кроили и шили, а шинели и армейские бушлаты. Не одну иглу поломали; не из тонкого суконца были эти шинели. Теперь разбогатели, сколько добра порой в отход идет, а тогда ни ниточки, ни обрывочка...

Почти каждый день на фабрике проходили то митинги, то собрания. В перерыв читали работницам газеты, объясняли, рассказывали. Мариша отметила, что никого не нужно было уговаривать, чтобы остались. Самая малограмотная работница слушала затаив дух. Речь ведь шла о самом

понятно: о прибавке в зарплате, о пенсиях, о пособиях вдовам, сиротам, о жилье.

— Что же вы плачете? — прервав объяснения, спросил парторг. — Радоваться надо, дорогие товарищи!

У Мариши тоже дрожали губы. Она же видела: процентов тридцать от числа работающих по цехам были уже почти старухами, но с фабрики не уходили, — разве проживешь на пенсию в сто пятьдесят рублей; если от детей помощи нет, так это на один хлебушек. На низкооплачиваемой подсобной работе тоже в основном гнули горб пожилые женщины: молодежь такую работу делать не будет, а мужчины ищут место, где не только заработать можно, но еще и заработать что-нибудь. Ящики, тюки, мешки ворочают шестидесятилетние бабы. Сколько раз Мариша от своей работы отрывалась, чтобы помочь какой-нибудь подсобнице.

... — Ну, так что слышно в народе? — бодро спросила Селиванова, когда Мариша в начале марта появилась на Большой Полянке. — Какова реакция на события? На восстановление ленинских норм партийной жизни?

— Очень хорошая реакция, — улыбнулась Мариша.

И рассказала, что февральский план выполнили досрочно, продукция на восемьдесят пять процентов отличного качества, остальная — хорошего, без всякой завышки.

В этом году в квартире на Полянке начали по-настоящему готовиться к весне. Стараниями энергичного Василия Степановича был найден хороший маляр, который покрасил все двери, косяки, рамы в местах общего пользования, наклеил новые обои в передней взамен тех, что при каждом стуке и шорохе лопались и рвались. Когда запах краски и клея улутучился, в окно повеяло апрелем.

Селивановой в апреле исполнилось сорок пять лет. Следя примете «бабий век — сорок лет, сорок пять — баба ягодка опять», она и на самом деле как будто помолодела. Во всяком случае, платье она себе к этой дате сшила просто превосходное.

Ее недавнего галантного кавалера Арсения Александровича что-то не стало видно.

— Что же так?.. — рискнула Мариша спросить у Селивановой. — Вроде неплохой человек...

— А вот так, — ответила Селиванова. — Ты пробовала целоваться с мужиком, у которого съемные протезы?

— Нет, — ошеломленно сказала Мариша.

— Ну и не советую.

Мариша была приятно поражена, когда Селиванова в один прекрасный день пригласила ее пойти в театр. Потом их совместные походы по театрам и концертным залам участились. Возможности у Валентины Михайловны тут были самые широкие: кого только она не лечила. Но репертуар она как нарочно выбирала какой-то смутный, тревожный. Мариша многого не понимала, но все равно волновалась. Селиванова, конечно, понимала все, но держала себя совершенно спокойно. Она по-прежнему следила за модой, выглядела, с Маришиной точки зрения, прекрасно, и было не ясно, почему она теперь избегает мужской компании и водит за собой ее.

Так или иначе, но Мариша была просто счастлива: ей нравилось все. И оживление около театра, и освещенный зал, нарядная публика, колыхание занавеса, и звуки за сценой. Она еще не испытала разочарований и готова была смотреть любую пьесу, будь то драма или комедия.

— Не сердись, Толя,— говорила она мужу, когда он поздним вечером открывал ей дверь.— Очень интересный спектакль.

— Разденут тебя где-нибудь в подворотне,— угрюмо отзывался Анатолий,— вот и будет спектакль.

Это был уже следующий театральный сезон. Зима выдалась очень снежная. По Симоновскому валу еле двигались трамваи, тревожно звонившие перед каждым сугробом. Мариша куталась в свою пензенскую шаль, которая от снега из серой стала совсем белой, равно как и черно-бурая лиса с оскаленной мордочкой, свесившаяся с Маришиного плеча. Лис этих было много, они считались очень модными и не были еще безумно дороги, так что каждая московская модница стремилась украсить ею свое сильно приталенное зимнее пальто. Купил такую лисицу и Анатолий для своей Мариши. Но лиса злым своим оскалом как-то сразу стала ей поперек души, и только нежелание обидеть мужа мешало Марише сменить ее на какого-нибудь другого, более доброго зверя.

Мариша торопилась. Ей нужно было до половины восьмого попасть в центр, чтобы около театра имени Ермоловой продать один билет: всего час назад Селиванова ей сообщила, что пойти сегодня в театр не сможет.

Продать театральный билет с рук оказалось довольно сложно, гораздо труднее, чем приобрести его в кассе. Мари-

ша топталась у входа, высокие резиновые боты холодили ей ноги, но сапоги на меху тогда еще только входили в моду и были далеко не у всех и каждого. Часы на Центральном телеграфе показывали уже двадцать минут восьмого, а покупателя все не находилось.

— Возьмите, пожалуйста,— сказала Мариша, протягивая билет парню, похожему на студента,— бесплатно, денег не надо.

— Спасибо, девушка, я сегодня не могу.

Марише сделалось неловко: вдруг да он подумал, что она ищет себе кавалера на сегодняшний вечер. У нее пропала охота предлагать этот билет и тем обречь себя на случайное соседство.

И тут Мариша вдруг увидела Бориса Николаевича. Он не спеша шел от «Националя» по направлению к телеграфу. Холодная фетровая шляпа его была густо присыпана метелью, на шее все тот же, знакомый Марише шарф. Еще две-три секунды, и он прошел бы мимо.

— Борис Николаевич! — негромко окликнула она.

Он остановился.

— Ба! — почти радостно сказал он, приглядевшись к Марише. — Ужель та самая Татьяна?.. Что вы здесь делаете?

— В театр хотела идти, Борис Николаевич.

— А что сегодня?

— «Бешеные деньги».

— Ну что же, это очень интересно... Вы не представляете, Марина, как я рад, что вас встретил.

— И я очень рада, Борис Николаевич.

— Вы знаете, меня все это время не покидает чувство какой-то вины. Несколько раз собирался пойти на Полянку... Скажите, как там?

Мариша сказала, что все в порядке: все живы, здоровы, часто вспоминают его.

— Вы, наверное, опаздываете в театр? — спросил Борис Николаевич. — Уже половина восьмого.

— Ничего,— сказала Мариша,— я лучше вас провожу.

Она сунула билет в сумочку и пошла рядом с Борисом Николаевичем.

— Мы статью вашу читали, так за вас обрадовались. Он взял ее руку.

— А вы-то как? Замужем, конечно? Похорошели, это ведь от ничего не бывает.

Ей нетрудно было заметить, что и он за эти три года вроде бы пополнил, порозовел. Но это, возможно, от мороза.

— Как мама ваша в Ржеве поживает?

— Моя мама с прошлого года уже в Москве.

— Прописали?

— Не только прописали. Нам дали очень хорошую квартиру. На Комсомольском проспекте, напротив Хамовнических казарм.

— Небось рада мама ваша?

— Ах, Марина!.. Мама моя никак не привыкнет, что в квартире есть вода и ее не нужно носить из колодца. Она этим занималась почти двадцать лет. А теперь видите, как все переменилось.

— Очень я рада за вас, Борис Николаевич!

Он посмотрел ей в глаза:

— Вы тогда на меня не очень обиделись? Поверьте, у меня душа очень болела. Я часто вспоминал, как вы меня провожали...

Он так и не произнес имени Селивановой. Это было несправедливо: она ведь тоже страдала.

— Валентине Михайловне заслуженного врача присвоили, — сообщила Мариша осторожно. — Она меня с собой в клинику брала, когда ее чествовали. Сколько людей собралось, вы не представляете! Больные пришли, кого она на ноги поставила. Не знали потом, куда цветы девать, по всем углам в квартире стояли.

— Поздравьте ее от меня, — сказал Борис Николаевич. — Какие вы все прекрасные люди!

Расстались они лишь тогда, когда прошли пешком почти всю улицу Горького. Борис Николаевич сел в троллейбус, идущий вниз по Пресненскому валу. Оказывается, в квартире на Красной Пресне, где он недолго прожил, у него тоже остались дружеские связи.

— Там пятилетняя девочка, — объяснил Борис Николаевич. — Вы уж меня извините, что я тороплюсь: а то ее уложат спать.

Маришу что-то толкнуло в сердце. Она была без ребенка, он тоже. Ей было в этом винить некого. А ему? Какая женщина лишила его этой радости?

— До свидания, Борис Николаевич! Маме вашей большой привет!

Она пошла обратно по улице Горького. Торопиться ей сейчас было некуда. Погода была отличная, без ветра. Когда опять поравнялась с телеграфом, было тридцать пять десятого.

— Не досидела я до конца, Толя, — сказала она мужу,

когда он открыл ей дверь.— Голова что-то разболелась.

Когда театральный сезон подошел к концу, Мариша стала читать. Екатерина Серапионовна дала ей сразу несколько томиков Чехова. Мариша унесла их домой и поставила на комод.

Анатолий поначалу к новому увлечению жены интереса не проявил. Но однажды, вернувшись с работы, Мариша увидела его самого с книжкой. Он читал и даже не поднял головы, когда она вошла. Он только что одолел чеховскую «Ариадну». Читал с трудом, клал палец под строчку.

— Нет, ты только погляди, про чего тут!.. — сказал он жене, показывая на книгу. — Ну и баба! Я и не знал, что про таких паскуд книжки печатают.

Мариша была твердо уверена, что у Екатерины Серапионовны плохих книг быть не может. Поэтому ответила спокойно:

— Прочту — увижу.

Но Анатолия вдруг заело: он не желал, чтобы его жена читала «про похабное».

— Ты глупый, вот что, — сказала Мариша.

Анатолий «глупого» съел, но за чтением Мариши стал наблюдать ревностно и не упускал случая подковырнуть, правда, не зло. Поужинав, он ложился на кровать, а Мариша садилась у окошка, поближе к свету, и иногда так увлекалась, что не слышала ни гудков машин, катившихся по Симоновскому валу, ни шарканья ног прохожих, течи которых маячили за занавесками. В комнате у них был прежний порядок, и все вроде бы сделано вовремя. Но Анатолий все-таки приметил: суп стал чуть солонее, чем надо, пуговица на пиджаке пришита не с первого слова, а со второго. И если в окно проникало яркое солнце, то заметно было, как шевелются по углам легкие пылинки.

— Ох ты, читатель! — сказал Анатолий, сильно заскучив. — У тебя уже глаза косить начали.

Тем не менее он был рад, что жена теперь вечерами сидит дома, при нем. Протянул руку — и вот она.

Один раз, поехав в рейс, Анатолий в одной из загородных закусочных увидел забытую кем-то книжку. Раньше он не обратил бы на нее никакого внимания, а сейчас решил, что свезет ее своей Маришке, пусть читает. Сунул книжку под пиджак и увез с собой. Пока ждал груза, опять попробовал сам читать. Книга начиналась такими словами: «Это был день свадьбы Ван Луна...» Анатолию понравилось, что речь шла о свадьбе, а не о том, как бабы живут с мужиками без

брака. Но, читая дальше, он все больше недоумевал и разочаровывался.

Дома он решил поделиться впечатлениями с Маришей.

— До чего же бедно люди живут, прямо ужась лошадиная!..

В голову ему против воли лез китаец Ван Лун, его семья, претерпевшая страшный голод, умершая от опухоли в животе жена.

— Неужели и моя мать так маялась? — растревоженно спросил он у Мариши. — Зачем про такое писать?

Больше ничего Анатолий читать не стал. С тем же, что жена постоянно сидит над книжкой, ему пришлось примириться.

— Про любовь, что ли? — спросил он как-то, заглядывая ей через плечо. И добавил: — Ты бы лучше меня любила.

Мариша подняла голову и рассеянно посмотрела на мужа, словно не поняв, что он такое сказал. Но в глазах у Анатолия плавала такая тоска, что Марише вдруг стало не по себе. В конце концов, муж перед ней ни в чем виноват не был. Это она была виновата перед ним: не любила, не нужно было за него идти. Детей ему родить и то не может.

— Кто же тебе сказал, что я тебя не люблю? — как можно ласковее сказала Мариша. — Ну что ты, Толя?..

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Летом 1961 года Мариша, Марина Парфеновна Огонькова, могла бы отпраздновать свое трудовое двадцатилетие. Она не без сдержанной гордости подумала о том, что далеко не каждый, кому только что перевалило за тридцать, может похвастаться таким стажем. Улыбнувшись сама себе, вспомнила, как двадцать лет назад ухватилась за носилки, на которых лежал раненый, пахнувший засохшей кровью солдат. Как маршировала с деревянным ружьем и держала в операционной лоточек с ножами, когда военврач третьего ранга Селиванова оперировала того, с газовой гангреней... Что значит маленькая была: нервы были еще крепкие.

Тут же вспомнилось и другое: просторный, ничем не огороженный гон, на котором отец пашет под картошку. Девятилетняя Маришка бежит за сохой, увязая в черноземе, кидает во влажную борозду крупные картошины в белых ростках.

— Не части! — оглядываясь на нее, говорит отец.

Маришка старается не частить, но взмах ее руки слишком короткий, да и поспевать за отцом нужно.

Потом приходит мать, сменяет Маришку и дает ей на руки маленькую Лидку. Та тяжелая и крикливая, а нянька всего пятью годами старше. Маришка ждет не дожидается, когда Лидка разморится на солнышке и уснет. Майское солнце действительно морит, и Лидка, раскрыв рот, засыпает. Старшая сестренка кладет ее на снятую с колес телегу, накрывает от мух и бежит бегом опять на поле, к матери.

Та посылает:

— Пойди-ка лучше, касатка, пособи Романку.

Романок сидит в погребе, набирает картошку. Ватник на нем грязный, сопаты нос тоже в земле. Маришка помогает брату вытянуть из ямы пудовую кошелку, и они вместе тащат ее на огород. После этого Романок садится и отдыхает, а Маришка сменяет мать: той время доить корову, чтобы отец попил молочка — у него в желудке язва, даже хлеба ему есть нельзя, разве что только белого.

— Тятя, хочешь яичка? — спрашивает Мариша, когда отец делает роздых и садится. В кармане у нее вареное, уже облупленное яйцо, которым она собиралась кормить Лидку.

Отец качает головой. Яйцо достается Романку, который целиком отправляет его за щеку. Мать приносит отцу молока, он пьет прямо из глиняной махотки, но пьет осторожно, как будто молоко ледяное, с погреба. Но оно-то теплое, только что процеженное.

— Слава тебе, господи! — говорит Евгенья, глядя из-под ладони на вспаханный и наполовину уже засаженный гон.— Маленечко совсем осталось.

...Боже мой, какое счастье, когда у маленького человека есть отец и мать, есть родной дом! Вон он виднеется за цветущей грушей. А мать-то какая хорошая! Никогда никого черным словом не обзовет, а все «господи» да «господи»... Отец тоже матерком ругается совсем мало, не то что другие мужики. Маришка у него любимая дочка, он жалеет ее даже больше, чем своего первого, Романка. Ох, если бы можно было всегда быть маленькими, совсем не вырастать!..

Мариша часто задумывалась над тем, почему Анатолия не одолевают детские воспоминания. Охотнее он вспоминал, как служил в армии, как учился на шофера, как «калымил» на целине. Из сельской жизни он даже кинофильмов смотреть не любил, за исключением, может быть, только «Свадьбы с приданым». А Мариша три раза ходила на «Простую историю», привелся бы случай, охотно пошла бы и в четвертый. Ей

казалось порой, что, если бы не брат Романок со своей Сильвой, она бы осталась жить в Орловке и, глядишь, могла бы стать такой, как героиня «Простой истории», все бы ее уважали, ценили!..

Но и сейчас Марише грех было жаловаться на судьбу. На девятом году работы на швейной фабрике ее повысили: сделали контролером ОТК. Сама она не видела в себе качеств, необходимых для того, чтобы стать хоть и маленьким, но начальством. По наблюдениям знала, что тут нужен твердый характер и крепкое горло. Однако хороших работников принято поощрять и продвигать, и никто Маришиных доводов слушать не стал.

— Ничего, ничего, Огонькова! Поможем, направим.

А растеряться было от чего: Маришина предшественница, пожилая ворчунья, поблажки никому не давала. Тем более что ни подружек, ни приятельниц среди работниц не имела. Поэтому она беспощадно откидывала юбки, сарафаны, придиралась к каждой плохо закрепленной пуговице, к высыпающейся петле, к необработанному шву. Сама она в годы своей молодости служила белошвейкой в частной мастерской у какой-то мадам, а там делом не шутили.

— Бывало, жалованье получали, так руку целовали.

— Да черт с вами, что вы целовали! — отзывалась какая-нибудь молоденькая работница. — Чушь какую-то порет!

Когда узнали, что старая мастерица уходит на пенсию, в цехе было настоящее ликование. Обычно тугие на пожертвования, тут все сложились по трояку. Ликование усилилось, когда узнали, что контролером ОТК будет Мариша Огонькова.

Мариша не хуже своей предшественницы видела все недоделки, весь брак, всю халтуру, но швырять обратно у нее не хватало духу. Уже в первый день работы на новом посту к концу смены она расплакалась. Утешать ее сбежались всем цехом.

— Девки! — сказала вдруг одна швея-мотористка. — Давайте, правда, совесть поймеем! Вы посмотрите — ведь мы человека до слез довели!

На какое-то время необработанных швов, кривых строчек стало меньше. Но ненадолго. Цеховое начальство дало понять Марише, что чрезмерные строгости приведут к нежелательным результатам. Тем более что заказчики любую продукцию рвут с руками, в магазинах за этими самыми платьями и сарафанами стоят очереди, а оторвавшуюся пуговицу каждая женщина в состоянии сама пришить, если она

не безрукая. А безрукая, так ей и никакого платья не надо.

— Тогда зачем же вы мне деньги платите? — спросила Мариша.

Ее опять утешили, направили, подбодрили. К концу квартала она получила большую премию, что возместило ей разницу между ее прежним заработком и зарплатой контролера ОТК. Постепенно Марише пришлось усвоить, что существует брак недопустимый и брак, на который можно закрывать глаза, особенно в конце месяца. Привычка эта далась ей нелегко, потому что раньше сама она всегда старалась работать хорошо, независимо от сроков. Но все же она понимала, что быть слишком придирчивой у нее не всегда есть право: оборудование на фабрике пора бы менять, ведь на таких машинах еще при Иване Грозном шили... И пит-ки год от года хуже. Еще если ленинградскими отдел снабжения обеспечит, так что это слава богу. Этими шить можно.

— Товарищ Огонькова у нас прекрасно справляется, — отметил на производственном совещании начальник ОТК фабрики. — Мы не ошиблись, что именно ее выдвинули.

Мариша же, вместо того чтобы обрадоваться, даже побледила немного. Ее раньше так часто хвалили за дело, что зряшная похвала ей была совсем не нужна. Она не без тревоги подумала, что не за маленькие ли руки, которые начальник ОТК в свое время заметил, не за добрые ли серые глаза и улыбку он ее сейчас хвалит. С некоторых пор Мариша стала замечать, что такие качества в цене у мужчин, что не только яркость и бойкость привлекают их.

Как бы в подтверждение этого совершенно неожиданно за ней попробовал поударить один из вахтеров на проходной, по развязности не уступавший молодому Анатолию, но тот был красивый, а этот не сказать чтобы уж очень да и в летах.

— На, почитай, — сказал вахтер Марише и подал какую-то записку.

Она, недоумевая, тут же развернула и прочла:

Сажу я за столом
С поднятым пером,
Хочу вам, Мариша, привет написать,
Нету сил в глаза сказать.
Хочу повидаться с тобой
В общий день выходной.

— У вас внуков-то нет еще? — почти грубо спросила Мариша. — Вы бы им лучше стишки писали. — Но тут же сбавила пыл и добавила: — Извините, конечно...

Другая обязательно рассказала бы в цехе девочкам и показала бы эту записку, чтобы похотели. Но Мариша порвала и бросила в ящик для мусора. После она пожалела: все-таки, хоть и смешно, но это было первое письменное признание в любви. На словах она кое-что слышала, но писать — никто не писал.

— Толя, ты стихи читать любишь? — спросила она дома мужа.

— Какие еще стихи? — отозвался он удивленно. — Протек, что ли, чего написали?

Ему очень льстило, что жена его теперь не просто Мариша, а кое-кому и Марина Парфеновна. Преисполнившись уважения, он взял на себя домашние дела: сам покупал «жранину», сам варил, пробовал даже стирать. Соседям он рассказывал, что жена у него не простой контролер, а старший, почти что крупное начальство. Дома теперь Маришу ждал накрытый стол. Анатолий стоял и ждал, чтобы жена его похвалила.

— Мясо вроде хорошее, при мне рубили.

— Все хорошо, — говорила Мариша. — Спасибо тебе, Толя!

Анатолий за годы их совместной жизни немного выцвел и полысел, но главное — стал неожиданно очень покладистым. Марише он вопреки всем предположениям оказался верным спутником. Говорил, что за эти годы ни к одной чужой бабе даже близко не подошел. Мариша порой сама удивлялась, как это ей без всяких усилий удалось так смирить этого мужика, у которого сама она могла оказаться под сапогом. Ни водки, ни вина Анатолий почти не употреблял, уже это одно было вот какое счастье! Особенно если учесть, что в их большой коммунальной квартире на Симоновском валу редкий день проходил тихо-мирно. Маришин муж, прежде совершенно равнодушный к чужим семейным делам, теперь все чаще стал выступать в роли усмирителя и примирителя. Соседские ребята уже не шарахались от него, а, наоборот, бежали за ним, когда надо было кого-нибудь «привести в чувство».

— За свет не платишь, а в неделю второй раз на бровях приполз, — сурово говорил Анатолий. — Ты смотри, я ведь!..

Его выбрали ответственным по квартире, а потом даже

членом домового комитета. Анатолий этим вдруг очень возгордился, сменил кепку на шляпу, модную, с маленькими полями. Место работы он тоже сменил: перешел все-таки на персональную «Волгу», стал возить начальника строительного треста, который был очень заинтересован в квалифицированном шофере. Словом, муж у Мариши был хоть куда! Теперь и она, случалось, подкатывала к своему дому в черной «Волге» с безупречно чистыми сиденьями. Иногда муж отвозил ее и на Большую Полянку, но сам он со времени своего первого визита в эту квартиру так больше и не заходил: понимал, что желанным гостем он там не будет.

Однажды Селиванова, открыв Марише дверь, вдруг обняла ее. Обняла в первый раз за все время их знакомства.

— Опять ты нас бросила, Огонек? Нет, это просто безобразие!..

Слезы брызнули из Маришиных глаз, до того тронула ее эта ласка, которой она ждала много лет.

Валентина Михайловна в клинике уже больше не работала. Сказала, что с нее хватит. Стала вести занятия по хирургии в медицинском училище.

— Девки неплохие, только дуры. Вчера одна подходит и спрашивает: «Валентина Михайловна, вам луку не нужно? У меня мама в овощном магазине работает».

Мариша решила похвастаться, рассказала, что заканчивает трехмесячные курсы повышения квалификации мастеров и работает уже старшим контролером ОТК. Сообщая об этом, Мариша как-то застеснялась и невзначай взглянула на себя в зеркало: с возрастом и лицо и фигура ее немножко округлились, щеки стали еще добрее и совершенно не было в ней ничего начальственного. Однако Селиванова ее тут же одобрила:

— Молодец, молодец, Огонек! Так держать!

Екатерина Серапионовна отправилась ставить чайник, и тогда Селиванова сказала Марише:

— Ты знаешь, мне что-то очень не нравится наша старуха.

Через несколько дней Валентина Михайловна поместила свою соседку в бывшую Екатерининскую больницу. Когда Мариша явилась туда ее навестить, палатные няньки сказали ей:

— Интересная бабушка-то какая: все читает да пишет. Родственница, что ли, твоя?

— Да нет, — сказала Мариша. — Просто очень хорошие отношения у нас.

Няньки переглянулись: она старуха глубокая, другая вроде еще совсем молодая, а вот поди ж ты, отношения хорошие. Не больно сейчас кому старухи-то нужны.

Скончалась Екатерина Серапионовна на восемьдесят четвертом году жизни. Селиванова и Мариша тяжело и молча пережили эту смерть. Валентина Михайловна, может быть, впервые в жизни растерялась, так что хлопоты взял на себя Василий Степанович, проявивший и на этот раз повышенную чуткость. Этому симпатичному старичку, казалось, износа не будет. Собственно, его даже старичком нельзя было назвать.

После похорон он пригласил Валентину Михайловну и Маришу к себе в комнату. На столе стояла хорошая закуска и пирожки, которые Василий Степанович принес из «Праги». Как человек достаточно воспитанный, водки он перед дамами не выставил, а налил им сухого вина. На лице у Селивановой Мариша прочла тревогу: та, видимо, боялась, что сейчас любезный хозяин начнет произносить речи, посыплется ненужные слова... Но Василий Степанович и тут проявил достаточно такта: несколько лет жизни в близком соседстве с Валентиной Михайловной научили его многому.

— Хорошего человека мы все потеряли, — только и сказал он.

— На этот раз, пожалуй, вы правы, — заметила Селиванова.

Ох, какая же она! А когда это Василий Степанович был не прав? Просто у Валентины Михайловны была такая привычка — никого к себе близко не подпускать.

Когда поминальная трапеза подходила к концу, Селиванова вдруг сообщила с неожиданным дружелюбием:

— Знаете, товарищи, мне опять предлагают собаку. Но у нее что-то уж слишком много медалей. Я боюсь, она будет выглядеть гораздо более заслуженной, чем я.

После смерти Екатерины Серапионовны в квартире на Большой Полянке опять повесили сургучную пломбу на одной из дверей. Прямых наследников у Екатерины Серапионовны не было. Единственная внучатая племянница, которой никто раньше в глаза не видал, пожаловала через несколько недель. И проявила полное безразличие к оставшимся после

покойной тетки вещам. Мариша с ее согласия взяла несколько книг и поясное зеркало в резной раме, которое всегда ей очень нравилось. Это было льстивое зеркало: оно любого человека делало красивее. И еще ей досталась случайно уцелевшая чайная чашка тонкого фарфора, из которой когда-то Екатерина Серапионовна в первый раз угощала ее чаем. Что касается мебели, то пришла дворничиха с мужем и волокла грушевый гардероб, потом вернулась за буфетом.

Снова освободилась комната. На этот раз обитателям квартиры на Полянке не повезло: к ним подселили не жильца, а жиличку. По определению Василия Степановича, не очень контактную, а по словам Селивановой — просто сволочь. О том, чтобы опять взять собаку, теперь уже не могло быть и речи.

— Что же она такое делает? — шепотом осведомилась Мариша, думая, что новая соседка в чем-то грубо нарушила внутренний распорядок.

— Да ничего особенного, — сказала Селиванова. — Просто рожа противная. Это нам со Степаничем подарок от исполкома к двадцатилетию со Дня Победы.

Мариша улучила момент и взглянула на «рожу». Действительно, приятного было мало, но Селиванова все-таки преувеличивала опасность. Женщина эта, по-видимому, досыта наговаривалась на службе — работала диспетчером в автопарке, — поэтому молчала дома. Но не было никакой гарантии, что когда-нибудь она все-таки не заговорит.

Как раз в связи с приближением двадцатилетия Победы Селивановой предложили отдельную квартиру в новом доме где-то в районе Зюзина.

— Не подумаю, — сказала Селиванова Марише.

— А почему же?

— Потому что не хочу. Хотя бы из-за одного названия. Зюзино! Мне не так много жить осталось, чтобы я половину времени проводила в городском транспорте.

Это, конечно, было сказано для красного словца: до смерти ей было далеко, она по-прежнему нравилась мужчинам, вызывала большую симпатию у своего соседа. Мариша заметила и то, что отношение самой Валентины Михайловны к Василию Степановичу стало более теплым и доверительным. Одно время Марише даже начало казаться: не закончилось бы все это свадьбой. Селивановой шел пятьдесят пятый год... Мужская поддержка ей бы очень не помешала.

Но Селиванова как будто догадалась, о чем думает Мариша, и сказала.

— Ты знаешь. Огонек, этот Степаныч совсем неплохой старик, хотя и догматик. — Вздохнула и добавила: — Но, понимаешь, не могу!.. Ведь я кое-что хорошее в жизни повидала. И больше всего мне не хочется быть смешной. При- знайся, в этом ведь было бы что-то комическое.

2

Селиванова так и осталась жить на Большой Полянке, на улице, лучше которой, по ее мнению, быть не могло. А Маришу ждало новоселье: людный и лишенный удобств дом-барак на Симоновском валу был назначен к сносу. Мариша и Анатолий в числе других жильцов получили ордер на однокомнатную квартиру в только что отстроенном доме. Это был еще не просохший после маляров огромный панельный дом в мелкую сеточку, с застекленными подъездами и торцевыми лоджиями. В планировке его ощущалась какая-то несправедливость: малосемейные, такие, например, как Мариша с Анатолием, получили квартиру с лоджией, чуланом и большой кухней, а те, у кого было по двое детей, почему-то и без лоджии, и без чулана, и с тесной кухней.

— Считаю, повезло раз в жизни, — довольно сказал Анатолий, оглядывая пустую квартиру.

Из окон десятого этажа виден был почти весь район: знаменитый завод имени Ленинского комсомола вдаль, поближе — мясокомбинат.

На Симоновском валу, на первом этаже, они прожили полных четырнадцать лет. Были и горькие минуты, но в целом прожили так, как можно пожелать многим: не ссорились, не бранились, не попрекали друг друга прошлым, мирились с неудобствами и ладили с соседями. А главное, став старше, привязались друг к другу.

Если у Мариши остались некоторые сожаления об их первом приюте, о маленькой комнате с белым полом и завешенным от пешеходов окошком, то у Анатолия — никаких. Квартира здесь была действительно отличная: обои в нежный цветочек, голубой пластик на полу, кафель в ванной и в кухне, белая плита... Это вместо той, на гнутых ногах, черной, заставленной баками и ведрами, облитой чьи-то шами. Правда, Мариша в ту старую, общую кухню старалась в час пик не заходить. Вставала пораньше, часов в шесть...

— А это для чего, Толя? — спросила она, показывая какой-то черный металлический предметик.

— Чтобы второе блюдо не подгорало. А это вот под бак.

Все-то он знал, словно век жил по комфортабельным квартирам. А для Мариши все было ново: и цветные краны, и рогатые шпингалеты, и шнурочки, за которые следовало дергать, чтобы зажечь свет. И она сейчас себя чувствовала не только счастливой, но и растерявшейся.

— Ну, ты чего это? — ласково спросил Анатолий.

— Вот бы мама моя поглядела!.. — сказала Мариша. — Когда я совсем маленькая была, у нас печь топилась по-черному. Потом уж тятя трубу вывел.

Стояла сухая и теплая июньская погода. Мариша с Анатолием перевезли свои вещи, которых набралось порядочно, но выкинуть что-нибудь было не в Маришиной крестьянской натуре. А подарить что-то из скарба было некому: родня далеко и вроде в старье не нуждается. Была некоторая горечь и в том, что никто из этой родни не видел сейчас Маришину новую квартиру.

Вскоре после переезда явились с поздравлениями молодые работницы со швейной фабрики, принесли подарок к новоселью: фужеры и рюмки в красивых коробках.

— Девочки, — растроганно сказала Мариша. — зачем же вы так потратились? Мы ведь и не пьем...

— Просто для красоты в сервант поставите. Это же чешское стекло, что вы, Мариша Парфеновна!

Девчонки сами извлекли из коробок фужеры и рюмки, протерли и расставили по столу. Июньское солнышко переливалось в голубых и розовых гранях, как будто налили в эти рюмки что-то искристое и сладкое.

— По секрету, Мариша Парфеновна, сто двадцать отдали. Фабричный комитет семьдесят пять рублей выделил, остальное собрали.

Было уже поздно, когда снова раздался звонок. Мариша вздрогнула: она еще не привыкла к звонкам, у них на Симонском валу в дверь просто стучали. Появилась молоденькая и эффектная Катя Полуничева, сразу стала искать глазами, во что бы поставить большой пучок гвоздик.

— Я знала, что к вам девчата собираются, но я хотела персонально.

Анатолий запрятал босые ноги под койку. В первый раз

в жизни он как будто сконфузился. Бочком пробрался к двери на кухню поставить чайник со свистком, импортный, который ему тоже подарил кто-то из сослуживцев.

— Спасибо тебе, Катя, садись. У нас тут пока еще...

— Не все сразу, не все сразу, Марина Парфеновна. Мариша смотрела на Катю и улыбалась. Четыре года назад, во время летних отпусков, Марише дали в помощницы эту самую Катю. Девчонка, как все девчата в девятнадцать лет: не очень организованная, не слишком внимательная, к труду не привыкшая. Рабочего халата Катя носить не пожелала, появлялась в платье из ткани «космос», до того коротком и узком, что ни нагнуться, ни разогнуться. Платье это было, прямо сказать, не для рабочей обстановки.

— Почему вы, Марина Парфеновна, никогда меня на счет моей личной жизни не спросите, — улыбаясь, заметила однажды Катя. — Это вы такая недушевная?

Мариша видела, что девчонке просто очень хочется поболтать. А время было горячее, конец месяца, да еще квартального. На контрольном столе лежит груда неклеящихся бирок, громоздятся стопы штапельных халатов, и если на каждый хоть по полминуты, и то до конца смены не переглядишь. Тем не менее Мариша спросила:

— А что же у тебя, Катя, случилось в твоей личной жизни?

Как Мариша и ждала, ничего особенного не случилось. К Катиной болтовне она постепенно стала привыкать, делу это как будто бы и не очень мешало. Они проработали вместе больше двух месяцев. Катя побаивалась, что придется расстаться, что ее опять пошлют в цех, на упаковку.

— Марина Парфеновна, может, вы за меня замолвите словечко? Мне очень хочется в ОТК остаться. Я бы старалась, честное слово!

Мариша уже догадывалась, что Катиному самолюбию льстит, что она «контролер». И когда у нее спросили насчет Кати, сказала, что надо ее обязательно придержать в ОТК, что из нее контролер может получиться хороший, потому что глаз у этой девчонки острый.

Мариша явно перехваливала, но решила, что если оставят ей Катю в помощницы, уж она ее до ума доведет. Однако их обоих ждало разочарование: на место контролера ОТК метил кто-то другой, у кого была заручка в отделе кадров. Все-таки зарплата гарантированная, большая прогрессивка, а чтобы, например, за машиной или на раскрое столько заработать, хорошие руки нужны.

— За что же вы человека обидеть хотите? — спросила Мариша у своего начальства. — Девчонка старалась...

Был слух, что Катя с фабрики уходит, что те два года, которые она на фабрике «оттрубила», ей были нужны для поступления в вуз. Но после очередного трехнедельного отпуска она вернулась в цех.

— Здравствте, Марина Парфеновна! А я на Селигере была. Хотите, фотографии покажу? Это я в купальнике...

Почему она с этими фотографиями пришла к Марише, а не к кому-нибудь из девчат, это Марише было неясно. Но она обрадовалась, что Катя опять здесь.

— Треп идет, что я в текстильный провалилась, — сказала она как-то Марише. — Представьте, я даже заявление не подавала. А к вам у меня просьба... Я перехожу на шов, поучите меня немножко, вы же такой мастер!

Мариша заверила, что поможет. Да не только она, любой поможет. Швея — хорошая специальность на все времена: сколько ни шьют, а все не хватает.

Сейчас, когда Катя пришла с пучком гвоздик, она уже перевалила на второй курс вечернего механико-технологического техникума. Работала не хуже других, но главный авторитет снискала своей деятельностью по линии спорта и туризма. Прошлым летом возила группу девчат-швейниц на Белое озеро.

— Я вам белозерские фотографии принесла, — сказала Катя Марише. — Почему-то на фотографии я всегда хуже, чем в жизни.

Она оставила Марише на память одну из фотографий, чаю пить не стала и умчалась. Принесенные ею гвоздики пахли так крепко, что Анатолий чихнул.

После сегодняшних визитов Мариша долго не могла уснуть. Подняла голову и оглядела комнату, к которой еще совсем не привыкла. В открытую дверь с лоджии врвался прохладный полночный ветер, надувалась и колыхалась занавеска.

«Надо, пожалуй, закрыть, — подумала Мариша, — страшно то что-то». Она, конечно, не того боялась, что кто-то влезет: какие воры на десятом этаже? Но она никогда еще не спала так высоко над землей, почти под самым небом, рядом со звездами, и уже очень давно не ощущала на щеках, на плечах такой тревожной прохлады. Вдруг вспомнилось, как бывало в детстве, когда стемнеет, мать выносила из избу грудную Лидку, чтобы не мешала плачем спать отцу. Маришка выходила тогда вместе с ними. «Господи боженька,

да в кого ж она у нас такая оралистая? — покачивая у груди Лидку, тихонько и ласково сетовала Евгенья. — Али кто сглазил нашу девочку? На воле Лидка постепенно затихала, и мать с маленькой Маришкой сидели тихо возле избы и смотрели на густо-синее небо, искали на нем звезд.

— Это ты все не спишь? — поднявшись на локте, спросил Анатолий. — Спи. Парфеновна!

3

Еще тогда, когда она опоздала на похороны своей свекрови, Мариша подумала о том, что следует все-таки узнавать о жизни своих близких прежде, чем с ними страдется какая-нибудь беда. После этого Мариша регулярно стала писать младшей сестренке Лидке, отчаянной голове, которая укатила из деревни прямо на Сахалин. Лидка в ответных письмах сообщала главным образом про то, что и почему можно купить на приморской толкучке. Понять, довольна ли сестра своей жизнью, из писем этих было трудно. Но, зная Лидкин характер, можно было предположить, что та не пропадет, даже если и натворит чудес.

Простив прежние обиды, написала Мариша несколько писем и брату Романку с его Сильвой Ивановной. Но ответы невестки были не толковее Лидкиных, тепла же в них не было никакого. По глубокому убеждению Сильвы, они там в деревне мучились, тогда как она, Мариша, тут в Москве как сыр в масле каталась.

Гораздо сердечнее оказались письма Маришиной золовки Рансы из Костромы. Та, по крайней мере, писала от души и каждый раз благодарила за корову. Правда, сообщала, что с сеном больно уж трудно: живет без мужа, кто на-косит?

— Что ж нам теперь, косить ей ехать? — заметил Анатолий.

— А хорошо бы! — задумчиво сказала Мариша.

Иногда ночью во сне она видела, как косит. Коса у нее была на маленьком ясеневом косовище, как раз по ее маленьким рукам. Травяной вал получался негустой, прокосы узенькие, и Марише все хотелось размахнуться пошире, но не получалось. Зато даже во сне она чувствовала, как пахнет травой, и ей казалось, что она видит ее зеленой. Такой явственно зеленый цвет, не то что тускло-грязно-голубой, из ко-

торого порой бывали сшиты некоторые платья и костюмы, проходившие через Маришины руки.

На письма золовки Раисы Мариша отвечала всегда охотно, без труда находила на это время. Спрашивала про ее детей, заодно и про Шурочку, которая уже закончила семилетку и училась в профтехучилище, тоже в Костроме. Жили они опять вдвоем с матерью, Любка работала на льнокомбинате, зарабатывала неплохо, на вино больше не тратила, собирала дочке на приданое.

Почерк у Мариши округлился и устоялся, а покойная Екатерина Серапионовна в свое время научила ее расставлять самые необходимые знаки препинания. Правда, точки и запятые Мариша иногда экономила, а восклицательным знаком злоупотребляла.

Позднее надобность в переписке с сестрой Лидкой отпала. Жизнь Мариши очень осложнилась в связи с появлением сестры в Москве. Та за эти годы прожила лихую жизнь: уже два раза побывала замужем, имела двух детей от разных мужей. После Сахалина работала поваром на целине, ездила проводницей в поездах дальнего следования. С тех пор как научилась ловчить, подолгу ни на одном месте не задерживалась: урвет кусок, и дальше. Но кусок к куску не прикладывался, настоящей семьи и настоящего дома у Лидки так и не было.

Мариша проявила прощительную для родной сестры снисходительность и с помощью Валентины Михайловны Селивановой пристроила Лидку в горничные в один из подмосковных пансионатов.

— Ты что делаешь? — испуганно спросил Анатолий, узнав о Маришиных хлопотах. — Ведь ее же все равно выгонят: хамка она!

Он как в воду смотрел: через полгода Лидку из пансионата попросили. Она не растерялась, сразу устроилась торговать овощами с лотка от большого магазина «Овощи-фрукты» около метро Семеновская. И так как зима и весна в том году были холодные, то Лидка попробовала «греться», брать четвертиночку.

— Гони ты ее к чертовой матери!.. — заорал Анатолий, когда свояченица в один прекрасный день явилась на Симоньевский вал явно навеселе.

Мариша растерялась, а Лидка сказала как ни в чем не бывало:

— Какой у тебя мужик-то псих! Попробовал бы он у меня рот разинуть!

Тут уж и Мариша не выдержала:

— Да у меня мужик золотой, если хочешь знать! Тебе бы такого. Уж больно ты характер свой распустила.

— А ты пойди-ка постой сама за прилавком, полайся день-деньской с покупателями! — отозвалась Лидка в полной убежденности, что жизнь не задалась по чужой вине. — Люди ведь как собаки стали!

От своих «каторжных» трудов Лидка довольно быстро собрала на спальный румынский гарнитур. Пришла посоветоваться с сестрой и зятем, какой брат: с двустворчатым гардеробом или подождать, когда будет трехстворчатый.

— Что, или много наворовала, в трехстворчатый-то класть? — съязвил Анатолий, который чем дальше, тем больше Лидку не выносил. А ведь женщина она была броская, да и не дура; если бы в руках себя держала, человеком могла бы стать.

Анатолий с Маришей себе пока никакого гарнитура не купили. Спали по-прежнему на кровати с трехпудовым пружинным матрасом, гляделись в зеркало, доставшееся Марише в память о Екатерине Серапионовне. Правда, коврик по открытке Анатолий схлопотал. Однако Лидка была полна иронии:

— На такой койке сейчас и в деревне не спят. Вы бы еще лоскутным одеялом накрылись!

— Ишь ты, буржуйка какая! — разозлился Анатолий. — Тебе не гарнитур, а в тундру бы тебя какую-нибудь загнать, в тайгу!..

Он искренне был обижен за Маришу, которой Лидка, по его мнению, в подметки не годилась.

Но Мариша жалела сестру, надеялась, что произойдет чудо и Лидка образумится. Та по воскресеньям приводила к ней своих детей, которые всю неделю были в садике. Дети были как дети, могли быть и хуже. Мальчику шел шестой год, девочке восьмой. Вся беда состояла в том, что Лидка до сих пор не освободила комнату при пансионате, и администрация пансионата передала дело о выселении в суд.

— Ведь у тебя детей могут отобрать, — сказала Мариша Лидке. — Ты хоть об этом-то подумай.

— Отберут, обратно отдадут. Кому они нужны, мои дети? Мариша пережила самые гнетущие сомнения, пока не решилась спросить у Анатолия, не согласится ли он взять хотя бы девочку.

Он не закричал, не стал браниться. Но сказал с непримиримой серьезностью:

— Нет, Парфеновна. Я на все согласен: если бы ты даже нагуляла, я бы принял. А тут не могу. Ведь сестричка твоя может такую штуку сыграть: ты привыкнешь, а она обратно потребует. Зачем тебе зря душу рвать?

Возразить Марише было нечего. Она уже ясно поняла, что покоя ей теперь не видать никогда, на все времена. На первых порах она купила две пары валенок для Лидкиных детей и свезла ей их сама. Лидка поблагодарила и убрала эти валенки в трехстворчатый румынский гардероб.

К весне райисполком дал Лидке другую комнату, гораздо лучше той, из которой ее выселили. Торжествующая, она принесла и показала Марише ордер.

— Вот, а ты кудахтала, что на улицу меня выгонят! — сказала она. — В Америке, что ли, живем?

Лидка опять была навеселе. Но сегодня хоть повод был — радость. И Мариша знаком попросила мужа, чтобы не ругался и не выгонял сестру. Та сидела счастливая. Тут же попросила денег на переезд, но Анатолий не дал.

Лидка была сегодня в бодром настроении, поэтому отказом не очень огорчилась.

— Я еще посмотрю, нельзя ли за казенный счет переехать, — сказала она. — Пансионат сам заинтересованный, чтобы я побыстрее смоталась, вот пусть и везут.

На новоселье она приглашала и сестру и зятя. Но Анатолий идти не захотел, а Мариша крепя сердце отправилась. Все-таки Анатолий был Лидке никто, а она родная сестра.

Пирушка была на широкую ногу, но бестолковая. От хозяйства Лидка отвыкла, ни жарить, ни печь не умела, накупила колбасы и каких-то черствых пирожков. А вина и водки набрать — это уж было совсем не хитро.

— Это сестрица моя, — сказала сильно подвыпившая Лидка, рекомендуя Маришу своим гостям. — Человек она — вот! На большой палец. Но за то я ее не уважаю, что в интеллигентные лезет.

Можно было бросить что-нибудь обидное в ответ, но Мариша промолчала. Она думала о том, что хорошо бы детей хоть на этот вечер увезти к себе. Но не знала, как к этому отнесется Анатолий. В конце концов Мариша потихоньку выбралась из-за стола, в коридоре отыскала детские пальтишки и стала одевать ребят.

— Пихай скорее сюда ручку, — шепотом сказала она маленькому племяннику. — Чего же ты, как пенек, стоишь?

— Он и в садике так, — бойко заметила семилетняя девочка, очень похожая на мать. — Все оденутся, а он стоит.

Молчаливый и неповоротливый мальчик вдруг чем-то напомнил Марише одного из покойных ее братьев, умершего маленьким еще до войны. Только того Федей звали, а этого Эдиком, Эдуардом.

— Ты его не обижай, — посоветовала она девочке, — он у нас еще маленький.

Лидка расслышала возню в коридоре и вышла из комнаты.

— Это ты куда их? — вдруг, словно отрезвев, тревожно спросила она.

— Целы будут, — коротко ответила Мариша. — А тебе уж хватит пить-то, Лидка.

Та долго молчала.

— Хороши у меня родственнички, — наконец сказала она. — Ничего себе, обласкали!..

И вдруг в ней что-то надломилось, Лидка прислонилась к дверному косяку и закрыла глаза ладонью.

— Нянька, не сердись! Не бросай меня. Эти все, — она показала на комнату, где веселились гости, — пришли и ушли, а ты же мне родная сестра, можно сказать, единственная!..

Когда Мариша ввела детей, Анатолий сидел и читал газету. Словно только сейчас Мариша заметила, как сильно облысела у мужа макушка.

— Это мы, Толя... — сказала она.

— Вижу...

Детям постелили на кровати, а сами легли на полу. Долго шептались и решили, что надо срочно Лидку из торговли вытаскивать и устраивать на производство, в крепкий женский коллектив.

— Только к себе на фабрику не бери, — советовал Анатолий, — она тебя кругом оконфузит.

Но Мариша его предостережениям не вняла, конфуза не побоялась и вскоре же повела Лидку на свое производство около Абельмановской заставы. Сама она так к этой фабрике привыкла, что ей казалось — это самое верное место. Все здесь Маришу знали, все ей сочувствовали и обещали помочь.

На первых порах Лидку взяли упаковщицей, на оклад. Дальнейшая ее судьба целиком зависела от того, как она сама себя покажет. Мариша в первую же смену, как

сестра вышла в цех, спустилась в подвальное помещение, где шла упаковка. Лидка молча заколачивала большой фанерный ящик.

— Ты обедать-то пойдешь, Лидка?

Лидка хмуро посмотрела на нее и вдруг грубо бросила:

— А ты мне денег дала?

Мариша ничего не сказала, повернулась и пошла. Поднялась к себе, попробовала приняться за дела, но все валилось у нее из рук.

Она не знала, сколько времени прошло. Скрипнула дверь, тихо вошла Лидка.

— Няня, ты уж меня прости!.. Прости, няня!

Сейчас можно было бы наговорить много душещипательных слов. Но Мариша была не говорунья. Тем более не умела она кричать и ругаться. Она сидела против своей непутевой сестрицы и молчала.

— Как ты на маму-то похожа!.. — вдруг промолвила Лидка. — А я, дура, только сейчас разглядела...

Обеденный перерыв еще не кончился, и Мариша повела Лидку в столовую. Та принялась за борщ, ложка подрагивала в ее руке. Она хотя и была обладательницей дорогого румынского гарнитура, но по неделям не ела горячего, закусывая где-то под прилавком чем попало. Здесь же, на швейной фабрике, столовая была очень хорошая, на дотации от фабкома, варили здесь как для себя. И в алялой мясной борщ Лидка уронила несколько горьких слезинок.

4

Наивно было надеяться, что в такой день можно будет раздобыть какие-нибудь цветы. Москвичи еще накануне опустошили все цветочные магазины и киоски. На рыночных прилавках не осталось ничего, кроме веточек с молодыми листочками, которые предприимчивые продавцы тоже пытались сбыть по случаю праздника. Но у Мариши был шустрый муж, и в день тридцатилетия Победы сумел ухватить для нее пучок красных тюльпанов. Тюльпаны эти несколько привяли, потому что Анатолий не очень-то умел обращаться с букетом: пока нес домой, затискал в горячем кулаке, ухватив цветы под самые головки.

Мариша была очень тронута.

— Спасибо, Толя! Ты только не обижайся, я их Вален-

тия Михайловне снесу. Не с пустыми же руками идти в такой день.

Анатолій не рассердился, хотя отдал за эти тюльпаны целых три рубля. Пара цветочков да куст травки — дорого-визна! Он так и не мог до конца постичь, что так привязывает его Маришку к этой суровой гордячке-бабе. Неужели только память тех далеких, военных лет? И все же, провожая Маришу, сказал:

— От меня тоже поздравь. Человек всю войну прошел...

— Ну вот, а говорят, что в Москве цветов достать нельзя! — встретила Селиванова Маришу.

— С праздником, Валентина Михайловна.

— И тебя, Огонек хороший мой!..

Решили пойти побродить по Москве. Закашлял в своей комнате Василий Степанович. Приволакивая ногу и постукивая палкой выполз из двери. Маришино сердце дрогнуло: на старике был китель с майорскими погонами. Толстые, тяжелые пальцы никак не могли застегнуть верхнюю пуговицу.

— Нет, нет, сидите дома, голубчик, — сказала Селиванова, когда он попросил, чтобы они взяли его с собой. — На сегодня с вас хватит. Смотрите телевизор, будет прекрасный концерт.

С возрастом характер Селивановой все же смягчился, она уже забыла, что рядом с ней «догматик» и прочее. Видела только, что старый и нуждающийся в опеке человек.

Они с Маришей прошли Полянкой, вышли к Каменному мосту, по набережной повернули к Крымскому. Вместе с ними и навстречу им шло множество народа. Волнение схватило Маришу и не отпускало: все чаще попадались заплаканные лица и сжатые губы удерживавших слезы. У нее самой вроде бы никто не погиб на фронте. Но разве жизнь ее матери и крошечной сестренки — это ничто в общем горе? А из мужиков у них в деревне почти никто с войны не вернулся.

Марише порой казалось, что все меньше становится тех, кто дорожит памятью войны, многие стали какими-то перекормленными, холодными, враждебно смотрели друг на друга потому, что на всех не хватало всего, чего бы хотелось.

А сегодня она видела людей совсем другими. Город вы-

шел на улицы праздновать и оплакивать. Шли с детьми, молодые прямо из загса. Шли и те, кому по возрасту только сидеть дома.

Какая-то старушка в черном шарфе на белой голове обращалась то к одному, то к другому, спрашивала, не знал ли кто ее сына, Вишняка Колю, двадцать второго года рождения, москвича с Оленьей улицы. Говорила она негромко, наверное, берегла голос: ей ведь предстояло повторять это бесконечно.

— Коле с Оленьей улицы было бы пятьдесят три, — сказала Селиванова. — Ну-ка, погоди, вот того человека, кажется, я помню.

Но она ошиблась. Седой полковник догадался, что его принимают за кого-то другого, улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— Обознались? — спросила Мариша.

— Обозналась, Огонек, обозналась. Тот вряд ли жив: это ведь было в сорок первом.

Мариша вспомнила палату, заставленную койками, жесткие одеяла, желтые от крови простыни. Стук тарелок, солдатские голоса, просящие добавки к ужину или курева. Смятение лежащих раненых перед отправкой: «Девчоночка, куколка, скажи, куда нас таких?..» Ужас перед сыпавшимися вокруг госпиталя зажигалками и осколками фугасок: «Да что же ты делаешь, гад, б... немецкая?.. Ну погоди, встанем!..» Вспомнился и голос Селивановой, только что закончившей на глазах у Мариши страшную операцию: «Ну, крошечка-хаврошечка,хватила страху?»

Да, страху Мариша в жизни хватила немало, но он ей душу не обморозил. Обижали ее, но она никому напасти никогда не пожелала. Встречались и такие, что учили тянуть к себе, хитрить — она не поддавалась. Были бы дети, она стала бы хорошей матерью, но не судьба. Зато эта же судьба свела ее с хорошими людьми, вот с Валентиной Михайловной. Что-то ведь было у них с Маришей общее, а то бы и не держались друг за друга столько лет. И ведь могла бы Селиванова посоветовать ей другой путь, полегче, а она как раз одобрила тот, который выбрала Мариша, — рабочий.

...В этот праздничный вечер они так никого и не встретили, кто бы их узнал и кого они сами могли бы узнать. Врачу военных времен трудно помнить в лицо своих пациентов. Ей не до лиц тогда было, она смотрела на покалеченные руки-ноги, на раны и ожоги. Но вот те, кому она помогла, ко-ко спасла от смерти, эти-то люди очень хорошо ее лицо

должны помнить. Жаль, что никто ее не встретил, не окликнул.

— Пожалуй, можно и домой, Огонек,— устало сказала Селиванова.— Для меня многовато. Старая я стала.

Анатолий в этот вечер долго и тревожно ждал свою Маришу. Впервые он испытал досаду, что не родили его лет на пять пораньше: сейчас бы тоже звенел медалями, и жена не оставила бы его в такой вечер сидеть одного.

Бродя по пустой квартире, Анатолий невольно вспоминал отца и двух братьев. Про отца и старшего брата они с матерью так ничего и не узнали, а второй брат, двадцать пятого года рождения, похоронен был в Пинской области. Мать с сестрой Раисой ездили на его могилу, а он, Анатолий, как раз в этот год призывался. Мать потом ему рассказывала, как они верст тридцать шли по болотам и, если бы не белорус-проводник, наверное, и не дошли бы: только зимой туда была дорога, а их понесло осенью.

Анатолий подошел к окну. Отсюда, с десятого этажа, отлично видны были праздничные ракеты, взрывающиеся над Москвой-рекой.

Там где-то ходила сейчас в людской толпе его Маришка, его Парфеновна. Хорошо было бы пойти и встретить ее, но велика стала Москва, разве что незначай встретишь знакомое или родное лицо. Это не деревня, где всегда знаешь, по какой тропке ходит твоя любезная. Анатолий вздохнул...

— Это ты что же в потемках сидишь? — вдруг спросил у него за спиной женский голос.

Анатолий вздрогнул и обернулся. Это была не жена, а свояченица. С некоторых пор Лидке был доверен ключ от квартиры. Вот она сейчас и явилась.

— Фронтовичка-то твоя загуляла где-то? — миролюбиво спросила Лидка.— Может, и нам с тобой по рюмочке?.. Да ты не таращь глаза-то: у меня только портвейн.

— Эх ты, кукушка! — ворчливо сказал Анатолий, намекая на то, что Лидка в такой вечер ушла от детей. Правда, дети-то теперь были уже и не дети: младший переходил в шестой класс.

— Давай хоть чаю попьем,— предложила Лидка.

— Чего же мы будем с тобой чай пить,— сказал Анатолий.— погоди, сейчас он а придет...

Тем же летом сестры Огоньковы наконец вновь ступили на вевевскую землю. Сошли с поезда, пошли обновляющимся районным центром, который своей типовой застройкой напомнил Марише черемушкинские и зюзинские одноцветные пятиэтажки. У рынка, где опять, как в годы Маришкиного детства, шла оживленная яблочная торговля, сели на автобус. Вдоль шоссе, насаженные уже после Мариши, качались и сквозили высокие молодые ветлы. Водитель то и дело останавливался и подсаживал желающих — выполнял план, да и ходить пешком теперь уже никто не хотел.

У поворота на Орловку Мариша с Лидкой вышли. Стояла вторая половина августа, хлеб был скошен, солома заскирдована, а картошка цвела могучим фиолетовым цветом, грузные плети ее клонились к черной, как уголь, земле.

У края деревни они остановились... Страшно было подумать, как далеко позади осталось детство. Марише шел сорок седьмой, Лидке стукнуло сорок — уже никак не скажешь, что молодые. Но ведь еще и не старухи: у Лидки еще ой какие планы были! Марише же сейчас хотелось одного — скорее увидеть их дом.

Он стоял над глубоким зеленым яром, под двумя сильно разросшимися ветлами. Брата и его семьи здесь уже не было: Романок работал снабженцем на новом химкомбинате, Сильва пробилась в директора школы и получила казенную квартиру. В бывшем доме Огоньковых жили сейчас совсем чужие люди, жили много лучше, чем когда-то сиротская Евгеньина семья. Огород и сад обнесены были оградой на бетонных столбах, крыша покрыта шифером, к южному боку дома пристроена была застекленная терраса.

Террас и шиферных крыш вообще в Орловке сейчас было очень много. Там, где когда-то с великими трудами отстраивали перед войной свои домишки погорельцы, теперь наставили кирпичных домов с высокими, недеревенскими чердаками, которые именовались здесь мансардами. Туда пускали дачников и наезжавших на лето родственников. Мариша удивилась, как много торчит над крышами свежих ольховых шестов — антенн: и здесь у всех телевизоры.

Орловка давно перестала быть голой. С тех пор как отменили налог на сад, опять по черным огородам насадили яблонь, вишен и дуль-тонковеток. Сейчас вишни были уже обобраны, только в густой их зелени перепархивали воробьи,

доклевывали остатки. А яблоки и груши висели, ждали своего черед. Сладко-сладко пахло белым наливом, казалось, что самые крупные яблоки вот-вот лопнут и брызнут соком. В одном из садов стояла под яблоней оранжевая детская коляска, как солнечный зайчик. Верх у коляски был поднят, и Мариша услышала, как гулко упало на него и скатилось на землю крупное яблоко.

Сестры пошли Орловкой. Лидка приехала страшно нарядная, но сразу же была разочарована: тут были одеты не хуже нее. Навстречу им попала по-московски стриженная девушка в модном костюмчике, потом выбежала бывшая подружка, теперь зоотехник, в шелковом платье бледно-сиреневого цвета. Правда, в туфлях никто сегодня не рисковал выйти: накануне был сильный дождь, тропинки развезло, и трава до сих пор была сыра. Но ходили не в тех тяжелых, цвета бурого подмосковного угля, литых резиновых сапогах, в которых проходила свою юность Мариша, а в легких, разноцветных: голубых, красных.

Может быть, за всем этим и таились какие-нибудь печали и недостатки, но Марише родная деревня показалась просто прекрасной.

Лидка была настроена более прозаически.

— Зайдем? — спросила она, остановившись против магазина.

Но Мариша в магазин не пошла, повернула к кладбищу.

...Могилка Евгеньи Огоньковой заросла густой травой, оградка погнила, готова была упасть, крест еще кое-как держался — чья-то добрая чужая рука подперла его жердочкой. Мариша невольно вспомнила, как, бывало, пела над ней и над младшими ребятами мать, укладывая их на ночь:

А где девки? Замуж вышли.

А где их мужья? Померли.

А где их гроба? Погнили.

А кто по им плакал?

Два волка мохнатых

Да две курицы хохлатых...

Но не Мариша упала на могилу и заплакала. Безутешно разрыдалась вдруг Лидка, потому что на кладбище чаще оплакивают собственные ошибки и беды, чем память тех, кто спит тут мертвым сном.

— Ох, Лидка!.. — сказала Мариша. — Погляди, как облака торопятся. А небошко за ними синее... Как детьми мы

глядели, такое и сейчас. Привези сюда своих ребят, пусть тоже поглядят.

Лидка вытерла глаза, вздохнула. Ее дети были городские, воспитанные по яслям и детским садикам. Сытые, обутые, одетые, они все-таки не видали такого неба.

Обратно сестры отправились не деревней, а полем, где тоже, как и в детские Маришины годы, наливалась густо-зеленым соком картофельная ботва и выспевали в земле крупные клубни в черной коже. Мариша вспомнила, что вот за этим пригорком раньше была зеленая рощица из лозинок и орешника, в которой попадались желтые съедобные грибки — ребячья радость. Сейчас рощицы что-то не видно было, везде кустилась картошка. Но над местом этим и сейчас перепархивали птицы, как будто недоумевая: где же это они тут раньше свивали свои гнезда?

PaccRaz





Майна вклад

Скорым поездом Москва — Нижний Тагил ехал Гена Иванов, двадцатипятилетний слесарь-инструментальщик одного из московских машиностроительных заводов. Из экономии средств Гена взял место в общем жестком вагоне. Полка ему досталась боковая верхняя — самое противное дело.

Если бы он направлялся в служебную командировку или же в отпуск, неудобства пути, возможно, и раздражали бы. Но у Гены причина была совсем другая: он ехал на похороны, поэтому вовсе не обязательно было ему располагаться в этом вагоне как барину.

Этими соображениями он поделился с пассажиром, который сидел под ним на нижней полке.

— Хороший человек был, — сказал Гена. — Вернее сказать, женщина хорошая. — И тут же грустно сострил: — Но ведь женщина тоже человек, верно?

— Возможно, — согласился нижний.

— Не возможно, а точно, — наставительно сказал Гена. — Я вас не побеспокою?

Он спрыгнул вниз и отправился в буфет. Денег у него с собой было ровно тридцать рублей. Жена Шура вообще хотела дать только двадцатку, но теща вмешалась и сказала:

— Как же ты так, Шура!.. А если на нашу помощь рассчитывают?

Теща у Гены была душевная. Что есть, то есть.

Из буфета Гена принес две бутылки минеральной воды и пару бутербродов. Поел. Потом рассказал нижнему соседу, как он однажды отравился купленным у лоточницы пирожком. И что самое удивительное, его трехлетний сын Аскольд тоже съел, но с ним ничего не случилось, а ему, Гене, даже дали больничный лист.



— У вас уже сын имеется? — удивился сосед.

— Конечно, — сказал Гена. — Почему бы ему не быть?

Нижний улегся спать, а через проход сидели такие угрюмые соседи, что, казалось, они вообще русского языка не понимают. У Гены были с собой игральные карты, но найти, с кем играть, предстояло завтра. Нижний сосед для игры явно не подходил.

— Читали «Главы из блокадной книги»? — спросил у него Гена. — Жуткое дело, правда?

— Про что там?

— Как про что? Блокада... Голод, холод...

— Нет, — сказал нижний, — не читал.

Гене не понравилась такая черствость, однако он пожелал этому черствому спокойной ночи и полез на свою верхнюю боковую полку. При мысли о том, что ехать ему двадцать с лишним часов, он громко вздохнул. Потом вздохнул вторично, когда вспомнил, что пропустит три, а то и четыре серии телевизионного фильма.

Пришла проводница собирать деньги за постельное белье. Гена дал рубль, как от сердца оторвал: надо было разбивать первую десятку. Но проводница ему понравилась. Поэтому, когда она, обойдя весь вагон, вернулась в свое купе, Гена опять спустил пятки с верхней полки.

— Я вас не побеспокою? — спросил он нижнего.

Тот не ответил, и Гена с максимальной осторожностью подался вниз. Заглянул в служебное купе.

— Девушка, я хотел стаканчик...

— Начинается! — сказала проводница.

— Вы не так поняли. У меня минеральная.

Гена почувствовал, что его не выгонят, сел и стал объяснять, куда и зачем едет.

— Ну что же, — сказала проводница, — главная задача — на поминки не опоздать.

— Поминки меня не волнуют, — покачал головой Гена. — Просто хорошая женщина была... Я уважаю женщин, они труженицы. Вот вы, например...

Он просидел у проводницы за полночь, получил крепкого чаю. Взяв деньги за сахар она отказалась.

— У вас горе, не хватало еще, чтобы я с вас копейки какие-то получала.

Гена вернулся в вагон и попытался настроить себя на настоящую грусть, представить, что у него действительно горе, — нечего бродить по вагону и мешать спать людям, которые и так находятся здесь без особых удобств.

Проводнице Гена сообщил, что у него умерла тетка. А на самом деле это было совсем не так: даже и не дальняя родственница. Для Гены гораздо выгоднее было бы сказать правду, поскольку человек выглядит благороднее, если едет за тысячу с лишним верст отдать последний долг чужому человеку. А хоронить теток и вообще родственников обязан каждый.

В боковом кармане курточки у Гены лежала срочная телеграмма, которую доставили ему вчера поздно вечером. Дверь открыла теща, она, бедная, впопыхах халат надела наизнанку.

— Иди, Геннадий, а то я ничего не пойму,— сказала она упавшим голосом.

Понять, что в телеграмме, было действительно нелегко. Отправитель на срочность денег не пожалел, а на количестве слов явно сэкономил: *«Связи кончиной прибыть безотлагательно Наймушкин».*

Гена все-таки понял, чья кончина. Умерла Матрена Яковлевна Наймушина, у которой он прожил на квартире что-то около двух лет.

В 1972 году Гена окончил профтехучилище и на работу попал в поселок Бабурино, на завод минеральной ваты. Детство его прошло в школе-интернате, отрочество и первые годы юности в общежитии профтехучилища, поэтому казенные койки вызывали в нем что-то вроде аллергии. Он и пристроился к Матрене Яковлевне за пятерку в месяц. Это, конечно, были не деньги, но даже и при этих условиях Гена порой ухитрялся своей хозяйке задолжать. Что касается Матрены Яковлевны, то она его пустила явно не из-за пятерки. Дом у нее был большой, с надстройкой, ветшающий с каждым годом и давший косину на северный, холодный бок. Жила она в этом доме совсем одна. Завод минеральной ваты, на котором Матрена Яковлевна проработала почти сорок лет, предлагал ей комнату в новом типовом доме, но она всячески открешивалась.

В зимние месяцы верхние комнаты запирали и жили в так называемой «избушке» внизу, где окна защищала высокая завалинка. Каждое утро Гена вносил со двора и сваливал у печи тяжелое береме шершавых березовых дров. Насчет порядка и чистоты у Матрены Яковлевны строгостей не соблюдалось, но зато всегда было тепло. В «избушке» пахло сухим луком, пареными овощами, а в сенях сеном и кадушками изпод солений. Но Гену эти запахи не угнетали, скорее, наоборот — в них была та домашность, которой ему в детстве так не хватало. Сама хозяйка спала высоко на печи, а Гена этажом

ниже — на боковой лежанке. По здешним морозам это было отлично. Одно было требование к постояльцу, чтобы не курил. Матрена Яковлевна боялась пожара. Дом ее был до того сух, что обрости окурков — и пошло! Но Гена как тогда не баловался, так и по сию пору не курил.

Короче говоря, все это было шесть лет назад. Конечно, Гена Матрену Яковлевну хорошо помнил и когда перебрался в Москву после службы в армии, то два раза посылал ей говяжьей тушенки и стирального порошка «Дарья» — это уже по ее просьбе. В памяти его она осталась женщиной хорошей, но без особой отметки, такая, каких много. Она очень была опечалена, когда его взяли в армию. Но ясно было, что жалела больше себя: с Геной ей все-таки было веселее.

После армии он, возможно, и вернулся бы в Бабурино, но в конце срока службы познакомился со своей будущей женой Шурой и благодаря этому попал в Москву. Шура была на два года старше, ярких примет не имела, но взяла лаской. Гену прописали, купили ему костюм, сыграли свадьбу. Он приглашал в письме Матрену Яковлевну, но она не приехала, сослалась на нездоровье, попросила только выслать свадебную фотографию жениха и невесты. Гена не пожалел и послал две: на одной молодые целуются, на другой расписываются в книге актов.

И вот умерла Матрена Яковлевна...

Честно говоря, Гена не совсем понимал, почему уж он так обязан п р и б ы т ь б е з о т л а г а т е л ь н о. В этом чудилось что-то вроде приказа, а приказов Гена не любил. Но все-таки он сейчас лежал на верхней боковой полке, в ноги ему дуло из двери, в спину поддувало из-под дерматиновой шторки, которой было загорожено замерзшее окно. Очень не хватало Шуры, Аскольда. Разве что только по теще Гена не успел соскучиться.

Он опять стал думать о Матрене Яковлевне. Вспомнил еще, что у нее была большая черная собака, которая ходила за ней повсюду. Когда Матрена Яковлевна сторожила лесопилку, от нее пахло опилками и стружками. Так же пахло и от собаки. Летом Матрена Яковлевна носила из лесу траву и от нее и от собаки пахло травой. Матрена Яковлевна была кулинарка, ее приглашали стряпать на свадьбах, на именинах и прочих праздниках, тогда обе они, и хозяйка и собака, приносили с собой запах сдобного теста. Была у Матрены Яковлевны и большая белая коза с очень длинной мордой и бородой. Один раз Гена расшалился и нарядил эту

козу в хозяйскую юбку и кофту. Он думал, что Матрена Яковлевна рассердится, но она усмехнулась и сказала: — Я думала, ты девуку какую под ручку ведешь, а гляжу — это моя Муська.

И вот умерла Матрена Яковлевна...

Утром Гена в вагоне-ресторане перекусил на рубль восемьдесят копеек. Путь предстоял не короткий, стало быть, расходы были неизбежны.

Потом он нашел охотников перекинуться в картишки. Пока ехали до Кирова, Гена выиграл пять раз. Партнеры узнали, что он москвич, и явно его зауважали. Один из них пригласил Гену к себе в гости в Краснокамск, обещал пироги с рыбой, хорошую охоту и баню. Гена отроду не держал ружья в руках, однако прикинулся бывалым охотником и записал адрес. Воодушевленный, он рассказал партнерам о столице, размахе жилищного строительства, о предстоящей Олимпиаде и дал адрес своей квартиры на улице Олеко Дундича, вернее, тещиной квартиры.

В пятом часу вечера Гена вышел наконец из вагона на сильный мороз. Солнце догорало, его алый, неукротимо-огненный щит с каждой минутой как будто сжимался. Северный рабочий поселок дышал белым снегом и синим холодным воздухом. Пристанционный пейзаж за эти шесть лет почти не изменился, под большим обледенелым мостом все так же синела обширная полынья: сюда стекали теплые воды от завода минеральной ваты, который тонко дымил трубами на высоком заречном берегу. Мохнатая белая лошадь, запряженная в водовозные сани, ждала, пока водовоз начерпает полную бочку. Часть поселка, видимо, продолжала снабжаться водой, кто как сумеет.

Гена огляделся и ступил на гулкий от мороза мост. Прошел шагов с полсотни, когда увидел, что навстречу ему торопится какой-то крупный человек в черной телогрейке и косматых пимах-катанках. Одно ухо его шапки стояло торчком, другое повисло, болталась замусоленная тесемочка.

— Вы не Иванов из Москвы будете? — спросил крупный.

— Я.

Тот подал руку, она была почти горячая: спешил сюда, наверное, на большой скорости.

— Наймушин я. Второй день вас встречаю.

Гена пожал плечами.

— Я извиняюсь, конечно... Только ведь я на ракете прилететь не мог. Как получил телеграмму, так и...

— Понятно, понятно. Вот автобус наш, едем побыстрее!

Раньше, насколько Гена помнил, автобусы здесь, в Бабурино, не ходили. Но удивляться новшествам времени не было. Он протиснулся вслед за Наймушиным в тесную коробку автобуса. Разговаривать здесь было неудобно, так что Гена только исподволь разглядывал наймушинский профиль. Этого человека он почти не помнил. Тот в бытность Гены при Матрене Яковлевне заходил к матери всего раза два-три. На вид этому Наймушину было лет сорок. Впрочем, в определении возраста Гена почти всегда ошибался. Но зато точно определил, что здоровила этот с грязной тесемочкой на ушанке выпивает не помалу. Голубые глаза у Наймушина мигали, в лице прочитывалась та заторможенность мысли, которую Гена сам нередко испытывал. В то же время сын был похож на свою покойную мать и голубыми глазами, и губами, и припухлыми надбровьями. И Гена пожалел его.

— А я вас по-другому представлял,— вдруг сказал Наймушин, повернувшись к Гене.— Я думал, выросли, а вы совсем пацан.

Это Гене не понравилось. Может быть, в сравнении со здоровилой Наймушиным он и выглядел пацаном, но сам он на свое телосложение и рост не жаловался. Просто Гена сильно замерз в своей легкой курточке, оттого, возможно, выглядел по-ребячьи.

У Долгой слободки, которая была переименована, но упорно сохраняла свое название, Наймушин и Гена вышли из автобуса. Здесь и находился дом Матрены Яковлевны. Гена помнил огромный капустный огород, в котором концы гряд тонули в речной воде. Сейчас же все было под глубоким снегом.

Гене осталось только удивиться, как этот ползуший набок дом до сих пор не повалился. Верхнее слуховое окошко выбил ветер, и из него торчал большой ржаной сноп — защита от метели.

Время было еще не позднее, и Гена ожидал, что у дома толпится народ, ждал, что увидит крышку от гроба, еловые ветки на снегу. Но ничего этого не было. Снег у крыльца был чистый, не припечатанный ни одним следом.

Наймушин отомкнул замок на двери. Не только в сенях, но и в самом доме была стужа. Сперва Гена подумал, что не топлено потому, что в доме покойник. И поспешно снял с головы шапку.

Но Наймушин своей затасканной треушки не снял. В кухне и в комнате гроба видно не было.

— Извиняюсь, — шепотом сказал Гена, — Матрена Яковлевна в больнице, что ли?

— Нет, — сказал Наймушин, — уже на кладбище. Восьмой день...

Гене показалось, что этот человек как будто стряхнул со щеки слезу. А может, слезы и не было. Во всяком случае, чаще заморгал.

— Ничего не понимаю... — сказал Гена. — Объясните...

— Сейчас все объясню. Затем и пригласил. Вы садитесь.

Но Гена продолжал стоять. Надо было прикрыть зябнущую голову, но он все держал шапку в руке. «Какой восьмой день, когда телеграмма позавчера послана?» — думал он. И пришел к заключению, что его вызвали сюда лишь для того, чтобы он взял на себя часть похоронных расходов. Ничего себе, придумали! А он, Гена, всего сто сорок в месяц зарабатывает, у Шуры восемьдесят, у тещи пенсия сорок один... Шура скоро опять в декрет, потом год без сохранения. За Аскольда в детский садик за два месяца не плачено...

— Холодрыга какая в доме! — вдруг грубо сказал Гена. — Дров, что ли, жалко?

Озябшими пальцами он вынул из кармана курточки две красные десятки, положил на стол и пристукнул по ним, как бы говоря, что больше нет и не ждите.

Наймушин торопливо подвинул эти десятки Гене обратно. — Не надо, не надо!.. А что вызвал, извините. — Он как бы примерялся, с чего же начать. И почему-то перешел на «ты»: — Я тебе сейчас все коротко...

Он рассказал, что сам не застал мать в живых. Был в командировке от охотхозяйства. Приехал, мать уже схоронили.

— Кто же схоронил? — спросил Гена.

— Завод. «Беларусь» с ковшем послали, тот за пятнадцать минут могилу отрыл. А померла она вот в этой самой комнате, хватились только на третий день.

— Она замерзла? — в ужасе спросил Гена.

— Нет, натоплено было. Это за неделю так выстыло. Она, наверно, чаю перепила крепкого. Вспотела...

Гена вспомнил, что Матрена Яковлевна была действительно большая чаевница. Любила пить индийский чай «со слюном»...

— Ну, от чаю не умирают, — недоверчиво сказал он.

— Не от чаю, конечно... Старая уж была.

Наймушин снова заморгал. А Гена думал досадливо:



«Хватит уж тебе! Говорил бы, не тянул резину. Тут сам, того гляди, в айсберг превратишься».

— Вот в чем дело-то,— заговорил наконец Наймушин.— От матери сберкнижка осталась, вот тут, на полочке, нашел. На восемьсот пятьдесят рублей. Ну еще проценты, наверное, набежали... Я пошел получить, а мне не дают. И разговаривать не стали: тайна вклада...

— Тайна? — ошарашенно спросил Гена.

— Ага. Но потом я узнал, что там завещание написано. Знаешь, на кого?

— Откуда я могу знать?

— На вас персонально.

— На меня? Почему?

— Вот и я-то думаю, почему? Вы, может быть, деньги ей какие-нибудь посылали?

— Нет, не посылал.

— Вот то-то и есть. А я как-никак помогал. Иначе откуда бы ей столько накопить? Пенсии получала сорок восемь рублей. Это ведь не деньги.

— Не деньги... — машинально отозвался Гена.

Ему вдруг стало немножко страшно, словно его вина могла быть в том, что Матрена Яковлевна умерла и взялись какие-то деньги...

— Не знаю, за что уж мать на меня так взъелась,— продолжал Наймушин.— Я ведь у нее один сын. Жили, правда, врозь, так она сама с женой моей не заладила. Всю жизнь я промеж двух огней... Бабу свою не защищаю, но и мать к старости дуреть начала. Одним словом, женщины!.. Всегда найдут, что не поделить.

Наймушин говорил и туповато-жалобно поглядывал на Гену. Тот опять вспомнил покойную Матрену Яковлевну: это надо же, как похож!

— Я думаю, друг, ты как честный человек поступишь. Дорожные расходы я тебе, безусловно, оплачу, даже могу сверх того накинуть.

— Я что-то не пойму,— неприязненно сказал Гена,— что я делать-то должен?

— Получить и...

— Вам, что ли, отдать?

— Ну а как иначе?

Гена надел шапку на замерзшую голову.

— Храбрый ты, однако, человек! Почему ты уверен, что отдам? Все-таки восемьсот пятьдесят!

Гена брал Наймушина «на пушку». Он был абсолютно

не в курсе того, будет ли закон полностью на его стороне. Наследство он получал впервые. Если бы Гена сам вдруг отчего-нибудь помер, то оставил бы разве что хоккейную клюшку и шлем, которые «заиграл» в спортивной секции своего предприятия. Еще подаренную цехом к дню рождения электрообритву, ну еще носильное, конечно... Только кому оно нужно?..

Наверное, Наймушин посчитал, что Гена дурачится. И попросил:

— Пойдем, а то в шесть сберкассау закроют.

Гена только усмехнулся: сейчас, побежит он! Вообще, что за дела?.. Хоть бы стакан горячего чаю предложил.

— Замерз я,— сказал он,— пойду на вокзал. Завтра будем разбираться.

На улице уже посинело, чуть-чуть посырело и полетел снежок. Гена зашел в гастроном, купил четвертинку, тушку варено-копченой трески с веревочкой. Эта веревочка напомнила ему грязную завязку на наймушинской ушанке, и Гена, чтобы не портить аппетита, сразу эту веревочку выбросил. В вокзальном буфете он добавил к покупкам еще пару вареных яиц и булочку. У него уже рождалась уверенность, что он богатый: ведь подкинет же что-то ему этот хмырь.

— А если он меня разыграл? — спросил сам себя Гена. — Ну я ему тогда!..

Часов до десяти он, подремывая, читал журнал «Вокруг света», за который уплатил еще полтинник. Первая разменная десятка подошла к концу.

Потом Гена решил уснуть. Но ничего не получалось. Он лежал на жесткой лавке и думал о том, что все как-то странно и не похоже на правду. Однако может случиться, что и правда. Гена даже попытался внушить себе, что раз формальное право на его стороне, то почему он должен подарить чужому дяде восемьсот пятьдесят рублей да еще и проценты? Интересно, сколько же этих процентов?.. Гена упрекнул себя в том, что он темный человек: не знает, сколько государство выплачивает вкладчикам процентов.

В то же время он мучительно старался доискаться, за что же ему-то вдруг привалило такое богатство? Ведь это же целый гарнитур «Жилая комната» или импортная стенка «Коперник»!.. Гена зажмурился и даже закрыл глаза шапкой. Создававшаяся ситуация смутно напоминала какой-то зарубежный детektiv. Не хватало только, чтобы этот Наймушин пугач какой-нибудь раздобыл. Да кто мог ждать такого сюрприза? Правда, ведь мог же он, Гена, выиграть эти деньги

по денежно-вещевой лотерее или по спортлото. Да нет, это тебе не шариковая ручка и даже не кастрюля-скороварка.

Уснул Гена поздно и проснулся рано: часы в зале ожидания показывали без четверти пять. Зал был хорошо обогрет, но Гена, приходя в себя и стараясь вспомнить подробности вчерашнего вечера, почувствовал внутренний морозец.

За большими белыми окнами тяжело прогромыхал длинный товарняк. Гудок электровоза напомнил Гене, что он не на Савеловском вокзале в Москве и что, если он хочет побыстрее вернуться домой, следует запастись обратным билетом. Но единственное окошечко кассы было еще закрыто.

«А тот-то, козел, наверное, всю ночь не спал,— подумал Гена.— Бойтся небось...»

Сказать, что сам Гена не волновался, было бы неправдой. Но он все-таки даже самому себе казался парнем неплохим и понимал, что в моральном плане права его шатки: подумаешь, тушенки послал два раза!.. И за это наследство? Пусть уж этот Наймушин в грязной шапке получает, черт с ним!..

2

В девять часов утра Гена и Наймушин подошли к районной гострудсберкассе.

— Я тебя тут обожду,— сказал Наймушин.— А ты иди оформляй.

Гена ступил на гулкое от мороза крыльцо и открыл дверь.

— Привет, девушки! — сказал он.— Мне тут получить...

Одна из сотрудниц сберкассы, самая молодая, повернулась к Гене и сказала радостно:

— Ой, Гена!.. Вы уже приехали?

Он тарачил на нее глаза.

— Геночка, вы что, забыли меня? А ведь это нехорошо!

— Вспомнил,— сказал Гена.— Вы Маргарита, кажется?

В нем вдруг гулко заговорила совесть: ведь за этой самой девицей он очень здорово приударял, когда жил в соседстве, на квартире у покойной Матрены Яковлевны. Маргарита ему и в воинскую часть писала, но вот почему он бросил ей отвечать, убей на месте, Гена сейчас не помнил. Правда, она-то тогда была еще школьница, десятиклассница...

Сейчас просто необходимо было сказать этой Маргарите хоть парочку хороших слов. Но Гена находился в каком-то обалдении. Однако по всему было видно, что Маргарита на него большого зла не держала.

— Я знаю, зачем вы приехали,— быстро сказала она.—
Погодите минуточку!

Она проскользнула за перегородку и появилась оттуда в сопровождении заведующей сберкассой.

— Да, на ваше имя имеется завещание,— сказала та.

Часто те должностные лица, которые выплачивают деньги, делают это почему-то не очень охотно, словно от себя отрываю. Но эта заведующая как будто была полна готовности тотчас выложить деньги на бочку.

Тем более Гена был озадачен, когда она сказала:

— Вам придется прийти в понедельник. У нас сейчас такой суммы нет. Только что почтальоны понесли пенсии. А в субботу и в воскресенье мы не работаем.

— Вот так здарсьте! — сказал Гена.— А я до понедельника не могу.

За спиной его вдруг возник Наймушин, который до этого покорно маячил за окошком.

— Человек ведь из самой Москвы приехал,— сказал он.

— А ты тут при чем? — спросила заведующая.

— Деньги-то ведь мои.

— Интересно! — пробормотал Гена. Поведение Наймушина ему что-то совсем перестало нравиться.

Окружающие не поняли, что Гена имел в виду: не может ли он ждать или возмущается притязаниями Наймушина.

— Хотите, мы вам откроем счет? — предложила заведующая.

— Какой счет, если это мои деньги! — перебил Наймушин, бледный до пота на лбу.— Мы же договорились...

— Это когда же? — вдруг злобно спросил Гена.

Он твердо решил, что денег Наймушину не отдаст.

— Товарищи,— сказала заведующая,— вы уж идите, выясняйте ваши дела, где хотите.

Гена перехватил растерянный взгляд Маргариты, повернулся и вышел из сберкассы. Наймушин тут же последовал за ним.

— Так чего делать-то будем?

Гена раздраженно повел плечами.

— Ты неправильную политику повел. Надо было сегодня требовать. Что мы тут будем три дня торчать?

— Ну не торчи.

— Может, ты не хочешь деньги отдавать?

Гена нагнул на глазах.

— Ясное дело!

— Как же так?

— А вот так! — И Гена вдруг завопил: — Какое ты имел право телеграммы давать? На обман пошел!.. Ты думаешь, мне делать нечего? А может, у меня жена больна! И потом я студент-заочник, у меня сессия скоро!

Про сессию Гена врал: он пока только все собирался поступить на заочное отделение в какой-нибудь институт. Но сейчас надо было, чтобы Наймушин понял, с кем он имеет дело.

Сунув озябшие кулаки в карманы курточки, Гена быстро пошагал прочь. Оглянувшись, не идет ли за ним Наймушин. Но тот почему-то не пошел, остался торчать около сберкасы, словно мог там себе что-то вымолить. Ухо его ушанки обвисло совсем.

В доме для приезжих Гена получил койку. Там он просидел до темноты, решив на улицу не выходить, чтобы не повстречаться опять с Наймушиным. Не пошел даже в столовую, а попил чаю у дежурной. На добрых женщин Гене явно везло.

На казенной койке у него было достаточно времени поразмышлять о том, как он сегодня утром выглядел сам в глазах Маргариты и других сотрудниц сберкасы. Они-то, конечно, знали, что деньги покойной Матрены Яковлевны достанутся ему так, за здорово живешь. А он-то хорош: «Здравствуйте, девушки. Мне тут получить...» Особенно неудобно было Гене перед Маргаритой: других он первый раз в жизни видел, а той когда-то стихи читал, и даже больше... Господи боже, надо же было так получиться, чтобы свалились на него эти деньги!.. Ведь жил же он без них, не помирал.

Гене хотелось выпить, чтобы не было так паршиво. Но опасение, что если Наймушин ему ничего не подкинет, то просто не на что будет ехать домой, останавливало Гену. За койку в доме приезжих тоже пришлось уплатить за трое суток по рублю пятьдесят.

Он задремал, когда в дверь постучали. Подумал, что это Наймушин, и собрался не отвечать. Но стук был какой-то культурный, и Гена решил открыть. За дверью стояла Маргарита.

— Я решила зайти, — сказала она, — узнать, как вы устроились. У нас здесь с койками трудно бывает.

— Спасибо, — сказал Гена. — Только что ты мне, Моря, «вы» говоришь? Я вот сейчас лежал тут и вспоминал, как мы с тобой в лодке перекувырнулись.

Гена врал: ничего он не вспоминал. Но Маргарита поверила.

— Помню! Хорошо, что у самого берега. Знаешь, Гена, а я этим летом финансово-счетный техникум окончила. Хотелось в областной центр попасть, но ничего не вышло. А как твои дела?

На Маргарите было голубое суконное пальто с рыжей лисичкой, шерстяная вязаная шапочка-колпачок. Живые глаза и розовые щеки наводили Гену на мысль, что Маргарита еще не повязала себя по рукам и ногам, выйдя замуж.

— Я тоже... работаю,— сказал Гена.— Слушай, Моря, это точно, что мне деньги причитаются?

— Конечно. Ну а что ты тут сейчас сидишь? Пошел бы куда-нибудь. У нас Дом культуры новый.

Гена признался, что не хочет встречаться с Наймушиным.

— Да он же в охотхозяйстве живет, за сорок километров. Я видела, как он в автобус садился. Раньше понедельника он, вот увидишь, и не вернется.

Тогда Гена осмелел и напросился проводить Маргариту домой. Не мешало бы подгладить брюки, которые он сильно помял, валяясь почти весь день на койке. Но сейчас было уже не до того.

— Отвык я от морозов,— признался Гена, когда шел рядом с Маргаритой по белой улице.— Теща советовала дубленку надеть, а я так... не рассчитал.

— Что ты, сейчас тепло. Вот перед Новым годом у нас было тридцать шесть.

— Да?.. Моря, а ты, случайно, не знаешь, сколько там еще процентов?

— Не помню. А что?

— Да так, знаешь... Интересно все-таки.

Маргарита оглядела его скольльзящим взглядом.

— Ты так мне и не сказал, как живешь.

— Да ничего... Живу, как все. Машину собираюсь купить.

Маргарита улыбнулась: явно не поверила.

— В гости зайдешь?

Жила она уже не в Долгой слободке, а в новом доме на улице партизана Абакумова. Когда поднималась на четвертый этаж, Гене померещилось, что он уже у себя дома в Москве, на улице легендарного Олеко Дундича.

— Родители отправились в Пермь,— сообщила Маргарита.— Папе нужен новый протез, он ведь инвалид. Да ты, наверное, его помнишь?

— Извини, как-то стерлось,— сказал Гена.— А у вас тут теперь очень хорошо!

Это был комплимент: обстановка в новой квартире пока была самая умеренная. Единственное, чему Гена мог бы позавидовать, это восьми томам Конан Дойля, которые, как он слышал, в Москве «толкают» по двадцать рублей за том. Наверное, Маргарита этого не знала, потому что Конан Дойль лежал у нее без особого признания на окошке.

— Знаешь, Гена, по чьей вине ты здесь? — вдруг спросила Маргарита.— По моей. Это я Наймушину адрес дала. Конечно, тебя бы все равно разыскали, но когда бы это еще было!

— Спасибо! — сказал Гена.— Ты, значит, знала мой адрес?

— Конечно. Мне его Матрена Яковлевна еще три года назад дала. Я знала, что ты вступил в брак. И все-таки мне захотелось тебе написать. А потом я что-то раздумала...

— Ну и зря,— растерянно сказал Гена.— Написала бы...

— Ты считаешь, стоило?

Наступила пауза.

— Угостить тебя чаем?

— Спасибо...

Лучше бы, конечно, не чаем, а чем-нибудь другим. Гена сегодня чаю выпил уже порядком. Маргарите и в голову не приходило, что у него с финансами бедновато. Тем более что он трепался про машину и про дубленку.

Когда Маргарита ушла на кухню, к Гене приблизился большой трехцветной масти кот.

— Мышей давишь? — спросил Гена.— Как тебя, Барсик, Мурзик?

Он перебрал еще несколько кошачьих кличек, но кот поглядел на него, как на выжившего из ума, и удалился от греха. А Гена с деланным равнодушием открыл том Конан Дойля.

Потом, когда Гена получил не только чаю, но и разогретых пельменей, он расчувствовался и сказал:

— Знаешь, Моря, у меня в последнее время предчувствие какое-то было...— Он опять соврал и не покраснел.— Я и раньше Матрену Яковлевну часто вспоминал, а тут... Я, Моря, на кладбище еще не сходил, но все из-за этого черта. Еще, думаю, увяжется, опять приставать начнет.

— На чем же вы с ним порешили?

— Да ни на чем...

Маргарита пожала плечами. И после короткого молчания спросила:

— Не расскажешь мне о Москве? Я еще ни разу там не была, но почему-то мне часто кажется, будто я иду по одной из московских улиц. Наверное, это телевизор виноват. Как ты думаешь, не могла бы я попасть в Институт имени Плеханова? Я не хочу останавливаться на техникуме.

Насчет этого Гена ничего не мог сказать. А почему бы и нет? Девка такая, что... Не то, что его Шура, которая из-за неуверенности в себе сидит на восьмидесяти рублях.

— Да, в Москве, конечно, ничего, — согласился Гена. — Только народу до черта, ГУМ, ЦУМ... Я-то лично не хожу, но теща моя иногда там бьется по полсутки. Скажи, Моря, как ты думаешь, почему именно мне Матрена Яковлевна эти деньги завешала?

— Бог ее знает, она под старость какая-то странная стала. В прошлом году пришла к нам в сберкассау и говорит заведующей: «Мария Никоновна, положьте вот мои деньги. Только чтобы они Сережке моему не достались, когда я умру. Он моего Шарика застрелил».

— Шарика? — переспросил Гена. — Ну и паразит!.. Отборный!

Вспомнилась большая черная собака, от которой пахло то опилками, то травой, то сдобным тестом. Сам Гена собачником не был и особой нежности к данному Шарикуну не испытывал, но тут подумал, что хорошо бы этому живодеру Наймушину не отдать ни шиша.

— Значит, ей просто надо было любому завешать, — вдруг пришел к грустному выводу Гена. — А я-то думал...

— Нет, почему, — возразила Маргарита. — Она к тебе хорошо относилась, вспоминала часто. Когда мы еще в Долгой слободке жили, придет к нам и говорит: «Что-то не пишет мой Гена. Наверное, некогда».

— Правда, — признался Гена, — я редко писал.

— Конечно, дело не только в собаке... — И вдруг Маргарита спросила: — Скажи, Гена, а почему ты на мои письма не отвечал?

Гена растерялся, однако что-то говорить надо было.

— Зачем я тебе, Моря? — вместо ответа сказал он. — Ничего я в жизни пока не добился. Про дублинку тебе соврал. Нету у меня никакой дублинки. И не мечтаю. Разве что вот сейчас эти деньги получу.

— Почему же, конечно, получишь. Только я тебе откро-

венно скажу. Гена, я лично была удивлена, когда Матрена Яковлевна решила на тебя завешание сделать.

— Почему же? — ревниво спросил Гена. Ему показалось, что Маргарита мстит ему за измену.

— Да потому, что у нее внучка есть. Ребенок ведь не виноват.

Гена в растерянности пожал плечами.

— А разве этой внучке деньги попадут? Все равно Наймушин себе возьмет.

— Можно сделать вклад до совершеннолетия. Сейчас ей только два годика.

— Здравсьте! — вырвалось у Гены. — Будет совершеннолетняя, пусть сама и зарабатывает.

— Ты так считаешь?

— Конечно. Да за это время всемирное землетрясение может произойти. Или деньги совсем отменят.

Но Гена очень скоро пришел в себя.

— Моря, ты меня извини... Думаешь, я такой жадный? Я в жизни чужой копейки не взял. Правда, теща меня на первых порах поддерживала... Но сейчас все так. Мне просто обидно стало: тысячу верст отмахал, напсиховался...

— Да я все понимаю, — сказала Маргарита. — Не надо тебе оправдываться.

Гена немного успокоился, доел пельмени. Маргарита сказала, что если он завтра собирается пойти на кладбище, то лучше на лыжах: очень много снега.

— А ты со мной не пойдешь? — робко спросил он.

— Нет, Гена, — сказала она, — не пойду.

3

На следующий день с утра Гена отправился на кладбище, или, как тут говорили, на могильник. Он был километрах в двух от поселка, возле самого леса. Лыжи действительно пришлось бы кстати, но Гена решил никого просьбами не затруднять.

Была суббота. Завод минеральной ваты не дымил и молчал, зато на улицах поселка было много народу. Гене попались попутчики: молодая супружеская пара с двумя детьми тоже шла «навестить» бабушку. Дети ее, наверное, не помнили, поэтому воспринимали субботнее мероприятие как праздник. На лице молодой женщины не видно было такой уж глубокой скорби: скорее всего на кладбище лежала не родная

мать, а свекровь. Женщина несла венок из голубых бумажных цветов, муж ее — большую деревянную лопату.

— Холодно тут у вас! — сказал Гена, словно сам вырос где-нибудь в Ялте или в Сочи. — Зато за елкой в очереди стоять не надо.

Перед Новым годом Гена больше часа протолкался около Дорогомиловского рынка, пока купил палку с тремя сучками за рубль пятьдесят копеек. Перед этим теща с неделю встречала его одними и теми же словами: «Значит, опять мы без елки?»

Здесь же этих елок было не пересчитать, и все они были одна красивее другой. Чувствовали они себя совсем вольно, не как в питомнике, где каждый прут сжигает со свету своего соседа. Семена их принес на опушку ветер, дождь полил, прикрыл снег. Никому здесь эти елки не мешали и росли как бог на душу положит. Хорошо!

Попутчики помогли Гене отыскать могилу Матрены Яковлевны. Отыскать, впрочем, было совсем нетрудно: она была с самого края, следы от трактора еще не совсем сровняли снег. Собственно, это пока была и не могила, а так, грудка песчанка и гальки под этим же снегом. Если бы сырой, выкинутый из глубины песок сразу бы не смерзся, сейчас у Гениных озябших ног была, возможно, просто яма, в которую провалились бы два еловых венка с лентами.

Гена снял шапку. Как ни странно, это была первая в его жизни могила. Он сюда не принес ни слез, ни даже бумажных цветочков. Но в его захламленной груди народилось грустное, по-настоящему тягостное чувство, без которого стоять над могилой вообще подлое дело. Да, он не обязан был так уж часто вспоминать Матрену Яковлевну, не обязан, но мог бы порой и попомнить. А вдруг она его все-таки любила и хотела, чтобы именно ему достались ее трудовые денежки? Гена как будто услышал ее голос: «У самого-то есть? А то подожду». Это когда он Матрене Яковлевне приносил пятерку за квартиру.

Восемьсот пятьдесят рублей он, конечно, Наймушину отдаст. Было бы своих побольше, он бы ему еще от себя прибавил. Гад, сколько он ему, Гене, переживаний устроил!.. А с другой стороны, может, так ему и надо?

Гена посмотрел туда, где копошилась молодая пара с детьми. Мужчина разгребал снег вокруг могилы, женщина разметала его веничком, дети прыгали с сугроба. Никто на Гену внимания не обращал. И обратно он пошел один.

Путь Гены был полон невеселых размышлений. Не потому,

что он задумался о собственной бренности. Кто о смерти думает в двадцать пять лет? Но Гена был не лишен воображения и видел перед собой большой и совсем пустой дом Матрены Яковлевны: на чердаке, или, как тут говорят, на вышке, мечется ветрище, крыльцо замело по верхнюю ступеньку, окна заморозило. Но старуха мужественно сидит одна, поближе к печи, пьет из самовара чай. И вдруг — смерть!.. В какую она щель влезла, как открыла тяжелую дверь? Встала за спиной, погрела костлявые руки над самоваром, а потом хватить!.. Господи! Нет, это Гена «Дон Карлоса» насмотрелся в исполнении артистов миланского театра «Ла Скала». Шура просила выключить телевизор, чтобы Аскольда не напугать, но он, Гена, все-таки досмотрел до самого конца. Страшное дело!.. Переехала бы Матрена Яковлевна в блочный дом, кругом народ, все абсолютно слышно, глядишь — и не случилось бы ничего.

Когда Гена вернулся в дом приезжих, он махнул на все рукой, пошел и взял бутылку «Русской». После этого денег у него осталось четырнадцать рублей и сорок копеек.

После выпивки он до самого вечера тяжело проспал. Очнулся около семи, поглядел в зеркало и увидел свое нехорошее лицо. Попросил у дежурной утюг и немножко привел в порядок брюки. И чтобы не быть один на один с самим собой, отправился в бабуринский Дом культуры, как это вчера посоветовала ему Маргарита.

На людях Гена немножко оживился. Но ненадолго. В кинозале показывали «Белого Бима». Уже в конце первой серии Гена не выдержал и ушел. Нервы его были напряжены до предела. Вспомнился застреленный Наймушиным Шарик.

— Эх, домой бы скорее! — с тоской сказал сам себе Гена.

Дома, в Москве, его любили и ждали. А здесь он был никому не нужен и этим напоминал Белого Бима. Но уехать Гена не мог: денег на обратный билет было уже мало. Даже если ехать общим, бесплацикартным, нужно было раздобыть где-то рубля два-три.

Этих двух-трех рублей Гене почему-то всегда не хватало. Скидывались ли в цехе кому-нибудь на подарок или в завкоме были дефицитные театральные билеты, у него не оказывалось этих двух-трех рублей. Или он вдруг видел в магазине интересную игрушку для своего Аскольда... Но Шура игрушек покупать не разрешала, ссылаясь на то, что их много в детском саду, поэтому дома иметь не обязательно. Первые годы женатой жизни Гену особенно не ужимали, но потом потребности прибавились... Правда, теще к пенсии прибавили пять

целковых. Она тогда купила Гене четвертинку, а на остальные быстросохнувшей краски для пола. Тут уж Гене неудобно было отвертеться, и в первое же воскресенье он выкрасил пол в коридоре и в комнате.

Сейчас Гена стоял у большой афиши, где был нарисован все тот же горемычный Бим. Стоял и переживал... Мороз покусывал его через синтетическую курточку. Нижнее белье на нем было, по определению тещи, «американское». Это обозначало, что белья как такового на теле почти что и нет. Ее бы воля, она нарядила бы Гену в голубые с начесом кальсоны. Но уж в этом вопросе он позволял себе быть независимым.

Другое дело — жена Шура. Нижнее ее не так волновало, как верхнее. И это можно было понять: Шура у Гены была не красавица, хотя и очень хорошая. И одевать ее нужно было покрасивее, иначе на кого же она была бы похожа? Это особенно остро понимала Генина теща, и в этом было затаенное недоверие к Гене: вдруг уйдет? Но это было просто обидно, потому что уходить он вовсе не собирался. Немного не нравилось ему, что Шура все полнеет. Но тут уж распорядилась судьба: Шура выросла и выпела при маме, а он по интернатам. Сколько-то масла ему так и недодали.

Говорят, человека тянет в те места, где он был «дитем», мальчишкой. Но Гена должен был признаться себе, что тяги такой совсем не испытывает. Километрах в ста от поселка, где он сейчас мерз, находился детский дом-интернат — его первый жизненный приют. И вот Гене ни капли не хотелось на него посмотреть, словно кто-то мог там его поймать за рукав и сказать: «Глядите, да это наш! Куда же ты, друг, сбежал?»

Гене страстно хотелось как можно скорее попасть в Москву, на улицу Олеко Дундича, к Шуре, к Аскольду, к теще Прасковье Семеновне. В Москву и только в Москву, так он ее полюбил за эти шесть с небольшим лет. Чтобы бегать по эскалаторам метро, впрыгивать в троллейбусы и автобусы, а иногда остановить барским жестом такси, посадить тещу, жену, а самому с сыном на руках устроиться рядом с водителем и поделиться своим веселым, праздничным настроением, рассказать, сколько и чего в гостях выпито. И разве можно было сравнить тот московский завод, на котором он работал чуть ли не в белом халате, с заводом, что здесь, в Бабурыне, чадил, как смолокурка, и сливал в речку черт знает что?..

Гена шел по темной улице и думал про все это. Самое ужасное заключалось в том, что впереди был еще весь завт-

рашний день, воскресенье. Зайти опять к Маргарите он как-то не решался. И никого, ровно никого он здесь в поселке не знал и не помнил. Не так уж много лет прошло, а все куда-то подевались.

Гена вздрогнул: по скрипу снега ему показалось, что кто-то его догоняет. Ему почудился этот зануда Наймушин. Но шел какой-то совсем незнакомый человек, и Гена успокоился.

— Не скажете, который час? — спросил он у прохожего, хотя на руке были свои собственные часы: так хотелось Гене слышать сейчас человеческий голос.

4

История подходила к развязке. Как промаялся Гена в воскресенье, пусть знает только его душа. Час, когда нужно было идти получать свои, но в то же время не свои деньги, приближался.

От дежурной Гена узнал, что на билете можно сэкономить три с полтинником, если ехать рабочим поездом до Краснокамска, а оттуда уже брать на Москву. Так, оказывается, большинство отсюда и едет, не считая командированных, тем ни к чему. Сердце у Гены зыграло, он помчался на станцию, узнал, когда рабочий поезд, оставил на билет, остальное тут же в вокзальном буфете проел.

В понедельник он проснулся рано, но лежал тихо, не высовывая голову из-под одеяла. Курточка, которую он набросил сверху, ночью сползла на пол, и нужно было высунуть руку, чтобы ее поднять. Но Гена лежал неподвижно.

В дверь кто-то постучал. Или это дежурная, пришедшая оповестить, чтобы он поскорее освобождал койку, или это могла быть Маргарита. Возможно, она хотела его о чем-то предупредить. Гена прыгнул с койки и открыл дверь. В коридоре стоял Наймушин.

— Ну чего тебе? — сурово спросил Гена.

— Здравствуйте!

— Здорово.

— Так это... Может быть, пойдем?

— Вот так и иди? — Гена показал на свои босые ноги.

— Зачем же?... Я подожду.

Наймушин сел на табуретку и шапочку свою зажал между коленями. «Сиротой прикидывается!» — подумал Гена. Но вид у Наймушина был очень замаянный. Опять он моргал.

Надевать на себя Гене особенно было нечего. Но он решил

этот процесс слико возможно растянуть. Достал из дорожной сумки «Аэрофлот» подаренную коллективом электро-бритву.

— Я ведь еще и в столовую пойду,— предупредил он Наймушина.

Тот всем своим видом выразил, что согласен ждать.

Гена брился и искоса поглядывал на Наймушина.

— Говорят, собак отстреливаешь? — спросил он, наслаждаясь своей властью над этим человеком.

Тот вздохнул.

— Собака-то больная была. Я мать предупреждал, что к ветеринару надо, а она сама лечила. Тут я как-то пришел, а со мной лайка была чужая, натаскивать взял. Этот черный шелудяк и кинулся на нее. Чего мне делать-то оставалось?

Гена всем своим видом показал, что такое объяснение его не удовлетворяет.

— Послушай, друг,— заискивая, сказал Наймушин,— ты поставь себя на мое место. Была бы у тебя мать...

— У меня матери нет,— вырвав вилку из штепселя, резко сказал Гена.

— А у меня вот была. Какой-никакой, я ей сын. Ты бы чужому уступил?

— Честно?

— Честно!

— Не уступил бы. Если бы мог. А ты не можешь.

Наймушин побледнел и поднялся с табуретки.

— Неужели у вас в Москве все такие?

— Москва ни при чем.

— Значит, не отдашь?

— Излишний вопрос.

Вдруг Гена решил, что эту игру пора и кончать.

— Ладно, посиди еще. А я в туалет сбегаю.

Оставив оторопелого Наймушина в одиночестве, Гена прикрыл дверь. Для виду еще немножко походил по коридору.

— Не соскучился? — спросил он, вернувшись в комнату.— А то вон радиоприемник. Выступает вокальный ансамбль «Аккорд».

— Ты деньги отдашь? — тихо спросил Наймушин.

— Я же сказал, что отдам.

— Ты не сказал...

— Разве?

Наймушин глядел на Гену потерянно.



— Иди, иди! — сказал Гена. — Займи очередь.

Наймушин вскочил и пошел. В дверях оглянулся. Взгляд у него был умоляющий.

Свое расставание с домом приезжих Гена тоже оттянул насколько мог. Все равно рабочий поезд отходил только в три часа дня, и времени оставалось — девать некуда. Он сдал койку, сам снял и свернул постельное белье, снес его дежурной. Забрал у нее свой паспорт, посидел, поговорил и даже показал фотографию сына.

— И что за населенный пункт у вас! — сказал он. — Даже сувенира ребенку купить негде.

Дежурная вместо сувенира всыпала Гене в карман два стакана кедровых орехов. Это уже было что-то! Оставалось проститься.

Ходу до райтрудсберкассы было всего минут десять, но Гена отправился окружным путем. Он рассчитывал, что этими затянками взвинчивает Наймушина, но и себя взвинтил порядком. Правда, утренняя прогулка — это совсем не то, что ночная: шемящей тоски Гена уже не испытывал. Сегодня он ехал домой, знал, что уже завтра вечером ступит на перрон Ярославского вокзала и еще минут через сорок нажмет звонок техникой квартиры на улице Олеко Дундича. Выбежит Аскольдик, за ним Шура, за нею теща!.. Гена почувствовал, что слезы опять немножко сжали ему горло, но это так...

«Черт с ним! — подумал Гена о Наймушине. — Отдать и...»

Он зашагал к сберкассе. Наймушин топтался у крыльца. — Замерз? — спросил его Гена.

— Нет. Хотя... Знаешь, поскорее бы уж... Замучился я. Уже и сам не рад.

Гена усмехнулся и вззошел на крыльцо.

— Здравствуйте, девушки! — бодро произнес он. — Как видите, это обратно я.

Все поглядели на него с живым любопытством. В том числе и Маргарита.

— Подождите минуточку, — сказала Гене заведующая.

— Жду.

В помещении сберкассы жарко топилась печь-голландка. Гена подошел и стал греть руки.

— Дайте, пожалуйста, ваш паспорт, — попросила заведующая.

Гена подал. Та ушла за перегородку. Гена посмотрел в окошко: бедняга Наймушин топтался на снегу. Поднял воротник, засунул руки в карманы — в первый раз на глазах Гены он действительно замерзал.

— Почему же у вас имя другое? — вдруг спросила заведующая, выйдя из-за перегородки.

— Как другое? — удивился Гена. Но это произошло от неожиданности, а вообще удивляться ему было нечего.

— Вклад завещан Иванову Геннадию Ивановичу, а вы Иванов Гавриил Иванович.

— Точно! — сказал Гена.

Его действительно звали Гавриил. И сын у него был Аскольд Гаврилович. А Геной его стали называть лет с шести, когда ему самому показалось, что Гаврик или Гаврюшка — это не звучит. Его и теперь многие товарищи по работе считали Геннадием. Покойная Матрена Яковлевна настоящего его имени или не знала, или просто забыла.

— А что, это имеет значение? — осторожно спросил Гена.

— Конечно.

Маргарита сказала тихо:

— Мария Никоновна, но ведь это действительно он. Заведующая сберкассой растерянно пожала плечами: она бы и рада, да не имеет права.

— Тем более фамилия у вас такая распространенная...

— За что же я у вас тут три дня мерз? — улыбаясь, спросил Гена.

— Надо же что-то сделать, — уже тревожно сказала Маргарита. Заведующая опять ушла за перегородку и стала звонить по телефону в райфинотдел. Ее долго не соединяли.

— Гена, вы не волнуйтесь, — стараясь не глядеть ему в глаза, сказала Маргарита. — Все будет в порядке.

— Да я и не волнуюсь ни грамма. Что вы, Моричка! Генина жена Шура, у которой как-никак было законченное среднее, сколько раз учила его, что говорить «не волнуюсь ни грамма» нельзя. Но Гене казалось, что это впечатляющее выражение.

Он стоял у печи, грелся и поглядывал на стенные часы. В два сорок восемь отойдет его поезд, завтра в восемь он уже будет в Москве, ловко минуя турникет в метро, сумеет бесплатно доехать до станции «Багратионовская»...

— Наделал я вам тут хлопот! — сказал он, очнувшись от своих подсчетов.

— Ну что вы! — в один голос сказали сотрудницы.

Наймушин то ли действительно совсем замерз, то ли нервы его больше не выдерживали. Он вошел в помещение сберкасс и остановился в дверях.

— Похоже, горим, — сказал ему Гена.

Более растерянного лица он в жизни своей не видел. Того почти трясло.

— Да брось ты! — сердито сказал Гена. — Нельзя же так.

Наконец заведующая вернулась. Из райфинотдела ей дали указание денег по завещанию не выплачивать. Гене объяснили, что он должен обратиться в народный суд для установления свидетельскими показаниями своей тождественности с наследователем. Но это не раньше, чем через полгода, в течение которых может обнаружиться еще какой-нибудь Геннадий Иванович Иванов.

— Заморочили вы мне голову, — сказал Гена. — Суд еще какой-то!.. Не надо мне ничего. Вон ему отдайте. — И он указал на Наймушина.

Заведующая терпеливо повторила Гене: он должен в судебном порядке доказать, что он — Геннадий Иванович Иванов, а потом официально через нотариуса отказаться от вклада в пользу Наймушина. Иначе тот ничего не получит.

При этих словах Наймушин вцепился в Гему, как мать в новобранца.

— Друг! Ты уж не бросай меня, доведи дело до конца. Я ведь для девочки... Хорошая девчонка-то, говорить уж начала. Помоги, друг!

Голубые глаза Наймушина жалобно мигали, на лбу опять проступил пот, как у приговоренного. Гена отвернулся.

«Для девчонки! Небось пропьешь половину, — с горечью подумал он. — Ведь это что за беда на мою голову!» Но в душе уже чувствовал, что и в суд пойдет, и свидетелей туда поведет, и потащится к нотариусу, о котором он раньше знать не знал. Кино, да и только! И все ради чужого дяди в ушанке с грязной тесемочкой.

— Ладно, — сказал Гена. — Большое до свидания всем! До встречи в космосе. — И он вышел из теплого помещения на мороз.

Решил сразу же взять рысь на вокзал. Но еще до угла не добежал, когда услышал за собой:

— Гена! Подождите!

Гена повернулся и побежал обратно, навстречу Маргарите. Только сейчас он понял, что это с его стороны все-таки хамство: мог бы и персонально с ней проститься.

— Гена, у вас есть деньги на дорогу? — запыхавшись, спросила Маргарита.

Он видел, что у нее что-то зажато в кулаке. Купюры, конечно... А может быть, просто носовой платок. Холод-то какой — прямо слезы выжимает.

Гена взял Маргаритину свободную руку.

— Спасибо, Моричка! Билет в кармане — это основное. На прочие расходы, возможно, рубля два и не хватит... Так их у меня всегда не хватает.

Два сестичны

I

— Васька, подожди меня!.. — кричал старший брат, припадая на белую, наколотую жесткой травинкой ногу. Он сопел, потому что уже сильно простудился на июльском речном ветру, и дышал ртом, выпятив вперед маленькие потрескавшиеся губы.

Младший приостановился и подтянул съехавшие под круглый живот штаны.

— Бежи скорее, Валичек! — позвал он и помахал коричневой короткой рукой.

Младше он был всего на полчаса: братья были близнецами. Но сходство между ними почти не угадывалось. Валька, старший, был черненький, небольшой и смазливый. Загар только легонько тронул его узенькое, девочкино лицо, шеи почти не задел. А у младшего, когда он, добежав до реки, скинул рубашку, нельзя было бы найти на вороном теле белого пятна. Волосы, просившие гребня и ножниц, желтели трепаной куделью.

— Васька, а нашу одежду не унесут? — спросил старший близнец, неумело расстегивая вышитую крестиком сорочку.

— Не, — односложно, но убедительно отозвался младший. Но все-таки осторожно поднял одежду брата и переложил ее с чистого песка подальше под кустик, на еще более чистую траву.

Они родились в один час, обоим было по девять лет, но младший казался старше: он был выше, нескладнее и, сразу видно, сильнее. Когда пошли в воду, он взял брата за руку, но тот стал вырываться.

— Я не боюсь, — кривя губы, сказал он. — Чего ты из себя воображаешь?

Младший мог бы сослаться на приказ тетки и матери, которые в один голос твердили: «Смотри, Васька, за Валечкой, на шаг от себя не пускай!» Но Васька смолчал, только крепче ухватил брата за руку.

— Хошь, я тебе поймаю? — спросил он ласково.

Пяткой он стал шупать дно и вдруг присел, ушел в воду с ушами. А когда вынырнул, в ладони у него была зажата маленькая усатая рыбка. Васька сунул ее брату в горсточку. Тот засмеялся и попросил:

— Слови еще!

Васька опять присел и встал с рыбкой в руке. Потом вылез на берег, сломил прутик и нанизал улов. Отдал брату и опять принялся за дело.

— Их у дна видать!.. — сообщил он, отдуваясь и тряся мокрой ржаной головой. — Шевелят усищами! Я щекотки не боюсь, а то бы и не словить.

Тут он заметил, что брат, еще ни разу не окунувшийся, мelenько трясется под ветром и слабая белая его кожа как бы стянулась и рябит.

— Я тебя подержу, а ты поплавай, — предложил Васька и стал ладошкой зачерпывать воду и плескать брату на плечи. Тот затрясся еще больше, потом робко окунулся, крепко держась за Ваську.

Небо было очень высоко, облачка расплзлись, как овцы по выгону, и ветер никак не мог стабнуть их. Кусты занимались тихой ворожкой, в осоке бились стрекозы. Ниже того места, где купались братья, под ивой чернел омут. Вода над ним стояла недвижная и тяжелая. Коряжистая нижняя ветка у ивы была заломлена: видно, кто-то хватался, нечаянно заплыв сюда.

Валька, осмелев, бултыхался. А Васька зорко смотрел за ним, готовый каждую секунду поймать тонкую, белую его руку. Он не видел братишку четыре года и почти забыл его. Вчера Вальку привезли из Москвы, белого, чистого и нарядного. И Васькой вдруг овладела мальчишеская нежность; он, младший, решил держаться за старшего.

— У меня трус в кутухе живет, — сказал Васька, когда оба накупались до голубой дрожи. И повел Вальку смотреть кролика, который пугливо бился в ящике. — Хошь, на траву пушу его?

Мальчишки бегали за этим кроликом по выгону, растопырив руки и крича. А из окна на них в четыре глаза смотрели мать и тетка. Они тоже были родные сестры, и тоже совсем не похожие.

Мать была желтая, мешковатая и крикливая, как птица выпь. С теми, кого она любила или старалась задобрить, она говорила больным шепотком и подбирала ласковые, жалобные слова. Кого недолюбливала, на того кричала всегда, и крик этот тоже был жалобный, взыскующий.

Близнецы родились перед самой войной. Матери шел уже тридцать шестой, двоих девочек она схоронила и больше детей не ждала. К тому же похварывала, муж пил, и житье было трудное. И все-таки, откричавшись и увидев мальчика, мать сказала радостно:

— Ах ты мой родимый! Черенький какой!.. Смотрите ручку-то ему не заломите.

Но тут ей сказали, что еще не все кончилось, и она забилась в слезах.

— Да на кой же мне его? — кричала она жалобно, когда показали ей и второго. — Ведь это что же такое, господи!.. Парень-то рыжий да страшной какой-то...

Милому сыну она выбрала и имя красивее — Валентин. Для второго годилось и попроще — Васька. И хотя криком братья-близнецы донимали мать одинаково, ей казалось, что младший и более горластый, и сосет злее, и мокнет чаще.

— С этим репьем я еще лиха повидаю, — жалобилась мать и первым к груди клала старшего, черненького, маленького.

...Тетка, лишившая мать любимца, была высокая, красивая и спокойная. На деревенских она ничем не походила: волосы у нее были острижены и мелко завиты на горячих щипцах. Она носила короткие платья с большим вырезом и за вырез затыкала сильно надушенный носовой платок. Глаза у тетки были какие-то соглашающиеся, ласковые. Звали ее Пелагеей, но с тех пор, как еще молоденькой девушкой попала в Москву, она стала Полиной.

В голодную весну сорок шестого мать написала Полине жалобное, горькое письмо, просила родную сестру оглянуться на ее обстоятельства: мужа уже не ждет, с огорода прожить нельзя, а от двух маленьких ребят работать не больно пойдешь, да и состояние здоровья «все хужеет».

Полина тут же приехала, привезла мешок ношеной одежды, пшеничных сухарей и мелкой, остро пахнущей селедки. Мать поела вдосталь и отекала, будто налилась вся желтой водой. Она точила горькую слезу и объясняла, что недавно пришел откуда-то их сосед Авдюшка Рязанов и сказал, что вроде бы муж ее Петр Разорёнов попался ему на глаза в

одном из лагерей у немцев и что не иначе, как он там и «дошел».

— Ну чем я тебе помогну? — вздохнула Полина. — Чет ы-ре сотни ведь всего получаю. И какие это сейчас деньги? Сыта, правда...

Работала Полина сестрой-хозяйкой при детских яслях. Мужа у нее не было, был какой-то человек, но распространяться про это она не любила. Не было у Полины и детей, и, может быть, поэтому она осталась такой спокойной и красивой.

— Давай уж одного малого возьму у тебя, — сказала вдруг Полина. — Чай, уж как-нибудь вытяну.

И, не дав сестре опомниться, сама решила:

Я, Моря, крестника своего возьму, Вальку.

Та заплакала:

— Что же ты двойню-то разбиваешь!..

Но было ясно: ей жалко отдавать Вальку, и скажи Полина, что увезет Ваську, никаких слез не было бы.

Братья-близнецы стояли рядом — галчонок Валентин, с узким, нездоровым личиком, но красивенький, в мать, которая в молодых годах была первой девкой на деревне. И Васька — ржаная голова, широкое лицо в пестрой крупе веснушек. Он на полголовы был выше братишки, крепкорукый и лобастый. У маленьких ребят редко бывают зеленые глаза, а у Васьки как раз были зеленые.

Он взглянул на мать, на тетку, увидел также, как вздрогнул и чуть зарозовел от радости Валька.

— Теперь каждый день буду колбасу есть! — блестя черными большими глазами, хвастал старший из близнецов, выбежав на улицу. — И на поезде поеду!..

Пока Валька собирал вокруг себя ребятешек и, вызывая у них на губы завистливую слюну, рассказывал про колбасу, Ваську мать отрядила рвать лебеду для поросенка.

Поросенок был жалконький, волосатый. Он сидел в темных сенцах, пригороженный кое-как, но по слабости и не пытался вылезти из своего кутка.

— Миш, Миш!.. — позвал его Васька, сунув ему серую, повядшую лебеду. И, потрогав за маленький рыхлый пятაკ, сообщил: — А Валька наш уезжает. В Москву... На поезде...

В первом же письме Полина сообщила, что Валечка ведет себя хорошо, ходит на детскую площадку. Ругаться по-деревенски она его отучила и очень просит сестру Марию не обижаться, что велела Валечке называть ее, тетку, мамой. Раз судьба так определила, пусть он привыкает. У нее у Марьки,

еще сынок есть, а уж для Валечки она, Полина, ничего не пожелает.

— Дай господь ей здоровья! — говорила мать одним. — Помогла мне!...

А другим:

— Сумела подластиться к ребенку, змея такая! Отлучила от меня парня!..

И грозила пятилетнему Ваське:

— Не будешь слушаться, я и тебя отдам. Одолею ты меня совсем, съел начисто, будь ты неладен!..

...И вот через четыре года Полина приехала погостить в деревню и привезла Валика. Его, девятилетнего, она вела со станции за руку, несла на плече всю тяжелую поклажу, а у него в руках было только игрушечное ружье-автомат, из которого он целился по жаворонкам. Ружья этого он не выпустил даже тогда, когда тетка послала его здороваться с плачущей матерью, которая стала теперь для Валика теткой Марькой.

— Ты уж его не квели, — шепотом посоветовала Полина сестре. — Теперь уж все утрясено, и плакать не об чем.

— Гладенький стал!.. Чистый!.. — вытерла слезы мать.

— Санаторное питание всю зиму имел, ни в чем не отказывала, все необходимое обеспечивала. Покажи-ка, Валенька, тете Марусе отметки свои.

Полина, прежде застенчивая и молчаливая, теперь стала говорухой. В глазах и в голосе у нее кипела забота, гордость какая-то. Она сама принялась искать среди вещей школьный табель, где все четверки и пятерки, только по прилежанию четыре с крупным минусом.

— Учительница говорит, беспокойный он, нервный. Усидчивости такой нет, но очень способный. — И Полина вдруг спросила Ваську, который молча разглядывал брата и его ружье-автомат, блестящее черным лаком: — А ты, Василек, как учишься?

Васька молчал.

— Плохо, чай?

Васька кивнул. И вдруг сказал:

— Я целную четверть пропустил: пальта не было.

Полина чуть поменялась в лице. Наверное, она сейчас уже жалела, что хвасталась санаторным питанием для Валика.

Прожили гости в деревне совсем недолго. Может быть, пожили бы и еще, но Полина вдруг сорвалась, зашпешила: нечаянно услышала, когда дремала в сенцах на травяной подстилке, как сестра тихонько говорит старшему близнецу:

— Валечка, не скучаешь ты без родной-то мамочки?.. Не обижают тетка-то? Былочка ты моя цветочная!..

Видимо, уж слишком тоскливо говорила это мать, и Полина смолчала, сделала вид, что ничего не слышала. А вечером того дня стала поговаривать об отъезде.

У матери с пасхи была собрана сотня яиц. Хотела сменять: селыпо за каждый десяток давало лист шифера, а из избы после дождя лоханкой выносили воду.

— Не надо,— сказала Полина, избегая глядеть на сестру, которая суежилась с плетушкой.— Ваське пиджак теплый купи или себе чего...

Уезжая, она дала матери две полсотни. Дала, не взглянув ей в лицо и как бы за спешкой не поцеловавшись. Васька неотрывно смотрел на ружье-автомат, но Валик крепко держал его и даже сделал движение, будто хотел спрятать за спину.

— А мне и не надо,— сведя выгоревшие брови, сказал Васька.

Он пробежал немного за подводой, которая увозила на станцию гостей, и, когда вернулся в избу, увидел в ведерке рыбок-попов, которых он наловил брату на прощание и которых тот забыл. Кошка уже запустила туда лапу: два попа валялись на полу, еще слабо пошевеливаясь, а из-под лавки несло урчание.

На кровати, накрывшись с головой, в голос плакала мать.

— Мам,— сказал Васька, не решаясь тронуть ее,— мне не надо пальта. Только ты не плакай и не отдавай меня!..

Через восемь лет братья встретились на том же зеленом берегу. Васька лежал, закинув бурые руки под большую ежистую голову. Бесцветная майка, бумажные штаны в полосу, парусиновые башмаки с оборванными шнурками на босых ступнях.

Валентин сидел, выбрав место почище, чтобы не запачкать темно-синий матросского кроя клеш. Белую тугую рубашу напрягал ветер, задирая синий воротник. Но загар на его узком большеглазом лице был по-прежнему слабый, неплотный.

— У нас в училище почти все ребята с девушками переписываются,— говорил Валентин.— Бывает, конечно, по-всякому... Но я думаю, что лично у меня дело перепиской не ограничится. Отец у нее работает в Киеве, в театре. Артист. У них даже доча есть...

Васька помолчал. Только когда Валентин показал ему

фотографию девушки, Васька немногословно согласился, что девушка красивая.

— На Тамару Макарову похожа,— вдруг заключил он.— Она, чай, может себе тоже артиста найти. Много ведь артистов-то...

— Ничего ты не понимаешь,— оборвал Валентин.— При чем тут артисты, когда она учится в педагогическом?

На это Васька опять сказал задумчиво:

— Вон Нинка Рязанова тоже в педагогический хочет. Боятся, не сдаст... А Нюрка ихняя — на медсестру. Если в колхозе отпустят.

Брат поглядел на него как-то иронически.

— А ты сам-то, что же, никуда не собираешься?

— Я-то?..— Васька поглядел в глубокое небо.— Я пока никуда. На тот год в армию ведь... А пока на водителя сдам. Дома-то, чай, тоже кому-то надо...

Он приподнялся и сел. Валентин видел, какие у Васьки большие, не юношеские руки, какие клещеватые пальцы, какие наеденные ржаным хлебом скулы. Ему вдруг стало жалко брата, но он не удержал просящееся наружу чувство собственного превосходства.

— Ну что же, браток!..— сказал он, как старший и как совсем взрослый.— Каждому свое. А у меня академия морская впереди.

И он встал во весь рост, словно принял строевую позу.

Васька поднял зеленые глаза, прошелся по клешам, по белой матроске брата.

— Валяй! — подумав, сказал он.— Только, чай, трудно будет поступить в академию-то?..

...Васька как в воду глядел: дорога в академию Валентину не легла. Осенью шестьдесят первого приехала в деревню со слезами Полина. Не успев поздороваться и не попив с дороги чаю, принялась выкладывать свое горе: из училища Вальку отчислили. И теперь дальнейшую воинскую службу он отбывает в какой-то строительной части.

— Пишет, что никакой ему жизни нет: один только кирпич видит да цемент...— горько сказала Полина.— А ведь какая перспектива была у парня!

Родная мать молчала. Смысл происшедшего туго шел ей в голову.

— Да за что же его, господи?..— вымолвила она наконец.

— Нервный очень, обидчивый,— вздохнула Полина.— С начальством никак не мог отношения наладить. Бездушно очень подходили к нему.

Тогда мать спросила гневно:

— А ты чего же смотрела?

— Что же я-то могла сделать, Маря? — даже испугалась Полина. — Уж я слез сколько пролила и деньгами все время помогала сколько было возможно.

На отечное, по-прежнему нездоровое лицо матери легла какая-то желтая тень.

— Помогала ты!.. — сказала она презрительно. — Загубила ты Валечку моего. Чего ты сюда теперь приехала? Чего тебе тут надо? Взяла ребенка, должна была до ума довести.

Тем же вечером Полина, не успев даже сходить на кладбище к отцу и матери и не проводив престольного праздника, поехала обратно домой.

А мать села писать письмо Васе, который уже нес первый год службу в Карелии, на границе: «С Валечкою у нас беда, загнали его неизвестно куда. Польша приезжала, говорит, начальство Валюшку погубило. Известно, что, кабы родная мать, такого бы не вышло, а ей какая боль?..»

Вася прочел материню письмо и ничего не понял. Но в письме был новый адрес Валентина, поэтому Вася узнал, что брата «загнали» не «неизвестно куда», а на Урал, и что Валентин к своей родной деревне ближе, чем он, Вася, на добрую тысячу километров.

В письме к брату Вася без всякого подвоха спросил как насчет той девушки, которая похожа на Тамару Макарову. Но Валентин ничего не ответил.

2

В Лангур, на молодежную стройку, к шоферу Васе Разорёнову приехала гостья...

В начале марта зацвел в горах миндаль, резко обозначилась душистая среднеазиатская весна. Лангур весь купался в солнце, река Нурхоб пенилась, как брага, лезла из берегов. Вася пришел к главному диспетчеру гаража и попросил «газик». Сам он водил трехтонку, приспособленную под перевозку рабочих на дальние участки. А тут сказал, что ему нужно встретить в центре и привезти в Лангур одну женщину...

Началось с догадок, потому что молчаливый здоровяк Вася никому и ничего не объяснял. Когда Васе дали «ГАЗ», молодые ребята, прикинув примерно, во сколько должен вернуться Вася со своей предполагаемой нареченной, поджидали их у самого въезда на стройку, под транспарантом с надписью:

Такое повышенное внимание к Васиным делам было легко объяснимо: девчат в Лангуре было совсем негусто. По выходным дням парни отправлялись гулять в горы мужской компанией, и отрады в таком гулянье было не много.

То ли Вася заподозрил, что его будут встречать любопытные, то ли привык аккуратно водить свою трехтонку с «живым грузом», но он вернулся в Лангур уже в полночь, черную азиатскую полночь, когда огни стройки горят, как глаза зверя, затаившегося в остывающих камнях.

...Вася не сразу узнал среди пассажиров свою тетку, которую не видел уже лет десять. У Полины было еще свежее, хотя и бледное, большое лицо, прямая спина и полная грудь. Но Васе бросилось в глаза, как выражением лица, движением губ, бровей она стала походить на свою старшую сестру Марью, его, Васи, родную мать.

— Здравствуй, Васенька, — жалобно улыбнулась Полина. — Ты уж меня извини. Если бы не обстоятельства...

— Да что вы, тетя Поля, — пробасил Вася. — Живите. Тут у нас скоро хорошо будет. Вот дома сдавать начнут, комнату получу. Будете у меня за хозяйку.

Они уже сядились в машину, когда к Васе подошла девушка. Маленькая, в черном свитере и брючках. В руках у нее совсем небольшой саквояж.

— Вы не подвезете меня до Лангура? — спросила она, отодвинув со лба прямые черные пряди. Вася увидел большие, удлинённые краской глаза. Зрачки цвета лива пристально и ласково целились в Васю. — Я вам заплачу.

— Еще чего!.. — смутился Вася. — Садитесь так.

Девушка шмыгнула на заднее сиденье и замолчала, будто уснула. Зато тетка говорила и говорила.

— Я Валю после армии на обувную фабрику устроила. По щетинно-щеточному профилю. Место хорошее, но какие уж, Вася, шетки, когда парень мечтал морским офицером быть! И еще, я тебе признаюсь, Вася, девчонки его с толку очень сбивали. Ведь сейчас в девушках совсем серьезности нет.

— Ну, разные есть девушки, — осторожно сказал Вася и оглянулся на вторую свою пассажирку.

Маленькая черноволосая голова ее лежала на саквояже, но глаза пристально смотрели из-под подкрашенных ресниц. Она улыбнулась Васе, и он, ободренный, заявил громко:

— Сейчас через перевал поедем. Вы, тетя Поля, если голова закружится, по сторонам не глядите.

Но тетка настолько была погружена в свое, что и перевал ее не удивил. Она только крепче взялась рукой за скобку впереди сиденья. А Вася затылком чувствовал, как замерла позади него девушка с красивыми глазами, и, взглянув в зеркальце, увидел ее матовое, яичком лицо.

Они еще не миновали грозного места, укутанного серыми предвечерними облаками, а Вася уже услышал от тетки дальнейшие подробности: все бы еще ничего, хотя последнее время жили они с Валентином малоденежно, но вот этой зимой он сошелся с одной женщиной, привел ее к себе, и мать стала не нужна.

— Лет на восемь она старше Вали, уже разведена была. А комнатка у нас, Вася, маленькая... Ну куда деваться? И женщина такая попалась нескромная, распущенная. Ты уж извини, Вася, что я тебе, неженатому мальчику... Ох, Васенька, берегись ты этих женщин!..

Вася немножко смутился, глянул в зеркальце под потолок кабины, увидел свою короткую коричневую шею, маленькие не по голове уши, квадратный подбородок с ямкой — все в буре загаре.

— А чего бояться-то? — как можно небрежнее и веселее сказал Вася. — Пусть они нас боятся!

Но тетка сразу угадала всю его несостоятельность и улыбнулась слабой улыбкой.

— Ах ты мой золотой! Разные вы с Валеи. Тот — кавалер!

Им обоим показалось, что сзади прозвучал совсем тихий смехок. Но больше ни слова.

— Я извиняюсь, — сказал Вася, — вы к кому едете?

— К мужу, — ответила девушка.

— А как фамилия?

— Чураков.

Вася мало знал Славку Чуракова. Слышал от ребят, что тот веселый, компанейский парнишка. А встречался только на комсомольских собраниях. Один раз был свидетелем, как Славку прорабатывали за какую-то пьянку, и он стоял перед собранием, очень смешной, шустрый, и неостроумно оправдывался, ссылаясь на то, что он еще «мал, соплив и глуп». Соплив-то соплив, а вот, оказывается, уже жениться успел...

Вася включил фары. Они осветили узкую полосу дороги, свивавшуюся, как змея. То черное низкое дерево попадало в

полосу света, то оторвавшийся от скалы белый грозный камень.

— Подъезжаем,— сообщил Вася.

Он бесшумно подкатил к стройуправлению и стукнул в окошко сторожике. На ее попечение он решил оставить тетку до утра.

— А вы как же? — спросил он девушку.

Она стояла в нерешительности, маленькая и вся черная. Волосы ложились на лицо и плечи.

— Может быть, вы меня проводите? — попросила она. — Вы, наверное, знаете, где Слава живет...

Вася взял у нее саквояж, повел темным проходом между глиняных полуразломанных кибиток, остатков бывшего кишлака.

— Вас Васей зовут? — спросила за спиной девушка.

— Точно,— обернулся он.

— Ну, а меня Галкой.

Они долго шли в темноте по сухой, скрипучей глине. Вася подвел Галку к одной из палаток с неприкрытым лазом, откуда слышался перебойный храп.

— Здесь, кажется,— сказал Вася.

Галка присела перед лазом и позвала громким шепотом:

— Славик!

А Вася уже шагал прочь, к своей палатке. Товарищи его спали, и он избавился от расспросов. Но утром, только ребята проснулись, они начали донимать Васю, подозревая, не хочет ли он замахорить свадьбу.

Какое же наступило всеобщее разочарование, когда Вася сказал сонно и сердито:

— Да какая вам еще невеста мерещится? — Это тетка моя родная.— И как бы между прочим добавил: — Это вон к Славке Чуракову жинка пожаловала.

— Хо! — заметил кто-то из ребят.— Нашлась бабушкина потеря!..— А говорил, что развелся.

Вася хмуρο удивился, потом пошел умыться за палатку, где на карагаче болтался железный умывальник.

...На следующий день Вася устроил тетку в женское общежитие и оформил на работу в только что родившийся в Лангуре быткомбинат: принимать одежду в ремонт и записывать в книжку.

— Однако тут у вас ставки порядочные,— заметила Полина.— Но вот как я климат ваш вынесу? Жара, говорят, бывает адская, а у меня, Вася, голова...

— У всех голова, тетя Поля,— прогудел Вася.— Тут у нас тоже не слоны работают. Привыкнете.

Он как-то не мог понять: вроде бы тетка была всем довольна, а в глазах у нее под повядшими веками мерцает горькое одиночество.

— Змей, Вася, говорят, у вас много водится? — опять робко спросила она.— И еще, говорят, какая-то страсть...

— Да ну! — уже ласковее отозвался Вася.— Зачем они к вам сюда поползут? Не бойтесь, тетя Поля, еще никого не покусали. А не нравится вам тут, я вас, как поеду в отпуск, в деревню свезу.

У Полины забегали пальцы, передернулись губы.

— Нет, Вася,— сказала она тихо,— в деревню-то уж я ни за что не поеду.

Вася и не знал, что у Валентина пошла теперь «любовь» с родной матерью: та посылает ему деньги и ругает при этом ругательски сестру Польшу. А Полина, готовая все простить приемышу, тоже таит на сестру Марию бессильную, горькую враждебность.

— Ладно, тетя Поля, не переживайте,— сам заскучав, посоветовал Вася,— что было, то на низ уплыло.

У Васи было такое ощущение, что его вмешивают в чужие дела. Он уже привык считать, что его родной брат-близнец вроде бы и не родной, а вражда матери и тетки их совсем разделила. Когда Вася слышал от Полины, что Валька несчастливый (ведь такая перспектива у него была), он с досадой думал: ну, а он-то сам счастливый? Денег больших, как рассчитывала мать, отпуская его в Лангур, пока не собрал, хотя их, эти деньги, и тратить здесь вроде бы не на что: в столовой каждый день одно и то же — харчо, битки, компот из алычи, всего на восемьдесят копеек, пачка «Севера» — итого рубль. Девчат нету, и некому даже пузырек духов подарить...

К середине апреля Васе выделили комнату в новом доме. И они с теткой принялись ее обживать. Полина как будто воскресла на срок, суежилась и старалась как могла. Они с Васей привезли из Саяба на трехтонке диван и гардероб, а тут, в Лангуре, Вася купил в магазине, что было: лампу-торшер, розовое мягкое кресло и стенное зеркало. Сам он первое время спал на полу, отдав тетке новый, пахнувший почему-то нефтью диван. А шкаф почти пустовал, вешать в него пока было нечего.

Под окнами Вася посадил два персика, алычовый куст.

— Варенье будете варить, тетя Поля,— пообещал он.

А Полина ответила как-то рассеянно:

— Ох, как у меня Валя любит варенье! Особенно из вишен.

Потом она сказала Васе:

— Я вот, Вася, свои собственные шторы на окна повесила. Когда ты себе приобретишь, я эти сниму...

Вася понял: все-таки он для тетки как чужой, и вряд ли она собирается долго с ним жить. Подработает и уедет. И Вася ответил холодно:

— Это, тетя Поля, дело ваше.

Как-то он случайно увидел тетку на базаре, куда таджики привозили на ишаках мешки с желтыми, увядшими за зиму яблоками, грецкие орехи, гранаты в каменной скорлупе. Тетка поспешно клала все это в фанерный ящик.

«Вальке посылает,— подумал Вася.— А зачем тайком-то?»

3

Поднимался Вася с первым, бледным рассветом. Тетку не тревожил, потихоньку обувался в коридоре, забирал спецовку и уходил.

Над Лангуром полз туман, земля была еще сыра и пахла таяннем. Цветущие персики казались серыми, и только при первом луче солнца к ним приходила краска и нежность.

Над бетонкой, уходящей в горы, вился белый парок, и не было еще желтой, колючей пыли, которую поднимали машины днем. Не видно было и людей. Только за Нурхобом, на бледно-зеленом туманном берегу, темнели пасущиеся крохотные ишаки.

Вася задумчиво поглядывал в ветровое стекло своей трехтонки, уже помытой и выметенной. На стекле дрожала, мерцала холодная влага утра. Вдали зажелтел глиной кишлак, краснотой ударило от абрикосовых садов. Сухой, как сучок, старик ехал навстречу на ишаке, качая темными голыми ногами. Ишак был грязный, еще не отъевшийся после зимы, и шел он с закрытыми глазами, словно не чувствуя, как хозяин размеренно стучает по его гулким шершавым бокам тонкой, гибкой палкой.

Потом бетонку перешла девушка-таджичка. Она поднялась от берега и стояла с большим кувшином на плече, нарочно отвернувшись, чтобы Вася не видел ее лица. А он все-таки высунулся из кабины и позвал громко и ласково:

— Эй, апай!

Девушка не шевельнулась. Солнцем промелькнуло мимо Васи ее ярко-желтое широкое платье.

В кишлаке у чайханы Вася просигналил. Заскрипели двери кибиток: таджики, пожилые и молодые, выходили, первым движением обратив лицо к востоку и будто что-то отряхивая со своих рук!

— Салам, мужики! — ответил Вася на их приветствие. — Садитесь давайте.

Он повез их по змеистой дороге, вверх по Нурхобу, на створ будущей Лангурской плотины. Громыхали лопаты на дне кузова, громко переговаривались таджики. Вася кое-что понимал, но мысли сейчас у него были заняты своим.

Он отвез утреннюю смену, повез домой ночную. Потом поставил машину, сбегал купил молока для себя и для тетки и две лепешки прямо с огня. Пока горячие, они были очень хороши: пахли кислым тестом, напоминали деревенские овсяные блины.

Мимо Васи прошли девчата-маляры в синих, забрызганных побелкой штанах. Они живо разговаривали, и им не было никакого дела до Васи. Они и не заметили, как он проводил их глазами, словно забыв о горячей лепешке, зажатой в кулаке.

«Поеду в отпуск, женюсь...» — в который раз сам для себя решил Вася.

Была у него когда-то в деревне подружка ребячьих лет, та самая курносая, деловая Нюрка Рязанова, которая мечтала стать медсестрой. Вася, пожалуй, сманил бы ее сюда, но Нюрка, поступив в техникум, зубами держалась за среднее образование. С полгода присылала она Васе письма с припиской: «Лети с приветом, вернись с ответом», — а потом Вася узнал, что она вышла замуж за преподавателя физической подготовки...

Крутилась пыль над бетонкой, слепило солнце. Вася ехал порожняком за послеобеденной сменой. И вдруг притормозил: по пыльной обочине шагала Галка. Он ее сразу узнал, хотя на ней вместо черного свитера была теперь пестрая рубашка-распашонка. А в руке сумочка из порипласта.

— Здравствуйте, — сказал Вася, остановившись. — Вы далеко?

— В Кокшар за сигаретами, — улыбнулась ему Галка и отбросила со лба прямые черные пряди. — У вас в Лангуре одна эта дрянь — «Север».

Вася сам курил «Север», и Галкино замечание смутило его.

— Ну, садитесь,— после короткого молчания предложил он.

Галка проворно села рядом с ним и не переставала улыбаться. Может быть, эту улыбку вызывали лучи солнца, от которых некуда было спрятать лицо.

— Скажите, а ваша тетя все еще здесь? Мне показалось тогда, что она немного причудистая.

— Нет, почему,— смутился Вася.— А вы как? Устроились в смысле работы?

— Да нет пока,— неопределенно сказала Галка.

Он чувствовал, как она все время шарит по его лицу своими быстрыми, цвета пива глазами. Ему хотелось бы спросить и про то, как у нее со Славкой протекает семейная жизнь. Но он не решался, а Галка, будто догадавшись, о чем он думает, усмехнулась довольно игриво и вместе с тем неопределенно.

На развилке она прыгнула, махнула Васе рукой и быстрыми шажками направилась в желтеющий неподалеку кишлак. А Вася поехал дальше в горы. После Галки в кабине повис дым каких-то духов. Вася невольно потрогал то место, где она сейчас сидела. Уж очень эта Галка была непохожа на девчат, которых Вася видел здесь, в Лангуре.

Смена у Васи выдалась в этот день сплошь суматошная: после обеда возил по стройке группу практикантов. Потом в кабину ему подсунули какого-то фотокорреспондента. Тот через каждые сто метров просил остановиться, ползал по камням, снимал Нурхоб и сверху, и снизу, и с навесного, колеблющегося над провалом мостика, и с корявой дикой яблони, повисшей в ущелье. У Васи все время было желание ухватить его покрепче за полу, оттащить от пропасти.

— Если вниз сыграете, крышка будет, товарищ фотограф,— заметил он.— Вы уж поаккуратней.

В довершение фотограф уронил под кручу один из своих аппаратов и сумку с пленками, и, пока он охал, Вася притащил веревку, обвязался и слазил вниз, благо аппарат и сумка зацепились за какой-то корявый, мертвый куст.

— Замечательные у вас здесь люди! — благодарил фотокорреспондент и сфотографировал Васю тут же в рост для республиканской газеты.— О таких людях нужно легенды создавать!

— Вы лучше карточку мне перешлите,— попросил Вася.

Его уж тут несколько раз снимали в Лангуре — и как первопоселенца и как ударника. Но дальше пленки дело почему-то не пошло. Хотя бы уж проявили и ему на память остави-

ли. Зря только он делал значительное лицо, когда смотрел в объектив.

...Апрель стоял спокойный и теплый. В одну из ночей пролил дождь, пыль села, с гор запахло травой. И спать по вечерам не хотелось. При свете фонарей сидели у палаток, стучали в домино.

— Вася! — услышал он из сумерек. — Это вы? Подите сюда.

Вася положил костяшки, ступил вперед несколько шагов и узнал Галку. На ней было узкое красное платье с большим вырезом. Но шею по-прежнему прятали черные пряди волос. Длинная челка почти казалась бровей.

— Здравствуйте, Вася, — сказала Галка. — Хотите, погуляем немножко? Сейчас хорошо...

— Неудобно, ребят бросил...

— Ну пожалуйста, пойдемте! — попросила Галка.

И она словно невзначай, дотронулась до его руки ласковым кошачьим движением. Вася растерялся.

— Чего же с мужем не гуляете? — спросил он грубовато, потому что волновался.

— А вы что же, боитесь? — улыбнулась Галка. — На вас не похоже.

Она взяла его за руку и повела за собой на единственный освещенный фонарями проспект, где гуляли другие пары. Неужели она хотела, чтобы ее увидели с Васей?..

Они медленно шли, скрипя песком. Потом Галка спросила:

— Вы всегда так много говорите? У вас заболит язык.

...Когда Вася вернулся домой, тетка уже спала. У нее был ощутимый недостаток: она громко и неприятно храпела, как закипающий чайник. Первые ночи Вася даже не спал, потом переборол себя. Только приходилось накрываться с головой.

«Не иначе, не поладила со Славкой, — думал Вася о Галке. — На ком-то утешиться хочет...»

На минуту, перевернувшись на другой бок, прекратила свой храп Полина. Вася поднялся на локте. За окном висела смоляная чернота. В комнате было душно, и, хотя почти не было мебели, казалось, что тесно, надвигаются стенки. Хотелось уйти отсюда, уехать домой в деревню, на скрипучее крыльцо, посидеть в прохладе под черемухой, как когда-то сидел со спокойной курносой Нюркой. Только какая уж теперь Нюрка! Васе мерещилась черная длинная прядь Галкиных волос.

Он лег и закрыл глаза. И опять увидел Галку, ее белую, тоненькую шею и карминовый, отчетливо подкрашенный рот.

Утром Вася встал суровый. И когда получил наряд на дальний рейс, в республиканский центр, решил, что это и лучше. Тетка его состояние не разгадала. Она только попросила, чтобы Вася ей там достал какое-то хитрое лекарство от повышенного давления..

Дома Вася не был три дня. А когда вернулся, его ждала новость. Полина, которая уже вполне обжила в Лангуре, сообщила:

— Знаешь, Вася, ту-то, черненькую, говорят, муж выгнал. Наверное, хороша птичка! И зачем едут сюда? Только людям дело делать мешают.

Вася в первый раз резко сказал тетке:

— Не лезьте вы, тетя Поля, в чужие дела! Тут еще разобратся нужно...

Вечером Вася отправился искать Галку. Стараясь, чтобы не заметили, прошел в женское общежитие.

— Кого тебе? — спросила комендантша, категорически настроенная против мужских визитов.

Вася не знал даже Галкиной фамилии. Но комендантша почему-то догадалась. И так как Вася еще ничем себя не скомпрометировал, то она показала ему комнату.

Галка сидела на койке, подняв колени к подбородку. Когда Вася вошел, она тряхнула волосами, и лицо ее открылось. Под левым глазом синел небольшой отек.

— Видите как мне досталось,— грустно сказала она Васе

Никогда и никого Васе еще не было так жалко. Он и причины не знал: может быть, Галка кругом была виновата. Но ему стало очень ее жалко. Нельзя бить таких маленьких, у которых тоненькая шея и лицо беленьким яичком, даже если они виноваты... Вася загнипнотизированно глядел на Галку. Удивительно, почему ее не трогал загар? Ведь сам-то он стал уже почти черный.

— Вы похожи на бедуина,— вдруг ласково сказала Галка.— Ну что вы так на меня смотрите? Тоже будете бить жену, когда женитесь?

— Нет,— тихо сказал Вася.— Никогда не буду...

4 К

Днем в жару Лангур отдыхал. По долине шелестел жаркий ветер, крепко пахло прогретой листвой, на фруктовых деревьях наливалась завязь. Сухая тишина повисала над крышами еще не обжитых кирпичных домов и над потрес-

кавшимися на солнце глиняными кибитками. Только в глубине горы, где прорубали тоннель, скреблись неустанные самоходки, и казалось, что сама гора вздыхает и сопротивляется. Раза два в день горячий воздух разрывало буханье взрыва, над ущельем повисала густая, лакричная пыль, и эхо бежало по горной цепи.

В один из таких утомляюще длинных майских дней к Васе вдруг подошел Славка Чураков. У него было осунувшееся, как испеченное ветром, лицо.

— Слушай, Разорёныч,— сказал он нервно и негромко, будто боясь спугнуть жаркую тишину.— У меня мужской разговор...

Они отошли за стенку гаража, и, хотя здесь ядовито пахло бензином, Славка все же рискнул закурить.

— Я тебе объяснить хочу...— У Славки от волнения дернулась щека.— Тут мутная история... Ты, конечно, можешь мне и не верить. Но это еще та попрыгушка!..

Вася насупился и смял в кулаке пачку «Севера».

— А в морду хочешь? — вдруг грубо спросил он.

Славка дернул выгоревшими бровями. Карие глаза его как будто наполнились тоской.

— Слушай,— почти жалобно сказал он,— не надо! Другому бы я за это сам двинул... А тебе по-товарищески говорю: не надо!

Ветер шаркнул пылью по горячей стенке гаража. Еще противнее пахнуло бензином. Славка спрятал недокуренную папиросу.

— Мы вместе в турпоходе были на Саянах. Она мне очень тогда понравилась. Как вот тебе теперь...

Вася не шевельнулся, и Славка, как бы ободренный этим, продолжал:

— Я понимал: ее чем можно взять? Только расписаться. Я сразу это и ломил. Только она думала, что я совсем лопух. Ведь, чтобы ребенок родился, должно, кажется, девять месяцев пройти? А у нее родился через семь с половиной... Представляешь, Разорёныч, через семь с половиной!..

— Слушай, иди ты! — зажмурившись почему-то, сказал Вася.

Наверное, Славка испугался, что Вася сочтет его пошляком, и он добавил поспешно:

— Я понимаю... Я ей даже ничего не сказал тогда. Но пацан умер через два месяца. Я так и не узнал, мой он был или нет...

Вася удивленно вскинул брови. А Славка объяснил:

— Вообще-то ведь бывает, что недоношенный... Я даже привык к нему, коляску купил... Но вот когда он умер, то я решил кончать. И уехал. А теперь, видишь, она сюда явилась и выпендривается!..

— Ну ладно, будет,— попросил Вася.

— Я понимаю,— опять забормотал Славка.— Я ведь только попросил, чтобы она тенниску мне постирала... Неужели бы я стал драться. Разореныч? Я же к ней хорошо относился...

Славка вдруг вскочил и побежал прочь. Наверное он уже жалел о затеянном разговоре, потому что только выдал себя и, видимо, ни в чем не убедил Васю.

А вечером пришла Галка. В ней вроде бы что-то поменялось: она стала какая-то тихонькая и как будто меньше ростом. Можно было предположить, что она знает о том разговоре, который был у Васи со Славкой. Галкины пивные глаза смотрели ласково и виновато.

Вася сидел черный и мрачный.

— Помиришь ты со своим этим...— сказал он.

Галка покачала головой.

— Зачем? Я его не люблю.

Вася спросил недоверчиво:

— Что же, и не любила вовсе?

— Нет,— сказала Галка откровенно.— За что его можно любить? Он и на мужчину-то не похож.

Она сказала это так, чтобы Вася почувствовал, что он-то уж похож на мужчину. А между прочим, они со Славкой были почти ровесники.

— Зачем же ты к нему приехала?

— Так...— неопределенно сказала Галка.— Может быть, я чувствовала, что тебя здесь встречу.

Она вдруг придвинулась к Васе и в первый раз осторожно поцеловала его в щеку, возле уха.

— Слушай,— сказал он совсем тихо,— я ведь трепаться не могу. Я — чтобы одна и навсегда!.. Поняла?

— Конечно,— так же тихо ответила Галка.

Потом она добавила:

— Знаешь, я тебе не буду врать, что ты лучше всех на свете. Но ты ничего, ты хороший.

— Бросишь ты меня,— глухо заметил Вася.— Тут ребят столько!

Галка не стала произносить клятвы. Она о чем-то думала, глядя в густо-синее небо.

— Я тебя сегодня видела во сне, — вдруг сказала она. — Было так хорошо!.. Ну что тебе еще надо?..

...Дома Васю ждала тетка, не ложилась, несмотря на поздний час.

— Вася! — сказала она горько и наставительно. — Что ты делаешь, Вася?..

Ему стало жарко и неловко: значит, тетка следит. А какое ей дело? Бойтся, может быть, что теперь лишняя будет? И Вася сказал грубовато:

— Я, тетя Поля, не этот... не убогий, что мне нельзя. А насчет площади не бойтесь: я в палатку опять перейду. А комната — вам. Живите.

Но когда лег, Вася подумал, что ведь тетка впервые так близко приняла к сердцу его дела и что зря, пожалуй, ее оборвал. Поэтому утром, собираясь на работу, он сказал Полине:

— Она, тетя Поля, курсы такие кончила: может печатать на машинке и стенографисткой...

Полина только вздохнула:

— А толку-то, Вася, что она кончила... Эх, Васенька! Я ведь понимаю, влюбился ты. Здесь такая пава в диковинку, а вон посмотри в Москве, Вася, таких косматых на каждом шагу, с любым образованием. Я уж на Валиных подружек насмотрелась. Волос куча, а души-то нет. Тебе бы, Вася, что-нибудь попростее, подушевнее...

Вася даже обиделся: почему же это ему «попростее»?

...Галка не выразила никакого недовольства по поводу палатки. Она любила воздух. С нею в эту палатку вошел дым духов и запах личного крема. Она принесла свой маленький саквояж, в котором было памятное Васе красное платье с большим вырезом и две пары совершенно крохотных туфликов. Такие же крохотные туфли на десятисантиметровых каблучках и еще какая-то незначительная мелочь. Остальное было на ней, включая пеструю распахонку и брючки.казалось, ее не заинтересовало и то, чем богат Вася. Когда над палаткой повисла темнота, она юркнула под Васиного шершавое одеяло без пододеяльника.

— Здесь хорошо, — сказала она и поцеловала Васю опять возле уха. — А все-таки лучше, если бы твоя тетечка поскорее уехала. Я ее почему-то не люблю.

— Ну нельзя же! — почти жалобно попросил Вася. — А ведь у меня еще и мать...

— Никого у нас с тобой теперь нет! — строго сказала Галка. — Запомни ты это!

Вася даже вздрогнул: ведь у нее тоже мать... Может быть, она другое что-то хотела сказать? Что именно в эту минуту им никто не нужен?

Он потянулся к ней, но вдруг опомнился и сказал решительно:

— Нет, Галка, не надо так. Ты меня на это не тяни. Мне и для твоей матери не жалко...

Она как будто была тронута.

— Ну, хватит,— шепнула она ласково.— Я верю, хватит великодушничать. Думай ты сейчас только обо мне. Можешь ты это?..

...Регистрироваться Галка Васю не звала. И тетка объяснила это по-своему:

— Она паспорт свой показывать тебе не хочет. Ей ведь под тридцать. Маленькая собачка до старости шенок. И что это вас с Валей обоих на старух-то тянет?

5

После сильной, сухой жары — прохладная приволжская весна. Облачком облетают сады, желтеет купальница в овражке. Огороды влажны, по межам бьет радостная бирюзовая травка и стоит ветровой звон в сосновом перелеске. С краю, на припеке, копается в пахучей прошлогодней хвое торопливый носатый ежик.

Весна в этих краях опоздала, и, когда Вася приехал в отпуск к матери, пахать под картошку было еще не поздно. И все-таки мать сказала:

— Люди-то вон еще до пасхи посадили, а мое-то уж дело — всегда в последних.

Вася не стал объяснять матери, что его задержало. Галка априори его отговаривала:

— Подумайте, какой Лев Толстой — пахать он едет! А я?..

— Переживешь как-нибудь. Я на этот раз только запашу, а гостить не буду.

Ей было непонятно: зачем, с какой стати он едет? А Васю каждую весну настойчиво тянула деревня. Он с ребячьих лет любил это время, когда начинала дышать земля, густели перелески. По краю — елки заборчиком, за ними — старые, обомшелые березы и дрожучие осины. И прямо по кромке пашни белели ландыши, звали за собой в рощу, где их было как насыпано. Ради одних этих ландышей стоило прилететь

сюда из Лангура, где к тому времени начинала желтеть и твердеть высокая, ворсистая и какая-то чужая трава.

— Я тебе ландышей привезу, — обещал Вася и взял в горсть маленький Галкин подбородок. И попросил: — Ты все же пойдй, Галка, в машбюро, договорись насчет работы. А то ведь и скучно тебе будет. Дурить еще начнешь.

— Безусловно, начну, — с вызовом сказала Галка. Но ей было грустно — Вася это видел.

«Ворочусь — обязательно зарегистрируемся», — окончательно решил Вася.

...Он шел за Буланкой, присвистывал и покрикивал густо:

— Н-но, милый! Прямо!

За спиной у Васи шагала соседская девчонка-подросток, которую взяли «в помочи», кидала в борозду крупную вялую картошку в белых бородатых ростках.

— А у тетки Марьи картошек еще мер пятьдесят остается, — вдруг сообщила девчонка. — Вчера насылались покупатели, а она говорит: «Погоди, сын уедет... При нем не стану продавать».

Матери было уже за шестьдесят. Она тучнела от года к году, седые волосы на голове редели, а брови над плакучими глазами оставались черными и густыми. Она до июльской жары ходила по пыльной улице в больших, разбитых валенках, качаясь, как утка. До июля не вынимала она и вторых рам в избе, поэтому и в кухне и в горнице было темновато, пахло цвелью.

— Подбивался тут колхоз под мой огород, — сказала мать Васе. — Хотели тут полоску обрезать, что к речке. Тебе, мол, не надо. А мне лучше видно, надо или не надо. Чай, у меня дети... Навозила, навозила землю, а теперь отдай! Сейчас и закон другой к личному хозяйству.

Вася молча усмехнулся: ну и мать — все законы знает!

Ночевал он в сарае, где его на ранней заре будили куры. Их у матери было много, они квохтали и хлопали крыльями так спокойно, будто в курятник забралась лиса. И петух чуть свет орал проклятым голосом.

— А несутся кўрки мои плохо, — скорбно говорила мать. — Постом гребни поморозили, а теперь зерна нету. На картошке одной, перо даже опадает.

Но яйца были белые, крупные, и их было много в плетушке, у матери под постелью. Обирала она их тщательно не только в курятнике, но обшаривала заброшенный одичавший смородинник, спускалась в овражек, в молодые лопухи.

«И зачем приbedняется? — с досадой думал Вася. — Боятся, что денег посылать не буду?..»

Дров он в этот приезд твердо решил не рубить: в саду под яблонями он еще в прошлом году сложил в клетку полторы сажени березовых дров. Там они и остались, только почернели, и клетка покосилась.

Но мать обиделась:

— Должно, судьба мне при старости лет в нетопленной избе доживать, — со слезой сказала она. — Может, чужие кто пожалеет...

Вася упрямо молчал. Спросил только:

— А Валька-то что же, не собирается?

— Он уж если к Спасу... Яблочко какое подоспеет, огуречков засолю.

И, видимо, желая задеть Васю, мать сообщила:

— Валушкина-то жена на инженера заканчивает. У его и у самого золотая головка. Кабы Польша его поумному руководила, у его бы тоже диплом в кармане лежал.

Мать ждала, что Вася посочувствует. Но он неожиданно сказал:

— А я, мать, тоже женился.

Ее как-то передернуло, ушибло. И она обидчиво поджала губы.

— Что-то уж больно заспешил. Мог бы, чай, и подождать. С матерью обсудил бы...

Отпахавшись, вечером Вася сошел к воде. К тому месту, где они с братом Валькой купались совсем маленькими мальчишками. Берег уже накрылся травой, и у белых, чистых камней, в светлой воде стайками сбегались усатенькие попы.

В прошлый свой приезд Вася порыбачил. Принес матери двух жерехов, щуку с аршин, кое-что мелкое. Из щуки она ему наладила уху, а жерехов присыпала солью и унесла на погреб — видно, для другого гостя. И напрасно кошка ходила за хозяйкой, терлась о ее валенки: ей и плавничка не перепало.

Теперь Вася сидел над рекой без удочки. Обхватил колени и смотрел в воду. На белый, как манная крупа, песочек и на бледную воду ложилась его большая, взбудораженная ветром голова, и тень эта замывалась зыбкой волной.

Вася думал о Галке. Скучал и беспокоился. В голову краслась тревожная мысль, что, вернувшись в Лангур, он вдруг не найдет ее в своей палатке. И невольно вспоминался случай...

Однажды Вася спросил, будут ли дети. Галка, которая в

это время занималась своими волосами, ответила как-то небрежно:

— Что их, солить?..

И вдруг она страшно вскрикнула: ей показалось, что Вася будет ее бить. Но он с силой ухватил ее и отшвырнул в другой угол палатки. Сдернул с койки одеяло и кинул его на черную, шипящую кобру. Та била хвостом и извивалась под одеялом.

— Зови кого-нибудь! — крикнул Вася Галке, чувствуя, что один не управится со змеей.

Потом он смерил убитую кобру. Оказалось, метр шестьдесят. Хмуро спросил Галку:

— Напугалась?

У нее в широко открытых глазах кипели слезы. Короткий страх смерти еще не оставил ее. Потом она опомнилась и при посторонних стала целовать Васю, крепко держась за его коричневую шею.

— Здорово ты ее!.. — говорила она, все еще блестя слезами. — Люблюлик мой!

На другой день весь Лангур знал про эту кобру, и Васю корили за то, что упустил тридцать рублей: свез бы живьем в Душанбе — получил бы деньги. А вообще-то хвалили за то, что не растерялся.

— Кобра — это что!.. — улыбался Вася. — Кобра, она предупреждает, шипит.

И все-таки с того вечера в сердце у него поселилась маленькая, но боль: «Что их, солить?..»

— Ну, мать, прощай, я поеду, — запахав в огороде последнюю борозду, сказал Вася. — У меня теперь жена!

Мать растерялась, заговорила о гостинцах для молодой невестки, но Вася махнул рукой: ничего не надо. Он пошел на станцию пешком, совсем порожний, свободный. Его обогнал поздний автобус, но Вася покачал головой, когда шофер хотел остановить. Васе почему-то казалось, что он идет этой дорогой в последний раз.

И он не спешил.

Он давно не слышал соловья и вздрогнул, когда тот шелкнул в сумерках. Тропинка вдоль шоссе блестела росой, осторожно белел ландыш на кромке роши. Под мостком журчала быстрая протока.

Впереди Васе светила узкая полоса закатного солнца, а сзади него спускалась синяя ночь.

...Через сутки он уже был дома. От автобуса шел метровы-

ми шагами, но когда взялся за ручку двери, то почувствовал слабость и мокроту в пальцах и не сразу решился открыть.

Галка была тут.

Она сидела у зеркала и мазала чем-то волосы, и без того влажные, блестящие и пахучие. Глаза ее с ласковой внимательностью вглядывались в собственное отражение. И вдруг подчерченные ресницы моргнули: Галка заметила Васю, и губы ее, красиво и ало вычерченные, начали складываться в обрадованную улыбку. Но она не кинулась к Васе: ей надо было покончить с волосами.

— Знаешь, я не устроилась, — оживленно сообщила она Васе, как что-то радостное. — Потому что там, в этом бюро, не нормированный рабочий день...

Вася ничего не ответил, будто не слышал. Оглянувшись, он тихо подошел к Галке и, рискуя испачкаться об ее волосы, прижался лицом к ее лицу. Это было неожиданно, и Галка взвизгнула, негромко, потом сама кинула ему руки за шею.

6

Галка сидела с ногами на диване, освещенная желтым светом торшера. У нее заметно пополнели узенькие плечи, размягчился подбородок и щеки приняли персиковый отлив. Рядом с нею стояли в теплой воде мутно-желтые, но еще остро пахнущие розы.

— Как же, Галя, вашего мальчика звали? — осторожно спросила Полина.

Галка ответила:

— Кока.

— Сколько ему теперь было бы?

— Теперь?.. Теперь, наверное, уже год.

Полина вздохнула.

— Уж вы меня извините... Не пойму я... Неужели вы такую потерю не переживаете?

У Галки чуть-чуть дрогнули четкие брови.

— Разве лучше было бы, если бы я целый день плакала?

И вдруг Полина обронила:

— Мне кажется, Галя, вы и плакать-то не умеете.

Галка не стала спорить. Против ожиданий Полины, характер у нее оказался, в общем, покладистый. После того случая с коброй молодые перебрались из палатки. Полина собралась было уходить, но Вася не пустил. Привез тесу и отгородил тетке угол с окошком в сад. И Галка добавила великодушно:

— Вы, тетечка, нам вовсе не мешаете.

Много в Галке дивило Полину: например, она очень поздно вставала, чуть ли не к обеду, упуская лучшее время — розовое утро без духоты и пыли. За тот месяц, который они прожили рядом, Полина ни разу не заметила, чтобы Галка отправилась в баню: она каждый вечер лила на себя холодную воду и полоскала волосы какой-то «мутью».

Один раз Полина заметила ей:

— Что же вы, Галя, трико свои около стола, где сидим, развесили. Вы бы снесли в огород, на веревочку. Все-таки у нас мужчина в доме...

Галка посмотрела на тетку в полном недоумении. Потом сняла со спинки стула свои крошечные трусы и унесла наружу.

...Теперь они сидели вдвоем. Было воскресенье, один из бесконечных длинных и страшно жарких июньских дней, когда одолевает сонное безразличие. Когда даже разговаривать не хочется. И, как мираж, висят перед глазами, куда ни помотришь, совершенно спаленные солнцем, коричневые горы.

Они очень долго молчали. Потом Полина, словно очнувшись, вдруг сказала:

— А ведь он там в эдаком пекле работает!..

— Кто он? — растомленно спросила Галка.

— Вася наш!

— Да, — все тем же тоном согласилась Галка. — Ужасно!..

Потом она вяло призналась:

— Я думала, тетечка, что здесь все по-другому. А здесь жарко и скучно.

Полина сказала укоризненно:

— Думается, Галя, если бы вы Васю любили... не было бы вам скучно.

— И жарко бы не было? — попробовала пошутить Галка. И поморщилась: — Тетечка, не надо!..

Полина поджав губы, замолчала. Странная с ней произошла вещь: пока Вася жил холостяком, он был ей, в общем-то, безразличен, она по-прежнему тосковала о Валентине. А теперь в нее поселилась какая-то ревность, жалость и даже нежность к племяннику, которого, как она была уже уверена, эта барыня не любит.

— Васенька, Васенька, — нарочно говорила Полина в Галкином присутствии. — Красавец ты наш!.. Малышом был совсем невидный, а теперь такой симпатяшка стал, такой славный!..

Вечерами за своей перегородкой Полина прислушивалась: вот что-то ласково гудит Вася, и так же ласково, но более меланхолично отвечает Галка. И тут же вдруг она говорит сердито:

— Слушай, это ужасно! Пещерный ты человек!.. Не трясись возле меня своим пиджаком. Ты что, хочешь, чтобы я задохнулась от вашей проклятой пыли?..

«Ох,— мучительно думает Полина.— «От вашей»! Он, что ли, пыль-то придумал?.. Ей деньги его нужны, больше ничего. Тунеядка, руки-то только для еды... Вот с красивыми-то бабами всегда так. Завтра все Васе выскажу».

Но не высказала: она видела, что Вася все равно будет работать для этой черной Галки от света до света, а надо — и ночью пойдет. Полина знала, что ему уже и на комсомольском собрании намекнули недвусмысленно: мало того, жену у товарища отбил, еще держит ее дома и не пускает работать.

— Ревнуешь ты ее, что ли? — настороженно спросили Васю.

Он весь побурел и закричал:

— Идите вы!.. Вам мало, что я сам по две смены ишащу?..

...Действительно, дома Галку никто не держал. Когда не было сильной жары, она бродила по Лангуру без видимой цели, с места на место, как коза: там заломив пыльный кустик, здесь вырвав сухую былинку. То постоит над мутным, обмелевшим Нурхобом, то взберется по тропе в гору, цепляясь за сухие ветки горной полыни, то уйдет в ближние кишлаки. И там болтает с босыми хорошенькими детьми, которые рвут для нее желтые абрикосы.

Однажды Галка решила подняться туда, где на вершине горы работал ударный шагающий экскаватор. Он сам пробил себе сюда дорогу, поднялся под самые облака и висел над бездонным ущельем. Зубатый, огромный ковш, качаясь в голубой дымке, откусывал от макушки горы и сплевывал в пропасть камни и рыжую землю.

Галка подошла к экскаватору совсем близко и вдруг увидела в кабине голого по пояс, черного Славку Чуракова... Коротенькие его волосы совсем выгорели, и он стал похож на негатив черно-белой фотографии.

Увидев Галку, Славка тревожно заерзал в своем кресле и крикнул что-то помощнику. Тот залез в кабину, а Славка прыгнул на землю и пошел к Галке. Она невольно подалась в сторону и прижалась к большому, исшарканному ветром и

песком камню: ей казалось, что Славка может ее толкнуть, — рядом была рыжая осыпь, потом пропасть.

— Ты чего?.. — спросил Славка.

Галка молчала. Лицо ее почти закрывали черные длинные волосы, будто она хотела спрятать за ними свой испуг.

У Славки под кофейной кожей напряглись ключицы. На груди шевелились кудрявые, пыльные волоски.

— Зачем пришла?

— Посмотреть, — тихо сказала Галка.

— Любопытная!.. — горько и презрительно бросил Славка. — Была бы у тебя совесть, ты хоть на глаза бы не лезла...

— Я не знала ведь, что ты тут.

— А что ты вообще знаешь? Лягушка-путешественница!..

Губа у Славки дернулась. Он тряхнул белесой головой и сделал Галке решительный знак, чтобы отошла с дороги. А снизу уже поднимался к экскаватору порожняк — двадцатитонные кременчугские самосвалы. От них несло жаром, бензином и мощью.

Галка, держась рукой за камни, тихо пошла вниз. Из-под ног ее шурша бежали камешки и сухая глина. Когда она оглянулась, Славки уже не было видно, только высоко между скалами качался ковш его экскаватора.

В этот день Галка была грустна, словно ее обидели. Неожиданно начала мыть пол в кухне, запачканный глиной. Делала она это как-то неумело, намочила туфли, развела у самого порога грязь. Полина пришла с работы и не удержалась, чтобы не сказать:

— Господи, и такой простой вещи вы, Галя, делать не умеете!.. Вы хоть бы волосы подвязали, ведь они вам в глаза лезут.

И тут Полина услышала, как Галка тихо всхлипнула.

— Что вы, Галя? — спросила она испуганно.

Галка сидела на корточках возле ведра с грязной водой и вытирала глаза тыльной стороной мокрой ладони.

— Тетечка, — сказала она, всхлипнув еще раз, — давайте уговорим Васю уехать отсюда. Здесь так плохо!..

Полина вздохнула и отодвинула от Галки ведро.

— Ребенок вы еще, Галя. Ведь Вася работой связан. Где он еще столько заработает, чтобы всех кормить? Вы сами-то подумайте.

Галка промолчала. Большие глаза ее задумчиво смотрели на Полину. И вдруг она спросила:

— Тетя Поля, а почему у вас нет личной жизни?

Полина растерялась.

— Какая жизнь, что вы?.. Мне шестой десяток...

— Ну и что? — философски сказала Галка. — Дело не в возрасте. Если бы вы за собой следили, вам можно было бы дать гораздо меньше. Я видела вас раздетую: у вас совсем молодое тело.

Полина растерялась.

— Бесстыдница вы! — сказала она. — Что вам в голову приходит?

Она прошла за свою перегородку и там в сердцах думала:

«Эх, пустая душа! Чего это она нынче?.. Вчера хохотала весь вечер...»

Потом Полина услышала, как вернулся Вася. Хотела встать, но услышала, что вскочила Галка. От слез ее не осталось следа: она, словно журча, что-то весело рассказывала Васе, и слышно было, как целовала его.

«Господи, вот и пойми...» — с тоской подумала Полина.

7

Внизу было Аральское море. Когда облака разбегались, Валентин видел синюю глубь и желтые острова. Думать не хотелось, что до них семь тысяч метров воздушной пропасти.

Большой среднеазиатский город встретил Валентина дождем. Но дождь был теплый и душистый. По местному в пять вечера уходил автобус на Лангур. Но до пяти было еще далеко, и не хотелось тратить деньги на билет.

Шофер-таджик, в новой солдатской форме без погон и в блестящих сапогах на ногах-щипцах, не отказал довезти до стройки.

— Братана моего знаешь? — спросил Валентин. — Ваську Разорёнова?

Шофер скосил угольные глаза.

— Васил Петрович? Знаем, хорошо знаем.

Волосы у него были дегтярной черноты. Обритые скулы отливали сливовой синевой.

— Как тебя кличут-то, шеф? — как можно непринужденнее спросил Валентин.

— Камол звать.

— Ну, Камол, как дорога? Автоинспекция не душит?

— Хороший дорога, — серьезно сказал таджик. — Только горы — это горы. Первый раз едешь, бояться будешь.

И вот эти горы вдруг встали впереди, закрыв бесцветное азиатское небо. Только что скинувшие снег, серебристо-зеленые махины в розовых пятнах дикого миндаля. Черной

цепочкой, похожие снизу на птиц, спускались с высоты едва заметной тропе крохотные телята. Дорога змеей обвивалась вокруг отвесной скалы. С левого бока грозил обрыв, накрытый голубым туманом.

— Вот черт! — восхищенно и тревожно сказал Валентин.

— Хороший дорога, — упрямо повторил Камол. — Сель идет, тогда плохо. Аварий бывает. Смотреть надо.

Невидимая еще, засигналила машина — не поймешь где, впереди или сзади. Камол притиснул свою машину к скале. Почти вплитирку прошел, грохоча прицепом, порошний, заляпанный цементом «МАЗ».

— А почью как же? — спросил Валентин.

— Ничего. Ездим ночью. Когда надо, тогда ездим.

...В Лангуре Валентин нашел улицу Победы. Вокруг еще строили, а будущие жильцы уже сажали под окнами, в которых не было рам, персиковые и алычовые кусты. Желтая сырая глина, в выкопанные ямки стекала коричневая вода. Полоса дождя уходила за перевал, над Лангуром светило солнце.

На маленьком балкончике обжитого дома сидела Галка. Загородив глаза черными очками, она подставила пополневшие щеки весеннему солнцу.

— Здравствуйте! — приветливо сказала Галка, свесившись с балкона. — Вы к нам?

Валентин понял, что перед ним жена брата. И не менее приветливо ей улыбнулся, помахав снизу рукой. Галка открыла ему дверь и еще на пороге объявила:

— Вы с Васей совсем не похожи, а еще близнецы!

— Игра природы, — с серьезным видом сказал Валентин. — Тайна, еще не познанная...

Он действительно не был похож на брата. До двадцати четырех лет ему удалось сохранить в лице что-то девичье, в глазах отроческое озорство, в улыбке детскую наивность. Валентин был выше Васи ростом, узкоплечий, с длинными, спортивными ногами.

— Моего дон Базиля, как всегда, нет дома. — сказала Галка.

— А маман?

— Тоже на работе. Здесь, знаете, готовятся к перекрытию реки.

— Романтика трудовых будней! — весело улыбнулся Валентин. — Я уже видел: «Река Нурхоб покорится нам!» Как говорится, нет таких крепостей!..

Галка слушала его внимательно, слегка открыв яркий рот.

У нее был отличный цвет лица, она стала кругленькая и мягкая. Брючки стали ей тесны, и она ступала осторожно, семена, как танцовщица. Она уже не прятала щеки под длинными волосами: выкрашенные в цвет червонного золота, они были высоко начесаны над полным затылком.

— А ведь мы не поздоровались как следует, — одолев некоторое смущение, сказал Валентин. И, решившись, поцеловал ее в мягкую теплую щеку. — Ну, здравствуйте, Галка.

Она удивилась, но уже через секунду сказала беспечно:

— Слушай, тогда можно на «ты».

Пока она возилась на кухне, Валентин повесил в шкаф свое светлое пальто, снял мраморный пиджак и остался перед Галкой в жесткой нейлоновой рубашке и галстук-е шнурочком. Темный волнистый зачес ложился на белую, молодую шею.

Галка заварила зеленый чай, поставила на стол варенье и плоские белые лепешки. Они сели и стали болтать. Валентин объяснил, что решил приехать неожиданно, как ревизор, чтобы никого не затруднять встречей с цветами и оркестром. Сказал, что в Москве сейчас еще полная зима, весной даже не пахнет. На углу Страстного бульвара цыганки продают первые подснежники привозного происхождения, а мимозу достать к Восьмому марта было почти невозможно.

— А у нас скоро будут тюльпаны, — заметила Галка. — Слушай, а почему ты приехал один? Ты ведь, кажется, женат?

Валентин посмотрел ей в глаза и улыбнулся.

— Зачем напоминать человеку о совершенной ошибке?..

Галка откинула голову, засмеялась, как чему-то радостному.

— Часть твоего юмора моему бы Василию Буслаеву!..

Потом Валентин рассказал ей без утайки, как в этом году ему не повезло на первом курсе заочного юридического: пошел сдавать зачеты на дом к молодой преподавательнице и потерпел полное поражение.

— Так она мило себя держала, даже чай мы с ней пили. А потом взяла и засыпала... Представь, на чем погорел: «Кто такие «друзья народа»...» И почему они все время воюют против кого-то...

— Вася мой сказал бы: чай, трудно! — хохотала Галка.

Им было очень весело вдвоем. Ничто серьезное просто не шло им в голову.

— Ну, а как все-таки Василий? — наконец спросил Валентин.

— Да ничего. Работает.

— А ты? Маленькая хозяйка большого дома?

Галка игриво повела плечами.

— Неужели я похожа на хозяйку?

Они выпили весь чай и съели все варенье. Лепешка, нарезанная на куски, так и осталась, потому что была как резина: жевать можно, а глотать трудно.

— Мамаша моя как порхает? — опять спросил Валентин. — Замуж вы ее тут не пристроили?

— Да нет, как будто бы не нашлось желающих, — в тон ему усмехнулась Галка.

Но тут они встретились глазами, и оба поняли, что перешли в разговоре недозволенную грань. Валентин подумал о том, что за двадцать лет, пока жил под крылом у приемной матери, не видал возле нее ни одного мужчины. А Галка — о тех наставлениях, с которыми она лезла к Полине относительно «личной жизни»... И улыбка сошла у обоих с лица.

— Погляди лучше в окошко, — позвала Галка и отдернула занавеску.

За окном уже чернело небо. Глаза Валентина выхватили единственную мигающую звезду. Она стала падать и погасла где-то в холодной пелене над Нурхобом.

— Здесь ночь сразу приходит, — тихо сказала Галка. — Я раньше в Анжеро-Судженске жила, там копи такие черные...

— А где все-таки наши? — оглянулся вдруг Валентин. — Ничего не могло случиться?..

Галка пожала плечами. И Валентину пошли в голову тревожные мысли: вдруг приемная мать совсем не явится?.. Ну, например, авария какая-нибудь. Ведь здесь же бывает...

Чтобы скрыть тревогу, он закурил. Галка удивленно и молча наблюдала за ним. И он легонько, чтобы не обидеть ее, усмехнулся. Усмешка эта значила: поболтать-то с тобой хорошо, а вообще ты мне не нужна, потому что ты мне ничем не можешь... Валентин ждал Полину. И брата, хотя уже смутно его себе представлял, больше со слов родной матери: «Васька-то у нас глупой. А хитрый: все молчком. Он и Польку-то принял, чтобы мне досадить...»

Галка поняла, что в Валентине что-то бродит, и решила сказать:

— Не бойся, они сейчас приедут.

Потом они увидели, как темноту пробурили два крохот-

ных огонька. Они росли и приближались. Слышен был уже стук мотора и шелест шин.

— Вот и приехали, — тихо сказала Галка. — Может быть, хочешь — я тебя спрячу?

Валентин покачал головой. Оба они замерли и ждали. Но в комнату вошла одна Полина. Увидела приемного сына и охнула громко. Глаза ее сразу налились слезами.

— Валенька! — вскрикнула она как-то болезненно и странно, напугав и Валентину и Галку.

Галка увидела, как дернулся у Валентина подбородок и пошла кверху брови и как он в эту минуту стал очень чем-то похож на Васю... Теперь уже Галка вздрогнула и оглянулась.

— А где же Вася?

Полина опомнилась и принялась рассказывать: после вчерашнего дождя «поплыла» гора и затопила дорогу от Лангура на Саяб. И камнепад был сильный. Поэтому все машины сейчас там.

— Меня уж посторонний человек подвез, а Вася нынче не вернется. Если бы, конечно, он знал, что Валечка тут... Но ведь вот какое стечение обстоятельств!..

Полина поглядела на Валентина и... опять заплакала. Теперь уж потому, что не было сейчас у нее возможности его принять как следует: магазины все закрыты, ни в одной чайной света нет, а молодая «хозяйка» небось ни о чем не позаботилась.

— Мама — с ласковой серьезностью сказал Валентин, — хватит рыдать, как над рекрутом!..

Полина уняла слезы и повела Валентина к себе за перегородку. А Галка осталась в одиночестве. Когда Валентин оглянулся, она хмуро ему улыбнулась: ей в первый раз тревожно было оставаться одной.

Там, за перегородкой, Валентин увидел робкий, самодельный коврик на стене, розовый цветок, посаженный в банку изпод югославской свинины, белую девичью кровать.

— Привет тебе, приют невинный! — шепотом сказал Валентин и сел на это сиротское ложе.

Приемная мать прикрыла дверцу, задернула шторку на окне.

— Потихоньку, Валенька, — попросила она, — там все слышно... Ты мне ведь ничего не сказал, как у тебя с Мальвиной-то твоей?..

Валентин не спеша развязывал галстук.

— Мы разошлись, мама, — сказал он трагическим шепотом.

— Насовсем? — не смея еще радоваться, спросила Полина.

— Безусловно.

Она, хотя и не окончательно поверила, решилась сказать:

— Ты, Валя, не тужи, она нехорошая была... И какой ты муж! Ты ребенок еще. Ложись, Валенька, спи.

«Ребенок» уже заносил свои длинные, спортивные ноги под материнское одеяло. Откинувшись на высокую подушку, он сказал ласково и просительно:

— Поедем, мазер, домой!.. Плохо мне без тебя.

Полине показалось, что сердце у нее оборвалось. Она заплакала тихо, чтобы не услышала Галка. Плакала и гладила Валентину ноги, как делала это, когда он малышом укладывался спать.

— Поедем, Валенька, поедем!.. До конца месяца отработую, и поедем.

А он пробормотал уже дремотно:

— Только деньги надо, мазер...

Она ответила поспешно:

— У меня есть, Валенька, есть!..

От белой койки пахло чистотой и одиночеством. Шуршала сильно накрахмаленная наволока с колючим кружевом. Но Валентин вдруг уснул, как провалился. Во сне он увидел горы, провал и туман. И у самых глаз, в иллюминаторе, серебряное крыло самолета.

Полина долго не ложилась. Она сидела возле уснувшего Валентина и смотрела в его залитое лунным светом лицо, такое хорошенькое и молодое. Кто в нем узнал бы того маленького, заморенного нуждой малыша, которого она двадцать лет назад привезла к себе из деревни? Он тогда только в первую ночь заплакал, проснувшись в незнакомой комнате, но она взяла его к себе на постель и вот так же погладила его ножонки-палочки, пошептала что-то в маленькое, пельмешком ухо. И он уснул, как зверенок, нашедший чужую, но ласковую и теплую матку.

Вся боль, которую успел за эти двадцать лет причинить ей Валентин, ушла из сердца Полины. Осталась одна только нежность и забота об этом большом, незадачливом «дите». Конечно, она с ним поедет. Долго ли ей собраться...

Полина в последний раз погладила руку, свесившуюся из-под одеяла, бесшумно постелила на пол старенькое пальто и, не раздеваясь, легла.

— Я уж не буду будить его, Галя, — тихо сказала Полина. — Пусть он поспит.

Галка в этот день проснулась рано. Вечерняя тревога прошла, но ей словно мешало присутствие чужого человека, его сонное дыхание она тревожно ощущала, хотя Валентина и отделяла тесовая перегородка. И непривычно было Василию отсутствие.

— Вы, Галя, извините... Мне уходить пора. Накормите тут чем-нибудь Валю, а я постараюсь пораньше... — попросила Полина.

Через полчаса солнце ударило в стекло, отразилось в маленьком зеркальце на Галкином туалетном столике. Она встала, шмыгнула в кухню и долго мылась там.

— Послушайте, москвич, вставайте! — осторожно тронула она Валентина за плечо.

Он поморгал и открыл большие, мягкие глаза.

Когда он оделся, Галка предложила:

— Пойдем позавтракаем в кафе. Честно говоря, мне не хочется возиться.

Не мог же Валентин ей объяснить, что в кармане у него всего семь рублей с копейками! Если ходить по кафе и ресторанам, это не деньги. Он вообще последнее время был на мели, и родная мать, продав в деревне картошку, прислала ему пятьдесят рублей, чтобы он мог долететь до Лангура. Она же ему и намекнула, что на обратный путь пускай уже сестрица Пелагея раскошеливается. А на собственные отпускные Валентин купил перед отъездом фотоаппарат, новые ботинки и прокатился в Домодедово на аэродром в такси. В результате осталось семь рублей...

Валентин зарядил лейку, и когда они с Галкой вышли на залитый солнцем, но еще сырой проспект, он сфотографировал ее рядом с привязанными возле чайханы маленькими, грязными, но очень милыми ишаками.

Потом они сели в этой чайхане у окошка и стали ждать, когда подадут лагман. В окошко была видна Лангурская долина. В ней было очень много солнца, голубого воздуха, красок: янтарных, густо-зеленых, розовых, кровавых... Было не горячее, но налитое теплой спелостью утро — то время, когда все способно радовать.

— Чего-нибудь выпьем? — спросил Валентин.

Им подали какой-то ржавый портвейн. Он совсем не шел к жирному, густому лагману, но они не оставили ничего в бутылке.

— Когда же я Ваську увижу? Часто здесь у вас такие авралы? — опять спросил Валентин. — Может быть, пойдем поищем его на стройке?

— В твоих мокасилах там нечего делать, — сказала Галка. — Да он, наверное, к вечеру вернется. Лучше пойдем я тебе покажу горы. Там теперь сухо.

Они вышли из чайханы и пошли вдоль бетонки. Уже начали пылить машины, с жужжанием поднялся над горой вертолет. Потом вдруг по горной цепи что-то гулко и протяжно перекатилось, и ветер вместе с пылью принес какое-то странное шипение.

— Наверное, взрывают, — объяснила Галка. — Знаешь, за перевалом есть одно интересное место: могила какого-то муллы. Это далеко, но ведь времени у нас навалам.

Они прошли километров пять, все время в гору. У Валентина с непривычки заломило колени. Он взглянул на Галку. Щеки у нее стали красные, как намазанные гранатовым соком, и от пухлых плечей как будто поднимался легкий парок.

— Может, к черту твоего муллу? — осторожно спросил Валентин. — В конце концов мы не правоверные мусульмане...

— Пойдем, пойдем, — переведя дух, сказала Галка.

Они пришли туда, где еще лежал снег. В горной впадине стояло необхватное дерево, окруженное глиняным валом. На ветках еще не было зелени, но висели обесцвеченные солнцем и ветром лоскуты материи и стояли пустые глиняные кувшины. А за валом, в сырой, вязкой земле, цвели голубые ирисы. Воздух над впадиной был резкий и свежий, как в мороз. Пахло снегом и одновременно цветами.

— Что же, мулла захватил отличное место, — заметил Валентин.

— Ты не жалеешь, что пошел? — спросила Галка.

Он покачал головой. Ему хотелось дышать и дышать. А Галка принялась рвать цветы.

— Это для Васи, — сказала она. — Представь, он цветы любит.

...Домой они вернулись только к ужину. Полина уже была дома и тревожно их ждала.

— Васеньки-то все нет, — покачала она головой. — Да и мне, Валя, опять уйти ненадолго надо. Я ведь теперь в каптерке работаю, а сейчас рабочих с головного участка привезут. Каски надо выдать, фонари. Гора-то все плывет...

Она ушла, а Валентин и Галка молча сидели над недоеденным компотом.

— В общем, я чувствую, что я не вовремя приехал, — хмуро сказал Валентин.

— Здесь всегда все не вовремя, — нервно отозвалась Галка.

Потом они опять подошли к окошку. Долина молчала. Стройка хоронилась в горах. Там, полосуя фарами темноту, ползали машины, качались над черной пропастью ковши экскаваторов, вычерпывали ползущий кашей грунт. Внизу шумно ворчал Нурхоб, запертый в зубатые скалы. Ворчал, как большой пес, который и ночью не имеет покоя, при любом шорохе ворчит и гремит цепью.

...Полина увидела их в окне, потому что они не потушили в комнате свет. Валентин и Галка целовались.

Это было как наваждение, и Полина невольно загородилась рукой. Когда же снова взглянула — еще ниже запрокинулась Галкина густоволосая голова. Снизу, из темноты, на это было страшно глядеть.

Свою жизнь Полина прожила почти без увлечений и без случайностей. И когда встречалась с чужим грехом, она просто отворачивалась. Но вот сейчас, при виде этих двоих, воровски обнимавших друг друга, ее замутило. Наверное, потому, что в голове у Полины в эту минуту был Вася.

Он вдруг встал перед ней рыжеватым, молчаливым и с детства сильным парнишкой, выросшим под сердитый окрик матери. Этот парнишка, наверное, и не помнил ее, тетку, когда она к нему сюда приехала. Но он уступил ей свою постель, потом отдал и комнату и все время молчаливо оборонял от Галки. Как же она должна его теперь оборонить?..

Две-три минуты нужны были Полине, чтобы все постичь, все заменить в своем сердце. Две-три минуты, пока она неслышно двигалась от того места, где их увидела, до той комнаты, где они притаились. Открыв потихоньку дверь, она вошла в квартиру. Но Валентин и Галка услышали и отскочили друг от друга.

— Это ты, мазер? — слишком бодро спросил Валентин.

Приемная мать сейчас показалась ему чернее и старше, чем он нашел ее вчера при первой встрече. На него смотрели другие, совсем не ее глаза. Валентин понял, что сейчас же необходимо ей объяснить, что все это ерунда, что никаких серьезных видов на Галку у него не может быть и что ничего не нужно говорить Васе. Все это натворила необычайная

азиатская ночь, полный беспокойства воздух, белеющие в темноте цветы на деревьях. Но Валентин смог только пошевелить губами.

И Полина не стала ждать его объяснений. Тихой поступью она подошла к приемному сыну вплотную и ударила его, которого за двадцать лет не тронула пальцем, со всего маху по белой, шелковой щеке.

...На объяснение сил у нее не было. Поэтому утром Полина положила возле спящего Валентина пятьдесят рублей. Ей уже надо было уходить, но ей хотелось убедиться, что он уедет.

Валентин открыл глаза, увидел деньги, понял и молча стал одеваться. Полина на него не смотрела. Тогда он вдруг сказал ей в спину:

— А что, мне до аэродрома и там, по Москве, пешком идти?..

Она торопливо достала еще десятку и поспешно, почти бегом вышла из комнаты. Но ей предстояло еще испытание — пройти мимо Галки, а та тоже не спала. И Полина не разобрала, чего больше у нее в глазах — тревоги или досады. Смущения, во всяком случае, не было. Полина невольно приостановилась. Неужели кто-то поверит, что возле этой Галки когда-то лежало дитя?.. Душа у Полины рыдала от обиды и несправедливости.

В это время кашлянул за стенкой Валентин, и Полина сказала шепотом, но достаточно твердо:

— Вы бы вставали и одевались. Хватит уж...

Галка покорно потянулась за платьем. Из-под одеяла свесились ее маленькие голые ноги в чуть заметных каштановых волосках.

Полина подождала, пока она оделась, потом закрыла за собой дверь. С полминуты она еще постояла на лестнице, прислушиваясь. Потом быстро ушла.

В это утро Галка не стала обливаться холодной водой. Она сидела тихо и ждала, пока появится Валентин. Он вышел, совсем одетый, и, ни словом не вспоминая о том, что было вчера, спросил, когда отходит автобус.

Галка не знала этого точно. Ей было очень жалко себя...

— Тебя проводить? — нерешительно предложила она.

— Да нет, пожалуй, не стоит.

— Твоя мать просто дура! — уже сквозь слезы сказала Галка.

— А она, собственно говоря, мне и не мать...

И все же Галка пошла с Валентином до автобусной станции. Там было пыльно, грязно и нудно. Несколько старух-таджичек в белых длинных платках-накидках сидели кружком и тоже ждали автобуса, чтобы ехать в соседний кишлак на чьи-то похороны. Они с любопытством обратили к Галке и Валентину свои коричневые добрые лица.

— Что они говорят? — хмуро спросил Валентин.

— Я ни слова не понимаю, — тихо сказала Галка.

Подошел автобус, и они молча простились, как после ссоры. Галку скрыла желтая пыль.

...А вечером они опять оказались с Полиной вдвоем. И хотя их разделяла перегородка, обеим казалось, что они видят друг друга через стенку.

— Полина Афанасьевна, — в первый раз назвала Галка тетку по имени-отчеству, — вы не знаете, кому бы мне продать мои часики?..

Полина вышла из своего угла.

— Зачем? Это же вам Вася подарил!..

— Мне нужны деньги, — не очень уверенно заявила Галка. — Я хочу съездить к маме.

— Зачем же часы продавать? Попросите денег у Васи.

— А вы ему ничего не расскажете? — быстро спросила Галка.

«Ох и поганка!..» — с тоской подумала Полина.

На другой день Галка подошла к ней как ни в чем не бывало.

— Тетечка, — попросила она ласково, — все-таки дайте мне, пожалуйста, сорок рублей. Вася вам отдаст. Мне хотелось бы сегодня уехать: на днях у мамы день рождения...

Полина опешила: какой день рождения? Что ей сейчас на ум идет? Но тут взгляд ее упал на совершенно опустевший Галкин туалетный столик. В гардеробе белели пустые фанерные стенки, а из-под кровати виднелся кое-как набитый, не закрывающийся на застежки чемодан. Кроме этого чемодана и самой Галки, в комнате не оставалось ничего, что могло бы потом напомнить Васе о ее былом присутствии.

Вася, коричневый, как вылепленный из глины, и присыпанный пылью, в отвердевшем от жары пиджаке, приехал через два дня. Тетка увидела его и поняла, что он что-то знает. Вася сел на опустевшую койку и угрюмо глядел в пол разъединенными пылью глазами. И молчал.

Полина смотрела на него с растущей тоской. Ох, если бы он поразговорчивее был! Они бы сейчас все вдвоем обсудили. И ему бы легче и ей. Она столько слов приготовила за эти два дня, пока его ждала! А теперь чувствовала, что уж лучше молчать вместе с ним. Но она была женщиной, и ей молчать было труднее.

Поэтому, горько вздохнув, Полина решила признаться:

— Ох, Василек, большую я ошибку в своей жизни сделала!..

Действительно, что стоило ей тогда протянуть руку и взять младшего?.. Но уж больно он был неприглядный, особенно когда крестили: морщенный, рыжий и даже глаз не показал. А другой, черненький, открыл туманные, молочные глаза и жалобно сморщился. Сестра Марья тут же тревожно сказала:

— Поскорее бы нам их окститъ, Полюшка! Этот-то, первый, больно плохенький! Кабы не помер...

Крестины были убогие. На весь район осталась одна непорученная церковь. Риза на попе была облезлая, крестил он разом семерых ребят, спешил и путался. Воду в купель плеснули какую-то ржавую, в воск было что-то намешано, свечи чадили и тут же оплывали. И громко плакали озябшие младенцы...

— Мне бы, Вася, тебя тогда взять, — не в силах отделаться от воспоминания, тихо сказала Полина. — Разве бы я столько горя увидела?..

— Не знаю, тетя Поля... — угрюмо ответил Вася. — Может, никого брать не надо было.

И Полина замолчала, не смея даже заплакать. Васины слова она приняла так, что, возьми она его в дети, тоже не сумела бы, наверно, человеком сделать. Ей страстно хотелось защищаться, но слов у нее не было.

Вдруг Вася спросил:

— Куда ее унесло?

Тетка вздрогнула.

— Не знаю, Вася... Сказала, что к матери.

— А не с Валькой?

— Нет, Вася, что ты!..

Он отвернулся.

— А, один шут!.. — бросил он глухо и вдруг прикрыл глаза коричневой ладонью.

Полине показалось, что его мучает стыд, неловкость. И она поспешила утешить:

— Все пройдет, Вася, забудется. А насчет разговоров не

бойся: никто ничего и не знает. Дело это наше, семейное, ни до кого не касается...

Он сказал почти злобно:

— Ишь ведь как вы считаете! Наоборот, до всех касается!..

Больше в этот день они не говорили. И Полину томила мысль, что Вася затаил что-то и, может быть, она уже больше ему не нужна.

...Утром она услышала, как Вася поднялся. Как всегда, ровно в пять. Она робко к нему приблизилась. И он вдруг сказал ей:

— Если хотите, тетя Поля, то загородку эту мы снимем. Чего вам без воздуха тесниться?..

Содержание

Повести

Дороже золота	7
Несовершеннолетняя	95
Сладкая женщина	177
Вид с балкона	283
Мариша Огопкова	349

Рассказы

Тайна вклада	477
Дела семейные	502

Ирина Александровна Велембовская

Сладкая женщина

Редактор **Э. В. Одинцова**

Художественный редактор **Е. Ф. Кипустин**

Технические редакторы **Н. Н. Только** и **Н. Б. Пакфилова**

Корректор **Л. А. Розыбикина**

ИБ № 6634

Сдано в набор 01.09.87. Подписано к печати 21.04.88.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага типографская № 1. Литературная
гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 28,56. Уч.-изд. л.
30,85. Тираж 100 000 экз. (1-й з-д 1—50 000 экз.). Заказ № 643.
Цена 2 р. 30 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель».
121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государствен-
ном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109